

B. er. Munich

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в
восьми
томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*Эпоха
восемью*

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

КНИГА ТРЕТЬЯ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

Примечания
В. БОРИСОВОЙ

ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ

Историческое повествование

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

*Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь.
Москва, проселки, лес*

1

Ржев — городишко торговый, довольно бойкий и промышленный.

Еще с начала века, при Петре I, был Ржев не в хорошей у правительства славе, как гнездо потаенного раскольниковства и всякого рода противностей, продерзостей.

К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Остафий, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тароват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто наведывался в Питер, доставлял овес для царских конюшен и, по своей необычайной пронырливости, даже имел в Ораниенбауме беседу с самим Петром Федоровичем, наследником престола.

Как-то сдал Долгополов в Ораниенбауме пятьсот четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д. И. Дебресан, денег же Долгополову пока что не дали, сказали: «В следующий приезд уплатим и с процентами». Ну что ж, без долгов не торговать, а за богом молитва, за наследником престола долг не пропадет.

И случилось тут печальное событие: Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорей в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили:

— Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братии по смерти государя за долгами ходит.

Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился во свояси...

Да уж, полно, не тот ли это Остафий Трифонич, что, приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра Третьего в трактире «Зеленая дубрава» и, помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре? Да, он самый... Но то было давно, в 1762 году, с того времени одиннадцать лет прошло, мясник Хряпов разорился и подвизается где-то на полях восстания, Барышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков знатным стал помещиком. Вот что с людьми делает время... Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном ни духом.

Прошло одиннадцать лет. Счастье изменило Долгополову. Разорился, за неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях, купцы презирали его, а иные все же о нем думали: «Вывернется, не таковский, хапнет где-нито».

Сам же Долгополов надеялся на милость божию, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть. От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась.

И вот ударил час...

В зиму 1773 года шел он по базару, хотелось березовых веников для бани расстараться, и нагоняет его кум, и отводит его в сторону, и с уха на ухо говорит ему:

— Слыхал, кум, про дела-то про великие? Будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорыч Третий.

Сухонький, невысокого роста Долгополов отпрянул от кума своего, лицо выразило страх и удивление.

— Да что ты, кум, очнись! — замахал он на кума руками. — Статочное ли дело! Государь наш Петр Федорович умер, я в Невском монастыре не однажды на могиле его молился, ведь на нем семьсот рублей моих долгу числится... Откудов слых идет?

— От народа, от черни.

Домой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный. Жене ни слова. После трапезы пошел в божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам все о кумовых словах думает, и молитва не идет на ум. И только руку с двоеперстием для крестного знаменья занес, как встал в его мыслях, будто бы живой, царь Петр Федорович и улыбнулся, встали знатные бояре Нарышкин с Дебресаном и тоже улыбнулись. «Пользуйся», — сказали они все трое и, словно дым, исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупают овес... Чей овес? Его овес, Остафия Долгополова.

«Эге-ге-е», — хитроумно подумал купец, подмигнул божнице с горящею лампадою да из молельни вон.

И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце.

«Здравствуй, батюшка, светлый царь Петр Федорович! А дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас...»

«Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать... Скуден я разумом своим, а только клятву тебе приношу, господи: ежели поверстаю долг, тебе свечку превеликую, попу ризу, а бедному люду целый рубль раздам».

Лютая трясовица напала на Остафия Трифоновича, а сверх нее — необоримая икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене, Домне Федуловне:

— Ну, баба, слушай со смирением и рюмы распускать чтобы ни-ни... Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправлюсь я, баба глупая, внезадолге в Москву, засим во город во Казань, повезу туда

красок; сказывают, там красок нетути, большую корысть чрез то можно поиметь. Сбирай меня в путь-дорогу, баба моя милая, покорливая...

Домна Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала:

— Я воле твоей, государь Остафий Трифоныч, не перечу. Езжай, нито, благословясь... Ау... — и с тем отошла горько постенать в молеленку.

А втапору жил-проживал во Ржеве великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков. Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным трудам своим был он зажиточен и славен.

Вот к нему-то и направился хитрый купец Остафий Долгополов. Купцу всего сорок пять лет, а на вид можно дать и шестьдесят. Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане, шел он, чуть прихрамывая (мозоли на ногах), крадущейся, кошачьей походкой; на сухощекоем, в рябинах, личике крупный нос, безбровые прищуренные глазки да кой-какая бороденка с проседью, личико в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, и глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами, будто купчик хочет вымолвить: «Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели... Я, раб божий, тихо-смирно существую на земле. Ну, а ежели кто в мои лапки попадетя — объегорю». Шапка, не по голове большая, рысья, на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи с презрительной вышивкой. Широкий кушак, темный иссиня, с кистями.

Знатный морозец был, из труб дым столбом, жаренной на конопляном масле рыбой пахло. Шел купец, покряхтывал.

Дом достославного механика Волоскова стоял возле Волги, при овраге, — длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипида-

ром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской.

— Сам-то дома?

— Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмам вредно. Хи-хи-хи-с...

Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком, — сердито блок заскорготал, кирпич на веревочке поднялся, — в кухне толстобокая стряпуха двумя пятернями голову скребет; проследовал в прихожую — пусто, козлиным голоском почтительно прикрикнул.

— Кто там? Шагайте сюда, нито...

Батюшки мои, светы батюшки! Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные приводы, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных — горы... А вот и человек с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрядинном балахоне, длинные в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы желтые, продубленные крепкой кислотой, а черные глаза глядят со вниманием и строгостью.

Долгополов покрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую елико возможно вытянул и, согнувшись пополам в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы.

— Здоров будь, Терентий Иваныч, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков, аминь!..

— И ты здоров будь, Остафий Трифоныч, — мужественным голосом отвечивал хозяин. — С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради али по делам?

— По делам, по делам, Терентий Иваныч свет, — расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями лысоватую голову свою, вкрадчивым голоском ответил гость. — Уж мне ли, неразумному, при худобе моей пытаться механику твою премудрую... Темен бо умишком своим малым.

— Сие смирение зело похвально, но не основательно. — И хозяин ввел гостя в соседнюю горницу, штукатуренные стены коей, а равно и потолок были расписаны знаками зодиака и затейными картинками.

— Батюшки, пушка! — удивленно, с беззубым пришепетом прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную стоявшую на треноге махину.

— Вот и ошибся, гость дорогой, — заулыбался хозяин, — эта зрительная труба суть плод моего художества, чрез нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии ее работы, а сие в едино время и поучает и забавляет. Да вот беда, стекла дюже плохи, нет прозрачности и трещины кой-где идут. И горюшко мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить...

— Да-да-да, да-да-да, — прищелкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. — О господи твоя воля... до чего доходит ум людской, до какой премудрости! А я к тебе, друг, за советом...

Хозяин хмуро взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвел к знаменитым, своего изобретения, часам:

— Уж не взыщи, все покажу тебе, в чем жизнь моя течет. Вот — часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся, больше недели без памяти лежал. Но одолел, одолел! Время покорил. Законы заключил в медь и камень. Зри...

— Да, да, добре строенные, пречудно... — Плюгавенький Долгополов, нагнув голову, смотрел исподлобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача.

На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкафика знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронту желтой медью, в середине — главный циферблат, по углам — четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря.

— Особенного зраку нет в них, — без всякой любви, скорей с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув, хозяин. — Пусть часы мои заслуживают почтение не пышным нарядом, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. — Бледное умное

лицо хозяина стало печальным, на возбужденных глазах показались слезы, он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью. — Эхма... Вот бьешься, бьешься... Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духу не слышать... Ну, кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к чему. У помещика же труд даровой, пошто ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа, может статья, забредет в мою келию да купит в кунсткамеру свою на погляденье людям...

— Дозволь тебя, Терентий Иваныч, спросить, — прервал хозяина заскучавший гость. — Слых в народе идет, будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорыч Третий.

— Нет, не слыхивал, — с суровостью ответил хозяин. — Да подобной глупости и слухать не хочу... А вот принес мне весточку ученый один знатец. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском, они полтора года в море плавали, в зыбь и бурю, и уклонились от истинного времени токмо на полторы минуты. Вот это часы!.. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую за получил...

— Оный разговор для меня вещь недоуменная, Терентий Иванович... Уж не обидься, пожалуй, — прошамкал гость. — Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину...

— Пойдем, — встал хозяин и ввел гостя в третью горенку с книжными шкафами. — Эта хранина вивлиофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письмена, письмена в листы, листы в переплет, сиречь в книгу, книги же заключены в шкафы. А вкупе все — по-гречески — вивлиофика...

— Господи, господи... — причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость. — Каких же капиталов тебе стоит эта премудрость... Сколько овса на эти денежки можно закупить, да муки, да ситцев с сукнами, какие великие обороты можно делать... Эх, бить тебя некому, Терентий Иваныч, уж ты прости меня, пожалуй, не сердчай...

— Бить? — нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла. Гость попятился и замигал. — Меня и так жизнь бьет изрядно... Вся душа избита невниманием... Многие знатные люди перебивали у меня — и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов. Насулят-насулят и ни с чем уедут. Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над машиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди внимание да помощь, эх, что бы было, каких бы громких делов я натворил, каких бы затей навывдумывал на пользу отечества... А здесь... Знаешь что, знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши: чернокнижием-де занимается Волосков, планеты небесные-де рассматривает. О прошлом годе науськали мужиков на базаре бить меня... Ну, пойдем из сада мудрости, чую — это не по плечу тебе...

— Ах, верно, друг, ах, верно... Истинно сад мудрости... — обрадованно загнул, зашамкал Остафий Долгополов и, юрко протянув руку к лежавшему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой. — Ах, ах! Ну, до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глас твой...

Они вышли из покоев, пересекли двор; барбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака; хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку.

— Отец мой, царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен, и жил он в скудной бедности. Нешто часами в сем городишке проживешь! И стал он яркие краски выделять — кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла, сукна для обмундирования занадобилась бездна, на краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать...

— Терентий Иваныч свет, одолжи ты мне, бога для, кармину да бакану своего. Еду я в Казань-город, тамо-ка, сказывают, в красках великая нужда, вот поеду, продам с барышом и денежки тебе доставлю,

свет, с поклоном низким... А нет, лисьих мехов в орде куплю... Уж я не обману, я человек верный, кого хошь спроси.

Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая: прощелыжник, жох, но по мягкому нраву своему не смог отказать купцу:

— Ладно, краски дам, нито. (Долгополов косорото ослабился — рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.) А кармин у меня добрецкий, можно сказать — на всю Россию знаменитый, пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств, постановлено признать кармин Терентия Волоскова «зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с «отливом», так и в грамоте на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон кармин мой в ход пошел, заказов не обер-бери! — Волосков выпрямился, гордо откинул голову. — В сем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности, нашей... и сим горжусь...

— Исполать тебя, свет Терентий Иваныч! — вновь отвесил ему купец поясной поклон.

Льстивостью, нахрапцем Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тюрючка красок и сто рублей наличными деньгами.

2

Мороз крепчал. На базаре крик, гам, толчея. Долгополова за полы хватают, всяк цвет покупателя к себе: — А вот поросеночек, а вот!..

Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменял мелкими шажками к воеводе. «Первеющее дело — паспорт. А ну как не даст?..»

Воевода Ржева-города всем воеводам воевода, секунд-майор Сергей Онуфриевич Сухожилин, а по прозванию «Таракан». Такое от народа прозвище он получил не зря и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного, во благо градожителеев, ума.

Но об этом замечательном событии мы своевременно читателей оповестим.

Воевода Сухожилин-Таракан — сын попа, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам проживавшей во Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой. Несет он бремя службы вот уже двадцать лет, сначала был корпусом строен, затем стал богатырь, толстеть. Сначала ходил бритым, в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородину и лохматые волосы, как у кержака. Нрав у воеводы крутой, горячий, глаза завидующие, руки загребушие, да к тому же и добрым разумом не наделил его господь: водились за ним такие фокусы, что — ах! Но милостию божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а наипаче через взятку златом, снесью и чем попало воевода Таракан всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блистающий. Слава тебе, господи, и тебе, княгиня, и вам, продажные суды, продажные души, великая слава и честь во веки веков. Аминь.

Мороз за щеки хватает, поросенок визжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный воеводский дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алебардой на плече, возле его ног рыжая шавочка по-сердитому пошавкивает.

— Песик, песик, на! — С опаской оглядываясь на собачку, купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводине, сам — в канцелярию пошел.

Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводском, под красным сукном, столе — петровских времен зеркало, пропыленные дела, на делах разомлевший кот дремлет, над столом в золоченой раме ее величество висит, через плечо генеральская лента со звездой, расчудесными глазами весело на Долгополова взирает.

Нет никого, в открытую дверь мужественный храп несется; надо быть, сам воевода после сытной снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит на-

чалство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул:

— Здравия желаю. Это я...

Храп сразу лопнул, воевода замычал, застонал, сплунул и мерзопакостно изволил обругаться:

— Эй, писчик! Ты что, сволочь, там шумишь, спать не даешь? Рыло разобью!

— Это я, отец воевода, — загнул высоким голосом Остафий Трифонович. — Раб твой худородный, купчишка Долгополов челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец благодетель...

В доме жара, от печей горячий воздух тек, обрюзгший большебрюхий воевода выплыл из покоев в подштаниках, в расстегнутой рубашке, босой. Волосы всклокочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак.

— Ты чего, дьявол, стучишь? — крикнул воевода. — Ах, это ты, Долгополов? Я думал — подканцелярист... Пошто поздно? Присутствие закрыто ведь. — Воевода рыгнул, перекрестил рот, почесал брюхо, сел за стол. — Что скажешь?

— Ой, отец воевода, Сергей Онуфрич, до твоей милости я, пашпорт хочу исхлопотать, хочу в Москву да в Казань-город ехать по спешным делам моим.

— Эй, дай-ко-те квасу мне! — опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тюрючка с красками, подумал: «Прощелыжник... Давно бы тебя, прощелыжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить... Ишь ты, тюрючки. Мне люди добрые мешками носят». И воевода, отдуваясь, прохрипел: — Пашпорт тебе надобен? В Москву? В Казань?

— Так точно, милостивец, — переступил Долгополов мозольными ногами и благопристойно покашлял в горсть.

Воевода вдруг заорал:

— Марья! Квасу! — и стукнул жирным кулачищем по столешнице.

Славший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши, хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный жбан и кружку

белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал:

— Нет, не будет тебе пашпорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте-то... Ты хлюст порядочный...

Долгополов сунул тюрючки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени:

— Милостивец, батюшка! Не губи, выдай... Самонужнейшие дела у меня в Казани.

— С пустыми руками к воеводе не ходят. Нет, не дам...

— Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок. К рождеству Христову выкормишь...

— Поросеночка? Сам ешь. Не больно корыстен поросенок твой. Ступай с богом, не дам.

— Батюшка, воевода пречестной! — взмолился Долгополов. — Я ныне человек разорившийся, панкрут, сам изволишь знать... А в дороге чаю дела поправить, может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя, отец.

— Ты на посуле, как на стуле... Знаю тебя, хлюст ты... Ступай!

Воевода встал и ушел в покои, захлопнув дверь.

Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу. Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Ну да ничего, он этого воеводу-хабарника еще уломает.

— А ну-ка стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось деньжат с него сдеру; без деньжат куда пойдешь, — вслух подумал опечаленный Остафий Трифонович.

Купец Абросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тыщах, недавно кирпичную церковь старообрядцам пожертвовал, но был

груб, суров и на руку дюже ерзок. Во Ржеве до пятнадцати таких канатных заведений, купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская голытьба да оброчные крестьяне.

Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним — медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника:

— Сам-то дома?

— Дома. Токмо ной у него в поясах, спину пересекло, кажись, лежит.

По блоку злющий кобель на цепи взад-вперед сигнал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от укусов песьих, Долгополов на черное крыльцо, дернул в кухню дверь — не поддается, дернул со всей силы — плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтоб тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину (бородатую с плешью голову вниз), стоял голый человечище, хозяин Абросим Силыч Твердозадов, а его дородная красавица жена, тоже голая по пояс, в какой-то коротенькой юбчонке, со всем усердием и с молитвенным от немощи причетом растирала редькой поясицу супруга своего. Голый человечище кряхтел, охал, жалостно постанывал.

И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: «Ой-ой, кто это такое вперся?» — бросилась в покои, голый же человечище, не меняя положения, только обернул бородастый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал:

— Дворник, ты? Эк тебя, дьявола, прости меня, господи, черти-то носят. Никак крюк с двери сорвал. Пошел, стерва, вон...

— Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Остафий...

— Ты?! Пошто ты, тварь, не в показанное время лезешь, пошто двери чужие ломаешь, аки тать? Тут женщина в нагом естестве, а он, собака...

— Я, Абросим Силыч, видит бог, зашурившись стоял и наготы вашей супруги не заметил, — врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был Твердозадов к красавице жене своей. — Я, Абросим Силыч, в простоте душевной деньжонок у вас попризнять на-смелился-с... До зарезу нужны, Абросим Силыч... Погибаю-с, — пел елейным голосочком Долгополов.

Забыв про поясницу, ревнивый муж в горячах быстро распрямылся, от резкой боли застонал и, шагнув к попятившемуся Долгополову, весь затрясся в злобе.

— Тебе... Денег... Тьфу!.. Ты, мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет... Уйди, зелье лихое, пока я те щелоком морды не ошпарил!

Долгополов схватился за дверную скобку.

— Не извольте гневаться, Абросим Силыч. Уж ежели я мошенник да плут, так вы вдвое...

Великан-хозяин молниеносно сгреб ухват, махнулся им на Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал:

— Митька!.. Ивашка!.. Спускай собак... Трави его, асмодея!

Впереверт кувыркаясь с лестницы, заполошно орал и Долгополов:

— Постой, постой, длиннобородый черт! Я те покажу, как честных людей увечить... Я самому воеводе жалобу подам! Он те бороду-то рыжую убавит...

— Чихал я на твоего воеводу-дурака! Жулик твой воевода, крохобор. Ивашка, черт, чего смотришь? Дуй его!

И Твердозадов, опять заохав, скрылся в кухню, а дворник схватил Долгополова за шиворот и поволок со двора, как волк барана.

3

На другой день мрачный Остафий Трифонович, похлебав толочна с квасом, снова направился в воеводскую канцелярию. Скучала поясница, побаливала голова от вчерашней затрешины. Подьячий в медных

больших очках, писчик и два подкописта, поскрипывая гусиными перьями, строчили бумаги. Кот сидел на полке с законами, умывался лапой, зазывал гостей. Воеводы не было. По случаю рождественского поста он говел, еще из церкви не приехал. Долгополов вышел на улицу, ждал у ворот, вел беседу с будочником.

— Идет, идет такой слушок, — охрипшим голосом говорил бударь, для сугрева переминаясь с ноги на ногу. — Токмо я сему веры не даю, ни боже мой. Может ли такое статься, чтобы из мертвых царь воскрес? Ни боже мой! Вчерась двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, маленько попытали батожьем острастки ради, да с пьяного чего возьмешь...

Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко кланялись начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо взойти.

— Не дам, не дам, — бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов. — За пашпортом? Не дам...

— Я, отец воевода, с жалобой к твоей милости пришел... Дай защиту...

— С жалобой? На кого показываешь?

— На ирода и разбойника, на Аброську Твердозадова.

— Ась, ась? — И воевода, чтоб лучше слышать, отогнул стоявший кибиткой лисий воротник. — На кого? На Аброську Твердозадова? Давай-давай его сюда... Он предо мной шапки не ломает, его гордыня заела. Он, подлец, на меня в Тверь жалобу писал... Он вроде тебя — хлюст, а нет, так и погаже... Давай-давай... В чем обвиняешь? Шагай за мной...

Воевода стал веселым, суетливым, сказал:

— Обожди, пожалуй, в канцелярии, я чайку испью. Приобщался сегодня я...

Через час в канцелярии появился воевода в кургузном мундире и при шпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким, подобострастным поклоном гулко прокричали:

— С принятием святых таинств поздравляем, васкорodie! Имеем честь!

— Спасибо, ребята... Долгополов! Показывай, в чем дело. Иван Парфентьич, садись сюда, пиши...

Долгополов и подъячий подошли к красному столу. Подъячий, гусиное перо за ухом, сел, разложил перед собой голубовато-серые листы бумаги, протер концом скатерти очки, откашлялся. Писчики, вода вхолостую перьями и притворяясь, что усердно пишут, наострили уши. Долгополов гундосым голосом стал давать показания, стараясь обелить себя и во всем обвиновать Твердозадова.

— ...Тут он, аспид, сверзил меня с лестницы и начал всячески поносить твою милость, отец воевода, непотребной бранью...

— Какими словесами?

— Срамно вымолвить. Не точию словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко, сиречь такие словеса, ажно язык мой прильпне к гортани моея... Боюсь.

— Ну молви, молви смело, не опасайся... А нет — и тебе, хлюст путаный, кнуты будут. — И бараньи глаза воеводы омрачились.

— Господин воевода! Лучше допроси дворника евоного, Ивашку. Он, смерд, слышал хозяйскую хулу на твою милость... Вели сыскать его. Да и Аброську Твердозадова зови...

— Писчик! — крикнул воевода. — Пошли солдата за Ивашкой.

Вскоре привели в канцелярию Ивашку. Это — широкоплечий, приземистый парень лет двадцати пяти, кудрявый, без бороды и без усов. Глаза злые, губы толстые. Он — сирота, крепостной господ Сабуровых, числился на оброке, подрядился по письменному договору служить три года Твердозадову на его канатной фабричке. И, как водится, попал в большую кабалу: помещик вскоре запродавал его еще на два года и половину денег за его службу забрал вперед. А служба у купца анафемская. Пробовал Ивашка бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от Твердозадова мзду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдрать его, а после порки водворил бегуна снова в кабалу к купцу. Ивашка

озлобился. На своего хозяина, на зажиточных людей и на все начальство глядел лютым зверем.

— А-а, знакомый! — притворно весело, но с за-таенной неприязнью воскликнул воевода. И начался допрос.

Ивашка, опасаясь от Твердозадова побоев, запи-рался:

— Знать не знаю, ведать не ведаю, а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал.

— Ишь мужик-деревня, голова тетерья! — зашумел на него Долгополов и угрожал перстом. — В за-пор пошел. А не ты ли меня, волчья сыть, выволок за ворота да кулачищем по загривку? После того разу я смешался куда бежать...

— Нетути, не видел я вас, — сказал Ивашка, — я втапоры в трепальне обретался, пеньку чесал.

Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал го-ловой и прогнусил, ехидно улыбаясь:

— А-я-яй, а-яй... Подлец какой ты, парень! По-бойся бога, пост ведь.

— Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой честил? — сердито спросил воевода и нахмурился.

— Сказывал, не слыхал, — с грубостью ответил парень.

Воевода ударил в стол и закричал:

— Р-розог сюда!.. Палача сюда! Ребята, вали его на пол, спущай портки!

Три старых солдата брякнули Ивашку на пол, со-рвали полушубок, перевернули носом вниз, оголили спину. В красной рубахе косою палач пришел, под пазухой — пучок розог. На ноги Ивашки сел солдат, на шею другой, а третий солдат крепко держал вытя-нутые вдоль пола руки парня. Ивашка пыхтел, скре-жетал зубами.

— А ну, ожги, — командирским басом приказал воевода, встал, подбоченился, шагнул к Ивашке.

И только палач замахнулся, Ивашка заорал:

— Винюсь! Винюсь!..

Палач недовольно кинул розги, парень встал.

— Сказывай! — крикнул ему воевода. — Иван Парфентьич, записывай за ним,

Глаза Ивашки засверкали, застучала кровь в виски, он подумал: «Эх, была не была, и хозяину и воеводе молебен закачу...» — и, вымещая злобу, сплеча начал поливать начальника:

— А пушил он твою милость вот как: «Этот сукин сын, воевода Таракан самый, говорит, из подлецов подлец... Самый хриstopродавец. Я его знаю, Таракана, подлеца!.. Он чем попало, мол, хабару берет. Весь город ограбил. Народ истязует. Девку, мол, изнасильничал... Каторжник воевода, подлюга, казнокрад... В петлю его, сукина сына, давно пора: убивец! Вор! Тараканище, этак и этак его растак...»

Поднялся переполох. Долгополов, радуясь в душе, вопил:

— Врет, врет! Облыжно... Твердозадов токмо жуликом воеводу обозвал да подлецом обсволочил... Подлец-де. Я по справедливости. К присяге... Крест поцелую.

— А-а, ты, щенячья лапа, врать? — Воевода размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Писчики, подкописты повскакали с мест.

— Волоки его, волоки! В холодную! Держать, гада, без выпуска, — свирепел воевода. — Гей, люди! Сыскать купца сюда! Твердозадова! Крамола! Смерды головы поднимают, аки змеи... Эвот под Оренбургом низкая сволочь бунт бунтует. Я вам покажу Петра Федорыча императора! Слава богу, государыня у нас, матушка Екатерина! Сыскать купца!

Парня поволокли вон. Служащие стояли как в оцепенении, тряслись. Лисье личико Долгополова покрылось крупным потом, красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства, толстобрюхий воевода пробирался, словно пьяный, к себе в покои, тяжело переводил дух, хватался за сердце.

— Батюшка, Сергей Онуфрич, — взяла его под руку молодая краснощекая воеводица, дочь простого посадского человека, — что ж ты, голубчик мой, ради принятия святых таинств в этакий раж вошел: кричишь, ругаешься, людей бьешь... Ой, грех какой, ой,

грех какой, право ну. Раздешься, ляг, отдохни. Глянь, вздышишь-то, словно рыба на песке. Мотри, кондрашка хватит.

Воевода струсил слов ее, разделся, отдуваясь выпил квасу, лег в постель. Свалили его поносные выкрики Ивашки. Господи боже мой, ведь всю правду смерд про воеводу молвил. Христопродавец, взяточник, вор, насильник, казнокрад... Так оно и есть. А как иначе? Вот нагрянет губернаторская ревизия — тут неладно, там неладно, здесь упущение по службе, — всех надо убогатворить, всякому хапуге-ревизору взятку дать. Вот и приходится с застрашенных жителей тянуть... Эх, доля ты служилая!

Вернулись солдаты, доложили подьячему, а подьячий воеводе:

— Винного пред твоей милостью купца Твердозадова добыть солдаты не доспелись. И сказывали те посланные тобой солдаты, коль скоро-де подошли они к хороминам купца, ворота-де оказались на запоре, а сам винный пред твоей милостью купец шумел-де из-за ворот: у воеводы-де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию, такого-де закона нет, а есть закон тягать оных фабрикантов в мануфактур-коллегию. И посему-де уходите прочь, иначе псов спущу, рабочих людей скличу, худо будет! И, шумя так, два выстрела из пистоли в воздух дал. Какое изволишь, воевода государь, распоряжение учинить?

И подьячий поклонился воеводе. Тот, лежа на кровати, помедлил, поохал и слабым голосом сказал:

— Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кой заповедал нам прощать врагам своим, я данной мне от великой государыни властью того винного предо мной купца Твердозадова на сей раз прощаю. Объяви сие.

— А как прикажешь...

— А того смерда Ивашку, дав ему острастки ради двадцать пять горячих лоз, отпустить домой, мерзавца, с миром.

Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадкой, переживал в

душе светлые минуты христианской добродетели: обидчика простил, парня наказал слегка рукой отеческой и отпустил домой.

— Зарежу воеводу, зарежу воеводу... Вот подойти, зарежу, — с остервенением бубнил измордованный Ивашка себе под нос, уходя с воеводского двора.

4

Наступили рождественские праздники. Все учреждения — воеводская канцелярия, суд, земская изба — закрыты на две недели. По старинному обычаю отворились двери тюрьмы, колодники были распущены по домам на подписку и поруки. В неволе остались на праздник только те, которых надлежало держать «неисходно без выпуска».

Загудели колокола, праздничный народ валом повалил в церкви. Затем пошло исстари установленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опивались насмерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженные. На окраине, а то и в середке города, пользуясь всеобщей гульбой и пьянством, пошаливали разбойнички, грабители. На святках убили в переулке вдову купчиху, с казначея сняли шубу. Поперек моста в ночное время протянули веревку, остановили почту, ямщику заткнули рот, почтальона ошеломили ударом в голову, кису с большими деньгами взяли. Говорили потом, что это дельце подстроено полицией.

У воеводы, бургомистра, ратмана, именитого купечества шли шумные пиры. Подвыпив, иногда на пирах дрались, вырывали друг другу бороды, били посуду.

Воевода за святки допился до чертиков, его дважды отливали водой, цирюльник пускал кровь ему.

А в день крещенья, после водосвятия на Волге, как ушел крестный ход, многие стали купаться в иорданской проруби. Поохотился и воевода очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил в расписных санях с коврами. Жена плакала, вопила: «Не пушайте его, люди добрые, не пушайте: он не в

себе, утонет!» Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил валенки, длинную фланелевую рубаху (больше ничего на нем не было), перекрестился и, загоговав, скакнул, как грузный морж, в прорубь. Зеленая вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лед. Праздничная толпа зевак захохотала. Выкрикивали:

— Эй, Таракан! Воевода! Город горит!

— Воевода! Тараканы ползут!..

— Поджигай!..

Зажав ноздри и уши, воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду, выскочил, сунул ноги в валенки, накинул шубу, упал в сани:

— Погоняй!

Вдогонку хохот, свист, бегущая орава веселых ребятишек.

— Эй, Таракан, Таракан! — голосили мальчишки.

— Глянь, глянь, Таракан водку хлещет!

Воевода, злобно выкатывая бараньи глаза, грозил кулаком, ругался:

— Гей, стража! Дери их, чертенят, кнутом, — и тянул из фляги романею.

Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории и до сих пор зовет воеводу Тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем просвиры Феклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе валили кучами разные советчики: старушонки, посадские люди, ворожейники, духовенство, Христа ради юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели и, предсказывая второй пожар горше первого, давали воеводе разные суеверные советы, один глупей другого. Воевода сшибся с панталыку, а как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу.

«Рапорт воеводской канцелярии Сенату¹.

Сего Мая 20 числа, на память мученика Фалалея, волею божией половина богоспасаемого града

¹ Рапорт и резолюция Екатерины — подлинны.

выгорела дотла и с пожитками. А из достальной половины града даже неудержимо ползут тараканы в поле. И, видно, быть и на сию половину города гневу божию. И долго ль, коротко ль, а и оной половине города гореть, что и от старых людей примечено. Того ради Правительствующему Сенату представляю, не благоугодно ли будет градожителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину запалить, дабы не загорелся город не вовремя и пожитки бы все не пожрал пламень».

Этот рапорт в виде курьеза был доложен государыне. Прочтя оный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию:

«Половина города сгорела, велеть жителям строиться. А впредь тебе, воеводе, не врать и другой половины города не зажигать. Тараканам и старым людям не верить, а дожидаться воли божией».

Так и пошло с тех пор воеводе прозвище — Таракан да Таракан.

Святки в городе, слава богу, завершились. Без душевного, без телесного повреждения остались в Ржевском городе немногие. В их числе был и знаменитый самоучка Терентий Иванович Волосков. В первый день рождества, по своему почетному положению, принимал у себя поздравителей, сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино. На второй день накатила на него от непривычного безделья зеленая скучища. На третий день изобретатель с утра обложился книгами, с жадностью поглощал рукописные листы перевода «Астрономических лекций шотландского механика Джемса Фергесона» (перевод сделан тоже ржевским жителем — механиком Собакиным), читал евангелие, апокалипсис, библию, стараясь вникнуть в премудрость притчей Соломона. А назавтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвею Алексеевичу Чернятину: купец сам измыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небыва-

люю механическую кузницу. Ржев славен был одаренными людьми!

Невзирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по-своему несчастен. Он искренно скорбел неустройством жизни русской, повреждением нравов, торговлей крепостными, как собаками, всеобщей темнотой. И не было такого человека по плечу ему, чтоб разделить с ним тягостные думы.

— Доколе, господи, потерпишь всю мерзость запустения на Руси святой? — жаловался он в пространство. — Кругом бесправие, разбой, прямо сердцу больно. Держава наша, господи, в опасности... Бабий век грядет: не помнящая родства Екатерина¹, две Анны, веселая Елисафет, опять Екатерина. Пышно, суетно живет царица, сразу по пятьдесят тысяч мужиков с землей любовникам своим дарит. Вот где горе земли русской, вот над чем должно зубовно скрежетать и злые слезы лить! А при высочайшем дворе блеск, горше тьмы, и блуд, горше Вавилона. От этого ослепляющего блеска слепнет всяк, стоящий в блеске, — иноземные послы, русские вельможи и дворяне, — слепнет и уже не видит ничего, что творится в зело просторной стране нашей. Вот я, Терентий Волосков, паки и паки вопрошаю себя: что делать, с чего начать, чем помощь оказать родине своей? Вопрошаю тщетно, и нет ответа, все нет ответа на помыслы мои.

Так мучился сам с собой совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков.

И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных, незнаемых, было несметное в России множество. Сидели они, как жемчужины в навозе, во Ржевах, Нижних-Новгородах, Барнаулах, Бежецках, Великих Устюгах, в селах, в весях, в тюрьмах, на каторге.

Сильные духом, но беспомощные разъединенностью своей, они даже не ведали друг о друге.

И неустроенная жизнь текла над ними.

¹ Екатерина I, жена Петра Великого.

Жизнь — голодная и мрачная — в низменных пластах деревни; жизнь — блестящая, среди даровой бесчеловечной роскоши — в тоненьком пласте вельможного дворянства; жизнь — расчетливая до полушки, жизнь — грабительская — в гнездах молодой породы: крупных коммерческих дельцов, фабрикантов, именитого купечества — вся эта неустроенная жизнь, бедная богатством, богатая малограмотными попами, разбойниками при больших дорогах, продажными сенаторами, подкупными судьями, всякой строкой приказной и тому подобными паразитствующими, сосущими кровь людскую насекомыми, — эта сумеречная, бесправная жизнь во всей полноте своей и наглой обнаженности текла неспешно над головами людей большого сердца, людей неслучайных, незнаемых.

И вот еще несчастный, незнаемый купец Остафий Долгополов пылко восхотел считанным сделаться и, того не ведая, из незнаемых в русскую восемнадцатого века историю попасть. В конце концов с превеликим злоключением, опасностью, страхом того достиг. А достигнув, не рад жизни своей стал...

Да! Поистине — лучше быть в незнаемых, чем в знаемых.

И в конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Остафий Долгополов помчался на ясные очи Петра Федорыча Третьего — в его царские нозы бутыхнуться, должок сквитать, всякие, корысти ради, выгоды себе заполучить...

Знай, ямщик, кого снежными полями мчишь. Легче, ямщикок, на поворотах, громче свищи, удалей песни пой, подстегивая кнутом своих кобылок!

Сани — скользом-скользом, снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает заунывную какую-то, тоскливую, тоскующую музыку: «Со святыми упокой душу новопреставленного раба твоего Остафия». Но никто не скажет: в смерть или не в смерть несется смелый Остафий Долгополов.

Остафий Долгополов несется скользом-скользом прямо в пекло, на опасное свиданьице к самому Емельяну Пугачеву.

До Москвы Остафий Долгополов ехал вполне благополучно. Правда, в пути, по наущению дьявола, были мелкие невзгоды; впрочем сказать, денег за постой он не платил, а при прощанье объявлял хозяевам, что, мол, правится в Москву за благословением к митрополиту, оттуда же через море-океан во святой град Ерусалим, к светлой пасхе, и нет ли, мол, у вас, хозяева, усердия записать ваши имена в «о здравие», чтоб ерусалимский владыка-патриарх помянул их на Голгофе. Ну, известное дело, благочестивые хозяева постоянных дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечу ко гробу господню, купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжицу свою. Так, не торопясь, и ехал, незаметно прихватывая впопыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти.

Лишь в притрактовом селе Паскудине заминка вышла. Ночевал Долгополов у попа, приветливая матушка накормила его пирогом с солеными груздями да ухой, он в благодарность благовествовал либо сказывал побаски, утром распрощался по-приятельски и поехал с миром.

И только миновал лесок, глядь-поглядь, нагоняют двое верховых:

— Стой, ворище, стой!

Долгополов вскочил дубом, выхватил у парнишкиямщика кнут, стал сплеча охаживать лошаaddock. Однако всадники настигли, рослый дьякон сгреб коренную под уздцы, седовласый плюгавенький попик, искажаясь в лице, шумел:

— Ты, тать, мою серебряную лжицу хлебальную украсть спроворил! Грех тебе. Подавай хапаное!

Рослый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок Долгополова, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, подал батюшке. Купец пал на колени, сдернул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать:

— Богом клянусь, не брал! Подсунул кто-то, не иначе — сатана...

Дьякон загнул Долгополову салазки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу в безмолвии.

Затем духовные лица, оба-два с отцом Прокофием, поскакали обратно, радуясь и славя бога.

Остафий же Трифонович, заохав, приподнялся мало, спросил ямщика-парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз, тот ответил: «Не совсем что-бы»; Долгополов, благословясь, встал, вынул из денежной кисы медный сибирский с двумя соболями пятачище, приложил его к опухшему глазу, обвязался белым платом, сел в сани, с горестной ухмылкой взглянул на истоптанное в сугробе место и тяжело вздохнул.

В первопрестольный град Москву прибыл он в середине марта. На окраинах, над Кремлем и за Москвой-рекой по рощам граяли грачи, встречали весну, гнезда вили. Остафий Трифонович то и дело на соборы, на монастыри, на церквушки крестился, аж десная рука устала, аж зазябла голова. Ну и храмов божьих, ну и звону на Москве!

По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особенно на Варварке, многие дома как бы нежилые: двери заколочены, стекла в окнах побиты.

— А это, вишь ты, в третьем годе чума в Москве шалила, поди слышал? — пояснил седоку старик возница. — Ена, чтоб ей лихо было, тьма тьмущую народу загребла, прямо счету нет.

Долгополов остановился в купеческом подворье знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище¹, в чуму 1771 года отведенное старообрядцам для погребения. В нововыстроенной деревянной часовне собирались многие раскольники-капиталовладельцы. Долгополов старался завязать с ними торговые дела с расплатой векселями, но раскольники, сами жохи, видели Долгополова насквозь, в руки не давались.

Бродил Долгополов по кабакам, трактирам, иногда бывал вполпьяна, а больше притворялся пьяным, вы-

¹ Впоследствии знаменитый оплот старообрядчества.

нюхивал, чем дышит народ московский; нельзя ль, мол, из подслушанных речей какую ни есть корысть себе извлечь.

А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший повар княгини Уваровой с приездом из деревни земляком пришли продернуть по стакашку сидрала. Тут тебе с фиолетовым запойным носом долгогривый монах-бродяга, — на груди жестяная кружка с образком, десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм Преполовения в несуществующем селе Крутые Задки, — человек бывалый, беспаспортный, битый, не единожды в тюрьме сиживал. Тут и воинственный будочник, — угощает его пойманый на барахолке жулик: «Не веди, дяденька, в приказ, пойдем выпьем». У жулика — желтая опухшая рожа, щека подвязана просаленной тряпицей, из-под тряпицы кончик носа и рыжий ус торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских челядинцев в цветных камзолах, в сермяжных свитках, в стареньких ливреях. Большой трактир — «распивочно, навывнос» — занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот.

Вечер. Чадят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря, на кабацкой стойке салтные свечи; плешивый чахоточный целовальник, поплюнув пальцы, то и дело срывает со свечи нагар. Меж грязными столами с пьющей братией шныряют половые — парни в красных рубахах с засученными рукавами, в руках деревянные, а то и железные подносы, на подносах штоф с водкой, стакашки, кучками разложены огурчики, рыжики; рубленое осердие, печенка. Шум, крики:

— Эй, половой! А поджарь мне на три копейки рыбки боговой, салакушки...

— Сбитню, сбитню нацеди погорячей...

— А ну, завари на пробу китайской травки, по-господски желаю!

Долгополов съел целую селедку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком сидел с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова.

— А где ж твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем? — пришепетывая, заговорил с незнакомцем Остафий Трифонович.

— А как же! — встряхнул кудрями шустрый молодец. — Наша лавка на три раствора помещается в красных рядах, аккуратно насупротив храма Василия Блаженного. Ситцы, сукна, шелк, веревки, хомуты.

— Так-так-так. Веревки?

— А как же! Мы веревки на Волгу продаем, опять же на Макарьевскую ярмарку. Нам веревки ржевские фабриканты поставляют. А как же!

— Так-так-так. Эй, половой! — весело крикнул Долгополов и стал бороденку свою на пальчике крутить. — А ну-ка, друг, спроворь полштофика винца да яишенку на двоих, глазунью. — И, обратясь к молодцу: — А знаешь, кто пред тобой сидит? Я пред тобой сижу, ржевский купец Абросим Твердозадов, фабрикант.

Приказчик открыл рот и вытаращил глаза. Долгополову показалось, что малый сомневается в истинности слов его и, чтоб убедить приказчика, заметил:

— Ты не взирай, голубь, что одежонка скудная на мне, здесь кабак, опасаясь в сряде-то, обнимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу, человек я самосильный.

Веснушчатое лицо молодца сразу поглупело, он встал, ослабился, сладким голосом сказал:

— Ах, какая честь... Я даже сести теперича не смею.

— Садись, садись... Молви-ка ты мне, парень хороший, сам-то дома?

— Нету-с, — робко присаживаясь, ответил молодец. — К Троице-Сергию говеть уехали Сила Назарыч-то, грехи повез. И с хозяйкой со своей. И с доченькой, с невестой. Честное слово-с...

— Жаль. Ах, жаль до чего, — пригнул Долгополов голову, по-несчастному уставился глазами в пол. — А я у Силы-то Назарыча хотел товаров красных отобрать, ведь он же у меня веревки-то покупает, сиречь моей выделки... Я в обмен хотел.

— Ах, не извольте печаловаться, господин фабрикант: замест Силы Назарыча его сынок-с, наследник-с... А как же! Пожалуйте к нам в лавку за всяко-просто, я с превеликим усердием потщусь вам добрый товарец подобрать.

— Так-так-так. — Радость подкатила к сердцу Долгополова, пронырливые глазки то пропадут в узких щелочках, то выскочат. — Эх, друг... Ведь сам знаешь, я изо Ржева-города-то и не выезжаю николи, не токмо сына, а и самого Силу-то Назарыча в очи не видал. Вот в чем суть. — И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. — А ты слушай, приятель, удружи мне, потолкуй с молодым хозяином-то: так, мол, и так, фабрикант Твердозадов, мол, приехал в Москву, на пятнадцать тысяч товаров накупил: пеньки, красок, парчи попам на ризы; деньгами, мол, поистряся, а нуждается, мол, еще в красных товарах... Понял, друг?.. А мы бы с молодым хозяином твоим дело сделали. Я договор подписал бы на постав веревок и вексель выдал бы.

Молодец с готовностью воскликнул:

— Милости просим, вашество, уж я все подлажу, будьте без сомнения-с...

— Ну, спасет тя бог, дружище. И я тебя не оставлю. Уж поверь. Ты вот что, ты приезжай во Ржев, я тебя, кудрява голова, на богатой купеческой дочери женю, в люди выйдешь... Ей-богу, правда.

Молодец от прилива чувств всхрапнул, затряс головой и ну целовать руки Долгополова, обливая их пьяными слезами:

— Ну, такого обходительного человека впервой вижу... Верьте совести-с!

— Ну, полно, полно... Эй, половой! А ну-кось романей по стакашку на двоих.

Им подали романею и, ради уваженья, сальную зажженную свечу.

— Братия! — гнусаво вопил в темном углу, где сгрудилось простонародье, пьяный самозванец-монах — бродяга. — Братия, православные христиане!.. А ведомо ли вам, от царя-батюшки, из Ренбург-города, манифест на Москву пришел.. Черни избавитель,

духовных покровитель, бар смиритель, царь! На царицу войной грядет...

Народ зашумел, задвигался, потом притих.

— Слыхали, ведомо! — отозвался кто-то из середки. — Намеднись сотню гусар на телегах погнали в Казань, шурыка моего заграбастали, гусар он.

— Правда, правда, — поддержали голоса. — Слых есть, царь по Яику-реке гуляет, города берет, на Волгу ладит.

— Посмотри на Калужскую заставу, — по два гонца на день оттедов по Москве к генерал-губернатору скачут... Война там.

— А пошто ж о сем по церквам не объявляют?

— Трису празднуют...

— Ха-ха!.. — шумел народ.

Многие, выпрастываясь из-за столов, пошагали к кучке, где монах. Резкий раздался свист.

— Ого! А ну еще подсвистни, — опять загнусил человек, одетый монахом. Распаленный сочувствием толпы, он залез на скамейку, вскинул руки вверх. — Готовься, Москва, великого гостя встретить!.. Будя нам под бабой жить!.. Точите, ребята, топоры!

Тут двое ражих из другого темного угла, опрокидывая скамьи, подскочили к лохматому монаху, ударом по шее сбили его с ног, — кружка с медяками взбрыкнула, — сгребли за шиворот, вон поволокли.

— Прошибся, ой, прошибся, слуги царские, облыжно говорю! — вырываясь, вопил бродяга и лаял по-собачьи. — Гаф-гаф-гаф! То вино во мне глаголет, бес хвостатый вопиет во мне... Гаф-гаф! Заем! Порченый я, слуги царские, зело порченый... Гаф-ууу!.. А матушке Катерине верой-правдой...

Поднялась суматоха. Стражники хватали людей без разбора. Народ сразу оробел. Всея толпой, дав друг друга, хлынули на улицу, косяки дверей трещали. Чахоточный целовальник внаскок налетал на завязших в дверях гуляк, визгливо орал им в спины:

— Православные! Робыта! А деньги-т, деньги-т! Напили-нажрали... Побойтесь бога-т... Кара-у-ул!

На другой день, простояв обедню в раскольничьей часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошел в покои своего квартирного хозяина, купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником благовещенья пресвятые богородицы и, помявшись мало, сказал:

— Отец, Нил Сидорыч! Уважь мне в твоей лисьей шубе знатнецкой да в шапке бобровой по городу взад-вперед проехать на лошадке на твоей...

— Пошто это? — строго спросил горбоносый, в большой бороде старик.

— А так, что дело у меня, отец, немаловажное. Кой к кому заехать надлежит из людей великих. Подарок привезу тебе, отец.

Старик подумал, провел по морщинистому лбу рукой.

— Бери... Токмо не изгадь мотри одежину-то, да и лошадь не упарь.

Касаясь пальцами цветных половиков, Долгополов поклонился старику, сказал: «Спаси бог за доброту твою», — и на цыпочках пошагал обратно.

— Стой, Остафий! — Старик подобрал длинные полы кафтана и сел в мягкое кресло. — Вот ты собираешься в Казань-город ехать да в Ренбург... Смотри, брат, не влопайся в оказию. Тамотка сугубая волно-ваха заварилась, головы с плеч, аки кочаны, летят, народ вешают, кровь льется.

— Откудов ведаешь?

Старик раскольник, как бы опасаясь чужих ушей, огляделся по сторонам и — тихо:

— От игумена Филарета, настоятеля нашей обители в Мечетной слободе, что на реке Иргизе. Он впервые и Пугачева обогрел...

— Какого Пугачева, отец?

Старик пристально из-под седых бровей посмотрел на Долгополова и, ничего не ответив на его вопрос, продолжал:

— А в генваре месяце года сего игумен Филарет прибыл в Казань хлопотать, чтобы с иргизских скитов рекрутов не требовали в набор. И прислал откудов нашему рогожскому протопопу грамотку. И пишет

в ней игумен Филарет, что был он самовидцем, как в городе Казани предали лютой казни некоего пугачевского главаря и что-де войско генерал-майора Кара разбито Пугачевым, а сам-де Пугачев на Москву идет... Впрочем сказать, ступай, Остафий, верши дела свои... Вижу, невтерпеж тебе... Иди. Да приглядишься позорче, что на Москве-то деется. Шумки по Москве идут... Народ пришествия государя ожидает...

Остафий Трифонович смутился, сказал, виновато улыбаясь:

— Да уж не Петра ли Федорыча Третьего? — и, не получив ответа, продолжал: — А я все ж таки в Казань поеду и в Ренбург поеду... Я смелый. Уж ты, пожалуй, не отговаривай меня, отец Нил Сидорыч, не застрашивай, пожалуй...

...Часа через два Остафий Долгополов подкатил на хозяйском рысаке к обширному дому купца Серебрякова, что в Замоскворечье. Долгополова радушно встретил у железных ворот знакомый кудряш приказчик и повел в дом.

В большой горнице обедали двое: молодой хозяин с курчавой бородкой на нежно-розовом лице и его жена, широколицая, грудастая Машенька. Хозяин встал, Машенька облизала ложку и тоже встала. Долгополов истово покрестился на богатый кивот, установленный с потолка до полу образами в позлащенных ризах, и отвесил поклон хозяевам.

— Добро пожаловать, — приветливо проговорил тенорком хозяин. — Сдается мне, что вы Абросим Силыч Твердозадов из города Ржева будете? Мне наш Василий сказывал...

— Так и есть. Я — Твердозадов, ржевский фабрикант, — развязно сказал Долгополов, испытующе поглядывая на молодого купчика. — А вы Силы Назарыча сынок?

— Так точно. Угадали. Митрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, Марья Карповна. Будемте знакомы напередки.

Машенька, покраснев, заулыбалась и, стараясь скрыть в огромной цветной шали свою беременность, проворковала Долгополову:

— Да вы разболокайтесь, пожалуй, да залазьте за стол потрапезовать с нами, чем бог послал.

— Благодарствуем-с на приглашенье. — И Долгополов важно снял с плеч богатейшую с бобровым воротником чужую шубу, аккуратненько положил ее на парчовый диван, еще раз покрестился и сел за стол. Ему подали на оловянной тарелке леща с кашей.

— Тятенька не единожды говаривал: сколь годов, говорит, с фабрикантом Твердозадовым торговлю веду, а в глаза-де человека не видал. А вот вы и пожаловали. И что ж, большая ваша фабрика канатная? — И хозяин положил гостю две доли пирога.

— А так, ежели без хвастовства, первая по городу.

— А вот у Лукьянова Никандра Тимофеевича, у того как?

— Много гаже-с. И пенька второй сорт. Браку много-с. А я делаю канаты с веревками даже против заморских без охулки... — Долгополов обсосал жирные после рыбы пальцы и, незаметно закорячив ногу, обтер их о голенище.

— Ах, чтой-то вы, — заметив это, сказала Машенька и протянула гостю полотенце: — Вот извольте рушничок.

После пирога с изюмом, после клюквенного киселя с миндальным молоком хозяйский сын, сыто рыгнув и приказав жене: «Покличь-ка Ваську», повел гостя в контору.

Дело при участии кудряша приказчика Василия быстро завершилось. Долгополов отобрал по образцам красного товару на две тысячи, дал письменное обязательство погасить долг на тысячу рублей веревками своего производства, а на остальную тысячу выдал вексель. Оба документа подписал: «Города Ржева канатных дел фабрикант Абросим Твердозадов».

Помолившись богу, ударили по рукам, на прощанье поцеловались.

В ночную пору, когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука.

— Восстань, Остафий, — тихо, но внушительно сказал старик Титов. — Обряжайся, едем в Рогожскую часовню, соборное бдение у нас тамотко. Велено тебе быть...

По темной Москве ехали долго. Легким морозцем сковало грязь. Кой-где колеса тарахтели по деревянному из накатника настилу. Ночная Москва тиха. Разве-разве какой гуляка прокуролесит с тоскливой песней, пока не свалится где-нибудь на куче навоза и, ядрено обругавшись, не заснет. Да у кабаков, то здесь, то там, гуднет-расшумится драка с поножовщиной, с диким криком: «Спасите, режут!»

Опаски ради у старика Титова меж коленями трехфунтовая на веревке гиря, а в передке у толстозадого кучера-богатыря под рукой безмен. Но, слава богу, странствие завершено благополучно.

Рогожская часовня чернела неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтоб не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь, — ответил изнутри голос, и обитая железом дверь отворилась.

Горело паникадило, топились изразцовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафий Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона: восседавшему на кресле, спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику в скуфейке и с лестовкой в руке, затем вправо-влево и назад сидевшему на скамьях и на полу народу. Здесь на ночной совет были собраны надежнейшие старообрядцы-старики.

— Друзе Остафий! — окончив совещание, строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп Савва. — Мы известны, собрался ты в Казань-город по торговым делам своим. Мы радеем о душе твоей и бранных телесах твоих.

Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих камнях. Старцы, шевеля белыми бородами, широко зевали, закрепивая рты.

— Может статья, — снова заговорил Савва, — встретишь ты в скитаньях своих старца Филарета с Мечетной слободы, что на Иргизе-реке. Был он допрежь из московских купцов второй гильдии, мелочную торговлю вел, а теперича, соизволением Божиим, игумен. А не его, так, может, Гурия встретишь, тоже скитский старец с Иргиза, а допрежь был нижегородским купцом Петелиным...

— Я, святой отец, не токмо в Казань, а и подале правлюсь, — перебил Остафий протопопу Савву. — А куды, о том желательно, отец, перемолвиться в тайности с тобой.

— Изрядно хорошо, — ответил Савва и, восстав с седалища, вошел вместе с Долгополовым в предстанье алтаря.

— По тайности, сокровенно глаголю тебе, отец всечестной, — зашептал Долгополов, — чаю я повстречать самого батюшку Петра Федорыча...

— Сие ведомо мне... — При тихом сиянье, огоньков Долгополов заметил, как седобородое, с румянцем, лицо старика заулыбалось. — Езжай, езжай, — зашептал он жарко, — толкуй государю: мол, евоное знамя голштинское добыто в Ранбове¹ нашим старанием через великий подкуп... И послано то знамя голштинское в царское становище с неким знатным ляхом Владиславом. Подержи, Остафий, сие в памяти... Можешь?

— Завсегда могу, памятью бог меня взыскал.

— Клянись — ниже под пыткой, ниже при смертном часе никому не поведаешь тайны сей, как токмо государю, — возвысил старец голос, и глаза его засверкали. — Клянись!

— Клянусь!

— Стань на колени... Клянись пред святым евангелием и крестом господним...

¹ Ораниенбаум под Петербургом, резиденция Петра III.

— Клянусь, клянусь! — преклонив колена и воздевая десную руку, восклицал купец.

Вынув из-за пазухи записку, старец передал ее поднявшемуся Долгополову.

— А сию грамотку сокровенно отдай Гурию алибо Филарету с рук на руки. Послание изображено цифирью, ключ к пониманию вестен им.

Тут загудел колокол к заутрию, и Савва рек:

— Изыдем, чадо, к братии, сотворим молитву... А государю молви: старозаветная Москва ждет его и сретение ему уготовляет.

И они вышли к народу.

Беседой с протопопом Долгополов был ошеломлен. Сердце его билось, мысли путались. Вот так чудеса в Москве!

Дома старик Титов секретно сказал ему:

— Токмо, чур, не обидься, Остафий. Гадала наша община денег тебе вручить для государя, да я, грешный, отсоветовал: зело легкомыслен ты и весь в мечтаниях. Уж не прогневайся, Остафий.

На другой день Остафий Трифонович купил в долг у знакомого купца Волкова красок на триста восемьдесят рублей, а все свои деньги, серебро и медь, поменял на золотые импералы, зашил их в штаны и шапку. В шапку же зашил и тайную грамоту протопопа Саввы. А с обеда выехал в путь с целым возом красного товару, что взял у купеческого сына Серебрякова.

В конце апреля Русь зазеленела, одевались листвою деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, всюду палило солнце, дороги подсохли, товары Долгополова помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось все веселей, все легче.

Давно уж вернулся из Троице-Сергиевской лавры Сила Назарыч Серебряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, омыв душу в святоотеческой лавре слезным покаянием, и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын Митрий Силыч, похваляясь успехами

торговых дел в отсутствие родителя, сказал отцу с доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, Сила Назарыч с суровостью спросил:

— Это чья рука?

— Фабриканта Твердозадова, тятенька.

— А паспорт глядел у него?

— Нет, тятенька, поопасался требовать.

Тут Машенька не вовремя ввязалась:

— Они даже у нас трапезовали...

— Молчать! — топнул на нее Сила Назарыч. — Ишь ты, растопырилась с брюхом-то со своим... Пошла вон! — И, обратясь к растерявшемуся сыну: — Как он из себя?

— Шуба с бобровым воротником, прямо тысячная шуба. А сами они, тятенька, не всякого большого росту, худощавые, с бородкой, лицо рябое.

— Твердозадов-то худощав? Дурак ты, черт... Да у Твердозадова спинушка как этот шкаф и росту, почитай, сажень...

— Да ведь он же в Москве сроду не бывал, тятенька.

— Зато я у него во Ржеве-городе бывал. Эх ты, дубина стоеросовая! Жулику товар продал! — заорал косоглазый и тщедушный Сила Назарыч, уцапал в горсть кудри широкоплечего Митрия, стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку.

Митрий Силыч, могший одним щелчком убить папашу, даже и не пытался вырваться, только молил:

— Тятенька, простите великодушно... По молодости по моей... Васька меня уверил...

Хозяин разбушевался, сшиб ладонью блюдо с пирогом, схватил нагайку, опоясал ею сына, побежал пороть сноху, что принимала с честью жулика, но был схвачен женой своей:

— Машенька на сносях, дурак плешивый!

Хозяин ударил жену по щеке, грохоча подкованными сапогами, сверзился по внутренней лестнице в «молодцовскую» и таки порядочно измордовал кудряша

приказчика. Утомленный столь резкими и многими движениями, лег спать, бормоча:

— Господи, прости ты мое великое прегрешение... Вот тебе и лавра...

А как назначена была после пасхи свадьба его дочери Клавдии и поручика Капустина, то он и положил в мыслях — оба темных документа на две тысячи всучить будущему зятю в приданое за дочерью совокупно с наличными деньгами: зять — человек военный, с кого надо и не надо взыщет денежки свои.

Долгополов все ближе и ближе подавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно: крестьяне стали дерзки, на улицах гуртовались кучками, перешептывались, а то и громко говорили: вот и к ним-де скоро припожалует царь Петр Федорыч, велит всех дворян передавить, а землю мужикам отдаст. Долгополов всячески поддакивал.

Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шелковый для кисета лоскут, посверкал на Осташа острыми глазами, молвил:

— Торгуй, торгуй, купец, да поскорейча, а то нагрянет царь-государь, еще неизвестно, будет ли миловать торговых... Тоже кровушку-то нашу ладно высасываете, сальные пупы!

Толпа поддержала парня недобрый смехом. Долгополов наскоро задернул воз дерюгой и с шуткой, с прибауткой тронулся на большак, на главный тракт: там все-таки воинские разъезды рыщут, на мужиков наводят страх.

Однажды застиг его в лесу вечер, быстро смеркалось, дождь накрапывал. Навстречу — ватага крестьян, все — вполпьяна. За кушаками топоры, в руках дубины, у иных за голенищами ножи, за спиной смотанные кольцом веревки. Долгополов заорал вознице:

— Гони!

Лошади помчались. Внезапно схваченный веревочной петлей, Долгополов, под дружный смех толпы, перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал,

его мотнуло в сторону, кой-как скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячьим, с подвойкой, голосом: «Ой, ой, ой...»

Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем, в лаптях, усищи сивые, горбатый нос разбит.

— Кто таков? Кому служишь — сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. — Государыне али государю?.. Держи ответ.

Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул:

— Вестимо — благочестивейшей государыне Екатерине! — и отвесил солдату поясной поклон.

— Ребята, вешай торгового по указу его величества императора Петра! — скомандовал солдат набежавшим мужикам.

Душа Долгополова наполнилась ужасом, он пал на колени, завопил:

— Вру, вру, вру... Ей-богу, вру! Со страху я... Петра Федорыча законным государем почитаю! А от Катьки давно трекнулся... Она, ведьма заморская, извести хотела государя нашего, да бог...

— А-а-а, — перебил солдат и в свирепой улыбке оскалил зубы. — Слыхали, ребята, поносные речи на государыню Екатерину Алексеевну?.. А подай-ка сюда, ребята, нож повострей, пороху на эту гниду жаль тратить...

Мужики весело заржали. Долгополов затрясся, окинул толпу отчаявшимся взором, прошамкал, утирая слезы кулаком:

— Братцы, сударики! Дак кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого — за Петра Федорыча Третьего али бо за государыню Екатерину?

— А тебе пошто знать?

— Ах, братцы... за кого вы, за того и я...

Ватага еще пуще захохотала.

— Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек, я вам, братцы, каждому на рубаху самолучшего канифасу оторву... Дарма!..

— Да мы и сами возьмем... В долг... Поди пове-ришь? Ребята, хватай! — И толпа, пыхтя, бросилась

к возу. Впереди всех бежал солдат в лаптях. — Токмо на саван, ребята, оставьте старичонке-то. Ха-ха!

Хлынул дождь. У воза жадная свалка началась. Долгополов, спасая жизнь, невидимкой юркнул в гущу леса. «Грабьте, грабьте, сволочи, товару там безделица, да не шибко дорого он и достался-то мне...» — мелькало в мыслях беглеца. Он утекал куда глаза глядят, прислушиваясь к драчливым крикам полухмельной ватаги. Пробежав с полверсты, он изнемог, пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел, вот раз и два из ружья пальнули, и все смолкло.

— Батюшки! — не своим голосом, как настигаемый волками заяц, пропищал Долгополов. — Батюшки! Шапка! Шапку потерял...

Он вскочил, схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали, он снова упал в ельник и, хныкая и боясь громко кричать, давился слезами и повизгивал: ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство, паспорт там, скрытная бумага протопопа Саввы... Боже мой, боже мой, что же ему делать?.. Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдернули с телеги. И, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять воз.

— Максим! Максим!.. — кричал он и прислушивался, не ответит ли возница. Но всюду тишина. Тьма сгущалась. Шел, шел, натываясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, вконец закружился, потерял остатки сил и, внутренне раздавленный, сел на пень. Рукой ограбленного скряги он прощупал зашитые в штаны импералы, освидетельствовал все тайные и явные карманы, в них серебро и медяки. Тут скаредные мысли поослабли, от сердца отлегло, и Долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности: разбойники, глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками, лешими. Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина, слух обострился, душа сжалась. Долгополов сроду не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели.

— Максим! Макси-и-им! — неистово взывал Долгополов.

Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Дождь давно перестал, ночные ветерки шумели по верхушке леса.

Мало-помалу успокаиваясь, купец начал подремывать. «Нет, спать не можно, черти замучают, лесовик придет — душу вынет...» Покряхтывая и разминая поясницу, он встал, отломил сук, обвел им по земле вокруг себя черту, приговаривая: «Бог в черте, черт за чертой», опять сел на пень, окрестил воздух со всех четырех ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услышал: «Максим, Максим!» — будто спустя большое время передразнили его. Он открыл глаза и во весь голос закричал:

— Макс-и-м!.. Я ту-та-кааа!!!

Только эхо сонно пробубнило, и никто не ответил Долгополову. Он слабо удивился, но испугаться не успел: глаза его опять смежились, все исчезло вокруг.

ГЛАВА II

Месть муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полудержавный властелин

1

Узнав, что Пугачев оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разъезды к крепости Ново-Сергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками слободы: Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался,

Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедраги. Это испугало Пугачева.

— Нет, други мои, — сказал он, — этим местом нам не пройти, видно, и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.

Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убойные: то раздраные сугробы, то по колено коням грязь. Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачева были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполусерьез, вполухутку:

— Если нам в здешнем краю не удастся, пойдем, детушки, прямо в Питенбург. Чаю, наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там...

Атаманы упорно молчали. Их даже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армией ночевали на хуторе проводника казака Репина.

Снег быстро таял. Всю ночь с крыш дружная капель была. По оврагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.

Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами.

— Теперича мы, Петр Федорович, словно бы в шашки с Голицыным играем, — чрез силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате за столом, ели кашу. — Как бы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер Голицын-то...

— Не моги ты, Григорьич, об этом и думать, — угрюмо возразил Пугачев. — Лучше прикинем-ка, детушки, куды таперь пойдем.

— Пойдем в Каргалу, Сакмару да на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев-городок¹, там добудем провианта, — отвечали ближние.

— Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? — усомнился Пугачев.

— Конечно дело, долго там сидеть неподручно будет, — отвечали атаманы.

¹ На северном берегу Каспийского моря, при устье реки Яика (Урала).

— Я бы вас на Кубань провел, — раздумчиво сказал Пугачев, — да таперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти, врагом заняты, в степу еще снега, да и провианту маловато у нас... Пожалуй, и не пройдешь таперь...

Никто не знал, куда идти, как от беды спастись. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен наособицу: он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни ее брата джигита Али, ни Шванвича... Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу?

Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева через переводчика Идорку:

— Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?

— А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо еще куда подале... Пробудем там до весны, а коль скоро дождемся хорошего времени, поведу я свое воинство на Воскресенские Твердышева заводы.

Кинзя вдумчивыми глазами воззрися в похудевшее лицо Пугачева и бодрым голосом сказал:

— Ну, ежели вы на заводы придете, в нашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.

— Благодарствую, Кинзя Арсланыч, спасибочко тебе!.. Верный ты, — растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.

Он тотчас приказал Падурову и Почиталину написать воззвание к башкирскому народу и письмо князю Голицыну.

— Пускай князь пораздумает, с кем воюет, супротив кого идет, — приподнято говорил Пугачев, сияясь произвести впечатление на ближних. — Да не забудьте, господа писаря, напомнить ему, что, мол, отцы и деды его верой и правдой служили моим приснопамятным предкам.

Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой да Горбатов-офицер

с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?»

Двадцать шестого марта Пугачев с войском был в Каргале, он занял ее без боя, так как Рейнсдорп не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванов с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атамана Мусу Улеева и всех каргалинских старшин насмерть переколоть, дома их сжечь.

Две красавицы-татарки — Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачева помиловать их мужей — сотника и атамана. Но Емельян Иванов в раздражении сказал им:

— Ваши мужья — не люди, а собаки! Они, изменники, наивернейшего слугу моего погубили — Хлопушу.

Учиня быструю расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было триста человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощекий Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.

В тот же день Пугачев занял Сакмарский городок, а так как провианта в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось чего-нито там сыщешь».

Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:

— Когда ты свою Стешу отправлял домой, не заметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?

— Нет, Тимофей Иванович... За суетой и ни к чему мне было... Не до баб теперь...

Творогов быстро налетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл провианту, но, приметя, что к слободе подступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьма на своих конях. Невзирая на весенние, радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем, тоской в глазах ехала к своему Падурю.

— А где Шванвич? — спросил Творогов.

— Мы искали его, нету, — ответил Али и переглянулся с сестрой.

Губернатор Рейнсдорп, чтоб как-нибудь оправдать свое ротозейство, в донесенье по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было произведено «злодеями» под прикрытием густейшего тумана: «Внезапно подкрались и ударили». Но член-корреспондент Академии наук Рычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал: «Могло стать, что в оной слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было».

Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам выступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему, Мансурову, на Яик.

Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианту и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.

Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвонем, пушечной пальбой и радостными криками обывателей.

Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачева.

Рейнсдорп, между прочим, сообщил Голицыну, что в крепости находится арестованный в Берде прапорщик 2-го гренадерского полка Михаил Шванвич, что по снятии с него допроса и выраженного им раскаяния он приведен к присяге и назначен в полк.

— Что вы, генерал! — возмутился Голицын. — Как это можно изменника назначать в полк? Прошу вас безотлагательно арестовать негодного молокососа.

Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады, коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знает, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам.

После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как и все гости, князю Голицыну был представлен в виде курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со «злодеями», о поездке к Пугачеву и страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости немало смеялись.

— А господин Пугачев-то, смотрите-ка, остроумец изрядный, — говорил князь и, обратясь к купчику: — Так кто же вы теперь, Полуехтов или Полуухов?

— Ухи целы, ваше сиятельство... Стало, я, как и допрежь, Полуехтов, — захлебываясь, бормотал купчик.

— Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! — восторгался Рейнсдорп. — С одной крюшка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!

Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил ее на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:

— Носите с честью, молодой человек. Такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.

Первого апреля, в два часа утра, Голицын двинулся из Берды. Приближаясь к Каргале, князь узнал, что ему навстречу выступил из Сакмарского городка Пугачев с двумя третями своего войска.

Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборожденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления.

Пугачев приготовился к защите своей сильной позиции и на «самонужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.

Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели пугачевские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила пугачевцев бросить свои позиции и начать отступление. Они отступили за три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.

Голицын, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских испытанных и приноровившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного, хорошо вооруженного врага с внутренним шатанием.

И действительно, после нескольких удачных выстрелов голицынских пушек среди пугачевцев возникло замешательство.

Пугачев скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня:

— Грудью, детушки! Не труть! Стой на месте!.. — но в его голосе уже не слышалось разжигающего задора.

Суетились в своих частях и Падуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев.

«Ну, до чего жаль, что нет Овчинникова», — скулчал сердцем Пугачев.

Сердце Фатьмы было тоже беспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Иваныча Падурова. Ей чудится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова... Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под

мерлушковую шапку, и помутившиеся, словно пьяные, глаза? Скверно на душе у Фатьмы.

За Емельяном Пугачевым скачет Ермилка, у него в поводу — три заводных коня «на всяк случай для батюшки, он — бог с ним! — хоть и не толст, да дюже грузен — как из железа сбит, под ним любой конь живо зашатается».

Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицынская картечь, как градом, стегает по пугачевцам. Вот за-свистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь, то там кидается врассыпную, но, воодушевляемая личной отвагой Пугачева и полковников Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собою. Оренбургские и яицкие казаки спешили. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».

Стремясь отрезать отступление противника, голицынские гусары спешат охватить фланги пугачевцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Ее конь храпит и кружится, Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где пестреет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.

— Казаки! Вперед! Не робей! — размахивая саблей, командует с коня Падуров.

Казаки выхватывают сабли, берут на изготовку пикки, кричат воинственно «ги-ги-ги!». Но под ударами вражеской картечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтобы не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вслед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый с желтым, иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым громоздится на коне тучный мулла с белой чалмой на голове.

— Глянь, Падур! — прокричал испуганно Али. — Мулла с купцом... Ой, алла-алла, они Фатьма ищут...

— Не государя ли?

— Нет, Фатьму!.. Давно ее ищут... Худой дела... —
И Али, взмахнув локтями, поскакал.

Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голицынцы. И не понять было, где свои, где чужие, — все смешалось.

Еще немного, и под жестоким натиском голицынцев, под грохот их пушек пугачевское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку.

Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачев скакал среди отступающих и в гнев голосил:

— Гей, гей! Гуртуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Кроши их!..

Отделяясь от толпы, он поскакал с Ермилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтоб ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.

Гусарский офицер-рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачева, заорал своим:

— Лови Пугачева! Кто словит — десять тысяч!

И вот изюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали напересек Пугачеву.

— Государь! Эвот государь! — вырвавшись из перелеска с горстью храбрецов казаков, пронзительно закричала Фатьма. — Спасай бачку-государя!..

И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы ее плескались по спине, в сильной руке сабля.

А позади нее, догоняя сестру, спешил молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на притоптанное место. Али бьет его плетью, надрывается в крике:

— Фатьма, назад! Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов... — Но, смертельно сраженный пулей, он, круто качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает.

Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрывшись, рассек ретивого офицера пополам и, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пику.

Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, всхрапывая, взвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Иваныч успел скрыться из виду.

Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется — одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.

Падуров вдруг усмотрел свою татарку.

— Фатьма! Фатьма! — во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.

За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать ее коня в глубокую снежную застругу.

Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительно белой чалмы.

— На по-о-мощь! — кричит обезумевший Падуров. — Братья казаки, на помощь!

Но казаков нет вблизи, — спасаясь от гибели, они прыгнули в лес.

И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова.

— Алла! Алла! — визгливо вопил старик, настигая Фатьму.

Коня татарки загнали по грудь в сугроб. Из ее рук гусары выбили саблю.

— Падур! Падур! — кричит Фатьма.

Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит ее с коня. С гортанными криками, подобными клетку хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.

И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подго-

няя ударами плеток; он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами.

Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей.

— Сто-сто-стой! — неистово завопил подскакавший мулла. — Ля илля! Именем Мухамеда, стой!

В пухлой руке муллы — грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возводит налитые кровью глаза к небу и сиплым голосом бросает Фатьме:

— Проклятая! Закон аллаха повергла!.. Так умри же, дочь демона! — И, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы.

Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, пала. Из рта ее хлынула кровь. Мулла весь дрожит, затем начинает громко икать, двойной подбородок его, обтянутый лоснящейся кожей, колыхается.

— Руби!

Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрываются.

Все кончено. Цвела жизнь, и не стало жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за других, идет мимо смерти — в память народную.

Голова воткнута на копье и вознесена над всеми. Иссиня-черные косы повисли, как ветви плакучей ивы. Указывая на мертвую голову, мулла поучающе молвит:

— Великий аллах и Мухамед, пророк его, дали мне мощь сразить цвет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме... Проклятье человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших!.. Ля илля!

Он заунывно поет из корана, к его голосу хором пристают татары.

Тем временем отступавшие пугачевские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно: изюмские

гусары и чугуевцы с двух сторон налегали на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы, солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падах, по дну которых стремились потоки вешней воды, была гибельна для отступающих.

Преследуемые, утратив в конце концов всякий порядок, бежали пешими и скакали на конях, не помня себя. В узком междугорье они стеснились так густо, что давили друг друга. Лишь отдельные кучки удалцов с последней яростью продолжали обороняться, но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался, — бежал в городок прятаться в подпольях, в банях, на чердаках.

Емельян Иваныч скакал на свежем коне к Пречистенской крепости. Полковник Хорват, заменив в строю убитого офицера-рубаку, гнался за Пугачевым «столько, сколько позволяли силы усталых лошадей, но не мог достичь». Пугачевцы были разбиты и рассеяны.

Сакмарский городок оцепили воинские части Голицына. Производились повальные обыски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников.

Связанного Падурова с арканом на шее вели через опустевшее поле. У него темно в глазах, мутились мысли, звучал в ушах непрерывный пронзающий душу голос татарки: «Падур, Падур...»

Возле него стонут, ползут, кой-как движутся раненые, он шагает, словно в бреду, чрез трупы своих и врагов, и все вокруг него захлестнуто дымкой.

Вдруг он видит — лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов, руки раскинуты, глаза в небо, безмолвствует.

— Андрей Иваныч! Витошнов! — вскричал Падуров и приостановился. — Господа гусары, дозвольте... Он нашей Военной коллегии главный судья. Может, старичок жив еще...

— Иди! Иди!.. Жив, так приколем... — закричали гусары, и один даже слегка стегнул Падурова плетью.

В станичной избе, куда ввели Тимофея Падурова, сидели на скамье связанные: близкий друг Пугачева — Максим Григорыч Шигаев, Иван Почиталин,

солдат Жилкин и главный писарь Военной коллегии Максим Горшков. Они сидели понурые, сгорбленные, с низко опущенными головами. Холеная, обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня Почиталин, уставясь в пол, часто взмигивал, утирал глаза рукавом изодранного в свалке чекменя.

Падуров взглянул на товарищей, остолбенел, покачнулся. Измученным голосом сказал:

— Братья казаки, старик Витошнов убит, Фатьма убита... Жив ли батюшка?

Ему никто не ответил. Кровь разом отхлынула от его мозга, задрожало, остановилось сердце, он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол.

...В Сакмарске князем Голицыным захвачено десять пушек, знамя Сибирского батальона, отбитое пугачевцами под Оренбургом у полковника Чернышева, несколько значков-хорунков, большой обоз, провиант и фураж. И взято около полутора тысяч пленных, главным образом крестьян, потянувшихся из Берды за «батюшкой».

С толпой в пятьсот человек¹ Емельян Пугачев, как гласят показания сообщников его, бежал, «не кормя, во всю прыть до Тимошевой слободы. По приезду в ту слободу, только что накормили лошадей, то поскакали опять и, приехав в село Ташлу, ночевали».

Избежав прямой опасности, Емельян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли. Он не досчитывался многих соратников своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знал о судьбе друга своего Шигаева, Вани Почиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витошнова.

Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев,

¹ Около ста человек яицких и илецких казаков, около ста заводских крестьян и триста человек татар с башкирцами.

охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть — во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»

Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиби-Нос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи.

Но вот наконец-то они напали на его след, вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, испитой, едва держащийся на ногах от пережитого им в скитаньях голода, холода и треволнений, входит к Пугачеву в дом.

— А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? — вскакивает Пугачев, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит на встречу офицеру. — Ну, как да что?

Братски поздоровавшись с Пугачевым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.

Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил ее веревками к заводному коню, чтоб не упала, и примчал вместе с попом-растригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачеву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!

Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся в свою очередь рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода.

— Как видишь, я всех растерял своих, один остался... Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка-полководец, да Ненила-генеральша. Да еще, кажись, поп Иван. Вот и все свитские мои... — пробовал шутить

Пугачев, но это ему на сей раз не удалось. — А не знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим, Павлом Носовым, бомбардиром? Убит поди?

— Нет, государь, не убит...

— Ранен, что ли?

— Ни то, ни другое...

— Так чего ж с ним?

— Повесился, государь. Перешиби-Нос видел это...

— Ой, ты!.. — выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца.

Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насквозь прозябшим, хриплым голосом заговорил:

— Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкие, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить... Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь-поглядь — направо пушка стволиной над обрывом свесилась, на пушке, на стволине, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах... Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут... Я кричу во всю глотку: «Дедушка, дедушка!.. Что ты надумал... Побежим!» А он: «Батюшку побереги!» — да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти беда!.. А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах... Я на коня, да и укатил. А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз... Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... это, как его... — вдруг осекся Варсонофий. — Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знал.

Пугачев слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:

— Превечный покой его головушке... Верный был.

Емельян Иваныч еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отсморгнул на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.

— Благодарствую, — каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:

— Скажите-ка отцу Ивану, чтоб поминал старика Носова... Павла Носова. Да и других прочих, которых... Э-эх! — отмахнулся он рукой, ссутулился и повернул голову вниз и вправо, как будто силясь что-то рассмотреть в темном углу избы. Затем тихо проговорил:

— В Яицком городке слепой старик такой есть, Дерябин прозвищем, он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина, — и Пугачев, приподняв руку, посверкал кольцом. — Ну так вот старик пел: «По боярам панихиду ворон каркает...» Страшусь, как бы не по боярам, а по нам по всем ворон не скаркал панихиду-то... Мы здесь люди свои, допрямá говорю, без обиняков, в открытую... Истомилось сердце-то мое... Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши...

Горбатов, видя расстроенные чувства Пугачева, воскликнул:

— Не унывайте, государы! После ненастья будет и солнышко.

Эти идущие от сердца слова сразу озарили озябшую душу Пугачева.

— А я, ведаешь, и не унываю, — вскинув голову, ответил он. — В военном деле, ваше благородие, удача переменчива: сегодня он меня за бороду, а завтра я ему ногой в брюхо, да и кровь сосать! Еще мы, ведаешь, этим Рукавицыным-Голицыным пятки-то к затылку подведем. Кабы я тогда поболее народу из Берды захватил, под Татищевой-то мы смяли бы князя. Поди сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились.

Пугачев то подбоченивался, то пристукивал ладонью по столешнице.

— А скажи-ка, ваше благородие, где Шваныч? — вдруг обратился он к Горбатову.

— Не ведаю, государь, — ответил тот. — Только знаю, что в Татищевой его не было.

— Хм, — сказал Пугачев и призадумался.

Как раз в это время в Оренбурге снимали с Михаила Шванвича второй допрос. Между прочим, он показывал: «А как Пугачев по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько возов неизвестно — с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставя в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали? А как отвечал: «Почти все», то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки, человек восемь, которых спросил я: «Куда вы едете?» А как они отвечали, что «гонят нас насильно за Пугачевым», на то я им сказал: «Лучше поедemте не за Пугачевым, а в Оренбург», почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом, и передан офицеру».

В этом показании, ради облегчения своей участи, Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так. Когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать: следовать ли безоглядно за самозванцем, или, спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все пугачевцы из Берды уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы, и ясность мысли затмевалась. О, если б был с ним Падуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев Фаддей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете, но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный, хекекающий голос: «Здесь, здесь, берите его, я видел...» Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет.

— Хе-хе-хе... с праздничком, ваше благородие! — с подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь,

барашком проблеял в лицо Шванвичу «чиновная ярыжка».

Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный, он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова, обращенные к пропойце чиновнику:

— Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одураченному мужичью и внушай сим скотам бессмысленным, чтоб шли в Оренбург с повинной.

8

Емельян Иваныч все чаще и чаще вспоминал пропавшего без вести главного атамана своего Овчинникова, жену государыню Устинью и непокорный Яицкий городок, к которому уже подступал генерал-майор Мансуров.

Положение Симонова с гарнизоном было тяжелейшее. Солдатам выдавали по четверти фунта муки на день при изнурительной работе. Половина людей всегда была «в ружье», другой половине дозволялось дремать сидя.

Девятого марта полковник Симонов произвел вылазку, но был мятежными казаками разбит и надолго заперся в ретраншементе. Спустя после этого пять дней над крепостью взвился бумажный змеек, к мочальному хвосту его был привязан конверт с пакетом. То было письмо казаков к полковнику Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в том числе Ваня Неулыбин, клеили змейка, с увлечением равняли «подхвостницу», крепили «репицу», устраивали «трещотку». Как только змей поднялся над крепостью, мальчишки подрезали нитку, и он, давая «курны», упал в расположение ретраншемента.

В письме казаки советовали Симонову, во избежание напрасного кроволитья, от вылазок на будущее время воздержаться, а лучше отворить ворота крепости, угрожая в противном случае «звероярост-

ною местию». В ответ на это Симонов отправил к атаману Каргину увещание с требованием покорности и прекращения смуты. Каргин со старшинами, прочтя увещание, стал обдумывать, как бы поскладней да «позабористей» ответить Симонову. Составление ответа было поручено писарю Живетину.

А в это время проживал в подызбице Устиньиного дворца изгнанный с Иргиза игуменом Филаретом раскольниковый старец Гурий. Этот лохматый и черно-волосый пьяница, похожий на старого цыгана-конокрада и выдававший себя за Христа ради юродивого, был нравом буйный, на слова дерзкий, до баб охочий. Священник, который венчал Устинью, внушал ей, что сама государыня Елизавета Петровна всегда привчала Христа ради юродивых, кликуш и всяких людей божьих, то и вам, мол, матушка царица, надлежало бы сим богоугодным обычаем не брезговать.

И старца Гурия стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол: достаточно ли выставлено выпивки, вкусна ль закуска. Преподав благословение и выпив, «любожорный» старец начинал грубым голосом благовествовать. Он застрашивал Устинью и всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры по мытарствам или рассказывал «житие» святого пустытника Исаакия Долматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и, наигрывая на дудках, восклицали: «Наш Исаакий! Да воспляшет с нами!» Когда на слушающих накатывалась дрожь и воздыхания, старец начинал увеселять их, не стесняясь в выражениях, побасенками о блудных деяниях монастырских и раскольничьих. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбалась и Устинья. Затем старец, паки преподав благословение, уходил «еле можаху» к себе в подызбицу, умавив с собой, аки шаловливый бес, и мягкотелую бабищу Толкачиху, главную опекуншу над здоровьем государыни.

Вот этот старец праведный и был привлечен атаманом Каргиным в помощь к писарю Живетину. И старец Гурий постарался. Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матерые, выдавшие виды казаки ахнули. В письме были включены разные непристойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин, под давлением богобоязненного атамана Каргина, решило, что «не должно священную особу государыни так поносить, что это не только дурно, но и противно богу». В конце концов был позван сидевший в арестантской избе «шибкий грамотей» беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурия.

«Всем уже небезызвестно, — начиналось послание, — на каких основаниях российское государство лишилось всемилостивейшего своего монарха от злодеев нашего возлюбленного отечества». Далее, после своеобразного описания, как сие произошло, в письме говорилось: «Егда императрица Елизавета Петровна, отыде на вечное блаженство, соизволила скипетр российского государства вручить природному наследнику, великому нашему государю Петру Федоровичу, и все государство ему присягало. И вы не причастны ли были той же присяге? И равным образом той же казни божией будете достойны, яко отступники и нарушители христианского закона, что изгнаша государя своего». Письмо заканчивалось так: «Да полноте нас стращать и угроживать. Мы страстей ваших очень не опасны. Ежели хотите вы идти против нас, то мы давно милости просим, идите, а по вашему предложению быть ничего во удовольствие вам не может и переписка никаких больше принимать от вас не хотим. А от государя нашего прислано полное наставление, чтоб с вами поступать сперва сердечно, по-христиански. А видно, вы не хотите совсем его величеству служить и повиноваться, так и полно вами более дорожить».

Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам:

— Эй, служивые! Довольно вам голодать, сдавайтесь! Все царицны войска батюшка побил. Уфа

батюшкой взята, Казань с Самарой взяты! А Оренбург, в самой крайности, с голодухи пухнет. Сдавайтесь подобру-поздорову.

А солдатики, имевшие жительство в городке, по наущенью казаков голосили:

— Эй, мужнишки, кисла шерсть! Сажайте своего коменданта с офицерами в воду да вылазьте из крепости!

Чтобы поднять среди гарнизона смуту, подсылались в ретраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что от мятежников нельзя ожидать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги.

На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман Овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих значительно возросли, силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их донимал голод, холод. Солдаты вываривали лошадиные, обглоданные собаками кости, даже ели мясо лошадей, павших сапом. А когда все было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались.

А весна все ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам. Всюду дружная капель и солнце, на деревьях набухали почки, воробьи и разные птички-свиристелочки словно с ума сошли, голосистый жаворонок завел свою нескончаемую песенку, в лесной чаще закуковала кукушка.

Трудно душе человеческой по весне в неволе быть, в окруженной врагами крепости... Еще труднее умирать...

...Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаряя весенние небеса, выплывало из-за горизонта, дозорный приметил с крепостной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот все начальство и кто мог держаться на ногах высыпали на вал крепости.

С вала видно было, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности — с пиками, с ружьями, с двумя знаменами. Их провожают женщины и дети.

— Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилыч! — обращаясь к Симонову, радостно кричит капитан Крылов. — И пушки за ними... Раз, два, три... пять! А ведь это неспроста, ей же богу, неспроста...

— А знаете что? — взволнованно бросает Симонов рядом стоявшему с ним Крылову. — Это значит, что к нам выручка идет... А казачишки навстречь... Уж поверьте... Слава богу, слава богу! — Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синееет.

Все защитники сразу взбодрились. «Как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали, и это укрепило наши силы», — вспоминали они впоследствии.

Симонов не ошибся. Накануне, в начале ночи, разезды донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к Яицкому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман Овчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из пятисот казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из городка в поле, чтоб задержать врага.

Тем временем генерал-майор Мансуров, совместно с Г. Р. Державиным, 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок, в котором разогнали толпу мятежников и захватили четырнадцать пушек. Подойдя к Иртетскому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд яицких казаков, Мансуров принужден был остановиться. «Весь транспорт мой, будучи на санях, стал, — доносил он Голицыну. — Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак не можно».

Не дожидаясь формирования колесного транспорта, Мансуров пошел вперед и возле тесного прохода у речки Быковки, недалеко от Рубежного форпоста, встретил Овчинникова.

Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дегтярев.

Генерал Мансуров, выставив на берегу Быковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправились выступивший из Оренбурга Мартемьян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для пугачевцев бой был неудачен: артиллерия Мансурова работала прекрасно и действия частей его отряда хорошо согласованы, тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны: на каждого пугачевца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжими попался в полон, Овчинникову же с Перфильевым с частью казаков удалось прорвать окружение и скрыться в степи.

С вала Яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты с офицерами чутко прислушивались к отдаленным раскатам боя. Под конец дня осажденные заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольни набат, что означало «собраться в круг».

Спускались сумерки. В городке началась невиданная суматоха. Всюду слышалось: «Наших побили, генерал идет!» Богатенькие и степенные казаки подняли головы, издевательски кричали: «А-а-а, достукались со своим царем-то, сучьи дети!» Ударили два выстрела. Богатенький упал, свалился и пробежавший пугачевец.

Богатенькие со степенными рыскали по городку, ловили поставленных Пугачевым атамана и старшин. Были схвачены старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и другие.

В подызбице Устинына дворца грохот, звяк выбиваемых стекол, приглушенные крики: «Караул!» Там вяжут пьяного, лютого на драку старца Гурия. Прислушиваясь к нарастающему уличному шуму и гвалту в нижнем этаже, Устинья хватается за голову, всплескивает руками, носится взад-вперед по

горнице. Вот, вскинув брови, она упала пред образом, с жаром молила: «Господи, спаси нас!» Затем вскочила, сорвала с себя дорогое ожерелье, швырнула на пол. Глаза ее пылали, ноздри вздрагивали, грудь тяжело вздымалась. Две девки-фрейлины вязали узлы с добром, подвыпившая баба Толкачиха, опрокинувшись на диван, рыдала в голос. Петр Кузнецов проснулся было к дочери: «Устиньюшка, дитячко...», но она оттолкнула его. Вихрем ворвался с улицы брат Устиньи, Адриан, и зашумел:

— Бегите скорее! Казачишки с воров Овчинниковым да с Перфишкой поскакали уж.

— Лошадей! — неистово закричала Устинья и убежала во двор. — Стража, лошадей! Тройку! Сани!

— Дороги рухнули, ваше величество! — с обидным хохотом откликнулись люди. — Казаки, хватай царицу!

Устинья метнулась в сени, поднялась наверх, за нею гроыхали богатенькие, шумели в ее горенке:

— Будет, Устинья Петровна, поцарствовала! — Они подхватили Петра Кузнецова под руки: — Идем, идем, старик, не упирайся..

— Куда?

— К Симонову, вот куда.

Устинья сгребла со стола остро отточенный хлебный нож и, закричав:

— Вон отсюда, гадюки, вон, предатели! Геть, геть! — кинулась на казаков. В безудержном порыве своем она была страшна.

Безоружные богатенькие, сразу перетрусив, побежали к выходу и, подталкивая друг друга, с руганью скрылись за дверью.

— Не поддамся вам, гадюки!.. — буйно выкрикивала она и никого уже не примечала: ни плачущего отца с Толкачихой, ни брата Адриана.

— Господи, боже наш... Что с нами будет, что будет! — скулила Толкачиха, ей вторил старый Петр.

Адриан надрывался из сенец, наваливаясь плечом на дверь:

— Родитель-батюшка, сестрица! Заперли нас...

Устинья, не выпуская из рук ножа, металась от стены к стене, искаженное отчаяньем лицо ее то вспыхивало, то белело. Вдруг она увидела в окно привязанную у прясла лошадь под седлом, сильным ударом распахнула раму, выпрыгнула из второго этажа на улицу и, подскочив к коню, занесла в стремя ногу... Крепкие руки схватили ее сзади:

— Стой, баба!

И еще набежали казаки. Устинья, ослабев в неравной борьбе, взмолилась:

— Батюшка! Царь-государь! Пошто ты оставил меня? Пошто спокинул свою молодешеньку?!

Только тут она пришла в себя, из глаз ее разом хлынули слезы.

И вот, уже в сумерках, шумная толпа, главным образом зажиточных и степенных казаков, подступила к ретраншементу. Симонов скомандовал: «Огонь!» — и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали:

— Не стреляйте!.. Мы с повинной! Признаем ее величество государыню Екатерину...

— Выдавайте главных предводителей! — в свою очередь закричал с валу немало изумленный Симонов.

— Ведут, ведут!.. Из кузни всех наших смутьянов ведут... — откликнулись казаки. — Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому Устиньи Кузнецовой мы караул приставили!

Вот, в сопровождении казачьего отряда, показались скованные девять человек: атаманы — старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и прочие.

Гарнизон подкрепился пищею, доставленною сложившими оружие казаками.

На следующее утро, 16 апреля, вступил в Яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимый бедняцкой стороной старшина, полковник царской службы, Мартемьян Бородин, или, как его звали в народе, «жирный Матюшка».

Один из участников обороны в своих записках говорил: «Радость освобожденных от осады трудно описать. Самые те из нас, которые от голоду и болезни

не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Все было в движении: разговаривали, бегали, благодарили бога и поздравляли друг друга».

Из Яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались: с ними утекли все жившие в городке бродяги беспаспортные. Но старец Гурий и беглый солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову, были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину.

Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки «ушлецов» генерал Мансуров сформировал два отряда — Муфеля и Державина.

Тем временем в конце страстной недели атаманы Овчинников и Перфильев, с ними сорокалетний Изюмов и около двухсот яицких казаков, перейдя речку Чаган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего все пути-дороги, и толкают в пропасть, в темное провалище.

Овчинников, разыскав образ спаса у жившего на берегу скрытника, сделал заличку «в круг». Образ был прикреплен к столетнему осокорю. Овчинников обратился к кругу:

— Вот, братья казаки, сами видите, положение наше хуже некуда. Нам всем предлежит государя отыскать, к нему, отцу нашему, прилепиться. Без него пропадем мы, с ним жизнь увидим и дыхание наше не скончается. Братья казаки! Не отставайте от меня, следуйте за мною, я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласье, целуй образ спасов со усердием, кто не в согласье, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ!

Казаки кричали:

— Идем за тобой! Только ты, Андрей Афанасьич, не спокинь нас! Нам один путь: альбо к царскому самодержавству, альбо затыкай хвосты за пояс, да и за Кубань!

Все, как один, они обнажили головы и двинулись чередом лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев.

Переночевав, все двинулись по бузулукской дороге. Длиннолицый горбоносый Овчинников взглянул умными серыми глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал:

— Вот видишь, дружок Перфиша, дела-то какие. А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся да мы с тобой за чарочку держались.

— Да, брат, да-а-а, — вздохнув, протянул Перфильев.

— Был Яицкий городок, и нет его... Был царь-батюшка, и того затеряли мы... В аккурат, как лягушки: болото высохло, и мы во все стороны поскакали.

Вскоре отряд переправился через реку Сакмару и вступил в Башкирию. Здесь Овчинников стал через башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачева.

4

Весть об освобождении Яицкого городка уже не застала генерал-аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Наладив наступление на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачева, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий.

Для окончательного успокоения края Бибиков создал несколько отрядов, составивших вторую, тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Кичуевский фельдшанец.

Условия жизни здесь были бивуачные, весьма тяжелые, главнокомандующий квартировал в плохом и сыром помещении, без нужных в обиходе вещей (обоз с его имуществом еще не приходил). Беспрерывная работа днем и ночью, напряженное состояние духа надломили здоровье Бибикова, и в конце марта месяца он тяжело захворал. «Лихорадка, посетившая меня в сие время, — писал он, — мучает меня, и я неподвижно лежу в постеле».

Превозмогая болезненное состояние и почувствовав себя бодрее, Бибииков переехал в Бугульму. Дорогоу он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно.

Из Бугульмы Бибииков отправил Екатерине через силу написанное прощальное послание. Между прочим, он сообщал: «Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобожденный ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которую в такое изнеможение приведен, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне генерал-майору Ларионову, который, повеления мои подписывая, в разные места рассылает...» 9 апреля Бибииков скончался.

Тело генерал-аншефа, под прикрытием эскадрона карабинеров, было перевезено из Бугульмы в Казань и поставлено в приделе собора впредь до отправления, согласно воле покойного, Волгой в его костромское имение.

Бибииков не оставил своему семейству никакого состояния, небольшое имение его было заложено. Екатерина пожаловала его семье в Могилевской губернии несколько деревень с угодьями. Она очень сожалела о его кончине.

Однако глубоко переживать эту утрату Екатерина была не в состоянии: вся ее душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, своего нового кумира.

На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку, она в своем выборе не ошиблась: Григорий Потемкин представлял собою персону крупного государственного размаха.

Во время переворота 28 июня 1762 года, то есть двенадцать лет тому назад, когда Екатерина была возведена на престол, Потемкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии. После этого он был замечен императрицей, стал ей лично известен, быстро пошел вперед по службе.

Вскоре Екатерина писала ему: «Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих».

На заседаниях Большой комиссии в 1767 году, в Грановитой московской палате, камер-юнкер Потемкин являлся представителем интересов инородцев. Двадцать два депутата башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вел остроумные беседы с Екатериной.

Князь Григорий Орлов усмотрел в этом «марьяже» прямое посягательство на свое личное достоинство. Хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвинут на задворки в сердце коварной императрицы, хотя, невзирая на все попытки, он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной, тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством ее величества. И вдруг новое неслыханное вероломство... Он почувствовал себя в высшей степени оскорбленным и устроил Екатерине сцену ревности. С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить:

— Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом! Выбирай.

Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор... Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регентшей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предложениями на время удалить Потемкина от своего двора.

Не принадлежа ни к одной из враждующих партий — ни Орлова, ни Панина, — Потемкин, будучи человеком военным, решил посвятить себя делу начавшейся Турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины: «Нашего камергера Григорий Потемкина извольте определить в армию», — писала она графу Захару Чернышеву.

Под руководством фельдмаршала Румянцева Потемкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военачальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потемкин, по свидетельству Румянцева, «был виновником одержанной тут победы». Почти на протяжении всей войны Потемкин, командуя крупными отрядами, то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Силистрия с кавалерией и легкими войсками, он опрокинул неприятеля, «отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведенного из города Осман-Пашою».

Фельдмаршал Румянцев назначал Потемкина на самые ответственные места как человека энергичного, с отличной военной репутацией. «Со всей охотой, — отвечал Потемкин, — желаю я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью останусь, где угодно будет меня определить». Всю осень Потемкин провел со своим корпусом против Силистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражал вылазки, нанося туркам превеликий вред и страх.

И вдруг... неожиданное собственноручное письмо императрицы:

«Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардировка, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предпримлите, ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу попустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею отвечать: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».

Потемкин тотчас догадался, «к чему сие письмо писано», и, бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское Село, куда случай-

но в разгар зимы выехала Екатерина, и был принят ею с честью.

Полтора месяца спустя Потемкин был пожалован в генерал-адъютанты «ее императорского величества», то есть облечен наивысшим доверием женщины-императрицы.

С этого момента начинается «царствование» Потемкина, или, вернее, его соцарствование с Екатериной.

Счастливая Екатерина не преминула поделиться своей радостью с Бибиковым, которому в то время было вовсе не до этого.

«Во-первых, скажу Вам весть новую, — писала ему императрица. — Я прошедшего марта 1 числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты, а как он думает, что Вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к Вам и пишу». Заканчивалось письмо так: «А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

Бибиков получил это письмо за три недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды «всемилющей матушки», и приступ лихорадки у него обострился.

Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал: «При дворе начинает разыгрываться новая сцена интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потемкина своим генерал-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которую он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения».

Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии — великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партия братьев Орловых — были поражены каждая по-своему и недовольны новым выбором.

Но, с другой стороны, хотя Потемкин и стал твердой ногой между интригующими партиями, однако он

счел для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потемкин прекрасно понимал, что Никите Панину приятно все то, что способствует уменьшению власти Орловых и влияния князя Григория Орлова на Екатерину.

Вскоре, к обоюдному удовольствию Потемкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потемкина по служебной лестнице. Так, 5 мая, Потемкину было повелено заседать в Государственном совете, 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернышеву в звании вице-президента Военной коллегии, а 31 мая — генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск, там поселенных.

Словом, ревность и оскорбленное достоинство переполнили чашу терпения Григория Орлова. После бурного объяснения с Екатериной он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено.

Навсегда освобожденная от Орлова, Екатерина писала Потемкину: «Только одно прошу не делать — не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны... Он тебя любил, а мне они друзья — я с ними не расстаюсь».

Впавший в мрачное отчаянье, Орлов ударился в пьянство. Окруженный сочувствующими ему бражниками, он злобно кричал по адресу Потемкина:

— Я знаю, что с ним сделать! Я разотру его, как пыль! Гог-магог и тот не смеет против меня идти!.. Меня Европа, вся Европа меня трепещет... Ко мне бог милостив...

Вскоре выехал из дворца и последний неудачный фаворит А. С. Васильчиков.

«Г-н Васильчиков, — писал Роберт Гуннинг графу Суффольку от 4 марта 1774 года, — любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задат-

ками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени».

В дальнейшем Потемкин назначается командующим всей легкой кавалерией и всеми казачьими войсками, влияние графа Захара Чернышева сходит на нет, он подает в отставку. Президентом Военной коллегии вместо него становится Потемкин.

И почти все дела по борьбе с пугачевским восстанием (с конца августа 1774 года) переходят в руки этого человека.

5

Петербург был в радости, Петербург то и дело получал с востока ободряющие известия: главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой, Пугачев из Берды бежал, Оренбург освобожден. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остается лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишённые общей между собой связи.

Поэтому, назначая после кончины Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные, действующие против Пугачева силы, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам, каждому в своей губернии. Таким образом, неограниченная власть, которою обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось сто семьдесят колодников-пугачевцев, в Оренбурге — до четырех тысяч семисот. Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому вместо одной были образованы две секретные комиссии, одна в Казани, другая в Оренбурге. Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина в своем указе, между прочим, писала, чтоб они «при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали». А между тем в самой столице, охраняя престол Екатерины и не без ее, конечно, ведома, свирепствовал всюю обер-секретарь сената, палач-«кнутобойник» Шешковский.

Уезжая из Казани в Оренбург, князь Щербатов доносил Екатерине, что в Казанской губернии «волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве — в законном повиновении находятся». Такого же мнения был и престарелый Брандт.

Однако в казанских краях было не так уж спокойно, и «волнование народное», погаснув в одном месте, внезапно вспыхивало в другом. Между городами Мензелинском и Осоею свободно бродили мятежники. Против них Брандт отправил секунд-майора Скрипицына. Другой отряд под командою Берглина преследовал восставших башкирцев по реке Тулве. Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске «колобродили» казаки, поджидавшие к себе Салавата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой.

Как только генерал Мансуров занял Яицкий городок, ставропольские и оренбургские калмыки с женами, детьми, скотом, в числе шестисот кибиток, бежали в сторону Башкирии на соединение с Пугачевым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмыки всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были настигнуты и разбиты на переправе через реку Ток. От полного пленения они спаслись чрез хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь. И вот степь за клубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по Самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов высланный генералом Мансуровым из Яицкого городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешно отступая, бросали на пути усталых лошадей, верблюдов и даже своих жен, спешили укрыться в вершинах Иргиза. Произошел бой, многие калмыки попали в полон и были отправлены в Оренбург; раненый их вождь Дербетов дорогою умер.

Тем временем князь Голицын, получив известие о бегстве Пугачева в Башкирию, сформировал для пре-

следования мятежников два сильных отряда: генерал-майора Фреймана и подполковника Аршеневского.

Подполковник Михельсон, освободивший Уфу и пленивший Зарубина-Чику, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался выступить к Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с тысячной толпой и неподалеку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал, уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился Пугачев.

Наступившая распутица значительно задерживала движение всех правительственных отрядов.

Военачальники — Щербатов, Голицын, Мансуров и прочие, разъединенные между собой пространством, раскинув каждый на своем месте топографическую карту, судили и рядили, каждый на свой лад, куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачева, попутно пресекая на местах волнение народное. Но беда военачальников заключалась в том, что сам Пугачев был как бы прикрыт шапкой-невидимкой — где он, кто с ним? И военачальникам волей-неволей приходилось бороться с ветром, с пустотой, с неуловимым призраком. Одни из отрядов спешно посылались выставить заслоны на таких-то и таких-то реках, чтоб самозванец оказался в ловушке, другие отряды спешили занять те или иные населенные пункты с той же целью окружить Пугачева, но Пугачев в это время находился от них за сотни верст. Третьи военачальники, например, Михельсон, отыскивая затерявшийся след самозванца, тянули, попросту говоря, «верхним чутьем», как породистые собаки. Они свои действия зачастую основывали на ложных показаниях и бесплодно бросались то в одну, то в другую сторону. Вся эта, естественная в тех условиях, неразбериха была на пользу Пугачеву, позволяя ему осмотреться и усилиться.

Мы знаем, что вместе с Кинзей и остатками своего воинства Емельян Пугачев направился из села Ташлы в Башкирию. По дороге он получил известие о

занятии Уфы Михельсоном и пленении Чики-Зарубина.

Как ни старался Пугачев взбодриться, это ему не всегда удавалось. Легче, кажется, пережить потерю отца-матери, нежели лишиться таких своих верных помощников, как Падуров, Шигаев, Горшков, Зарубин-Чика, Ваня Почиталин, старик Витошнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, но главным образом потому, что люди были для него, как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче, спокойней сердцу.

— Не унывай, детушки! Не клони головушек своих... Весна идет, а там и летичко. Бог велит, во здравии будем и с победой...

Небольшой Вознесенский завод, куда они прибыли, встретил царя-батюшку с честью. Чтоб снова «поставить на колеса» свою Военную коллегию, лишившуюся нескольких руководителей, Пугачев пожаловал в секретари казака Шундеева, а в повытчики — заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников — Григория Туманова.

Чернобородый, приземистый, с большими глазами и широкими крылатыми ноздрями, Туманов сразу внушил Пугачеву к себе доверие.

— Горные заводы наши рады будут, что вы приехали на Урал, батюшка, — было первым словом этого человека. — И помощь вам окажут в людях и в оружии.

— Гарно, брат Туманов, гарно! Да ведь и я так разумею. Люди заводские из крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда: как сражение, так и отхватят у меня сотни две. А пошто так? Ан дело-то, видишь ли, выходит просто... Как сшибка, мужики-то помашут дубинками, да и бегут врассыпную, как цыплята. Ну, а заводские, те до последнего бьются, кои ранение получают, кои смерть, а нет, так в полон. Эх, кабы не они, заводские, да не казаки-молодцы, не выдюжить бы нам. Ась?

— Справедливы ваши речи, батюшка,

Повелением Пугачева новые члены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооруженных людей и о присылке их в стан государя. Указы подписывал Иван Творогов, к ним ставились сургучные печати с изображением Петра III.

Были также разосланы указы с требованием, чтоб население в окрестностях Челябинска и Чебаркуля готовило фураж и печеный хлеб «для персонального шествия его величества с армией».

Пугачев, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешел на Авзяно-Петровский завод, покоренный прошлой зимой Хлопушей-Соколовым. Здесь он осмотрел тринадцать отлитых для него чугунных пушек, поблагодарил работных людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как, например, дяде Митяю, и медали.

Вешая медаль на грудь дяди Митяя, Пугачев говорил:

— Я тебя помню. Ведь ты у меня в Берде был. Сказывал мне про тебя Хлопуша, как ты с медведем да с капралом бился в тайге. И про то сказывал Хлопуша, как ты у старца праведного в землянке жил. А теперь вот ты главный здесь.

— Твоим веленьем, батюшка... Стараемся...

— Служи!

Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иваныч двинулся дальше, к Белорецкому заводу. По причине весеннего бездорожья пушек он не взял, приказав доставить их в армию при первой возможности.

В Белорецком заводе пугачевцы провели всю пасхальную неделю. Первые два дня праздника было вдосыт попито-погуляно. Затем Пугачев с горячностью взялся за дело. Кой-как налаженная Военная коллегия продолжала, с помощью старшины Кинзи Арсланова, рассылать по Башкирии манифесты и указы. Отовсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачев приступил к комплектованию и устройству

новой армии. Ему усердно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов.

Однако после Берды с Твороговым начало твориться что-то неладное: он принялся почасту выпивать, даже под выговор батюшки себя подвел.

Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой затее. Эх, видно сам черт бросил его в руки «батюшки»! Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой-женой в собственном, крепко налаженном доме, ведь достаток у него немалый, ведь он сотник был, а вот на, вот видишь, что подеялось. Ради каких это выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь! Людям во вред, своей безрассудной голове на пагубу. Мало ли у них сгинуло народу: где Шигаев, где Паду-ров да Горшков Макся, где Витошнов с Ваней Почиталиным? Эхма!.. Да и Стеша... Удавить бы ее, непутевую, только жаль... ведь она к его сердцу живой кровью приросла... Ну, допустим, батюшка есть при-рожденный царь-расцарь, Творогову-то от этого не легче, нешто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала батюшку: и навовсе согласна бы уйти к нему... Не зря же при всей любви его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колошматить, трепать за длинные косы вероломную, ветреную Стешу. Да... Только тридцать два года ему стукнуло, а глянь — в черные кудри его стала вплетаться седина, и весь молодцеватый вид его начал как-то блекнуть, как в знойное лето степь.

Однажды в минуту душевного волнения подвыпивший казак непростено вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и, задвигав бровями, молвил:

— Слышь, офицер, ваше благородие. Душа у меня чегой-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде истинной: царь ли батюшка?

— Что ты, Иван Александрыч! — с возмущением вскинул Горбатов свое открытое, чистое лицо, обрамленное волнистыми белокурыми, подрубленными показацки волосами. — Без сомнения, царь... В противном случае ужли ж я пошел бы за ним? Самый до-подлинный Петр Федорыч.

— На мою статью, ежели он, верно, Петр Третий, уйти бы ему опять к римскому папе в сокрытие... Тогда и мы бы разбрелись по домам. А то ему и нам худо будет.

— А ты почему же, скажи-ка, пошел за государем?!

— Я? А по глупости. Овчинников с Горшковым подзудили — иди да иди... Ну, а ты пошто из офицерского званья приник к мужичью?

— Отнюдь не по глупости, Иван Александрыч. Я, так сказать...

— С высокого барского ума? — насмешливо и раздраженно перебил его Творогов, потеревливая свою темную бороду.

— Ну уж с барского, — обиженно проговорил Горбатов. — Просто душа потянулась к государю, поскольку он свое знамя за бесправный народ поднял.

— Стало, народ ты пожалел? — Серые, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. — А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как осу на мед. Всласть поесть да попить, в веселый марьяж с девками позабавиться... Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку... А теперь вот...

— Что?

— Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!

Горбатов неприязненно прищурился на Творогова.

— Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрыч! Ей-ей, обидно. Ведь ты Военной коллегии судья и должность главного писаря до сей поры правишь. Нешто не ведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут? Да и зазорно было бы свою голову класть за такое добро... Ведь головы-то наши считаны, Иван Александрыч, расплаты не избежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли с тобой... Так ли?

В офицерскую избу вечерние сумерки врывались. На столе — склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница, исписанные листы бумаги — списки новоприбывших: кто с чем пришел, есть ли конь, каково вооружение. Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударом его слов — «не избежать

расплаты», сел на скамью, опустил голову. Вздыхнув и раз и два, он уныло сказал:

— Все в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим... Дермо наше дело, собачье дермо на лопате... От веселой нашей игры эвот я сесть зачал. — Казак уставился напряженным взором в пол, омраченное лицо его окаменело.

— Не печалуйся, Иван Александрыч, на нашем пути еще не одна гора и не одна удача будет. Силы накопим, по России с дымом, с грохотом пойдем! А крестьянства там, в России-то, да всякого обиженного люда великое множество... Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он, бездельный, может голову поднять да правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрыч?

Творогов вскочил с места.

— Ты, господин Горбатов, точь-в-точь как Падуров говоришь... Эх, ни в ком в вас разума настоящего нет, ни в ком! — выкрикнул он, насупился и, не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон.

На улице рабочего поселка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода почти та же картина, что и в Берде. Пестрые толпы народа, верблюды, кони, сияющие сквозь сүтемень златогривые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казачки вприсядку пляшут.

Двигается шагом конная сотня башкирцев, лошади вспотели, над ними легкое облачко, они притомились в быстрой, недавней дороге.

— Эй, котора место бачка-осударь? Кажу дорога! — вопрошает вожак башкирской сотни.

С презрением посматривая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно переключаясь, ставят свои «дюрты» из серой кошмы и решетчатых щитов, сколоченных из деревянных реек.

Четверо конных казаков, в их числе палач есаул Иван Бурнов и Ермилка. Вот они разъезжаются в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают:

— По приказу его величества завтра с полден в поход!

Ермилка, подбоченившись, трижды играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поп Иван венчал их с Ненилой в церкви. Ненила теперь пишется: «Казацкая женка Ненила Недоскокина».

Отец Иван, не отстававший от пугачевской толпы, на масленой неделе «соскочил с зарубки», снова ударился в пьянство, пропил обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым, тот поучил его кнутом и угрозил повесить. Но всё обошлось благополучно.

Итак, над Уральскими горами предвесенние полыхают звезды, всюду немая, от земли до неба, тишина: птица не взлетит, собака не взбредет, все погрузилось в непробудный сон — завтра выступать. Все живое спит, но по окраинам и при дорогах дозорят люди: где-то, и, может быть, очень близко, коварный враг скрадом бродит, а где он, кто он — никому не вестно: то ли князь Голицын, то ли Мансуров с Деколонгом, то ли Михельсон?

Карауль, казак, не больно-то любуйся звездами небесными, не клони на грудь отпетою головою своею, не верь могильной тишине — она обманна, чутко лови ухом каждый шорох, каждое дуновенье ветерка: из ветра родится буря.

Три всадника: Кинзя Арсланов, Горбатов, Чумаков под лучистыми звездами едут проверять дозоры.

ГЛАВА III

Пугачев на Воскресенском заводе

1

Как только узналось, что царь-батюшка прошел Малые Ярки и приближается к Воскресенскому заводу, все работные люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от заводских построек. Народ

бежал, шел и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотину, а также из рабочего поселка, расположенного внутри завода.

Поселок, состоявший из немудреных хибарок, среди которых, впрочем, высились и обширные, изукрашенные резьбой избы, растянулся от земляного вала с деревянной стеной до так называемого канала. Хотя, в сущности, это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стены речка была запружена плотинкой, получилось многоводное озеро — «скоп воды», а дальше, в пределах заводского участка, речку Тору выпрямили, одев берега ее в бревна и доски, — получился канал.

Ежели залезть на высокую сосну, можно видеть, как вся заводская площадь, огражденная земляным валом, разрезана каналом на две части: на одной — рабочий поселок, на другой — управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и церковь во имя воскресения Христова, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же канале стояли две вододействующие мельницы — лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем поселке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всем заводе не имелось никакой растительности — ни деревца, ни зеленой травки, и единственная сосна была мертвая. Эта пустыньность участка — результат тлетворного действия смертоносных газов, изрыгаемых «домницами» и «штыковыми» горнами. И сами люди, жившие в поселке, немало хирели от газов. Испитые, бледные, с лихорадочно блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически еще сильны, но оставляли впечатление людей болезненных, как будто на солнечном Урале никогда не ласкало их горное солнышко.

...Народ бежит, бежит навстречу царю-батюшке и выстраивается по обе стороны дороги. Весь снег давно ушел в землю, деревья обтрясло ветром, на дороге старая хвоя, шлак, угольная пыль, песок.

— Едут! — дружно заорали парнишки.

Тысячная толпа зашевелилась, бородачи пятернями расчесали бороды, бабы оправили платки и полушалки, старенький попик в ризе вышел с клиром на сре-

дину дороги, две красивых молодайки в ярких сарафанах держали блюдо с хлебом-солью.

Показались желанные гости. Впереди полсотня казаков со значками-хорунками, за ними, окруженный близкими, сам царь-батюшка на крупном жеребце в наборчатой сбруе, возле него распущенное большое знамя. А позади — казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочее войско. В хвосте — далеко растянувшийся обоз. И лишь только показался царь в своем зеленом суконном полукафтани с позументами, толпа опустилась на колени.

— Встаньте, ребятушки! — крикнул Пугачев. — Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас, нуждицу вашу посмотреть, каково живете. Не творят ли вам, рабочему люду, утеснения. Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова.

Лица у всех просияли довольными улыбками. Раздались бодрые выкрики:

— Яковым Антипычем мы не обижены... Тухлятиной он, как допрежь бывало, не кормит нас.

— И жалованья он, Яков-то Антипыч, по копеечке на день набросил. И харч подешевле супротив прежнего отпускает...

Слезать с коня Емельяну Иванычу помогли рыжебородый с хохлатыми бровями Яков Антипов, поставленный управлять заводом, и мастер-литейщик Петр Сысоев. Емельян Иваныч приложился ко кресту, принял хлеб-соль от пригожих теток, пошутил с ними, затем спросил:

— Далече ль до завода?

— Да версты полторы, царь-государь. Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-к, там.

— Гарно. В таком разе я пешком пойду. Поразмяться... А на моего коня, — усмешливо прищурившись, проговорил Пугачев, — посадите какого-нито старичка почтенного. Кто из вас самый старей-то?

— Да старей нашего батюшки, отца Панфила, никого нетути.

— Отец Панфил, садись, — сказал Пугачев. — Ермилка, подмогни попу вскарабкаться, — и пошагал по дороге.

Маленький попик, не сразу поняв в чем дело, вытаращил глаза и от страха пошатнулся, затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попик закричал, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке.

Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачев шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут да вприпрыжку.

У людей хворь, какая была, кончилась; бабы с девками от быстрого хода разругались, похорошели, как вешние цветы; ребятишки, попевая за пешим государем, сверкали голыми пятками, вполголоса перекликались меж собой.

По плотной дороге раздавался дробный цокот кованых копыт и звяк оружия: то мерно двигалась пугачевская конница. Вот начался обоз: проехал фаэтон с какими-то красотками, возы сена, несколько телег с мукой и крупой, тарантас с Ненилой и расстригой попом Иваном. Поп курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадь. Он в трезвой полосе теперь и на все руки мастер: приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях: «Помяни, господи, во царствии твоем нашего казака-воина Сергия, нашего есаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея». Поминая их в молитвах, он упирает на слово «нашего», дабы в небесах не произошло путаницы, не смешали бы там за великими делами душу какого-либо голицынского злодея с праведной душой павшего за веру, царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витошнова. Помогает он также на кухне, учит Ермилку и Ненилу азбуке, чистит царю-батюшке сяду, ловит для царского стола рыбу.

Пугачев, бывало, нет-нет да и пошутит с ним:

— Ты, поп Иван, вижу, стараешься... И прилепился ко мне крепко!

— Все упование мое в тебе, царь-государь.

— Ну так я тебе попадью приглядел. Правда, что она из татарок, жена муллы, а муллу я повесил.

— А пригожа ли татарка-то, царь-государь, да молодая ли?

— Прямо раскрасавица! И не перестарок, а в самом прыску.

— Неподходящее дело, царь-государь. Мне бы какую кривоглазую бабу-раскоряку.

— Ха-ха-ха... Пошто так?

— Молодую да красивую Ванька Бурнов себе приспособит.

Загудел, залился, рассыпался по всему лесу медный трезвон колоколов, и вслед за тем грянул с заводской батареи пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника, по-царски.

Пока Пугачев ходил с атаманами и отцом Иваном в баню да после бани отдыхал, Андрей Горбатов готовился чинить государю подробный доклад о заводе. Он побывал в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штейгерами, затем, уже вечером, направился в управительский дом, где остановился Пугачев.

Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кондовых сосен. Пугачев со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зальце. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кенкеты, шандалы — все эти отличные, тонкой работы, вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой, из латуни, самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой веник, когда им с усердием метут полы. Пугачев с атаманами и Кинзей Арслановым, держа зажженные в подсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпускали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красоти.

— Слышь, Чумаков, — прыская в горсть, шутил Творогов. — Да уж не твоя ли это духовная? Вишь, развалилась, и левая ножка у нее кабудь покорооче...

— Ты тоже брякнешь, — притворно обидчиво возразил Чумаков, уткнув в грудь широкую, с проседью, бороду.

— А до чего гладка, до чего гладка! — восторгался Творогов, рассматривая картину. — Не ущипнешь...

— Я видел девку, — проговорил хмурый усатый Давилин, — ну так та горазд поздоровше этой будет. Она щеки да шею жиром смазывала, ее, вишь, застрашали, что, мол, кожа лопнет...

— Стой! Я знаю, кто это срисован, — сказал Пугачев, освещая картину свечой. — Это либо Апракси-на-графиня, либо Строганова Танька в пьяном положении. Я их знавал. Их, бывало, приоденут, приоденут, а они все с себя до нитки промотают, нагишом и сидят по неделе в горнице. Вот те и графини!

— Нет, государь, — сказал вошедший Горбатов. — Здесь изображена богиня Венера... Вот и серпик месяца в ее волосах запутался. Это из греческой древней религии.

— Верно, верно! — вскричал Пугачев. — Я в Греции бывал и у турецкого султана. Да вот послушайте...

Все обратили улыбчивые взоры к Пугачеву. После баньки, после сытой трапезы, а впереди — самовар кипит, — настроение у «батюшки» хорошее, уж он что-нибудь да «отчубучит». Когда на душе у Емельяна Иваныча спокойно, он мог порассказать о всяких занятых в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемешивал бывшее с не бывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или взаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верят, и все же в немалом восхищенье думали: «Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, а под конец, глядишь, и на всамделишную жизнь повернет, людям на поученье... поистине у батюшки ум густой, охватистый».

Вот Емельян Иваныч поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и, не спеша расхаживая по горнице, начал:

— Как-то заходим мы с султаном к нему в гарем, оба выпивши. Ну, там всякие цветочки, деревья разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские женки в водоеме плавают, аки белорыбицы. И показывает султан пальцем: «Вот, говорит, ваше самодержавное величество, Петр Федорыч Третий, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она, говорит, ко мне трех пудов весу и кажинный год, говорит, по пуду надбавляет, а живет семь лет у меня в гареме и вес имеет десять пудов без трех фунтов». Вот султан команду подал ей: «Вылазь на сухое место!» Как она из воды вылезла да трепыхнулась, так у меня, верите ли, аж в голове круженье сделалось. Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: «Как это, ваше султанское величество, могло статься, чтоб молодая красотка таким пышным телом обросла?» Султан отвечает: «А чего же ей, ваше самодержавное величество, белые тела не растить, ежели она проснется, в водичке поплавает, полбарана умнет, кофею запьет да опять на боковую». Ну, султан, конечно, старый, я молодой. И спознался я с ней ночью, стражу подкупил. «Откудов ты сама-то, красавица, будешь?» — спрашиваю ее по-французски. А она мне по-русски: «Я, говорит, не понимаю, чего вы, ваше императорское величество, лопочете...» Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает: «Я, говорит, девушка Федосья, а теперь Фатьма называюсь, двадцать два года мне, и весу тяну пять пудов три фунта, а не десять пудов, султан наврал вам».

«А как же ты, разнесчастливая, попала сюда?»

«А я, говорит, крепостная крестьянка распроклятого князя Голицына; он, говорит, злодей, променял меня султану на двух туркинь да на ефиопа с халдеем, да еще ученого журавля о трех ногах в придачу выпросил, вроде чуда».

Тут она причмокнула меня и горько заплакала.

«Ах, говорит, ваше императорское величество! Вызовьте меня отсель. Хоша тут и распрекрасно, хоша султан меня ни разу за волосья даже не трепал,

одначе шибко я по Расеюшке тоскую, по отцу-матери, по роду-племени. А как вспомню про леса да про березки белые, про малых пташек да соловушку, сама не своя, руки на себя наложить готова... Ой, спасите вы меня, спасите!»

Я тут едва передохнул, дюже жалко мне ее стало. Говорю ей:

«Лишь бы мне снова престолом завладеть, я бы Голицыну-князю ноги из спины повыдергал».

А она мне:

«Ой, повыдергайте ему ноги-руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла!»

— Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татищевой супротив нас шел? — спросил, улыбаясь, Горбатов, присаживаясь к самовару.

— А кто же? Он и есть! — подмигнув, воскликнул Пугачев. — Голицын-то один у царицы князь-то. Он, собака, этот самый Голицын-Рукавицын дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему как кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас — мы-де разбойники, народ грабим. Те сдуру и поверили!

Затем все уселись за стол. Творогов разливал по расписным гарднеровским чашкам чай. Ненила притащила пышек да густого меду.

— Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как? — обратился Пугачев к Горбатову. — В каком году завод-то обоснован?

— В тысяча семьсот сорок шестом, государь, — ответил Горбатов, раскинув пред собою исписанный им лист бумаги.

— Стой-ка ужо... Слышишь, Яков Антипов, — сказал Пугачев своему ставленнику. — А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы слали?

— А его, батюшка, повесить довелось, — встав и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корпусный Яков Антипов.

— Чем же он не угодил тебе? Делу нашему, что ли, прилежен не был?

— Не токмо николикой пользы не приносил, но делу вред творил! Стакнулся он, приказчик, с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и механиком, да и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек, портить: не ту плепорцию олова в медь давал. Чрез что изъян получался и делу пагуба: как поставят отлитую болванку на станок да учнут сверлить стволину, весь сплав в раковинах да в трещинах.

— Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плепорции? — спросил Пугачев.

— А сам Беспалов показал... Как присудил народ покончить с ним, он на колени, да и ну каяться.

— Народ, говоришь, присудил-то? — вскинул Пугачев голову.

— Народ, народ, ваше величество! — воскликнул Яков Антипов. — Весь работный люд... Уж очень большая охота была у мастеров да работников угодить тебе, царь-государь, пушек да мортиров-то поболе отработать...

— А с немцем Мюллером как? — прищуриль правый глаз, по-строгому спросил Пугачев.

— Сохранили Мюллера мы. Хоша народ и шумел «повесить немчуру», да я не дозволил.

— То-то же. — И Пугачев с шумом передохнул. — Немца, ежели он знатец дела, обласкать надо. Поκληчьте-ка его.

Побежали за Мюллером, Антипов сказал:

— У него, у немца-то, голова дюже смекалистая... Ведь по его плантам пушки и мортиры-то делались, кои перекидным огнем палят. Правда, что не он один, а с ним вместях другой знатец работал, наш...

Явился тучный шихтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, подпертый толстыми ногами в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинутая, тоже клетчатая, куртка-распашонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые, с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На ходу немец задыхается. Вошел и со спесью небрежно кивнул головой.

— Здравствуй, Карл Иванович, — произнес Пугачев, воззрившись на немца.

— Мой — Генрих Мюллер, — хрипло промямлил мастер, не выпуская из рта трубки.

В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола. А вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведет войну против царицы. По крайней мере так толкуют заводские работники, но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что оный человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник, лжецарь Пугачев. Мюллер поглядывал на Пугачева и гадал: кто он?

Пугачев в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот несколько поежился, стал усиленно попыхивать трубкой.

— Умеешь ли по-англицки, Карл Иванович? Либо по-гишпански? — приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачев.

— Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленько по-русски.

— В таком разе балакай по-русски, как умеешь, — сказал Пугачев, скользом взглянув на Горбатова, внимательно следившего за разговором. — Отвечай, знаешь ли, что я — Петр Федорыч Третий, царь всея России?

— Нет, не знайт, — потряс головой и щеками немец.

— Ну, так знайт! — с сердцем сказал Пугачев. — А когда этак мне русский человек ответствует — не знаю, мол... так я, чуешь, приказываю тому человеку голову рубить! — И Пугачев пристукнул ребром ладони по столу.

Позади Емельяна Ивановича стоял широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами, и свирепо смотрел в густо покрасневшее, щекастое лицо немца. Мюллер явно испугался слов царя и задышливо произнес:

— Мой голова рубить не можно есть... Голова Генрих Мюллер подданный великий король Фридрих Прусский.

— А ты, иноземец, не фырчи... Нито, мотри, у меня недолго и с перекладной спознаться... Тогда узнаешь, чей ты верноподданный... Ты, с Беспаловым сговорясь, вред чинил моему императорскому делу... — сказал Пугачев, пронзая Мюллера суровым взором.

Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся. Затем выхватил изо рта дымящуюся трубку и, выбив ее о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачев сказал помягче:

— Ну, Карл Иваныч, как ты угодил мне своими пушками, кои под Оренбург присланы были, я все твои вины передо мной прощаю. Пушки новые есть?

— Есть два пушка, два мортир, кайзер-цар...

— Приготовься назавтра пробу учинить. Иди, Карл Иваныч.

Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаркнул ногами вправо, шаркнул влево, дважды притопнул каблуком, изогнулся корпусом вперед, подобрал брюхо и с подобострастием на лице выпятился оттопыренным задом в дверь.

Все с веселостью заулыбались, посматривая на «батюшку».

2

— Ну, Горбатов, докладай таперь, — приказал Пугачев офицеру.

Заглядывая в свои записи, Горбатов начал:

— Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад симбирскими купцами братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Выпытав у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало как в пятьдесят тысяч десятин с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину.

— Во-во! — проговорил Пугачев, обжигаясь горячим чаем. — Мне об эфтом самом полковник Падуров, бедная головушка, когда-то сказывал.

— Яман, яман, дермо дѣла! — закричал тонким голосом Кинзя Арсланов и стал лопотать наполовину по-башкирски, наполовину по-русски.

Толмач Идорка, переводя его речь, говорил, что купцы спаивали башкирских старшин вином, одаривали их разными вещишками и подсовывали им купчие. Старшины в пьяном виде ставили на купчей свою тамгу (подпись), и законная сделка таким образом считалась совершенной.

Кинзя Арсланов через переводчика сказал:

— Поэтому наша башкирь и пошла к тебе, бачка-осударь... За правдой пошла, верит, что ты обидчиков нашего народа покароешь, а землю опять вернешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам.

Пугачев подумал, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил:

— Перетолмачь: мол, с землей дело прошлое; что с возу упало, то пропало. А то выходит, — лежит собака на сене, ни себе, ни людям... Стой, погоди, Идорка! Насчет собаки не перетолмачивай, а толкуй тако: ныне, мол, завод со всеми землями в нашу государеву казну отошел, а земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются, им той земли хватит, коей владеют. И еще башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять: заводы пушки с ядрами лют, оружие сготовляют. А то придет враг со стороны и заберет всю землю — башкирскую и русскую. А без русского народа — малым-то народам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до ребер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им. Сам на всю землю сядет и распространится. Горе тогда всем вам, малым! Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлицей застрелены. Ты только покрепче подумай, Кинзя Арсланыч, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы да Демидовы, замест пользы один вред прино-

силы вам, обиды да притеснения сотворяли башкирскому люду простому. А я тебе, Кинзя, говорю своим великим царским словом — впредь этого не будет. Кто башкирцев на заводской земле обижать станет, голова тому будет рублена!

Идорка перевел. Кинзя, выслушав, кивнул головой, сказал:

— Якши.

Горбатов, прислушиваясь к резонным речам государя, сказал:

— Это вы правильно, государь, рассудили, умственно.

— Ну, а как иначе-то?.. — возразил Пугачев. — Тут само дело указывает.

— Для полного уяснения обстоятельств, — продолжал Горбатов, — надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы еще при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до петровских времен в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень. Далекая Башкирия никому не нужна была. А вот когда Петр Первый новые порядки на Руси заводить начал, тогда все круто переменялось. Петр укреплял государство силою оружия. При нем постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия, — значит, зандобились и медеплавильные и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился, расходы на войны были чрезмерны, довелось усилить торговлю с границей хлебом, — стало быть, потребовались под пашню новые земли. И вот потянулись в Башкирию купцы вроде Твердышевых, да на придачу им — помещики: пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много и земля та чернозем. — Горбатов сделал паузу и продолжал: — Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела Твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь, ежели от башкирцев да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность.

— Эх, напрасно это, — крутил головой Емельян Иваныч. — Этакую тетушка моя, блаженные памяти,

промашку допустила. По-бабски это! Тут любовно надо было, любовно, говорю, А народ на народ неча, как собак, натравливать. Она бы лучше, тетушка Лизавета, вечная память преславному ее имени, указто издала, чтобы купцы Твердышевы недоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна, по справедливости. Да их бы, Твердышевых-то, надо было, сукиных детей, не в потомственное дворянство, а на каторгу! А этакие указы давать станешь, кого хошь озлобишь.

— Вы правы, государь, — вновь выговорил Горбатов. — С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков, тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели.

Пугачев расправил бороду, откинул со лба челку и, подумав, сказал:

— Идорка, перетолмачь, а ты, Кинзя, слушай... Мы решили тако, и наша императорская Военная коллегия не единожды о том манифесты выпускала: бедноте башкирской я слезы вытру, а что касаемо чтобы русских мужиков изобижать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни! Уж не прогневайся, Кинзя Арсланыч. Наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наущаемые муллами да богатыми баями, мужиков беззащитных забижают... Да нешто мужики виноваты, што господа сюда их перевезли, в Башкирию?

Когда Идорка перетолмачил, Пугачев, хмуро насупясь, спросил башкирского старшину:

— Понял ли, Кинзя Арсланыч? (Тот кивнул головой.) А понял, так на ус покрепче намотай... Идорка, перетолмачь.

Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал:

— Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов¹.

¹ Преображенский, Богоявленский, Благовещенский, Верхотурский, Катав-Ивановский, Симский, Белорецкий, Юрезанский, Усть-Катавский и Сысертский.

Пугачев встал, подошел к поднявшемуся Горбатову и, похлопав по плечу, сказал:

— Благодарствую. Мастер докладать. Теперь мне все явственно. А вот что это такое, ваше благородие, в трубке-то у тебя свернуто?

Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры, по бокам чертежа пестрела рябь мелких цифр.

— Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, государь, — сказал он. — Хотя нечто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну.

Все сгрудились подле чертежа. Пугачев влип глазами в рисунок, наморщил нос, посапывал. Яков Антипов сказал:

— Не один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то молвить, не Мюллер, а наш мастер-пушкарь, по прозвищу Коза, пушку-то эту выдумал. Он знатец великий. У него два сундука разных книг с цифирью, у Козы-то... Вот те и Коза. Он и зовет себя «механикус». Только пьяница — не приведи бог!

— Где он, Коза ваш? — оживился Пугачев.

— Нетути его, ваше величество, — ответил Яков Антипов. — Он, пьянь горячая, на Каму невесть зачем подался. Нешто его, Козу, удержишь?

Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой — в полтора ведра, с клеймом Воскресенского завода. Стало темновато. Зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры не смолкали.

Старый заводский мастер, литейщик Петр Сысов — человек высокий, со впалой грудью, лицо сухощавое, скуластое, в небольшой темной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят, он стал рассказывать о Тимофее Иваныче Козе.

История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрым и затейливым, он почасту играл со своим сверстником барчонком, был вхож в господский дом, затем

отобран от родителей и помещен в людскую. Барчонка обучал разным наукам гувернер из отставных офицеров-артиллеристов. На уроках всегда находился и Тимошка, барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовода и вообще на все руки мастера. Но выходило так, что Тимохе наука давалась легко, а барчонок ни в зуб толкнуть. Тимоха стал по-немецки говорить и «всю рихметику произошел». Барин, присутствуя на уроках, злился на сына, что ничего не может усвоить, тряс его за вихры, давал подзатыльника, а Тимоху, за то что отвечает бойко, без заминки, отсылал на конюшню драть.

Когда Тимохе исполнилось двадцать лет, на него начала заглядываться пятнадцатилетняя барская дочка Танечка. Однажды родители нашли у нее под подушкой Тимохино письмо: «Ненаглядная, золотая, дорогая. Бежим, не бойся, будет хорошо. Бери денег. Поженемся, а после заявимся к родителям. Меня избыют, выдерут и тебя также, а тут — простят. И жизнь пойдет не надо лучше». Ну, словом, что-то в этом роде, сам Коза сколько раз Петру Сысоеву об этом толковал. Хоть и жаль было расставаться барину с Тимохой, а ничего не поделаешь; продал он его за хорошую цену на Воткинский завод, разлучив дочь свою с крестьянским сыном, а крестьянского сына с родителями его. И заделался он на заводе подмастерьем, а через четыре года мастером. Вошел в доверие. Хозяин послал его с железным товаром на Макарьевскую ярмарку. А втепору проживал в Нижнем-Новгороде великий изобретатель, механикус Кулибин, самой государыне ведомый. Тимофей Коза направился к нему, прожил у него двое суток, рассмотрел всяких диковин; видел он у Кулибина золотые, с гусиное яйцо, часы, им изобретенные, дивные-предивные, еще видел «ликтрические машины» со стеклом и трубу длиной в сажень, луну рассматривать.

— Много Коза рассказывал о премудрости всякой, кою видел у Кулибина. И кнйжиц охапку оттудова привез, — говорил Петр Сысоев. — Яков Антипыч, нет ли у тебя какой из его книжек-то?

Антипов сходил к себе в спальню и принес в кожаном переплете измызганную книгу: «Георг Крафт. Краткое руководство к познанию простых и сложных машин, сочиненное для употребления российского юношества. Переведена с немецкого языка чрез Василия Ададунова, адъюнкта при Академии наук, 1738 год».

Книгу полистали и Горбатов, и Чумаков, и сам Емельян Иваныч.

— Ах, добро, ах, добро!.. Замысловатая книга! — восторгался он. — И картинки. Ну-к, а что же дальше-то с Козой?.. Толкуй, Петр Сысоев... А ты, Творогов, нацеди-ка мне еще чашечку покрепче.

— С этих пор, — продолжал Сысоев, прищуривая то один, то другой глаз, — с этих пор Коза полез в гору на Воткинском заводе, и его за большую цену купили братья Твердышевы, купили и, видя в нем старание, а от сего большую для себя корысть, в награждение дали ему вольную. И определили его на Воскресенский завод, сиречь сюда, в помощники немцу. Старший-то из Твердышевых, Иван Яковлевич, хотя и совсем стариком сделался, а ума палата; он пекся о процветании дела своего, и было у него устроено здесь вроде школы: ребята обучались грамоте, штейгерскому и всякому ремеслу. Школу вел немец Мюллер. Только та беда, что главных своих секретов он ученикам не передавал, чрез что хозяин был им недоволен. Поэтому он и Козу-то Тимофея к нему определил, в мыслях у хозяина было немца прогнать, а Козе препоручить весь завод. Пронюхав это, немец, проклятая душа, принялся Козу вроде как бы спаивать. И стал Коза на работу пьяненький являться. А напьется — плачет, слезами разливается, все Танечку свою вспоминает, забыть не может, волосы на себе рвет. И было ему в те поры под сорок годов...

— А таперь-то сколько же? — спросил Пугачев.

— Таперича, ваше величество, к шестидесяти подходит... И образовался он вроде как запойный: месяц работает, неделю пьет, четыре месяца на деле, два в гульбе. До зеленого змия допивался. И чрез сие содеялся плотию немощен, ну а разумом, как и

допреждь, крепок. Хозяин, Иван Яковлевич, зело скорбел о нем, потому — мастер, золотые руки. Тимофей Коза и рисунки разные выдумывал: по его образцам во дворец канделябры да всякие фигурные подсвечники, каминные решетки отливали. Ему сверхурочное жалованье шло. Одначе он завсегда пропивался до ниточки и все Танечку свою вспоминал, еще до сей поры жениться на ней мыслит. Мы, бывало, говорили ему: «Сдурел ты, Тимофей Иваныч... Да твоя Танечка-то ненаглядная давно старухой сделалась, а может, богу душу отдала». А он: «Над ней смерть власти не имеет; Танечка ко мне, пьяному горемыке-бражнику, завсегда во образе прекрасной юницы появляется. О мучения мои великие, о распятая на кресте жизнь моя!..» — скажет так, схватится за голову и горько-прегорько восплачет. И нам-то до смерти становится жаль его, и у нас-то зачинает в носу свербить.

— Скажи на милость, скажи на милость, до чего прочная любовь! — рывком поставив на стол блюдо с чаем, воскликнул Пугачев и приударил себя ладонями по бедрам. Он вдруг вспомнил недавнюю жену свою, государыню Устинью, вспомнил Катерину, с которой слушал на Каме соловьев, вспомнил дворянскую дочь, ненаглядную Лидию Харлову, замученную христопродавцем Митькой Лысовым, еще вспомнил, наконец, красавицу Шесту Творогову, последнюю разлуку с ней в Берде. Все милые его сердцу женщины пришли на память вдруг, как слетевшие с облаков райские жар-птицы. Вихрем крутнулись в мыслях, опалили сердце и исчезли. Пугачев вздохнул.

И все вздохнули. Под влиянием рассказа внезапно родились у всех воспоминания о счастливых днях юности, о звездных ночах, о жарких поцелуях, о горьких слезах, пролитых при разлуке с милой. Да, хороша незабываемая юность, вся в цветах, вся в хмельных соках жизни! Но лучше не вспоминать о ней — она неповторима.

Старообрядцу Петру Сысоеву даже пришла на ум старинная стихира, которую он и произнес вслух: «Увы мне, увy мне, на горе рожденному: вот грядет

юность, за юностью младость, за младостью старость, за старостью — смерть».

После бани, после пеннику и соленой рыбки чай пили с неослабевающим азартом и никак не могли утолить жажду. За самоваром чайничали восьмером, на месте же всегда сидело только семеро, восьмой, в порядке очередности, отсутствовал. Огромный самовар вдруг зафырчал, зашумел и неожиданно осел набок.

— Глянь, распаялся! — с удивленной веселостью вскричал Пугачев, ткнув рукой в похилившийся самовар.

— Ай, беда! Должно, воды нет, — всполошился подскочивший к самовару Творогов. Он торопливо потянул вверх крышку и вместе с ней вытащил из самовара распаявшуюся трубу. — Ишь ты, вся горловина рухнула...

— Вот это попили чайку! — со смешливостью и сожалением подхватила вся застолица. — Эх, самовара жаль!

Часы пробили двенадцать, все принялись укладываться спать.

3

Выждав время, когда вокруг заснули, Пугачев оделся и вышел. Была холодная весенняя ночь. В небе серебрился полумесяц в окруженье ярких звезд. Плавные очертания поросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть хваченных голубоватым светом, мутно темнели вдали. Из двух медеплавильных печей валили густые клубы дыма, то черного, как сажа, то желто-грязного. Из открытых дверей и окон мастерских неслись мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, ниспадающей из обширного пруда чрез приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок — большая куча хат с остроконечными кровлями. В поселке один за другим горласто перекликались петухи. Из лесу наплывал хищный пронзительный писк сов и всякой ночной твари.

К заводским, окованным железом воротам подходил обоз: поскрипывали телеги, отфыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо. Привратник прокричал:

— Кого бог дает?

Из голубоватой сутемени загалдели:

— Углежоги с угольем!.. Да еще известкового камня на сорока возах. Отворяй, Макарыч!

Ворота распахнулись. Обоз потянулся к складам, часть телег стала разгружаться возле литейной мастерской. Старший обозный и еще два углежога вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачев. Он был в будничной казачьей сряде, с простоволосой головой. Мастерские люди — литейщики и сварщики — за недосугом встречать с народом «батюшку» не выходили и поэтому не знали, как он из себя.

— Любопытствуешь, господин казак? — спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стеклами.

— Любопытствую, — ответил Пугачев, — из государевой армии я.

— Не заспалось, должно?

— Не заспалось, братец.

— Слых есть — быдто царь-отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками.

— Похоже — будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?

— А сам я первой руки токарь по меди, Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. А с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государева экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут в уголке-то столик мой, я тебя молоком угошу. Желаеть?

Они сели у засаленного прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.

— Добрецкое молочко, — начал Пугачев. — Вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?

— Две коровки, да две телки, да лошадь, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.

— Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?

— Да как сказать, — ответил Осиноватиков, снимая синие очки. — Нас в семействе шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все получаем зароботку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого.

— Что же, маловато тебе ай нет? — спросил Пугачев, прищуривая правый глаз.

— Да нет, господин казак, — откликнулся мастер. — Оно и не так мало на поверку-то... Ведь ржаная мука пятнадцать копеек пуд, стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, кажинный человек. А как полковник Зарубин-Чика Иван Никифорыч от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу.

— Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то? — спросил Пугачев.

— Да ничего... Только дюже строг. Правда, что не штрафует и по зубам не бьет, а требовать дело — требует.

— Он царские антиресы блюдет, — сказал Пугачев, — ведь поди ныне работаете не на купца.

— А мы нешто не понимаем. Да мы и ране работали не худо, на Турецкую войну лили немало пушкетов. Мы с понятием. И совесть в нас есть.

— Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так пошто же себе заступника народного поджидаете, избавителя?

— А вот пошто, господин казак, слухай, — проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачева. — Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много работных людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не во все голодно, одначе промеж крестьянства и бедности достаточно и земли у многих маловато. Только, говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся,

от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!

— Верно, верно! — с горячностью воскликнул Пугачев, а надсмотрщик продолжал:

— Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждет, такожде и по заводам. Добер ли до нас, сирых, государь-то, господин казак?

— К барам строг, к народу-труднику — милостив.

В это время дверь распахнулась; раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов.

— Ну как, плавка готова? Скоро ли выпускать?

— Нет еще, Яков Антипыч, — сказал, подымаясь ему навстречу надсмотрщик. — Часика этак через два...

— Ой, ваше величество! Так вот ты где... А мы-то тебя, свет наш, ищем, — удивленно воскликнул Антипов, заметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Иваныча.

— Что?! Так это кто же будет? — перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.

— Это владыка наш! Петр Федорыч Третий, — торжественно сказал Яков Антипов.

Надсмотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачеву и кувырнулся ему в ноги.

4

На другой день рано поутру Пугачев с Яковом Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от пяти до двадцати пяти сажен глубиной. Пугачев видел, как руду насыпают в большие бадьи и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло, для водоотлива была устроена «водяная машина», приводимая в движение конной тягой.

— Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, — говорил Антипов. — На прочих заводах медная руда из рудников идет прямиком на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.

— Какой же? — спросил Пугачев.

— А вот вздымемся на пригорок. Оттуль видать.

С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине. Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать ее мягкой, годной к проплавке.

— По первоначальному разжигают кострище из сушняку и в огонь руду валят, — пояснил Антипов. — Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».

— При обжиге, — сказал Петр Сысоев, — руда исходит ядовитым газом, самым зловредным для здоровья. Газ по земле стелется, и, ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки... А то — смерть неминуемая.

От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, елки на большое пространство вокруг стояли оголенными, без листвы и хвои.

— Когда руду здесь обожгут, — продолжал мастер, — привозят ее на завод и разбивают по сортам. А крупные-то куски в толчее толкут да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготавливают «флюс»: это известной камень, белая глина да песок. Перемешают все с дробленой медью, получится «шихт». Ну, а теперича, батюшка, поедемте, нито, на завод к домницам.

Вернувшись на завод, первым делом зашли в «пробницу» — лабораторию. Это светлая изба, в середине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тигли, пробирки, весы грубые и весы точные под стеклянным колпаком, пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб.

— Здеся-ка орудует немец, — пояснил Антипов, — а иным часом и Тимофей Коза.

В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками.

— А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их. Бывало, зайдут сюда с Козой,

да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, Коза чахнет.

В плавильном цехе, куда вошел Пугачев с прожатыми, было жарко. Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами.

— Мы зовем их домницы, а немец называет — крумофены, — сказал Петр Сысоев.

Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и «флюс» с толченой медью, то есть «шихт». Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрикивает на тачечников:

— Эй вы, гужеды сиволапые! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!

Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов, снова пласт угля, пласт руды и флюсов¹. Донельзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» похож на живое существо, ради озорства вымазанное жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе — его держит на месте непрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.

— Слышь, Яков Антипыч, — обратился Пугачев к управителю. — И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»: работа их, ведаешь, из трудных трудная...

— Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый крепкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калека, либо на погост...

— «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах — одна честь, — продолжал Пугачев, от нараставшей жары пятась к двери. — Я на Авзянском са-

¹ В каждую печь входило двести пудов руды, шестьдесят пудов флюса и восемьдесят коробов угля.

молично спускался в бадье — на лычной веревке, она у них вглубь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно, в тележке. — Он ухватил управителя за руку пониже плеча; управитель поежился от боли. — Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязищи да сырости грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то — золото, ей-ей... И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка — как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет божий из штольни ихней, да и взмыслил: эх, вот бы народа какого державе нашей, да поболее!.. — Помолчав, он строго продолжал: — Вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять «засыпок»-то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кои покалечены в работе, тех на безденежное кормление взять, навечно... Моим царским именем!

— Сделаю, батюшка, постараюсь, — ответил Антипов.

Пугачев, видимо, волновался; он то засовывал руки за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял на голове шапку. В цехе было шумно: гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в домны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там вовсю пыхтели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывалась в поддувало, в печную утробу, и разжигала угли. Чрез кривошипы и колесный вал мехи приводились в движение шумевшей за стеной водою, она падала на водоемные колеса.

Людей в цехе было десятка полтора. Бороздниками и веничками они прочищали вырытые в земляном полу небольшие ямки, соединенные между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет-потечет огнежидкая, расплавленная медь. Все вместе с Пугачевым надели синие очки, а рабочие и мастера —

кожаные фартуки да кожаные голицы. Старший мастер проверил, правильно ли наклонен желоб от печной лещади к канавкам. Работники подхватили железные лопаты. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, чрез слюдяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе ее гудит и клокочет расплавленный металл, и поднял руку:

— С богом, ребята! — Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанное глиной выпускное оконце.

— Пошла, матушка, пошла, пошла! — закричал он, ударяя второй и третий раз.

Глиняная пробка вылетела из брюха домницы, хлынул огненный, ослепительно-белый поток. Расплавленная масса потекла по желобу вниз, в канавки, в ямки.

Мастера и подмастерья суетились с лопатами; они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко. Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на ходу, на них выступила соленая пыль, как иней. Пугачеву показалось, что от жару у него затрещала борода, он вскинутыми ладонями заслонил лицо и попятился к выходу.

— Готово! — прокричал старший; он снова вбил затычку в спусковой продух опустошенной домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья.

— Самое главное, знать, когда медный сплав в домнице дозрел, — пояснял Пугачеву сопровождавший его Сысоев. — Знатецы нюхом чуют. Зевать уж тут не приходится, а минуту в минуту чтобы. Таких мастеров-знатецов хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен, чтоб мастер не сбежал к другому заводчику да секрет свой не передал.

Один из мастеров плавильного цеха подошел к «батюшке» и низко поклонился ему.

На расспросы Пугачева мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилась черная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтоб окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод и там будут плавить сначала в особых печах — «сплейсофенах», а затем еще раз переплавлять в штыковых горнах. Тогда получатся бруски, или «штыки», чистой меди¹. Затем раскаленные докрасна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющить в «доски» весом до пятидесяти фунтов.

Тем временем ко второй печи начали подтягивать висевший на цепях, перекинутых чрез блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и «рыльцем». Подошедший мастер сказал:

— Теперича сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краев, переведут его вон к тем глиняным формам, к опокам. Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в сверлильный цех потянут стволину делать. Сплав этот из меди очищенной с примесью олова — бронза.

Пугачев попросил напиток. Ему подали подсоленной воды.

— Это пошто же с солью? — спросил он.

— А чтобы жажда не столь долила, — пояснил Сысоев. — Соли-то, ишь ты, дюже много из человека от жарихи выпаривается, ну так недостаичу-то и надбавляют в нутро с водичкой...

Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кричный цех. Пугачев здесь оставался недолго:ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел как многопудовые молоты, приводимые в движение водой, обжимают железные крицы². И здесь стояла нестер-

¹ Каждые сто пудов руды дают до четырех пудов чистой меди, она обходилась по три рубля восемьдесят копеек за пуд. С начала войны с Турцией производство меди на заводе Твердышевых поднялось до двенадцати тысяч пудов в год.

² Крица — железный брус.

пимая жарница. Люди с опаленными бровями и бородами, с раскрасневшимися, как бы испеченными, сухощекими лицами и слезящимися глазами, ловко и проворно перехватывали клещами раскаленный добела металл, подставляли его то одним, то другим боком под молоты. От удара молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры нагара и окарины.

— Ну, батюшка, а вот это моя фабричка... Здесь-ка твоей царской милости пушки изготовляем, — сказал Петр Сысоев, вводя Пугачева с Антиповым в сверлильно-обделочный цех. — Уж я тут останусь, спокину тебя, а то недосуг — работка-то не ждет.

Мастерская рублена из пихтовых бревен, стены грязные, прокоптелые. Три широких застекленных окна давали нужный свет. На сверлильном станке была укреплена бронзовая ствольная для пушки, над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков с окладистой русой бородой и длинными волосами, схваченными чрез лоб узким ремешком. Когда Пугачев стал приближаться к мастеру, он нажал ногой деревянный на ремнях привод, вал со ствольной заработал вхолостую.

— Здорово, друг мой! — поприветствовал мастера Пугачев.

— Здрав будь на много лет, царь-государь! — гулко и внятно ответил тот, низко поклонившись.

От крайнего окна, где был стол с раскинутым на нем чертежом, отделился немец и, неся впереди себя свой раздувшийся живот, подплыл к Пугачеву.

— О кайзер-цар, кайзер-цар! — восклицал он, пыхтя и кланяясь Пугачеву.

— А, Карл Иваныч! Ну, как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было да голубиц с мортирами?

— Мой — Генрих Мюлер, кайзер-цар, Мюллер! — с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. — За пять месяц Берда отлит дванасать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра, гранат,

— Верно, а таперь?

— Новий работать трех пушка, этта — четверти, этта — пяти, — ответил шихтмейстер Мюллер, тыча пальцем в стволину и в бронзовую болванку, которую четверо работников подымали на станок. — Шестой пушка готовый, на уличка, пытанье будет ему при вас, кайзер-цар...

— Ту пушку Коза Тимофей мастерил, по его расчислению... — сказал Антипов. — А Генрих Мюллер только помогал ему.

— Я мастериль! Мой пушка! — снова приударил немец себе в грудь и по-злому посмотрел на Якова Антипова.

— Ладно, учиним пробу, — проговорил Пугачев и, обратясь к мастеру, сверлящему стволину, спросил: — Как таперь — без изъяна бронза-то?

— Без изъяна, батюшка, без трещин, без раковин. Добрецкая бронза...

— Благодарствую, — молвил Пугачев, погладил гладкую стволину, как шею любимого коня, и, пошарив в кармане, подал бородачу золотой империял. — Ты, мастер, старайся... На-ка, вот... Ни на кого иного, на себя стараешься!

Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода, на берегу пруда. Возле нее толпились казаки, башкирцы и прочий пугачевский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Чумаков, Творогов. С башкирцами, сидя на коне, беседовал о чем-то Кинзя Арсланов.

Когда Пугачев, сопровождаемый немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов объяснил Пугачеву, что пушка должна пальнуть через завод и через вон тот лесок прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние измерено межевой цепью и равняется двум верстам ста сорока сажням. Пугачев сел на коня, вместе с Кинзей Арслановым смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика — два «глядельщика»; они

схоронились за сделанным из плитняка укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной стволины, возле «казенной части», была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на девяносто градусов. А к стволине был припаян «указатель», при подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема стволины над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон стволине в двадцать четыре с половиной градуса. По межевому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. И если взять направление выстрела через крест колокольни, а дулу пушки придать правильный уклон, то, при удаче, ядро должно обязательно ударить в сарайчик...

— Можно пальять скоро-скоро невидим цел... Да-фай скоро! — скомандовал немец.

Пушка стрельнула чрез завод, чрез крест колокольни, чрез лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коне «глядельщик» и сказал, что ядро «прожужжало» над их головами и пролетело выше сарайчика.

— Да насколько выше-то, парень? — спросил Антипов.

— А кто ж его ведает, може, на сажень, може, на двадцать саженев, а може, и на два лаптя... Как знать... Только что чик-в-чик не вдарило.

Немец слушал, разинув рот и двигая бровями. Вдруг (от пруда видно было) к управительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила таратайка. Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем полез из кибитки, оборвался, упал, с усилием поднялся, посмотрел по сторонам и, завидя на берегу пруда большую толпу, пошел на нее с громкими криками. Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе сказал:

— Да ведь это Қоза прибывши... Ишь его из стороны в сторону мечет.

Невысокий человек в черном одеянии то бежал, то шел, то частенько падал.

— Он, он!.. Тимофей Иванов это... — раздавалось в толпе.

И действительно, вскоре стало все отчетливей доноситься с ветерком:

— Я Коза! Тимофей Коза! Встречайте! Коза-дерева приехал!.. Прозвище Коза!.. Я Коза, а вы люди-человеки... Коза приехал!.. Я Коза! Прозвищем — Коза! — непрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь.

Пугачев во все глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу Козе двинулся Антипов.

— Я Коза, Коза! — продолжал кричать тот, не переставая. — Вы люди-людишки, а я Коза! Прозвище Коза!.. Врешь, немецкая твоя образина, я сам механикус! — взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону; он упал. — Я Коза!.. Любое число... могу в зензус и в кубус возвести. На-ка выкуси, Мюллер!.. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза... Рус-скай...

К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачева. И видно было, как механикус запыленно взмахнул руками, нетвердым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свитку и шляпу, припал к холодной воде на колени и суетливо стал качивать лысую свою голову. Антипов меж тем встряхивал, чистил его свитку.

И вот перед Пугачевым остановился протрезвевший механикус. Он — низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами; в них светились ум и затаенная скорбь. Пугачев с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое, исхудавшее лицо его и хмурил брови.

— Я Тимофей Коза, твое величество! — выкрикнул механикус и, держа шляпу под мышкой, поклонился Пугачеву. — Прости, отец... В ноги тебе не валюсь, не приобик царям кланяться земно. Цари бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут-воздыхают, пресмыкаются. А я, горький, того не желаю — я сам себе царь!

— Цари, друг мой, всякие случаются, — возразил Пугачев, глядя в упор на механикуса. — Одни, верно, царствуют да бражничают, а есть и другие, кои труждаются и страждут.

Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачев участливо спросил его:

— Пошто ты пьешь, Тимофей Иванович? Мастер ты, слыхать, отменный, а этакое погубление себе чинишь. Званье свое мараешь. А ведь ты не мал человек на белом свете...

— Обида, обида, твое величество! — закричал Коза и закашлялся. — Убери неправду с земли, тогда брошу. Чья пушка? Моя пушка! А немец говорит — его пушка... Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот, защуря глаза, влеплю.

— Мой пушка! — брызгая слюной, закричал немец.

— Ну ладно, твой так твой... — более спокойно сказал механикус. — Ты ее по моим исчислениям сделал, а выдумал ее я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами. Для турецкой войны старался.

— Мой пушка! — снова запальчиво воскликнул Мюллер, напирая брюхом на механикуса.

— Царь-государь, дозвожь! — отодвигаясь от немца, заголосил Коза и крикнул пушкарям: — А ну, ребята, заряди! — Он бросил шляпу в руки малайки-башкиренка, достал из кармана измызганную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика.

Тимофей Коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке нужные расчеты, бубнил себе под нос:

— Я и субстракцию знаю, и что есть радикас знаю... Зензус, кубус...

Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул:

— Враки, немец! Траектория неверна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, черт некованный, двадцать четыре с половиной.

Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачев, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал:

— Пали!

Ударил выстрел. Пугачев сказал механикусу:

— Слышь, Тимофей Иваныч. Все едино — утрафишь ты, не утрафишь ли в цель — люб ты мне. Хочешь вольной волей идти в нашу императорскую армию — иди, рад буду... Только допряма говорю тебе: пьянству положи зарок. Не люблю в деле пьянчужек...

— Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь! Сей же день пить брошу. И в армию к тебе вступлю. Авось мимо нареченные невесты моей путь твой предлежать будет... Я вживе ее почасту вижу, она, юница непорочная, до сей поры из своего сердца не истребляет меня. И я, горький, такожде верность ей блюду и не творю блуда ниже делом, ниже помыслом своим... — Тимофей Коза говорил жарким, захлебывающимся голосом, глаза его горели безумством, испещренное морщинами желтое лицо покрылось красными пятнами.

— Брось ты нескладицу молоть, Тимофей Иваныч, — отмахнулся Пугачев. — Опомнись. Слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала.

— Отец! — с отчаяньем закричал Коза и, скривив рот, заскорготал зубами. — Я думал, ты един поверишь мне, а ты — как все... Сказываю тебе, время не трогает ее, время над ней идет. Доднесь Таня моя в юности обретается. Да вот и сей день, как подъезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, вьюнок плела. «Это, говорит, Тимошенька, тебе». Вот он, вьюночек-то, вот. — Механикус, тяжело, с прихлюпом, вздыхая, достал из кармана свитки небольшой веночек первых полевых цветов и помаячил им пред Пугачевым.

— Едут, едут! — вдруг зашумела настороженная толпа.

Не один, а оба глядельщика, настегивая лошаде-нок, неслись вскачь, на злу голову орали:

— Попало, попало, ядрена бабушка!.. В самую крышу брякнуло... Вдрызг разворотило!

Пугачев сдернул кафтан и накинул его на плечи Козы.

— Премудрая голова у тебя, Тимофей Иваныч, — произнес он громко, и в толпе, как бы подхватив сло-

ва его, дружно закричали: «Ура, ура!» Затем он резко повернулся к Мюллеру: — А ты, Карл Иванович, ежели хочешь, будь при нем подмастерьем. А не хочешь — валяй себе к своему Фридриху косолапые пушки ему лить... Понял ли?

Немец понял и помрачнел, как ночь. Дымя трубкой и распахивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на Козу и грузно двинулся прочь, как медведь через чащобу.

5

Емельян Иванович всем заводским людям решил сделать угощение. Работникам были накрыты столы в двух цехах. А в деревню Александровку Горбатов отправил расторопного секретаря коллегии Шундеева с двумя казаками устроить мужикам «царский обед с выпивкой».

В управительский же дом были созваны все мастера и восемь наилучших подмастерьев. Тимофея Ивановича Козу всюду искали и, к великой досаде Пугачева, не могли найти.

Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломились от дорогой посуды. Пугачевские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерьев выделялся исполнинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша Маленький. Плечи у него широченные, а кудрявая голова не по корпусу маловата. Рядом с ним кряжистый Чумаков казался карапузиком. Темного сукна, перехваченная цветистым кушаком поддевка парня была туго набита мускулами. В каждый подкованный сапог его могло бы поместиться по мешку крупы.словно вылитый из чугуна, Миша Маленький давил ногами пол.

Вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иванович, в ленте через плечо и со звездой. Все низко поклонились ему. Тут выступил вперед мастер-сверлильщик при пушечном деле Павел Греков. У него широкое лицо в густой русой бороде и длинные, перехва-

ченные ремешком волосы. Он взял за концы лежавшую перед ним саблю, приподнял ее вровень со своими плечами и, передавая «батюшке», сказал:

— Вот, царь-государь... Это подарочек вашей милости от нашего завода, в путь-дорожку тебе и во счастье. Прими, отец, не обессудь!

Пугачев взял саблю, прищурился и, рассматривая ее, заприщелкивал языком. Сабля была изумительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножны серебряные с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять и в ножны.

— Спасибо, трудники, благодарствую, — сказал растроганный Пугачев, продолжая любоваться подарком. — Этакой сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал... Чья работа?

— Мастеров-оружейников завода Златоустовского, — ответил Греков, одергивая свою свитку синего сукна. — Твердышевы заказали оную саблю для ради подношения князю Григорию Орлову, да не зандобилась, сказывали — его место Потемкин заступил.

— А, знаю, — ухмыльнулся Пугачев и поставил саблю в угол. — У Катьки этих Потемкиных-то сколько хошь. Она ведь и сама весь свой век в потемках, как сова, живет да измышляет, кого бы закогтить...

— Спаситель наш, Христос, рек, — начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю: «Не мир я принес на землю, а меч». Вот он — меч!.. Для истребления злобствующих, для защиты праведников.

Пугачев махнул на него рукой, сказал:

— Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным человеком-то!.. Все в походе да в походе...

Стали пить здравицу за государя. Приветствие проносил Петр Сысоев. И как только закричали «ура», неожиданно грянул возле самых окон орудийный выстрел, весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Горбатов успокоил их, Пугачев, улыбаясь, сказал:

— Это, други мои, зовется салют, не страшитесь!

— Да ведь как, батюшка, не страшиться-то, — раздалась голоса. — Время самое тревожное, по заводам начали воинские отряды рыскать. Предосторога не вредит.

Ненила с Ермилкой и стряпухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чаду; хотя и холодновато было, довелось открыть окна.

Пили здравицу за государыню Устинью. Чокнулись, прокричали «ура», ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу, но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве. Масло, сметочки, белорыбица... Миша Маленький ел блины зараз стопочками, по пяти штук в каждой. Пили за здоровье наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Иван опять схватился за столешницу и напряженно ждал — вот-вот ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала.

Завязались разговоры. Мастера наперебой старались выразить царю-батюшке свою любовь и преданность, любопытствовали о его походах, о здоровье: слых прошел, что батюшка был ранен. Пугачев отвечал на все с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей о их житье-бытье.

И вот приказал он наполнить чары очищенным крепким пенником, встал (и все поднялись) и внятно произнес:

— Ну, детушки, подымаю я чарочку в честь вашу, в честь всех заводских людей-трудников, какие только водятся на белом свете. Здравствуйте, люди заводские!

Широко улыбаясь и радостно между собою переглядываясь, гости чокнулись с государем, громогласно закричали «ура». И вдруг вновь грянула-хватила пушка. Отец Иван привскочил, лягнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки... За государыню молчала, за наследника молчала, а тут... Все засмеялись на отца Ивана, Пугачев сказал:

— Ведь ты, батя, кабудь обстрелянный, а лягаешься, как конь...

— Боюсь, ваше величество, боюсь... Сердце у меня как у кошки у худой.

Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачева, велико ль на заводе людство, мастер Греков, осанистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему:

— Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола. Из оно-го числа — тысяча двести крепостных, они куплены Твердышевым у разных помещиков.

— Поди в вашей деревне Александровке крестьянство-то бедно живет? — спросил Пугачев.

— Да не шибко прибористо, а прямо сказать — бедно да грязновато, — ответил Петр Сысоев. — Хозяева-то дали им на каждую семью землицы малую толику, да недосуг людям обрабатывать-то ее.

— Ведь с утра до потух-зари на заводских работах бьются, — сказал старик мастер с густо морщинистым лицом.

— Ну, а идет ли им плата-то? — спросил Емельян Иваныч.

— Идет, идет, — хором подхватила застолица. — От трех до семи копеек на день.

— На эти деньги жиру не накопишь, — вздохнул Пугачев. — А скажите-ка, кто же здесь, окромя вас да мужиков закрепощенных?

— По вольному найму, царь-государь, иные прочие труждаются, — ответил морщинистый старик. — Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы да всякие беглые беспаспортные людишки. Вольнонаемным выкликанцам плата идет хорошая. Плотники подряжаются по двадцати пяти копеек на день.

— Был у меня дружок, — начал Греков, накладывая себе в тарелку каши с маслом. — Приехал он сюда вольной волей с бабой да с двумя малыми ребятами плотничать по писаному договору. Сроком на пять лет. Земли ему не дали, стало быть своего хлеба нет, а хозяева из своей лавки продавали харч с хлебом да одежду втридорога. Вот придет он в контору

за деньгами, а ему там и скажут: «Ты, браток, дюже прохарчился, да шапку купил, да сапоги. Не тебе контора, а ты ей должен». — «Ну что ж, дайте в долг, пить-есть надо». Контора в долг давала ему с охотой. Сегодня возьмет да через месяц возьмет, ну там с горя винца купит, глядишь — и закабалился человек. И стал он из вольных крепостным. Вскоро спился и умер без покаяния: в деревне Александровке его, пьяного, медведь задрал.

— Как, неужто в деревню медведи-то заходят? — удивился Пугачев.

— Медведи-то? Еще как заходят, батюшка! — подхватила вся застоллица. — Ведь Александровка-то в самой трущобе торчит, в тайге. Как-то медведь-набызень едва старуху не задрал, она в лачуге жила, зверь-то на крышу залез, стал крышу разворачивать, да, спасибо, Миша Маленький подоспел...

— Какой такой Миша? — спросил Емельян Иванныч.

— А вот, что супротив вас сидит.

— Это я Миша Маленький зовусь, — проговорил богатырь-парнище писклявым мальчишеским, не по росту, голосом и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопата, ладонь.

Все заулыбались, улыбнулся и Пугачев. Миша вышался над столом горой и, облизывая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырех поданных Ненилой пирогов и работал над ним самостоятельно. Ненила, поглядывая на него, втихомолку удивлялась.

— Как же ты, Миша, медведя-то? Из ружья, что ли? — спросил Пугачев.

— Нет, я ружья боюсь, твое величество, — пропищал детина. — А я его по башке стяжком березовым. Стяжок пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за глотку. Он и язык вывалил.

— Наш Миша-то, царь-государь, — сказал Петр Сысоев, скосив оба глаза к переносице, — на себе коня протащить может сажень с сотню...

— А как-то воз с медной рудой захряс в грязище, позвали тут на помощь Мишу. Он лошаденку выпряг, сказал: «Нешто тут коню совладать», да как впрягся в оглобли, да как дернул-дернул, сразу на сухое выкатил.

— Так неужто всякого коня на себе протащить можешь? — спросил Пугачев, прищурился на парня правый глаз.

— Всякого ношу, ваше величество, — пропищал Миша, доедая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу.

— Что ж ты, друг мой, мало пьешь винца-то? — спросил Пугачев.

— Как мало, со всеми вровень пью, — сказал Миша. — Да ведь оно меня не берет. Вода и вода...

— Ну, как это не берет. Ненила, подай-ка нам ковш сюды! — велел Пугачев, ухмыляясь на Мишу.

Миша Маленький вылил из графина в поданный ковш очищенной водки, долил до краев из другого графина, перекрестился и, не отрываясь, принялся большими глотками пить. Пугачев, посунувшись вперед и полуоткрыв рот, смотрел на парнюгу. И все, затаившись, взирали на него. Вот он кончил, крякнул, вытер кулаком губы, Пугачев вместе со всеми громко засмеялся.

Миша исподлобья взглянул на всех своими дремучими, с прозеленью, медвежьими глазками. Затем, принявшись за баранью ногу, сказал:

— Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит, не грех жижицы попить... А так — водичка и водичка!

Помолчали. Пугачев задумчиво смотрел перед собой в пространство. Затем, окинув взором бодрые лица мастеров, сказал:

— Вот, други мои, о чем хочу попечаловаться. Пушек да мортир с ядрами дюже мало льете. Не можно ли, детушки, гораздо поболее лить?

— Нет, надежа-государь, — подумав, ответили мастера. — Это дело многотрудное. Уж мы промеж себя еще до твоего царского приезда мозговали так и этак. И меди в достаточности нетути, а пуще всего станков

работных нет... Оно, конечно, можно бы да не вдруг.

— А нельзя ли, детушки, как-нито поскорейча дело повернуть, покруче?

Пугачев всем налил чарки, ждал ответа. Отец Иван все порывался что-то сказать, Емельян Иваныч грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою. Наконец мастер Греков, поклонясь Пугачеву, произнес:

— По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спосылаем на другие заводы, да, может статься, и станки добудем. Мы, заводские, народ дружный. Приналяжем, царь-государь.

— Твое царское величество! — воскликнул отец Иван: он держался за столешницу не ради опасения пушечного выстрела, а потому, что от выпивки изрядно кружилась голова его. — Царь-государь, прислушайся! Сказано бо: «Низложу сильные со престол и вознесу смиренные...» Внемли и подумай, отец наш!.. И вы, братия, подумайте, ибо все мы смиренны. А на престоле-то Катерина, великую силу в руках держащая! Творогов! Споем стихиру, глас восьмый.

Творогов кивнул головой и гулко откашлялся. Вызывающе косясь на Мишу, он загремел баском, поп Иван подхватил усердным тенорком:

Низложу си-и-ильные со престол
И вознесу смирее-енные!

...И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку. После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Шундеев. Люди разбились на кучки, шли песни, плясы, игры. Царя-батюшку встретили громкими, дружными криками приветствия, благодарили за угощение.

— Гуляйте, веселитесь, детушки! А завтра — на работу.

— Рады постараться тебе, свет наш!

Пугачев посмотрел на борьбу татар с башкирцами, полюбовался на забавные фокусы, которыми потешал толпу секретарь Шундеев. Принесли большую

и глубокую деревянную чашу, почти до краев наполненную жидкой сметаной.

— Ваше величество, дозвоьте рубль серебра, — попросил Шундеев, встряхивая кудрявой головой. Пугачев протянул ему рублевик. Шундеев при всех опустил его на дно чаши и сказал гулякам: — Кто зубами монету достанет, того и рубль.

Все заулыбались. Охотников на такую потеху не было. Однако вызвался низкорослый парень. Он обвел толпу подслеповатыми глазами, виновато всхотнул, забрал в грудь воздуха и погрузил курносое лицо в сметану. На виду остался только рыжеволосый затылок. Толпа, готовая разразиться хохотом, плотно окружила потешную игру. Рыжий затылок пошевеливался и подрагивал, словно плавающий на волне клок овчины; видимо, парень со всем усердием старался поймать зубами рубль. Но вот вынырнула из чаши обляпанная сметаной голова с открытым ртом, с зажмуренными глазами, как-то по-собачьи отфыркнулась. Толпа громко захохотала, ребята с бабами от удовольствия повизгивали. Парень, боднув головой, продрал глаза и продул ноздри. Сметана текла с лица на грудь, на землю. Парень не знал, что ему делать.

— К ручейку ба, к водичке ба, — бормотал он, сбрасывая с себя липкую сметану. Три лохматые собаки облизывали его штаны, лапти, рубаху.

— Присядь, Ванюха, либо ляг на луговину, — в шутку советовали ему, — наклонись к собакам-то.

Ванька сел на землю. Собаки в момент умыли его начисто. Он засмеялся и сказал:

— Ну, маленько я его не уцепил, два раза в зубах был, дьявол...

— Дозвольте! — вылез из толпы другой парень. За ним в очередь встали еще три парня. Потеха продолжалась при общем хохоте и с той же неудачей. Сметана убывала; чашу довелось восполнить. Рублевик, словно заколдованный, лежал на дне. Бородачи в игру не встревали, им казалось зазорным топить в сметане бородачи. Вот подошел к чаше кривоногий длинноносый мужичок с козлиной бородкой и сказал: «Мы жалаем».

— С твоим ли, Вася, носом? — зашумели веселые зеваки. — У тебя нос-от, как у журавля. Упрется!..

Но Вася набожно перекрестился, погрузил голову в чашу и быстро вытащил зубами рубль. «Матрен! — крикнул он. — Получай!..» Матрена взяла рубль. Мужичок сказал: «Давай еще! И харю утирать не стану». Емельян Иваныч с готовностью передал второй рублевик. Мужичок нырнул и снова ловко вытащил, как собака тащит из болота утку. «Матрен! Огребай деньги!» Матрена радостно улыбалась и творила про себя молитву: ведь эстолько денег дай бог за месяц заработать.

Когда счастливый мужичок достал из чаши четвертый рублевик, завистливая толпа и смеяться перестала, слышались недоброжелательные выкрики:

— Он, носатый дятел, с чертом знается!

А Ермилка, обратясь к Пугачеву, сказал:

— Ваше величество, этак-то я сотню рублевиков мог бы выловить. Дело бывалое. А вот, дозволю! — И, пошлепав губами, Ермилка закричал в толпу:—Эй, народы! Зубами всякий дурак вытащит, хитрости в том нет. А надо эвот как! — Он прихватил обеими руками чубастые волосы свои и засунул лицо в сметану. Зрители разинули рты, замерли. И вот вскинулось вверх Ермилкино лицо: рубль не в зубах у него, а возле глаза: казак умудрился зажать его между бровью и щекой. Вся толпа ахнула, принялась выкрикивать Ермилке похвалу. Похвалил его и Пугачев. В это время ребятишки закричали:

— Миша пришел! Миша Маленький пришел!.. Миша, пошто ты такой маленький?

— Бог росту не дал, — пищал тот, пробираясь к государю.

— Что, Миша, пехтурой никак? — спросил его Емельян Иваныч.

— Пешочком, ваше величество... Лошадки подходящей нетути. Обнаковенный коняга сразу сомлеет подо мной.

— Ну и крепок ты... Вино-то не сбороло?

— Водичка и водичка,

— Канат тащите, канат! Перетягу устроим! — шумел Шундеев.

Меж тем Миша, закинув руки за спину и чуть ссутулившись, не спеша пошел по луговинке, улыбочиво поглядывая на мужиков своими медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него: бросил он взгляд на Митродора, Митродор нырнул в толпу; взглянул на Карпа, Карп скорей в толпу. Вдруг он круто повернулся, сгреб в охапку зазевавшегося небольшого мужичка-брюханчика и с легкостью швырнул его вверх. «Караул!» — благим матом завопил брюханчик и упал в мягкие ладони Миши. «Ура!» — заорала толпа.

— Становись, становись к канату! — И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, вцепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша Маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужливому старанью своих противников.

— Надбавь ощо! Давай ощо столько жа! — прокричал Миша.

К канату бросились на подмогу мужики и парни... Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенная в колебание струна. Стал слегка дрожать и Миша, его глядевшие исподлобья узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут из толпы вышел широкоплечий кряжистый старик в овчинной шапке, он вцепился в канат и загайкал на весь лес:

— А-ха!.. Давай, давай, православные! Надуйсь!..

Миша Маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками.

-- Ай-ха!.. Тяни-тяни-тяни! — шумел старичина, за ним дружно подхватывал народ: — Ага, Миша!.. Сдал?!

Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напряжился. Круг-

лощекое лицо его сделалось напряженным, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни вареного рака. Канат гудел, толпа противников, выбиваясь из сил, орала. А Миша Маленький все-таки ни с места. Тут откуда ни возьмись пьяненький отец Иван. Путаясь ногами в длинной рясе и поблескивая на солнце наперсным крестом, он вшат подошел к канату, схватился за его конец и, закричав: «Низложу сильные со престол!» стал внатуг тянуть его.

Вдруг Миша весь затрясся, широко разинул рот и выпустил канат из рук. И все, кто держался за другой конец каната, разом кувырнулись вверх лаптями. В толпе взорвался хохот.

Пока шло игрище, Емельян Иваныч с Антиповым, сев на коней, осматривали деревню Александровку.

— Деревня обширная, — сказал Антипов, — мужиков поболее тысяча сволочилось сюды со всяких мест, и народ добропорядочный. А хозяева, Твердышевы-братья, вишь, каких хлевов людям понастроили.

Действительно, серенькие, подслеповатые избенки в одно оконце были понатыканы кой-как, без всякого тщания и смысла. Большинство изб стояло без труб, они топились по-черному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса, уж где-где, а здесь-то вся стать быть крепко рубленным высоким хатам, с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте и просторе, и зазвучали бы по лесам, по заводам бодрые, веселящие душу песни. Но этим людям лишь во сне, как туманное воспоминание, грезится сытая, веселая жизнь — жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину. И они продолжают тянуть ярмо свое. Втайне они думают, что живут здесь временно, что, может быть, завтра погонят их в Сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину. Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и живут они, словно стая перелетных птиц, от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше, неведомо куда.

Пугачев глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как

донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно сжималось сердце, в голове Емельяна Иваныча крепла мысль, что дело его свято.

Обратной дорогой Пугачев со свитой ехал шагом. Миша с отцом Иваном тащились на телеге, запряженной парюю. Поп, телега и лошадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окруженный мастеровыми, Емельян Иваныч в праздничном настроении вел с ними беседу. Яков Антипов сказал:

— Как приедем, покажу тебе, ваше величество, одну штуку. Тимофей Коза сварганил, таясь ото всех, особливо от Мюллера. Только я один знаю.

— Да, други мои, — кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иваныч. — Коза не мал человек, такие люди в редкость, им цены нет. Поберегать его надо. Как придет он в память, пускай замест немца становится. А этого самого Карла Иваныча, не чиня ему пущей обиды, закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет, раз иноземец похваляется, что он есть его подданный.

На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с яицкими казаками. Было шумно, весело, но не пьяно.

День погас. Вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтоб вскрыть замок на амбарушке механикуса Козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в нее отперты.

— Глянь! — вскричал Антипов. — Сам Тимофей Иваныч здесь, нашелся друг сердешный...

Распахнули ворота, но Козы в амбарушке не приметили. Темновато там. Посредине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошел Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидали на свету нечто неожиданное. Большой, сколоченный из байдака и брусьев деревянный круг, диаметром около сажени, лежал горизонтально на катках и легко мог, как карусель, вращаться в одну сторону — справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии,

были размещены восемь малых пушек. Антипов залез в широкую прорезь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его, поясняя:

— Вот, надежда-государь, смотри. Допустим, все пушки заряжены. Первая пальнула — круг маленько поворачивается. Вторая пальнула — круг опять поворачивается. Вот и третья. А в это времечко первую да вторую уже заряжают. А как из восьмой пальнут, уже первая снова к стрельбе готова. И таким побытом, без всякого перерыва, — знай себе шпарь.

— Гарно, гарно! — восхищался Пугачев. — А ежели, скажем, неприятель окружил, так и зараз из восьми палить можно картечами. Токмо грузновата машина-то, вот беда.

— Грузновата, батюшка, — проговорил Антипов. — Возить трудно по нашим убойным дорогам. Да ведь колесо-то, впрочем сказать, разборное.

В это время из амбарушки донесся заполошный голос Петра Сысоева:

— Эй, сюды, сюды! Беда!

Все вскочили в амбарушку. В темном углу лежал ничком, не шевелясь, Тимофей Иванович Коза.

— Он, голубчик, стружками был засыпан. Я думал — пьяненький. Потолкал, потолкал — молчит, не дышит.

Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать.

— Убит, — сказали все в голос. — Глянь! Затылок-то проломлен...

Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полузакрыты.

— Вот тебе и поберегли, — мрачно сказал Пугачев, печально глядя в лицо мертвеца.

— Не иначе — немцево это заделье. Его, его! Больше некому, — проговорил Антипов.

Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачева вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал:

— Выходит, маху мы с тобой, Антипов, дали, что загодя не повесили иноземца-лиходея. Ты сам говорил мне, Антипов, что народ требовал повесить немца вместе с Беспаловым. Выходит, у народа нюх-то к

злодеям получше, чем у нас с тобой... Ээх!.. — и закричал, сжимая кулаки: — Подать мне его! Из земли выкопать! Я из него сала натоплю!

Ударили в набат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровку поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немца. Объездчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтоб искать исчезнувшего Мюллера.

По армии было объявлено: завтра выступить в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовлениях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно.

Наступило солнечное утро. Отец Панфил служил заупокойную литургию по убиенном рабе божием Тимофее. Гроб с телом механикуса стоял в церкви.

На заводском дворе собрался весь работный люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной волей следовать за «батюшкой». У многих за плечами ружья. Тут же поблескивали свежей бронзой новые, только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадами. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне.

Когда окрепло солнце, Емельян Иваныч выехал к народу в богатой сряде, с лентой, со звездой, при драгоценной сабле (подарок Воскресенского завода). Пугачев поднял руку с платком, взмахнул, и все затихло.

— Детушки! — прозвучал в тишине властный голос. — Приспело мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь и мне, государю, порадейте. Поспешайте пушки лить да ядра, в них шибкая нуждица у меня! По жителям вашим покамест не распускаю вас, воли не даю вам и не дам, покуда не воссяду на прародительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут. Работное время сбавлю, жалованья набавлю, харч положу сытный. И воздыханиям вашим придет скончание (многие в толпе стали осенять себя крестом). И распущу вас по домам вашим, объявлю волю всему крестьянству во всеуслышанье. А впредь укажу набирать по заводам

выкликанцев, по вольному найму и хотенью. И заводы расширю, и новые выстрою, и управлять заводами будут выбранные вами люди. Еще вот чего. Управитель ваш Яков Антипыч по моему указу выдаст в награждение всем семейным работникам, мужикам и бабам, по рублю серебром на человека, а холостякам по полтине. («Спасибо, царь-государы!» — дружно закричали в толпе.) Ну, детушки! Век бы жил с вами, да ничего не поделаешь: разлученый час настал. Прощайте покудов! Живите в труде и во счастье.

И заорала толпа, замахала шапками. Окруженный ближними и провожаемый народом, Пугачев двинулся в путь-дорогу.

ГЛАВА IV

Встреча Белобородова и Пугачева. Крепость Троицкая. Девочка Акуличка. Подполковник Михельсон

1

Восьмого мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иваныч.

Приказчиков, «как людей весьма усердных», Фрейман отправил в Табынск, чтоб «их здесь не убили», а двух человек, верных Пугачеву, повесил. Многие работные люди бежали в горы.

Дядя Митяй сплеховал, был пойман и тоже повешен. Пред смертью вспоминал старца праведного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете.

Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхне-Яицкой крепости, полагая найти там Пугачева. Где находятся отряды Деколонга и Михельсона, Фрейман не знал, лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую.

Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для пере-

прав через разлившиеся реки ему пришлось делать паромы, строить снесенные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убежали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О происшедшем бое Михельсон доносил:

«Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли нам навстречу. Однако, помощью божиею, по немалом от них сопротивлении, они были обращены в бег».

Куда же идти Михельсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Пугачев покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости, Белобородов ушел с Саткинского завода в неизвестном направлении, в окрестностях Симского завода бродят толпы башкирцев со старшиной Аникой, — они шли на помощь Салавату, но опоздали. Михельсон разбил Анику с его толпой, привел эту местность в повиновение и двинулся к Катавскому заводу, окруженному мятежниками. Он их опрокинул и рассеял, атамана Сидора Башина в «страх другим» повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинной.

На подмогу Пугачеву спешил разбитый под Екатеринбургом атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещерятских старшин с призывом к их сородичам, давая указания собираться людям к Саткинскому заводу. Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер:

«Наперед всего, данным от меня тебе, Коновалову, повелением велено собрать разбегшихся и прочих

казаков, явиться к соединению в один корпус. Накрепко подтверждаю — с имеющейся при тебе командою следуй ко мне, Белобородову, в Саткинский завод для соединения, ибо и батюшка наш великий государь Петр Федорович изволит следовать в здешние края».

Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачев. О месте пребывания самозванца не знали и екатерининские военачальники: Михельсон полагал, что Пугачев на Авзяно-Петровском заводе, князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал, в Сибирь. Трусливый генерал Деколонг доносил, что «злодей свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет» под Челябину, на его, Деколонговы, войска.

И снова — уже который раз — в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.

Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание: он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались. Они собрались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.

Но вот появились посланцы Пугачева, они привезли с собою башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком. Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

— Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! — бросал в толпу новый пугачевский понытик Григорий Туманов.

Изувеченный с непомерной печалью в глазах показывал окружавшим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, с черной щетине, подбородок его дрожал и широкая грудь надсадно дышала.

Чернобородый, приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумагу, вздернул вверх голову и вновь заговорил:

— А вот прислушайтесь, братья-башкирцы, что пишет змей Ступишин, комендант Верхне-Яицкой дистанции:

«Башкирцы! Я знаю все, что вы замышляете. Ежели до меня дойдет хоть какой слух, что вы, воры и шельмы, ждете к себе вора Емельку Пугачева, величающего себя царем, и всей его сволочи корм, и скот, и стрелы с оружием припасаете, я пойду на вас с пушками, тогда не ждите от меня пощады: буду вас казнить, буду вешать за ноги и за ребра, дома ваши, хлеб и сено подожгу, а скот истреблю. Слышите ли? Если слышите, то бойтесь!»¹

Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.

«Возле Верхне-Яицкой, — продолжал Туманов, — я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачева письмами. Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь, а тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, вора, с сим листом от меня посылаю!»

Толпа в ответ шумела еще громче.

— Не с вами ли оный Мусин? — спросил Туманов.

— Нет, бачка-начальник! — закричали башкирцы. — Зеутфундин Мусин помрил, горлом себе резал, сапсем кончал. Срамно было свой наслег показаться, свой дюрта.

Многие сотни башкирцев как по уговору вскочили в седла:

— Веди нас бачке-осударю!.. Вот ужо Салават-батырь придет, вот ужо-ужо Юлай придет! Постоим за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры. Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады...

И уже не слушали Григория Туманова, только вопили:

— Веди!

¹ Это воззвание от 4 апреля 1774 года, очень многословное, здесь дается в выдержках.

Так было во многих скрытных местах, во многих селениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступишиных с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплему солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.

К началу мая скопилось у Пугачева до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Яицкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции самая большая была Верхне-Яицкая. Пугачев прошел мимо: он знал, что всякий его неуспех мог губельно отразиться на его деле, тогда как удача в овладении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном.

И Пугачев, подойдя к более слабой Магнитной крепости, окружил ее. Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе: «Наистрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».

Комендант крепости Магнитной капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, успешно до вечера отбивал все атаки наступавших.

У пугачевцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачев.

— Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. — подбадривал он свою рать.

В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку, — кость цела, — и, как умел, перевязал ее.

С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, пугачевцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом

падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.

Капитан Тихановский с женой, священник и жена убитого поручика были повешены.

На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородов с отрядом в шестьсот человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачеву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта — в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.

Дежурный Давилин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот опирался. Белобородов еще более оробел.

В кибитке, куда он с яркого света вошел, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачевым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи Емельян Иваныч сидел в кожаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел: крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.

— Встань, Иван Наумыч, — обратился он к Белобородову и насупил брови. — Сказывали мне, — отделиться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Негоже это!

— Облыжно оклеветали меня, ваше величество, — опираясь на палку, поднялся Белобородов. — Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твердое имею. А это я знаю, кто это, — Шибаяев¹ казак клеветлет на меня.

— Верно, он... Стало, ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?

¹ Фамилия, созвучная с фамилией М. Г. Шигаева,

— Ваше величество! — ударил Белобородов кулаком себя в грудь. — Я весь перед вами. Верьте мне! И дозвоьте молвить...

— Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-кося сюды какое-нито стуло! Ну вот, садись, атаман, да сказывай!

Ободренный милостивым обхождением, Иван Наумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачев попутно ставил ему вопросы, Белобородов помному отвечал на них. Беседа тянулась долго. И вот она идет к концу.

— В бытность же мою на Саткинском заводе прислан от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.

— Голев Михайло под Татищевой убит, — вздохнув, молвил Пугачев.

— Царство ему небесное, — перекрестился Белобородов. — А когда пришел я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух — казака да атамана — я велел повесить.

— Гарно, — сказал Пугачев, и суровые складки над его переносицей распрямылись.

— Вскорости после того прибыл от вас илецкий казак есаул Иван Шибаев, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода известие, что Иван Шибаев в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек — поймать его и заковать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибаев скован, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой

Шибяева Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.

Пугачев встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.

— Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою.

Он вынул из кармана большую медаль — рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом — и, наморщив нос, приколот ее на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал ее.

— Давилин! — позвал Пугачев. — Поддай нам с атаманом по чарке сладкой водки.

По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая широкую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его:

— Узнал ли ты государя? Ведь в Питере-то видывал его поди не раз.

Щеки Белобородова вспыхнули, сердце защемило; помедля, он твердым голосом сказал:

— Узнал.

— Гм, — неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос.

...И — радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие: Овчинников, Перфильев, Пустобаев — старые верные друзья, испытанные соратники! Овчинников привел с собой триста яицких казаков да двести заводских работных крестьян.

Встреча была самая душевная. Емельян Иваныч рад был наособицу. Еще бы! Его боевой любимый атаман Овчинников вернулся из опасного похода цел-невредим. Все трое по очереди валились Пугачеву в ноги, спрашивали наперебой: «Рученька-то, рученька-то у тя што?» Богатырь Пустобаев, уже успевший «клюкнуть», обливался слезами. Так встречаются долго не видавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж, хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься.

Под звездным уральским небом песни гремели всю ночь, раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездие огромных костров, — здесь сухостоя

сколько хочешь, — огненными взмахами опаляло нависшую над землею плотную тьму. Пой, казак, полным голосом боевую песню, швыряй во все концы земли свой победный зык! Только бойся дремать, удалой казак, чутко вслушивайся в мертвенные дали: враг, как сова в ночи, крадучись, ищет тебя всюду.

Наутро был смотр пришедшим людям и торжественный прием башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачева. Он стоял, окруженный свитой, знаменами. На нем парчовая бекеша троеклином, красные сапоги, золотая, из ковеной парчи, шапка. Он обошелся со старшинами ласково, разрешил им, по их неотступному хотению, рушить и жечь дотла крепости, чтоб не давать царицыным войскам в них обосноваться.

— Объявите верным моим башкирцам и сами ведайте, — взволнованно сказал он, — вся Башкирь будет отдана вам, яко хозяевам. И ни губернаторов, ни иного прочего начальства у вас не станет. И будете вы управляться сами собой, через выборных своих людей, коим довериться можно. Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казацкий, без солдатчины, без рекрутчины. Довольны ли, детушки?

Старшины упали Пугачеву в ноги, а толпа башкирцев закричала:

— Урра-аа!! Само якши есть! Пасибо, бачка-осударь!..

Находившийся возле Пугачева Горбатов заметил ему:

— Мудрым словом, государь, одарили вы башкирский народ.

— С народом, ваше благородие, разговор надо вести умеючи, — приняв осанистый вид, откликнулся Пугачев. — А то: будешь сладок — разлижут, будешь горек — расплюют.

Горбатов посмотрел на Пугачева с чувством большого уважения.

Белобородов и донесший на него илецкий казак Шибаетов помирились. Пугачев обоих содружников своих произвел в полковники, Белобородову дал он че-

тыреста заводских крестьян и полсотни илецких казаков.

Забрав в Магнитной четыре пушки, Пугачев 19 мая овладел довольно сильной Троицкой крепостью¹. Крепость упорно сопротивлялась, но пугачевцы все-таки взяли ее после трех отчаянных штурмов. Комендант крепости бригадир Фейервар и четыре офицера были убиты, супротивные солдаты и жители переколоты копьями. Желу Фейервара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улицам. Жилища состоятельных подвергались ограблению. Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салотопенный и кожевенный заводы сожжены.

Пугачев недолго оставался в крепости, он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настигавший его Деколонг доносил о ту пору Рейнсдорпу: «Шельма самозванец проклятые свои силы имеет конные и несказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блессирования², так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно».

Сады в цвету. Луга позеленели. Уже степной ковыль — краса весны — распускает свои пышные кивера. Всюду неумолкаемый бубенчик — песня жаворонков. Воздух гудит, трепещет от их трелей. И сердца собравшихся у костров людей охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка-осударь, воля! Никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца.

А бачке-осударю, а Юлаю с Салаватом честь и прославление из края в край!

Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки, с любопытством осматривают ожившую степь. Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут: неведомо откуда пришли какие-то, пригнали лошадей, и вот их гнезда с малыми птенцами

¹ В 100 верстах к юго-востоку от Челябинска.

² Ранения.

обречены на гибель. И обиженные птицы по-своему плачут, по-своему жалуется царю жизни — солнцу.

Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их сосцы набухли живительной влагой, турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки.

У дальнего костра семеро заводских крестьян. Тюмин варит кашу. Мажаров с Ильиным пекут по башкирскому способу, на раскаленных камнях, житные лепешки. К костру подходит рослый белобрысый парень Дементий Верхоланцев, секретарь Белобородова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроение людишек:

— Мир честной компании!

— Спаси бог, присаживайся. Каша живчиком упрет. Ложка есть?

— По горло сыт, — отвечает он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищены, рубаха новая, синяя, с кумачными ластовками, ворот высокий, на горловине семь пуговиц. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет: заводские. У одних босые ноги в чирьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли — эти люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезшие волосы, гноящиеся, воспаленные глаза — эти работали у домниц, выпускали чугун. Вот тот сутулый, кривоплечий надрывался у кричного молота, а эти двое с неотмываемыми, изъеденными копотью и угольной пылью исхудалыми лицами — углежоги.

— С каких да каких заводов вы, старатели? — спросил Верхоланцев крестьян.

— С Златоустовского, желанный, все семеро оттоль, с Златоустовского железно-чугунного... А ты, чистяк такой, откуда?

— Я с Билимбаевского.

— Ну, знаем. Из писарей поди сам-то? Форсистый этакой, гладкой.

Еще перекинулись кой-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор.

— Вот я и толкую, — заговорил Тюмин; он жидковолосый и безбровый, глаза добрые. — Пошто беззащитных людей мучать? Я воевать воюю, в драчке ко-

го хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласия нет. Совесть воспрещает! — выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с кашей.

— Не совесть, а душа, — поправил его седоусый Мажаров с острыми слезящимися глазами.

— А я тебе говорю: не душа, а совесть воспрещает разбойничать! — осердился Тюмин.

Верхоланцев сказал:

— Я самолично видел, как комендантшу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали да по улицам волокли...

— Я тоже видал, — сказал Тюмин, бросая в кашу масло. — А царь-то батюшка, дозрив оное убийство, з́араз запретил. А калмыка-то, мучителя-то, кажись, повелел сказнить...

— У батюшки недолго с петелькой спознаться, — проговорил Мажаров, — батюшка всегда справедлив.

— Он, когда осердится, лютует, сам не свой, а несчастный да обиженный за всяк час у него заступленье сыщет, — сказал Тюмин. Он постучал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. — Я ведь с батюшкой-то сызначала хожу. И вот, как-то по зиме, плетусь Бердой — мимо государева жительствова. Гляжу — брыластый этакий парень, казачина, у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему время. «Неужели на морозе-то взопрел?» — спрашиваю его. А он мне: «Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой чижолый разговор имел...» Вот каков батюшка-то наш. Дай бог его царскому величеству здравствовать...

Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу не жевавши.

— Эвот у того дальнего костра, — сказал Верхоланцев, — слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отрекнулась.

— Истина, истина это! — воскликнул Тюмин. — Она, царица-т, на покой ушла. На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Жоржем десять полков на помощь батюшке ведет.

— Да уж полно, так ли? — И глаза Верхоланцева вспыхнули от любопытства.

— И не сомневайся, и не сомневайся! — замахал на него ложкой восторженный Тюмин.

Вскоре Верхованцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живет, чем дышит его, белобородовская, армия. Белобородов привязался к этому рослому, расторопному парню, во многом помогавшему ему, он еще не забыл и того, как родная тетка Верхованцева, радушная старуха Власьевна, угощала его на Билимбаевском заводе вкусной господской снедью.

В конце доклада Верхованцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, — вот-то обрадует полковника! — сообщил о том, что ныне-де предвидится скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему, ибо царица передала престол сыну своему, а сын идет-де с войском восстанавливать поруганные права своего великого родителя.

Белобородов, слушая его, сначала улыбался, затем нахмурился и бросил:

— А и дурак же ты, братец мой...

Верхованцев крикнул, одернул рубаху и выпучил на полковника удивленные глаза.

Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть зорька в небе, примчались на взмыленных конях дозорные.

— Вставайте, вставайте! — с шумом, с криком скакали они по-мертвецки спавшему лагерю.

Засвистели медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный Ермилка, надув толстые щеки, со всех сил наигрывал в начищенную трубу. Чумаков пальнул из сторожевой пушки, по степи раскатистые гулы пошли, суслики испуганно нырнули в норы, из кибитки выскочил в одном белье встрепанный, нечесаный Емельян Иваныч.

21 мая, в 7 утра, генерал Деколонг подошел к пугачевскому лагерю вплотную.

Чумаков с Варсонофием Перешиб-Нос и с канонирами из заводских мастеров открыли по врагу

дружный огонь из пушек. А Пугачев с Овчинниковым и Белобородовым атаковали Деколонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна. Деколонг попятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Деколонг перешел в наступление. После упорного боя нестройные толпы пугачевцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы, — их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии — казаки и крестьяне — обратились в бегство.

Пугачев был узан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера — Беницкий и Борисов — с отрядом драгун бросились его преследовать. И вот он, вот он, Пугачев!.. Беницкий был от него в каких-нибудь пятнадцати шагах, уже рослый конь Пугачева швырял копытами в лицо офицеру комья земли с зеленой травкой... Но лошади драгун истомились, конь же Пугачева был свеж, рысист... взмах плетки, еще, еще, — и Емельян Иваныч скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от пленения не одну тысячу пеших и всадников.

Подобно дробящимся до бесконечности шарикам ртути, все пугачевцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они снова стекутся к «батюшке». Они найдут его, куда бы он ни скрылся.

В этой несчастной битве потери Пугачева были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие пугачевцев, впоследствии доносили, что «лежащих мошеннических трупов на четырех с лишком верстах перечесть было невозможно». В бою погибли новый секретарь Военной коллегии, Иван Шундеев, и новый понытчик, Григорий Туманов. На глазах Пугачева оба они с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачев впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их, но слава им! Они либо бьются до смерти, либо, лишившись последних сил, попадают в пленение. Они, эти крестьяне с уральских заводов, да

еще вот природные казаки — первый оплот его, Пугачева, армии. Только одна беда — мало их.

Потери Пугачева под Троицкой крепостью — двадцать восемь пушек, около четырех тысяч убитых и раненых. Да еще освобождено победителями больше трех тысяч человек разного звания, в том числе дети и женщины. Все они были захвачены пугачевцами в недавно занятых крепостях, редутах, форпостах.

Печальный, но все еще твердый духом Пугачев неизвестно куда скрылся. Екатерининские воинские части надолго потеряли его из виду.

2

Леса. Хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково пригревает, и какой духмяный, смолистый воздух течет по узкой лесной дороге!

Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачев со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иваныча нет больше армии. Она разбежалась, рассыпалась по непролазным лесам и потеряла след своего владыки. Пугачев один. Возле него нет ныне армии. И хвойные леса сопровождают его загадочным шепотом, то ли удачу сулят ему, то ли пророчат конец его грозным деяниям, предрекают всякие бедствия. Ветру нет, а лес шумит-пошумливает шелковым шелестом. Ветру нет, и нет возле «батюшки» армии. Армии нет!

Навстречу Пугачеву попадают захудалые деревеньки в десяток-другой домков. Бродят в перелесках коровы и овцы, при них то старуха с хворостинной, то пузатенький, на тонких ножках, парнишка с кнутом — пастух.

Вот, завидя едущих рысью всадников, малыш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и начинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человеческим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутешно плачет без слез. Лесная рус-

ская песня бередит душу всадников, они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня! Играют тебя и на разгульных свадьбах, и на печальных похоронах, когда правят тризну... Нет у Пугачева армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрузить бы возле тебя, поднять с души всю горечь...

Пугачев протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру и — дальше, дальше...

А вот движется навстречу малая девчоночка. Она издали похожа на крохотную старушку карлицу. В руках — батог, через плечо холщовая торба под куски.

— Здравствуй, девочка! — приветливо крикнул Пугачев с седла, и всадники остановились.

— Здорово, дяденька! — Девочка тоже стала среди дороги и воззрелась на всадников. Она — щупленький заморыш, ноги в потрепанных лапотках и руки худы, личико бледное, вытянутое, темно-русые волосы растрепались, сзади косичка. Глаза большие, серые, они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка и детское личико приобретает выражение большой заботы.

— Куда ты идешь, девочка? — спросил Пугачев.

— До царя иду, — охотно и доверчиво ответил ребенок. — Только не ведаю, в коей стороне царь-то живет. Велели мне до царя идти, правды-матки искать... А вы кто такие, дяденьки?

— Вот я — царь. А со мной атаманы да полковники...

— Нет, уж ты, дяденька, не загибай... Врачек-то я слыхала на своем веку много...

— Ой, да и век же твой долог... Ха-ха... — засмеялись атаманы.

— А почто же ты за царя-то не хочешь меня признать? — улыбаясь, сказал Пугачев и подбоченился; он был в простой казацкой сряде, без ленты, без звезды.

— Да нешто цари такие? — проговорила девочка. — На царях злат венец и одежина из бархату... Ведь поди я знаю сказки-то... И про Бову-королевича

знаю. Вот подай грошик либо хлебца кусок, и тебе сказку расскажу. Дяденьки, миленькие, где же мне царя-то искать? — И девочка, крестообразно сложив на груди тонкие руки, низко поклонилась всадникам.

— Царь перед тобой, — сказал Овчинников и кивнул головой на Пугачева. — Вот он — царь.

— О-о-о, — протянула девочка и, вложив в рот палец, недоверчиво уставилась в лицо ласково улыбавшегося всадника с черной бородой, на его рослого выхоленного коня в дорогой упряжке.

— Как звать тебя?

— Акулькой звать, — ответила девочка Пугачеву. — Я сирота. Добрые люди сказали мне: иди в куски. А я спрашиваю: куда же? А они мне: иди хошь куда, везде доля худа. — Проговорив так, она замигала, потупилась, из глаз ее закапали слезы.

Атаманы переглянулись, вздохнули, закрутили головами. Пугачев, обратясь к ним, тихо спросил:

— Возьмем?

— Возьмем, — ответили они.

И сразу им стало легко. Они будто услышали, как небо сказало им: «Спасибо», и лес сказал: «Спасибо», и воздух сказал: «Спасибо вам». И натруженные сердца их вдруг наполнились теплым чувством, обмякли.

Тут вывернулись из-за леса четверо встречных всадников и, взвевая на дороге пыль, подкатили к Пугачеву. Это Ермилка со значком в руке, два рядовых казака и сотник Дегтярев. Они на сутки опередили батюшку, ехали не смыкая глаз всю прошлую ночь, в попутных селениях Дегтярев вычитывал народу государев манифест, приглашая крестьян гуртоваться возле села Заозерья, куда самолично должен прибыть «батюшка».

— Царь-государь! — сдернув шапку, выкрикнул Ермилка, и все приехавшие с ним тихо обнажили головы, а девчоночка, теперь уверившись, что действительно перед нею государь, воззрилась на него, как на икону.

— Место для тебя, ваше величество, выбрали у села Заозерья, палатки разбиты, народишко скопляется. Отсель верстов десяток..

— Знатно, — похвалил Ермилку Пугачев и, переговорив с Дегтяревым, сказал: — А ну, казаки, посадите-ка сироту позади меня. Мы ее в стан берем. В согласье, девочка Акулечка?

— В согласье, светлый царь, в согласье! — пропищала девочка и, подхваченная Ермилкой, закрасовалась позади батюшки.

— Держись крепче, а то ляпнешься, — сказал ей Пугачев.

— Ну, ляпнусь... Я-то не ляпнусь, я цепкая... Сам-то не ляпнись, мотри, — запищала девочка. — А ты ляпнешься, тады и я ляпнусь.

И вот все тронулись в путь тихой трусцой — кони уморились. Девочка достала из своей торбы кусок завалящей лепешки, сдунула сор с нее, принялась есть. Улыбка не сходила с лица ее. Ермилка подал ей кусок свиного сала с хлебом. Она съела. Овчинников дал две большие ватрушки с творогом. Она обе съела. Дегтярев протянул девочке с десятков тонких овсяных блинов, свернутых в трубку, и два печеных яичка. Акулечка с удовольствием съела и блинки с яичками. Стала веселенькою. Вытрясла на дорогу из своей торбы крошки и кусочки:

— Это птичкам да собачкам. Пушай едят да богу за нас молятся, — сказала она, оправила волосы и звонким голосом принялась рассказывать:

— Дедушка мой недавно похárчился, умер, сердешный... Схоронили добры люди. А тятю в Сибирь барин угнал, а маменька занемогла, да и умерла от горя. Я как есть одна осталась. А промеж народу-то волновашка зачалась, царя народ-то ждет, помещикам грозит...

— Да ты откуда? — спросил Овчинников, ехавший трусцой рядом с Пугачевым.

— А я, дяденька, тамбовская, села Лютикова, мы барина секунд-майора в отставке Кулькова-Перетыкина крепостные. Вот я кто. Только вы, дяденька, не подумайте, что я обжора... Я не объем вас... Это я с голодухи поднаперлась-то. А так я шибко мало ем, не бойтесь...

Всадники засмеялись. Пугачев сказал:

— У меня армия-то двадцать тысяч, и всяк сыт...
А уж тебя-то, цыпленка, как-нито прокормим...

— Ой, спасибо, царь-государь!.. Я кашки лизну ложки две, мне и будет... Ну, хлеба еще корочку...
А уж я отработаю, я, мотри, управная: и бельишко постирать, и латки положить, и чулки заштопать, нужда-то всему научит. Опять же сказки умею, песни.

— О, ишь ты!.. Ну, как же ты жила-то, расскажи.

— А жила я в барском доме, за щенятами полы замывала. А щенят-то по всему дому, по всем горницам более двух дюжин. Ой ты, какая срамота, страсть! Старик барин-то собачник. И злой-презлой, ой да и злюка же... Мужики говорят, как царь-батюшка придет, мы барина-т задавим... Хворь какая-то перешибла ему поясницу, дюже на охоте простыл, волков гоняли. Вот, ладно... Пересекло, значит, старику барину поясницу, он в кроватку слег, хворь мучает его, шевельнуться больно. Вот, ладно. Я чегой-то набедокурила, кажись, щенку на лапу наступила. Щенок взвыл. А барин-то дозрел, да ну реветь на меня, ну реветь; ругается, а встать не может. Кричит: «Подойди сюда, чертенок». А сам палку в руки взял. Я знаю, что он бучу мне даст, не иду, а еще грублю ему: «На-ка, выкусь! Не возьмешь меня!» Он тогда застонал, да на подушку этак опрокинулся, да как завопит: «Ой, дурно, дурно мне!.. Ой, чичас умру!» Я тогда испужалась. «Ой, матушка Акулюшка, не серчай на меня, прости меня, Христа ради, подь скорейча да поправь мне подушечку-то, ох, ох, ох...» Мне жалко стало старика барина, подбежала я к нему, принялась изголовье оправлять, а он, не будь прост, сгреб меня за волосенки да давай палкой по спине возить, давай палкой охаживать меня.

— Какой же годок тебе втапору был? — спросил Творогов.

— Сказывали, семь годов, а сейчас восьмой идет, — ответила девочка.

— Ну, а как же ты попала-то сюда из Тамбовской-то?

— А с народом, батюшка царь-государь, с мужиками. Попервоначалу-то пешая шла верстов сто, а то

двести, дюже волков боялась. Опосля того мужики меня подсаживали, то один, то другой... К тебе, батюшка, мужики-то правятся, тебя ищут...

Вскоре подъехали к лагерю. Сотни крестьян сбежались навстречу, пали на колени. Пугачев перемолвился с ними ласковым словом и проехал к своей палатке. Акулечка покарабкалась с коня на землю. И такая тщедушная, такая несчастенькая, остановясь в сторонке, вопросительно взирала снизу вверх на могучего «батюшку». Подошедшей Нениле он сказал:

— Вот тебе дочь наша всеобщая... Возьми к себе, береги ее. Приодень. Вишь, пестрядинный сарафанишка-то на ней поистрепался как...

...И стала девочка Акулечка среди пугачевского народа самой любимой «всеобщей дочерью».

3

О разгроме под Троицкой крепостью Михельсон сведений не имел. Он лишь догадывался, что Пугачев «путается» где-нибудь поблизости, по ту сторону Уральских гор. Поэтому на заводе он не задерживался и 17 мая был уже в вершине речки Ай.

Разведка донесла, что в восьми верстах, в глубине Уральского хребта, стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешили и, карабкаясь по кручам, заняли высоты, чтоб задержать врага в тесном проходе между гор. Подскакав к чугуевским казакам, Михельсон крикнул:

— Поручик Замошников! Потрудитесь с эскадронном зайти неприятелю в тыл.

И полтораста сабель помчались в обход горы. Как только казаки показались в тылу повстанцев, Михельсон ударил в наступление. Башкирцы очутились между двух огней, но, к удивлению Михельсона, дрались отчаянно. Когда башкирцами выпущены были все стрелы, израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись врукопашную. Вспоров врагу живот, вонзив в грудь нож, смертельно

раненные воины валялись на землю, судорожно переплетались руками и ногами, с визгом грызли один другого и, уже мертвыми, сцепившись в обнимку, парами скатывались с круч в пропасть. Многие башкирцы — в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести. Оставив триста бойцов убитыми, башкирцы скрылись в горах.

Михельсон заметил: в версте от него разуваются пятеро солдат, лезут в глубокое болото, где, по пояс завязшие, два башкирца, молодой и старый. В руках по кривому ножу, бронзовые лица в крови, зубы оскалены яростно.

— Сдавайтесь! Бросайте ножи! — надвигались на них солдаты.

— Вам я не сделаю худого! — кричал, подъехав, Михельсон. — Я начальник. Накормлю вас, отпущу к своим...

— Шайтан, бачка, шайтан! — выплевывал старик. — Смертям будем себе делать, башкам крошить, сдаваться не будем...

По знаку Михельсона солдаты со всех сторон бросились к башкирцам. Старик успел перерезать себе горло, молодой был схвачен. Но ни слова не говорил или не желал говорить по-русски, дрожал и озирался. Солдаты предложили ему хлеба, каши. Он тряс головой, шептал: «Шайтан». Михельсон, подавая ему серебряный рубль, сказал:

— Иди домой, в свою юрту, да передай людям, что повинившихся мы милуем!

Башкирец швырнул рубль в траву, глядел на Михельсона зверем. Михельсон пожал плечами, двинулся к сопкам, где подбирали раненых солдат: их сорок пять да восемнадцать человек убиты. Среди них поручик Замошников, пронзенный тремя стрелами. Была вырыта братская могила, прогремел прощальный залп. Все так обычно и так просто.

Отряд выступил дальше. На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон.

— Дивлюсь, господа офицеры, — говорил он глуховатым голосом, — не могу понять, отчего такое упорство в этих народах? Ни в плен не сдаются, ни

в службу к нам не идут. Ну, правда, что злодей Пугачев манит их многими посулами да застрашивает их: мы-де пленных мятежников истребляем... Однако, господа, я всегда стараюсь показать противное. Сами ведаете: попавшихся ко мне я частенько не только оставлял без наказания, но и давал им несколько денег и отпускал оных нехристей с манифестами и печатными увещаниями в их жилища¹.

Потрепанный скюртук на нем расстегнут, грудь с золотым нательным крестом обнажена, из-под шляпы выбиваются белокурые волосы, сапоги стоптаны, до самого верху заляпаны грязью.

— Эх, Иван Иванович! — начал седоусый майор Харин; он ехал, сгорбившись, рядом с Михельсоном. — Попервоначально вы этак-то, не озлобились еще шибко... А вот полковник Фок нынешней весной одному пленному башкирцу приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы. Фу, черт... И вот так оболванив человека, прогнал его домой и сказал ему: «Объяви, мол, своим, пускай-де прекратят буйство, иначе жестокой казни не минуют». Ну что это такое?

Михельсон, насупившись, ворчливо откликнулся:

— Сидят по крепостям, ничего не делают, пороху не нюхают, свою шкуру берегут да пакости чинят нам ежечасно... Сие действие их — вред, великий вред!.. Так мужика не усмиришь! Надобно — где плеткой, а где и пряничком...

Бойцы-офицеры ухмыльнулись, а молоденький офицерик Щербачев незаметно послал Михельсону воздушный знак преданности.

— Прахов, а ну-ка, огонька, — обратился Михельсон к денщику, выехал в бок дороги и, остановив лошадь, сказал офицерам: — Продолжайте, господа, я нагоню.

Денщик огнивом высек искру, зажег трут, выпучивая глаза, раздул его, подал барину. Михельсон закурил трубку, стал лицом к проходившим войскам. В отряде молодец к молодцу, стариков очень мало.

¹ См. рапорт кн. Щербатову 22 мая 1774 года.

У солдат не было сзади обычных косичек с воткнутой в них до затылка лучинкой: на летнее время Михельсон, пренебрегая уставом, приказал всех подгребенку остричь. Вот прошли, блестя длинными штыками, команды Томского, Вятского и Фузилерного полков. За ними эскадрон изюмских гусар, три эскадрона карабинерных и казачьих полков, за ними эскадрон, сформированный казанским купечеством.

Далее двигалась небольшая команда мешеряков под начальством старшины Султана Мурада Янышева. Мешеряки вооружены самопалами, ножами и длинными нагайками со свинцовыми гирьками на концах. Одеты кто во что горазд, на головах овчинные шапки.

— Спасибо, мешеряки-молодцы, за работу! — громко поблагодарил их Михельсон.

— Ур-ра! Ур-ра!.. — тонкоголосо ответили мешеряки. — Давай, казьяйн, отдыха! Коняки пить хочет, люди жрать... Бульно жара.

Действительно, было жарко, дорога шла лесом, густая пылица висела в воздухе, взмыленных лошадей кусали слепни. Вот прогрохотала артиллерия, в телегах — снаряды, порох. Потянулся обоз: возницы из слабосильной команды — остроплечие, худые, с опухшими ногами, обмотанными тряпьем. Зорко оглядывая свой отряд, Михельсон покривал:

— Эй, Сидорчук! Подтяни построжки! Пластунов! Глянь, лошадь холку стерла. Нешто не видишь? Подверни шлею. Эх ты, баба. Потник потерял. А еще казак зовешься... Федоров! Почему босиком? Где сапоги?

— Выбросил, вашескорodie... Дрызг один. Мне бы хоть лапти пожаловали. Таперица лето.

Затем стал поскрипывать обоз больных и раненых: десятка три подвод; по бокам — несколько всадников; среди них — три военных фельдшера.

Больные, по три человека на телеге, лежали на голых досках; они, с головой укутанные шубами, мешками и всяким барахлом, задыхались от жары. Михельсон остановил телегу, сорвал шубы. Мокре-

хонькие, обливаясь потом, лежали там трое солдат, они сразу заулыбались, стали ловить ртом свежий воздух.

— Пить, васкородие. Душа горит.

— Где бак с кипяченой водой?

— Бак давно течет, васкородие... Воды нетути... — оробев, трясущимися голосами ответили фельдшера, их лица вытянулись.

— Сейчас же, сукины дети, скачите к ключу, — видали, мы родник проехали? — наберите воды в шапки, в портки, во что хотите, а чтоб все больные были напоены. По зубам бить я не люблю, а дело дойдет — перестреляю...

Фельдшера подхватили ведерки — и только пыль взвилась.

Обоз двигался, лесная дорога в корнях, телеги подскакивали, встряхивались, лес наполнялся протяжным стоном и резкими криками раненых. Михельсон опустил голову, прикрыл ладонью глаза, вздохнул.

К нему подъехали из лесу трое. Впереди рослого бородача казака с пикой, взгромоздясь почти на шею коня, сидел связанный по рукам парень.

— Языка нашли! Языка нашли! — еще издали кричали казаки. — Пугачева Деколонг побил...

— Снимите его. Развяжите руки. Ну, парень, сказывай! Только не ври, а то пытать учну. А правду скажешь — награжу...

Рыжий рябой парень, скосоротившись, повалился Михельсону в ноги:

— Ой, не вели ты меня вешать, барин дорогой! По глупости я... Все мужики к царю приклоняются. Вот и я... Вестимо, дурак.

— Ладно, ладно... Где Пугачев, где царь твой? Сказывай.

— Ой, барин добрый! Побито народу страсть. Дядьку моего ухлопали, отца да брата в полон взяли. Ой, господи... А Пугач ли, царь ли, бог его ведет, утек.

— А где было дело-то?

— А дело, вишь ли, было вот где-ка... Ой, в соображение не возьму, забыл, всю память отшибло... Ядра, сабли, пики... Ой ты!..

Парень жмурился, тряс рыжей головой и хныкал.

— А ну, Прахов, дай ему водки.

Денщик из оловянной фляги налил стаканчик. Парень, стуча зубами, выпил, крикнул, утер губы подолом рваной рубахи.

— Вот где было дело-то... Вспомнил! — повеселев, сказал он и сел на землю.

— Встать! — крикнул Михельсон.

Парень вскочил.

— Под Троицкой крепостью буча нам была, вот где... Верстах в двух, поболее, от крепости-то.

— Много вас?

— У-у-у... Видимо-невидимо! Особливо гололобой орды, башкирцев. С утра до полден драчка была. Опосля того наутек пошли, кто куда, дай боже ноги!

«Значит, если парень не врет, главные силы Пугачева под Троицкой крепостью разбиты. С нами бог!» — торжествовал подполковник Михельсон.

В это время в слободе Кундравинской, куда подходил отряд, били на колокольне всполох, по улицам из конца в конец бегали ребятишки, орали:

— Енарал идет!.. Енарал идет с солдатней!

Слобода оживилась, как на пожаре. Бабы прятали холсты, ловили кур, гусей, старики загоняли телят, кричали парнишкам:

— Васька, Федька, Степка! Дуй на конях в лес! Да подале, в трущобу, коней прячь, а то сыщут.

4

В Кундравинскую, расположенную в семидесяти верстах на юго-восток от Златоуста, Михельсон с конвоем въехал ранним вечером: возле скворечен еще напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением; в церкви началась всенощная. Солдаты и казаки табором расположились за слободой. Задымили на лугу костры, солдаты стали та-

скать из колодцев воду, варить кашу, похлебку с бараниной, на воткнутых в наклон к огню кольях развесили прелые онучи, началась стирка белья, охота за вшами. Расседланные, распряженные кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шел гул, смех, перебранка и, на соблазн слободским девкам, песни с трензелем и бубном. Малые ребяташки гурьбой повалили в табор. Подросток Дунька страшала четырехлетнего плачущего братишку:

— Не ходи, не ходи с нами, Петька! Солдаты зарежут тебя, съедят. Беги к дедушке... Ты думаешь, это царь? Это солдаты... Стра-а-шные!

Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери приперты бревешками. Улицы пустынные.

Михельсона встретил староста Ермолай, с ним человек с десятков стариков, старух, баб, кучка любопытной детворы.

— Слышали что-нибудь про злодея Пугачева? — спросил Михельсон и слез с коня. Тотчас спешились и все конвойные.

— Был слых, был слых, — стал кланяться, сгибаясь в три погибели, чернобородый староста, глаза его недружелюбны, хитры. — Прибегали тут на лошаденках из евоной силы старый солдат да башкиренок молодой, объявили нам: побил-де их великий начальник... Вот, твое происхождение, дела-то какие... В пух, говорит, расхвостал. Много-де тыщ полегло... Под Троицкой крепостью быдто. Вот!

— А почему избы заколочены? Где народ?

— А кто же их ведает. Пыхом собрались и — тягу... Уж недели с две.

— Куда же?

— Вестимо куда, к нему, к нему... Боле некуда. Вишь ты, отряд от него прибегал на нашу слободу. Отряд, отряд, кормилец... Манихвест вычитывал на-больший-то: покоряйтесь-де государю Петру Федорычу, а то все жительство огню предам... А мы, знамо, люди темные, боязливые. Вот многие и приклонились к нему.

Михельсон нахмурился.

— Чем же оный вор и злодей Пугачев соблазняет-то вас, дураков?

— А поди знай чем, — переступил с ноги на ногу староста и многодумно наморщил лоб. — Да вы пожалуйте в жительство, барин. Правда, что пакостно в избенках-то наших, тараканы, срамота. Живем мы скудно. Одно слово — мужичье.

Михельсону было ясно, что староста хитрит.

— Что ж он, злодей и преступник государынин, поди всю землю вам обещает? Подати не платить, в солдаты не ходить?

— Это, это! — в один голос ответили крестьяне.

— А бар да начальство вешать?

— Так-так... Да ведь мы — темные. Може, он обманщик и злодей, как знать. А може, и царь... Где правда, где кривда, нам не видать отсель. А ты-то как, барин, думаешь?

— Мне думать нечего, я отлично вижу, где правда, где кривда, — все более раздражаясь, отрывисто проговорил Михельсон. — Да и вы не хуже меня это ведаете, только прикидываетесь.

Он подозвал к себе старосту, поднялся... Брови его хмурились, взор сверкал.

— Вот что, староста. Ведомо мне, что у вас много добрых лошадей. Я намерен сменить своих истомленных на свежих, дабы удобнее воровскую шайку преследовать.

— Коней у нас нетути, твое происходительство. Сами бьемся, — кланяясь, сказал староста Ермолай и часто замигал.

— Где же ваши кони?

— Коих волки задрали, а большая часть к *самому* уведена, евоный отряд забрал. А достальных лошадушек наши утеклецы с собой прихватили.

— Врешь! — крикнул Михельсон и погрозил пальцем старосте. — Мне ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Я тотчас прикажу гусарам оцепить ваш лес, искать коней, и ежели ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен! — И, обращаясь к конвою, Михельсон бросил с

небрежностью: — Сказать плотникам, чтоб возле церкви два столба с перекладиной изладили.

Староста Ермолай побелел, переглянулся со стариками. Тогда неожиданно выдвинулся вперед древний дед Изот — во всю голову прожженная солнцем лысина, бородища с прозеленью, правый глаз с бельмом, посконная рубаха — заплатка на заплате, ворот расстегнут, на волосатой груди деревянный, почерневший от пота крестик. Когда-то был он высок, широкоплеч, время сломало человека пополам. Наморщив брови, с печалью смотрел Изот в землю, будто стараясь найти нечто драгоценное, давным-давно утерянное, чего никогда никому не сыскать. Опираясь на длинную клюшку, с трудом отдирая босые ноги от земли, дед тяжело пошагал в наклон к Михельсону. Тому показалось, что сгорбленный старец валится на него, он подхватил деда под руки. Тот мотнул локтями, как бы отстраняя помощь, приподнял иссеченное глубокими морщинами лицо, глухо прокричал:

— Реви громчей, я ушами не доволен, глухой я! — И, помолчав: — Чего ж ты? Вешать людей хочешь? Ну, дык вот меня вешай перьвова... Мне за сотню лет другой десяток настигает... Я Петрушу, государя моего, Ликсеича, мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нес. Опосля того Азов с Петром вместех брали. А ты кто будешь? А?

— Я слуга ее величества государыни Екатерины Алексеевны, — наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул ему в ухо подполковник Михельсон.

— А-а, так-так... Слышу! — закричал и дед, елико возможно распрямляя спину. — Катерина-то соромно на престол садилась, через убивство. А муж-то ейный, Петра-то Федорыч, бают, опять ожил... Аль не по нраву тебе слова мои? Ежели не по нраву — вели вешать али так убей, ты этому обучен.

Глаза Михельсона все шире, шире.

— Уведите прочь сумасшедшего, — не стерпев, отдал он приказ глухим голосом.

Старика взяли под руки, повели. Горбя спину, он волочил ноги, как паралитик, упирался, норовил

обратить взор к Михельсону, кричал надсадно, с хрипом:

— А ты, барин на́больший, вникни, не будь собакой, как другие прочие! Мы, слышь, мертвый народ, мертвяки! Никто за нас не вступится.

— Мертвяки и есть... — подхватили старики. — Бездыханные... Ни на эстолько вздыху нам нет. Тьфу!

Михельсон враз уразумел всю мудрость страшного слова «мертвяки», вырвавшегося с кровью из сухой глотки стаде­сятилетнего крестьянина. Он смутился.

— Коня! — велел он денщику и вставил ногу в стремя.

Отдернутый в сторону, дед Изот все еще шумел:

— Погодь, ироды! Мы, хрестьяне, может статься, навскрес мрем. Мы навскрес мрем, вот чего. Петра Федорыч, царь-государь, поспешает к нам... Не страшусь вас, разбойники, не страшусь!..

Михельсон резко стегнул коня, поскакал.

На ночь раскинули палатку в обширном огороде старосты. Было всюду тихо, но Михельсону не спалось: думал о том, где теперь враг его, неуловимый Пугачев, где войска Деколонга и вообще регулярные отряды других военачальников. С болью в сердце сетовал, что ни одна собака не идет ему на помощь, бросили его, совсем забыли о нем... И вновь обрывал себя: «Стоп, стоп... Я воин... завтра подыматься чем свет, а сейчас спать... Мертвяки!.. Ну и что же? У меня у самого ежечасно за плечами смерть». Он вытянулся, заложил руки за голову, напряг волю, приказал сердцу, нервам: «Спать, спать, спать», — и быстро накрепко уснул.

В пять часов утра его разбудил барабанный бой. По заре доносилась из лагеря хоровая молитва войск. Михельсон вышел умываться. Денщик смазывал дегтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве, на травах сверкала под солнцем алмазная роса. В борозде возилась с котятками рыжая кошка.

Михельсон добыл из ларца иголку с ниткой, стал пришивать пуговицы к сюртуку.

В шесть часов явились с докладом офицеры, хорунжие.

Михельсон с офицерами сели за общий завтрак.

— Ну, как, красная девушка, чувствуешь себя? — обратился Михельсон к Игорю Щербачеву.

— Ничего, господин подполковник, — щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. — Рад служить ее величеству и вам...

— Добро... Токмо и о матери своей подумывай, зря не лезь на рожон-то, — и Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. — На, красная девушка, полакомься.

Офицерик еще больше покраснел. Все поглядели на него с приятностью.

В семь часов утра отряд выступил в поход.

5

Дорога все еще тянулась лесом. Но вот к полудню распахнулись широкие поля и степи с ковылем. Вдруг все увидели: верстах в пяти, на открытом месте, темнеет огромный воинский отряд.

— Деколонг! — от радости подскочив в седле, закричал Михельсон. — Ребята! Корпус генерал-поручика Деколонга...

— Урр-ра!.. — заорали солдаты.

Михельсон перекрестился, на глаза навернулись слезы. Наконец-то истощенный отряд его усилится свежими войсками: ведь люди Михельсона сорок дней преследуют врага без отдыха, у многих опухли, стерлись ноги, иные на ходу валяются от слабости. «Благодарю тебя, господи-владыка, что внял мольбе моей».

Подзорная труба в его руках плясала.

— Треногу! — приказал он, живо слез с коня и, пристроив трубу на треноге, жадными глазами стал прощупывать толпу.

— Не вор ли это, васкородие? — заметил бородастый казак. — Сдается, злодейские то войска!

— Какой к чертовой матери вор! — И Михельсон, чтоб лучше через трубу видеть, сдвинул шляпу на

затылок. — Пугачев разбит и бежал. Тут тыщи две-три... Хорунжий Попов! Бросьте полсотни в разведку.

Казачий разъезд на рысях двинулся вперед. Михельсон на всякий случай построил войско к бою.

Вдруг, к немалому удивлению всего отряда, из толпы вырвалась сотня всадников и поскакала навстречу казачьему разъезду. А вся толпа с двумя развернутыми знаменами устремилась в боевом порядке на отряд Михельсона, стараясь обогнуть его левый фланг.

— Ребята, Пугачев! — громко крикнул Михельсон, проносясь на коне пред своими войсками. — Не трусь, молодцы! Подтянись! Жарко будет.

Он быстро перестроил отряд лицом к врагу, ввел в дело артиллерию; дружно загремели пушки. От пугачевцев тоже раздался единственный орудийный выстрел.

— Очень хорошо, — сказал Михельсон адъютанту, — либо у них пушек черт-ма, либо в порохе нехватка.

У Михельсона шестьсот человек регулярных войск, небольшую часть он отделил для прикрытия обоза.

Пушки гремели. Густая толпа пугачевцев, поражаемая картечью, ядрами, наполовину спешила в версте от врага и, невзирая на сильный урон, бросилась на орудия, ударила в копыя. Все заволокло дымом, завоняло тухлыми яйцами.

В этот миг Емельян Пугачев, в обычном своем сером казацком кафтане, на черном диком скакуне несся с конницей на левый фланг врага, тенористо кричал, размахивая саблей.

— Де-е-тушки!.. С нам бог! Кроши!

Его конница живо смяла, опрокинула команду мещеряков. Те, как цыплята от стаи ястребов, с писком бежали и замертво падали.

— Пушки, пушки забирай, атаманы! Артиллерию! Кроши! — кричал Пугачев, подбадривая своих.

Большинство — башкирцев, заводских крестьян, мужиков, — видя, как дрогнул и бежит левый фланг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом бросились врассыпную на обоз. Ни гневный окрик Пугачева, ни отчаянные попытки Гор-

батова, полковника Белобородова, старшин и яицких казаков-пугачевцев задержать их, сгрудить в один кулак не помогли: вновь набранные толпы народной армии плохо подчинялись дисциплине.

Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадроном изюмских гусар, сразу оценил положение врага и воспользовался моментом. Встав во главе эскадрона, он приказал всей кавалерии немедленно ударить на пугачевцев с разных пунктов.

— Изюмцы! — скомандовал он своему эскадрону, высоко подымая блеснувшую на солнце саблю. — Помни присягу, изюмцы! Рази врага, лови злодея Емельку и — по домам... Кто живьем словит вора, тому десять тысяч.

— А где он? — неслоь по рядам. — Они все на одну рожу.

— За мной, изюмцы!.. С нами бог...

Эскадрон гусар ринулся сквозь сизый дым, сквозь дробную трескотню ружей, сквозь крики, стоны, рев прямо на отряд яицких казаков, окружавших Пугачева.

Взбешенные лошади сшиблись грудь с грудью. Ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-пугачевцы дрогнули и, окружив своего вождя, с гиком помчались в степь.

Воздух в степи чист, ковыль-трава мягка. По всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят, как птицы, всадники.

— Держи, держи!.. Вот он скачет... От своих отбился...

— Пугачев!.. Пугачев!.. — орали изюмцы, настегивая уставших лошадей.

Впереди них шибкой рысью бежал рослый черный жеребец, унося на себе широкоплечего мужицкого царя, золотую десятитысячную приманку.

— Лови! Чего ж отстали? — закричал Пугачев, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой. — Эх, детушки! Видать, Михельсон плохо кормит вас и ваших клячонок... А ну! —

И всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар, как ветер, умчался вдаль.

Изнуренные кони в мыле, выбиваются из сил. Молоденький щуплый прапорщик Игорь Щербачев, позабыв и смерть и жизнь, лупил нагайкой свою кобылу-полукровку, голосил:

— Настигай, настигай!.. Дави его! Дуй с боков, бери напересек!

Он всех опередил, вот-вот подскочет к Пугачеву, в руках пистолет, метит в спину, — раз!

Пугачев резко повернул к нему коня, несколько секунд проскакал рядом с офицером.

— Худо, барин, целишь... А ну! — и, распустив поводья, с гиком унесся прочь.

Оглянулся, опять приостановил коня.

На пригорке возле леса отряд яицких казаков, от которых только что отбился Пугачев, с любопытством наблюдал за своим вождем.

— И чего это он игру завел? — сквозь зубы проворчал Белобородов. И — громко: — А что, казаки-молодцы... не ударить ли нам на выручку государя императора?

— Ни черта! — успокоил Творогов. — У него конь ученый, не дастся.

Меж тем сзади, на позициях, снова гремели пушки, пуская картечь вслед пешим пугачевцам. Батареей командовал и наводил орудия сам Михельсон.

А погоня за Пугачевым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с ними скакал и волонтер-поляк Врублевский. Горячий офицерик Щербачев надрывался в крике:

— Братцы! Неужели упустим?.. Нажми, нажми!

Пугачев вымахнул в сторону и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони.

— Детушки! — вопил он на скаку: черный жеребец храпел под ним, ярился желтым глазом. — А нет ли среди вас, детушки, барина Михельсона? Нетути? Ну, так сказывайте ему поклон от государя императора. Шли бы, детушки, ко мне... Я до простого люда шибко милостив!

Всадники, как охотники за волком, раздувая ноздри, тараща закровенелые глаза, наскакивали на Пугачева, до сипоты ревели:

— Имай! Имай!.. Стреляй в коня!

Но черный жеребец, топча ковыль, копытами швыряя землю, карьером мчал по степи, как разъяренный волк. Погоня сразу осталась позади.

Зазеленели перелески, засинел огромный лес. Щербачев, с турецким пистолетом наготове, визгливо кричал:

— Упустим!.. В лес уйдет!

Его глаза безумны, кровь бьет в виски, весь мир для него пропал, и сумасшедший взор лишь неотрывно ловит дьявольскую спину врага на черном жеребце. Вот вылетел он на быстроногой кобыле далеко вперед, вот настиг ехавшего шибкой рысью Пугачева, сыпнул на полку пороху, прицелился, спустил курок. Емельян Иванович боднул головой, схватился за плечо. Повернув жеребца, он стал делать коварный круг возле скачущего офицера. Бронзовое лицо Пугачева помрачнело, в черных глазах огонь.

— В царя стрелять, лиходеи? Я те! — И Пугачев приподнял нагайку.

— Вор! Собака! Сукин сын! — кипятился, горел в пламени задора обезумевший офицерик Щербачев. Но вдруг сердце его остановилось: не человек, страшной силы зверь скачет рядом с ним. «Назад, назад!» — кричали ему в уши небо, степь. Щербачев втянул голову в плечи, разинул рот, зажмурился и, леденея, оцепенел:

— Ха-ха! — играл с ним Пугачев, гикал, присвистывал.

Стараясь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал поводья вправо-влево, его кобыла скакала вмах зигзагами, но рядом, не отпуская, скакал, храпя, черный жеребец.

И вдруг взвился в воздухе аркан. Черный жеребец резко скакнул вперед. Офицерик Игорь Щербачев, сдернутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко

ударяясь о землю. Пугачев внатуг держал аркан, во весь опор мчался, посвистывая, к лесу. А вот и лес — березы, липа, осокорь. Вдруг в чаще леса аркан ослаб. Пугачев остановил коня, подтянув окровавленную петлю, прищурился, сам себе сказал:

— Петля целехонька... Стало быть, башка оторвалась.

ГЛАВА V

Салават Юлаев. Стычки. В кабинете императрицы. Пугачев «скопляется»

1

Конница Михельсона на пятнадцать верст преследовала уходивших пугачевцев.

Эта легкая победа не дала Михельсону полной радости: он огорчен мучительной смертью офицера Щербачева. Тело безрассудного храбреца нашли завязшим между двух берез, а голову — по кровавому следу — сажен на двадцать в стороне.

Предполагая, что Пугачев снова бросится к заводам, Михельсон переночевал на поле сражения и спешно выступил к Чебаркульской крепости. Получив сведения, что Пугачев копит силу в двадцати верстах от Чебаркульской, Михельсон свернул на Златоустовский завод.

Двадцать пятого мая возле Златоустовского завода Михельсону донесли, что недавно приезжала на завод сотня яицких казаков-пугачевцев набирать ополчение и что оные казаки объявили: государь с двухтысячным войском идет-де на Саткинский завод, где его ждет с башкирцами походный полковник Салават Юлаев.

Михельсон тотчас двинулся на Саткинский завод. Ранним утром 27 мая, как только его отряд появился под заводом, огромные толпы башкирцев, сев на-конь, хлынули наутек.

Чрез захваченные «языки» вскоре выяснилось: башкирцы, отступив от Саткинского завода, вновь сгрудились, и Салават Юлаев повел тысячную толпу башкирской конницы на Симский завод.

Двадцатидвухлетний Салават, бронзовый, скуластый, краснощекий, с горящими задором глазами, в цветном полосатом халате, на голове зеленый тюрбан. Он молодецки сидел в серебряном с бирюзой седле, на быстрой степной кобылке. Башкирское население чтит своего героя: в селениях, чрез которые шли толпы башкирцев, Салавата встречали шумными криками, выносили в турсуках кумыс, мед, бишбармак, крут, салму, падали ниц.

— Встаньте! — приказывал Салават, кланяясь народу. — Бачка третий государь Петр Федорыч под Троицкой крепостью побил наших врагов. Все войско сибирское полегло, как цвет-ковыл под копытами степного табуна. Немчин Михелька уж вот сколь хитрый, прямо шайтан, — а и его бачка-государь смял. Немчин едва ноги уволок. Кто поймает Михельку, тому жалую триста рублей. Пусть об этом знают все родичи наши: усергане, донгаурцы, бурзане, и помогают нам святое дело делать...

— Ой, ой, это больно славно!! Велик аллах и Магомет, пророк его! — радостно ответствовали ему со всех сторон старики и женщины, но тут же лица их омрачались: — Салават, Салават! Много мы терпим напастей всяких от русских солдат и от своих терпим. Коней у нас поубавилось, коров да овец поубавилось, сыновья наши бросили нас, на войну сбежали. А травы по колено стоят, а хлеба колос наливают, кто работать будет? Некому. А солдаты скот режут, юрты жгут, непокорных вешают! Скоро ли проклятой усобице конец?.. Пожалей нас, Салават, ты умный, ты сильный!

Бритые бронзовые черепа стариков лоснились на солнце, у женщин — головы в накинутых цветистых платках, на груди обшитая монетами, униженная бисером «сакома».

Салават повел строгим глазом по толпе.

— Не слышать бы мне ваших речей, старики и женщины, не видеть бы вас! — громко сказал он, оглаживая серебряные с золотыми насечками ножны изогнутой своей сабли. — Разве забыли времена славного батыря нашего Батырши? Ведь только два десятка лет прошло. Большие годы бился наш народ за свои земли, за вольности свои. И таких речей, как ваши, тогда Батырша не слыхал.

— Шесть годов дрались мы тогда с неверными, правду говоришь! — закричали в ответ старики. — Почитай, двадцать тысяч казней было, всю землю кровью своей полил наш народ, а что получили взамен? Подумай, Салават, ежели аллах не отнял у тебя весь разум...

— Ха! Что получили, что получили! — заерзал в седле Салават и натянул поводья: застоявшаяся кобылка его начала выплясывать. — При Батырше мы шли один на один против притеснителей, и они нас побили, а ныне с нами такие же, как мы, обиженные русские. Их сила неисчислима. И вот заодно с ними правду мы ищем. И найдем!..

Старики, вздохнув, надели тубетейки. Молодые девушки и подростки, загораясь волнением, улыбочиво подталкивали друг дружку локтями, не спускали с Салавата глаз. «И найдем, и найдем, Салават! Мы с тобой, Салават Юлаев, все как один!» — хотелось крикнуть им молодому витязю.

Восемнадцатилетняя женщина, вдова старшины, убитого в схватке под Уфой, порывалась кинуться Салавату в ноги, обнять его, сказать ему громким, во всю грудь, голосом: «Салават! Возьми меня в жены, люблю тебя. Дай мне кривой нож, плечо в плечо с тобой брошусь на врагов наших...» Но она безмолвствовала, она лишь обнажала в печальной улыбке свежие зубы, а в черных глазах ее, в грустно приподнятых бровях сквозило горе, мучительное одиночество. На голове ее соболя, высокая, с серебром, калябаш-кашмау с изогнутым наподобие каски верхом. На запястьях золотые блязук, в маленьких ушах серебряные, с самоцветными камнями — алки, в двух черных

тугих косах — звонкая нанизь импералов. Сердце Салавата сладко замерло. Салават улыбнулся про себя, подумал: «Какая же ты красавица... У меня две жены, двое детей, но если б не война, тотчас же взял бы тебя третьей». И уж было с неохотой тронул он коня, чтоб ехать дальше, как бросилась из толпы к Салавату простоволосая, лет десяти, девчоночка. Косолапо загребая пыль и быстро помахивая левой, согнутой в локте, тоненькой рукой, она пересекла пространство и, встав на цыпочки, подала Салавату берестяной туюсок, наполненный спелой земляникой.

— На, батырь! — сказала она и — бегом прочь в толпу.

И не успел Салават рта разинуть, чтобы поблагодарить за подарок, как к нему со всех сторон кинулась черноголовая детвора. Отстраняя друг дружку, малайки и апайки совали смущенному Салавату: кто горстку ягод, кто пучок зеленого луку, кто цветы или кусочек сотового меда на листе лопуха.

— На, Салават!.. Поешь, Салават!.. Понюхай, Салават!.. — звенели детские голоса, как беззаботный щebet птиц.

Толпа улыбалась, причмокивала языками, хвалила детей: «Якши, якши, якши». А какой-то древний старик загнул подол длинной рубахи, поднес к лицу и, всхлипнув, принялся утирать слезы.

Благодарно улыбаясь детям, Салават подал знак седобородому всаднику принять дары, кивнул толпе, сдвинул брови, поднял голову и двинулся в путь, за ним вся свита. Толпа закричала: «Прощай, батырь наш, прощай!» Старики махали тубетейками, женщины — платками.

Ребятишки, сопровождаемые собачонками, долго еще бежали за всадниками.

Салават то и дело оглядывался на провожавшую его толпу. По дороге и лугам тянулись конные башкирцы, иногда на одной лошаденке по два, по три, иные ехали о-двуконь, ведя запасного в поводу. В беспоясных рубахах, в бешметах из верблюжины, в разноцветных хилянах, похожих на халат, на бритых головах сверх тубетейки — остроконечный войлочный

тельпек, за плечами колчан со стрелами, лук, редко-редко самопал, у многих тесаки, кривые ножи, пики, тяжелые безмены, вокруг сиденья — спущенные с плеч овчинные тулупы. Кто в лаптях, кто в сафьяновых или суконных сапогах с загнутыми носами. Пеших мало, огромный обоз скрипучих двуколок с поклажей и с народом, две чугунные пушки, но ни пороху, ни ядер. Толпа оживлена, воздух звенит хохотом, слышатся выкрики, взвивается под свирельную дудку песня, то веселая, то грустная. Молодежь взад-вперед носится на скакунах вперегонки: «Аля-аля-аля». Всюду раскатистый смех, визг, посвисты, гиканье, дружеская, с перцем, перебранка и — снова хохот.

Тысячная толпа растянулась версты на две, было жарко, пыль клубилась от земли до неба, пахло лошадиным потом, свежевырезанным медом, кумысом в гурсуках, дегтем. Со всех сторон подъезжали на взмыленных конях группы новых всадников. Поприветствовав Салавата прикладыванием правой ладони ко лбу, к сердцу, переговорив с ним, отъезжали, смешивались с толпой. И снова начинались разговоры без конца, спросы да расспросы, смех да крики.

Вот на трех верстах две разрушенные русские деревни, все выжжено, все сровнено с землей.

— Эта земля издревле нашего рода, моего деда, моего отца Юлая и моя, — говорил Салават, кивая головой направо-налево. — Большие земли у нас были, а лет двадцать тому отобрало начальство, отдало наши природные угодья купцам Твердышеву да Мясникову. Я весной был здесь с батюшкой, обе деревни разрушил, мужиков, кои передались мне, отослал к государю в стан. Нынче пришел черед Симскому заводу. Все попало огнем!

— Э-э, — поддакивали башкирцы.

— О, если б мне достать тех двух купцов-заводчиков, привязал бы их за ноги к лошадиному хвосту, целый день волочил бы их по степи нешибкой рысью, чтоб не сразу сдохли... — И Салават, шумно дыша, заскрежетал зубами.

— Не в этом дело, дружок, — возразил седебородый Илчигул. — Двоих смерти предашь, десять новых

на твою землю сядут. А надо правá наши кровью утвердить... э!

— Ты верно, Илчигул, сказал. Пусть будет имя твое свято, — в раздумье молвил Салават. Вдруг вскинул голову, схватил за руку, пониже плеча, ехавшего с ним рядом Илчигула, со всех сил встряхнул старика, сам затрясся, закричал на весь народ: — Всю землю огнем пройду!.. Все пожгу! Всех посеку, в полон изловлю. На срубленных башках врагов моих степные птицы будут вить гнезда, на щеках их станут размножаться мухи и комары!

Илчигул взглянул в освирепевшее лицо его, изумленно разинул рот, седая козлиная борода отвисла.

— Успокой свое сердце, Салават, — тихо сказал он. — Башке верь, сердце — тьфу... э!

Салават опять задумался, поник головой, завздыхал шумно. Долго ехали молча. И вдруг в мыслях Салавата мелькнул образ той женщины в богатом наряде, что так ласково улыбалась ему. Какая красавица! И как звать ее, кто она, что с ней сейчас? Не сидит ли возле озера с крутыми берегами, не думает ли думу? Не складывает ли «баит» о нем, о храбром Салавате? Эх, если б не такое время, он, прославленный певец степей, сам сложил бы про нее песню!..

Да, она складывала песню и тихим вздрагивающим голосом напевала:

Пою я не от охоты,
А от множества дум и от горя...

Как только скрылся от взора Салават, она подобрала шитый бисером безрукавый зюлень-платье и, быстро перебирая стройными ногами в ярко-красных широких шароварах, побежала через ельник, через поляны к озеру. Села на крутой зеленый берег и задумалась.

Наслаждений, удачи нет и тени,
А тоски много в этом безжалостном свете... —

вновь швырнула Шаккур над степью и над озером запавшую в ее сердце жалобу.

По ту сторону плескучего озера расстилалась степь. Далеко-далеко на горизонте, докуда глаз хватал, в стороне от проезжей дороги клубились бесчисленные дымки летних кочевий-кошей. Туда удалились старики, женщины и дети и еще те из башкирцев, которые не желали пристать ни к Салавату с Кинзей¹, ни к Каравату с Крюкаем, ни к прочим башкирским старшинам-воителям.

Молодая Шаккур подносит к пунцовым губам тростниковую свирель и, перебирая тонкими пальцами, начинает высвистывать что-то тоскливое. Свирель стонет над простором, как живая, свирель горько оплакивает несбывшиеся мечты Шаккур и навеки утраченную радость. Прощай, милый муж, убит ты русской пулей, прощай и ты, Салават-батырь, умчавшийся в неминуемую гибель, в смерть. От тоскующих звуков свирели зарождаются мрачные мысли, из мыслей растут слова песни. И вот, положив свирель к ногам и скрестив руки на груди, Шаккур начинает:

Ах, буран, буран, ветер свирепый,
Времена тяжелы, сердце одиноко...
В молодое время беги шибко,
Подобно промчавшемуся по степи оленю.

Дымки клубятся, солнце село. Вот и вечерняя звезда зажглась, даль призакрылась сизо-молочною завесой, на западе погасла желтая, с прозеленью, с алым отблеском заря.

Молодая Шаккур быстро поднялась, с хрустом переломила через колено свирель, забросила ее в озеро.

Беги, беги скорей, конь чубарый,
Неси, неси меня к Салавату!

Шаккур всплеснула руками и заплакала. И раздался тут отчаянный голос:

— Шаккур, Ша-а-акку-ур! Эге-ге-ей...

Это старая мать кличет единственную дочь свою: уже лег на землю поздний вечер, и месяц стал серебрить ковыли степей, а в степях рыщут волки, а в степях вот-вот схватит Шаккур злой дух — шайтан.

¹ Канзафар Усаев,

Негодую на бездеятельность сибирского корпуса генерала Деколонга и не имея сведений о действиях отряда князя Голицына, подполковник Михельсон все-таки решил со своим малочисленным отрядом двинуться на Красноуфимск для преследования толп Салавата Юлаева.

30 мая он пошел к Симскому чугуноплавильному заводу, что в живописной котловине среди лесистых гор.

Ненавистный Салавату этот завод вместе с поселком весь был башкирцами разрушен, разграблен, выжжен, и около сотни жителей умерщвлено.

Михельсон увидел зарево и поспешил на пепелище. Однако переправа через реку Ай была уничтожена, паромы сломаны, лодки угнаны, а крутые горы за рекой заняты толпами Салавата.

31 мая на рассвете Михельсон выставил вдоль берега все орудия и, под прикрытием их огня, переправил свой отряд. После короткого боя башкирцы рассеялись, сто пятьдесят из них убито, в плен попало трое, четвертый русский. Где находился сам Пугачев, пленные не знали. Крестьянин был повешен, башкирцы оделены деньгами, продуктами и пущены на свободу.

— Идите по домам, — сказал им Михельсон, — толкуйте своим, чтоб сидели смирно, чтоб не слушались разных врак злодея Пугачева Емельки.

3 июня ранним утром, возле деревни Киги, Михельсон внезапно был атакован двухтысячным войском Пугачева. В первую минуту Михельсон растерялся.

— И откуда в такое короткое время спроворил злодей набрать столько сволочи? Да, поистине зверь сей неистребим.

Замешательство унялось. Загремели пушки. Поражая пугачевцев огнем, Михельсон бросил силы в контратаку. Вскоре враг был сломлен, бежал. Кавалерия преследовала отступавших. Михельсон с двумя

адъютантами ехал рысью позади кавалерии. Отдалясь от обоза версты на две, он остановил коня.

— Глядите... Что это? Башкирцы, никак... — И Михельсон вскинул к глазу зрительную трубку. — Ну да, они!

Отряды башкирской конницы, скатываясь с гор, выскакивали из ущелий, мчались на поддержку отступавших.

— Слышь, дружок, — подъехал Михельсон к майору Харину. — А двинь-ка ты в эту нечисть картечью.

Тут подскочил к Михельсону на взмыленной лошади казак, глаза выпучены, весь он потный.

— Вашескородие!.. Так что сам Пугачев!.. С тыла!.. Обоз атаковал!.. — заикаясь, прокричал он, как в лесу.

Положение Михельсона было не из легких. В эту опасную минуту его боевая натура вмиг преобразилась. В голове молниеносно созрел весь план предстоящего сражения.

Приказав Харину удерживать с частью отряда наступление башкирцев, Михельсон с кавалерией и остальной пехотой бросился к атакованному неприятелем обозу. Визг стрел встретил скачущих михельсоновских всадников. Трое свалились с седел.

— Изюмцы! Сабли вон! — закричал Михельсон, опережая кавалерию. — Казаки, не подгадь!.. По полдюжинке на пику, братцы!

Изюмцы и казаки на всем скаку взяли рассыпным строем неприятеля в обхват. Но Перфильев с яицкими казаками и Салават Юлаев с башкирцами, не страшась смерти, всюду поспевали, поощряя своих боевым кличем и личным примером храбрости.

Пугачев с сотней яицких казаков стоял чуть поодаль, наблюдая разгорающуюся сечу. В моменты успеха он привставал в стремени, пронзительно кричал:

— Детушки! Вали, вали, вали!.. Так их!

То вдруг бросался с казаками в то место, где враг одолевал.

— Детушки!.. Грудью, грудью!.. Спину береги, детушки! — и вновь, выбравшись из схватки, вихрем скакал вдоль фронта, останавливая бросавших оружие

и бежавших, вдохновляя колеблющихся, разжигая победителей.

Всеобщая резня и суматоха длится час и два. По степи, скрываясь в перелески, уже удирают пешие мужики, мчатся конные башкирцы. Опять загрохотали смолкшие было пушки. Вонючий дым, лязг металла, неистовые крики. Вот пан Врублевский с высоко поднятой саблей, с ножом в зубах, сильно подавшись корпусом вперед, скачет к кучке башкир, отбивавшихся вместе с Салаватом от изюмцев.

— Алла!.. Алла!.. — поражая врагов своих, дико визжат башкирцы.

Салават с силой рубит саблей направо и налево. Его халат изодран, рубаха окровавлена. Он круто поворачивает коня и с гиком налетает на Врублевского. Их сабли, скрещиваясь, звякая, сверкают в воздухе лишь несколько мгновений. Враги вцепились один в другого руками, и с резким воем оба брякнулись с коней на землю. Через момент пан Врублевский был поднят на пиках, он извивался в воздухе, как на остроге налим.

— Детушки! — вопил Пугачев. — А ну, за мной!.. Кажись, Салаватку прикончили.

Он вытянул черного коня нагайкой и вместе с казаками ринулся вперед.

— Чугуевцы!.. Казанцы!.. — командовал Михельсон. — Марш, марш на выручку изюмцам. Враг бежит!.. С бо-о-гом!..

Вскоре по всему фронту пугачевцы были отбиты. Они отступали к вершине реки Ай.

На другой день, едва пройдя пятнадцать верст, Михельсон вновь был атакован.

— Ну, брат, ваше окаянское величество, — пробрюзжал Михельсон, — вы изволите надоедать мне пуще комаров.

Схватка была горяча и непродолжительна. Пугачев, потеряв около сотни бойцов, отступил.

И обычная комедия: Пугачев дерется с Михельсоном, а в этот самый час, в ста пятидесяти верстах

от боя, коменданту Верхне-Яицкой крепости Ступишину грезится, что Пугачев семитысячной громадой стоит в десяти верстах от его крепости. Перепуганный Ступишин шлет к бездействующему в Кизильской крепости генералу Фрейману гонца с отчаянным воплем выслать немедленную помощь.

Главнокомандующий князь Щербатов, в Оренбурге пребывающий, получил сразу два рапорта: от генерала Фреймана, что Пугачев с армией в семь тысяч человек 4 июня осадил Верхне-Яицкую крепость, а другой от Михельсона, что того же 4 июня он разбил Пугачева вблизи деревни Киги. Взглянув на карту военных действий («ха, полтораста верст!»), князь Щербатов долго чесал за ухом, тщетно ломал голову, который же из военачальников бредил? Он грыз в раздумье ногти и, поплеывая, говорил в сердцах:

— Дураки... Все мы дураки, все болваны. Пугачев в десять раз умней нас, во всяком случае — расторопней.

Разгневанный на себя и на всех, главнокомандующий тотчас же отправил к Фрейману гонца с приказом точно выяснить, где обретается «мерзкий самозванец», и немедленно выслать отряд для скорейшего уничтожения «бунтующей сволочи».

Отряд Михельсона численно слабел, в боевых припасах ощущался великий недостаток, лошади наполовину покалечены. Михельсон прямым путем двинулся к Уфе в надежде укомплектовать там свой отряд людьми и лошадьми.

3

В Петербург все чаще поступали с востока известия о поражении пугачевцев. Но наряду с этим стало правительству ведомо, что в середине мая в Воронежской, Тамбовской и других смежных с ними губерниях возникли сильные крестьянские волнения. Внезапно «волнование» возгорелось и среди крепостных крестьян смоленского «новоявленного барина» Барышникова.

Императрица Екатерина собрала у себя совещание из ограниченного круга лиц. Были: новгородский гу-

бернатор Сиверс, Григорий Потемкин, Никита Панин, генерал-прокурор сената князь Вяземский, граф Строганов, неуклюжий, большой и пухлый Иван Перфильевич Елагин, когда-то влюбленный в Габриэльшу, и другие. Беседа велась в кабинете Екатерины за чашкой чая, без пажей и без посторонних. Чай разливала сама хозяйка.

Высота, свет, простор, сверканье парадных зал. Всюду лепное, позлащенное барокко, изящный шелк обивки стен, роскошь мебели на гнутых ножках, блеск хрустальных с золоченой бронзой люстр. Всюду воплощенный гений Растрелли, поражающая пышность царских чертогов. Но кабинет Екатерины уютен, прост.

Теплый, весь в солнце, майский день. Окна на Неву распахнуты. Воздух насыщен бодрящей свежестью близкого моря.

Все пьют чай с вафлями, начиненными сливочным кремом. В вазах клубничное и барбарисовое варенье. Граф Сиверс, ради здоровья, наливает себе в чашку ром. А князь Вяземский, также ради здоровья, от рому воздерживается. Григорий же Александрович Потемкин, опять-таки здоровья для, предпочитает пить «ром с чаем». И пьет не из чашки, а из большого венецианского, хрустального с синими медальонами, стакана, три четверти стакана рому, остальная же четверть — слабенький чаек. Впрочем, ему все дозволено...

Екатерина начинает беседу. Хотя она и спряталась от солнца в тень, но, если пристально всмотреться в ее лицо, можно заметить легкие недавние морщинки — следы сердечных страстей и неприятных политических тревожений. Подбородок ее значительно огруз, лицо пополнело, вытянулось, утратило былую свежесть.

— Теперь, Григорий Александрович, доложи нам по сути дела, — обратилась она к Потемкину.

Тот порывлся в своих бумагах и, уставившись живым глазом в одну из них, начал говорить:

— Итак... прошу разрешения вашего величества. (Екатерина, охорашиваясь, кивнула головой.) Воронежский губернатор Шетнев доносит, что меж крестьян-

нами вверенной ему губернии стали погуливать слухи, что за Казанью царь Петр Федорыч отбирает-де у помещиков крестьян и дает им волю. Раз! Второе: крестьяне Кадомского уезда, села Каврес, в числе около четырехсот душ, собрались на сходку и порешили всем миром послать к царю-батюшке двух ходоков с прошением, чтобы не быть им за помещиками, а быть вольными... «Требовать от батюшки манихвесту...»

Он привел еще несколько подобных же примеров и, отхлебнув обильный глоток рому с чаем, сказал, словно отчеканил:

— Вот-с каковы у нас дела.

— Да... И впрямь дела не довольно нам по сердцу, — отозвалась Екатерина, тоже отхлебнув маленький глоточек чаю с ромом.

После недолгого молчания Потемкин вновь заговорил:

— А тут еще милейший губернатор Шетнев вздумал с бухты-барахты обременять население излишними работами и тем самым неудовольствие в народе возбуждать. В этакое-то время, во время столь жестокой инсurreкции, он взял себе в мысль приукрашать подъезд к городу Воронежу дорогой перспективой, обсаженной ветлами. И для сего согнал более десяти тысяч крестьян. Сие некстати в рассуждении рабочей поры, а еще больше по обстоятельствам. Не с перспективы губернатору начинать бы нужно, а есть дела важнее в его губернии, которые требуют поправления. А посему, — поднялся Потемкин и, закинув руки за спину, принялся мерно и грузно вышагивать, — а посему, смею молвить, надлежало бы губернатору написать построже партикулярное письмо... А еще лучше вызвать его к нам да немного покричать на него... Покричать! — резко бросил Потемкин. Голос у него — могучий, зычный. Когда он говорил, казалось, что грудь и спина его гудят. И голос и его властные манеры вселяли некий трепет не только в сердца обыкновенных смертных, но даже сама Екатерина, преклоняющаяся перед своим любимцем, за последнее время стала испытывать в его присутствии чувство небольшого смущения, граничащего с робостью.

— Александр Андреич, — обратилась Екатерина к князю Вяземскому. — Что вы имеете на сие ответственность?

Вяземский поднялся, растерянно развел руками и, как бы оправдываясь, заговорил:

— Ваше величество и господа высокое собрание! Поскольку мне не изменяет память, губернатору Шетневу был заблаговременно послан высочайше апробованный план прокладки скрозь густые леса новой дороги шириной не более не менее, как тридцать сажень, дабы воровские люди не имели способа укрыться и делать вред и грабеж жителям.

— Ваше сиятельство, — на низких нотах проговорил Потемкин и остановился среди кабинета, на щекастом лице его играла умная ухмылка. — Я, если мне будет дозволено ее величеством, нимало не дерзаю возражать против сего полезного прожекта... Но поймите, князь! Горит Россия! С востока летят головешки и падают чуть ли не в колени нам, князь. А вы тут... А вы... Россия горит! — подняв пудовый кулак, крикнул он так громко, что голос его, наверное, был слышен за Невой...

Князь Вяземский втянул шею в плечи, будто его пристукнули по темени, и завертел во все стороны немудрой головой своей.

— Ваше высокопревосходительство, — адресовалась Екатерина к Потемкину, — приглашаю вас чуть-чуть умерить пыл и пощадить хотя бы мои уши.

Их взоры быстролетно встретились. Потемкин, почувствовав себя виноватым, приложил руку к сердцу, почтительно императрице поклонился, подошел к круглому столу и сел. Он был к Екатерине весьма предупредителен, особенно при посторонних, но он иногда вдруг весь вскипал и тогда терял самообладание.

— Александр Андреич, — снова обратилась императрица к Вяземскому. — Вызывать сюда губернатора Шетнева в такую пору мы считаем бесполезным, а пусть сенат заготовит, пожалуй, указ ему, чтоб он подобные работы тотчас прекратил, жителей распустил и в дальнейшем принял меры к тому, чтобы не раз-

дражать их. Вы сами, господа, разумеете, — повела Екатерина взором по лицам присутствующих, — что нам подобает изыскивать меры к отвращению елико возможно населения от маркиза Пугачева. Особливо же нам надлежит ласкательными мерами удержать от злодейской прелести казаков на Дону. А посему мы постановляем... Потрудись, Александр Андреич, записать. Постановляем тако: обер-коменданту крепости святого Димитрия¹ генерал-майору Потапову сообщить письменно наше повеление — прекратить все следственные дела над донскими казаками, выпустить всех арестованных и объявить им наше милостивое прощение и оставление дальнего взыскания, в рассуждении верных и усердных заслуг сего войска, в нынешнюю войну с Турцией оказанных... — Отвратив взор от своей записной книжки, Екатерина вскинула голову и спросила: — Не имеет ли кто высказаться по сему за и контра?

Желающих не нашлось. Разумное отношение в данное время к населению все считали необходимым и на вопрос Екатерины согласно ответили, что решение императрицы почитают мудрым.

Потемкин, сдерживая голос и улыбку, сказал:

— Кстати, о казаках... Вам всем ведомо, господа, что до Петербурга дошли слухи, якобы Пугачев отправил к нам, в столицу, трех своих казаков с ядом для отравления особ императорской фамилии...

Новгородский губернатор Сиверс, выразив удивление, сказал, что он лишь сегодня утром прибыл из деревни и о «сем неслыханном изуверстве» впервые слышит. Потемкин охотно сообщил ему, что поручик Державин чинил в Казани допрос некоему беглому солдату Мамаеву, пойманному на Иргизе в числе мятежников. При этом Державин доносил с экстрой в Питер, что «тайность души Мамаева открыть не мог, но только по всему видать, что он весьма не дурак, хранящий великое таинство, и самый важный». Мамаев на допросе якобы говорил, что он-де был секретарем самозванца и знает, что яицкие казаки отправили-де

¹ Впоследствии — Ростов-на-Дону.

в Петербург для покушения доверенных с ядом. И даже приметы оных мизераблей сообщил.

По выражению лица Потемкина было заметно, что он тоже хранит в себе некое «великое таинство». И, насупив высокий и гладкий лоб, он сказал:

— Вот тут-то у нас сыр-бор и загорелся... Хотя я и наперед знал, что сие больше на вздор, нежели на дело, походит... (Тут Екатерина и все присутствующие насторожились.) Однако в столь важнейшем пункте, как драгоценному здравью касающемуся, счел нужным сделать строгое изыскание. Да к тому же и его сиятельство князь Вяземский добавил рвения: ищите, говорит, промежду челобитчиками, бродягами, так и между работниками. Ну уж тут и-и-и давай хватать без разбору всякого! Очевидцем я был, как в Царском Селе, куда всеблагая государыня изволила на три дня выехать, сграбастали какого-то парнюгу. Его волокут под мышки, а он орет блажью: «Ой, не хватайте меня под пазухи, чикотки страсть боюсь!»

Все засмеялись, улыбнулась и Екатерина. Потемкин достал из камзола простую берестяную тавлинку, понюхал табак и продолжал:

— Оный Мамаев, по воле ее величества, доставлен был в Петербург. Сегодня я спросил Шешковского в шутку: «Ну как, Степан Иванович, хорошо ли кнутобойничаешь?» (Тут Екатерина, сделав на лице брезгливо-возмущенную гримасу, откинулась в кресле столь стремительно, что шелк на ее роброне зашуршал.) А он мне: «Да, не худо, говорит, с Мамаевым, говорит, малую толику минувшей ночью перемолвился». И Шешковский поведал мне, что Мамаев вовсе не Мамаев, а дворовый человек помещика Ржевского Смирнов, был в шайке Пугачева, но секретарем самозванца никогда не состоял, что посылка казаков с ядом им измышлена, он-де в Казани лгал и болтал от страха, видя, что поручик Державин грозитя его сжечь.

Известие о признании Мамаевым своего лганья было для всех новостью. Все весело переглядывались друг с другом.

Екатерина сказала:

— Для чего ж ты, Григорий Александрович, меня о сем казусе не предупредил?

— По причине того, матушка, что я не считал эту пустяковину делом государственной важности и не осмеливался до времени беспокоить ваше величество.

Сидевший в подчеркнуто небрежной позе Никита Панин, переглянувшись с директором императорских театров Елагиным, сказал:

— Сей сюжет, я чаю, сгодился бы нашему комедиографу Денису Иванычу Фонвизину.

— Речь о сюжетах пока отложим в сторону, — с оттенком явного высокомерия обратилась Екатерина к Панину, — из сего же мы усматриваем, что следственным комиссиям, одной в Казани, другой в Оренбурге, быть не вместе. Мы склонны к тому, и от вас, господа, совета ищем, чтоб обе комиссии соединить в одну и назначить им общего руководителя...

— Каковым и мог бы быть, — выждав время и ласково уставившись в лицо всесильного фаворита, произнес князь Вяземский, — каковым для общего руководства и мог бы быть Павел Сергеевич Потемкин¹, с отменной радостью изъявивший на то свое согласие.

— Быть по сему, — скрепила, чуть подумав, Екатерина. Скрывая в ясных и по виду откровенных глазах что-то свое, она раздраженным тоном продолжала: — Губернаторы Брандт и Рейнсдорп не имели возможности всецело посвятить себя следственным делам, и оные дела перешли в руки молодых, преданных нашему престолу, но малоопытных офицеров. От сего, под влиянием страха и угроживания, происходили оговоры невинных лиц. Паче всего мы опасаемся, чтоб не были пущены в ход истязанья и пытки. Сие иметь в виду при составлении инструкции Павлу Сергеевичу Потемкину... Пытки есть дело противное нашему матернему сердцу, — закончила она, опустив глаза подобно школьнице, ожидающей похвалы.

Князь Вяземский слушал ее с немалым возмущением. В его памяти вдруг возникло недавнее письмо

¹ Тройродный брат Г. А. Потемкина.

к нему императрицы. «Я весьма любопытна, — писала она, — еще раз перечеть вздорное показание арестованного злодея Мамаева. Нужно его самого сюда взять, дабы он противоречиями комиссию тамошнюю не сконфузил. А для примера и без него *есть у них кого повесить*».

Особенно любопытной показалась Вяземскому последняя фраза письма императрицы, бывшая в кричащем противоречии с только что сказанными ею словами касательно пытки. И он с желчью подумал про Екатерину: «Ах, ах, сколь много в тебе, матушка, великого лицемерия!»

Подумав так, он до смерти сразу же перепугался: а не спрятался ли где-нибудь за портьерой, или не сидит ли под столом заплечных дел мастер, страшный человек Степан Иваныч Шешковский, и не читает ли в его, князя, голове крамольные эти мысли? Поддавшись страху, Вяземский безотчетно покосился назад через плечо и даже пошарил под столом ногою.

Совещание продолжалось. Лучи солнца передвинулись на Екатерину. Пролетающая белоснежная чайка мочила в Неве свои упруго очерченные крылья. С барабанным боем, с песнями прошли строем солдаты, отбивая шумно прусский шаг. По реке скользили челны, рябики, лодки. Две неуклюжих баржи с сеном поднимались на завозных якорях по течению вверх к Стрелке. Над Петербургской стороной нависла сероватая хмурая.

Потемкин, прикрывшись широкой ладонью, позевывал.

4

После неудачного боя под Кундравинской Пугачев через леса и горы пробрался с яицкими казаками на реку Миас и стал здесь «скоплять» народ. Вскоре присоединились к нему сотни три башкирцев, бродивших воинственной толпой между Челябиной и Чебаркулем.

В живописной долине Миаса, где бурная речка кипела меж камней, башкирцы поставили Пугачеву из кошмы и ковров юрту.

Было пасмурно, дул холодный ветер. В юрте шло совещание.

— Надо указы писать, а секретаря нету... Ни Горшкова, ни Шигаева с Почиталиным. Федор Федотыч, займись-ка ты, — сказал Пугачев атаману Чумакову.

— Я не шибко горазд, ваше величество, — с преднамеренной грубостью ответил хмурый Чумаков. — Мое дело воевать, а не пером водить. Обмарались мы с войной-то! Как зайцы по кустам: пырх, пырх! Этак на край-свет загонят нас...

— Помолчи-ка ты, Федя, без тебя тошнехонько! — крепко проговорил Пугачев, сверкнув глазами. — Лучше пиши-ка, что велю. А Творогов пособит...

— Сказываю тебе, не горазд я! — Чумаков отвернулся. — Вот народ сгуртуется, нужно артикулу его учить да стрельбе. Порядку нет у нас, вот чего...

— Заладил, как ворона на падали: кар да кар, — вспыхнул Пугачев. — Баешь, народ сгуртуется? А того не ведаешь, что для оного дела треба зазывные грамоты слать по жительствовам. Эх ты, тетерьья башка...

Обиженный Чумаков скосил на Пугачева сердитые глаза, тряхнул бородищей, крикнул:

— Вот сам и пиши зазывные-то! Раз ты царем назвался...

— Я не назвался царем, а я царь есть ваш!.. Сукин ты сын! Ослушник! Пошел вон, дурак!

Чумаков тотчас встал и, сутулясь, молча вышел из юрты. Афанасий Перфильев, вздохнув, молвил: «Эх-хе...» — и покрутил головой. Творогов успокоительно сказал:

— Брось, ваше величество, чего зря карактер себе портишь? Я бы приказы написал, да, вишь, правая рука болит. И я вот, слушай-ка, добрецкого тебе секретаря подыскал.

— Кто таков?

— Забеглый купецкий сын из Мценска-города Иван Трофимов, а прозывает он себя — Алексей Дубровский. Парень выше меры смышленный. И чаю, предан тебе по гроб. Он давненько с нами ходит.

— Проверку учинял?..

— Говорю, парень самый наиверный. Одно слово — наш!

— Ладно, — повеселел Пугачев. — Ужо пришли его. Ну, ин иди, Иван Александрыч... И ты, Афанасий Петрович. Голова чегой-то болит... Тот черт-то перечит все, умней царя хочет быть, черт... Втолкуйте ему... Что ж это, царь я или не царь?

— Вестимо, царь-повелитель, ваше величество. Ну-отдыхай, нито. — Творогов с Перфильевым встали, поклонились и вышли бесшумно.

Пугачев тоже вышел на волю — ветер унялся, опять пекло солнышко, — присел на горячий камень у реки, задумался. Подошел приятного вида человек лет тридцати, низко поклонился Пугачеву, стал в отдалении.

— Кто ты?

— Алексей Дубровский, ваше императорское величество, — с готовностью гаркнул человек, держа руки по швам. — Господин Иван Александрыч Творогов к вашей милости послал меня.

— Ладно. Подойди! — Дубровский подошел. Он был высок, сухощав, лицом бел и чист, русые вьющиеся волосы, маленькая бородка. — Слых идет — шибкий грамотей ты. Так ли?

— Совершенно так, ваше величество, грамотой господь да добрые люди вразумили меня изрядно, да и по письменной части зело успешен. И в жизнь свою немало предивных книг прочел.

Пугачеву понравились быстрые и складные ответы молодого человека. Он снял казацкий простой кафтан, одернул шелковую с серебряными пуговицами рубаху, сказал, ласково поглядывая на Дубровского:

— А ну, поведай, молодец, кто ты, каким побытом прилепился ко мне? Только правду молви, я врак не люблю.

Алексей Дубровский кивком головы откинул назад русый чуб, откашлялся и, все так же держа руки по швам, заговорил:

— Как на страшном Христовом пришествии, так и перед вами, всемилостивейший государь, поведаю о всем чистосердечно, не утая и не скрывая ничего

чинимого мною в свете. Сначала находился я при родителе моем, мценском купце Стефане Трофимове; служил родитель по обнищанию своему у разных господ и четыре года тому назад помре своей смертью. Став сиротою, вступил я во услужение московского богатейшего фабриканта и обер-директора Гусятникова, а служба моя на все руки: и приказчик я и письменных дел заправила. Краше меня, бывало, никто прошенья в приказ или письма должнику не сочинит. Дар такой во мне, ваше величество. И был послан я фабрикантом в город Астрахань для взыску по векселям одиннадцати тысяч рублей. А по получении истрачено было мною на свои мотовские нужды тысячи с три... — закончил он потупившись.

— Эге-ге! — оживился Пугачев. — Хмель-винцом шибанул да с девчонками поди?

— Был грех, ваше величество, не смею утаить...

— А бабы-то в Астрахани как, — матерые поди?

— Как на страшном Христовом суде показываю, разные бабы есть: есть и в телесах.

— Так, так, — улыбаясь, молвил Пугачев. — Ну поди водятся и сухоребрые?

— Водятся, ваше величество, и сухоребрые, — не дрогнув ни голосом, ни мускулом лица, сладкопевно повествовал начитанный, книжный Дубровский, надеясь красноречием своим повеселить государя. — Они для нашего мужеска пола, аки мед для мух. Подобно облаку небесному, зрак их легок, руки в лобзании охватисты, уста — что розов цвет, сладостью напитанный, голос аки свирель, призывающая к тихому отдохновенью. Охти мне...

Пугачев не прочь был позабавиться шутливым разговором. Похихикивая, он прыскал в горсть или, будто спохватившись, проводил ладонью по лицу от закрытого челкой лба до бороды и, подернув книзу бороду, старался напустить на себя важность. Когда Дубровский, осмелев, принялся живописать о многих астраханских грехопадениях своих, Пугачев внезапно всохотнул и замахал руками.

— Брось, брось, Лексей! Не гоже мне это слушать, — утирая рот, бороду и взмокшее лицо, строго

сказал он, помедлил мало и снова спросил: — Ну, а рыжие под Астраханью есть?

— Ох, есть, ваше величество... Всякие... И рыжие, и чернявые, и совсем чернущие, аки фрукта чернослив. Сии зовутся — персианки...

— Во! — ткнул ему в грудь Пугачев пальцем. — Слышал поди про Степана Разина, старики песни про него спевают? Вот у того Степана персианочка была пригожая... Я, слышь, тоже лажу по делам государственным на Астрахань путь принять...

— Ежели позволите мне, ваше величество, слово молвить, я бы присоветовал, скопив силу, на Москву вдарить. Отворив сию дверь, вы шагнете прямо в Питер.

— Знаю, знаю, Лексей, где раки-то зимуют, — сразу переменяя тон, нахмурился Пугачев и посмотрел в глаза Дубровского испытующе. — А ты, я гляжу, не глуп молодец. И в лице твоём хитрости не зрю. Да ты, Лексей, садись.

Дубровский торопливо подошел к соседнему с государевым окатному камню и присел. Внизу, под обрывом река Миас лениво журчала меж камней.

— Ежели дозволено будет мне, скудоумному, слово молвить, я бы сказал так: посулить бы народу великие обещания и войску, противу вас прущему, та-кожде. Насчет рекрутского набору да податей, насчет бар и прочих утеснителей...

— Все оное в указах моих прописано, Лексей. Поди читал... А вот надо иноверцам указ. Сам я хотел писать, да чего-то не клеится. Турецкому султану послал наместись грамоту по-турецки, своеручно писал, чтоб братскую подмогу оказал мне. А шведскому королю писал по-шведски, а немецкому Фредерику Второму по-немецки, ведь мы в закадычные приятели с ним подыгрывали. Бывало, пьяненькие целовались с ним: «Не плачь, говорит, Петруша, а я чую, на прародительский престол воссядешь ты как пить дать, уж я тебя не оставлю». — «Спасибо, отвечаю ему, на царском верном слове твоём, Федя». Ведь я у него, почитай, три года гостил, как Катька-то с боярами пообидела меня. — Пугачев говорил взахлеб, но не без

лукавства в глазах. — А вот сын мой, наследник Павел Петрович, дай бог, не оставляет меня, с сорокатысячным войском сюда идет, на подмогу мне, старику. Да храни его бог и божья мать! — Пугачев перекрестился, глаза его увлажнились.

Дубровский растроганно вздохнул, прижал к сердцу руку и так низко склонился, словно собирался упасть государю в ноги.

В полуверсте от них, на просторной, в редких кустарниках, долине шла потешная война: Перфильев, Чумаков, офицер Горбатов обучали ратному делу башкирцев, а заодно и вновь прибывших заводских крестьян. Были тут и те, что отстали от Пугачева в последней схватке с Михельсоном, а потом, напав на след, вновь влились в народную армию. Потрескивали ружейные выстрелы, скакали всадники — парами и общим строем, сшибаясь друг с другом и как бы пронзая один другого деревянными, вместо пик, кольями, иные на всем скаку рубили саблями чучело из соломы и с криком «урра, алла» бросались штурмовать воображаемые города, крепости.

— Ишь шумят, ишь храбрятся! Кабы на войне так-то. Это Перфильев с Горбатовым стараются, — сказал Пугачев, поглядывая на задорную войнишку. — Добре, добре, — сказал он и поднялся. Вскочил и Дубровский.

Желая укрыться от боевого шума, они пошли вдоль берега, к серо-красной обрывистой скале. Дубровский нес государев кафтан.

— Сказывай-ка про себя дале.

— А дале так. Промотал я все одиннадцать купеческих тысяч, ваше величество. Как и не бывало их... А промотав, убоился возвращаться к толстосуму Гусятникову и сочел за благо удариться в бега. Дав мзду, поплыл я на кашкурский кладной верх по Волге до городу Сызрани, оттуда прошел пешком через Казань, Кунгур, Екатеринбург, полковника Тимашева на винокуренные заводы. Здесь, каюсь, состряпал я фальшивый паспорт на имя Алексея Ивановича Дубровского, переведя на оный с просроченного своего паспорта Мценского магистрата сургучную печать.

— Мастер, значит, — подал голос Пугачев, пряча в бороду ухмылку.

— И был с тем пашпортом допущен я в контору заводскую для письменных дел, — продолжал Дубровский живо. — Не учинив никаких пакостей, а видя лишь пакости начальников и служащих, оттуда через год сбежал я на Златоустовский завод. В октябре же прошлого года был отправлен с работными людьми на медный рудник. Вот уже где хватил я поту соленого! На заводе да в руднике-то, работным человеком бывши, я все жилы надорвал. О ту самую пору приехали башкирцы с командиром Мраткой Батырем, всюду разглашая, что явился-де под Оренбургом истинный государь Петр Федорыч Третий. И со оными башкирцами отправился я под Оренбург, в Берду. С той поры неотлучен от вашей, государь, великой армии.

Пугачев, остановившись, круто повернулся к Дубровскому, в упор взглянул на него, сдвинул брови.

— Веришь ли, Лексей, что есть я истинный государь Петр Федорыч?

Дубровский сшиб щелчком букашку, ползущую по царскому кафтану, который бережно нес он, и повалился Пугачеву в ноги.

— Верю, аки в самого господя, и служить вам клянусь до самых до смерти!

Пугачев поднял его, проговорил:

— Жалую тебя главным секретарем моей коллегии и еще богатым кармазинным кафтаном с золотым позументом. Верь мне, верь, Лексей, в великих чинах будешь, как сяду на престол. В путь мой престолодержавный, народу угодный, все таперь поверили. Взять Деколонга-генерала. Шепнул я ему под Троицкой крепостью, он сразу же и повернул с сибиряками в Челябину, сидит таперь там, смирно, не рыпается. А командующий князь Щербатов, письмо получив от меня за царской печатью, такожде без шуму в Оренбурхе сидит: я-де противу государя своего воевать-де не могу. Один немчин Михельсон Фан Фаныч супротивится. А и он, долго ли, коротко ли, низринут будет... Какая да нибудь береза давно по Михельсонишке, по собаке, плачет, Ну и закачается! У меня

все вороги закачаются! — взмахивая рукой, закончил Пугачев. — Весь свет закачается! Все раскачаю и оземь грохну... На! Вот кто я есть. — Он тяжело дышал, глаза его сверкали. Дубровский разинул рот, попятился от государя. Вдруг, оглядевшись по сторонам, Пугачев тихо сказал: — А ты, Лексей, нет-нет да ухом и приклоняйся и вслушивайся, что вокруг бают... Графья-то мои да атаманы... Они тоже в присмотре нуждаются... Мало ль их вьется возле. Языком треплют ладно, а что на душе — сами пооди иной час не ведают. Ну, да я ведь крут. Я ведь в обиду не дамся...

Шли медленным шагом, обсуждали разные дела: как писать, кому направлять указы. Затем, отпустив Дубровского, Пугачев накинул на плечи кафтан, легким скоком подбежал к пасущейся на луговине незаседланной чьей-то лошади, поймал ее за гриву, мигом вспрыгнул на нее и помчался в поле на ученье.

— Здорово, детушки! Помогай бог работать!

— Здоров будь, бачка-осударь!.. Здравия желаем вашему величеству! — дружно неслоь со всех сторон.

Пугачев подъехал к хмурому Чумакову.

— Вот что, Федя. Неча на меня губы дуть. Ежели обидел, не взыши... Слышь-ка, сколь у нас пушек?

— Три, — сквозь зубы заговорил Чумаков. — Одна сбоку трещину дала, бросить доведется. Я людей на завод спосылал, обещали восемь пушек отлить.

— Где пушки?

— А эвот на пригорке.

Пересев с клячи на своего заседланного жеребца, Пугачев нахлобучил поданную шапку и подъехал к пушкарям.

— А ну, стрельцы-молодцы, как вы пушки заряжаете да наводите? Григорьев, ты, кажись, канониром себя считаешь. Эвот сосна на скале. С версту, а то с гаком будет. Ну-ка, наведи.

Расторопный, с рваными ноздрями Григорьев Федор сказал: «Слушаюсь», и стал поспешно налаживать орудие.

— Готово, батюшка.

Пугачев соскочил с коня, проверил прицел, сказал: — В небо нацелил.. Эх ты! Больно скор... Ну-ка; Митрий, ты...

Наводил Митрий, наводил Андрей Петров и многие другие. И всякий раз Пугачев поправлял их, давал прицел сам.

Засыпали пороху, вложили ядро. Пугачев старательно нацелился по дереву на скале: «Прощай, матушка-сосна, только тебя и видели», — и велел запаливать фитиль. Пушка грохнула, сосна кувырнулась в реку, от верхушки скалы пыль-каменья полетели.

— Вот как надобно, пушкари! — подморгнул Емельян Иваныч восхищенным артиллеристам и заломил шапку набекрень.

5

К вечеру рядом с юртой государя стояла юрта Военной коллегии. Там Дубровский, обливаясь от жары потом, доканчивал указы к русскому населению, к башкирцам, к мещерякам. А кончив, понес на провер царю. Над юртой развевалось государево знамя, при входе стояли вооруженные бородачи казаки. Дежурный Давилин ввел секретаря к государю. Пугачев сунул полупустую бутылку под стол. Он в свежей шелковой рубахе сидел на ковре за низеньким башкирским столиком, трапезовал. Дубровский подал указы, приметно волнуясь. Пугачев, говоря: «Давай, давай, давай», — стал внимательно рассматривать исписанные кудрявым почерком листы. Сопел, хмурил брови, то близко поднося бумагу к глазам, то отстраняя, усердно шевелил губами.

— Ах, добро... Ах, добро! — сказал он. — Знатно, красиво пишешь... Мастер... А ну, прочти сам не борзясь. Указы-то народу будут читаться во всеуслышание, да вот ладно ли? Я вроде как за народ буду, а ты чти, проверку, значит, сделаем на слух. Забирай, Лексей, в гул, да погромче, как на площади.

Дубровский поклонился, взял листы, откашлялся и басистым голосом начал:

— «Указ нашего императорского величества самодержавца всероссийского верноподданным рабам, сынам отечества, наблюдателям общего спокойствия и тишины».

— Добавь, отколь указ. Из Государственной военной, мол, коллегии, — заметил Пугачев.

— Эх, запомятовал...

— «Мы отеческим нашим милосердием и попечением жалуем всех верноподданных наших, кои помнят долг свой к нам присяги, вольностью, без всякого требования в казну подушных и прочих податей, рекрутов к набору, коими казна сама собою довольствоваться может, а войско наше из вольножелающих к службе нашей великое начисление иметь будет. Сверх того в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягчать не будет, понеже каждый восчувствует вольность и свободу».

— Ладно, — похвалил Пугачев. — Точь-в-точь как толковал я тебе. Токмо надлежало бы насчет подушных, да податей, да вольности, да рекрутского набора появственней, чтоб запомнили, чтоб сразу в башку вдарило да влипло.

— Перебелять буду, покрупней выделю сие...

— Во, во... Такожде и насчет дворянства. Пишешь, что крестьян великими-де работами да податями господишки отягчать не станут... Просто сказать бы: вешать-де дворян к чертовой бабушке, башки рубить! — Взор Пугачева засверкал. — Еще добавь, Лексей, насчет Катькиных войск, чтоб все мои верноподданные истребляли оных злодеев, аки саранчу, и себя тем злодеям в обиду не отдавали бы.

— А это дальше прописано, как вы повелеть изволили. Дозвольте огласить указ главному над мещеряками полковнику Канзафару Усаеву, как вы внушали мне утрься, когда учиняли променаду.

«Усмотрев, государь, твои прежние справедливости службы, так и ныне повелевает тебе ниже сего повеленные приказы исполнять. Во-первых, получа тебе сей указ и приложенный при сем именной манифест, во объявление несклоняющемуся народу во всех жительствовах, в которых ты склонение иметь будешь...

дабы они под скипетр его императорского величества склонялись...»

— Прибавь: «Добропорядочно».

— «...склонялись добропорядочно, который по получении всероссийского престола от всяких прежде находившихся податей...»

— Прибавь: «От бояр и завистцев несытого богатства».

— Слушаю, — Дубровский взял из-за уха гусиное перо, обмакнул в походную, привязанную к поясу медную чернильницу, вписал.

Вошел дежурный Яким Давилин.

— Творогов, ваше величество, желает твою милость видеть...

— Чего без зову лезешь? — вспылil Пугачев. — Видишь, государственными делами занимаюсь... Ну, что Творогов?

— Творогов Иван Лександрыч привел нового по-вытчика...

— Нет нового по-вытчика, пока я не поставил! — опять вспылil Пугачев. — Ну?

— Ощо привел он писчиков да толмачей, указы твои на татарскую речь поворачивать...

— Пусть торчат в Военной коллегии, зóву ждут. И с Твороговым вместях. И ты не лезь, стой за дверьми, пока не покличу. Да пушай Творогов сготовит башкирцев да русских человек с двадцать, пушай на-конь сядут да указы, да манифесты мои в ночь развезут по жителям. Чтoб стрелой летели, вмах! Слышь, Давилин, дакoсь какую тряпицу почище, рожу утереть, взопрел.

Дежурный подал ручник, Пугачев, принудив себя, сказал: «Благодарствую», — и обратился к Дубровскому:

— Ты не дивись, Лексей, что я другой раз по-мужицки толкую: рожу да взопрел. Мне ведь много лет с народом простым довелось путаться, от царского-то по-быта отвык...

Дослушав со вниманием все указы и повеления, Пугачев сказал:

— Ну, таперь, Дубровский, припечатать треба указы-то, смыслишь поди как? Смолка-то есть?

— Сургуч при мне, ваше величество, царскую печать дозвольте.

Сидя по-татарски на ковре, Пугачев вытянул правую ногу и, отвалившись назад и влево, полез в карман штанов. Вытащил полную горсть всякого добра и высыпал на низенький, по колено, столик. Тут были золотые и серебряные монеты, огниво с кремнем, сахарный леденчик, две свинцовые неправильной формы пули, волчий клык, женская подвязка с медной пряжечкой, огарок восковой свечи, какая-то медаль в прозелени, маленький, шитый бисером сафьяновый кошелек и, наконец, сердоликовая печать с княжеской короной и буквами П. Н. В. Секретарь Дубровский с удивлением и доброжелательной улыбкой глядел на этот пересыпанный хлебными крошками хлам; по-видимому, и сам Пугачев был удивлен такому в своем кармане беспорядку.

— Это зовется по-персиански шурум-бурум, — ухмыльнулся он и подал секретарю печать. — Поганенькая печатка, не хворменная, надлежит с моей императорской личностью, да вот настоящего знатца не усчастливилюсь добыть. Ты, Лексей, учнешь печати ставить, как можно слюнь печатку-то, не жалей слюней-то...

Он был в хорошем настроении, вполне довольный и Дубровским и указами. Секретарь принялся ставить печати. Пугачев, плутовато таясь, взглянул на него, вынул из шитого жемчугом кошелечка пучок волос, перехваченных маленьким колечком, легонько провел ими по щеке, понюхал и, покивав головой и вздохнув, спрятал.

— Оные власы, — сказал он Дубровскому печально и тихо, — отхвачены мной своеручно ножницами от косы супруги моей, великия государыни всея России Устиньи Первой...

— Поскольку мне ведомо, — приятным голосом заговорил Дубровский, кадая на бумагу сургуч, — великая государыня Устинья Петровна не первая, а вторая супруга ваша... Первая-то Екатерина Алексе-

евна... сколь помнится, — и, посплюнув печать, он пристукнул ею по кипящему сургучу.

— Врешь, Лексей, врешь, — прищурился Пугачев на секретаря и облизнул губы. — Катька не первая, а вторая пишется. Так и в манифестах ее поганых пропечатана: вторая. Ась?.. Не спорь, Лексей... Ведь я Катькины волосы тоже таскал в ладанке при кресте, да в Цареграде в печку швырнул. Тама-ка султан свою дочь султаночку за меня сватал. — Пугачев говорил плавно, не торопясь, не скрывая, однако, улыбочивого блеска в глазах. — А султаночка — раз взглянешь, век будешь помнить девку: поди покраше твоих астраханских присух. Тут разум мой закачался, грусть пала, тоска-кручина забрала меня. Вот втапору Катькины-то волосы я и выбросил. А с его величеством, султаном, в цене не сошлись мы. Я требовал за дочь полцарства да еще Русалимград, с гробом господним, а он, собака, сулил мне одно Черное море со всей рыбой, какая в нем есть, а сверх того ни хрена. Тут я его величеству, турецкой образине, и плюнул в бороду. Ась?

Дубровский прыснул, затем откинул кудрявую голову и, боясь неудовольствия государева, но не в силах сдержаться, громко засмеялся. Захохотал и Пугачев.

Наступили густые сумерки, в юрте серело. Зажгли фонарь.

— Слышь-ка, Лексей, пошарь-ка, пожалуй, эвот в той суме, бутыл там, давай опрокинем по чарочке. Пьешь?

— Грешен, ваше величество, как на Страшном Христовом суде показываю, ваше величество, пью. И пью, и лью, и в литавры бью...

— О-о, весельчак ты... А я вот не пил бы, не ел, все на милую глядел... Эхма!.. Давай, что ли, за Устинью! (Он поднял над головой чару.) Здравствуй, великая государыня, Устинья Петровна! Пей... (Выпили.) А я вот все сохну и сохну по ней, по ее величеству... Ась? (Дубровский стрельнул глазами в румяное, щекастое лицо Пугачева и, мысленно ухмыляясь, подумал: «Оно и видать... Сохнешь, как

в омуте рыба-сом».) Сохну и сохну. А ни хрена не поделаешь, у меня Россия на руках, несусветная война, а у ней что? Кончил, Лексей? Благодарствую. Ступай в Военную коллегия, пушай писчики строчат копии проворней, чтоб в ночь указы были разосланы... Головой отвечаешь!.. Вся коллегия головой отвечает! — крикнул он изменившимся, властным голосом. — Да послать сюда Творогова!

На указы и воззвания Пугачева народ откликнулся с готовностью: башкирцы и заводское население восстали как один человек.

Начался в Уфимской губернии разгром заводов: Вознесенского, Верхотурского, Богоявленского, Архангельского, Катавского и других. Хозяева или управляющие, спасаясь бегством, сидя в городах, еще не охваченных восстанием, просили у главнокомандующего князя Щербатова быстрой помощи. Князь Щербатов резонно отвечал, что не может на каждый завод поставить воинский отряд и что если заводы разоряются, то в этом более всего повинны сами заводчики, ибо «жестокость заводчиков со своими крестьянами возбудила их ненависть против господ».

По дорогам, по горным тропам стали прибывать к Емельяну Пугачеву толпы заводских крестьян; с проклятьем побросав свои немилые деревни, они бежали сюда с семьями. Были доставлены две пушки, свинец, порох, ружья.

Пугачев «скоплялся» в долине реки Миаса восемь суток. Под его знамена собралось ополчение более чем в две тысячи душ.

А военачальники правительственных отрядов потеряли и самый след его.

Покидая свои семьи, бросая родные места, народ сознательно обрекал себя на всякие лишения, на голод, болезни, пытки и даже смерть. Народ ничего не страшился, им руководило единое желание — поскорей сыскать вождя, хотя бы атамана, старшину либо государева полковника, всего же лучше самого батюшку Петра Федорыча, мужицкого заступника.

Меж тем на реке Миасе вожди мешеряков и башкирцев — Рахмангула Иртуганов, Кинзя Арсланов и другие — вели с Пугачевым переговоры.

— Когда ж твоя царства будет? — зывали они. — Бьемся, бьемся, а толку нет. Уфа, да Казань, да Москва брать надо, на царство залазить надо, а то мы спокинем тебя! — кричал Иртуганов. — Жизнь своя всяк собак жалеет, мы помним, какой казня был нам при государыне Лизавет. Ты тоже нас в беду хочешь бросить? Ты вскочил на-конь, да и был таков, а мы оставайся.

Сидели в юрте государя. Пугачев был мрачен. «Опять зачинается непокорство, как и там, в Берде», — горько раздумывал он.

— Детушки, верные. мои мешеряки и башкирцы, — заговорил он уветливым голосом. — Послушайте, что скажу... Поддержите меня таперича. Наш бог да ваш бог аллах авось помогут мне одолеть врагов и воссесть на прародительский престол все-российский. Тогда утру вам слезы и возвеличу вас.

Иртуганова он пожаловал в генералы, другого старшину — в бригадиры, а человек пять произвел в полковники.

ГЛАВА VI

Путь-дорога. Пред лицом царя

1

Наконец-то купец Долгополов добрался до Казани. Здесь проведал, что бунтовщики стоят в Берде, под Оренбургом. А другие толковали, что самозванец у Троицкой крепости.

Долгополов немедля пошел на толчок, купил там разные интересные вещички: шляпу с золотым позументом, красные козловые сапоги форсистые, еще кой-что, нанял надежного провожатого Гаврилу (кузнец и крашенину красил) и, помолившись усердно

Казанской богородице, выехал на Оренбургскую дорогу.

Гаврила поругивал Пугачева, говорил, что он самозванный вор, — послушай-ка, мол, что про него, злодея, казанский архиепископ Вениамин в бумагах пишет... Тогда Долгополов разоткровенничался, сказал:

— По правде-то, я не сына еду искать, как тебе сказывал, а этого злодея. Я покойного государя знавал, он мне за овес должен остался сот семь, поболее... Ежели оный злодей доподлинный государь, спрошу долг, а ежели нет, назовусь купцом, — так, полагаю, вешать меня будет не за что...

К вечеру встретили запряженную четверней карету. В карете старый барин с седыми усищами трубку курит, рядом с ним старуха в чепце, на запятках лакей. А сзади — обоз, на пятнадцати подводах барское добро везут. На переднем возу девка с двумя кошками.

— Откудова, куда? Кто такие? — не утерпел Долгополов.

— Барин Зотов, секунд-майор в отставке, в Казань перебирается, — ответил с воза рыжий мужик.

— А пошто в Казань?

— Животы спасаем. Лихо у нас. — И мужик махнул рукой в сторону Оренбурга.

Долгополов переглянулся с кузнецом Гаврилой, вздохнул, прочел про себя «умную» молитву. По дороге — гонцы взад-вперед на взмыленных лошаденках, надетая через плечо кожаная, с медными бляхами сумка бьет по бедру.

— Дорогу, дорогу! — кричат они.

Попадались в кибитках — во весь мах — офицеры, трусцой пылили на двуколках сельские попики в пояровых, порыжевших от времени шляпах грибом. Вышагивали, подоткнув подолы, странницы по святым местам. Плелись слепцы, калеки, нищелюды.

В татарской деревне Долгополов нанял возницей татарина. Поехали дальше. Стали встречаться кучками человек по полсотне и больше пешие русские

мужики, башкирцы, татары. Вид их необычен: загорелые, обросшие волосами, в лохмотьях, с топорами, пиками, дубинами.

— Откудова бог несет, братцы?

— Из-под Берды, — отвечали Долгополову. — Царя-батюшку злодеи осилили там, с малым войском в горы батюшка ушел, а мы по домам вот разбредаемся... Отвоевались!

— С чем же воевали-то? У вас и оружия-то нет.

— Ха, с чем!.. С кулаками!.. По тому по самому наших там густо полегло. Кои в плен забраны, кои побиты... Прямо тысячи... А мы утекли.

— Что ж, виниться будете? — спросил кузнец Гаврила.

— Пошто виниться... Мы за правду стояли, за землю, за вольности... Нам так и так пропадать.

— Супротив кого же, православные, воюете вы? — улыбаясь, спросил Долгополов.

Его телегу окружили. Высокий широкогрудый старик сказал гулким басом:

— Мирских супротивников много, мил человек... Господ будем щупать да начальников. Вся Русь вскорости возьметса полымем, уж поверь. Либо наш верх содеется, либо миру окончание наступит.

Долгополов тронулся вперед. Из толпы закричали:

— Эй, проезжающий! А что, солдатишек не чутко там?

— Нет, — ответил кузнец, — шагайте смело.

Вскоре попалась путникам ватага арестованных крестьян, человек в сорок. Все они связаны общей длинной веревкой, идут в две вожжи, непокрытые головы наполовину выбриты, руки скручены назад, в глазах хмури и злоба.

— Куда, солдатики, гоните? — спросил Долгополов.

— В Казань, в секретную комиссию, — неохотно пробурчали конвойные.

— В чем проштрафилесь?

— За царя-батюшку постоять хотели, родимый, вот и казнимся, — с надрывом прокричал тоненьким голосом широкобородый дядя.

На третьи сутки, поздним вечером, путники увидели, как горит в версте от дороги барский дом со службами. Со всех сторон на подводах и вскачь мчались к пожарищу мужики соседних деревень, весело перебрасывались докрасна раскаленными словами:

— Зачинается и у нас хвиль-метель!.. Ха-ха!

— Четвертое поместье на сей неделе пластает.

— Ой, и лихо ж будет барам!

Долгополов с Гаврилой решили остановиться в большом селе Мазине, недельку отдохнуть, переждать тревожное время. Поселились у старого попа — отца Нила. Поп жил, как мужик, грязно, с клопами, с тараканами, ходил в лаптях, в холщовых портках и рубахе, а сверху — ветхая ряса из домотканой крашенины. Церковную землю обрабатывал сам-друг с поповичем, возил навоз, пахал, сеял, косил траву. Гаврила помогал отцу Нилу. Долгополов слонялся без дела, высматривал, вынюхивал, чем пахнет сегодняшняя жизнь. Повадился он к старому пасечнику Прову, на речке возле леса пчел держал, сорок колодок барских да пять своих. Даст купец деду копейку или две, а тот ему меду в угощенье.

— Пчела ныне медиста, — говорит согбенный дедка Пров, — гляди, господь-батюшка цветов-то што насеял да уродил.

Разведут костер, Долгополов щепоть чайку принесет, попотчует деда невиданной травкой. Дед доволен: с медом, да при речке, да за разговорами целый котелок опорожнят с гостем.

К деду частенько хаживали крестьяне. Как-то под вечер собралось десятка полтора молодых и старых мужиков, среди них беглый солдат, бывший в лагере Пугачева, и еще барский конюх-парень, — он накануне по приказу управляющего был выдран. Появилось вино. Дед речист. Подвыпив, стал небылицы говорить.

— Доподлинно это Петр Федорыч, своего прародительского добивается престола. Уж так, ребятушки, уж так, — шамкал Пров; лицо и лысый череп кры-

лись потом. — Пешешествовал он по всему своему государству в тайности, разведывал обиды да отягощения мужикам от бар. И желал он еще три года не объявляться, что жив, а токмо не смог стерпеть: уж больно в шибкой пагубе простой люд живет. Он теперича, наш надежа-государь, многими городами завладел, на Москву для покорения сто полков отправил, а под Кунгур собственный его полковник Белобородов двадцать полков ведет. Два завода государь в степу построил, белый да черный порох вырабатывать чтобы... Белый порох, сказывают, шибко палит, а огоньку не дает ни на эстолько...

— Враки... это... как его... Уж я в точности ведаю, враки, дедка, — перебил беглый солдат-пугачевец; левая рука его подрублена под пазухой саблей, на перевязи; он лежал у костра, курил трубку, поплеывая в огонь. — Белого пороху вовсе нет, дедка, а черный, это... как его... есть. Много. И пушки есть. Пушек без счета. У Ново-Троицкой крепости они в шесть ярусов понатырканы. А зовется тая крепость Петербургом, а Чабаркуль — Москвой.

Пасечник Пров озлился на беглого солдата, зафырчал:

— Есть белый порох, есть! Мне верные люди сказывали, тоже самовидцы... И еще сказывали: приехали-де в Оренбург его высочество наследник Павел Петрович с супругой Натальей Алексеевной и сам граф Захарий Чернышев с ними. Ну, знамо, и главный командующий, генерал-аншеф Бибииков Александра Ильич, прикатил. Да как съехался Бибииков с государем, да как увидел точную его персону, зело устранился. Вовсе это не Пугачев Емелька, как в питерских манихвестах врут, а сам государь Петр Федорыч перед ним. Что делать, как быть? Тут Бибииков глотнул из пуговицы лютого зелья, крикнул: «Прости меня, дурака, ваше величество!» — и умер. Вот как было дело-то... А ты баешь, служба, белого пороху нет... Есть белый порох! Эй, ребята! Давайте-ка винца чуток.

Мужики не знали, кому верить: сухорукому солдату или Прову, однако они ловили каждое слово

с упоением, поощрительно перемигиваясь друг с другом, с охотой поддакивали и Прову и солдату, — они в душе верили им обоим.

— Хоша белого пороху на свете и нет, — упрямо сказал солдат, с раздражением посмотрев на старика, — иначе, это... как его... Одначе ты, дедка...

— Не может тому статься, — оборвал солдата подвыпивший Долгополов, — чтобы сам Павел Петрович с супругой прибыл из Петербурга. В газетине печатали бы, гонцы бы скакали, скороходы, скомо-рохи... Я из Москвы недавно, в известности был бы об этом самом.

— Ну вот, толкуй, кто откуль, — недовольно перебил купца пасечник Пров. — А я-то знаю доподлинно. Нашему мельнику отписывал про это Гаврило Ситников, служитель Юговского завода, он ныне при армии государя в атаманах ходит. Ему ли уж не знать!

— Да уж это так, — поддержали деда со всех сторон. — Мимо нас беглые то и дело сигают: кто к царю в войско, кто от царя... Много верных толков идет в народ... Ну и приврут когда, уж без того слово не молвится, а все ж таки...

— Да и каждому разуместь можно, — опять начал пасечник Пров, — ежели б то был не подлинный государь, давно бы царица против него полки прислала... А где они, полки-то? Пришлют роты две-три, и те без вести пропадут...

— Ну, а кто ж царя под Бердой-то разбил? — прищурился на старика Долгополов. — Мне повстречались давеча мужики в дороге из его армии, сказывали.

— Врут мужики твои, либо ты врешь! — закричали на Долгополова. — А мы все с часу на час ждем, чтоб быть за государем. Хоша Катерине Алексеевне присягу и принимали, токмо не от чистого сердца, а поневоле. Раз она бабского званья, так пушай бабы и служат ей.

Разговоры велись до глубокого вечера. Вот и заря угасла, пчелы спать легли, перекрякивались утки в

камышах, потянуло из лесочка смолистым запахом. Выпито компанией изрядно. Конюх Гараська, что вчера выпорот на конюшне был, слетал к целовальнику за водкой. Долгополов на это дело три гривенника дал. Гулянка продолжалась. Костер жарко потрескивал. Гараська плакал, бил себя в грудь, скрежетал зубами:

— Вот токмо пусть, токмо пусть государь придет али гонец евоный, кишки управителю выпущу... Не трог мужиков!

— А помещика-то, барина своего, будешь вешать? — глядя на его буйство, хохотал народ.

— Пошто?! — крикнул Гараська и перестал плакать. — Барин у нас добрецкий, худа от него нет никому... Да и наезжает к нам редко...

— Это все едино, — шумели мужики. — Худ ли, хорош ли, а вешать неминуемо. От царя-батюшки указ: дави!..

Пьяный солдат совался у костра носом, приплясывал, падал на землю, шумел:

— При государыне Анне Ивановне служил! А вот теперя батюшке Петру Федорычу этого... как его... довелось служить... мирскому печальнику. Он до простого люда жалостлив!..

— Эка штука — Анна Ивановна твоя, — перебил его дед Пахом. — Я при самом Петре Перьвом службу нес, да и то молчу, — кряхтел старик, стараясь приподняться с четверенек. — Он, царь-отец, может, своею ручью дубинкой меня на смотру вдоль спины огрел... Да и то молчу... Он крут был, покойничек... А белый порох есть. Без полыма палит... Есть белый порох, есть!..

Пьяный Долгополов шел домой один.

— Ур-ра царю Петру Федорычу!.. Ур-ра!! — не помня себя, вопил он.

Тут на него наехал всадник, нагайка с визгом опоясала его вдоль спины, он сверзился под изгородь в крапиву и потерял сознание. Как сквозь сон чувствовал: волокут его за ноги по земле и накладывают взашиворот.

Ранним утром Долгополов сидел в поповской избе против офицера и трясся как в лихорадке. Все вчерашнее вылетело из головы, в мыслях мелькало: «Фальшивый вексель, фальшивый вексель, купец Серебряков погоню из Москвы послал... Пропал я...» У печки седовласый поп в лаптях трубку курит, на пол поплевывает, взглянет исподлобья на купца — улыбнется, взглянет на офицера — нахмурит брови. Попович курицу щиплет, матушка блины печет. А в церковной ограде восемь под седлами коней пасутся, солдаты врастяжку на траве лежат.

Начался допрос с острасткой, то есть с поднесением офицерского кулака к бороденке Долгополова и с угрозой выбить зубы, на что Долгополов смиренным голосом отвечивал: мол, зубы у него давно выбиты, а что касасемо векселя...

— Какого векселя?.. Отвечай на вопросы, мерзкий дурак! Мне возиться некогда с тобой.

Долгополов тотчас смекнул, что дело тут не в векселе, — значит, все слава богу, из остального всего можно как-нито выкрутиться... Паспорт есть, денежки в штанах. Он сразу взбодрился. Стал показывать, что он ржевский купец Остафий Трифоныч Долгополов, стал густо врать, что у него во Ржеве две мельницы, фабрика канатная, на три раствора лавка с красными товарами; он при дворе бывал, овес для царских конюшен доставляет, саму матушку государыню, ее императорское величество, Екатерину Алексеевну не единожды видывал. А ищет Долгополов распутного сына своего Ваську... он, наглец, с красным товаром в орду поехал, да, надо полагать, и товар и деньги пропил... Ах, как наказан он сыном от господ!

Узнав о богатстве Долгополова и просмотрев дорожную его, офицер тотчас изменил свое отношение к нему:

— Вот что, господин купец... Поелику пред законом ее величества все равны, то я вас, в силу долга и присяги, обязан привлечь за ваши крамольные вчерашние кличи... Кому вы кричали «ура»?

— Не помню-с. Зело пьян был, васкородие. В забвении-с..., Хоть убейте, ей-ей, ничего не помню-с. Окромья сего, не угодно ли в картишки со мной, васкородие, на золотце?

Офицер был умягчен питательным обедом, крепкой выпивкой и золотой игрой. В игре офицеру дьявольски везло. Долгополов от подозрения был освобожден; офицер перепорол на соседнем селе восемь человек да двух поджигателей повесил, в селе же Мазине, где квартировал купец, наказал розгами двенадцать крестьян и увез с собой закованного в кандалы солдата-пугачевца.

По отъезде офицера с карательным отрядом отец Нил перекрестился, взял Долгополова за плечи, сказал:

— Ну, чадо Остафие, возблагодарим господа, еже избавил еси тя...

Оба встали на колени и кланялись в землю с усердием.

На другой день Долгополов заторопился ехать дальше. Кузнец Гаврила в ночь от него сбежал, — сказывают, поймал в поле барского коня и махом утек в Уфу, будто бы в стан самого Емельяна Пугачева.

Долгополов двинулся с верным татаринном Махметом. Стали попадаться частые пугачевские разъезды. Татарин присоветовал сказывать встречным, что едут-де они к государю. Долгополов так и делал. Поэтому обиды от пугачевцев путникам не было. Из разговоров татар да башкирцев Долгополов примечал, что были те к Пугачеву весьма усердны.

— Царь-бачка на реке Миас пошла, оттуль побегит крепости брать, воевод крошить. Красноуфимск заберет да Осу. Оттуль на Казань...

— Ну, а что, — любопытствовал Долгополов, — дворян-то много извел царь-батюшка?

— У-у-у... Борони бог! — защуриваясь, причмокивая, взмахивали татары руками. — Бульно много. Что дворян, что офицеров...

— Ну, а купцов не вешает?

— Нет, — сказал татарин,

— Ну, слава богу. Я купец.

— Купцам он — секим башка! — Татарин, ударив ребром ладони себе по шее, вытаращил глаза на купца.

Долгополов съежился, испуганно передохнул.

В селе Яныч Долгополова окружили мещеряки и татары: «Куда едешь? Пошто едешь?»

— А еду я к великому государю Петру Федорычу искать приказчика... С товаром поехал, без вести пропал. Пущай государь по своей великой милости сыск учинит подлецу.

Бывший тут «походный мещерятский полковник», мулла Канзафар Усаев, увидя в телеге Долгополова туго набитую кису, строго спросил его:

— Куда едешь? Какой дела? Какой прикащик? Чего врешь?..

Он вытащил кинжал, раскосыми глазами стал рассматривать клинок, стал щупать на ноготь лезвие.

Долгополов оробел, подумал: «Влопался, никак. Кажись, бунтовской начальник?» И, запинаясь, ответил:

— Я везу государю подарок из Питера.

— А ну, кажи! — еще строже приказал видный, дородный Канзафар и посверкал кинжалом.

Долгополов нехотя развязал кису.

— Карош подарок, шибко карош, — проговорил Канзафар.

Он был очень подозрителен и решил сопроводить купца до царской ставки. Приняли путь к городу Осе. Разъезды попадались еще чаще, но путников никто теперь не останавливал.

На другой день Канзафар стал настойчиво приставать к купцу, от кого он везет подарки государю. Долгополов сначала мялся, потом, не колеблясь, объявил, что едет он с дарами от великого князя цесаревича Павла Петровича. Жирное скуластое лицо Канзафара растеклось в сладостную улыбку. Прикряхтывая, он зачастил: «Якши, якши, якши!» И послал сына своего предупредить государя о радостном известии.

Через три дня Долгополов прибыл в войско. Пугачев стоял в сорока верстах от Осы. Сын Канзафара Усаева, присланный своим отцом, успел прискакать сюда еще вчерашний день. Весть о гонце наследника престола стала известна многим.

Долгополов был позван к Пугачеву. С немалым трепетом он подходил к царской палатке: вот сейчас увидит государя императора, бритого, напудренного, в буклях, в треуголке, в высоких тугих ботфортах. Но, войдя к царю, он остолбенел, едва не крикнул: перед ним сидел на ковре, поджав по-татарски ноги, чернобородый дядя в шелковом халате, лицо крепкое, румяное, с загаром, темные глаза, выпуклые, быстрые, почти весь лоб закрыт в кружок подрубленными, наперед зачесанными волосами. Все же Долгополов низко поклонился.

— Здорово, дедушка, — ответил Пугачев. В палатке никого больше не было. — Что за человек, откуда прибыл, к кому и зачем? — спросил Пугачев негромко, усталым голосом.

— Я ржевский купец Остафий Долгополов, прибыл к вашему величеству с подарками от великого князя, наследника Павла Петровича.

— Гм, — промычал Пугачев, и под его усами мелькнула едва приметная улыбка. — От наследника, говоришь?

— Так точно, ваше величество... Павел Петрович приказал вам кланяться и вот подарочки шлет. — И Долгополов, развязав черную козловую кису, вышитую мишурой, стал подавать дары: шапку с золотым позументом, сапоги красные, отороченные серебром и мишурою, перчатки замшевые, шитые шелком.

— Благодарствую, — сказал Пугачев, — и тебе и Павлу Петровичу! Ну, каков он, все ли благополучно?

— Он молодец хороший, ваше величество. На немецкой принцессе изволил обвенчаться.

— Как звать принцессу?

— Наталья Алексеевна... У меня и от нее есть вашему величеству подарок — два многой цены стоящие камня. — И, пристав на колени, Долгополов подал государю два самоцветных камушка: восточного хрустала сердечко и четырехугольный желтоватый.

Взяв на ладонь, Пугачев любовался ими, лизнул один, сунул оба в карман, за пазуху.

— Гм, — крепко сказал Пугачев и сдвинул брови.

По спине Долгополова забегали мурашки. Запнясь и отвешивая низкие поклоны, он зашамкал:

— А я служил при вашем величестве и ставил овес для лошадок ваших в Ранбове. Я сразу узнал вас... Вы были еще великим князем тогда, и за пятьсот четвертей мне контора не заплатила.

— Ага! Помню, помню тебя... Знаю и то, что должен тебе.

— А я теперича в несчастье, ваше величество, дорогой-то ограбили меня.

— Молись богу, старче, вот разбогатею, все уплачу, да сверх того и награду примешь.

Надо полагать, Пугачев сразу понял, что перед ним плут и проходимец. Он лихо посмеивался в бороду, шурил глаз, побрякивал.

Долгополов в свою очередь понимал, что бородастый казак, прикинувшийся императором, ни капельки ему, Долгополову, не верит, только ловко прикидывается, что верит.

Вслушиваясь, как сдержанно шумит и топчется за палаткой народ, Пугачев что-то про себя решил. Он похлопал в ладоши. Вошел Яким Васильич Давилин. Пугачев приказал приподнять полы палатки и, увидав стоявших сзади казаков: атамана Овчинникова, Перфильева, Творогова, Канзафара Усаева, Илчигула, Чумакова и других, велел им войти в палатку.

— Садитесь на чем стоите, господа, — шутливо сказал он.

Все сели на ковер плечо в плечо.

— Вот, прислушайтесь, господа генералы, и вы, атаманы... Сей день бог великую радость послал мне, — и Пугачев, указав на Долгополова, спросил его: — Ты с чем, дедушка, прислан? Говори!

— А прислал меня, ваше величество, наследник Павел Петрович. «Поезжай немедля, говорит, посмотри хорошень, доподлинно ли то родитель мой, да вертайся, говорит, обратно с отповедью».

— Узнал ли ты меня? — ликующим голосом воскликнул Пугачев и вскинул голову.

— Как не узнать! — захлебнувшись восторгом, воскликнул и Долгополов. — Вы в Санкт-Петербурге жаловали меня, ваше величество, вот этим самым зипуном и шапкою... — Купец дернул за лацкан у своего купленного в Казани на барахолке коричневого зипуна, тронул бархатную с мерлушчатым околышем шапку и убежденно сказал собравшимся: — Вы, господа великие начальники, не сумлевайтесь: есть он доподлинный император Петр Федорыч, уж я точно знаю, много раз в Питере видывал их особу.

Пугачев показал старшинам подарки, затем сказал хмуро:

— Сделайте народу объявление с сей радости нашей. И пускай прочь расходятся, каждый по своему месту.

Все вместе с Долгополовым ушли. Остался один Перфильев. Полы палатки опустились. Корявый Перфильев, крутя ус, проговорил:

— Сдается мне, не высмотрень ли это подосланный... Помнишь, государь, как граф Орлов подослал меня схватить? Надо глаз да глаз за ним!

— Нетути, — молвил Пугачев рассеянно, — этот человек верный! Он в Ранбове у меня бывал.

— Ну, как хошь... Тебе с горы виднее, — грубовато сказал Перфильев.

Свидание и весь разговор государя с Долгополовым облетел за ночь все войско. Большинство уверилось, что старик прибыл послом от цесаревича — стало быть, царь-батюшка есть воистину Петр Федорыч Третий, не для ча и мозги ломать.

И были среди яицких казаков, старшин и есаулов такие, кои в другой раз приступили к Пугачеву:

— Веди нас, ваше величество, на Москву! Непокорных князьев да графьев мы переловим, а простой

люд за тебя весь горою! И наследник престола там с войском... И все прочие близкие твои!

Пугачев не очень-то надеялся на «близких» своих в Москве и отвечал людям с хитринкою:

— Время, время, детушки, не пришло еще мне! Яблочко созреет, само упадет... Вот втапору и царь-колокол подыдем и из царь-пушки пальнем по супротивнице моей Катьке... Расходись, молодцы, с богом по местам. Сам ведаю, когда нам милостью божией на Москву идти.

ГЛАВА VII

На берегах реки Камы

1

Оса стояла в трех верстах от Камы, на главном Казанском тракте. С падением Осы мятежникам открывался свободный путь на Казань. Узнав, что к Осе приближаются толпы пугачевцев, казанский губернатор фон Брандт забил тревогу.

В распоряжении губернатора военной силы было слишком мало. Он послал гонца в Сарапул с приказом находившемуся там майору Скрипицыну немедля выступить со своим отрядом на выручку Осы.

По дороге Скрипицын присоединил к себе отряд капитана Смирнова, а также воинскую команду Рождественского завода; всего скопилось двести солдат и сто вооруженных крестьян. С этой горсткой бойцов Скрипицын 18 июня пробился без потерь в крепость. Всего защитников Осы было тысяча человек, при тринадцати пушках.

Едва успел майор Скрипицын осмотреться и принять общее командование, как к пригороду подступил сам Пугачев. Он расположился станом в трех верстах от Осы и послал в крепость приказ: «Сдавайтесь на милость». Ответа он не получил и велел расседлывать коней, идти на штурм.

Пригород Оса имел тесную крепостцу: вал, деревянные стены с башнями, за стенами жались друг к другу Успенская церковь, канцелярия, воеводский дом и склады.

Дозорные увидели движение в стане пугачевцев. В пригороде поднялся переполох: женщины, старики, чиновный люд ломались в крепость спасти животы свои. Майор Скрипицын, воевода Пироговский и унтер-шихтмейстер Яковлев всячески ободряли жителей. Капитан Смирнов даже вышел с отрядом из крепости, чтобы отбросить башкирские толпы. С крепостных батарей открыли огонь картечью, осажденные стреляли из бойниц по врагу без умолку, лили с навесов горячую смолу, скидывали бревна, швырялись камнями. Однако Смирнов был сломлен, бежал за стены, часть его людей ушла в стан мятежников.

Пугачев наблюдал штурм издалека. У него только три пушки, одну пушку разорвало. Он не хотел зря терять людей, приказал дать отбой, чтоб назавтра увеличить штурмующие силы и сразу раздавить Осу.

Яицкие казаки кучкою гарцевали вокруг крепости, кричали:

— Сдавайтесь, сдавайтесь! С нами сам батюшка Петр Федорыч...

Пугачев со старшинами ехал берегом Камы, хозяйским глазом осматривал течение реки, выбирал место для переправы войск, чтобы в скором времени двинуться дальше, к Казани. Дорога плоха, шла на горным лесистым берегом, в логах она спускалась в мочжины, мосты через речушки ветхи.

— Наумыч, — обратился Пугачев к ехавшему рядом колченогому атаману Белобородову. — Пошли ты по деревням, пушай мужики день и ночь мосты ладят, в топах гати мостят, дороги ровнят.

Возле деревни Пристаничной, пониже острова, ватага рыбаков бродила у берега с сетью. Увидав на горе всадников, рыбаки приостановились, защищаясь ладонями от солнца, задрали вверх бороды.

— Здорово, детушки! — крикнул Пугачев и стал со свитой спускаться к воде; с откоса посыпался песок и галька. — Ну, как рыба, ловится?

Голоногие, без порток, рыбаки, спешно подтянув сеть, вылезли на берег, подолы посконных рубах у них взмокли. Дед прищурил на гостей белесые глаза, сказал:

— Рыба ничего, рыбы довольно живет в нашей реке. А вы кто такие?

Белобородов, улыбаясь глазами, пробасил:

— Нешто не видишь, старый хрен? Вот — государь наш, — и кивнул головой на Пугачева.

Государь был в обшитом позументами шелковом бешмете, в высокой мерлушковой шапке, за зеленым кушаком у него два пистолета, вдоль бедра сабля, в руке подзорная труба. Черный рослый конь плясал под ним. Разинув рты, вся ватага бросилась, как встрепанная, надевать портки. Приведя себя в порядок, народ повалился в ноги Пугачеву.

— Встаньте, детушки, не страшитесь: я защита ваша!

Четырехлеток Фомка, стоявший у куста в драной рубашонке, — в прореху большой синеватый пуп торчал, — увидел, как мужики пали на колени, вдруг заорал блажью: «Ой! Ой! Ой!»

— Брось выть, пошто кричишь? — сказал Пугачев. — Заедку, малец, хочешь? Скусная заедка... Держи! — и бросил примолкшему Фомке розовый пряник.

— Кланяйся, сукин сын, — строжились повеселевшие крестьяне. — Скажи: спасибо, надежа-осударь!

— П-а-си-ибо, — хрипло протянул Фомка и, тоже повеселев, принялся грызть подарок.

— Пошто, пузан, плакал? Испугался, что ли? — опять проговорил Пугачев, улыбаясь на мальчонку.

— Спужа-а-а-лся, — пыхтел, усердно жуя, Фомка. — Думал: ба-а-рин... мужиков драть бу-ди-и-шь...

Все засмеялись — всадники и рыбаки. А Фомка еще сильнее запыхтел, из левой ноздри его выскочил пузырь.

— Откуда будете, крещеные? — спросил Пугачев крестьян.

— Кои из Пристаничной, кои из Зубачевки, а вот мы с Назарием, два старика, государственные, твоей милости, крестьяне села Дубровы, уж прости нас, дураков, твое царское величество...

Пугачев попросил крестьян указать удобное место переправы; два старика вскарабкались на запасных лошадей, и все двинулись вперед. Дорогой Пугачев расспрашивал стариков про помещиков, про тяготы... А знают ли крестьяне, что он, великий царь, жалует их землей, и вольностью, и честью? Старики радостно поддакивали, кивали головами, утирали кулаками слезы.

Обласканные, взволнованные, они наперебой рассказывали государю про свое житье-бытье. Народишко зашевелился в ихнем месте еще в прошлом году о рождестве. Прикатил к ним напыхом отряд башкирцев, коней в пятьсот. Набольший указ вычитывал, что царь Петр Федорыч жив и стоит-де силою под Оренбургом. Мужики враз поверили, и набольший приказал слать выборных крестьян под Уфу, к графу Чернышеву, с объявлением о своей государю покорности.

— Как нам было сказано, мы так и порешили. А нынешним годом о масленице нагрянул к нам твоей царской милости атаман Носков с шайкой, и наказал он нам быть сторожками от набегов казенных отрядов солдатских, велел расставить бекеты, караул держать. Опосля того наехал Федор Шмотин со своей шайкой, велел делать по селам заборы из жердя с двух сторон, чтобы солдатишкам препону положить. И был в его команде Воткинского завода мастеровой Тимофей, по прозвищу Коза...

— Знаю, знаю Козу. Изрядный мастер.

— Во-во! — оживились старики. — Сделал тот человек деревянную пушку, не хуже чугунной. И краской выкрасил. А первого апреля, как сейчас помним, подошла к нашему селу казенная команда смуту прекращать: «Пли да пли!» Тимофей Коза из деревянной пушки два раза и ахнул. С ружей палили, камнем швырялись. Одначе команда казенная верх взяла, вломилась в село, многих наших порубила и село огню предала. Мы в бег ударились, а кой-кого заграбастали

да в Казань на расправу увели... Вот, твое царское величество, как дела-от у нас вершились.

Пугачев слушал со вниманием, то вздыхал, то покрикивал: «Ой, черти, ой, черти!» Потом сказал:

— Казань возьму, всем верным моим крестьянам, что в тюрьме маются, свободу дарую. А на место их, в тюрьму-то, врагов наших упрячу!

Место переправы выбрано было против Рождественского завода. Завод стоял на том берегу, за сосновым бором, попыхивал дымом и копотью.

— Белобородов! — крикнул Пугачев и насупил брови. Тот быстро сдернул шапку с черной головы. — Скажи Дубровскому, пушай писчики экстренные приказы пишут моим именем, чтоб все деревни оповещены были: на сем месте плоты ладить, лодки да челны гуртовать, баржи гнать сюды со всех местов. Все оно повершить в трое суток!

Казачи спешились, воткнули в песок пики, прислонили к кустам самопалы, чтобы разводить костер. Ординарец, казак Ермилка, поскакал к рыбакам за котлом и рыбой.

День ясный, теплый, на душе у Пугачева хорошо. У него опять большая армия, и народ все прибывает к нему. Он знал, что Оса завтра же будет взята, путь на Казань свободен: Михельсонишка где-то закрутился в горах, отстал, князя Долгоруковы да Щербатов сидят в Оренбурге с солдатишками, Деколонг в Челябине... Самый раз дело творить.

2

Перестрелка продолжалась. Казачи возле стен горланили:

— Ежели не верите, что истинный государь, посылайте к нам знатеца, пусть дознается!

После обеда того же дня пойманный башкирец показал: у царя-де восемь тысяч войска, много пушек, вдосталь пороху. Население шибко приуныло. Воевода собрал народ в крепость, все начальство появилось на паперти Успенской церкви.

— Пригород наш окружен со всех сторон, — говорил воевода, — помощи ждать неоткуда. Вот, решайте. А мое слово — биться до последа.

Народ разделился на два лагеря. Одни настаивали, что надо защищаться против вора, другие — что надо сложить оружие: Пугачев не вор, а истинный царь Петр III. Страсти крепли. Попахивало дракой.

Тут вышел из толпы отставной сержант гвардии Анцыферов. Старый, с торчащими, как у кота, усами, с седой косой, лежавшей на спине, он был в ветхом мундире, подпирался палкой с завитком, семеня мелкими шажками.

— Его величества покойного государя Петра Федорыча я самовидцем был. Я у его величества на карауле стаивал. Дозвольте во вражий стан сходить, дознаться!

Тогда написали на имя Пугачева предложение, сунули записку в зеленого стекла штоф и, как подъехали к стене яицкие казаки, силач-целовальник Михайло Калач швырнул в них этим штофом:

— Лови!

Царский стан в трех верстах, на берегу Камы. Когда прочли Пугачеву бумажку, сказал он:

— Ага, смотрины! Ладно... Седлай коня под хрыча-сержанта. Пускай едет сюды.

После обеда он был навеселе, приказал адъютанту скликать в круг сотни две казаков, созвать старшин, сотников, есаулов, хорунжих.

— Вот, детушки, — сказал, посмеиваясь, Пугачев. — Сейчас смотрины мне будут, вдругорядь удостоверитесь, что есть я истинный царь Петр Федорыч Третий. Ну-кося, детушки, дайте мне казацкую одежду, коя погаже, оболокусь в нее, пускай по обличью узнает.

Одетый простым казаком, Пугачев вышел из палатки, спросил:

— Что, не приехал еще?

— Едет.

— Двадцать казаков-молодцов становись в ряд. Я в середке стану двадцать первым.

Шеренга бородатых казаков построилась. Гвардии сержант Анцыферов, сухопарый, высокий и согбенный, в застегнутом на все пуговицы мундире, с тремя медалями и в напудренном парике, подведен был к кучке старшин. Указав на шеренгу, главный атаман и походный полковник Белобородов сказал ему:

— Вот, старичок служивый, посередь этих казаков его императорское величество изволит упомещаться. Присмотрись и узнай владыку своего. Он нарочно облик простого казака принял, без обману чтоб...

Гвардии сержант кивнул головой, покашлял, пожевал губами, ссутулился и, подпираясь палкой, мелкими шажками подсеменял к живой шеренге. Солнце било ему в оловянно-блеклые, обморщиненные глаза. Он прикрыл их, как козырьком, ладонью, прищурился, подался корпусом вперед и, пристально всматриваясь в лицо и фигуру каждого казака, не спеша прошел весь строй. В конце сам себе скомандовал: «Кругом! Ать-два», — и круто повернулся. Его от дряхлости качнуло в сторону.

Вдруг взгляд его столкнулся с хмурым взором Пугачева. Старик враз остановился, его как бы толкнул кто назад и вбок, для устойчивости он растопырил ноги, уперся палкой в землю и выпучил глаза.

— Что, гвардии сержант, узнаешь ли меня? — властно, громко, чтоб все слышали, спросил старого служаку Пугачев и тяжело задышал, нахмурил брови.

— А господь тебя ведает, — зашамкал тот. — Ежели истинно ты ампирактор, так дивно помоложе втапоры был и... бритый. А теперича в бороде вон.

Все присутствующие, сразу оробев, водили взглядом от Пугачева к старику. Стоявший тут любопытства ради Остафий Долгополов приоткрыл рот и, шевеля ноздрями, обнюхивал воздух, как лисица. Пугачев еще строже насупился, еще шумнее задышал.

— Смотри, дед, лучше! Узнавай, коли помнишь меня.

Народ затаил дыхание. Задние приподымались на цыпочки, чтоб лучше видеть. Всяк понимал, что, ежели сержант не угадает, будет немедленно капут ему. Понимал, надо быть, и старик это. Но не страх, а

глубокое раздумье было на лице его. Сугорбясь и покашливая, подошел он вплотную к Пугачеву и, прищурившись, пристально, как в зеркало, вглядывался в прихмуренное лицо его. Сделалась глубокая кругом тишина. И вдруг негромко, так, что Пугачев едва слышал его, негромко, но строго старик спросил:

— С Катериной-то, царицей-то, как? Уймешь, да рядком и сядешь, нам на погибель... Ась?..

Голова сержанта тряслась, он пуще сощурил глаза, наморщил нос, — кошачьи усы его встопорщились. Враз ухватив все, что сказал и не досказал старик, Пугачев одну руку опустил ему на плечо, другую вскинул в сторону бугорка, где, темнея в голубизне небесной, стояла виселица-глаголица:

— Видишь? Это ей со дворянством, Катьке моей, гостинец... Чуешь ли меня, старче?

— Чую... Чую... ваше... величество! — гаркнул внезапно старый сержант, отступил на шаг и — руки по швам — замер, как в строю.

— Значит, признаешь, друже? — поднял Пугачев голос и выгнул глазами.

— Признаю, ваше величество!

Вся толпа вдруг разрядилась дружным выдохом, все заулыбались. Пугачев неторопливо стирал с побелевшего лица пот. Затем он шагнул к старику и крикнул ему в рот, как глухому:

— В таком разе иди к своим да толкуй, чтоб не противились мне, государю вашему, а я уж позабочусь о всех!..

Воевода Ф. П. Пироговский, тот, что был в гостях у Зарубина-Чики в Чесноковке, еще майор Скрипичин, духовенство и народ, бывший в Успенской церкви, набросились на возвратившегося сержанта: ну что, ну как, похож ли?

— Ежели по волосам да по глазам, быдто он и не он, — ответил сержант, — а по слову своему правильному — царь и есть... Полагаю я, старый, так: неча нам кровь своевольно лить, покоряться нам амператору без бою!..

После минутного молчания майор Скрипицын, потупив глаза в землю, сказал:

— У нас весьма мало патронов, да и пороху. И силы наши ничтожны. Мое мнение — пока не поздно, сложить оружие.

— Как же это можно?! — сверкая глазами, воинственно проговорил шихтмейстер Яковлев. — За сдачу без боя государыня не похвалит нас.

— Государыня не похвалит, зато государь скажет спасибо! — с горячностью выкрикнул низенький быстроглазый подпоручик Федор Минеев.

Все головы разом повернулись к нему. Воевода застучал в пол шпагой. Начальник гарнизона майор Скрипицын вскочил, закричал:

— Арестовать, арестовать мальчишку! Вы, подпоручик, какого же государя в виду имеете?

— Петра Федорыча, вот какого! — неожиданно прогудел вместо Минеева тучный, красноносый протопоп. Он поднял обе руки и, потрясая ими, гулко говорил: — Сон видел аз, грешный. Сама богородица явилась, рекла: понудь, протопоп, возлюбленный народ мой — да преклонятся Петру, восставшему супротив жены прелюбодейные...

— Сдаваться, сдаваться! — громкогласно поддержали протопопа в толпе.

Народ опять пришел в волнение. Начальство растерялось. Арестованный офицер Минеев передал шпагу Скрипицыну и был уведен солдатами на гауптвахту. Воевода тянул бесновавшегося протопопа за ясу:

— Опомнись, отец Панфил.

Тот вырывался, тряс кулаками, вопил:

— Оставь, куда тянешь!.. Сон видел я. Богородица...

— Сдаваться, сдаваться! — орал народ.

Майор Скрипицын и капитан Смирнов, чтоб положить конец шумной распре, сказали:

— Давайте нам срок, будем за всех обсуждение иметь, как быть.

День клонился к вечеру. Над лесами, за Камою, поднялись туманы.

У царской палатки, называемой башкирцами кибиткой, стояли со знаменем часовые и группа спешенных казаков с пиками, на пиках разноцветные флажки. Сам Пугачев со старшинами и дежурным Давилиным ожидали в палатке, какой ответ даст Оса, обсуждали план штурма. Пугачев был в цветном платье — кафтан в позументах, на груди звезда, сапоги красного сафьяна.

— Я полагаю, — говорил Белобородов, — надобно навить десятка два возов сена, да соломы, да бересты и двигать их фрунтом к крепости, а за ними казаки да люди наши. А как придвинем ближе, зажжем и в штурм ударим... Я таким побытом взял Уткинский завод.

Неожиданно ввели гвардии сержанта. Пугачев подбоченился. Увидав его, старик пал на колени.

— Ваше ампираторское величество! Как есть вы царь-государь, народу богоданный, об одном докладываю вам: выжди время, крепость твоя будет.

Пугачев милостиво протянул ему руку. Сержант зажмурился и облобызал пахнущую чесноком и бариной рукой государя.

— Давилин! Поднеси-ка старикану вина. Пей, гвардии сержант! (Старик выпил изрядный стакашек крепчайшей водки и закашлял.) Пей еще! Редко гостишь у меня...

— Какое редко! Докучаю ежечась... Урра-а-а! — завопил сержант и выпил вторую чару, вслед третью, забодал головой, стал отфыркиваться, как конь в воде.

— Ну, гвардии сержант, таперь езжай обратно вспять. Толкуй офицерам, чтоб ворота отворяли да с честью встречали меня. Да мотри — с коня не ляпнись, как поедешь: вино дюже забористо, сам наследник в дар мне дослал его.

Старик стал от трех чарок багровым, едва взобрался на коня и обратной дорогой ехал в великой радости. Вез его губастый казак Ермилка, сидели они верхом двое на одном коне: впереди казак, сзади, крепко обхватив казака под мышки и припав к его спине, трясся сержант. Треуголку и палку с завит-

ком он потерял, седая коса моталась по спине, как маятник. Закрыв глаза, он сплевывал, что-то бормотал, потом задудил по-стариковски жалостливую песню:

Ах вы, бедные головушки солдатские,
Как ни днем, ни ночью вам покою нет.
Что со вечера солдатам приказ отдан был.
Со полуночи солдаты ружья чистили.
Ко белу свету солдаты во строю стоят...

В крепость вели его под руки. Он кричал:

— Господа офицеры! Полно, не противься... Нис-
послан нам подлинный царь-государь Петр Федо-
рыч... Урра-а-а!..

Однако и весь следующий день прошел у осажден-
ных в совещаниях: сдаваться или нет? Пугачев выжи-
дал. Но вот, 20 июня, поутру, не получив ответа, пу-
гачевцы стали приближаться к пригороду. Впереди
двигалась вереница возов с горючим. Из крепости
прогремело несколько пушечных выстрелов, башкир-
цы в ответ пустили из луков рой каленых стрел. Войдя
в пригород, лошадей выпрягли, возы подталкивались
людьми, за возами шло войско с горящими факелами.
Опасаясь пожара, жители кричали с крепостных стен:

— Стой! стой! Дайте нам сроку до завтрашня дня,
без драки сдадимся.

Наступление приостановилось.

8

Ранним утром 21-го ворота крепости распахнулись.
Войска с воеводой Пироговским и прочими офице-
рами, а также духовенство и вся масса горожан при
колокольном звоне вышли из пригорода с крестным
ходом, с хлебом-солью. Обезоруженные солдаты, рас-
пустив по плечам длинные волосы, уныло шли с бое-
вым знаменем.

Вдали показался со свитой Пугачев.

Огромная толпа, предшествуемая духовенством,
вразногласицу пела: «Спаси, господи, люди твоя».
Гвардии сержант Анцыферов нес перед собой запре-
стольный слюдяной фонарь с зажженной свечой; каш-

ляя и посовываясь носом, он тоже подпевал за толпой дребезжащим старческим баском: «Побе-еды благоверному императору нашему Петру Фео-о-доровичу на супротивныя твоя да-а-руяй!» А шедшая впереди старушонка, забыв наставление попов, по старинке верещала фистулой: «Благоверной государыне нашей Катерине Алексе-е-евне...» Сержант крикнул: «Дура!» — и, поддав ей коленом «киселя», надсадно и зычно, чтобы все слышали, запел: «Императору нашему Петру Федоровичу...»

— На колени, братцы! Шапки долой! — раздались голоса.

Все стали на колени. Тучный, в золотых ризах, протопоп с крестом и евангелием в руках опустился возле воеводы, прямо в пыль.

Тихим шагом подъехал Пугачев, взглянул хмуро на лежавшую у ног своих толпу. Под взором его жители сникли, многих прохватила дрожь; в страхе ждали, каким судом осудит их грозный царь.

Только ребяташки бесстрашно столпились возле нарядного всадника. Две собачонки, побольше и поменьше, яростно обливали царского коня. Проворный казак Ермилка ловко поддел на пику лохматую дворнягу и швырнул через плечо, а ребят разогнал, помахивая плеткой.

Начальник гарнизона, майор Скрипицын, униженный и растерявшийся, скомандовал преклонить знамя. Пугачев милостиво взглянул на майора, громко проговорил:

— Бог и государь прощают тебя. Ежели будешь верно служить мне, награждение примешь... Белобородов! Шпагу не отымать у его. Что касася остальных офицеров — отнять!

Пугачев слез с коня, приложился ко кресту и приказал — солдат и жителей привести к присяге, воинскую команду отправить в лагерь, солдат остричь в кружальце, одеть по-казацки, в крепости забрать все ружья, порох, пушки, а крепость сжечь.

В этот миг тарарахнул с крепостной стены пушечный выстрел. За ним — другой... Картечь трижды метко стегнула по толпе. Начался переполох, крики:

«Измена!» Старый сержант бросил фонарь в пыль, со стоном свалился. Вместе с ним упало с десятков жителей Осы. Сидевший на коне Остафий Долгополов, ахнув, пронесся прочь, сослепу налетел на всем скаку на всадника башкирца, перемахнул через голову своего коня и ляпнулся в кусты.

Пугачев вскочил в седло, насупил брови, обернулся к своим, махнул рукой. Башкирцы и казаки бросились к крепости. Унтер-шихтмейстер Яковлев, а с ним два престарелых солдата, отказавшиеся пойти на поклон к «злодею», были захвачены на крепостной стене, у дымящихся пушек. Их тут же подняли на пики.

Крепость запылала в трех местах. Начался вольный грабеж пригорода.

Вернувшись в ставку, Пугачев произвел майора Скрипицына в полковники.

— Ведомо мне, что ты стоял за сдачу крепости без бою. Из твоих солдат я, божией милостью, делаю Казанский полк. Ты будешь командиром.

Бывший тут подпоручик Минеев, завидуя внезапному возвышению Скрипицына, мстительно посверкал глазами на своего обидчика.

Наутро были собраны яицкие казаки с башкирскими старшинами. Пугачев объявил им:

— Ну, детушки! Получил я с нарочным от наследника, от сына своего, великого князя Павла Петровича, богатые дары с письмом. Назначает он мне свиданье на Волге. Многое множество войск у него. А посему мы, божией милостью, решили сегодня же выступить во город во Казань со всем воинством своим верным.

Под вечер, когда крепость вместе с церковью догорала, забили барабаны, затрещали трещотки, с гиком рыскали по стану вестовые, — пугачевцы выступили походом вдоль реки.

Ни офицерам, ни даже Скрипицыну верховых лошадей не дали, их рассадили по отдельным повозкам, за ними негласный учинили надзор. Погода стояла отличная. Скрипицын верст пять прошел пешком. Он видел, что у вольницы мало дисциплины: башкирские толпы слабо вооружены и плохо обучены, у мужиков

рогатины, топоры да вилы, дороги убойные, в походе полная неразбериха, тыл брошен на произвол судьбы, лишь пугачевское имущество да свитские «дамы» в карете воеводы и сам Пугачев сопровождаются сильным отрядом яицких удалцов казаков. Скрипицын пред походом приметил, как выгоняли нагайками пьяных бражников из оврагов, из кустов, как вышибали днища у бочонков с вином, — крики, перебранка, гвалт... Нет, какое же к черту войско это! С таким войском долго не нагуляешь.

Сердце Скрипицына сжималось. Да, прав был воевода Пироговский: Оса могла продержаться некоторое время, а там подоспел бы Михельсон. И вечная память офицеру Яковлеву.

— Где полковник Скрипицын? Эй, где полковник Скрипицын? — Продираясь через встречные толпы, ехал ординарец Пугачева, губастый казак Ермилка, в поводе у него незаседланный конь.

— Здесь я. Что надо?

— Господин полковник! — подъехал к Скрипицыну Ермилка, широкая рожа его растеклась в улыбке. — Его величество приказал вас сыскать, все ли вы в добром здоровье, и пушай, говорит, на-конь сядет да со свитой вместях едет.

Скрипицын с неохотой залез в седло и поехал с казакон подле дороги, лесом. Казак спросил:

— Ну, глянется ли вам здесь?

Скрипицын посмотрел в хитрые глаза Ермилки, подумал: «Подослан, черт... выпытывает», — и ответил:

— Порядку маловато. Я государю служить стану верой, правдой и, ежели дозволено будет, порядок наведу.

Ермилке понравился ответ, он был искренно рад, что в их войске, слава богу, имеется теперь всамделишный вояка-полковник. Курносый Ермилка утер ладонью рот, опять заулыбался, хвастливо сказал:

— Ха! Да это ж мы просто переезжаем, тут всячинки с начинкой. А вот вы уже на деле поглядите нас... Мы на драку лютые!..

Впереди во много глоток заорали:

— Стой! Стой!

Скрипицын вымахнул из леса и поскакал вперед. На круто спускавшейся дороге — треск, грохот, черная ругань, лошадиный визг. Многочисленные кони, впряженные в тяжелые орудия, карьером мчались с кручи, сшибали друг друга, путались в постромках. Пушки на резком повороте одна за другой кувыркали под скалистый обрыв, увлекая за собой лошадей.

— Стой! Держи коней! Тормози! Руби постромки! — что есть силы закричал Скрипицын.

Люди лавой бросились напересек остальным, мчавшимся с горы орудиям и, не щадя себя, кой-как остановили лошадей. Пять человек затоптано тут было на смерть, с десятков изувечено. А под откосом — вверх колесами четыре чугунных пушки и мортира. Две лошади раздавлены, многие с перебитыми ногами, с распоротыми животами жалобно стонали, повизгивали. Их пристрелили. Скрипицын созвал своих людей, и под его умелой командой пушки волоком потащили вдоль реки к низменному берегу. Прискакал второй ординарец:

— Чего стряслось? Пошто стреляли?

— А вот, гляди! Коней покорябали.

Узнав от ординарца о случившемся, Пугачев нахмурился, повернул жеребца, хотел сам наводить порядок, однако передумал.

— Кто вожатый? Подать сюда вожатого, — приказал он, а красотке Василисе пригрозил нагайкой за то, что не вовремя при всем народе по-нахальному подмигнула ему из экипажа.

В той же карете с красотками торчал на облучке Остафий Долгополов. Видом был он несчастен и жалок: ссутулился, шею втянул в плечи, голову обмотал тряпицами, уши и левую ноздрю заткнул куделью, дабы в мозги не проникла дорожная пылица. Голосом умирающего он повествовал свитским девкам, как ранен был под Осой двумя картечинами, из коих одна ударила ему в грудь и, как черт, отскочила от святого нательного креста, другая прошибла череп и благополучно вылетела вон. Дамы, подпрыгивая, хохотали, били в ладоши.

— Ах, какой вы, папаша, веселенький!..

Сзади кареты, на поповских дрогах — колокольчик под дугой — двигалась семья атамана Белобородова: жена Ненила и малые девчонки — Авдотья с Марфочкой. Белобородов вывез их из родного села Богородского. Жена недавно прислала в стан гонца, велела сказать мужу: «Пущай забирает нас к себе: жили вместе и умирать будем вместе». Девчонки с любопытством посматривали вокруг, сосали леденцы, царь-батюшка подарил им целое лукошко сладостей, а Марфочке — цветистый полушалок.

Впереди отряд казаков высокими голосами, под удары тулумбаса, заливисто пел боевую песню. А с противоположного берега плыли поперек реки в челнах, в лодках и на саликах сотни крестьян. Сняв войлочные шляпы и поднявшись дыбом, они кричали:

— Эй, надежа-государь! Прими нас, отец! Эй, где ты, кормилец?..

Привстав на стременах, Пугачев махал им шапкой:

— Здорово, детушки. Я здесь! Ладьте к берегу. Айда за мной.

Емельян Иваныч сразу повеселел, и когда рыжебородый вожатый подъехал к нему с повинной (голову вниз, без шапки, губы селятся что-то сказать — не могут), Пугачев только и всего, что огрел его крест-накрест нагайкой да сквозь зубы прошипел:

— Прочь с глаз моих!

Вожатый, виновник катастрофы, поеживаясь, нахлобучил шапку и нырнул в толпу. А Пугачев обернулся к Скрипицыну. Тот подъехал, взял под козырек.

— Вольно, полковник! — скомандовал Пугачев. Ехали они рядом, голова в голову. — Спасибо мое царское тебе, полковник, что стараешься. Доложили мне, что пушки, кои под гору дураки мои кувырнули, поднял ты и опять на колеса поставил. Спасибо, спасибо!

— Рад стараться, — глухим голосом, без всякого подобострастия, ответил Скрипицын.

Ночевали в лесу, на берегу Камы, вблизи Рождественского завода. Приплыла из-за реки заводская депутация (расходчик Иван Кондюрин да четверо ра-

бочих), поклонились пудом сотового меду: рабочие ждут, мол, царя-батюшку к себе в гости.

Ночь была светлая, теплая. От леса шел хвойный дух. Рыбаки старались наловить к царскому столу рыбы. Всюду костры, шорохи, выкрики, звяки. Ржали, всхрапывали кони, жировали на сочной лесной траве. Пятнадцать пушек сгружены в одно место, задернуты дерюгами. Возле пушек часовые, чуть подальше — палатка начальника артиллерии Федора Чумакова. Бледная северная ночь опоила блаженным сном всю пугачевскую вольницу. Тишина. Высланные во все стороны дозоры охраняли людской покой.

Вновь произведенный полковник Скрипицын, несколько часов тому назад присягнувший Пугачеву, лежал под сосной на войлочном потнике, глядел в небо. На его сухощавом скуластом лице выражение крайней подавленности. Да, ему не до сна теперь. Он — предатель, он — клятвопреступник, он не воин, не защитник российского престола, попросту — подлец. На глазах у него злобные слезы, зубы скоргочут, как во сне у болящего глистами. Да, да, надо отыскать своих... Он вскакивает, озирается по сторонам.

— Господин майор, — слышит он негромкий, но внятный окрик.

Он передергивает плечами, придерживая шпагу, и, пригибаясь, идет на голос, садится рядом с капитаном Смирновым, тут же молодой офицер Бахман. Скрипицын говорит:

— Давайте ляжемте, будет удобнее и не столь заметно. Хорошо, что вы близко. А не знаете, где Пироговский и Минеев?

— Я здесь, — выдвигается из полумглы низенький сутуловатый подпоручик. — Здравствуйте, господин полковник, — говорит он.

— Простите, Минеев, я не полковник, а майор.

— Но вы же сегодня произведены...

— Бросьте, Минеев! Вы на меня все еще сердитесь, да? Простите, пожалуйста. Сами понимаете, долг службы, а вы тогда, в крепости, при всем народе:

Петр Федорович — царь. Теперь сами видите, какой он царь. Ложитесь, Минеев, потолкуем.

— Да я змей тутошних боюсь, я постою.

— Чего ж бояться змей? — озлобленно, как бы издеваясь над собою, говорит Скрипицын. — Мы сами змеи...

— Да, змеи. Однако можем и орлами стать... От нас зависит, — двусмысленно говорит Минеев и садится.

Вздрагивающим голосом Скрипицын дает оценку того положения, в которое они все по малодушию своему попали.

— Исхода нет. Мы погибли, — безнадежно шепчет он.

Томительное молчание. Капитан Смирнов сказал:

— Есть два выхода: бежать или пулю в лоб...

— Тсс... потише, — предостерегает его Скрипицын. Вблизи проехал дозор из трех казаков. — Ха, бежать! Разве не видите? Нас караулят. Да и куда? В Осе пугачевский отряд, а в лесу, в степи да всюду, всюду рыщут башкирцы и восставшие смерды...

— Мне сдается, — зашептал Смирнов, — Михельсон вот-вот нагонит Пугачева и расколотит его впрах. Куда мы, изменники, денемся? Ну, куда?

— Нет, господа, — привстав и опираясь рукой о землю, с взволнованной решимостью сказал Скрипицын. — До такого позора нам не дожить. Совесть замучит. Да лучше башкой о камень...

У подпоручика Минеева на бритых губах чуть приметная улыбка.

— А выход есть, — тенорком проговорил молодой Бахман и тоже приподнялся. — Надо написать казанскому губернатору... Так, мол, и так... Предупредить об опасности...

— А знаете? — ткнув офицера в плечо, вскричал Скрипицын и тотчас зажал себе ладонью рот. — А знаете, Бахман, я тоже об этом думал, ей-богу, клянусь вам, — возбужденно шептал Скрипицын. — Значит, решено? А я сумею собрать своих солдат в кучу, и, когда начнется бой, мы ударим пугачевцам в тыл. Так и напишем губернатору...

— Да, но с кем и как послать? — уныло спросил капитан Смирнов, вздохнул и задвигал морщинами на лбу.

— Ну, об этом не сомневайтесь, — сказал Скрипицын. — Этим письмом, буде оно дойдет до губернатора, мы облегчим свою вину.

— Хм, — хмыкнул подпоручик Минеев и нервно потянулся, кости в суставах хрустнули. — Напрасно, господа, делаете себе иллюзию. Какие бы письма мы ни выдумывали, как бы кулаками себя в грудь ни били, все равно все мы будем преданы суду. И, поверьте, пощады нам не будет...

— Следовательно? — посунулись все к Минееву и шумно задышали.

— Вывод из сего предоставляю сделать вам самим. — Голос Минеева вздрагивал, в глазах неприязненный блеск.

— Пулю в лоб? Бежать?

— Нет, — ответил Минеев.

— Ну, так что же, говорите.

Вести спор и раздумывать было некогда. Обстановка требовала действий. Да к тому же и Минеев от прямого ответа уклонился.

Рапорт губернатору Брандту составили короткий, «с приложением к оному двух его, Пугачева, злодейских, о приклонении к нему народа, указов». Рапорт подписали майор Скрипицын, капитан Смирнов, подпоручик Бахман.

4

Следующим утром пугачевцы двинулись в путь. Из-за реки, с лесных дорог, с боков, навстречу продолжали валить толпы конных и пеших мужиков, спрашивали встречных-поперечных:

— Где царь-батюшка? Мы, братцы, к вам... Господ своих порешили под метелку. Вот, всей гурьбой. Послужить желательно... Веди к царю, указывай! Челом бьем.

Так множилась вольная мужицкая рать Емельяна Пугачева.

К обеду войско подтянулось к переправе.

У берега красовались чисто струганные «коломежки», плоты, лодки, великое множество челнов, весь берег у Рождественской пристани кишмя кишел ожидавшими государя крестьянами. Горели костры, варилось в котлах пиво. Много раскинутых холщовых палаток. Бабы, девки, ребятишки, распряженные телеги с лесом поднятых оглобель.

Пугачев к народу не спустился. С высокого взлобка он осматривал в подзорную трубу всю переправу (опорой для трубы служило плечо низкорослого подпоручика Минеева), сказал:

— Кажись, дивно хорошо, посудин много и погодые задалось доброе... Ну, наперед поснедать надо, а уж после того... Эй, стряпухи, накрывай скатерти в холодке, на травке под сосной... — Пугачев был весел, скреб обеими пятернями густоволосую, давно не мытую голову. На взлобке они — вдвоем с Минеевым. — Ну как, ваше благородие, служишь?

— Служу, ваше величество, — стукнув каблук о каблук, вытянулся Минеев.

— Служи, брат, служи, ништо... Бывало, как на престоле сидел, многих вот таких молодчиков, как ты, в чин производил. А иным часом на другого и притопнешь и оплеуху дашь... Служи, брат, служи. Ась?

— Я завсегда верой и правдой, — козырнул Минеев; глаза его вдруг заискрились решимостью, губы стали кривиться. — И дерзну доложить вам... одну неприятность... с полковником Скрипицыным...

— Царская палатка готова! — под самое ухо Пугачева заорал подбежавший верзила-казак в бараньей шапке. — Так что пуховики взбиты, мамзели нарумянились, рыбаки живых налимов принесли...

Вздвогнув от громоносного крика, Пугачев сердито отмахнулся:

— Пошел! — и, нахмутив брови, глянул в смущенные глаза Минеева. — Ну-ну, толкуй, какая еще там неприятность?

Минеев оглянулся, поближе подступил к Пугачеву и тихо, с волнением, забормотал:

— Государственная измена, ваше величество. Скрипицын, Смирнов и третий, немчик, написали казанскому губернатору поносное письмо с изветом на вас, ваше величество.

Пугачев прищурил правый глаз и зло погрозил Минееву искривленным пальцем:

— Ну, смотри, офицер: Скрипицын люб мне, и в военном деле он знатец, к тому же старается... Ежели на Скрипицына ты облыжно показал, — вот эту елку видишь? На ней и закачаешься... Я Скрипицыну, полковнику моему, верю.

— Верьте мне, государь. Я вам пригожусь. Я всю Казань, как свои пять пальцев... Имею свои соображения, как быстро взять ее. И вообще...

— Ты богат поди? Деревни поди есть? Сердце поди ноет, что царь дворян зорит?.. А как вас, супротивников, миловать-то?

— Из бедных я, государь, ни деревень у меня, ни денег... Мне терять нечего... Я из самого низкого, убогого шляхетства.

Пугачев быстро ушел в палатку. «А что, ежели Скрипицын уничтожил письмо или успел его отправить? Ведь он шушукался с целовальником и с голицынским приказчиком». Минеева бросало в жар и в холод. «Что сделал, что сделал я! — мысленно повторял он, прикрыв лицо ладонью и бессильно повесив голову. Он чувствовал, как ноги его начинают трястись, сердце сжимается. — Но ведь я же обдумал все, я же сознательно. Это не мальчишеский порыв, а так и надо было».

И, как молния, вломилась в душу дерзость, разгоряченную голову охватил азарт игры в жизнь и смерть...

— К черту! Держись, Минеев Федька! — с задором выкрикнул он. — Либо в герои, либо на виселицу.

...Трех оговоренных офицеров нашли не вдруг. Их привели под конвоем. Пугачев кончал с атаманами под сосной обед. Стол был прост: тертая редька с квасом, налимя уха, гречневая с медом каша. Вдовица Василиса в венке из полевых цветов шелковым платочком обмахивала ему взмокшее лицо.

Было очень жарко, душно, от земли подымалась испарина. Пугачев восседал на пуховых подушках; он в беспоясой, мокрой от пота, желтой рубаше с расстегнутым воротом, в широких штанах.

Офицеры со связанными назад руками стояли возле. Молоденький Бахман дрожал. Полуплешивая голова капитана Смирнова поникла на грудь, безжизненными глазами смотрел он в землю; землявся в хвоях, мураши бегают, рогатый жук ползет. Майор Скрипицын как бы не в себе, белобрысые брови его нахмурены, покрасневшие от бессонницы глаза смело и ненавистно глядят в лицо Пугачева.

От места переправы сбегались крестьяне на любопытное зрелище. Яицкие казаки кольцом окружили царскую ставку, никого не пропускают. Дежурный Давилин передал Пугачеву отобранный у Скрипицына пакет с двумя манифестами. Емельян Иванович послунил пальцы, развернул письмо, приготовился читать. Рядом сидевший с ним Чумаков шепнул ему: «Вверх ногами держишь». Пугачев перевернул письмо, нахмурился и, водя взглядом по строкам, стал шевелить губами. Затем ткнул Чумакова локтем, сказал ему:

— Да-а, зело похабно написано. Измена... — и крикнул: — Секретарь! Дубровский! Где ты? Читай само громко.

Алексей Дубровский, в новой казацкой одежде, с подобострастием принял бумагу из царских рук и начал внятно вычитывать.

— Так-так-так, — протянул Пугачев, — хорошо, сукины дети, пишут, складно! Все, что ли? Та-а-к... Подпоручика Минеева сюда!

— Я здесь, ваше величество, — выдвинулся вперед Минеев.

Он дрожал всем телом, был бледен как мертвец.

— Жалую тебя, подпоручик Минеев, чином подполковника. Дубровский, слышишь? Чтоб моя Военная коллегия написала о сем именной указ. — Затем Пугачев наскоро отер подолом рубахи пот с лица и обратился к связанным: — Что ж, сволочи, в ступе вас, змей ползучих, истолочь али живьем изжарить?

(У Смирнова вдруг ослабли ноги, он как-то боком повалился на колени, побелел.) Ну, Скрипицын, полковник мой, недолго же ты послужил мне. А ведь я тебя и в князья мог произвесть... — Голос Пугачева, как это ни странно, звучал теперь мягко, глаза подобрали. Минеев неприятно поежился, а Белобородов с Перфильевым поняли, что недаром атаманы за обедом втолковывали царю, что Скрипицын — полковник дельный, опытный, что он может принести еще им большую пользу. Да и сам Пугачев не особенно-то обескуражен был обнаруженным письмом: хоть сто писем посылай губернатору, все равно Казань будет взята. — Ах, Скрипицын, Скрипицын, — сожалительно качал Пугачев головой. — Ведь мне доведется лишить тебя полковничьего чина. Уж не взыщи... И как ты мог умыслить этакое против государя своего! Ась?

— Какой ты мне государь! — громко сказал Скрипицын.

Пугачев в изумлении открыл рот, выпучил глаза, откинулся спиной к сосне.

А Белобородов в досаде махнул рукой, буркнул: «Пропал, дурак», — и отвернулся.

— Ты вор и обманщик, — возвысил Скрипицын голос. — Ты преступник государственный. Ты...

— Замолчи! — Пугачев вскочил, весь затрясся, швырнул в Скрипицына горшком с кашей, подушкой, жбаном.

Скрипицын плюнул в него и закричал:

— Солдаты, казаки, мужики! Чего смотрите на врага государыни?! Вяжите его!

Пугачев в бешенстве выхватил из-за пояса Чумакова нож, кинулся к Скрипицыну, чтоб поразить его, но тот ловко ударил Пугачева ногой в живот. Скрипицына сгребли в охапку. Пугачев бросил нож, лицо его стало багровым, он закричал резким, как свист стрелы, визгом:

— Вздернуть! Вздернуть! Немедля вздернуть!

Мужики прорвали цепь, хлынули к связанным, чтоб растерзать их. Казаки оцетинили пики, гнали толпу прочь. Беспоясый, босоногий Пугачев, едва

дыша от приступа ярости, спешил в свою палатку. Никто еще не видал мужицкого царя в таком исступлении.

Скрипицын, Смирнов и Бахман повешены были на двух тихих соснах-близнецах. По указанию Минеева были схвачены приказчик Ключников и целовальник. Минеев обвинил их в знании и сокрытии предательского умысла Скрипицына. Вешали их обоих на березе.

Вновь прилепившиеся к пугачевцам крестьяне, видя впервые, как вешают людей, испуганно похихатывали.

А дед Агафон, пришедший с народом из села Сайгатки, чтоб пристать к воинству батюшки-царя, пожалел казненных, перекрестился, прошептал: «Упокой, господи, их душеньки», взмотнул бородой и плаксиво сморщился.

— За что же это их, сердешных? — утирая слезы, спросил он пробежавшего мимо казака.

— За шею, дед, за шею! Что, жалко господ-то?

— А чего их жалеть, — испугался Агафон и замолчал.

Казак запустил руку в правый карман штанов, вытащил горстку медных денег, запустил руку в левый карман, вытащил алую ленточку.

— На, старинушка. Поди внучка есть алибо сноха молодая?.. Видел ли государя-то нашего?

— Нет, не видал. А к чему мне его видеть-то? Царь и царь...

Он поблагодарил казака, закинул за плечо кошель и потащился по лесной тропке в обратную дорогу.

На следующий день, чем свет, войско стало переправляться через Каму. Все обошлось благополучно. Утонуло лишь несколько лошадей, две негодных пушки да человек десять пьяных мужиков.

Переправой артиллерии руководил сам Емельян Иваныч. Отъезжая от берега в дальний путь, он в последний раз взглянул на сосны, где смирнехонько висели казненные им офицеры. Взглянул и тяжело вздохнул.

ГЛАВА VIII

«Как во городе было во Казани»

1

Как только было получено губернатором Брандтом известие о падении Осы, Казань, с усиленным рвением принялась готовиться к самообороне.

Вскоре прибыл из Петербурга начальник следственной комиссии Павел Потемкин, вызванный из действующей армии Румянцева и только что произведенный в генерал-майоры.

Мот, форсун, картежник, он с полной уверенностью ждал подачки от высочайшего двора, чтоб хотя отчасти погасить висевшие на нем долги. Да, ему во что бы то ни стало надо выслужиться перед императрицей, завоевать себе ее милостивое расположение. Не старый, очень высокий и тощий, лицо круглое, серые, слегка раскосые глаза с наглинкой. Он приехал сюда повелевать, он готов считать себя выше главнокомандующего, он утрет нос всем этим незадачливым воякам, разным Фрейманам, Деколонгам и Щербатовым, он Павел Потемкин, троюродный брат «великого» Потемкина, он всем, всему миру покажет, как надо сокрушить набеглого царя Емельку Пугачева с его «каторжной сволочью». Потемкин со всеми обращался надменно, он любил пускать пыль в глаза, похвалялся своей храбростью и тем, что он наторелый знаток военного искусства. Прочих же военачальников, в том числе и губернатора, он считал бездарью, бездельниками и трусами. «Мне бы только грудь с грудью с Пугачевым встретиться!» — в открытую бахвалился он.

А между тем распорядительный губернатор Брандт при помощи генерала Ларионова принял всевозможные меры к защите города. Но беда его заключалась в том, что средств к обороне было слишком недостаточно. Город располагал всего-навсего семьюстами человек регулярной команды, дальнейшая защита зависела от числа и доблести вооруженных жителей.

Тогдашняя Казань, расположенная между речками Казанкой и Булаком, состояла главным образом из деревянных строений. Она делилась на три части: крепость, город, слободы. Кремль, или крепость, был в состоянии полуразрушенном, он стоял на берегу Казанки и тянулся вдоль Булака, образуя собою замкнутый многоугольник общей длиной около двух верст. В нем помещался Спасский монастырь, над стенами высилась старинная башня Сумбеки, татарской ханши. На восток от кремля раскинулся город с каменным гостиним двором, женским монастырем, многочисленными храмами, мечетями и немногими каменными домами именитого купечества, помещиков, крупных чиновников.

Далее стояли слободы, составлявшие предместья города. На берегу озера Кабана — слобода Архангельская, влево от нее — Суконная, здесь шла дорога на Оренбург. К Суконной слободе примыкало огромное Арское поле, в западной части его — загородный губернаторский дом, кирпичные заводы и роща; здесь пролегал большой сибирский тракт.

Спешно было приступлено к возведению оборонительной линии вокруг города и слобод общим протяжением пятнадцать верст. Она должна была состоять из девяти земляных батарей, соединенных между собою рогатками. Но к приходу Пугачева успели сделать лишь пять батарей, да и те вооружены были только одной пушкой каждая.

Приказано было течение Камы между Осой и Сарапулом оберегать от мятежников, «ибо если явным образом не отважится злодей идти рекою, а вздумает тихо спуститься в лодках, то б не мог прокрасться». В устье Камы поставлено несколько вооруженных судов с плавучей батареей.

Отправлены нарочные в отряды Михельсона, Попова и других военачальников с просьбой как можно скорей поспешать на спасение города Казани и губернии.

Однако между начальниками небольших воинских частей не было согласованности. Старшие в

чине старались присоединить к себе отряды младших, возникали ссоры.

Вся эта неразбериха и сумятица была на руку Емельяну Иванычу. Силы его возросли до семи тысяч человек при двенадцати орудиях. Пугачевцы широко раскинулись по обоим берегам Камы, охватив огромное пространство.

Главные силы армии двигались сухопутьем, вдалеке от Камы, через Ижевский завод, на селение Мамадыш. Затем, переплыв реку Вятку, они взяли путь прямо на Казань.

Был немалый ущерб наступавшим пугачевцам при схватках с правительственными отрядами, но в армию все время вливались новые силы, и, несмотря на потери, численно она возрастала.

Меж тем Казань продолжала готовиться к самозащите. Все вооруженные жители были распределены по участкам, каждому назначен свой пост. По орудийному выстрелу и церковному набату всем защитникам города предписано быть на своих местах.

Деятельно готовились к обороне слободы Суконная, Ямская, Архангельская, а также Первая казанская гимназия. Это учебное заведение для дворянских детей находилось в ведении Московского университета. Начальник гимназии фон Каниц — человек военный и не старый, у него все было поставлено на военную ногу. Еще с появлением в Оренбургском крае Пугачева фон Каниц ввел обучение воспитанников пешему строю, стрельбе, фехтованию. Молодые люди занимались этим делом с охотой¹.

Когда подошло время, фон Каниц сообщил губернатору, что гимназия может выставить семьдесят четыре человека, все они будут вооружены пиками, ружьями, а учителя и два дежурных офицера, как люди «шпажные», будут иметь по паре пистолетов. Губернатор назначил гимназическому корпусу действовать против Арского поля, вблизи Грузинской церкви и гимназии. Гимназисты должны были защищать батарею, поставленную на открытом месте. Ученики

¹ Владимирова, Исторические записки о Первой казанской гимназии,

принялись укреплять свои позиции: врывали в землю надолбы, ставили рогатки, копали траншеи. Работали весело, много было пыли в молодых сердцах, но иные из них нет-нет да и вздохнут и покосятся в ту сторону, откуда должен появиться Пугачев. У них нет и не было сомнения в том, что Пугачев душегуб, разбойник, что он кровный враг им. Недаром же, вспоминают они, и архиепископ Вениамин несколько месяцев тому назад предавал его «анафеме»; они помнят, как всем строем они стояли на площади возле собора, как заунывно перезванивали колокола и хор трижды пел Емельке Пугачеву — «анафема проклят». Их, учеников гимназии, тогда было много, теперь же осталась горстка — почти все разъехались с папеньками-маменьками в укомные местечки.

— Ничего, ничего, — говорит толстяк юнец Мельгунов с шарообразной головой. — Я схватку с разбойниками жду с нетерпением. С народом не страшно. Глянь, сколь людей-то!

— Да, — отвечает ему черноглазый красивый юноша Михайлов, отшвыривая лопатой землю. — Я тоже ни капли не боюсь... Начальник у нас храбрый, свои офицеры есть. Да может статься, Пугач-то и не придет сюда: Михельсон по пятам за ним гонится, авось не допустит до Казани.

— Жаль только, губернатор староват у нас.

— Староват-то староват, зато дочери его хороши.

— Хороши-то хороши... Это верно... Особливо Людмила, а губернатор-то староват.

— Староват-то староват, зато дочери хороши.

— Хороши-то хороши...

— Ха-ха... Ну, заладил!

Они оба бросили лопаты, сели на бревно и, заглядывая друг другу в глаза и улыбаясь, повели разговор про девушек, про беспечальное житье в гимназии. Забыв о Пугачеве, они вспоминали недавние пасхальные каникулы, как три вечера подряд ученики вместе с приглашенными барышнями ставили трагедию «Семира», пьесу «Синеус и Трувор» Сумарокова, «Школу мужей» Мольера. Играли неплохо, даже был балет, на коем особенно отличались своим изящест-

вом две дочери губернатора Брандта и три девушки польки из семей ссыльных конфедератов.

— Черт! — сказал толстяк Мельгунов и, вытащив из кармана долю пирога, стал закусывать. — Я первый раз в жизни увидел наяву такие хорошенькие женские ножки. Две недели, понимаешь, снились мне.

— А мне и до сих пор снятся, — сказал черноглазый Михайлов. — Отломи-ка мне кусочек пирожка. Спасибо! И как только Пугача разделаем, в университет ни за что не поеду, гимназию брошу, женюсь. Мне скоро девятнадцать.

— Ты богатый, тебе можно и жениться, — проговорил толстяк, вытаскивая из другого кармана две ватрушки с творогом. — А ты знаешь, в кого я влюблен?

— Господа гимназисты! — прозвучал оклик офицера. — Вы что, баклуши сюда бить пришли? А ну, за дело!

Оба молодца схватили лопаты и с усердием принялись копать землю. Мимо них по Арскому полю громыхали возы с добром, двигались пролетки и дроги со спешно покидавшими Казань помещиками.

Вправо и влево по линии обороны идут работы. Не одна тысяча жителей, множество лошадей с утра до ночи трудятся над созданием надежных позиций. Бревна, камень, железо, хворост — все пущено в ход. Всюду пыль, костры, перебранка, крики. На шести конях пушку к батарее волокут. Слева, по лугу, маршируют утомленные солдаты. Там — группа татар пропылила на конях. Женщины с мешками собирают щепки, стружки. На лугу в нескольких местах раскинуты палатки торговцев: квас, сбитень, рубленое осердие, копченая рыбешка «сорок душ на палочке», гороховики. По тайности есть в палатках и сивушное вино и очищенный пенник.

— Наливай! — кричит обросший волосами бурлак и бросает торгашу деньги. — Сыпь на все, так и так пропадать.

— Пошто пропадать, — говорит кузнец в кожаном фартуке, похохатывая и поддергивая накинутую на плечи кацавейку. — Пушай баре пропадают, а мы не пропадем... Батюшка нас не потрожит...

— Цыть! Засохни! — нестрашным окриком, по-приятельски, страшает его торговый. — Мотри, живо заметут...

Гурьба ребятишек, разделившись на две стаи, играет в войну: Михельсон в шляпе с петушиным пером, Пугачев с пикой, со звездой на груди и с наведенной сажею бородищей. Швыряются галькой, тузят друг друга деревянными мечами, колют пиками: «Ура, ура! Бей Михельсона! Защищай царя!»

Старый бритый приказный с длинной шеей, замотанной гарусным шарфом, и с берестяным кошельем, из которого торчит большая, с сердитым оскалом шука, присмотревшись к игре, ласково кричит им:

— Эй, который здесь Пугачев? На конфетку!

— Я — Пугачев, дяденька... — с готовностью выкрикнув, подбегает к нему запыхавшийся мальчонка в черной бороде.

Приказный, сделав свирепый вид, схватывает его за вихры и начинает трясти:

— Вот тебе, змееныш! Вот тебе Пугачев, вот тебе царь! Ужо я полицейских сюда, ужо-ужо...

А там, за палатками, возле канавы, свалка: толпа схватила двух подозрительных татар и двух русских.

— Вяжи их! От Пугача подосланцы...

— Да что вы, родимые!.. Мы тутошние, казанские...

— Айда, айда! — с криком бегут на скандал мальчишки, спешат солдаты, подкатил на коне офицер.

— Документы! Ах, нету? Забрать!

По луговине ехал верхом долговязый Потемкин.

И так по всей Казани и ее пригородам шла суетливая работа. Впрочем, мало кому верилось, что Пугачев в скором времени придет в Казань. Не верил этой возможности и недавно прибывший сюда Павел Потемкин. Он уже успел послать императрице Екатерине верноподданническое донесение. Между прочим, он писал: «Нашел я Казань в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостоверить о безопасности города. Ложные известия о приближе-

нии злодея Пугачева к Казани привели в неописуемую робость, начиная от губернатора, почти всех жителей, почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спастись. Я не хотел при начале приезда оскорблять губернатора, но говорил ему, что город совершенно безопасен». Далее Потемкин уверял Екатерину, что скорее погибнет, чем допустит разбойника Пугачева атаковать город. «Я предлагал губернатору, что если он имеет хотя малый деташемент, человек в пятьсот, то я приемлю на себя идти навстречу злодею. По первому известию о приближении его от Вятки к Казани, я тотчас выступлю с помянутым деташементом».

Все это был лишь бахвальный дребезг слов: еще не успеет донесение дойти до Екатерины, как автор его окажет все признаки подлинной трусости:

— Вот вам, пожалуйста, — говорил Потемкину губернатор Брандт, представляя письмо татарина Ахметова, уведомявшего, что 4 июля Пугачев со своей толпой стоял в экономическом селе Мамадыше. — А сегодня у нас уже седьмое июля.

Разговор происходил в кабинете губернатора. Потемкин, не знавший географии края, тотчас уткнулся в карту и, найдя Мамадыш, воскликнул:

— Не верю! Ложь!.. Господин губернатор, ваш татарин врет. Он или пугачевец, или вообще нечестный человек. Да посудите сами: ведь от Мамадыша до Казани по прямой линии полтораста верст.

— Ну, по прямой линии Пугачев вряд ли пойдет, а дорогой до нас верст двести. Это ему на пять, на шесть переходов. Значит, дня через три злодей может оказаться здесь... Как снег на голову!

В глазах Потемкина зарябило. «А мое донесение! Боже, что подумает императрица?!» Спотыкаясь на гладком ковре длинными, вдруг одрябшими ногами, сказал:

— Что же вы предприняли в смысле пресечения злодею пути?

— Мною послан навстречу деташемент в двести человек карабинеров и пехоты при одном оружии.

— Мало, мало, ваше превосходительство!

— Может быть... Но не могу же я оставить город без войска, — ответил губернатор и, пожевав губами, вперил глаза в заметно взволнованное лицо Потемкина. — Я бы мог, конечно, выделить еще человек пятьсот и бросить навстречу злодейской толпе, да беда моя, нет у меня искусных военачальников. Вот вы, Павел Сергеевич, вы вояка... Возьмитесь-ка за сию патриотическую миссию да потреплите хорошенько злодеев в поле! Впереди вы, позади Михельсон. Прославленным героем были бы.

Потемкин побледнел, ему померещилась злодейская виселица, и сердце его еще более заскучало. Что за черт! Этот старикашка Брандт либо колдун, либо... прочел, каналья, его, Потемкина, донесение императрице.

— Что, я? Идти в поле? — обиженным тоном воскликнул он, и чуть раскосые глаза его заюлили. — Досточтимый Яков Ларионович! Вы изволили запомнить, сколь высокий пост поручен мне ее величеством. И уж ежели я буду командовать, то не каким-то жалким detaшементом, а воинскими силами всей Казанской губернии. Загляните в инструкцию, данную мне ее величеством. Мои полномочия... безграничны!

Губернатор тяжело задышал, ему ненавистен был апломб этого выскочки, он брюзгливым голосом молвил:

— Я высочайшую на ваше имя инструкцию пристально смотрел. Там ничего такого нет, о чем вы изволите говорить... Вы, Павел Сергеевич, не более как главный начальник двух секретных следственных комиссий, в одну сливающихся. А главнокомандующим войск, против Пугачева выдвинутых, суть князь Щербатов...

— Да!.. Но, Яков Ларионович, именные высочайшие указы надо уметь читать между строк. Да к тому же и мой братец, Григорий Александрович Потемкин, говорил...

— Извините, господин Потемкин, — колко перебил его Брандт. — Я сему предмету не обучался — читать высочайшие указы между строк. И обучаться не желаю.

Местность была лесистая. 10 июля Пугачев разгромил высланный ему навстречу отряд полковника Толстого, полковник в стычке был убит, солдаты его частью разбежались по лесам, частью передались Пугачеву.

— Дубровский! — обратился к вызванному секретарю довольный успехом Пугачев. — Напиши-ка жителям мой царский указ, чтоб покорились мне, государю, без сопротивления да приняли б наше императорское величество с честью, а город сдали без бою.

На другой день Пугачев подошел к Казани и остановился в семи верстах от нее, на Троицкой мельнице. Его толпа, растянувшаяся на несколько верст до села Царицына, постепенно подтягивалась к ставке. Армия Емельяна Иваныча никогда не была столь многочисленна: в ней насчитывалось по крайней мере до двадцати тысяч человек. Беда была лишь в том, что большинство крестьян вооружено из рук вон плохо: пики, рогатки, дубины, топоры. Несколько лучше снабжены вооружением горнозаводские крестьяне: многие из них — охотники — имели старинные ружья-малопульки.

Как ни старались офицеры Горбатов и Минеев, атаманы Овчинников и Творогов навести в армии боевой порядок, научить мужиков от сохи ратному делу, это им не удавалось: слишком быстро армия двигалась вперед, толпы крестьян то вливались в нее, то выбывали, чтобы попасть домой на полевые работы.

К таким воякам, наострившим лыжи восвояси, зачастую выезжал на коне сам Пугачев.

— Детушки! — начинал он стыдить людей. — Гоже ли, детушки, в этакую горячую пору покидать меня? Нивы ваши никуда не уйдут, бабы со стариками да ребятишками без вас там управятся. А ежели помогу не окажете мне — всего лишитесь: опять оседлают вас баре! Уж раз встряли, хвостом трясти нечего! Глянь, сколь народу с нами. А как подадимся к Москве, вся Русь мужицкая подыметя. Тогда мы, детушки, всех

сомнем под себя, всех царицынских прихвостней-генералов повалим.

— Рады послужить тебе, надежа-государы! Остаемся! — кричали коноводы. Тем не менее многие уходили по тайности.

И вот — Казань. Пугачев отправил в город атамана Овчинникова со своими манифестами. Овчинников пробрался в пригороды Казани с четырьмя хорунжами, но вскоре вернулся.

— Не слушают, батюшка, — докладывал он Пугачеву. — Не слушают, а только бранятся.

— А коли бранятся, так мы с ними по-свойски перемолвимся, — гневно сказал Пугачев. — Готовь, Афанасьич, армию к штурму. Да не можно ли, чтоб сегодня в ночь Минеев с Белобородовым по тайности побывали в Казани да высмотрели, что надо.

— Слушаюсь, Петр Федорыч, — сказал горбоносый Овчинников, покручивая курчавую, как овечья шерсть, русую бородку.

— А утресь сам я объеду позиции. Да хорошо бы языков добыть.

— Перебежчики есть, батюшка. Перфиша с них допрос снимает.

— Ну так — штурм, Андрей Афанасьич! Я чаю, народу у нас сверх головы. Одним гамом страху нагоним. А Михельсонишка-то кабудь затерял нас...

— Да ведь мы ходко подаемся.

— Слышь, Афанасьич! А чего-то я депутата от наследника давно не видел. Долгополова-то Остафья. Не сбежал ли уж?

— Нет, батюшка. Он дюже войнишки страшится, больше по землянкам хоронится. Да шея у него болит... Ему, чуешь, Нагни-Беда накостылял по шее-то.

— О-о-о, пошто же так?

— Да было вздумал Остафий-то с его жинкой поиграть, с Домной Карповной, ну и...

— Ишь ты, старый барсук... А что, хороша Домна-то?

— Да ничего себе, телеса сдобные.

— Ишь ты, ишь ты. Где ж он, Нагни-Беда-то, такую поддедюлил?

— А на Авзяно-Петровском заводе, батюшка, когда с Хлопушей в походе был. Она вдовица управителя завода — Ваньки Каина...

Когда пали сумерки, к палатке Пугачева неожиданно-негаданно подъехала пара вороных, запряженных в широкий тарантас. Из тарантаса выскочили двое: пожилой и парень, оба одеты в длиннополые раскольничьи кафтаны, на головах войлочные черные шляпы. Приезжих сопровождал конный казачий дозор, перехвативший их по дороге как людей подозрительных.

— Не можно ли нам батюшку увидеть? — обратился пожилой приезжий к окружавшей палатку страже. — Мы — казанские купцы, отец да сын.

— Зачем не можна, можна, — сказал увешанный кривыми ножами Идорка.

Тут вышел из палатки Пугачев в накинутом на плечи полукафтани с золотым шитьем. Приезжие сняли шляпы и, касаясь пальцами земли, поклонились ему.

— Кто такие? Откуда? — спросил Емельян Ивanych.

— Купцы Крохины, твое величество, отец да сын. Я — Иван Васильич буду, а это Мишка, оболтус мой...

— Ах, тятенька... По какому же праву... оболтус? — заулыбался кудрявый парень, косая сажень в плечах.

Все вошли в палатку.

— А я за тобой, твое величество. Уж не побрезгуй, бью тебе челом в гости ко мне пожаловать. Отец Филарет с Иргиза поклон тебе шлет, письмо получил от него намеднись, а с письмом и тебе вещицу прислал он зело важную... — напевным голосом говорил Крохин, высокий здоровенный человек. Открытое, с крупными чертами лицо его было не по летам молодо и свежо. Светло-русская густая борода аккуратно подстрижена, в веселых навывкате глазах светится крепкий ум.

Пугачев несколько опешил. Уж не подсланы ли от Брандта? Чего доброго, схватят да в тюрьму.

— Уж ты будь без опаски, батюшка, — как бы переняв его настроение, сказал, кланяясь, Иван Васильевич. — Мы люди по всему краю известные. Крохиных всяк знает.

Пугачев пристально взглянул в хорошие русские лица купцов и поверил им. Малый развязал узел и подал Пугачеву купеческую сряду, затем подпоясал его цветистым азарбатным кушаком, — и вот он, Пугачев, купец.

Все же, уезжая, Емельян Иваныч призвал атамана Овчинникова, сказал ему:

— Слышь, Афанасьич, собрался я к купцам Крохиным в гости. Коль к полночи не вернусь, навстречь мне с казаками иди...

— Да заспокойся, батюшка!.. Мы люди верные, свои, — проговорил, улыбаясь, старик Крохин.

Кони подхватили, понесли.

Вскоре замерцала вдаль линия сторожевых костров. Возле городских укреплений стали попадаться разезды Брандта.

— Кто едет?

— Крохин!

— А, Иван Васильевич! Проезжайте с богом.

На иных пикетах, узнав издалека купеческую пару вороных, говорили: «Крохин это», — и без задержки пропускали.

В черте города кони пошли шагом. Емельян Иваныч любопытным взором водил по сторонам. Впрочем, в Казани многое было ему знакомо. Старик Крохин пояснял ему:

— А это вот каменные палаты-те именитого купца Жаркова, Ивана Степаныча. Он нашего же старообрядческого толку и к вере нашей зело прилежен, самолучшая часовня у него.

Большой, свежепобеленный дом Жаркова стоял на левом берегу Булака, упираясь огородами и фруктовым садом в усадьбу Егорьевской церкви.

— А это что на цепях-то? Мост, никак? — спросил Пугачев.

— А это через Булак подъемный мост, чтобы суда с грузом пропускать. Сам Жарков для себя же выстроил на свой кошт. Он купец тароватый...

— Да ведь нам, купцам, тятенька, и не можно растяпистыми-то быть, — подергивая вожжами, сказал малый; он сидел вполоборота к седокам,

— А ты помолчи! — прикрикнул на него отец не то всерьез, не то в шутку. — А нет — живо святым кулаком да по окаянной шее... Чуешь?

— Как вы, право, тятенька, — обидчиво произнес сын. — Да ведь я к слову.

— А это ж чьи суда-то? Его же? — спросил Пугачев.

— Жарковские, жарковские... С товарами! По Каме да по Волге ходят. Унжаки, тихвинки, беляны, астраханские косные лодки. Впрочем говоря — тут и других купцов и моих пара посудинок есть. Вишь, Булак-то многоводен ныне, а вот ужо осенью одна тина останется да ил.

— А какие же товары-то грузятся тут? — допытывался Пугачев.

— А товары — перво-наперво хлеб, ну там еще рогожи, лубок, ободья колесные, кожа, мыло, свечи сальные, холст... Да мало ли! Ведь Жарков-то, мотри, оптовую торговлю ведет по всей России. У него есть расшивы с коноводными машинами: по бокам колесья с плицами по воде хлещут. А это вон амбары, вишь, пошли жарковские, да еще Петрова-купца. И мой амбаришка... вон-вон, с краю стоит.

Небо в лохматых тучах, накрапывал дождик. Владли погромыхивало. Становилось темно. Сзади золотым ожерельем туманился отблеск костров — то передовые позиции, куда было выведено немало жителей.

А вот и крохинский дом. Заскрипели ворота, подбежали люди с фонарями. Хозяева с гостем вошли в горницы.

-- Ну, гостенок дорогой, пойдем-ка наперед в баньку, в мыленку, с великого устаточку косточки распарить.

— Ништо, ништо, Иван Васильич, — обрадованно сказал Пугачев и даже крякнул. — До баньки я охоч.

Провожали в баню гостя и хозяина два рослых молодца с фонарем. Шли огородом, садом. Путаные тени от деревьев елозили, растекались по усыпанной песком дорожке. Пахло обрызнутыми дождем густыми травами, наливавшимися яблоками, волглой, разопревшей за день черной землей.

Обширная бревенчатая баня освещена была масляными подвесными фонарями. Липовые, чисто, добела промытые с дрсвой скамьи накрыты кошмами, а сверху — свежими простынями. На полу в предбаннике вдосталь насыпано сена, прикрытого пушистым ковром. На полках — три расписных берестяных туеса с медом да с «дедовским» квасом, что «шибает в нос и велие прояснение в мозгах творит». На особом дубовом столике — вехотки, суконки, мочалки, куски пахучего мыла. Мыловарнями своими Казань издревле славилась. В парном отделении, на скамьях, обваренные кипятком душистые мята, калуфер, чабер и другие травы. В кипучем котле квас с мятой — для распариванья березовых веников и поддаванья на каменку.

В бане мылись вдвоем, гость да хозяин, говорить можно было по душам, с глазу на глаз. Купец принял за ковшом поддавать. Баня наполнилась ароматным паром. Шелковым шелестом зажихали веники. Парились неумно. А купец все поддавал и поддавал, не жалея духмяного квасу. Пар белыми взрывами, пыхнув, шархался вверх, во все стороны.

Приятно побрякивая и жмурясь, Пугачев сказал:

— Эх, благодать! Ну, спасибо тебе, Иван Васильич!.. Отродясь не доводилось в этакой баньке париться. На что уж императорская хороша, а эта лучше.

— С нами бог! — воскликнул купец в ответ. — А не угодно ли тертой редечкой с красным уксусом растереться?

— Давай, давай.

Терли друг друга, кряхтели, гоготали, кожа сделалась багряною, пылала. В крови, в мускулах ходило ходуном, и на душе стало беззаботно и безоблачно.

— Ну как, батюшка, дела-то твои, силушки-то много ли ведешь?

— А людской силы у меня хоть отбавляй, Иван Васильич. Народу как грязи! Куда ногой вступлю, туда и всенародство бежит по следам моим.

— Слышно, оруженье-то у тя плоховато? Поди с кулаками да с дрючками больше народ-то?

— Оруженья, верно, маловато, — не сразу откликнулся Пугачев. — Ну да ведь я подмогу с Урала жду. Урал мне весь покорился.

— Вестно нам, батюшка, — продолжал, помолчав, купец, — будто под Татищевой-то дюже пообидели тебя царицынские-то генералишки, чтоб им в тартар всем, к сатанаилу в пекло!

Прежде чем ответить, Пугачев глубоко, всей грудью вздохнул. Тяжелая неудача под Татищевой висела над ним подобно туче, о сию пору давила его сердце. Он тихо сказал:

— Да, Иван Васильич... Верно, опростоволосились мы трохи-трохи под Татищевой. Довелось и оруженья сколько-то побросать, пушек... Что поделаешь!.. Видно, тако господу угодно.

— Хм, — с грустью хмыкнул хозяин. — Ну, вот чего — не горюй, батюшка!.. Судьбы мира сего в руке божией. А мы, старозаветное купечество, подмогу тебе учинить порешили. Как поедем в обрат, я тебе меж кустов амбарушку покажу, черемуха там растет. Пришли-ка ты туда удальцов, у меня там ружей сотни четыре припрятано, да пороху пудов с двадцать, да свинцу. Больше бы скопили, да ведь не чуяли, не ведали, куда ты путь свой повернешь.

— Благодарствую, Иван Васильевич... Старание твое век помнить будем, — растроганно сказал Пугачев, с проворством работая мочалкой. Пахучее мыло пенилось, играло тысячами глазастых пузырьков.

— Деньжонок ошо дадим тебе, да снеси, да продукту разного. Ну, и ты нас, купцов-то, ину пору уважь, батюшка! Не вели грабить-то да жегчи-то нас, старозаветных. Мы для государства люди нужные... Мы отечественные капиталы созидаем! Иные среди нас даже с заграницей торг ведут, через что, слышь, течение капиталов иноземных в Россию усугубляется. Впрочем сказать, о сем мы за трапезой толковать будем. Поснедаем, выпьем — стомаха ради — монастырского, да и побалакаем.

— Ахти добро, — ответил Пугачев. — Только, чуешь, на деле-то не впотребляю я хмельного, Иван Васильич. У меня устав такой,

— А ты, батюшка, слыхал: в чужой-то монастырь со своим уставом не ходят.

— А я и не собирался ходить, сам ты присугласил меня...

— Мало ли бы что... Ину пору можно и выпить. Сказано: год не пей, а после баньки укради да выпей. Ох, господи помилуй, господи помилуй!.. Грехи наши тяжкие, грехи неотмолимые! — купец повздыхал и, чуть подняв голос, спросил: — Ну, а како, батюшка, касася веры нашей древлей, равноапостольной? Станешь ли берегчи ее, как воцаришься?

— Слых был, — вслед ответил Пугачев, — архирей казанский клял меня, анафемой принародно сволочил. А вы, старозаконники, за меня богу молитесь. Так вот и раскинь умом, Иван Васильич, за кого же наше самодержавство стоять будет?

— Да поди за нас же, за наших христоролюбцев, батюшка?

— Верно сказано, правду со истиной... Давай-ка кваску, хозяин.

Выпили раз за разом по три кружки пенного квасу с имбирем, опять стали мыться, париться.

И вдруг с высокого полка, из облаков густого пара, загудел бесхитростный голос хозяина:

— Так-то, Емельян Иваныч, батюшка, так-то.

Пугачев, сидевший на скамье внизу, враз прекратил мыться, его руки с мочалкой опустились. «Уж, полно, не попритчилось ли, не запарился ли я?» — мелькнуло в мыслях изумившегося Пугачева. А голос продолжал из облаков, с высокого полка, как с неба:

— Нас, чадо Емельяне, тута-ка только двоечка, а третий — господь бог над нами. И ты, родимый, не страшись и не гневайся. Я человек простой, крови русской, души прямой и к твоему делу зело усердный.

— Так, так! — перебил его Пугачев, сдвигая к переносице брови и приподнимаясь. — Морочить голову мне задумал? Ась? Не распалая ты моего сердца!

— Будет, будет тебе, Емельян Иваныч. Заспокойся, родной, — все так же простодушно говорил хозяин. — Слушай-ка. Нам во всей России, я чаю, только пятерым старозаветным людям вестно, что ты не

того... не царских кровей будешь. Ну томко мы, старозаветные, тайну сию крепко блюдем. Мы, слышь, по дорожке Митьки Лысова, атамана твоего, не пойдем ни в жизнь. Видишь, и о сем христопродавце осведомлены мы.

Душа Пугачева закипала. Он хотел показать купцу царские знаки на своей груди, хотел сгрести его за бороду, но сдержался, может быть баня умягчила его чувства.

— Так, так, — кидал он сквозь зубы. — Выходит, по-вашему, по-старозаветному, не царь я?

— Пусть бы и царь, да токмо еще не самодержавец ты, батюшка, — с тем же спокойствием говорил из облаков купец. — Ведай, заступник наш: царь без престола все едино, что конь боевой без седла алибо обширная храмина, у коей замест каменных столбов песок сыпучий.

Купец свесил с полки сильные волосатые ноги, дружелюбно уставился в широко открытые глаза Пугачева.

— А мы тебе самодержавцем-то стать всякую помогу повсеместно учиняем, — продолжал старик гулко. — У нас и по заводам и по городам свои приспешники. Мы к тому и дело клоним, чтоб тебе престол отвоевать, чтоб тебе, а не Катерине, царем царствовать. Досюльные-то цари, и с Катериной вместях, скорпионы да вервия уготовляли нам...

— Кто это тебе набрякал, что я не царь, не Петр Федорыч? Уж не Катькины ли манифесты отуманили тебя? Ась?

— Тьфу, тьфу нам ейные манифесты, батюшка. А сказал мне про это самое купец Щелоков, помнишь, калачи-то он тебе в острог нашивал? Да еще всечестной старец Филарет, у которого гостил ты попутно. Он тебя и в деле видел, в Бердах, под Оренбургом: то ли сам, то ли через своих посланцев. Зело одобрял он дела твои, и храбрость твою лыцарску, и распорядок. И прислал мне он, рекомый игумен Филарет, вещь тайную, коя зело поможет тебе въяве.

— Чего же такое? — смягчившись, спросил Пугачев, встал и поддал в каменку два ковша квасу.

— А прислал он тебе, родимый, голштинское знамя покойного Петра Федорыча Третьего, императора.

Купцы Крохины были роду-племени старинного. Иван Васильевич почасту ездил в Москву, водил знакомство с московскими тузами-старообрядцами, маливался в Рогожском кладбище — духовной твердыне русского старообрядчества, заглядывал в Петербург, путешествовал и в скиты керженские, где свел дружбу со знаменитым старцем Игнатием, родственником все-сильного Григория Потемкина. Да, знал Крохин многое, что творится на Руси, и был к тому же пытлив, дотошен и умен. Поэтому он тут же и рассказал Пугачеву о всем, что представляет собою голштинское знамя.

— У покойного Петра Федорыча, голштинского выкормка, — начал он, — содержался под Питером, в Ораниенбауме, корпус доверенных телохранителей голштинцев. И было их три тысячи человек. Он им муштру производил, а для красоты и порядка было у них четыре знамени. Егда же Петр Федорыч прежде времени кончину восприял, знамена те схоронены досужими людьми в сундук, заперты и печатями опечатаны. Единое из оных знамен, голубое с гербом черным, путями неисповедимыми похищено, доставлено игумену Филарету на Иргиз, а через оного благоуветного старца-христороубца и мне, грешному.

Он кончил. Пугачев молчал, усердно работая вехоткой. Потом спросил, но уже с тем же, как и у хозяина, спокойствием:

— Коли я с войском своим — самозванный царь, так кто же ты, Иван Васильич, с голштинским тем знаменем притаенным? Ась?

Озадаченный хозяин не понял, смущенно молчал. Пугачев вскинул шайку и с силой брякнул ею о скамью:

— Эх, купец, Иван Васильич! В знамя поганое, иноземное веришь, а в меня, всея державы царя русского, нет!.. Так-то вот и все вы, сырые, разнесчастные. Зраку своему да ощупи — вера, а что дальше да выше, тому и веры нет!.. Впрочем сказать, — понизил он голос, — ин будь по-твоему: Емельян так Емельян!

Мужику, алибо и вам, купцам-старателям, Петр ли, Емельян ли, — все едино: был бы делу привержен да верен...

— Вот, вот! — понял, оживился вновь хозяин.

— Как говорится, — продолжал Пугачев весело, — сивый ли, пегий ли... лишь бы вез...

— Об чем и речь! Значит, царь-государь, за зря я знамению-то держал-сохранял?

— Как так, за зря? Не портянка, чай. С ним, подарком твоим, и в Казань войду. Благодарствую во как, а пуще всего за верность. Верность — она города берет. Так ли, Иван Васильич?

— Золотые слова, батюшка! Послухать бы их из уст твоих милостивых всему миру нашему, старозаветному.

— Дай срок — всяк услышит, у кого слух-то не по-мрачен... Не пора ли кончать, хозяин?

— Пора, пора. Телеса омыли, о грешных душах наших попеченье надо сотворить. В моленную ко мне заглянуть бы тебе предлежало, по чину, по правилу.

— От молитвы не бегу, Иван Васильич.

3

Одевшись, гость и хозяин направились в моленную при доме. Было здесь тихо, благолепно. Стены с полу до потолка уставлены старинными, в дорогих окладах иконами. Горели восковые свечи в небольшом паникадиле, мерцали кроткие огни лампад. Впереди, у самого иконостаса, стоял аналой, прикрытый атласной, вышитой шелками пеленою. Справа, на стене, янтарные, костяные и кожаные лестовки. На отдельном столике — медная кропильница с кропилом. Пахло воском, розовым маслом, ладаном. Пол в ковровых дорожках.

Моленная была пуста.

Вздыхая и крестясь, Иван Васильич «сотворил» семипоклонный уставный начал пред Спасовым образом, и оба затем, хозяин и гость, совершили метание.

Емельян Иваныч неплохо присноровился к этому обряду, еще когда жил у старца Филарета.

Крохин достал из киотного, что под образами, шкафа запакованный в холст опечатанный сверток и, склонив седую голову, подал Пугачеву:

— Вот оно, знамя-то. Ты его пуще глазу береги! — молвил купец строго. — Оное знамя не токмо господам офицерам да генералам в великий соблазн будет, а и самое Катерину с толков собьет.

В зальце их поджидало все купеческое семейство: крупная, дородная Василиса Ионовна, в черном повойнике и темно-синем шушуне с золотой травкой, с густыми назади сборками; дочь ее, рослая, миловидная девушка, Таня, в косоклинном саяне — сиречь сарафане на пуговках сверху донизу; и уже знакомый Пугачеву хозяйский сын Миша — косая сажень в плечах.

— С легким паром, надежа-государь! — хором возгласило семейство и дружно кувырнулось Пугачеву в ноги. Хозяин благодушно улыбался.

Сердце Емельяна Иваныча будто кто ласково погладил. «Стало, Крохин и впрямь блюдет мою тайну», — подумал он.

Затем хозяин с сыном, вооружившись двумя горящими свечами, повели гостя осматривать хоромы. Крашеные, из широких досок, полы натерты маслом с воском, блестят, всюду постланы пестрые дорожки, мебель хоть и неуклюжая, дедовская, зато из мореного дуба, словно литая из железа. По углам и вдоль стен спряты, укладки, сундучки, обитые цветным сафьяном или вологодской, «под мороз» жестью. В углу большой шкаф, называемый ставец. Иван Васильич, загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри библейского содержания картинками, по бокам — райские птицы Алконост и Сирин. Весь ставец набит тяжелыми книгами в деревянных, крытых кожей переплетах.

— Сии книги старопечатные, — сказал Иван Васильич, выкладывая перед Пугачевым книгу за книгой. — Старопечатные и рукописные, до римского сатанинского нововодства Никона. Вот — малая, глаголемая «Беседословие», А вот «Святая боговдохно-

венная, составленная Давыдом-старцем». А вот отреченная тетрадь монастыря Святотроицкого. Слушай, царь-государь, а ты, Миша, посвети... — Старик надел на нос медные очки, перелистал рукописные страницы и, откашлявшись, прочел чуть-чуть гнусаво: «Мрак объял землю русскую, солнце сокрыло лучи свои, луна и звезды померкли, и бездны все содрогаются. Изменились злобно все древние святые предания, все пастыри в еретичестве потонули, а верные из отечества изгоняются — царит там вавилонская любодейница и поит всех из чаши мерзости». Внемлешь, государь? Сие старцами-христоролюбцами про Катерину Вторую писано; — захлопнув тетрадь с титлами и сунув ее в ставец, пояснил хозяин.

И вступил тут в старика соблазн сделать гостю испытание: грамотен гость или темен? Иван Васильич достал книгу и стал листать ее, от книги пахло плесенью. Испытующе скосив глаза на Пугачева, он передал ему книгу и сказал:

— На-ка, батюшка, прочти в гул вот это местечко, стихирку.

Сердце Пугачева захолонуло. Ах, черт!.. Тут уж не отвертишься...

— Да ведь я без очков-то ни хрена не вижу, а очки забыл, — сказал он.

Хозяин же, как бы не слыша его, велел сыну:

— Миша, посвети!

У Пугачева зарябило в глазах, запрыгали губы, он влип взором в строчки и напряг память. Ну, слава тебе, тетереву: буквы знакомые, не зря же старец Василий обучал его грамоте по старозаветным книгам, когда Пугачев жил у него в келии под Стародубом. И вот теперь, хотя и с большим трудом, Емельян Иванович, не помня себя от радости, стал разбирать слова и строчки.

— Оную книгу, нарицаемую Лусидариус, сиречь Златой бисер, я без мала всю вытвердил, — говорил старик, нетерпеливо заглядывая в лицо гостя.

И вдруг Пугачев, насупив брови и откинув рукой волосы со лба, стал медленно, с запинкой, напряженным голосом читать:

— «Идет старец, несет ставец, в ставце зварец, в зварце сладость, в сладости младость, в младости старость, в старости смерть».

— Вот, батюшка! — воскликнул хозяин и подумал: «Стало, врут манифесты, что самозванный царь безграмотный да темный». — А дале-то тако сказано: «Как на ту ли злую смерть кладут старцы проклятыице великое». Тако-ся, гостенек мой дорогой... Ну, а теперича идем в рабочую мою горницу, где течет жизнь моя земного обогащения ради. Ох, господи, господи!.. Миша, зажги-ка свечи! — приказал он сыну, когда все трое вступили в обширную комнату, пропахшую кожей, скипидаром, мылом.

Великан Миша привстал на носки и засветил семисвечовую люстру — железный, на трех цепях обруч.

Огромный стол, заваленный бумагами с расчетными книгами, ярлыками. Большие костяные счеты, чернила с перьями, песочница, недоеденная доля пирога на тарелке, облупленное крутое яйцо, леденчики. По стенам развешаны разной выделки кожи, юфть, разноцветные сафьяны, ящики со свечами, с мылом — образцы производства крохинских фабрик. В стеклянных банках разных сортов крупа, мука — ржаная, пшеничная, гороховая, гречушная, солод для пива. В углу две больших бочки денег: в одной медь, в другой серебро. Купец указал Пугачеву на объемистый холщовый мешочек.

— А это вот, батюшка, твоему царскому величеству от старозаветных купцов помощь: серебряные рублевки да полтины. Унесешь ли?

— Было бы что!

Пугачев схватил мешочек за ушки, играючи подбросил его к самому потолку и поймал растопыренной ладонью.

— Ого! — изумился купец. — Тут серебра три пуда без малого. Ну, поспешим к трапезе.

Придя в столовую, все помолились, сели. На столе: енды, кувшины, пузатые штофики, граненые графины.

— У меня, ведаешь, своя пивоварня. И для себя и для торго, — сказал хозяин, наливая серебряные

чары. — Мое пиво пряное, тонкое, для здоровья полезное, крови не густит... Хлебнешь — упадешь, вскочишь — опять захочешь... Ха-ха-ха!.. Вот в этой ендове — забористое, зовется «дедушка», в этой «батюшка», а в этой слабенькое, бабий сорт — «сынок».

Угощение было простое и сытное: лапша, ветчина, яичница-верещага, индейка с солеными огурцами, утка с солеными же сливами. Пугачев ел «по-благородному», оттопырив мизинцы; руки у него чистые, на указательном пальце перстень Степана Разина.

К концу трапезы прибыл именитый купец Жарков, тридцатипятилетний, и такого же, что и у Крохина, осанистого вида, дородный человек. Густоволос, бородат.

— Ага. Вот и сам подъемный мост пожаловал. Оптовых промыслов и трех фабрик с заводами содержатель... А мы вот тут, Иван Степаныч, с государем калякаем. Он, отец наш, милостив, не брезгует нашим братом, не гнушается. Присаживайся.

Жарков помолился в передний угол, низко поклонился Пугачеву, затем хозяевам, сказал:

— Дозвольте присесть, ваше величество, на краюшке...

— Пошто на краюшке... Садись посередке, господин купец, — проговорил Пугачев, отодвигаясь со стулом в сторону. — Торговым людям, кои не супротив нашего самодержавства, мы милость завсегда творим.

Купцы одобрительно переглянулись. Пили горячий сбитень. Ни чаю, ни табаку — этих сатанинских травок — в доме не водилось. Откашлявшись в горсть, Жарков сказал:

— Торговое сословие, батюшка государь, всякому государству основа.

— Основа-то основа, Иван Степаныч, — возразил широкоплечий хозяин, оглаживая светло-русую бороду, — а главная суть, мотри, в народе обитает: народ богат, и купец богат, народ сир да нищ, и купец ни в тех ни в сех, середнячком ходит.

— А не можно ли, господа купцы, тако повернуть речи ваши, — встрял в разговор Пугачев. — Народишко, мол, и беден чрез то, что помещики с купцами че-

ресчур богаты. Ну, правда, купцам-то и бог велит от трудов своих богатеть, а вот помещики — те особь статья. Ась?

— Правда, правда твоя, батюшка! — воскликнул хозяин, и его выпуклые умные глаза заблестели. — Ведь подумать надо, откуль народу-то справным быть, коль у мужика ничим-чего своего собственного... Все, вишь, барское! Барин захочет, всего лишит, захочет — на каторгу сошлет, а нет, так и продаст, аки скотину рогатую.

— Ломать надо, господа купцы, порядок такой, ломать надо! — сказал Пугачев. — А сомнем — всем враз вольготно станет. Не так?

Купцы согласно закивали головами. Жарков сказал:

— А нам, торговым да промышленным людям, нешто мало всяких утеснений творят разные там берг-коллегии, да мануфактур-коллегии, да магистраты с воеводами, с судьями, со всякой строкой приказной. Вот они где, сгинь их головы, сидят! — прилепнул он себя ладонью по загривку. — Ох, батюшка государь, кабы знал ты да ведал...

— Доподлинно сие вестно мне, господа купцы, не сомневайтесь, — подхватил Пугачев негромко, — немало моим царским именем перевешано злоумыслителей таких.

— Взяточка, взяточка сушит да крушит нас, ваше величество, — жаловался Жарков. — Не подмажешь — не поедешь... Замест помощи, что видим мы от начальства-то? Палки в колесья суют! Ежели, скажем, наживешь рубль-целковый, так им гривен семь хабару с рубля-то отойдет, а нет, так и обанкрутят, в трубу пустят, сгинь их головы! Да вот, извольте послушать, про себя скажу. Тятенька мой, покойна головушка (Жарков перекрестился), оставил мне огромный капитал, тысяч во сто. А я оный капитал рвением своим умножил и преумножил. А как? Где не доем, где не досплю, взад-вперед по России гоняю, можно сказать, не дома на пуховиках, — в таратайке да в санях живу. А иначе ничего и не выйдет. Зато салотопленный завод у меня, да свечной, да стекольный, да два мыловаренных. Со Швецией да с Англией торг веду через Архангельск.

Им, вишь, сало за гроши подавай, а уж они свечи-то да мыло сами наделают да нам в обрат затридорога привезут, сгинь их головы! А я по-своему повернул...

— Ну-ка, ну-ка, доложи, как ты их, иноземных, в оглобли-то ввел? — подзуживал гостя Крохин, косясь на Пугачева.

А тот, помаргивая правым глазом, со вниманием вслушивался.

— А вот как... Я все сало, до фунтика, в Архангельске чрез своих доверенных скупил и в свои склады запер. Иноземцы приплыли на своих кораблях, туда-сюда... Нету сала! Пошумели, пошумели, а податься некуда. И довелось им все свечи с мылом скупить у меня; я невысокую назначил цену, они в своей стороне мой товар тоже не без выгоды распродадут. Так и впредь намерен поступать. Ужо до Риги доберусь и там этаким же побытом дело обосную...

— Вот, ваше величество! — воскликнул Крохин. — А дворяне этак-то деньгу наживать не смыслят.

— Знаю я дворян, — отмахнувшись рукой, сказал Пугачев и попросил у хозяйки творожку.

— Взять такого Шереметева алибо князя Голицына, — подхватил Жарков, — сладко едят, до полден дрыхнут, живут — палец о палец не ударят, сгинь их головы! Театры по вотчинам позавели, с плясуньями — из крепостных красоток — любовью забавляются, дедовские капиталы прожигают... Ах, если б ихние великие капиталы да купцам в руки — нешто такая Россия-то наша была бы! Народ у нас самый работающий, толковый, уветливый народ. Первеющий страной в мире была бы Расеюшка наша! — Жарков завздыхал, запищелкивал языком и, выждав время, обратился к Пугачеву: — А ты, ваше величество, окажешь ли поддержку купечеству-то, ежели господь приведет тебе престолом завладеть?

Снова прищуриив глаз, Пугачев откинулся на стуле, сказал:

— А я и так уж подмогу даю вам. Нешто не видите? Моим царским именем вся земля верно моему крестьянству отходит. А ведь вы сами же, господа куп-

цы, толкуете: мужик крепок, так и купцу разворот. Не так?

— Так, так, батюшка! — И купцы снова закивали головами.

— Стало, будьте, други мои, без сумнительства. А всех помещиков я с земли сгоню, посажу на жалованье и повелю труждаться. И кликну клич по всей земле люду торговому: а ну, купцы, торгуй! Только... мошество какое дозрю либо народу обиждение — голова с плеч летит! — И Пугачев пристукнул ладонью по столешнице.

— Спаси бог, царь-государь, на ласковом твоём царском слове. А за порядком в сословии нашем сами следить будем.

Купцы не спеша и с толковостью продолжали жаловаться Пугачеву: на то, что торговлю вести им очень затруднительно, что, первым делом, денег в России в обороте мало, что денежки у великих вельмож да у помещиков в заграничных банковских конторах либо дома, в кованых, к полу привинченных сундуках. «Да и двумя войнами — Семилетней да турецкой, коя ныне в затыжку пошла, много мы золота с серебром за границей растряли. У крестьянства же, почитай, денег вовсе нет, а ежели и заведутся какие от «оброчного» заработка, мужик норовит их в землю закопать, чтобы не прикарманил барин».

— И ежели, бывало, поедешь по Руси с товарами, как я в молодости еживал, так наплачешься, — говорил Иван Васильич Крохин. — Мужики всего тебе на обмен дадут: масла и сала, овчин и пеньки, а что касаемо денег — не прогневайся.

— Вот, батюшка, ваше величество, такие-то дела, — сказал Жарков, и его молодые, с оттенком ухарства глаза заиграли. — Ежели мужикам волю даровать, все к самому лучшему повернется, все в достоудожный порядок придет.

— Стало, выходит, господа купцы, однодумье у нас с вами? — спросил, подбочениваясь, Пугачев.

— Однодумье, однодумье, батюшка! — в один голос молвили купцы. — А помещиков, сгинь их головы, от торговли в сторону! Отойти — подвинься...

Пугачев заулыбался, произнес:

— Благодарствуйте, голуби мои, — и, хлопнув Крохина по мясистому плечу, воскликнул: — Ну, Иван Васильич, хоша дал я зарок не пить, а на радостях чару, пожалуй, опрокину. Налей-ка той вон хреновинки с травкой.

Все поклонились Пугачеву, выпили.

— И дозвольте уж, царь-государь, насмелиться еще тебя спросить, — проговорил Жарков, повышая голос. — Ну, а как ты насчет веры, не станешь ли нашу веру старозаветную утеснять да рушить?

— Наше самодержавство веру станет блюсти всякую, чтоб никому ни обиды, ни утеснений не творилось. Вот мое слово.

Тогда все, как по уговору, поднялись и низко Пугачеву поклонились. Вслед завязалась живая беседа. Емельян Иванович расспрашивал купцов про город: как укреплена Казань, велика ли в городе сила, с какой стороны сподручней штурмовать укрепления.

К полночи Емельян Иванович был уже дома. К нему в палатку вошли черноглазый щуплый офицер Минеев и колченогий полковник Белобородов.

— Мы не столь давно, ваше величество, вернулись с Иваном Наумычем из разведки, — начал свой доклад Минеев. — Я татаринoм был одет, по-татарски мало-мало смыслю лопотать, а Белобородов — нищим с костылем да торбой. — Он подробно доложил Пугачеву о расположении укреплений, о количестве пушек и примерном числе защитников, о настроении народа. — В народе и так и сяк толкуют. Пожалуй, многие намерены преклониться нам. И поголовно все перед армией вашего величества в страхе состоят. Даже солдатство.

— Старик один встренулся нам, из садов вышел, — сказал Белобородов. — Он толковал, что ежели государь придет, встречать его не станут с крестами да иконами, а побросают оружие, да и перебегут к нему. Нам, говорит, объявлено, что ежели с крестами народ выйдет государя встречать, то генерал Потемкин с гу-

бернатором Брандтом и по крестам учнут из пушек палить. Потемкин-де недавно из Питера прибыл, такая собака, что страсть...

До конца выслушав разведчиков, Пугачев обратился к Минееву:

— А ты вот что, ваше благородие... Не ведома ли тебе купца Крохина, Ивана Васильича, крупорушка, она по сю сторону ихней обороны стоит?

— Знаю, там кустарник и черемушник, это и с версту не будет от дачи с огородами купца Осокина.

— Во-во-во... Ну так там, возле крохинской крупорушки, сарайчик немудреный есть. Понял ли, ваше благородие? А ежели понял, бери немедля полсотни казаков да башкирцев либо сеитовских татар и езжай скорым маршем туда. В амбарушке тихо-мирно заберешь ружья, штук четырехста, да порох со свинцом... Караульный хаю не подымет, свой поставлен... Чуешь?

— В точности выполню, ваше величество.

— Ну, с богом!.. Утресь доложишь мне. Иди и ты, Иван Наумыч, спать хочу. Да пришлите-ка ко мне офицера Горбатова, ежели он близко...

Вскоре вошел Горбатов.

— Возьми-кося, ваше благородие, вот этот сверточек да разверни. Тута-ка голштинское знамя, мой наследник Павел Петрович прислал мне оное... (Горбатов распаковал сверток, вынул голубое шелковое полотнище, встряхнул его.) Узнаешь ли?

— Не видывал, государь... Слышать слышал про четыре знамени, при голштинском корпусе в Ораниенбауме бывших, а видать не доводилось, врать не стану.

— Мое, мое знамя, самое доподлинное голштинское, уж я-то знаю!.. — проговорил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз. — Чтоб завтра с утра прибить это знамя к древку и показать всей армии нашей императорской. Значит, ваше благородие, весь лагерь с ним объедешь и всем толкуй про знамя-то, что да как. Возьми барабанщика, чтоб в турский тулумбас бил, народ сзывал. Тебе это, Горбатов, поручаю да полковнику Творогову; поди уж дрыхнет он...

Да и я вот чего-то носом поклевывать зачал, карасей ловить. Ну, поди с богом. А про Михельсонишку нет слухов?

— Его отряда на сотню верст и в помине нет, государь!

Горбатов, уходя со знаменем, немало дивился, откуда оно взялось? Судя по вензелю и по черному прусского начертания орлу, знамя действительно голштинское. Да, много на белом свете всяких чудес бывает...

Вошла давно поджидавшая у входа Ненила, тусок кумысу да жбан сыченого меду принесла. Живот Ненилы заметно округлился, через месяц, через другой, пожалуй, пора приспеет и родить. Взбила горой перину.

— Ну вот, спи-почивай, батюшка, — сказала Ненила печальным голосом, — когда прикажешь будить-то?

— На зорьке, Ненилушка, на зорьке. — И, пошарив в карманах, он протянул ей два сахарных леденчика. — На-ка, возьми девочке Акулечке. Да смотри, чтоб Ермилка не сожрал. Он таковский...

— Что ты, батюшка!

4

Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок.

Пугачев, окруженный полусотней яицких казаков, подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать: «Матушка Казань! Бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем». Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы.

Затем Пугачев говорил с коня:

— Господа командиры и полковники! Творите неуспынный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии не страшась в штурм шел. У кого есть оружие — грудью вперед иди! У кого, окромя дубинок, нет ничего, те пускай само-громко в голос орут, криком да гвалтом помогают штурму.

Емельян Иваныч принялся осматривать в трубу расположение городских укреплений. Вот на горе кремль. От Спасских ворот его тянется книзу, через весь город, кривая неширокая улица. Идет она к Черному озеру. В конце ее, за погостом Воскресенской церкви, на откосе горы разбросаны там и сям деревянные ларь, лавки. Это — Житный торг. Дальше по откосу, у самого озера, закоптелые курени. Здесь, бывало, с утра до ночи шла оживленная стряпня: блины, студень, лапша, пельмени. А вот вблизи дома купца Осокина — «Серебряный кабак». Пугачев хорошо помнил место: не раз он пилил здесь для кабака дрова в паре с арестантом Дружининым, с которым и бежал из казанского острога.

Атаманы помогли Пугачеву подняться на высокое дерево. Вид открылся много шире. Под зарю розовела Волга. По Арскому полю и дальше, к Волге, зеленели рощи с постройками и кой-где фруктовые сады. Золотились кресты шестнадцати городских церквей и монастырей. Тянулись замкнутым четырехугольником каменные гостиные ряды. Из серого мезива деревянных домов и лачуг высились там и сям каменные купеческие, не то помещицьи, постройки.

Все защитники города уже были на своих местах. Вот она — гимназическая батарея, о которой говорил вчера Минеев. Недалеко от батареи стоял корпус Потемкина, в нем, на взгляд, сот до пяти солдат да сотни две конных чувашей. Пугачев подметил, — ему об этом докладывал и Белобородов, — что город хоть и прикрыт батареями и обнесен на пятнадцать верст рогатками, однако же укрепления сделаны без уменья, наспех, открывалась полная возможность действовать здесь с тыла и с фланга.

Едва всплыло солнце в небе, к городу стали подходить пугачевские отряды. Армия была в полном порядке и построена в пятисотенные полки. Емельян Иваныч собрал в круг всех атаманов, полковников и держал к ним речь, как сподручнее сделать на город нападение. Офицер Горбатов стоял рядом с Пугачевым, в его руках развернутое голштинское знамя. После краткого совещания армия была разделена

на четыре части. Над лучшей из них, где были казаки, командование принял сам Пугачев, над второй — Белобородов, над третьей — Минеев, над четвертой — Творогов. Атаман Овчинников, недомогая в это утро, остался в лагере с резервами.

Среди армии разнесся слух, что, как только Казань будет взята, государь пойдет на Москву. Все подтянулись, поокрепли духом, и даже у вооруженных дрекольем обозначился молодцеватый вид.

Из кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжались сердца и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники готовились к бою, с трепетом взирая на огромные показавшиеся вдаль силы Пугачева. Дрогнув духом и «гимназический корпус», к коему присоединены были художники и еще ремесленники из немцев, проживающих в Казани. Учителя стояли по крыльям, а в середине, в две шеренги, ученики, — передняя шеренга с карабинами, задняя — с пиками. Всего было пятьдесят карабинов.

Потемкин из своего пятисотенного отряда выделил авангард в восемьдесят человек при двух пушках и расположил его впереди рогаток.

По улицам и переулкам житейская суэта еще не закончилась. Весь вчерашний день и всю прошлую ночь горожане стаскивали, свозили свое добро в погреба, в подземелья, в склады, в церкви. Но времени покончить с этим не хватало. И вот, под звуки сполоха, старики, женщины, дети продолжали еще тащить свой скрб в места, которые они считали безопасными. Всюду слышались раздернутые крики:

— Васятка, не отставай, сынок, не отставай! Где у ты корзина-то с едой?

— Дедушка Петрован! Подмогни мне тележку через мостки перетянуть.

— Тяжел у ты сундук-то, — кряхтит дед, налегая на тележку.

— Тяжел, бес его задави, упарил он меня.

И еще в разных местах, вплетаясь в начавшийся общий гул, звучали голоса:

— Поспешайте, поспешайте!.. Ох, вот наказанье-то господь послал...

— Теките, православные, в храмы божии. Запирайтесь там.

В широкие ворота женского Покровского монастыря дворня вносит на качалке престарелого генерал-майора Кудрявцева. Ему сто десять лет. Он отлично помнит Степана Разина, но уже не понимает того, что сейчас вокруг происходит. Он брит, броваст, лицо обрюзгло, на голове огромный парик.

— Подать сюда губернатора! Подать губернатора... Не позволю! — выкрикивает он капризным старческим голосом. — Его казнили. Стеньку Разина! Сам видал, сам видал!.. В Москве... Голову снесли!

Внук купца Сухорукова, тринадцатилетний Ваня, любопытства ради залез на крышу своего высокого дома, что на Арском поле. Рядом — Грузинская церковь, и все поле открыто его взору¹.

Утро začínалось доброе, погожее, однако ветер из-за Волги все больше набирал силы, не дай бог — пожар.

— Горим, горим! — с пискливым криком пробегает бородатый, в бабьем сарафане, дурачок Серега-бабушка. — Вся Казань горит!

— Замолчь!.. Эх что выдумал... Замолчь, Серега-бабушка! — кричат на него со всех сторон.

Купеческому внуку Ване наблюдать за всем этим с высокой крыши любопытно. Вот уж-ко он всем, всем порасскажет. Но занятней всего смотреть ему на то, как вдруг зашевелилась вражеская армия. А вот и сам Пугачев на белом большом-большом коне. Он, он, ей-богу! Его окружают нарядно одетые казаки, да и сам он как на картинке. Возле него голубое знамя полощется под ветром. Ой-ой-ой, какая же у Пугачева сила войска-то: подходят, подъезжают! А сколько башкирцев да калмыков с татарвой, у всех луки, копыя.

¹ Некоторые сцены даются на мемуарном материале «Сказание казанского купца И. А. Сухорукова о пребывании Пугачева в Казани» (см. Прибавление к «Казанским губернским ведомостям» за 1843 год, № 44).

Но вот Пугачев приподнялся на стременах, огляделся во все стороны, широко взмахнул рукой, что-то крикнул. Затрубили в рожок, ударили в барабаны, и все люди, конные и пешие, тотчас направились вперед и в стороны. По Арскому полю местами в пяти двинулись длинными линиями огромные телеги с возами сена и соломы. Телеги подталкивались сзади народом. Меж возами тянулись пушки, а сзади возов укрывались сотни пугачевцев.

Загрохотали пушки. Крыши начали вздрагивать, и все в глазах Вани закачалось. Воинственный пыл ударил ему в голову. «Вот сейчас слезу, побегу. Кто будет побеждать, к тому и пристану...»

— Ваня, Ваня! Слезай живей! — запыленно кричал снизу его родной дедушка.

И вот они вместе с дедом бегут спасаться в ближайшую Грузинскую церковь. Она вся набита народом. Горы сундуков и узлов с имуществом. Через окна в алтаре льются лучи восходящего солнца. Все духовенство — в простых рубахах, в штанах, босиком, чтоб не узнали мятежники, — сидит на узлах среди прихожан. Слышатся шепоты, стенания, вздохи. Все притаилось. Пушечная пальба сотрясает церковные стены. Народ то и дело падает ниц. Здесь и там слышится молитвенное:

— Пресвятая богородица Грузинская, спаси нас!

Ваня видит через окна, как над куполом носятся голуби. А дедушка Вани, старик Сухоруков, спешно ушел из церкви в свой дом: там остались на стене занятые часы с кукушкой, — дед хочет доставить их в церковь.

Отряды Белобородова и Минеева, под прикрытием возов соломы и сена, прошли Арское поле, заняли рощу помещицы Нееловой и отдельные домики, стоявшие по сторонам сибирской дороги.

Белобородов стал окружать с трех сторон потемкинский авангард, возглавляемый полковником Неклюдовым. Авангард встретил Белобородова ружей-

ными залпами и пальбой из двух пушек. Пугачевцы падали, но, позабыв страх, дружно шли вперед. На помощь к Неклюдову двинулся сам Потемкин, но, видя, что пугачевцы, не боясь урона, заходят с обоих флангов, подал команду отступить за рогатки. Началась горячая перестрелка. Сотни башкирских стрел с гудящим воем летели в защитников. На городских батареях не было при пушках хороших канониров, поэтому пушки стреляли по пугачевцам неумело и вяло. Оробевшие солдаты тоже плохо отстреливались.

Потемкин с ротой отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался в окружении свиты Пугачев. Он на крупном белом коне, в красном с позументами жупане, в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали наперекосях к Рыбачьей слободе, где шел жестокий бой. Судя по взятому ими направлению, они должны были промчаться невдалеке от засады.

— Ребята! — радостным голосом закричал Потемкин. — Это Пугач! Пали в него!

— Ррро-о-та! — передали команду офицеры.

Стрелки, лежа грудью на валу и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Острия штыков утавились прямо на переднего всадника.

— Пли! — скомандовал выскочивший на вал Потемкин

— Пли! Пли! — подхватили команду офицеры.

Пугачев скакал впереди своей свиты, совсем близко от засады. Видя лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане, солдаты враз оторопели. Их сковала непонятная сила и какое-то волшебное очарование. И, словно по уговору, ни один солдат не осмелился выстрелить в него.

— Пли, сволочи! — вне себя заорал Потемкин и грянул по всадникам из пистолета. Пугачев на всем скаку повернул в его сторону лицо и, грозя вскинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма.

Растерявшийся Потемкин не мог теперь поручиться за солдат своих. Тем временем белобородовские молодцы продолжали наступать на потемкинцев с

устрашающим гвалтом, визгом, ревом — качался воздух, звенело в ушах. Потемкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в кремль.

Отряд офицера Минеева успел занять загородный губернаторский дом и двинулся дальше, к «корпусу гимназистов».

— На изготовку! — прозвучала команда. — Не трусь, молодцы! Помни присягу.

«Корпус» защищался отчаянно. Гимназисты, толстяк Мельгунов с черноглазым Михайловым, сначала перепугались, затем позабыли о всякой опасности. Они успели выпустить из карабинов по десятку пуль, затем принялись защищаться тесаками.

— Руби косоглазых! Руби сволоту! — не помня себя, орал юный толстяк Мельгунов, размахивая тесаком. — Михайлов, бей!

Но вот что-то оглушило его ударом в голову, он упал и был тут же заколот копьем башкирского всадника.

Следом замертво пали два дворовых человека фон Каница, два учителя, четверо немцев; несколько гимназистов было ранено стрелами, слегка ранен и директор. Вскоре «корпус» дрогнул, побежал, рассыпался по полю.

— Воспитанники! За нами, к кремлю, к кремлю! — сзывал их фон Каниц и двое уцелевших офицеров.

Прорвав цепь гимназических рогаток, отряд Минеева оказался в тылу ближайших к этому месту защитников.

Пугачев вел нападение на левый фланг обороны, где сражались жители Суконной слободы. Защитники пальнули в нападавших из единственной чугунной пушки, в которую, по незнанию, переложили пороху, орудие разорвало, четверо пушкарей было изувечено. Тогда суконщики схватились за железные ломы, самодельные копыя, сабли. Пугачев приказал открыть по слободе огонь картечью. Слобода была взята, защитники ударились в бегство. Но большинство рабочих-суконщиков тут же передалось Пугачеву.

Глядя на опрокинутый «гимназический корпус» и на побежавших суконщиков, главные караулы и места защиты, еще не видя на себя нападения, впали в такую робость, что побросали пушки, оставили неприятелю весь снаряд и без всякого порядка, опрометью кинулись спасаться в кремль.

Под неослабевающим напором белобородовцев спешно двинулся к стенам крепости и генерал-майор Потемкин с остатками своего отряда в триста человек при двух пушках. Часть его солдат и почти все конные чуваша также передались «царю-батюшке».

Торопливо утекавший Потемкин не имел возможности захватить с собой находившихся в городской тюрьме заключенных, среди которых было сто семьдесят арестованных по многим местам пугачевцев, уже побывавших на допросах секретной комиссии. Общее число арестантов было велико, и Потемкин не напрасно опасался, что, передавшись Пугачеву, они изрядно увеличат его силы. Из этих соображений он проявил необычайную жестокость, приказав караульному офицеру: «В случае опасности, не щадить жизни заключенных и не оставлять их мятежникам». Многие колодники были заколоты, однако большая часть их все-таки вырвалась на свободу.

Толпы пугачевцев с разных сторон хлынули в город, опрокидывая, преследуя, забирая в плен остатки защитников. Дома купцов по Булаку — Крохина, Жаркова и прочих, а также купеческие амбары и баржи с грузом царь запретил грабить; возле подъемного жарковского моста стояло множество караульных крестьян. Среди них расхаживали одетые в мухояровые кафтаны вооруженные купеческие приказчики.

— Прочь, прочь! Нет проезду! Государем не приказано! — покрикивала стража на появившихся башкирских и калмыцких наездников. Они останавливались, крутили нагайками и поворачивали обратно.

И как только хлынули пугачевцы в город, снова пошла пальба из пушек, ружей, поднялись крики: «Режь, коли!» По Грузинской улице бежал к кремлю отряд генерала Потемкина, отстреливаясь кое-как от наседавшего врага, Картечь барабанила в купола и

стены Грузинской церкви. Спасавшиеся там люди пришли в неизъяснимый страх. Ваня Сухоруков сидел на кованом сундуке, между плачущей матерью и бабушкой. Так продолжалось часа два.

— Кричат, чу, кричат!! К нам лезут! — испуганно говорил Ваня.

В дверь действительно ломились со всей силы, и было слышно:

— Отпирай! Мы вас не потрожим!.. Не то ворвемся, всех смерти предадим!

Началась стрельба в окна. Зазвенели стекла, посыпалась штукатурка. Тогда решили открыть обитые железом двери. И вот пугачевцы, почти сплошь крестьяне, руководимые освобожденными колодниками, вломилась в храм.

— Выходите вон! Эй вы, пленные!.. Вон, вон отсюда! — галдели они, потрясая топорами.

Люди покидали церковь нехотя, оглядывались на оставляемое свое имущество, тяжело вздыхали и постанывали. Ваня притаился за «казенкой», где обычно торговали свечами. Он видел, как двое взломали сундук, набитый дорогими иконами в серебряных окладах. Они ни одной иконы не взяли, сундук хлопнули.

— Мальчишка, уходи! — услышал Ваня и поспешил вон из церкви. На улице его сразу оглушили шумы. Пальба еще не кончилась. По дворам мычали всполошившиеся коровы, кудахтали куры, крякали утки, рев пешей толпы сотрясал воздух, гортанно гикали и пронзительно свистали разъезжавшие с нагайками калмыки в войлочных остроконечных шапках. Хлопали всюду калитки, дзинькали, сыпались градом из разбиваемых рам стекла, скрипели тяжелые ворота, из окон летели на улицу одеяла, утварь, подушки, скарб. Хозяев выгоняли на улицу, в общую толпу пленных, направляемых под охраной в лагерь. Над Арским полем, над кремлем, над городом темным облаком с граем табунились галки, вороны.

Начинались пожары. Ярko горели гимназия и Суко́нная слобода. Окрепший ветер подымал по дорогам

пыль, гнал пламя на город. Вспыхнули высокие и обширные триумфальные ворота, через которые семь лет тому назад торжественно въезжала в город «казанская помещица» Екатерина. От ворот огонь перебросился на соседнее питейное заведение и на прочие дома Грузинской улицы. Ветер подхлестывал огонь, швырял горящие головни на деревянные кровли. Шумливая толпа, опасаясь пожара, начала подаваться к Арскому полю.

По улице, где проходил мальчонка Ваня, валялось много побитых русских, башкирцев, татар. В переулке, вблизи церкви, он увидел среди дороги убитого дедушку. Старик Сухоруков, бритый, одетый в немецкое платье, очевидно был принят за барина и умерщвлен. Мальчик с отчаянья завыл и закрестился, из глаз его текли слезы. Он вскоре нагнал толпу пленных и разыскал там своих. Пленных вели через Арское поле. Горожане, ища спасения, все еще устремлялись к кремлю, но Спасские ворота принимали не всех, а по выбору.

Древнему генералу Кудрявцеву, скрывавшемуся в женском Покровском монастыре, люди говорили:

— Давайте, барин батюшка, мы вас отнесем в кремль. Там все начальство.

Но столетний старчище отказался.

Монастырский собор, как и все церкви города, был полон людьми. У левого клироса особо стояли, со своей игуменьей во главе, перепуганные монахини. Вблизи генерала Кудрявцева усердно молилась опечаленная Даша, приемная дочь полковника Симонова. Круглое, чернобровое, с оттенком душевного страдания, лицо ее в слезах. Даша в темном траурном платье. Она все еще скорбит о своем пропавшем без вести Митеньке, сержанте Дмитрие Павлыче Николаеве, сердечная рана ее не заживет. Если не сыщется Митя, Дашенька твердо решила остаться в стенах этого монастыря, принять постриг, сделаться монахиней. А если судьба вновь приведет встретиться ей с Пугачевым, она упадет перед ним на колени и в последний раз спросит: где же он, ее Митя.

Пугачев тем временем, окруженный близкими, гарцевал на белом коне. Показывая нагайкой в сторону кремля, он что-то говорил офицеру Минееву. Вдруг сквозь гул и шум он услышал чутким ухом детский голос:

— Мамка! Глянь, тятенька на коне...

Пугачев повернул в ту сторону. И видит: Софья, Софья Митревна, жена и все его семейство! Как? Здесь? В Казани? Кровь отхлынула от головы Емельяна Иваныча и снова с силой ударила в виски.

— Ах змей, супостат лихой, собака... — заругалась Софья, прикрывая ладонью глаза от солнца и уставясь на бывшего в отдаленье мужа.

И уже дальше ждать было невозможно: баба глупа, болтлива, выдаст его!.. Он рванул узду, вмиг подлетел к Софье Митревне и, сделав страшное лицо, прошипел:

— Помни, я — царь... Не муж твой, а ты не жена мне... Пикнешь — голову срублю!

И тотчас же отъехал прочь. Софья крепко стиснула зубы и, как пьяная, зашаталась. Подъехав к своим и указывая на женщину с ребятами, Пугачев, едва сдерживая дрожавший голос, сказал:

— Подайте вон той бабе с ребятами телегу да отвезите к моей палатке. Она жена приятеля моего, а он, бедная головушка, замучен во имя меня в тюрьме под розыском... Я не оставлю ее.

И, обратясь к казачьему отряду и к Минееву:

— Детушки! Айда за мной в крепость! Как бы зевка не дать. Где Федор Чумаков? Пушки забирай, пушки!..

Все — яицкие казаки, часть башкирцев с татарами, конные горнозаводские работники, — вытянув коней нагайками, поскакали через город за Пугачевым и Минеевым. Но крепость захватить врасплох уже не удалось. Спасские ворота были заперты, завалены камнями и бревнами. С крепостной стены навстречу пугачевцам загрохотали пушечные выстрелы.

Пугачев только за ухом почесал и обругался. Затем, действуя со всей расторопностью и сметкой, он занял гостиный двор, расположенный на удобном месте, вблизи крепости, и начал готовиться к обстрелу кремля. Он самолично расставлял и наводил захваченные у защитников, а также и свои орудия. Минеев же со своим отрядом забрал тем временем девичий Покровский монастырь — удобную позицию для обстрела крепости.

В монастырскую церковь ворвалась толпа: башкирцы, калмыки, крестьяне и мещане из раскольников, все в шапках. Укрывшихся здесь до двухсот монахинь, а также людей посторонних погнали вон. Некоторые из раскольников с калмыками вбежали в алтарь, стали срывать с икон дорогие оклады.

Древний генерал Кудрявцев, видя бесчинство, затопал ногами. Седые, хохлатые брови его ощетинились, выцветшие, потухшие глаза засверкали по-молодому; опираясь на две палки, он кой-как поднялся и, содрогаясь согбенным телом, закричал:

— Злодеи! Изменники! Как смеее вы дерзать против своей государыни, осквернять храм божий?

В ответ загредел дикий хохот, и старик тотчас был поднят на пики.

Стоявшая вблизи Даша от ужаса всплеснула руками, крикнула, без чувств повалилась на пол.

Минеев приказал игуменью с монахинями и весь народ отвести под караулом на Арское поле. На церковной паперти он поставил две пушки и открыл пальбу по Спасскому монастырю, находившемуся в крепости.

В стены этого монастыря била и батарея Пугачева. Крепость отстреливалась. Емельян Иваныч с Горбатовым и Перешибь-Нос перебежали от пушки к пушке. Пущенное с крепости ядро ударило возле самой батареи в стену — с шумом и грохотом посыпались кирпичи.

— Метко, — сказал Пугачев и велел людям перекатить две пушки в другое место. Он залезал на крышу, зорко присматривался к крепости, к разгоравшемуся пожару, но в мыслях то и дело вспыхивал образ

Софьи, и его сердце замирало: баба может головой выдать его и погубить перед народом.

Потемкин сквозь амбразуру стены всматривался в подзорную трубу в то место гостиного двора, откуда гроыхали пушки.

— Боже!.. Что такое?.. — воскликнул он, заметив развевавшееся там голубое с черным орлом знамя государя Петра Третьего. — Скорей всего я брежу... — Он, как и все вокруг него, провел бессонную ночь и едва держался на ногах.

Солнце стояло в зените, но его сияние затмевали густые черно-сизые тучи дыма. Почти сплошь деревянный город одновременно подожден был в двенадцати местах. Раздуваемый крепким ветром, огонь гулял по всему широкому простору, перебрасываясь с жилища на жилище. Едкий дым, насыщенный пеплом и горящими головнями, валил через бушевавшую толпу к горе, прямо на крепость. Да и языки пламени, там и сям возникавшие, постепенно подбирались к кремлю грозным шквалом. Войскам и набежавшим в кремль жителям час от часу становилось тяжелей. Было жарко, дымно, душно. От перекинутых головешек стали загораться в кремле деревянные постройки. С Черного озера и Казанки ведрами таскали воду. Все деревянное в крепости народ принялся ломать, с кирпичных келий сбрасывать тесовые крыши.

Подвалы Спасского собора, монастырских зданий и присутственных мест битком набиты спасавшимся людом. В соборе непрестанно шло молебствие. Стрелы, пули, ядра летели через стены в самую крепость. Были убитые, было немало раненых среди солдат и жителей.

Крепостные пушки, сотрясая дымный воздух и стены, продолжали пальбу по пугачевцам, солдаты стреляли из ружей. Шла упорная борьба, и все тяжелее становились бедствия осажденных. Слышались стоны, крики о помощи, плач ребят, рыдания женщин.

Горожане, которым за многолюдством уже негде было спрятаться, перебежали с места на место, ища спасения. И только у самой часовни седобородый старик простолюдин, с длинными волосами и в холщовом

фартуке, сидел спокойно на камне, привалившись спиной к стене. Сгорбившись и проворно работая кочедыком, он плел липовые лапти, не обращая ни малейшего внимания на царивший вокруг содом. Вдруг шальное ядро ударило в стену над головой его, полетела штукатурка, кирпичные осколки, ядро расколосось, упало. Старик вскинул опущенную в работе голову, перекрестился, сказал: «Да будет, господи, воля твоя», — и, как ни в чем не бывало, продолжал стараться над лаптем.

В этом эпическом спокойствии седовласого человека было столько покоряющей силы, что многие, приглядевшись к нему, вдруг находили в себе способность возвращать сердцу успокоение, голове — ясные мысли.

Губернатор Брандт в обществе старших чиновников, двух генералов, членов секретной комиссии и своего приятеля польского конфедерата помещался в безопасной комнате губернского правления. От старости, чрезмерных забот и тревожений ему нездоровилось, он лежал на кожаном диване, маленькими кусочками глотал лед — против поднявшейся икоты; его испещренную набухшими жилами руку держал доктор, отсчитывая пульс.

На вершине башни Сумбеки стоял со своим молодым адъютантом насмерть перетрусивший генерал-майор Потемкин. Он притворялся храбрым и воинственным, но руки его тряслись, длинные в ботфортах ноги подрыгивали. Со страхом смотрел он в сторону пожарища.

Пожирая на своем пути все деревянное — дома, мечети, заборы, избы, — островки пламени ширились, стекались в один бушующий поток. Дым, дым, дым и, словно потешные огни, фонтаны искр. Кой-где пожар затихал, кой-где занимался с новой силой. Упругий ветер дул на кремль с Волги не утихая. По еще не загоревшимся улицам и на Проломе сновали пугачевцы. Крепость со всех сторон окружена была башкирцами, калмыками, яицкими казаками. Укрываясь за ближайшими строениями, они пускали в крепость через неширокую площадь стрелы, пули. Пушки

Пугачева продолжали громить твердыню Спасского монастыря, поражая вместе с тем и ветхие крепостные стены.

Потемкин на башне поворачивался в сторону Волги. Видит: широкая луговина, местами поросшая кустарником и рощами; на зеленом лугу зеркально поблескивают мочежины, озерки, наполненные стоялой водою, пасется бурое издали стадо коров, табун лошадей скачет невесть куда сломя голову. Тихая Казанка извивается, подкатывая свои воды к самой крепости. И еще видит Потемкин: спешит от Волги к городу гурьба людей, — пойдут, пойдут да побегут. Он присмотрелся в трубу: бурлаки с волжских караванов.

Внизу, в набитом людьми кремле, покрывая и путая уже привычный слуху Потемкина гул мятущейся толпы, вдруг раздались бунтовские голоса:

— Мирянушки! Сдавайся! Айда ворота открывать! Эй, солдаты!

И среди солдат:

— Братцы! Он так и так нас возьмет... Сгорим здесь! Чего же начальство смотрит?

— Эй, начальники! — кричат из толпы зычно. — Надо с крестами выходить, с крестами! Пойдем к владыке Вениамину... Айда губернатора просить...

И по всему кремлю с крыш, со стен, с камней, из подземелий гудело:

— Сдаваться, сдаваться! Ворота открывать!

— Гарнизону не защитит нас! Дым очи выедает!.. Огонь, огонь идет!

— Сдава-а-ться!!

Потемкин, свесившись с башни, неистово заорал:

— Молч-а-ть! Всех пе-ре-ве-шаю!

Но его брошенные в шум, в гам слова не долетели до земли, их подхватил ветер и понес на опаленных крыльях встречу бегущим луговиной бурлакам.

Только подвыпивший шорник, одетый в опорки, в рвань, услышал генеральские слова. Задрав голову вверх, он по-цыгански свистнул и свирепо закричал:

— А ну, слазь! Мы тебя самого вздернем! — Затем, погрозив Потемкину вскинутыми кулаками, —

мол, на-ка, выкуси! — нырнул в шумливую толпу. Потемкин, подметив этого раскоряку-мужика, окончательно перестал владеть собою. На соборном крыльце вдруг появилась его долговязая и тощая фигура. Бледное лицо генерала было страшно, серые раскосые глаза метали огонь, голос пресекался и хрипел.

— Этта-а что? Бунт? Сми-и-ррна! Повесить!.. Двоих повесить! Я вам покажу, так вашу так! — скверно выругался и скоро-скоро пошагал, окруженный конвоем, к зданию присутственных мест.

Провожая Потемкина злобными взглядами, толпа снова зашумела. Урядники и стражники хватали крикунов за шиворот, вязали им руки. На ближнем дереве появились две веревочные петли, а вскоре закачались тут двое: пожилой, суконной фабрики работник, в очках, да молодой кудрявый ямщик с серьгой в ухе. При совершении казни многие попадали ниц, иные стояли, крепко сжимая кулаки. Недобрый, пугающий гул шел по толпе. Сидевший неподвижно у часовни старик поставил возле себя готовый лапоть, перекрестился и сказал:

— Вечная вам память, страдальцы! Это Лукьянов да Кешка, ямщикок. — И к народу: — Не бойтесь, не страшитесь, миранушки, убивающих тело, души же губити не могущих... — Еще раз перекрестился, смахнул слезу и принялся за новый лапоть.

А к Казанке поспешали бурлаки.

— Не отставай, робята! — кричали они, перебегая по мосткам через речку. Вслед, кучками, они поднялись по взгорью, миновали крепость и направились по улице, называемой со времен Ивана Грозного «Проломы».

— Где царь-батюшка, где он, заступник наш? — спрашивали они встречных пугачевцев. — Нам вестно, что тута-ка он... Робята! Эвот знамя-то, флаг-то... Сыпь туды!

Сыскав наконец Пугачева, все, до сотни человек, опустили на колени в дорожную пыль, смешанную с леплом и остывшими углями.

— Здорово, детушки! — окинув бурлаков приветливым взором, прокричал Пугачев. Лицо и одежда его запачканы сажей. Он в шелковом полукафтани, на груди звезда. — Встаньте! Кто такие и откуда?

— А мы хрестьяне, батюшка, ваши государственные хрестьяне, — поправив холщовую повязку на голове, ответил плечистый, заросший волосами дядя. — В бурлаках, свет наш, в бурлаках ходим. Дворянина Демидова посудыны с товарами вверх тягаем, его, его... На Макарьевску ярмарку, да вот запозднились.

— Какой да какой товар плавите? В каком месте посудыны на приколе? — спросил Пугачев.

— А в наших шести баркасах — железо демидовское листовое, да шинное, да круглое... А вот эти ребята графа Строганова соль везут с Солей Камских. А посудыны мы причалили под Услоном-селом, на том берегу, батюшка. Весь караван там — посудин, никак, с двадцать. А сами-т на челнах мы сюда, на челнах, отец родимый, на челнах.

— Ну, так чего же вы, детушки, удумали?

— А удумали мы, надежда-государь, к тебе поклониться. Как проведали, что здесь-ка ты на раздольице гуляешь, остановили караван да мирской круг скликали. И обсудили на миру — дворянские товары бросить, а тебе всей нашей силушкой подмогу дать! — выкрикивали они, потрясая топорами и железными, демидовского изделия, палицами.

— Благодарствую, — сказал Пугачев, и в глазах его проблеснула радость. — А теперь, детушки, идите в мой лагерь на Арское поле да ждите моего прибытия. А я немедля человека своего в Услон спосылаю с указом по деревням, чтобы сельчане разбирали соль да железо моим царским именем, безденежно...

— Верно, верно, батюшка! — закричали еще голосистей бурлаки.

Подле гостиного двора становилось жарко. Пугачев приказал Чумакову и Горбатову перенести батарею на другое место, а сам поехал в лагерь передохнуть, собраться с мыслями.

По переулкам и улицам, еще не застигнутым пожаром, гнали пленных, двигались взад-вперед пугачевцы, кой-кто из них с узлами и в странных одеяниях. Вот две пары калмыков и пара башкирцев, все одеты в церковное облачение: в ризы, в стихари и рясы, а иные — в женском платье. На голове старого бабая красная, расшитая золотом митра. За крестьянином, прытко шагавшим с наживой, бежала охотничья собака — сеттер, сердито на него лаяла, хватала за портки. Кой-где дрались пьяные или, обняв друг друга, орали песни. По дороге и вдоль заборов валялись убитые.

Навстречу Пугачеву беспоясый белобрысый парень вез на ручной тележке дряхлого старика. Вот он остановился, дает старику из бутылки молока, приговаривает:

— Родной мой тятенька, потерпи. Там полегчает тебе.

— Куда везешь? — спросил с коня Пугачев, поравнявшись с парнем.

— В церкву, на отсидку... А то, вишь, горит кругом, а родитель-то занедужился.

— Какого званья?

— Кто, тятя-то? Он суконных дел мастер, а я слесарь при заводе, при купецком.

— Заверните-ка сюды телегу! — приказал казакам Пугачев. И когда подвода подкатила, он велел парня с отцом отвезти в лагерь и там напоить, накормить их. — Мастера, вишь.

Пугачев со свитой двинулся дальше. Парень стоял в остолбенении.

— Это кто жа? — спросил он казака.

— А это, дурья твоя голова, сам государь, — ответил казак беззлобно.

Парень вдруг сорвался с места и, суча локтями, со всех сил бросился за Пугачевым. Но догнать того ему не довелось: Пугачев подстегнул коня, надал рысью. Парень вернулся к отцу, что-то сказал ему на ухо, и оба закрестились в сторону удалявшегося Пугачева.

Тем временем Потемкин расположился в присутственном месте, рядом с комнатой, где помещался Брандт. Потемкин был в отчаянии. Он злился на Брандта, на Михельсона, что вовремя не подоспел, злился на казанских жителей, мятежно настроенных, склонных к измене, сильнее же всего злобствовал на самого себя. Да, поистине нет ему ни в чем удачи, фортуна отвернулась от него, ему никогда не везло и в картежной игре, не везет и теперь, в эту отъявленную смуту. А что, ежели Михельсон промедлит, а черные силы завладеют крепостью? Эх, прощайся тогда, Павел Сергеич, с жизнью. А ведь жизнь-то какая предстоит, подумать только: знаменитый троюродный брат его — любимец императрицы!.. «Несчастливая ж голова моя, — терзался Потемкин, обхватив руками виски и прислушиваясь к шуму битвы и пожара. — Глупая голова, незадачливая голова. И что я наделал, хвостун, в донесении императрице?! Клялся и божился, будто Пугачев и носу не покажет в Казань, и вот Казань горит. Обещал я также выйти встречу злодею и поразить его, но вот убегаю сам, трусу подобен. Неужели звезда моя, не успев разгореться, закатилась, неужели позорная на всю Россию смерть?»

Предвидя полное крушение своей карьеры, а может, и жизни, он приказал подать перо и бумагу, выслал адъютанта, остался в горнице один. Перекрестился, вздохнул и принялся писать Григорию Потемкину: выгораживая себя, чернить других.

«Я в жизнь мою так несчастлив не бывал, — писал он, — имея губернатора, ничего не разумеющего, и артиллерийского генерала-дурака. Теперь остается мне умереть, защищая крепость. И если Михельсона не будет, то не уповаю долее семи дней продержаться: со злодеем есть пушки, и крепость очень слаба. Итак, осталось одно средство — при крайности пистолет в лоб, чтобы с честью умереть, как верному подданному ее величества, которую я, как бога, почитаю. Повергните, братец, меня к ее священным стопам, которые я от сердца со слезами лобызаю. Бог видит, сколь ревностно и усердно ей служил. Прости, братец, если бог

доведет нас до крайности... А самое главное несчастье, что на наш народ нельзя положиться».

Имея в своем распоряжении воинскую силу, ничуть не меньшую, чем у Михельсона, этот будущий царский лизоблюд сидел в каменных стенах крепости и поджидал спасения извне.

Однако генерал-майор Потемкин своим письмом прекрасно потрафил в намеченную цель: всесильный фаворит полученное им послание представил Екатерине, замолвил за родственника нужное словечко, и вот в скором времени, через одиннадцать дней, получился результат. В собственноручном письме-экстре Екатерина сообщила: «Дабы вы свободнее могли упражняться службою моею, к которой вы столь многое показываете усердное рвение, приказала я заплатить вместо вас, при сем следующие возвратно к вам 24 векселя, о чем прошу более ни слова не упомянуть, а впредь быть воздержаннее».

Вот и отлично: замест гневного высочайшего выговора погашены долги, можно делать новые. Да здравствует премудрая Екатерина!

В дверь постучали. Вошел осанистый иеромонах, поклонился, сказал:

— Ваше превосходительство! Владыка Вениамин отпел благодарственный молебен в соборе по случаю некоего затишния злодейского стрельбища и желал бы совершить в кремле крестный ход с крестами и иконами, дабы укрепить дух как защитников, так и богоспасаемого народа...

— Рад слышать... Дальше-с?

— Владыка послал меня предупредить вашу милость, чтобы вы, услыша благовест и большой трезвон, испугу не предались.

— Кто, я?! — Потемкин побагровел, поднялся и гневно произнес: — Передайте владыке, что я не так уж слаб душевно, как он думает... Вы лучше предупредили бы губернатора, чтобы сей кавалер со страху не испустил дух.

— Его высокопревосходительство уже в соборе.

Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном

1

После торопливого обеда Пугачев быстро прошел в палатку Софьи, разбитую в нескольких шагах от его собственной.

— Ну, здравствуй, Митревна, — обнимая жену, сказал он, сколь мог, ласково, но с тревожным холодком и отчужденностью. Затем поцеловал ребят.

Они одеты бедно, платьишки обветшали, выцвели, ноги босы. Трошкина рубашонка подпоясана лычком. Софья в грязных чулках и старых чоботах. Когда-то красивая, работающая казачка, она поблекла, захирела. Лицо удлинилось, щеки ввалились, губы утратили сочность. И ранняя седина начала серебрить темные волосы. Да, есть от чего поседеть, поизноситься!

Трошка, чуть набычившись, с любопытством рассматривал большую светлую звезду на груди отца, девчонки, застенчиво ужимаясь, никли к матери.

Пугачев, насупившись, стал расспрашивать Софью, каким случаем она здесь, в Казани, очутилась? Софья Митревна упавшим голосом отвечала ему, как она с малыми ребятами ходила по Зимовейской станице меж дворов, Христовым именем собирала милостыню, как затем ее схватили, увезли в Казань и бросили с детьми в тюрьму, стали выпускать на базар с приказом «срамить тебя и разглашать народу, что ты муж мой, что ты простой казачишка с Дону, бродяга Емельян Пугачев».

— Вот что, Софья, — нетерпеливо взмахнув рукой, начал Емельян Иваныч. — Неисповедимым промыслом божием народ признал меня за царя и в том утвердился. Чуешь? (Жена, вздрогнув, опустила голову, из глаз ее брызнули слезы.) Не плачь и не кручинься, — подавив вздох, продолжал Емельян Иваныч. — Теперь помни: я тебе не муж, а царь твой, и ты не жена мне. Ты есть вдова Емельяна Пугачева, казака, дружка мо-

его. Покудов я, низверженный царь Петр Федорыч, в рабском виде скитался по Руси, оный Емельян был схвачен и на пытке замучен замест меня. Крепче запомни, что говорю, Митревна. (Тут, поняв смысл его слов, жена и дети, что повзрослей, изумленно воззрились на него, а у Трошки дрогнул подбородок.) А ежели станешь языком брякать, — засверкав глазами, закончил шепотом Пугачев, — либо от моей руки голова твоя с плеч, либо атаманы мои смерти предадут тебя и ребят твоих с тобою вместе. Поняла ли?

— Поняла, Омельянушка, — побледнев, шепотом же откликнулась Софья.

— А поняла, так помни...

Пугачев порывисто повернулся и вышел вон. Сердце его дрожало, в ушах гудело, он дышал вздохом, отдувался. Справившись с собой, приказал Давилину позвать Ненилу и в его присутствии сказал ей:

— Слышь-ка, Ненилушка. Бабу с ребятами, кою седни доставили сюда, ну... в палатке... рядом... Ты корми ее и ребяток малых, Ненила, от моего царского стола. Она, ведаешь, жена первого друга моего, казака Пугачева, кой, укрываючи меня, осударя, в скитаниях моих, богу душу за меня отдал, царицыны слуги замутили его, бедного... А мне сам господь препоручает то-ликое попечение о сиротах иметь. Я не оставлю их.

Подобное же приказание получил и казак Фофанов, хранитель царского имущества: все сирое семейство одеть, обути.

Затем Емельян Иваныч, не отдохнув, снова на рысях вернулся в город.

Пожар подкрался к самой крепости и тут вдруг начал затихать.

Но вот налетел вихрь, рванул, закрутил, зашвырялся огнем и пеплом. Огонь вновь сразу воспрянул. Стройные минареты пламенными столпами вздымались к задернутому дымом небу. Опаленная пыль с дорог, смешанная с пеплом и дымом, завихаривала, гуляла над пожарищем. Все выло, металось, гудело, все бежало прочь в поисках спасения. Летучие пылающие головни, подобно огненным драконам, расшвыривались вихрем в разные стороны. Пугачевцы начали

отступать в укромные места, где пожар уже сделал свое дело. Однако пушечные выстрелы, приглушенные общим гулом, слышались как со стороны мятежников, так и ответные — с крепостной стены.

В кремле становилось нестерпимо жарко, душно. В кремлевских зданиях лопались стекла, воспламенялись рамы. Люди валялись на землю. Возле ведер с водой драка.

— Воды, воды глоточек! — зывали истомленные. Кремль то покрывался тучами дыма и становился невидим, как сказочный город Китеж, то, под ударами бури, вновь выплывал на свет.

Вот вихрь крутнул, крутнул в последний раз и так же внезапно, как возник, сложил крылья, замер. Стало тихо. Изнемогший огонь припал к земле и, как пожравшее себя с хвоста до головы чудовище, исходил ползучим дымом.

Пожар осветил всю площадь перед крепостью, теперь можно было вести обстрел из пушек на большое расстояние, и пугачевцам некуда укрыться.

Емельян Иваныч, щадя силы, отменил брать крепость штурмом. Он убедился, что крепостная артиллерия стреляет дальше, чем его немногочисленные пушки. Да и зарядов у него не так уж много, их надо поберечь для схватки с Михельсоном, который не сегодня-завтра должен подойти сюда: в этом Пугачев не сомневался.

Конные башкирцы и калмыки с гиком подскакивали к крепости, пускали стрелы и под картечными выстрелами, теряя людей и лошадей, откатывались прочь. В кремле басисто гудел могучий благовест раскаленного большого колокола. Из двух соборов — Благовещенского и Спасского — выходил народ и крестный ход. И вот залился трезвон во многие еще не остывшие от близкого пожарища колокола. Престарелый Вениамин, окруженный клиром и жителями, чинно шел вдоль крепостных стен. Всем миром пели богородичные тропари. Люди, усердно крестясь и вздыхая, плакали. Плакали люди оттого, что не ведали, что им сулит приближающаяся ночь, они ожидали ежечасного нападения, готовились к смерти. Да и вер-

нуться многим было некуда, одеться не во что: все расхищено, все пожрал огонь.

Было шесть часов вечера. Вышел из укрытия воинственный Потемкин, он снова взобрался на башню Сумбеки и чрез трубу осматривал пожарище. Кроме каменных построек, города почти не существовало. По самую Егорьевскую улицу в нем не осталось ни кола ни двора. Уцелели только части Суконной да Татарской слободы да купеческие постройки по Булаку.

Большинство населения было выгнано на Арское поле. Казань опустела. Над погорелыми просторами снова стали табуниться галки и вороны. Пугачевцы по приказу командиров постепенно оставляли город, выстрелы прекратились.

Ваня Сухоруков всем пережитым был подавлен. Особенно поразил его детскую душу невиданный пожар. Вот-то страх! Он забыл и про смерть своего любимого дедушки. Под вечер Ваня, да и его мать с бабушкой Ульяной сильно проголодались. Ему, малышу, разрешили выйти из огромного лагеря схваченных, и он пошел гулять по Арскому полю, переходя от костра к костру, в надежде поживиться чем-нибудь съедобным. Он подошел к трем казакам. Они из глинобитной самодельной печурки вынимали свежий хлеб. Он стал кланяться, просить кусочек. Они сначала пригрозили ему нагайкой, затем смиловались и дали четверть краюхи хлеба.

— Батюшка приехал! Царь, царь! — услышал Ваня раздавшиеся по полю крики. Он отнес хлеб своим родным, взял с собой корку и побежал к царской ставке.

Пугачев сидел возле своей палатки в кресле, принимал казанских татар. В его обширную палатку входили и выходили какие-то молодые женщины, одетые в немецкое платье. «Дворянки, должно, а нет — купеческие дочки», — подумал Ваня. (И так впоследствии, уже седовласым, записал в свои мемуары.) У другой палатки сидела на завалинке простая женщина, рядом с ней паренек да две девчонки. Возле Пугачева развевалось воткнутое в землю голубое с черным орлом знамя, при знамени смиренно стояли два казака с обнаженными саблями.

Татары подходили к Пугачеву друг за другом, — некоторых Ваня узнал: торговцы мехами, — целовали его руку, клали перед ним подарки: кто лису, кто цветной бешмет или полукафтаны, что-то говорили ему, жаловались, трясли головами, указывали в сторону сгоревшей Казани. Но их слов Ваня не слышал. Он и сам хотел подбежать и пожаловаться царю на свою обиду, он даже прикинул в уме, что должен был сказать: «Вот, мол, дедушку моего, ваше величество, приняли за барина и решили жизни». Но подойти не осмелился, только мордочка его плаксиво сморщилась. Ваня часто-часто замигал.

Солнце закатилось, спустился вечер, всюду зажгли костры, из города привезли пятнадцать бочек вина, разделили его по полкам, стали угощаться.

Пугачев самолично объезжал войска, благодарил народ за взятие Казани, просил и впредь грудью стоять за дело правое, никаких Михельсонов не бояться, брать пример с храбрых — яицких казаков, не щадить себя, слушаться военачальников, свято повиноваться государю.

Шум, песни, смех не умолкали до полуночи. Казаки плясали у костров. Лишь далеко выдвинутые секреты и дозоры не принимали участия в гульбе да под пушками, никуда не отлучаясь, чутко подремывали канониры: им настрого приказано быть готовыми на случай ночной тревоги.

В палатке, отведенной под канцелярию, за топорным, на козликах, столом сидели Творогов, Дубровский, Горбатов с Минеевым и при свете свечей строили воззвания к укрывшемуся в крепости гарнизону, а также манифесты к крестьянскому населению и еще указы на уральские заводы о скорейшей присылке пушек с зарядами.

Пугачев заранее приказал приготовить для «высочайшего» осмотра лагерь пленных. В сопровождении Овчинникова и небольшого конвоя он с наступлением сумерек поехал в лагерь. Он знал, что среди пленных много безвинно пострадавшей бедноты, которой надо оказать помощь. Хотя в казне Пугачева денег много, но он рассчитывал взять еще дополнительно у купцов

Крохина, Жаркова и других обещанные ими деньги. Вот он и направится к купцам, да, кстати, не грех ему и в баньке похвостаться веником, смыть с себя грязь и копоть: ведь у него не токмо полукафтаны, а и рубаха-то исподняя прожжена в десяти местах.

— Едет, едет! — заорали многогласо в таборе пленных. — К нам, кажись! Царь едет!

Началась сумятица, все сгрудились, опустили на колени.

— Детушки! — во всю мочь взголосил въехавший в толпу Пугачев. — Вы люди подъяремные, отныне будьте вольны. Все до единого!

— И так, батюшка, вольные, — угрюмые раздался голоса. — Ни кола ни двора таперича. Огонь все пожрал.

— А в оном зле сами, детушки, повинны. Ежели б честь честью встретили меня, государя своего, и Казань бы целехонька была. А вы вот с генералами да с солдатней за рогатки схоронились да моих верных слуг, что волю вам добывают, побили да поранили.

— По принуждению, надежда-государь! Потемкин-генерал да Брант. Ведь супротив них никому и рта отворить нельзя.

— Ну да уж таперь не воротишь, — говорил Пугачев. — После драки кулаками неча махать. Поди вам вестимо, детушки, что Катерина-то приезжала к вам пиры задавать, а чего доброго-то она для народа сделала? Плешь на голом месте, вот чего она сделала! А я для вас, детушки, для ради пользы вашей войной на ваших супротивников иду, грудь свою под пули да под ядра подставляю. Спасибо, народ простой, чернь замордованная, подмогу мне дает, а вы вот не дали... Ну да уж ладно... Казань сгорела, хибарки ваши, — не кручиньтесь, новая Казань из земли подыметя, краше первой... И объявляю вам, детушки: заутро бедноте будет раздаваться деньгами вспоможение...

В этот миг из большой толпы черничек девичьего монастыря вырвалась молодая женщина и подбежала к Пугачеву. Простирая к нему трепетавшие руки и устремив на него иступленные глаза, она пронзила душу Пугачева криком:

— Батюшка! Я Симонова, Дарья!

— А-а-а, знакомая, — вымолвил, несколько смутившись, Пугачев. Его удивило столь внезапное появление Даши. Как могла она попасть сюда и почему этакая пригожая, а одета как монахиня? Пугачеву в момент вспомнилась его ненаглядная Устя, великая государыня Устинья Петровна, подруга Даши, сердце его больно защемило. Где-то она, горемычная, как здравствует?

— Помню, помню тебя, милая, — с ласковостью в голосе произнес он.

— Ради всего святого, скажите мне, батюшка, не утайте от меня, жив ли сержант Дмитрий Павлыч Николаев, нареченный жених мой?..

Голова Пугачева опустилась на грудь, быстротечные думы опалили его сердце, он заглянул в хмурое лицо Овчинникова и, обратясь к девушке, спросил ее.

— Можешь ли по-казацки ездить?

— Усижу, батюшка, не раз езжала, — с решимостью безоглядной ответила Даша. Она все на свете позабыла, в ее мыслях — лишь незабвенный Митенька.

Ей подвели коня. Она, как во сне, не вполне сознавая происходящее, взобралась в седло.

— Пойдите тут, подождите меня, — сказал своим Пугачев. И оба с Дашей рысью поехали в царскую ставку.

— Ну, слезай, — сказал Пугачев девушке, — я сейчас, — и вошел в палатку с канцелярией.

У входа стоял какой-то полнотелый казак с рыжими усами, на рукавах позументы. Невысоко над городом висела серебристая луна, к ней тянулись от потухавшего пожара легкие дымки. На дальнем взгорке, видимый теперь издалека, словно каменный орех, очищенный от скорлупы, высился многострадальный кремль с башней и соборами. Возле палатки, где стояла Даша, пылал костер.

Вдруг полы палатки распахнулись, вышел Пугачев, он вел за руку рослого, красивого, с белокурыми волосами молодого человека,

— Вот твой суженый, — проговорил Пугачев, подталкивая офицера Горбатова к ошеломленной девушке. — Вот твой любезный, — повторил он и, вскочив на коня, умчался. Движения его сердца были искренни и внезапны. Он был уверен, что Даша и Горбатов, два цветка с одной гряды, встретятся — водой не разольешь. Ну до чего приятно доставить людишкам хоть какое ни есть счастье!

Конь скакал, как зверь, вокруг вихрились ветрки.

В изумлении стояли один против другого молодые люди. Они всматривались друг в дружку обостренными воспоминающими глазами. И вот...

— Даша!

— Я вас не знаю...

— Даша, Дашенька! Я Горбатов...

— Андрей!.. Неужели ты?!

Все перед ними исчезло, только кусочек тверди под ногами да их двое. Они разом бросились друг другу на шею.

2

Пробежавшая беленькая собачонка, хвост калачом, наспех обнюхала их и, слезливо всхамкнув, поскакала дальше — разыскивать своих хозяев.

Подхватив Дашу под руку, Горбатов повел ее подалее от людей, в сторонку. Он усадил ее на чей-то брошенный сундук. Она все еще не могла прийти в себя, дрожала. Первый ее вопрос был о Мите Николаеве. Андрей Горбатов колебался, ему больно было волновать девушку горестным известием.

— Говори всю правду, — сказала она и подняла на него глаза свои. — Чувствую я, почти это наверное знаю: он погиб. Только, ради господа бога, не скрывай, расскажи все, что знаешь...

Горбатов стоял возле нее, она сидела. Луна светила ярко, ему хорошо было видно лицо девушки со страдальчески вскинутыми бровями. Он сказал ей, что сержанта Николаева давно нет в живых, что в его

смерти повинен некий злодей, атаман-предатель, тогда же казненный.

Даша со стоном уткнулась в платок, в отчаянье замотала головою. Горбатов сел рядом на сундук, взял Дашу за руку и старался успокоить ее.

— Значит, все кончено, — сдерживая глухие рыдания, проговорила Даша. — Мне теперь один путь — в монастырь.

У Горбатова обмерло сердце, он отстранился от нее, воскликнул:

— Даша! В твои-то годы!

— Я буду молиться за его душу.

— Его душа, чаю, не очень нуждается в чьих бы то ни было молитвах. Он мученик.

Даша снова приложила платок к глазам. Горбатов сказал:

— Тебе надо думать о том, как бы устроить жизнь свою, она вся впереди, а не бежать от жизни...

Даша вскинула голову и с особой пристальностью, будто вспомнив самое главное, уставилась в лицо Горбатова заплаканными глазами. Затем спросила:

— А ты-то, ты-то, Андрей, как попал в плен к разбойнику?

Андрей Горбатов, шумно задышав, поднялся. Он вдруг уразумел, что между ним и Дашей — пропасть, что она, из бедных бедная, давно осиротевшая дворянка, ненавидит Пугачева и все дела его. А ненавидит потому, что обо всем, что касалось Пугачева, имела самое превратное понятие. И вот он начал исподволь, с одним желанием направить ее мысли в нужное ему русло.

У костров по всему лагерю после легкой выпивки началось безудержное веселье. Старик богатырь Пустобаев, сидя подле бурлацкого костра и потряхивая бородой, рассказывал бурлакам о том, как он однажды вступил в борьбу с медведем, — цыганы ручного медведя водили, — и как он, понатужившись, перебрисил зверя через поленницу; и еще рассказывал, как на царской свадьбе довелось ему «возгаркнуть» многолетие. «Вот было попито-погуляно!» Секретарь Дубровский от нечего делать играл на утоптанном месте

с мягкотелым Давилиным в орлянку. Поп Иван, с трудом воздерживавшийся от выпивки, сидел возле палатки Ненилы, обучал девочку Акулечку молитвам и без передыху дымил цыганской трубкой. Атаманы Овчинников и Творогов разъезжали по лагерю с отрядом казаков, следили за порядком, скандальных «питухов» приказывали хватать, тащить к пушкам под караул — на продрых. Брандт и Потемкин, независимо друг от друга и как бы сговорившись, писали графу Меллину, находившемуся с отрядом неподалеку, чтобы он немедля следовал в Казань. Монахини, возвратившиеся вместе с игуменьей в монастырь, близки были к отчаянию. Игуменья послала к губернатору трех своих рясофорных стариц с известием о том, что злодей похитил Дашу.

В это время «злодей» вел деловые разговоры с купцами, благодарил их за деньги, за оружие, за полсотни купеческих работников, вступивших в его армию.

...А эти двое, взявшись за руки, неспешно ходят взад-вперед по луговине за палатками и под голубоватым светом луны говорят без умолку. Изложенные с горячностью, со всей искренностью доводы Андрея показались Даше убедительными, и после резких возражений, переходящих в крик, она постепенно успокоилась.

С нею никто за всю жизнь не говорил так серьезно, так умно и убедительно, как говорил сейчас Андрей. Она со всеми своими мыслями как-то неожиданно для себя подчинилась ему и во многом стала согласна с ним. Теперь она этого чернобородого человека с открытым к добру сердцем никогда больше не назовет «злодеем». Но как же, как же человек этот не смог уберечь от гибели Митю Николаева!

Впрочем... «да будет, господи, воля твоя», — и Дашенька мысленно перекрестилась.

— Да, наша встреча — чудо, превеликое чудо, — с каким-то благоговением сказала она и на миг подняла свой взор к небу. — Но как ты мог узнать меня, Андрей? Так вот, сразу?

— Какая-то сила шепнула мне: это Даша, — проговорил Андрей Горбатов, заглядывая в такое милое, знакомое с детских лет лицо. — Мои родители, ты ведаешь, были неимущи, а твои еще беднее. Наши усадьбы соприкасались. Яблони вашего сада глядели в наш, и цветы ваших вишен осыпались на нашу землю. Боже, до чего было хорошо существовать! Невозвратимое детство...

— Помнишь, как мы играли в любовь, Андрей? Ты был моим женихом, я твоей невестой.

— Мы играли, — ответил Горбатов, — а наши родители, по крайней мере мои, считали это дело решенным. Мне в ту пору было лет четырнадцать, а тебе, Даша, восемь... И вот ты, ангелоподобная девочка, на протяжении каких-нибудь двух-трех месяцев лишаешься родителей, и мою Дашу увозят от нас добрейшие Симоновы сначала в Москву, затем в Яицкий городок... И знаешь что, Даша? Я, мальчишка, без памяти был влюблен в тебя, ей-ей! Я места себе не находил после того, как разлучили нас. Я плакал не один день, клянусь тебе, и надо мною все смеялись.

Они остановились, ласково и нежно заглядывая друг другу в глаза.

— А я разве не любила тебя? Ты думаешь, я не плакала? Я помню твои первые письма ко мне... А потом ты замолчал. Почему?

— Потому, что со мной самим стряслось ужасное...

— Ужасное? — передернув плечами, испуганно переспросила Даша. — Расскажи, Андрей.

— Изволь, — согласился Горбатов. — Только допрежь я хочу сказать тебе, знаешь что?

— Нет, не знаю.

— Гм, не знаешь? — проговорил Андрей дрогнувшим голосом, глаза его загорелись. Он стиснул руки девушки и тихо сказал: — Я люблю тебя.

— Безумный! Сомутитель мой... — простонала Даша, она больше ничего не успела сказать, отдавшись ласкам Горбатова. Впрочем, она вскрикнула: — Милый!.. Я тоже люблю тебя!.. — И тут же, как бы спохватившись, добавила: — А как же Митя? Как же память о нем?

— С Митенькой кончено, — проговорил Горбатов. — Живому о живом думать предлежит, а никак не о мертвом. Вот ты встречу нашу чудом назвала. Верно... Чудо и есть. И я чаю, судьба не зря столкнула нас. Ты, Даша, должна стать моей женой. Согласна ли?

— Безумный! — снова воскликнула Даша и в сильном волнении готова была разрыдаться. — Так быстро решить. Возможно ли?

— Чем скорее, тем лучше. Ты сама видишь, каковы обстоятельства. Надо быстро, не колеблясь. Нерешительность — удел слабых.

Даша посмотрела на него с раздумьем и жалостью, затем вымолвила:

— Довольно, Андрей... После... А теперь расскажи о себе.

И они опять принялись ходить по луговине. Луна обливала их голубоватым сиянием. И под благодетельными брызгами этого серебристого дождя душа девушки распускалась как бы заново. Но в отуманенной голове ее копошились беспокойные, раздернутые мысли: то укорчивые вопросы самой себе и неясные, сбивчивые на них ответы; то запоздалый, может быть, ложный голос совести, что вот она, легкомысленная девчонка, столько хлопот наделала всечестной игуменье Ираклии и сестрам во Христе, принявшим горячее участие в судьбе ее. Ждут поди, ждут и в великую впадают горечь. А Симоновы, а тень Мити Николаева, а этот не разрешимый для нее вопрос, так настойчиво высказанный соблазнителем ее Андреем?..

— Говори, говори, Андрей, я слушаю, — тихо произносит она, стараясь придать своему лицу выражение радости и счастья. Но голова ее в тумане и сердце мрет.

Огненный страшный день еще не кончился. Казань еще не догорела. Вдали дремлет голубоватый кремль с соборами, над городским пепелищем плавают лохмы дыма, то приникая к земле, то седой волной вздымаясь вверх. Воздух пропитан гарью, у Даши заболела голова,

— И вот понаехали к нам гости, — продолжал Горбатов, — мой двоюродный дядя из Воронежа, для закупки, или, как он говорил, «ремонта» лошадей его воинской части, — усатый с брюшком майор, а другой, питерский чиновник Пятнышкин, вез в губернское казначейство много новых, только что выпущенных бумажных денег. Прожили они у нас с неделю, оба картежники превеликие. Да, кажись, и шулеры к тому же. Словом, обобрали они как следует соседних помещиков, и родитель мой, помню, немало пострадал. И стали собираться в обратный путь. А я забыл тебе сказать, что заехали-то они к нам по окончании своих дел. Мой двоюродный дядя, этот усач с брюшком, на коротких ножках, и говорит моим родителям: «А отпустите-ка со мной вашего Андрея. Я вскорости перевожусь в Питер и там определю Андрюшу в кадетский шляхетский корпус, по крайности офицером будет. А воспитание мальчика я приму на свой полный кошт, я человек со средствами и бездетный».

Я, признаться, услыша от дяди такие речи, сразу пришел в радость: «Черт возьми, Питер, офицерство, вот счастье-то!»

Тогда и другой гость, чиновник Пятнышкин, этаким неуклюжий... он тоже взглянул на моего младшего братейника Колю, да и говорит: «Знаете, достопочтенные родители, я человек, как видите, известный, в чине партикулярного полковника, и к новому году светским генералом чаю быть... А человек тоже бездетный. Отпустите-ка вы в науку и Коленьку, он мальчик премилый. Я замест сына воспитывать его стану, в коллегию определю, в люди выведу».

Родители, жившие в изрядной бедности, подумали, поплакали, отслужили молебен и нас обоих с братом отпустили. Не доезжая трех станций до Нижнего-Новгорода, мы с Колей распрощались и поехали с дядей дальше. А с Колей случилось так...

Даша слушала со вниманием. Луна вздымалась все выше. По луговине ходили женщины с подойниками, бегали мальчишки, разыскивая своих коров.

— С Колей так... Ему шел тогда десятый год. Он был щупленький, болезненный. Чиновник Пятнышкин остался на почтовой станции играть в карты. Денег у него было множество, но он нарвался на шулеров, пробиравшихся на Макарьевскую ярмарку. Он все спустил им — и свои и казенные деньги. Проиграл и Колю...

— Как, Колю проиграл? — с изумлением воскликнула Даша.

— Да, представь себе... Проиграл. Колю купил в рабство содержатель почтовой станции, местный разбогатевший мужик. И с тех пор несчастный братишка перестал быть дворянским сыном Колей, а сделался крестьянским сыном Васюткой. Ну, и запродажные фальшивые документы были сфабрикованы — почтарь мужик богатый... — Горбатов снял казацкую шапку-трухменку, провел рукой по своим светлым волнистым волосам и, обращаясь к девушке, с жаром добавил: — Вот видишь, Дашенька, какие дела творятся под скипетром обожаемой тобой государыни Екатерины.

Даша, опустив голову, молчала, глаза ее заслезнились: Коля был ее сверстник, они вместе играли с ним в куклы и в шармазлу.

— Чиновный изверг Пятнышкин, — продолжал Горбатов, — доехал до Нижнего и там, на постоялом дворе, застрелился. А ни в чем не повинный Васька, он же бывший Коля, был переодет в крестьянскую сряду, в лапотки. И под жестокими побоями хозяев, обливаясь слезами, стал прислуживать в кухне, исполнять всякую черную, тяжелую для мальчонки работу... «Эй, Васька! Принеси дров да разлей телятам пойло!» — «Эй, Васька! Вычисти господам проезжающим сапоги да самовар поставь!» В то время уже вводились в моду самодельные из толстой жести самовары. Мальчик под зуботычинами, под плетью постепенно свыкался со своим положением. Но иногда на него накатывало отчаяние, он при проезжающих кричал: «Я не Васька, я дворянский сын Николай: мой отец Горбатов! Господа проезжающие, возьмите меня с собой, спасите!» Тут врывался хозяин с веревкой, вы-

брасывал мальчишку вон, а проезжающим говорил: «Вот наказал меня господь... Взял на воспитание сироту, а он с тоски, чего ли, алибо с глазу худого с ума сошел, вроде дурачком делается». Так прошел год с лишком. Родители встревожились: никаких вестей ни от меня, ни от Коли, ни от Пятнышкина нету. И вдруг случай... Что ты, Дашенька?

— Так, ничего, продолжай, — невнятно ответила Даша, начавшая приметно дрожать, как в ознобе.

— Наша соседка помещица Проскурякова ехала в Петербург, и, понимаешь, Дашенька, остановилась она передохнуть на этой самой станции. Она ехала в столицу по своим делам, довольно состоятельная была, и родители упростили ее навести справки обо мне и Коле. Она женщина премилая, к нам расположена отменно, она и меня крестила, и Коля был ее крестник. Почтарь-хозяин ввел ее в горницы, дождик был, высунулся в окно, крикнул: «Васька! Беги, бесенок, сюда, барынин архалук у печки просуши, грязь очисти». Вот вбежал в горницу грязный, лицо в саже, отрепанный мальчонка в лапотках. Помещица Проскурякова сидела в тени, голова у нее болела, шалью замотала голову, и Коля не сразу узнал свою крестную. А она как взглянула на парнишку, так сердце у нее и обмерло. Она возьми да и спроси: «Мальчик! Как тебя звать?» Он посмотрел в передний угол: «Батюшки, крестная!» — с ужасом взглянул на зверя-хозяина с веревкой в руке и торопливо, вздохнув ответил: «Я Васька, Васькой меня зовут, вот дяденька купил меня, он добрый...» А Проскурякова и говорит: «Превосходное дело... Ты точь-в-точь как сын помещиков Горбатовых, Коля». Тут мальчик как бросится с воем на шею помещицы да как заблажит: «Крестна! Крестнушка! Это я, Коля...» — и залился горячими слезами. И она горько заплакала. Хозяин заорал: «Вон, вражонок!» Коля в страхе убежал, а мужик попробовал было фордыбачить, однако Проскурякова, женщина роста крупного, как вскочит да как затопает ногами: «В каторгу тебя, мерзавец, в каторгу!» Мужик кричит: «Вот вы докажете-ка, что он есть Коля, а я завсегда докажу, что он Васька, куплен там-то и

там-то, при свидетелях таких-то и таких-то, эвот документы-то у меня». И вот Проскурякова начала против мужика дело. Многих денег ей это стоило, великих хлопот, но уж ей хотелось завершить сие благополучно и по чувствам человеческим, да и амбицию ее задела. Почти целый год тянулись суд да волокита. Злодея-мужика все же засудили, а мальчонку возвратили в прежнее состояние. Но пока шел суд да дело, Коля на той клятой почтовой станции, битый да голодный, захворал и умер... Умер, Дашенька!

— Боже мой, боже мой! — всплеснув руками, воскликнула Даша. — Бедный мальчик, бедный, несчастный мой Коленька... Я как сейчас вижу, такой тихий, такой нежный, особенный какой-то. Вот такими душеньками праведными и полнится церковь божия на небеси.

— Да, неоцененная моя Дашенька, — глубоко вздохнув и почмыкивая носом, проговорил Горбатов. — На небесах-то душенькам, может статься, и неплохо, а вот каково-то на земле живым жить при наших проклятых порядках? И мне нимало не удивительно и народа нашего восстание, что потянулся народ за правдой, что поверил в царя-батюшку и идет за ним, — и, помолчав, добавил: — Ну, а теперь, ежели желаешь, о себе расскажу.

Как ни любопытно было Даше послушать Андрея, но она заторопилась.

— Ну и растревожил ты меня, Андрей, — сказала она, глядя в сторону и помигивая грустными глазами, опущенными длинными ресницами. — Всю ночь спать не буду... Милый, бедный Коленька... Проводи меня, Андрей. Поздно уж. Расскажешь завтра.. ежели встретимся.

— Ты останешься здесь?

— Нет, не проси, меня там ждут.

Андрей не мог убедить ее остаться ночевать в лагере. И вот он видит: едут рысью справа и слева от него два всадника, кричат тонкими пронзительными голосами:

— Горбатов! Где Горбатов?!

Андрей выхватил из кармана медную свистульку и резко засвистал. К нему тотчас подкатили оба всадника.

— Господин Горбатов! — проговорил один из них, молоденький и юркий. — Вас требует атаман всей армии Овчинников.

— Что за экстра? — спросил Горбатов.

— Получены вести: подходит Михельсон. Верстах в сорока отсюда.

— Ну, это не столь близко, — несколько успокоился Горбатов. — А где государь?

— За ним помчали, за его величеством.

Горбатов приказал заложить для девушки таратайку.

— Я завтра приду к тебе чем свет, — говорит Даша, сжимая его руку. — А еще лучше, приходи за мной сам, Андрей. Боже мой, что же опять будет?.. Стрельба, кровь, опасности. Как это ужасно!

— Чаю, крепко чаю: ты останешься со мной, будешь моей подругой...

— Не знаю... Подумаю... Буду молиться богу со всем усердием... — и она, вздохнув, добавила: — А все-таки как я в душе благодарна этому чернобородому, что свел нас. Господи, прямо чудеса! Опомниться не могу. И о нем помолюсь с усердием.

Горбатов, физически измученный, но душевно бодрый, возвращался домой в настроении необычайном. Сколько потрясающих событий сегодня свалилось на него: горячий бой, взятие и пожар Казани, Даша. Ну что ж!.. Такова жизнь теперь!

8

Ранним утром, при восходе солнца, вся армия Пугачева была приведена в боевой порядок и построена в восьми верстах от Казани, вблизи села Царицына. Все полки во главе с полковыми командирами стояли по своим местам. В центре расположены были самые сильные, испытанные части с пятнадцатью пуш-

ками. Здесь был Пугачев с Овчинниковым, Горбатовым, Белобородовым, Минеевым.

Старые и молодые екатерининские солдаты, захваченные в Осе и Казани, были по совету офицера Минеева разоружены: «По совести говоря, на них, ваше величество, вполне положиться опасно». Солдат отвели в тыл, по флангам, и замест ружей дали им окопанные железом шесты, а их ружьями снабдили по совету Белобородова уральских горнозаводских крестьян: «Они люди надежные и, будучи охотниками да звероловами, из ружей палить привычны».

— Гарно, гарно, — одобрил Пугачев. — А храбрости да усердия к делу нашему им не занимать стать. Знаю!

Пугачев лично проверил все пушки, подсчитал заряды.

— Эх, маловато ядер-то, — сказал он, почесывая за ухом. — Ты, Чумаков, зря ума не пали из пушек, с понятием норови. — И, обратясь к офицеру Минееву, добавил: — Вот ты, ваше благородие, бахвалился все: возьмем да возьмем крепость. А где она, крепость-то? Зевка дали мы! Поди пороху-то у них там сколько хошь, да и пушки...

Минеев что-то забормотал в свое оправдание, но Пугачев, отвернувшись от него, подошел к Горбатову.

— Ну как, полковник, сговорился ли с девушкой-то? Осталась, нет?

— Нет, государь... Обещалась прибыть утром, да вот... не сдержала слова.

— Ну и само хорошо, и само хорошо! — воскликнул Пугачев, прищурив правый глаз. — Бабское словие, ведаешь, в нашем деле одна помеха. Вот и я, как видишь, свою государыню оставил. Где-то она, цела ли, сердешная? Ведь Яицкий-то городок тю-тю от нас.

— Мне уповательно, — сказал Горбатов, — что атаман Никита Каргин как-нито убережет ее.

— Дай-то бог да мать божия... А я, ведаешь, как Дашу-то дозрил вчерашний день, сразу вспомнил: да ведь она верной подружкой моей государыни Устиньи-то была. Эх, только бы отечеством завладать,

быть бы Даше у государыни во фрейлинах, а ты — генерал-аншеф. Ась?

— Премного благодарен... До этого далеко еще.

— Верно, полковник, далеко! Глазкам-то видно, да ножкам-то трудно...

— Будем дерзать, государь.

— Эвот пятерых турок из Туретчины пригнали в Казань, прямо с войны, тепленькие, как со сковороды олады. Наши казаки вчерась забрали их, в Ивановском монастыре скрывались, нехристи. А как мы учинили им допрос, они показали: Катька-то моя замиренье с султаном ладит заключить... Тады, чуешь, супротив нас целые полки двинут... Ась?

— Сие не так скоро, государь.

— И то верно: улита едет, как говорится, когда-то будет.

Пока шли эти разговоры, Даша сидела взаперти и тихомолком плакала. Игуменья Ираклия и рясофорные монахини встретили вернувшуюся Дашу радостными криками: «Ой, дитяtko наше! А мы уж и вживе тебя не чаяли видеть. Да и как это тебе Казанская божия мать помогла от злодея-то вырваться?» Даша в ответ рассказала старухам какую-то малоправдоподобную историю. На совете старицы постановили: во избежание каких-либо несчастий Дашу держать взаперти без выпуска, пока злодейские толпы не будут отогнаны от Казани.

И вот Даша сидит под замком, со строптивостью взглядывает на икону и неутешно плачет. Неужели ей не суждено снова встретиться с Андреем?

Меж тем точных сведений о приближении разведки Михельсона еще не поступало, поэтому армия вела себя вольно. Многие, развалясь на земле, сладко спали, иные варили на кострах хлебово, некоторые, швыряясь вверх медными пятаками, играли в орлянку. Кони паслись на траве, вездесущие собачонки всюду шмыгали.

В лагере, на Арском поле, предусмотрительно грузились вozy добром, запрягались барские экипажи под семейство колченогого Ивана Наумыча Белобородова, Софью Пугачеву с детьми, царскую стряпуху

Ненилу с девочкой Акулечкой и под временных гулящих женок пугачевской верхушки, вроде дебелой Домны Карповны. Все эти красотки, одетые по-дорожному, грудились возле карет и фаэтонов. То крикливо тараторя меж собой, то с тревогой прислушиваясь, они ждали первого пушечного выстрела, чтоб сесть в экипажи и спешить прочь от страшной кутерьмы.

В стороне ползала на четвереньках по луговине девочка Акулечка и, опустив голову, что-то пристально искала. Одетая в серое чистое платьишко и аккуратные сапоги с голяшками, она походила издали на овечку, которая щиплет зеленую траву.

— Чего потеряла, Акулька? — спросил ее подскочивший Трошка Пугачев.

— Иголку потеряла, вот чего, — ответила девочка Акулечка. — Вишь, казаку на рубаху латки ставила, а иголочка-то мырк! Ах она, проваленная... — И девочка, продолжая ползать, тоненько залепетала: — Черт, черт, поиграй, да опять мне отдай!.. Потеряли да нашли, подобрали да пошли! Ищи, Трошка, ты глазастый.

Подбежали Трошкины сестренки — Христина с Грунькой, в их руках по тряпочной кукле с льняными косичками, бусинками вместо глаз и алыми губами. Смастерила их Акулька. И вот ребятенки стали ползать вчетвером, искать иголку. Искали долго, усердно.

— Эти куклы маленькие, — сказала Акулька, подымаясь с четверенок. — А я тебе, Хрестя, большую куклу смастерю, толстая такая барыня гудет, платье с карналином, волосы из кобыльего хвоста. Ужо, ужо я притащу. — И Акулька, подхватив починенную рубаху казака, побежала к себе в Ненилину палатку. И вдруг, волчком крутнувшись на одной ноге, радостно закричала:

— Эвот она, иголочка-то! В рубахе.

Оставшиеся в лагере пожилые крестьяне, исполнявшие службу старост при своих походных деревенских артелях, запрягали телеги, сваливали на них артельное добро. К некоторым телегам были привязаны коровы, сведенные из городского стада. И по всему огромному полю двигались без суеты люди и живот-

ные, — лагерь, хотя и не спешно, готовился на всякий случай к отступлению.

Солнце поднялось довольно высоко. В армии Пугачева, занимавшей большое, пересеченное оврагами пространство, все сразу оживилось. Раздались бой тулумбасов и барабанов, пронзительные высвисты дудок, резкие командные выкрики:

— По полкам, молодцы! Казаки, на-конь!.. Кано-ниры, к пушкам!

Вдали, верстах в четырех, начал выдвигаться из леса тысячный корпус Михельсона. Хотя солдат и кавалерии в отряде мало, но все они натерелые вояки, закаленные непрерывными походами. Народ молодой, отборный, заласканный. Они вошли во вкус сражаться с безоружными крестьянами и одерживать над ними легкие победы. Им обещаны всякие льготы, всякие милости от военачальников и от самой царицы, и они работают на славу, безжалостно, порой без всякой нужды истребляя своих собратьев. Офицеры отряда отличались умением воевать с огромной, но малодисциплинированной толпой и были преданны престолу, как и сам подполковник Михельсон.

Боевые качества Михельсона высоко ценились покойным Бибиковым, Брандтом, Паниным, Голицыным и впоследствии даже самой Екатериной. Мир дворянства и крупных промышленников видел в нем спасителя отечества. Так, полгода спустя, известный богач, горнозаводчик Прокофий Демидов, посылая Михельсону ценный «презент», между прочим писал ему: «Ты с малым, но храбрым корпусом не утратил нападать на толпу разбойничью... Ты отвратил злодейское намерение прийти на царство Московское... Ты дал мне жизнь и прочим московским гражданам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие прихода его жадно ожидали и разорять, грабить и убивать господ своих желали».

Михельсона знал и Пугачев. В Кенигсберге ему, молодому казаку, довелось тащить на носилках раненого Михельсона в лазарет и перемолвиться с ним немногими словами, вслух пожалеть его. И вот теперь, через пят-

надцать лет, — частые встречи на полях непрерывных схваток. Пугачев яростно ненавидел его, но и, не скрывая, умел ценить в своем враге умную воинственность.

— Эх, ежели б этого вояку да мне в помощники, натворил бы я делов, — с большой душевной скорбью иногда говорил он. — Добрую половину своих атаманов поменял бы я на одного его.

Михельсон тоже немало приходил в изумление от храбрости и умелых действий пугачевцев. Он не раз в своих донесениях писал: «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали: злодеи, не уважая нашу атаку, впрямо бесстрашно шли нам навстречу, однако помощью божией, по немалом от них сопротивлении, были обращены в бег». И еще: «Злодеи на меня наступали с такою пушечною и ружейною стрельбою и с такою отчаянною храбростью, кою только в лучших войсках найти надеялся».

И вот они снова, Михельсон и Пугачев, лицо в лицо.

Михельсон, обзрев в трубу стоявшую против него силу, сказал:

— Ого! Да их тут в двенадцать тысяч не уложишь. И откуда беретса эта сволота? Ну как, господа офицеры, отдыхать будем или на приступ поспешим?

Офицеры, — их человек двадцать, — рекомендовали отдых: солдаты, особенно кони, от длительных непрерывных переходов выбиваются из сил.

— Ежели мы на них тотчас не ударим, то они обрушатся на нас всей лавой, — возразил Михельсон тоном, не терпящим противоречий.

Он приказал майору Дуве обойти с небольшим отрядом левый фланг неприятеля, а майору Харину — правый.

— Сам же я с корпусом ударю в центр расположения, постараюсь разрезать неприятельскую толпу пополам, а тогда станем по частям бить. Ну, с богом!

После осмотрительной, неторопливой подготовки силы Михельсона стали мало-помалу переходить в наступление. Первые двинулись вперед, в обхват флангов, небольшие отряды Дуве — Харина,

Пугачев, объехав своих молодцов с бодрящим словом, поместился на пригорке сзади армии и принял команду боем.

Как только михельсоновцы двинулись к центру фронта, вся пугачевская армия, в особенности многотысячное крестьянство, подняли оглушительный воинственный рев и крики, а главная батарея открыла по врагу огонь. Общий невероятный рев толпы и грохот пушек, перехлестывая Арское поле, летел далеко за Волгу. Казаки и горнозаводские метко стреляли из винтовок, ружей и мушкетов; башкирцы и калмыки насаживали на вражеские перебежавшие шеренги, осыпая их стрелами. Вскоре михельсоновцы дрогнули, попятиться.

— Вперед, ребята, вперед! — раздался голос подскакавшего к ним Михельсона. — Что, гвалту перепугались?

— Не гвалту, а стегает, черт, подходяво! — останавливаясь, отвечали солдаты.

— Детушки! Фланги борони, фланги! — кричал Пугачев, видя, как на фланги насаждают отряды двух майоров. Он послал туда Горбатова с Минеевым, а сам поскакал к центральной батарее.

— Чумаков! Варсонофий! Пали без передыху! Где у вас заряды? Детушки! Веселей подноси ядра-то да картузы с порохом!

Возле батареи уже валялось несколько убитых, бежали прочь, в глубину расположения, раненые и оробевшие. Свистали пули. Битва по всему фронту тянулась больше двух часов, но сражающимся время показалось как одна минута. После ожесточенной перестрелки и рукопашных схваток середка пугачевского фронта заколебалась; пушки, подхваченные сытыми конями, затарахтели по приказу Пугачева на другое место. Вломившимся с криком «ура» михельсоновцам, несмотря на их порядочные потери, удалось разорвать пугачевскую громаду на две части. Большая часть, вместе с Пугачевым и Овчинниковым, повернула направо и наткнулась на отряд Харина, а меньшая — на майора Дуве. После непродолжительной схватки Дуве удалось рассеять неприятеля и забрать у него

две пушки. Отряд же Харина, на который с гамом и гиком налетели отчаянные пугачевцы, оробел, смешался, стал поспешно отступать.

Пугачев с Овчинниковым выбрали хорошую позицию. Они остановили свое войско за глубоким рвом, тесным проходом возле мельницы, и открыли по неприятелю убийственный огонь. Майору Харину для поражения врага надлежало спуститься в овраг, затем подыматься открытым местом в гору. Харин, страшась больших потерь, на это не осмелился. Михельсон, подтянув резервы, поспешил ему на помощь. После жестокой схватки ров в трех местах был перейден, пугачевцы атакованы. Непрерывный бой длился семь часов, солнце давно закатилось, на землю пали густые сумерки, приближалась ночь.

В конце концов пугачевцы не выдержали, бросили шесть орудий и рассыпались во все стороны. Михельсон преследовать не решился. Все-таки за самим Пугачевым с Горбатовым и Ермилкой небольшой отряд чугуевцев учинил погоню, но Пугачев нырнул со своими в лес и там скрылся в темноте. Когда за ними неслась погоня, Пугачеву попритчилась в кустах на Арском поле всеми забытая девочка Акулечка. Он вымахнул из лесу и, полный тревоги, бросился догонять обоз.

Нагнав, Пугачев помчался вдоль многочисленных телег с народом и, не переставая, выкрикивал:

— Где девочка Акулька? Где Акулька?

— Я здесь-ка, батюшка, здесь-ка! — пропищала с воза девчонка, выпрастывая из-под дерюги голову. — Я седни иголку потеряла, да нашла!

С сердца Пугачева — как с души камень. Обшлагом полукафтаныя он вытер лоб и с облегчением передохнул.

Снова взошла луна. Даша все еще сидела взаперти. На возвышенности громоздился притаившийся кремль. Там были слышны раскаты битвы, но Потемкин, сказавшись больным, на помощь Михельсону не вышел.

Михельсоновцам досталось несколько пушек и до семисот пленных, главным образом безоружных крестьян, которые не умели прытко бегать, и горнозаводских работников, которые стойко бились. Попал в

плен и офицер Минеев. Отряд Михельсона ночевал на месте боя. Минеев, выданный пленными солдатами, был приведен к Михельсону.

— Ты офицер Минеев? — спросил Михельсон.

— Да.

— Это ты предал на Каме трех офицеров, которые были злодеем казнены?

— Я не предавал. Они сами попались с поличным.

— Мерзавец! — холодно крикнул Михельсон и было бросился на пленника с кулаками, но сдержался. — Повесить эту сволочь!

И Минеев, под лунным светом, на густой опушке леса, закачался в петле.

4

Наутро Михельсон двинулся к Казани и остановился на Арском поле. Его ошеломило печальное зрелище: полусгоревший город еще дымился. И не успел Михельсон по-настоящему осмотреться, как заметил надвигавшиеся на него силы Пугачева. Он послал губернатору Брандту поручика барона Дельвига с просьбой выслать ему воинскую помощь.

При содействии выведенного из крепости отряда под начальством генерал-майора Потемкина подполковник Михельсон перешел в быстрое наступление и вторично разбил оплошавших пугачевцев.

За усталостью своей кавалерии Михельсон не мог преследовать отступавшего врага и ночевал под Казанью, на месте боя.

Пугачев переправился за реку Казанку и, отойдя верст двадцать от города, начал собирать свои разрозненные силы. Слава о царе-защитнике гремела по всему Поволжью, к нему отовсюду валил народ: крестьяне, бурлаки, городская голытьба. И уже через два дня под знаменами «батюшки» снова скопилось вместе с основными его силами до пятнадцати тысяч сермяжного воинства.

Сбежавшиеся к нему люди точно знали, что «батюшка» терпит поражения, что ему не дают покоя ге-

нералишки и что они, безоружные мужики, плохая ему помощь. Они знали также, что «проклятушие катерининские супостаты» побивают насмерть многие тысячи крестьян, а того больше — забирают в плен, чтобы затем драть плетью, рвать ноздри, вешать. Но преклонение перед именем «батюшки-заступничка», неистребимая тяга к земле и воле, лютая тоска по правде-справедливости были сильнее всех страхов: крестьяне, бросая свои засеянные нивы на заботу женщин, спешат к «царю-радетелю», и многие из них готовы в схватке с «кромешной силой Катерины» пролить кровь свою.

И чем хуже становилось «батюшке», тем сильнее тянуло к нему народ.

Несколько по-иному складывались дела с башкирцами. По мере того как Пугачев стал отдаляться от Башкирии, башкирская конница начала помаленьку отставать от Пугачева. Из-под Осы ушла третья часть башкирцев, после поражения «бачки-осударя» под Казанью их осталось в его армии не так уж много. Это не значит, что они успокоились и навсегда сложили оружие. Нет, продвинувшись к себе в Башкирию, они под начальством своего вождя Салавата Юлаева или самостоятельно, без руководства, толпами, продолжали свое дело. Но со стороны неустроенных башкирских толп иногда снова проявлялись бессмысленные насилия над русским населением.

Эти неполадки омрачали Пугачева и его близких.

— Вот непутевые, — брюзжал он, лицо его дергалось. — Это богатые баи да муллы с толков их сшибают... Они, несмысленные, забрали себе в голову, что волю-то с землей только в ихней Башкирии берут... Ах нет, еще до воли-то, мотри, взопреешь, язык-то мокрый станет. А ежели начал положен, работай до последа, не порти путь наш, не сбивай... — И, грозя пальцем, сурово добавлял: — Еще спокаются они, башкирцы-то, спокаются! Их, одних-то, генералишки замордуют вот как, говори, где чешется. Ихние баи да муллы завсегда правы останутся, а народ-то простой претерпит люто.

И другие немаловажные обстоятельства заставляли призадуматься вождей пугачевской армии: чем дальше армия отходила от Урала, тем меньше оставалось надежды получить с заводов пушки, порох, снаряжение.

Шествие Пугачева теперь уже не могло быть свободным, выбор пути его с каждым днем становился ограниченнее: и здесь и там возникали заслоны из правительственных войск. А сзади наседал неуязвимый Михельсон. Да! Надо было во что бы ни стало раздавить его громадой, надо было штурмом взять казанскую крепость. Ох, и зудят же у Пугачева кулаки на Михельсона, изомлела вся душа!

Военный совет был скор: единодушно постановлено идти вновь под Казань.

Девочка Акулечка уже успела нарвать полевых цветов для «батюшки», казаки у котлов ели кашу, Ермилка доругивался с Ненилой. По армии пронеслась команда — готовиться к походу.

К вечеру пугачевцы подтянулись опять к Казани. Переночевали и чем свет принялись строиться в боевой порядок.

Михельсон получил от Потемкина подкрепление в двести человек. Этому вспомогательному отряду приказано было атаковать врага во фланг, но пугачевцы с такой яростью набросились на атакующих, что половина потемкинских солдат подверглась уничтожению, половина в страхе разбежалась.

Бой с Михельсоном длился более четырех часов. Пугачевцы метко отстреливались из пушек и ружей, ряды наступавших михельсоновцев редели. В рукопашном бою пугачевцы брали верх. Мужики орали, как тысячи медведей, глушили солдат топорами, рогадинами, кольями. Михельсон приуныл духом. Неужто этот сброд осилит его? Он с минуты на минуту ждал из крепости дополнительной помощи себе — ведь там до тысячи солдат, — однако помощь не появлялась. Но ни тени колебания, иначе — все погибнет. Пугачевцы в двух-трех местах с превеликим гамом и ре-

вом уже перешли в наступление. Еще, еще усилие, и они опрокинут михельсоновцев.

— Де-е-тушки! — то здесь, то там гремит голос Пугачева.

Распаленный Михельсон бросился к своим укрытым в лесу резервам.

— Солдаты! — закричал он, взмахивая саблей. — Нам надлежит либо умереть, либо победить! Вперед, к победе! Матушка государыня не оставит вас без награды!..

Он верил в силу своего слова, солдаты были отлично вымуштрованы, и во главе с офицерами весь резерв ринулся на пугачевцев. В запасе, кроме обозных и раненых, не осталось ни одного человека. Впереди уланского полуэскадрона, рядом с бароном Игельстромом и поручиком Фуксом, скакал польский конфедерат Пулавский. А впереди всех — сам Михельсон.

Натиск был для пугачевцев неожидан. Перетянутые на ближайший пригорок михельсоновские пушки принялись шпарить по толпе картечью. У Чумакова же с Варсонофием Перешибиди-Нос оставались считанные заряды. Крестьянство, поражаемое картечью, опророметью кинулось врасыпную.

Вскоре дело было кончено: пугачевцы отступили, потеряв последние девять пушек.

И Михельсон только тут заметил голубое знамя с черным орлом, оно ослепило его.

— Знамя!.. — хрипло заорал он. — Голштинское знамя!.. Ребята, хватай, лови!.. — И он поскакал за Пугачевым.

Вместе с «батюшкою» мчались на свежих лошадях Горбатов, Ермилка со знаменем, атаман Овчинников. Проскакав верст пять, Михельсон повернул назад, но чугуевцы продолжали погоню. «Нет, не может быть, не может быть, — бормотал Михельсон. — Подделка... Ну, а ежели доподлинное? Откуда же оно взялось? Чудеса в решете!»

Преследование длилось на протяжении двадцати верст. У погони запалилось и пало немало коней. Пугачев ушел.

Сведений о разорении Казани в Петербург еще не поступало. Но запоздалое известие, что Пугачев со своей армией, обманув бдительность высланных против него отрядов, повернул в начале июля на Каму и может угрожать Казани, вызвало в правящих кругах большое беспокойство. В особенности известием недовольна была Екатерина.

На военном совещании Григорий Александрович Потемкин, некоронованный властитель империи российской, заявил:

— Нет, это уму непостижимо... Какой-то казак Пугачев, столь грубый разбойник, славно, однако же, умеет отыгрываться от наших генералов. За нос их водит, аки индюков. И мне сдается: либо генералы у нас плохи, либо Пугачев изрядный молодец. И по моему мнению, ежели позволит всемилостивая государыня, сей генеральский кризис надо разрешить тако: малорасторопного главнокомандующего князь Федора Щербатова с должности снять и на его место поставить князь Петра Михайловича Голицына. В разгроме толпы под Татищевой крепостью, следствием чего было освобождение Оренбурга, он показал себя сущим героем. А Щербатова вызвать сюда для изустного доклада о настоящих того края обстоятельствах.

Возражать Потемкину считалось опасным, да, в сущности, и не было причин его оспаривать. Князь Григорий Орлов, как-то невнятно посмотрев на Потемкина, сказал:

— Надлежало бы направить на восток воинское пополнение, ибо...

Но его без всякой учтивости тотчас перебил Потемкин:

— Сие уже сделано и вступило в силу. — Он вынул из кармана составленный им от имени императрицы черновик рескрипта князю Голицыну, высокомерно взглянул на прикусившего язык Орлова, с нескрываемым укором посмотрел в лицо «всемилостивой матушки», опрометчиво пригласившей на это совещание своего бывшего «друга», и, встряхнув головой, стал гулко читать выдержки рескрипта: — «Получа известие, что злодей со своею толпою впал в пределы

Казанской губернии, я приказала нарядить полки: пехотный Великолуцкий, Донской казачий и драгунский Владимирский. Сие войско будет в окружности Казани как обсервационное, которому, по усмотрению пользы, действовать согласно с нами».

Далее в умело составленном Потемкиным рескрипте перечислялись меры к защищению границ сибирских и башкирских, а также давались указания, как удобнее «прижать пугачевскую вольницу к которому ни есть неподвижному пехотному нашему посту». Рескрипт заканчивался: «Начинайте с богом! Я ожидаю от усердия вашего ко мне полезных следствий. Екатерина».

При закрытии совещания Потемкин, как бы невзначай, бросил.

— А в конце-то концов надлежало бы отправить туда для командования войсками некую знаменитую особу, вровень с покойным генералом Бибиковым стоящую.

За эту знаменательную фразу мысленно уцепился присутствующий тут министр иностранных дел граф Никита Панин и, не задумываясь, решил в уме: «Знаменитая особа — это мой родной братец Петр. В лепешку расшибусь, а так оно и будет».

Где-то там бушевало людское море, гремели пушки, пылали города, но молодой столице все нипочем. Богатые дворяне по-прежнему «бесились с жиру», чиновники гнули спины над бумагами, мздоимствовали, купцы торговали, барская дворня (ее было почти половина столичного населения) с привычной покорностью обслуживала своих господ, прислушиваясь одним ухом к народным толкам о мужицком царе-избавителе.

А в общем, все шито-крыто, тишь да гладь. Правительство всего более заботилось о том, чтобы сокрыть от народа грозную смуту на окраине и неуклонно пресекать всякую «народную эху» о пожаре на востоке.

Петербург хорошел, веселился. На проспектах, на одетых в гранит набережных — гением Растрелли-сына, Деламота, Гваренги и других — на удивленье всему миру и на многие века возникали великолепные

дворцы и храмы. Был в работе «медный всадник» — бессмертное творенье Фальконета, вечный памятник бессмертному Петру.

Столичные власти негласным повелением Екатерины всячески старались развлекать народ праздничными гуляньями, которым придавалась как бы роль горчичников, вытягивающих излишний в подъяремном народе жар. Гулянья устраивались на Царицыном лугу и на обширной площади вдоль Адмиралтейства, где впоследствии разбит был Александровский сад. Петрушка, балаганы, карусели, катанье с искусственных гор. В торжественные дни гулянья кончались «огненной потехой», то есть фейерверком.

В Летнем саду с двух часов гремела придворная или шереметьевская роговая музыка. Хор придворных егерей-рожечников в сто человек был одет в красные кафтаны с белыми камзолами и в черные треугольные шляпы с плюмажем из белых перьев. Музыкальные рожки, от маленького до четырехаршинного, неприглядные с виду, внутри покрыты лаком и тщательно отделаны. Они издавали нежные, приятные звуки, и хоровое исполнение на них напоминало звучание органа. Послушать эту «ангельскую музыку» сходилось множество народа. Между прочим, секрет и особенность роговой музыки заключались в том, что каждый рожок, за отсутствием ладов, мог издавать лишь одну определенную ноту: ре или соль, ля или фа-диез и так далее. Таким образом, музыкант не тянул мелодию, как это делается при игре на флейте, а, следя за нотами, ждал своего времени, когда ему дунуть в рожок, ни на момент раньше или позже. В этом состояло все искусство, и пьеса напоминала собою музыкальную мозаику, выложенную из отдельных звуков. Рожечники при продаже из одного рабства в другое расценивались дорого: до двух, до трех тысяч за человека, тогда как обычная рабская душа стоила в среднем рублей тридцать.

Заботу о народных развлечениях взяли на себя отдельные вельможи: Елагин, граф Строганов, Нарышкин. Они делали это не только в угоду «матушке», но и в целях дворянского благополучия. У Строганова

в его большом саду бесплатно угощали жителей вином и яствами, во время гулянья «ломались» паяцы, акробаты, пускались потешные огни. Нарышкин имел на петергофской дороге огромный трехверстный сад, при входе висело объявление: «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду для рассеянья мыслей и соблюдения здоровья». В саду были раскинута палатки с закусками, с пивом, дымились котлы со сбитнем. Пели и плясали цыгане в цветных костюмах. Здесь же обычно завязывались и первые в сезоне кулачные бои, до которых граф Алексей Орлов был большой любитель.

Иногда сад навещало высшее общество. На особых площадках, под звуки оркестров, затевались танцы, как-то: полонез, променад, альман, уточка, экосез, котильон и другие. Под сенью деревьев за ломберными столами дулись в карты: тритри, рокамболь, квинтич, ерошки и пр. Зачастую за этими столами проигрывались целые деревеньки. Не повезло барину в азартную игру юрдон,—как тогда говорили, «проюрдонился в дым». Барин горюет. А мужички в это время сидят себе, не ведая беды, дома, но через месяц им скажут: «Ну, собирай котомки да айда в Тамбовскую губернию: вас барин другому господину проюрдонил».

Сановники и богатые помещики славились широким русским гостеприимством. Обеды, ужины, рауты были почти ежедневно то в одном, то в другом барском столичном доме. Какой-нибудь захудалый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, ежедневно питаясь у знакомых и даже незнакомых лиц. На вечерах гремела музыка, в десятом часу накрывался ужин человек на двести. Толпа слуг в галунах, под началом дворецкого, угождала веселящимся гостям. На одном из столов ставился сервиз серебряный, на другом — из саксонского фарфора. За первым суетилась прислуга почтенная, старая; за вторым служили молодые. Подавались аршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржа из своих огородов, белая телятина, выхоленная в люльках на своем скотном дворе. Персики, ананасы, виноград — тоже из своих оранжерей. Во всем — обилие, роскошь. Так проходил будничней

приемный день. Торжественные же балы были баснословны. Умопомрачительной расточительностью устроителей они приводили в изумление даже иностранных дипломатов, знавших блестящие версальские пиры Людовика XVI.

Пышность и роскошь жизни вельмож поощрялись сверху не только в тяжелое для государства время, как взбадривающее начало, но и на протяжении всего царствования Екатерины. Лишь Павел I, предпринявший гонение на все вообще екатерининское, положил конец пирам да балам. Он замкнулся в своем семейном кругу, жил в рамках умеренности и, как исторический курьез, назначил своим подданным число блюд, по чинам и сословиям, но не свыше трех.

Вся народная Россия знала о том, как «на весь свет пыжится» богатое дворянство. Такие купцы, как Жарков да Крохин из Казани, деньгу берегли, каждый грош пускали в оборот, своим приказчикам внушали: «Ты узоров-то глупых с дворян-кутилок не бери, ты человеком должен быть честным, бережливым. Ежели невеста тебе любя, веди в церковь, а пировни там разной не задавай, в этом один грех да изъян». Купечество относилось к «дворянам-бездельникам» с презрением, крестьянство — с лютой ненавистью: «Баре олады со сметаной да сало с салом жрут, а нам собачий хвост сулят». Но кому пожалуешься? Прежде мужик нес свою обиду богу, ныне — новоявленному мужицкому царю.

ГЛАВА X

*Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя.
Матушка Волга*

1

Мужицкий царь со своими малыми разрозненными силами двигался левым берегом Волги в сторону Нижнего-Новгорода. Пройдя около ста верст от Казани, он 18 июля остановился и решил переправиться на

правый, нагорный берег реки возле деревни Нерадовой и селения Сундырь.

Здесь поджидали Пугачева сотни бурлаков с купеческими «посудинами» и много плотогонов, сплавлявших с Керженца лес на понизовье в степные края. На иных плотах были разведены большие огороды со всякой овощью.

Волгари вскарабкались на берег, хлынули к царской палатке, но «царя-батюшку» там не нашли, царь стоял среди своих казаков на бровке берега, любовался нагорной стороной, обильными плотами, баржами.

Наконец, разыскав «батюшку», толпа окружила его. Рассматривая огород на ближайшем плоту, он говорил стоявшему подле Горбатову:

— Глянь, ваше благородие! Двенадцать гряд. Лучок зеленый... Ну и затейники, вот затейники!

Обернувшись на шум, возникший за его плечами, он увидел наконец опустившихся на колени бурлаков.

— Кто такие, откудава? — спросил он.

— Бурлаки, надежа-государь! Бурлаки мы, волгари... Да вкупе с нами — плотогоны.

— Ну, здравы будьте, детушки!.. Вставайте-ка, будет вам кувыраться-то...

— И ты здрав будь, твое величество! — закричали, подымаясь, бурлаки...

Началась беседа. Пугачев рассказал о поражении, постигшем его армию. Ну, да ведь он шибко головы не клонит. Казань-то все ж таки взята, только кремль не покорился, — он, государь, крепко надеется на помощь божию да на свой народ, первым делом на крестьянство: не выдадут, помогут. «Поможем, свет наш!» Бурлаки принялись толковать, что их у Макарья на ярмарке да в Нижнем-Новгороде наберется много тысяч. А как тянули они, бурлаки, посудины вверх по Волге, своими глазами видели, своими ушами слышали, как попутные селенья сжигают и громят помещичьи гнезда, помещиков ловят да вешают, а сами всем скопом собираются к «батюшке».

Слушая, Пугачев вдруг заметил в толпе женщину. Нестарая, с загорелым добрым лицом, одетая в сара-

фан, в чистую, тонкого холста, рубаху, она то прикрывала лицо рукой, то опускала руку и умильно взглядывала на «батюшку», подбородок ее дрожал, из сероголубых глаз капали слезы.

— Эй, о чем, милушка, плачешь? — подняв руку, спросил женщину Пугачев. — Уж не изобидел ли кто тебя?

— Да как же не плакать-то, свет наш!.. От радости, батюшка, плачу. От радости, — часто замигав, откликнулась женщина и сквозь слезы улыбнулась.

— Ты сорви-ка, Матрена, огурчиков, батюшке-т, — сказал рыжебородый дядя в беспоясой рубахе с засученными рукавами, по-видимому — муж ее. — Репки да морковки с брюковкой..

— Ужо-тка, ужо я и всего с грядок понадергаю, — обрадованно сказала женщина и шустро двинулась к плоту с огородом.

— Стой, Матренушка! — остановил ее Пугачев. — Не рушь зря огорода, вам еще долго плыть, пригодится. А мне бы луку зеленого пучочка три да чесноку малость. Уважаю я чеснок-от..

Пока баба бегала на плот, Пугачев, продолжая беседу с плотогонами, заговорил о переправе его армии на тот берег, расспрашивал о Нижнем-Новгороде. Они сказали, что губернатор Ступишин город укрепил хорошо, есть пушки, есть и солдаты. Что касемо переправы, то лучше этого места не найти да к тому же у них много челнов, а у бурлаков два порожних баркаса.

Матрена притащила с огорода всякой всячины, передала Ермилке, а «батюшке» вручила вышитое, тонкого холста, полотенце.

— Прими, батюшка, — сказала она, кланяясь. — Личико свое пресветлое утирать будешь да нас, сирых, вспоминать.

— Благодарствую, — проговорил Пугачев и, сняв с руки кольцо, подал его женщине. — Возьми, милушка. Радость ты мне принесла.

— Что ты, что ты, желанный наш!.. Недостойна я твоего царского подарка... Ой, ты!

Она повалилась Пугачеву в ноги.

Он поднял ее, спросил:

— Чьих ты господ?

— Кожевниковых, батюшка.

— Будь отныне вольна! — властно проговорил Пугачев. — И все вы вольны будьте, детушки! А ежели крестьянство даст нашей императорской армии подмогу, то и вся Русь с землей, с волей будет.

— Спасибо, отец наш! — закричали бурлаки. — Продли тебе, господи, живота да веку!

Вскоре под наблюдением Овчинникова с Твороговым началась переправа на тот берег. Полсотни челнов заскользили по зеркальному течению тихой Волги. На том берегу уже дымились костры.

Постепенно стягивались к царской ставке части разбитых под Казанью пугачевских сил, подходили, подъезжали из ближних селений новые кучки крестьян, иные приводили с собой на царский суд лихих помещиков, бурмистров, старост.

Прибывшие каргалинские татары доложили Пугачеву, что их атаманы Улеев и Махмутов схвачены высланными из Казани розыскными командами. А прискакавший белобородовский писарь Верхоланцев сообщил, что полковник Иван Наумыч Белобородов пленен.

— Да неужто? — схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачев. Все меньше и меньше становилось у него атаманов. Не стало Зарубина-Чики, рассудительного Максима Шигаева, убит атаман старик Витошнов, без вести пропал Падуров, золотая голова. А вот теперь лютое несчастье поразило и верного Наумыча.

Оправившись от тяжелого известия, Пугачев ездил по берегу от толпы к толпе, верховодил переправой. К жару он человек привычный, но волжский раскаленный день и его сморил.

— А поплывем-ка, ваше благородие, купаться.

И вот они вместе с Горбатовым, раздобыв лодку, отправляются вдвоем на середку реки. Лодку поставили на прикол и бросились в воду. Купались не торопясь, со вкусом: поплавают, побарахтаются да опять в лодку. Горбатов сказал:

— Вы, государь, шибко-то не унывайте. Я, как человек военный, несмотря ни на что, считаю, что дело под Казанью было одной из блестящих побед ваших...

— А кремль-то, кремль?

— Взяли бы и кремль, когда бы нам Михельсон не помешал да будь у нас поболее артиллерии...

— Верно! А Михельсонишка-т того... дюже пообидел нас.

— Наша армия сопротивлялась неплохо ему. И о вас, о вашем начале хулы не скажешь.

— Благодарствую... А все ж таки трепку дал нам Михельсон.

— Был момент, могли бы Михельсона раздавить вовсе. Но... — Горбатов развел руками. — Дисциплина у него железная, солдаты вымуштрованы, да и вооружены как надо. Тысячный отряд его врубался в нашу несметную толпу, как топор... в гречневую кашу.

— Вот то-то и оно-то, — проговорил Пугачев.

— А все ж таки...

— А все ж таки наша взяла, да только, вишь, рыло в крови! Так, что ли? — выкрикнул Пугачев и улыбнулся, но голос его звучал невесело и во взоре было темно, без огонька.

Помолчали. Емельян Иваныч, спустив ногу в воду, смотрел, как мелкая рыбешка льнет к ноге, щекочет кожу.

— Офицер ты на диво! — продолжал он. — А, ведаешь, я не знаю, кто ты есть? Было у меня в помыслах, уж не высмотрень ли ты, таперь думаю — не-е-т, мы с тобой, ваше благородие, одной глины горшки. Ну, кто ж ты, ась?

— Извольте, государь, с большой охотой поведаю вам о судьбе своей, — ответил Андрей Горбатов и принялся рассказывать сначала об участии своего брата Коли, именно то, что он рассказал уже Дашеньке (где-то она, что-то с ней?), затем повел речь о себе:

— Когда мы разлучились с Колей, мой досточтимый дядюшка, этакий усач с брюшком на коротких ножках, повез меня на юг: «Там мы, говорит, лошадей закупим дешевле и хороших статей». И подъехали мы после долгих странствий к самой, как потом

оказалось, турецкой границе. Остановились в корчме у грека. В корчму начали приезжать какие-то богатые толстые люди, оказалось — молдаванские купцы. Все пальцы их сплошь унизаны драгоценными перстнями. Стала завязываться картежная игра. Дядя прожил в корчме около недели и умудрился спустить двадцать тысяч казенных денег. Когда опаматовался, хотел стреляться, но раздумал. И вот, помню, ужин. Грек вынес из-за перегородки три стакана виноградного вина — мне красное, а себе и дяде белое. Кроме нас, никого в корчме не было. Я выпил, у меня замутилась голова, и я потерял сознание. Был в обмороке, по моим расчетам, больше суток...

— Эге ж!.. Да это они, анчутки беспятые, сонного зелья тебе всыпали, — проговорил Пугачев посапывая.

— Очнулся я и не могу признать ни себя, ни окружающей обстановки. Довольно приличная, увешанная коврами чужая, незнакомая комната, возле меня старый турок в красной феске с кисточкой, а на сундуке, у двери, — наш бывший хозяин корчмы, грек. Я лежу на скамье. На мне старые синие шаровары, турецкая заплатанная куртка, на ногах мягкие чуваки. Я приподнялся, спросил: «Что это означает? Куда это меня завезли, где мой дядя-офицер?» Грек сказал: «У тебя дяди нет, ты в Турции, ты больше своей России не увидишь. Вот тебе записка от дяди». Я весь затрясся, я едва мог прочесть дядины каракули. Он писал: «Дорогой Андрюша! Я из подлецов подлец. Я лишился всего: денег, чести, родины. Я проиграл и твои золотые часы, и твое ношебное платье, и все вещи твои. Чтоб перебраться за границу, я принужден был продать тебя. Вырученные деньги дадут мне возможность кой-как добраться до Бухареста, где у меня есть дальний родственник, зажиточный человек. Но думаю, что сего позора не переживу, лишу себя жизни... Прощай, мой мальчик, навсегда».

— Вот видишь, вот видишь, Горбатов, какие есть сволочи помещики-то! — со страстностью вскричал Пугачев, брови его сдвинулись к переносице.

— Прочитав записку, — продолжал Горбатов, — схватился я за голову, и мне показалось, что со мной

продолжается кошмарный бред или я сошел с ума. Я вскочил, стал кричать, топтать ногами, требовать, чтоб меня тотчас везли домой, к родителям. И в отчаянье ринулся с кулаками на грека. Грек дал мне зуботычину, свалил меня, связал веревкой. «Ты брось буянить, — сказал он. — На помощь к тебе никто не придет, а государыня Екатерина воевать из-за тебя не станет. Вот твой господин, — и он указал на старого турка. — У него есть на тебя запродажная бумага, бумага заверена у русского и турецкого начальников». Сказав так, он распрощался с турком и поехал к границе, чтоб ночью перебраться через нее к себе домой. Я лежал связанный и тихо плакал. Турок сказал мне: «Имя твое — Гирей. Будешь работать на моих виноградниках. Подрастешь, примешь нашу истинную веру, женишься на дочери моей, будешь славный турок». Я заплакал пуще. Он развязал меня, велел подать для меня баранью похлебку с кукурузными лепешками. Еду приносила горбатая старуха. Хозяин турок говорил по-русски кой-как, едва поймешь. Он сказал: «Ты будешь жить на кухне. У меня гарем. Морда у тебя красивая. Ежели что замечу, знай, сделаю из тебя евнуха. Бойся!» Я две недели каждый день буянил, на работу не ходил, требовал отвезти меня в Россию. Меня били плетью, били кулаками, я изнемог и целый месяц пролежал, как мертвый. Когда поправился и окреп, в ночное время бежал, но был пойман. И хозяин посадил меня на цепь, как собаку. Тут я на своем опыте познал, до чего худо, до чего унижительно быть человеку в рабском состоянии.

— Во! — крикнул Пугачев. — А из-за чего и сырбор-то весь горит, супротив чего и мы-то с тобой стараемся да страждем?

— Так, государь, так... — согласился Горбатов. — В течение года трижды пытался я спастись бегством, меня ловили и снова сажали на цепь. Так прошло два года. Я пробовал писать письма отцу, своей крестной, помещице Проскуряковой, даже одно письмо императрице. Посылал, казалось мне, с верными людьми, но всякий раз письма мои попадали в руки хозяина, и

он, издеваясь надо мной, швырял их на моих глазах в печку. Тогда я понял, что, ища себе спасенья, надо поступать по-другому. И я начал... втираться в доверие к хозяину. Сделался веселым парнем, на славу, за троих работал. Хозяин был доволен, подарил мне хорошую сряду — красную куртку со шнурами, с позументом, атласные шаровары, сафьяновые туфли. И стал я красивый турок, участвовал в игрищах, выпивал, ловко плясал, славно пел. К тому же и турецкий разговор кой-как осилил, научился неплохо лопотать по-ихнему. Как-то хозяин спросил меня: «Ну что, Гирей, бросил по России скучать?» Я весело ответил: «А чего мне скучать! Отвык я от России. Здесь лучше!» Он сказал: «Ты знаешь по-французски, учи мою дочь, а как примешь наш истинный святой закон, женись на ней». Я притворился, что очень рад, и согласился.

Горбатов замолк. Пугачев вскинул на него взор и проговорил:

— Сыпь дальше, занятно, слышь. А хороша ли турецкая девчонка-то?

— Нет, государь, подслеповатая, кривоплечая, а на правой руке шесть пальцев...

Емельян Иваныч смешливо присвистнул. Горбатов продолжал:

— В конце года хозяин уже доверял мне вполне: я ездил с деньгами в город, вершил там разные дела. Я принял турецкое подданство, получил паспорт, через месяц должна была состояться моя свадьба, мне шел восемнадцатый год. Тут мне улыбнулось счастье. Хозяин тяжело захворал, а меня отправил в городок по денежным делам. Я туда выехал и больше не возвратился. Я купил пару чудесных лошадей и направился верхом прямо в Константинополь.

— В Цареград? Эге ж! Да ты парень пройди-свет, я вижу! — прищелкнув языком, сказал Пугачев.

Солнце спускалось за Волгу большим красно-огненным шаром. Казалось, оно трепещется, играет, то увеличиваясь в объеме, то сжимаясь. По смирной воде протянулась к лодке прямая самоцветная тропинка с зазубринами по краям. Изжелта-красный цвет ее постепенно угасал. Обманную тропинку эту то и дело

пересекали скользящие челны, издали они казались черными ползущими букашками. На горе, в лучах заката, розовела белая церковка села Сундырь, а многочисленные избы с загоревшимися слюдяными оконцами — будто скопище невиданных зверей: вот они вышли из дремучего леса и, развалясь отдохнуть на берегу, уставились пылающими глазами на солнце. Беззвучно пролетали, взмахивая мягкими крыльями, лиловые чайки, парами и в одиночку. Кругом было тихо, благодно.

— Словом, коротко сказать, — говорил Горбатов, — очутившись в турецкой столице, я измыслил пробраться в канцелярию нашего посольства и объявить там сгрязному, кто я такой и как попал в Турцию. Стряпчий отечески потрепал меня по плечу и молвил: «Приходите, молодой человек, через недельку, авось, на ваше счастье, кой-что и наклюнется. Есть перспективы». Так оно и вышло. В скором времени Турция объявила войну России, наш посланник, очень почтенный человек, взял меня под свое покровительство, и вот я с русским посольством снова на родине. Ах, государы! Какое великое, какое святое слово — родина! Когда ступил я на родную землю, сердце мое сжалось, и я заплакал. И как бы вновь родился я на божий свет. И подумал тогда, да не перестая и ныне так думать: только тот наособицу любит родину, кто вкусил долгой разлуки с ней, тем паче будучи в неволе лютой.

— Истина твоя... — подтвердил Пугачев.

— Вскорости прибыл я в свое гнездо, надеясь упасть к ногам бесценных родителей моих... И что же там встретил я? Встретил я там то, от чего на веки вечные померкла, озлобилась душа моя... — Горбатов опустил светло-русую свою голову и часто-часто замигал. — Ставни на окнах в нашем доме закрыты, парадная дверь забита доской. Я прошел на кухню. Наш старый слуга Федотик спросил меня: «Что вам угодно?» Я говорю: «Здравствуй, Федотик! Нешто не признал?» Он бросился мне на шею: «Андрюшенька, Андрюшенька!» — и заперхал стариковским плачем. «Где мои родители, где Коля?» — спросил я не своим

голосом. Он прекрестился и, утирая слезы, сказал: «Все они по воле божьей на том свете, Андрюшенька: и барин с барыней, богоданные родители твои, и родной твой братец Коленька». У меня закружилась голова, едва я не упал с лавки. Старик подал мне квасу и, видя, что я пришел в чувство, стал рассказывать о Коле, погибшем на почтовой станции под Нижним. «А мамашенька ваша, говорит, как узнала, что Коленька скончался на чужбине, да и от тебя-то не толкой весточки нет, тронулась умом да невзадолге, сердешная, и преставилась». Ну, а с папенькой моим, со слов Федотика, было так. Наш сосед, помещик Янов, пьяница и скандалист на всю губернию. А капитал у него отменный. Вот этот самый Янов, охотясь со своей псарней за зайцами, собственноручно выдрал нагайкой бедного помещика-одногодворца за то, вишь, что тот не снял перед ним шапки. Мой отец этому злодейству очевидцем был, научил одногодворца подать в суд, а сам пошел в свидетели. Любил отец правду, почасту встревал он за обиженных. Янова суд оправдал, все судьи были им подкуплены, а отца этот самый Янов с тех пор возненавидел и стал искать случая к его погублению. К примеру, обреет полголовы, словно каторжному, какому-либо из своей дворни и велит ему скрытно запереться в бане моего отца. На другой день, по поручению Янова, наедет к отцу полиция: обыск! Ага, укрывать беглых каторжников! Отца в суд. Присудят к отсидке либо к большому штрафу и на приметину возьмут. Так в моем отсутствии было с отцом трижды. Отца уже повезли в острог, да спасла его все та же Проскуракова, крестная моя: взяла его на поруки. А то как-то глубокой осенью приехал этот разбойник Янов со своей шайкой на двадцати подводах, приказал сорвать замок с житницы и весь хлеб, весь урожай, какой там был сыпан в закрома, увез к себе. Этот разбой происходил днем, на глазах у всех. Несчастный родитель мой, когда ему об этом сказали, весь затрясся, схватил ружье и в одном халате по морозу побежал к своей житнице, да вгорячах и ахнул из ружья в кучу насильников. Кого-то ранил. «Бей его!» — закричал Янов. И

отца стали бить. А сердце у него было слабое, не выдержало... не перенесло стыда и боли... отступалось!..

— Ну, а земля-то за тобой осталась? — спросил Пугачев. Он сидел насупясь и шумно отдувался, густые усы его шевелились.

— Нет! Какая там земля... — ответил загрустивший от воспоминаний Горбатов. — Отец мой разорился с судами, имение было заложено, и, как не оставалось ни одного наследника, да к тому же и я пропал без вести, пошло имение с молотка, было куплено тем же Яновым. Наша деревенька небольшая, шестьдесят дворов: крестьяне работающие, непьющие, жили безбедно, имели побочный заработок — мастерами колеса для телег. Отца они уважали, и отец заботился о них. Еще при мне деревня сгорела дотла, отец заложил имение и выстроил им избы. А треклятый Янов начал с того, что всех мужиков насильно переселил в дальнюю Новгородскую губернию на плохую, неродимую землю. Такое варварство взъярило наших крестьян, несколько семей в бега ударились. Оставил новый барин при доме только нашего старика Федотика.

Он примолк.

— Знаешь что, ваше благородие, — сказал Пугачев. — Ужо-ка я казачишек спосылаю за этим змеем, пускай сыщут да привезут его ко мне, я из него крошку сделаю!

— Оного помещика уже нет на свете, — убит крестьянами, — отозвался Горбатов, — а наше бывшее поместье в третьих руках... Э, да что там! — прервал он себя и махнул рукою.

— Так, так... Ну, друг, теперь ты для меня как облупленное яичко! Верю тебе крепко, — оживленно сказал Пугачев и, помолчав, с некоторой опаской в голосе добавил: — Вот ты и за государя меня признаешь... — А подметив смущение офицера, торопливо продолжал: — Глянь-ка, глянь, ваше благородие, зорюшка-то полыхает!

Офицер вскинул голову. Солнце село, волшебная тропинка на воде исчезла. Зато половина небосвода

расцветилась оранжевым цветом, густым у западного горизонта, постепенно гаснущим к зениту. Слюдовая гладь воды между пугачевской лодкой и закатом, отражая нежное сияние небес, зарделась ровным блеском. Все пространство от земли до неба, от края до края, наполнилось сумеречной волнующей печалью. Это — последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный далью благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с лугов.

И тут ближе, из-за самой реки, взялась и поплыла бурлацкая песня:

Матушка Волга, широка и долга,
Ты нас укачала, ты нас уваляла...
Эх, нашей-то силушки,
Нашей силушки не стало!

С надрывом, с жалобным стоном песня то достигала затаившихся в лодке людей, то вдруг куда-то удалялась от них, словно приманивая к себе, в заволжские леса и нивы.

Горбатов чутко внимал самобытной песне, созерцая погасавшую красоту заката. По-иному переживал пышное угасание этого вечера Пугачев. Уж не казанские ли пожары полыхают над Волгой, не заревом ли от них охватило полнеба? А вот два огненных, невеликих, в шапку, облачка... Уж не дым ли то от выстрелов михельсоновских пушек? А это беспрестанное кряканье селезня в камышах — не звуки ли медной трубы горниста Ермилки?

Житель привольного Дона, Пугачев любил природу и понимал в ней толк... Но нынче вся душа его потревожена, приплюснута бедами, раздернута, и не до любования ему закатом... Снова запахло будто бы удушливым порохом, в уши ломятся отзвуки грохота пушек, ржания коней, стога раненых, а в глаза наплывают призраки: пламя пожарищ, клубы пыли и дыма, блеск сабель, и — бегут, бегут, подобно отарам овец, преследуемых волками, безоружные его скопища... Нет, не до небесных закатов Емельяну Иванычу. А тут еще, как надоедливый комар, зудит и

зудит досадливая мысль о соседе Горбатова — помещике Янове: подход, скот, а то вот как бы отыгрался на нем Емельян Иваныч... Впрочем, не в Янове-помещике дело! Всех их, злодеев, не перевешаешь, не угомонишь... Тут, гляди, как бы самому целым остаться... Вон ведь Михельсонишка-то чего натворил!

2

— Двинулись, ваше благородие, пора, — сказал Пугачев и начал от прикола отвязывать лодку.

В это время к ним подплыла распашная ладья, в ней два рыбака — старик да парень, сеть и много не уснувшей еще рыбы. В носу кучей лежали стерлядки и большой, пуда на два, осетр.

— Здорово-тя живете, удальцы! — поприветствовал Пугачева с Горбатовым старый рыбак, тормозя веслом лодку.

— Здоров бывай, стар человек, — ответил Пугачев. — Кто такие?

— А мы, сударик, Лозьевой деревни жители, крепостные крестьяне Табакова-господина, рыбаки. Царю-батюшке рыбкой поусердствовать хотим, слых прошел, что здесь он, солнышко наше, а как его найти, неизвестно нам, — сказал старик, вопросительно глядя на Пугачева из-под надвинутой на глаза ветхой шляпки.

— Ну, так поплывем нито с нами, — проговорил Пугачев. — Мы слуги его величества.

— Ой, робята, не оставьте нас! — обрадованно улыбнулся в большую волнистую бороду сутулый старик.

Лодки, спарившись, заскользили наискосок реки к берегу.

— Ну, а чего народ-то гуторит о государе? — спросил Пугачев.

— Давно ждут, мил человек, давно поджидают батюшку. Народишка-т высвобожденья чает. Ведаешь, помещики-то с приказными да воеводами всякое нам насильство чинят, кормы от нас берут сверхсильные,

податями душат. От этого, мил человек, мир-от и закачался.

Пугачеву эти слова по душе пришлись, он переспросил:

— Так, баешь, закачался мир-от?

— Закачался, мил человек! Как при Разине, шум в народе идет, — ответил старик. — Мой родитель самовидцем Степана-то Тимофеича был, ну так сказывал мне: запорожцы-то с черкесами пеши до конца берегом Волги шли, а сам Степанушка-то на стругах.

Обе лодки тянулись неторопливо, самосплавом, а встречу им плыли береговые костры, и гул огромной толпы слышался с берега явственней.

— Стенька-т, сказывал родитель, человек многогрешный был, любил погулять, подурить, да и на барскую кровь не скупился, — продолжал старик, затягиваясь из берестяной тавлинки табачными понюшками. — И за грехи его, сказывал родитель, мать сыра земля не приняла быдто Стеньку-то, как сказнили его в белокаменной, на Красной на площади. И слых в народе остался, быдто бы он, Степанушка-то, сызнава явится. — На скуластом, сухошеком лице рыбака вновь появилась улыбка. — А вот, замест Стеньки-то, почитай, сто годов погодя, сам царь-государь объявился ныне... Только слых идет, быдто его, батюшку нашего, в Казани-городе генералишки пообидели... Ну, да горя мало, народ-то, сила-то мужичья, чай, не с генералами! А где народ, там и бог, там и правды истинной крепость! Еще пропущен слых, быдто наследник Павел на помощь батьке-то идет с превеликим воинством. Поди и у вас гуторят? Ась?

Пугачев смолчал, приметно нахмурился, и, как бы разгадав его мысли, подал голос Горбатов:

— Настанет пора, пожалует и наследник. А только народу-то об одном помнить надобно: на царя надейся, да и сам не плошай...

— Царь-то, — подхватил Пугачев, светлея в лице, — без народной силушки — что дуб без корней: вдарит буря — он, глядь, и свалится, дуб-то.

С берега заголосил дозорный:

— Государь, государы! Батюшка плывет!

Люди шарахнулись к берегу. Казаки принялись расчищать в толпе проход к царевой палатке. Пугачев сказал рыбаку:

— Рыбу у тебя, дедушка, сейчас примут, а ты с мальцом где-нито в народе побудь, невзадолге и самого государя узришь.

...Пока готовилась стерляжья уха, Пугачев вел беседу с Дубровским.

— Уразумел ли ты, друг, каков должен быть мой царский манифест к народу?

— Из ваших личных слов, ваше величество, уразумел в полной мере, — бойко ответил молодой Дубровский. — Само главное по нуждишкам крестьянским пройтись...

— А коли уразумел, ступай поскорейча, пиши. А как покончишь, вычитку мне сделаешь, да чтоб грамотные казачишки всю ночь напролет оное наше слово множили. Ступай!

К ужину собрались приглашенные командиры: Овчинников, Чумаков, Перфильев, Творогов, Горбатов, Федульев и другие. Вели разговоры о делах народного ополчения. Никто не знал толком, каковы были потери в боях казанских. Не было вовсе командирам известно, что Михельсон переловил около десятка тысяч безоружного крестьянства да старых пленных солдат. Немалый был урон и среди казаков и среди горнозаводских, предводительствуемых Белобородовым.

— Шибко жаль уральских работников, вон какой смышленный да отчаянный народ, — сказал Емельян Иваныч.

Потолковав, решили приняться за устройство армии, «во вся тяжкие» мужиков ратному делу обучать. Трудное, прямо-таки маловозможное занятие: ни оружия, ни времени. А ничего не попишешь — надо!

— Пушек да мортиров, господа атаманы, черт-ма у нас, — сумрачно сказал Пугачев. — Последние под Казанью растеряли. Твоя, Чумаков, вина. По шее бы тебя.

— Я свою шею не для чужих кулаков растил, — сдержил Чумаков.

— А для чего ж? Для удавки, что ли? — крикнул Пугачев, и его рот слегка перекосялся, брови вздернулись.

Чумаков скраснел, рывком накренил к груди голову: широкая, лопатой, борода как бы сломилась надвое. Чтоб замаять ненужную перепалку эту, Овчинников громко заговорил:

— Когда мы под Казанью бились, с Камы, вверх по Волге, баржу мимо нас тянули. А в той барже шесть медных пушек с зарядами да немало пороха с ружьями. Пушки сработаны на Воскресенском заводе... И плавят все это оруженье до Рыбинска, а там по Шексне-реке, дальше же на колесах, в Питер.

— Перехватить! — вскричал Пугачев и пристукнул кулаком по столешнице. — Взять, говорю, баржу ту!

Овчинников тряхнул густоволосой головой, ухмыльнулся:

— Да уж взяли, батюшка, взяли. Все шесть пушек на лафетах к берегу выкачены.

Пугачев откинулся, прищурился на атамана и в раздражении крикнул:

— Смеешься ты?

— Правду говорю, — поднял голос Овчинников. — Все дельце спроворили, пока купался ты, батюшка Петр Федорыч. Не веришь, покличь мастера с Воскресенского завода Петра Сысоева. Он на барже при пушках спосылыван был, а теперича здесь.

— Добре, добре, — повеселел Пугачев и крепко, вразмах, обнял Овчинникова.

Позвали Сысоева. Эта был высокий, опрятно одетый человек со впалой грудью. Лицо у него сухошее, скуластое, обрамлено темной бородкой. Глубоко посаженные глаза сильно косили.

— Во! Знакомого бог дает! — вскричал, враз узнав мастера, Пугачев. — Ну, здорово, Петр Сысоев, здорово, мастер отменный! Садись, друг, да поведай нам, что да как?

Сысоев поклонился, сел и обстоятельно, не торопясь заговорил:

— Спустя неделю, как ты, царь-государь, удалился от нас, с Воскресенского, нагрнулся к нам

воинский отряд. Кой-кого похватали, кой-кого кнутьями выдрали, а Якова Антипова в железа заковали, куда-то утащили.

— Ахти беда... Ну, а немец? Отыскался, нет? — спросил Пугачев.

— Нет, царь-государь, Мюллер как сгинул... Был слух, будто в Екатеринбург он пробрался. Да врут поди. А что касаясь пушек, для вашей милости отлитых, так их приказано было доставить до Камы, нагрузить там на баржу и — в Питер.

Сысоев рассказал, что их баржа возле Казани стала в самой середине Волги на якорь, — ночь была, ветер, опасались сесть на перекате; а он, мастер, махнул на челне в Казань с поручением к купцу Крохину, радетелю древлего благочестия. Купец отрядил с ним пять своих молодцов с ружьями да еще приказчика. Приказчик, прибыв на баржу, упросил двух офицеров, дабы те за хорошее вознаграждение приняли к себе на судно молодцов да самый малый груз с товаром и чтобы тех купецких людей доставили к Нижнему, на Макарьевскую ярмарку.

— Обдурили, значит, офицеров-то? — нетерпеливо спросил Пугачев, заскакивая мысленно вперед.

— Офицеры деньги, конечно, взяли и на все согласные сделались, а купецкие молодцы с нашими заводскими в пути стакнулись, добыли из купецких тюков бочонок с водкой, по тайности ночью спои́ли солдат и ружья у них отобрали. А офицеров, кои вздумали сопротивление оказать, побросали в Волгу...

— Так. А пушки, где пушки? — спросил Пугачев, приподымаясь.

— А пушки за Волгу перегнали, царь-государь, вместях с баржой. Миша Маленький на берег их выволок, — наморщив деловито лоб, откликнулся Петр Сысоев.

— Как, и Миша здесь? — воскликнул Пугачев.

— Здеся-ка, здеся-ка, царь-государь, с нами.

— Жалую тебя в есаулы, — взволнованно сказал Пугачев, вынул из кармана широких шаровар медаль и подал мастеру. — Носи, есаул, в честь награждения.

за труды, за ловкость, за верность нам, а наипаче — превеликому умыслу нашему... И будь ты, трудник, по праву руку нашу!

Пугачев был растроган. Велел Овчинникову на барже всех людей одарить деньгами в знак милости. Затем все направились осматривать драгоценную добычу.

На берегу, укрытом строевым сосновым лесом, к вечеру уже скопилась вблизи царской палатки не одна тысяча народу. Люди прибывали водой и берегом. Пылало множество костров. Шум стоял, говор, крики. Кони всхрапывали, побрехивали вездесущие собачонки. Кто-то истошным голосом взывал на берегу:

— Ванька! Ле-ш-а-ай... Где ты?

Под песчаным невысоким курганом у костра артель бурлаков, поужинав ухую, завела складную песню. На кургане стояла телега, на телеге, подмяв под себя сено, притаилась Акулька. Она лежала вверх спиной, опершись локтями о дно телеги и охватив щеки ладонями. Ей давно пора спать, но как же можно пропустить мимо ушей эти бурлацкие, такие складные, такие заунывные песни.

Бородатый плешастый дядя зачинал, ватажка подхватывала. Натужив грудь, запевала тянул:

Что на синем славном море Хвалынском
Сходились мазурушки персидские
Да низовые бурлаченьки беспашпортные,
Они думали-гадали думу крепкую:
«Вот кому из нас, ребяташки, атаманом быть?»
«Атаманом быть Степану Тимофенчу!»
Атаман речь возговорил, как в трубу струбил:
«Не пора ли нам, ребята, со синя моря
Что за матушку Волгу, на быстру реку...»

Ах, песня... Вот песня! Ну до чего складно, до чего узывисто поют. Век бы слушать! А тут еще дедушка, степенный такой да приятный, в гусли бурлакам подыгрывает. Струны гудут-гудут, и тренькают, и словно плачут.

Акулька затаила дыхание, у нее тоже просились наружу слезы, только плакать ей хотелось не от

грусти-печали, а от злой досады. Она злилась на себя и на дяденек: на себя за то, что ей ни в жизнь длинной такой песни не запомнить и, значит, не повторить ее любимому царю-батюшке, а на дяденек — что они вон как голосисто, на всю Волгу, орут: еще, чего доброго, батюшка сам песню-то дослышит, тогда и ее, Акульки, перепев ни к чему государю пресветлому.

Так оно и случилось: долетела эта песня до Емельяна Иваныча, вышел он из палатки на волю, замер один-одинешенек под звездным небом и внимает складному голосу издавна знакомой и оттого вдвойне милой ему песни.

Подошел к нему секретарь Дубровский:

— Вот манифесты, ваше величество, согласуемо вашего повеления. Прикажете зачесть?

— Идем в палатку.

Тем временем проворная Акулечка уже успела подкатиться к ватажке бурлаков.

— Ой, дяденьки, ой, миленькие, — засюсюкала она с хитрой улыбкой. — Ой, да научите меня этой песне, а я вам свою спою, смеховатенькую.

— Глянь, братцы, девчонка! — оживились бурлаки. И все враз заулыбались.

— Откедова ты в этаким лесу, уж не русалья ли ты дочка? А может, лесная кикимора выродила тебя?

— Ой, полуумные какие, а еще мужики, — с напускной заносчивостью проговорила Акулька. — Я баба, да и то умнее вас.

Бурлаки захохотали: вот так баба — от земли едва видать...

— Глянь, бесенок какой... Хватай ее! — пугающе крикнул бородатый плешастый запевала и, поймав Акульку, усадил ее к себе на колени.

— А давайте-ка из девчонки, ха-ха, похлебку варить! — крикнул толстогубый, в рыжей бороде, лохмач.

— Хм, похлебку, — хмыкнула Акулька и встряхнула простоволосой головой. — Да за такие паскудные слова царь-государь живо тебя за волосья.

— А откудов он проведает про слова-то мои?

— А я скажу.

— Так и допустят тебя до царя, — откликнулись бурлаки, с любопытными ухмылками поглядывая на девчонку.

— Хм, допустят... Да я, может, царю-батюшке-т кажинный день шаровары да рубахи латаю.

— Ах ты бабья дочь, теткина племянница! — грохнули бурлаки. — Да нешто ампираторы в латаном ходят?

— А вот и ходют... Пираторы — не знаю, а наш — бережливый. Меня батюшка-т в лесу подобрал, — не-ожиданно сообщила она. — Я по миру в куски ходила, христарадничала, а он меня, сироту, взял. На его коне я и ехала попервоначалу.

— А не врешь, сопатая? Больно нужны ему сироты!

— А вот и нужны!.. Ненила, стряпуха батюшкина, сказывала: он всех на свете сирот привечает; сиротский царь, говорит, потому што...

Неумолчно болтая, раскрасневшись от явного внимания к себе всей артели, Акулька потянулась к своему узелку, достала из него иглу с ниткой и принялась зашивать бородачу разорванный рукав рубахи.

— Я вас ужо-ужо всех обошью, у меня лоскутьев — во! А кому, так и воши в голове выишу.

— Ой, спасибо тебе, доченька! — перестав смеяться, заговорили бурлаки. — А то, вишь, и впрямь в дороге обносились, при нас баб-то нет. Кузьма! Дай-кошь ей заедочку, пряничек.

— Хм! Заедочку... — сморщив нос, сказала Акулька. — Да я кажинный день с пряниками-то щи хлебаю. Не верите, так вот вам! — И, вытащив из своего узелка две заедки, она кинула их в колени Кузьме. — У нас в обозе кажный сосунок с пряниками.

— Сироты все, ай как?

— Всякие! Эвон взять Трошку, парнишка такой, с сестренками, ну-к при них матка. А тятюку ихнего, Омельяном звать, баре замучали. Да неспроста замучали-то, а зачем он за нашего царя-батюшку вступился... В товарищах он при батюшке ездил с самого, вишь, с Дона-реки, казак потому што... — пояснила

она и так же внезапно, как начала о сиротах, вернулась к песне: — Ну, так чего же, дяденьки, охочи, нет нашу деревенскую?

Она отерла рукой рот, часто замигала и каким-то птичьим голосом, с прихлюпкой и потешным придыханием, запела:

Как у нас в деревне
По будням-то дождь-дождь,
По будням-то дождь-дождь
И по праздникам дождь-дождь.

Густой сумрак окутал лес, всю Волгу, лишь цепь костров, поблескивая багрянцем, клубилась дымом. Вдруг справа на кургане, что недалече от костра бурлаков, забил барабан, затрубила труба и четыре смоляных факела разом осветили вершину кургана. Там, на той самой телеге, где только что лежала Акулька, стоял во весь рост Емельян Иваныч. Он был в парчовом полукафтаны, на голове высокая шапка с красным напуском, при бедре сабля, за поясом два пистолета, в руке медная, начищенная бузиной зрительная труба.

— Гляньте — царь, сам царь! — закричала, позабыв о песне, Акулька.

Бурлаки ахнули, вскочили, побежали на призыв трубы и барабана. И все несметное людское скопище кругом зашевелилось. Многотысячная толпа, расположившаяся среди сосен, начала сгуживаться и, сминая все на своем пути, бурно устремилась через сутемень к пылавшему в огнях кургану. Старый рыбак с парнем, что приплавил в подарок государю рыбу, попали в костомятку. Толпища, как прорвавшая плотину река, неудержимо хлынула к царю-батьюшке. Живым водоворотом она крутилась возле сосен, возле всякого встречного препятствия, подавалась вправо, сваливала влево, откатывала назад, перла на пролом вперед.

От растоптанных костров во все стороны летели головешки, трещали опрокинутые телеги, падали сбитые с ног более слабые люди. Всюду неистовый рев, стоны, выкрики: «Легше, легше, дьяволы!..» Старый

рыбак, теряя силы, вцепился в своего парня, и они оба отдались живому течению; их, как сухие снопы, много раз перебрасывало с одного места на другое. Наконец людские волны начали униматься и все скопище потекло к кургану.

— Детушки! — подал свой зычный голос Пугачев, зорко осматриваясь по сторонам: вот оно, истое кондовое мужичье царство — широкогрудые, бородатые, богатырь к богатырю, сыны Волги, нив, полей, вековых лесов ее. — Детушки! Верное мое крестьянство! И вы, люди ратные! Нам, божией милостью, уповательно завтра с зарей перелазить всюю силою на тот, на правый, берег Волги-матки. А малая часть уже туды и переправилась. И коль скоро мы, оставив Башкирию с землями приуральскими, вступаем в крестьянское царство-государство, то и положили себе огласить вам, пахарям, бурлакам, лесорубам, рыбакам и прочим, прочим всем труженикам, свой императорский манифест. Прислушайтесь!

Вскинулся одинокий голос, подхваченный в сотни глоток:

— На колени, братцы! На колени!

Народ с глухим шорохом опустился на колени. Возле самой телеги, сложив на груди худенькие руки, приникла на колени и Акулька. А старик рыбак, пробившись вперед, к самой царской повозке, истово осенял себя крестом и все время, пока оглашали манифест, крестился и всхлипывал.

На телегу, к царю, заскочил ловкий кудреватый Дубровский, развернул лист бумаги и голосисто начал:

— «Божиею милостью, мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и прочая и прочая...»

Стало слышно, как дышит вокруг взволнованный народ да шелестят под легким ветром ближние осины. Выждав, Дубровский продолжал:

— «Жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короне. И награждаем древним крестом и молитвою, головами

и бородами, вольностью и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей. Такжежде награждаем землями, лесами, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем от всех прежде чинимых от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощений. Желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни».

Дубровский передохнул, вслушиваясь в незримую жизнь несметной людской громады. И он услышал, как плещется у берега бегучая вода, как взныривает-играет на приплеске рыба, а тут рядом профыркивают голубыми плевочками четыре факела. Невольно он оглянулся на Пугачева и увидел, как вздымалась волною под парчовым полукафтanjem широкая его грудь, как горели его глаза, устремленные к людям, и тотчас, тайным чутьем, почувствовал то, что хотел и не мог понять и подслушать он, Дубровский, но что слышал и понимал этот необычный человек в парче.

Встряхнувшись, Дубровский продолжал:

— «А как ныне имя наше властью всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим именным указом: кои дворяне в своих поместьях и вотчинах находятся, оных, противников нашей власти, возмутителей и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать. И поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои до века продолжаться будут»¹.

Закончив, он опять оглянулся на Пугачева и услышал:

— Чти сызнава! Да появственней...

И вновь, смахнув пот со щек, Дубровский звонким, чистым голосом принялся вычитывать то, что было за-

¹ Манифест выпускался не раз, под ним даты — 18, 20, 28, 31 июня 1774 г.

писано им самим, но что уже не принадлежало ему, как перестает принадлежать сеятелю зерно, отданное пашне.

Знаменитому пугачевскому секретарю всего больше по душе были заключительные строки о «тишине и спокойной жизни, кои до века продолжаться будут». Для царя и его советников этот день тишины и покоя — лишь присказка к суровой правде о лесах и земле, о податях и помещиках-злодеях. Ну что ж, ведь и добрая присказка нужна страждущим людям, как нужна истомленному путнику на трудной его дороге думка о далекой обетованной стране, где ждет человека сладостный отдых. И не может быть никакого сомнения в том, чтобы сырый народ не понял благостных слов о царстве тишины и покоя.

И, как задушевную песню сердца, как зов к безмятежному будущему, истово и звонко, всей грудью, скорее пропел, чем проговорил, Дубровский слова о светлой грядущей жизни, «коя до века продолжаться будет».

Взглянув затем на толпу, он почувствовал, что коленопреклоненный народ до предела насыщен надеждой и ликованием. И в нем самом вспыхнула мысль, что теперь же, сию же минуту, ему надлежит выразить пред всеми и за всех этот страстный порыв народный. Не помня себя он вырвал из рук Ермилки багровое в зареве факелов государево знамя и, потрясая им, во всю мочь закричал:

— Да живет вовеки наша правда! Смерть супротивникам нашим!.. Ура, ура, ура-аа тебе, воитель, заступник наш, царь-государь всенародный!

— Ура-а-а батюшке царю! Урра-а-а! — прынув с колен, заревела единой могучей глоткой толпа — та, что была близко, и та, что тучей залегла среди леса, до самых речных песков. — А-а-а-а... — гремучим эхом раскатилось по белесым волжским водам.

И все, кто был тут, позабыв себя, опьяневшие без хмеля, неукротимые в своем порыве, с орущими, разверстыми ртами, с глазами, в которых, казалось, кипела кровь, ринулись к телеге царя, подхватили, подняли ее, как скорлупу широкие волжские волны.

— Стой! Стой! Опрокинете! — вопил царь, топоча и кренясь в телеге из стороны в сторону, как на палубе в бурю. Он был один теперь со своим знаменем, похожий на мачту под парусом, а вокруг шумные бушевали волны, и вот со скрипом, с треском закачалось, поплыло сказочное судно невесть куда.

— Де-е-тушки!.. Черти... дьяволы, опомнись!..

Он кричал в полный голос, взмахивал зажатым в руках знаменем, грозился императорским своим именем, а телега скрипела, трещала, и вот уже вывернулось переднее колесо, хрустнули, посыпались доски в кузове. Телега накренилась и — Емельян Иваныч очутился в чьих-то любовных и бережных руках.

Дико, будто в страшном сновидении, где-то повизгивала Акулька; охал, постанывал зажатый народом бородатый рыбак. Миша Маленький, Пустобаев и пятеро дюжих казаков пробирались к государю. Но толпа уже качала его: коренастое тело царя летало вверх-вниз, вверх-вниз, вместе с черным градом войлочных шляп, шапок, малахаев, картузов. И торжествующие вопли и радостные крики «ура», «ура» повсюду.

Офицер Горбатов стоял прижатый к сосне, дрожал в ознобе восторга, заодно со всеми кричал «ура». Он чувствовал себя как в победной битве, проникая всем существом своим в буйное ликование сердец, не знающих страха. И рядом, плечо к плечу с ним, как свой, как брат по крови, стоял кто-то неведомый, медведеобразный, с глазами, залитыми слезой.

Разгребая плечом дорогу, шумел Овчинников, и, держась за его полу, тащилась за ним, как нитка за иглой, Акулька. Она уже не плакала, она смеялась и что-то бормотала. Заметив у сосны Горбатова, кинулась к нему, схватила за руку, потянула за собой.

— Чу! Батюшкин голос!.. Слышь, слышь?.. Ой, дяденька, ой, миленький, ну и напужалась я... Думала, батюшку-т колотят мужики... — Она лепетала, не выпуская его руку из своей, еще мокрой от слез, и так, вдвоем, они выбрались к реке. Тут было тихо; люди стояли плечо к плечу и, затаив дыхание, слушали заветные царские слова.

Пугачева в ночном полумраке не было видно, однако голос его звучал повсюду. Услышал его и Горбатов, услышала и Акулька, поднятая офицером на руки.

— Детушки! — выкрикивал Пугачев горячо и самоуверенно, как всегда в беседах с народом. — Вы таперь ведаете, детушки, мою цареву волю. Только восчувствуйте, что мне одному, без подмоги вашей, ничего сотворить не можно. Один в поле не воин...

— Чуем, отец!.. Поможем, постоим за тебя, батюшка наш! — шумел народ.

— Поможем! Всем миром навалимся!..

— Куда глазом кинешь, и мы за тобой!

И снова голос его, отменный от всех других:

— Ну, так не бросайте меня, детушки! А делайте то, что повелеваю. Мы вознамерились, чтобы в каждом селении, в каждом городе, велик ли, мал ли он, сидело свое выборное начальство — атаманы, сотники, судьи. Отседова и легкость вам доспеется в жизни. И всяк будет равен всякому! — Пугачев помолчал и снова: — Слышали, детушки, под Казанью-то погнулись мы, порядка у нас настоящего не было, вот и... — голос его дрогнул, но вслед зазвучал еще сильнее: — Споткнулись, это верно, а только опять вот на ногах. Как говорится: упал больно, да встал здорово!

В толпе послышались дружные возгласы одобрения.

— А таперь, люди мои верные, уповательно нам, собравшись с силами, на полный штурм двинуться. Не можно терпеть, чтоб земля под барами оставалась, чтоб кровь из мужика всякие мздоимцы сосали. Крепи себе волю, детушки, изничтожай злодеев-помещиков!.. Руби столбы, заборы сами повалятся...

Из-за лесистого крутояра показалась ясная луна. Черная тень опахнула берег. Меж землей и звездами стал разливаться голубоватый свет. По речному широкому раздолью брызнуло огненное серебро, и мокрые весла скользящих по воде челнов блестели, как стеклянные.

Было уже поздно, когда Пугачев распрощался с народом.

— Дорогу, дорогу государю! — покрикивала стража, расчищая Пугачеву путь. Впереди пер напролом уральский великан Миша Маленький. Умильно улыбаясь, он как бы шутя разводил в стороны руками, но люди слетали с ног, кренились, отскакивали прочь.

Еще долго, до самой зари, толпился на берегу народ, горели костры, ржали кони.

3

На другой день, едва взошло солнце, началась переправа на тот берег. Зрелище было необычайное. Ничего подобного Волга еще не видала. Поперек ее течения шел легкий живой мост, выложенный темневшими над водою человеческими и конскими головами. Мост двигался через Волгу наперекосях, течение сшибало его книзу. Это «перезазили» вплавь казачьи части и небольшие отряды башкирцев, оставшихся верными Пугачеву.

Казачи плавились так: на связанные из жердья легкие «салики»¹ они складывали одежду, ружья, боевые припасы, седла и плыли вперед, держась одной рукой за хвост или гриву коня, а в другой руке у них была ляпка от салика.

И все это двигалось лавиной с фырканием и всхрапыванием лошадей, с людским гамом, смехом, гиканием. Тут же скользили челны и лодки, чтоб в случае нужды подать помощь ослабевшему.

Возле ближайшего села Кокшайского люди и обоз переправлялись через Волгу на пароме. В другом месте сотни набитых людьми челноков и лодок бороздили воду. Бурлаки пригнали четыре купеческих паузка и две емких баржи. Переправа пошла быстрее.

К обеду на правом берегу уже скопилась не одна тысяча человек. День был невыносимо жаркий, вода — как парное молоко. Множество людей с гоготанием, раскатистым хохотом и визгом принялись купаться. Акулька с пугачевскими девчонками барахталась

¹ Маленький сплоток,

у отмели, учась плавать. Ниже по течению казаки с башкирцами и татарами купали и чистили лошадей. Голые, бронзового цвета, с крепкими мускулами, молодые люди въезжали в воду на лошадиных спинах. Кони подрагивали взмокшей кожей, хватали воду опаленными губами, иные до глаз погружали в воду голову и гулко затем отфыркивались.

Среди конников началась в воде возня, слышались крики, смех. Какой-то гололобый калмык в шутку накинул сзади петлю на зазевавшегося казака и с силой дернул ее в свою сторону. Казак, описав пятками круг в воздухе, слетел с коня и воткнулся головою в воду. Затем он вынырнул, обозленный, стал отплевываться, фыркать.

Весь берег, глядя на казачьи забавы, покатывался со смеху.

Потянуло к воде и Емельяна Иваныча. Сбежав вниз, он прошел направо, в кусты, чтоб быть неприметным народу, снял нарядный чекмень с генеральской лентой и звездой, разделся и кинулся в воду. Поплывал, понырив один-одинешенек. «А ну-ка, подумал, к людям сплаваю: вишь, какой хохот, там, должно, складно врут... А голый и царь — человек. Поди разбери его!»

Сбросив царский наряд, он враз ощутил в себе свободу, сердце его возликовало: по правде-то молвить, прискучило в царя играть.

Он нырнул и, пройдя под водой порядочное место, выскочил в самой людской гуще.

— Эй, братухи! Ощо борода объявилась, — закричали, смеясь, здоровенные парни. — Давайте и эту бороду топить... — И трое из них, не узнав Пугачева, позорному полезли на него.

— Еще бабушка надвое сказала, кто кого! — крикнул Емельян Иваныч и, набрав полные легкие воздуха, скрылся под водой.

— Аа-а, испужался, умырнул? — засмеялись парни. Тут глубина им до подбородка, они из муромских лесов, плавать не умели, твердо стояли на песке. Вдруг один из них, дико вытаращив глаза и взмахнув руками, опрокинулся затылком в воду. Следом за ним

забурлили на дно еще двое. Это Емельян Иваныч проделывал свои штучки: он поочередно схватывал под водой парней за ноги, повыше пяток, и сильным рывком опрокидывал на дно. Вот два парня снова выскочили на поверхность, лица у них глупые, осатанелые. Отплевываясь, вздохнул дыша, они вопили:

— Ах он, змей!.. А где Митька-т?

Курносого, с заячьей губой, Митьку Емельян Иваныч несколько попридержал в воде. Но вот вылетел поплавок и Митька. Посиневший, с дикими глазами, он ловил ртом воздух, тряс головой, фыркал и плевался, отхаркивая воду. Эта озорная забава напомнила Пугачеву юные годы, он вынырнул к парням улыбающийся и счастливый.

— Ах, язва! А и ловко же ты хрещеных топишь, — с хохотом закричали оправившиеся парни, но подступать к нему боялись.

— Это, братцы, суконщик из Суконной слободы. Я его в Казани приметил, — сказал, придя в сознание, курносый Митька с заячьей губой.

— Ничего не суконщик, — возразил другой. — Таттарин это, Балдыхан, маханиной торгует... Хватай бороду! Топи!

Но смеющийся Пугачев снова скрылся под водой и вынырнул в другом месте, где бултыхались степенные бородачи. Они ни малейшего внимания на него не обратили, возясь меж собою: заскакивали друг другу на плечи, брызгались водой, боролись.

Пугачев услышал знакомый, приближающийся берегом голос: «Государь! Где государь?» Против купающихся вырос на берегу Ермилка, протрубил в трубу и опять закричал:

— Государь! Эй, ребята! Нет ли где тут ампиатора?

— Ермилка! Я здесь! — выкрикнул Емельян Иваныч и поднял руку. — Я государь.

Стоявший позади Пугачева бородач, озлясь, стукнул его по загривку и заорал на него:

— Я те покажу, как государем величаться!

Получив от ретивого бородача затрещину, Емельян Иваныч не захотел заводить с ним ссору, он нырнул и

начал пробираться под водой к кустам, к своей одежде.

Бородачи смеялись. Один из них, весь, как баран, заросший шерстью, проговорил:

— А что, робяты... Мы, голые-то, все государи, ха-ха!..

— Сказал тоже, — встрял бельмастый рябой дядя. — Голым-то всяк родится, да не всяк в цари годится!

Одеваясь в кустах, похихикивая, Емельян Иваныч оценивал случай с подзатыльником. «Гм... Хлестко он по загривку-т мне, мужик-то. А ничего, кроме спасибо, не скажешь... Ведь он за государя своего поусердствовал... Эх, — вздохнул он, — было бы добро назваться мне принародно не Петром Федорычем, а Емельяном Иванычем. Называл же себя своим крещеным имечком Степан Тимофеич Разин...»

Перед ним стоял навтыжку Ермилка, бестолково докладывал:

— Так что прибыл, ваше величество, с казанского трахту гонец с известием.

— С добрым али с худым?

— Да не шибко доброе, ну не шибко худое... Середка наполовину вроде. Впрочем сказать, я толком ни хрена не знаю! — зашлепал Ермилка толстыми губами. — Он Ивану Лександрычу Творогову репортовал, гонец-то...

Атаманом Овчинниковым была налажена крепкая связь с Казанью; начиная от города, через каждые тридцать верст дежурили по два казака. Сведения передавались от пикета к пикету. Нужные вести пугачевцы получали от своих «ушей и глаз», оставленных в Казани, а главным образом через купеческого доверенного, которому купец Крохин вменил в обязанность вынюхивать все необходимое, что творится как в губернской канцелярии, так и в секретной комиссии Потемкина.

Впоследствии пугачевцы узнали, что военными действиями и пожаром Казань была приведена в жалкое

состояние. Она потеряла убитыми, ранеными, сгоревшими, пропавшими без вести семьсот семьдесят девять горожан. Из двух тысяч девятисот хозяйств было сожжено и разгромлено две тысячи шестьдесят три дома. Большинство населения коротало теперь время на Арском поле. Казань опустела. Разбежавшиеся в разные стороны жители начали помаленьку возвращаться на погорелое место. Они не имели пристанища, валялись под открытым небом. Не имелось у жителей ни сена, ни хлеба. Церкви были завалены всякой кладью, пожитками, по свободным уголкам ютились тут люди. На улицах смрад от тлеющих головешек, от разлагающихся на жаре трупов. Стали развиваться болезни — горячка, лихорадка.

Почти все жители Казани в той или иной степени претерпели несчастье, зато казанский победитель Михельсон со своим отрядом был щедро награжден императрицей. Михельсон произведен в полковники и ему пожаловано шестьсот душ крестьян с землею. Его офицерам роздано три тысячи сто сорок шесть душ крестьян с землею, а нижним чинам выдано в награду третное жалованье. «Да сверх того, — писала Екатерина Голицыну, — прикажите весь деташемент Михельсона хорошо одеть и обуть на мой счет». Поощренные таким образом отборные михельсоновские солдаты сделали еще более усердными к своей службе и стали преследовать Пугачева с особым рвением.

Прибывший в Казань граф Меллин соединил свои силы с отрядом Михельсона. Однако люди и лошади у обоих военачальников были чрезмерно измотаны, поэтому о быстром преследовании толп Пугачева нечего было и думать. Для восстановления в окрестностях хотя бы относительного спокойствия Михельсон направил во все стороны лишь небольшие команды, которые все же успели захватить важных помощников Пугачева. Так был схвачен полковник Иван Наумыч Белобородов, татарские сотники Улеев, Махмутов и другие.

Пленные татары показали Михельсону, что, по их сведениям, армия мятежников после переправы разделилась на две части: одна толпа, во главе с Пугачевым, собирается пойти на Чебоксары и на Нижний,

другая — по чувашским селениям и помещичьим усадьбам.

Руководствуясь этими сведениями, губернатор Брандт тотчас отрядил нарочных в Нижний-Новгород, в Воронеж и Москву с известием об угрожающей центральным губерниям опасности.

Нижегородский губернатор Ступишин немедленно закрыл Макарьевскую ярмарку, всех съехавшихся туда купцов распустил и приказал наблюдать за Керженцем, не волнуются ли там в своих скитах раскольники. Перепуганный Ступишин писал в Москву князю Волконскому: «Несчастье велико в том, что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили и уже без Пугачева делают разорения, ловят и грабят своих помещиков». Он писал, что у него до смешного мало воинской силы и всего семнадцать малокалиберных пушек. «Дайте мне хотя бы двести человек легких войск, — взывал он. — Ведь я примечания должен иметь на великие тысячи бурлаков, кои на судах к Нижнему приходят».

Главкомандующий князь Щербатов, не имея известия, что он уже смещен со своего поста, все еще продолжал сидеть в Оренбурге. Михельсон передал Меллину часть своей команды и отправил его за Волгу для преследования пугачевцев, а сам остался в Казани дожидаться какого-либо отряда, «ибо, — доносил он, — весь народ в великом колебании, на моих же руках более 7000 пленных мужиков, кои после присяги хотя и распускаются по домам, но, при отсутствии войск, могут образовать шайки и предаться грабеджам».

Взбудораженный опасным положением Казани и ее губернии, генерал-майор Потемкин сообщил своему полудержавному родственнику: «Не можно представить себе, до какой крайности весь народ в здешнем краю бунтует, так что вероятия приложить, не видев оное, невозможно. Источником оного крайнее мздоимство, которое народ разорило и ожесточило...» Главкомандующему же князю Щербатову, не имея на то никакого права, он писал в форме приказа, что нужно немедленно идти с воинскими частями в Казань, и

заканчивал свое послание так: «Впрочем, вы знаете, князь, что злодей найдет везде шайки и что он надевает много зла, перейдя Волгу. Я ожидаю ваше сиятельство с крайним нетерпением».

В сущности, князь Щербатов в Оренбурге не бездействовал, но, будучи стеснен недостатком легких войск, он прибегал к полумерам, и то с крайним запозданием. Он приказал Муфелю двигаться к Казани, а князю Голицыну, не останавливаясь в Уфе, тоже идти в Казань. Наконец главнокомандующий сам прибыл в Казань, уже разоренную пугачевцами. Первою его заботою было прикрыть Москву от всяких действий мятежников. Он приказал Михельсону идти на фланг пугачевской армии и отрезать ей путь к первопрестольной столице.

Михельсон вскоре выступил из Казани и, несмотря на полученное им в пути известие, что Пугачев повернул на юг, к Царицыну и Курмышу, предписал Меллину не идти прямо по пятам мятежников, а иметь их толпу всегда с левой от себя стороны, то есть препятствовать ей повернуть к Москве.

Михельсон рассчитывал, что Пугачев в своем движении к югу наткнется на свежие силы Муфеля (до пятисот человек), следовавшего с Самарской линии в Казань. В то же время граф Меллин будет наступать на пугачевцев слева, а он, Михельсон, угрожать с фланга. Совместными действиями трех отрядов Пугачев мог быть, по расчетам Михельсона, прижат к Волге и оказаться в безвыходном положении. Соответствующие меры к окружению пугачевской армии были предприняты и главнокомандующим.

Но все эти меры и распоряжения сильно запоздали. Емельян Иваныч не встречал на своем пути ни пришедших войск, ни отпора со стороны местных властей. А потому в течение почти месяца беспрепятственно властвовал он в приволжских губерниях.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

*Главнокомандующий Петр Панин. Мир с Турцией.
На юг. Курмыш, Алатырь. Суд*

1

Никита Панин не дремал. Как только услышал он оброненную Григорием Потемкиным фразу о «знаменитой особе», тотчас написал об этом брату, а вскоре и сам выехал к нему в подмосковную деревню.

Братья любили друг друга и при встрече прослезились. Время брало свое. Но старший, Никита, выглядел моложе своего брата и был крепче его. Петр Панин заметно дряхлел, становился тучным, однако жизненного огня было в нем еще довольно.

В беседе Никита сказал:

— Как я уже сообщал тебе, Петр, в виде письменном, фаворит на военном совещании промолвил матушке тако: надлежало бы, мол, отправить некую знаменитую особу, вровень с покойным Бибиковым стоящую.

— А и умен этот Гриша одноглазый, ей-ей умен, — перебил брата Петр, расхаживая с палочкой по горнице.

— Да, охаять его в этих смыслах никак не можно... Человек с принципами твердыми. И я думаю... — Никита сделал паузу и, уставившись в глаза брата,

продолжал: — И я думаю, что сей знаменитой особой надлежало бы быть не кому иному, а тебе.

Петр прищурился на брата, поправил на лысеющей голове голубой колпак с кисточкой, его лицо изобразило ложную гримасу равнодушия, сменившуюся затем выражением властолюбивого тщеславия.

— Что ж, Никита, — сказал он, — я об этом казусе довольно думал. Но-о-о!..

— Ведь ты пойми, брат, — перебил его Никита под напором обуревающих его мыслей. — Потомки нарекли бы тебя героем, яко благополучно разрешившим сей бедственный народный кризис. И род наш, старинный род Паниных, вознесясь, навеки укрепился бы в истории.

— Да, ты сугубо прав, — высоко вскинув голову, ответил Петр. — Но... Ты сам ведаешь: матушка на меня зуб имеет и ни за что на свете не отважится создать из меня персону знаменитую. Побойтся! — воскликнул Петр, пристукнув тростью в пол. — Она и Гришки-то одноглазого побаивается, а тут ты меня толкаешь в грансьеньоры... Да ведь я царских полномочий себе запрошу.

— Так и надо, так и надо, Петр! Лишь бы ты согласился, а уж там... Положись на меня.

— Я согласен... Что ж, ради спасения отечества и пошатнувшегося корпуса дворянского утверждения, я согласен...

Братья снова крепко обнялись и прослезились. Петр вдруг почувствовал, что душа его ширится, за плечами как бы вырастают крылья, под ноги подплывает некий пьедестал и вздымает его все выше, выше. Призрак власти реет над ним, захватывает его, зовет на подвиг...

21 июля в Петербурге уже было получено известие о сожжении Казани.

Правительство, в особенности сама императрица, отнеслись к этому известию весьма тревожно: распространение мятежа угрожало не только внутренним губерниям, но даже и Москве,

— Черт возьми! — воскликнула Екатерина. — Все, все, даже Михельсон, не могут угнаться за маркизом Пугачевым!

— Это ничего, — ответил ей Потемкин, — сие оттого и присходит, что Пугачев больше не царствует. Он царствовал в Оренбурге, а ныне бежит, как заяц.

Екатерина собрала заседание Государственного совета. Она явилась на совет запросто, без пажей, без адъютантов. Открыв заседание, она в своей речи дала общую характеристику восстания, гневно отзывалась о действиях главнокомандующего Щербатова и подчиненных ему лиц. И в конце речи заявила:

— Я весьма и весьма опасаюсь за Москву. Пугачев прокрадывается к первопрестольной, дабы как-нибудь там пакость какую ни на есть наделать — сам собою, фабричными или барскими людьми. А посему и ради спасения империи я намерена сама ехать в Москву и взять на себя все распоряжения к усмирению восстания и ко благу общества клонящиеся! Прошу Государственный совет высказать по сему свои суждения.

У нее был столь возбужденный вид и крикливый, какой-то запальчивый голос, что присутствующие сочли нужным от молчаться. Молчал и Никита Панин. Видя замешательство присутствующих, Екатерине ничего не оставалось, как персонально опросить каждого.

— Скажите, Никита Иваныч, — обратилась она к Панину, — хорошо или дурно я поступаю?

Опасаясь испортить отношения с Екатериной и не теряя надежды возвысить брата до «особы знаменитой», Никита Панин отвечал ей чрезмерно почтительным, даже вкрадчивым голосом:

— Не только не хорошо, ваше величество, но и бедственно в рассуждении целости империи. Она ваша поездка в Москву, увелича вне и внутри империи настоящую опасность, более нежели есть она на самом деле, может ободрить и умножить мятежников и даже повредить дела наши при других дворах. — Считая, что он достаточно запугал императрицу, пожелавшую занять пост «особы знаменитой», Никита Иваныч опустил голову и смолк.

Екатерина прищурила на него глаза и отвернулась. Ее поддержал Григорий Потемкин.

— А что ж, а что ж, — сказал он. — Я по сему с Никитой Иванычем не согласен в корне. Поездка вашего величества в Москву навряд ли повредит империи внутри и вне ее.

Был опрошен князь Орлов. Он сидел с презрительным ко всему равнодушием, хмуро косился на Потемкина и, ссылаясь на нездоровье, на плохой сон, извинился, что по сему поводу «никаких идей не имеет».

«Окликанные дураки», — как выражался про них в письме к брату Никита Панин, — бывший гетман Разумовский и Голицын — тоже твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, в полслова раза два вымолвил, что самой ей ехать-де вредно, и спешил записывать только имена тех полков, которым к Москве маршировать вновь повелено.

В общем, поездка императрицы в Москву была отклонена. Государственный совет постановил: послать в первопрестольную два полка пехоты, два полка конных гусар и казаков да легкую полевую команду с несколькими орудиями; побудить московское дворянство к набору и содержанию конных эскадронов по примеру казанского дворянства и, третье, отправить в Казань для командования войсками знаменитую особу с полной мочью.

Кто будет знаменитой сей особой — ни один из многочисленных присутствующих не знал. Гадали на Григория Орлова, на Румянцева, на бывшего гетмана Разумовского, наконец — на самого Потемкина, но ни у кого и в помыслах не было о назначении на пост главнокомандующего генерала Петра Панина, столь неприятного императрице. Нет, это невозможно...

Вот тут-то Никите Панину и пришло время действовать.

В тот же день, после обеда во дворце, он отвел Потемкина в сторону и не без пафоса сказал ему:

— Дорогой друг, Григорий Александрыч, сделай мне, старику, божескую милость, исхлопочи у всемилостивейшей, дабы она позволила мне принять на себя

тяготы главнокомандующего для прекращения народных бедствий. Не могу терпеть больше. Ночи не сплю!

— Да что ты, Никита Иваныч... Перекрестись! — отступив на шаг и сцепив кисти рук пальцы в пальцы, с немалым изумлением проговорил Потемкин. И тотчас же смекнул: «Ага, сейчас о Петре зачнет, лисица». — Ты человек сугубо не военный, где ж тебе. Да и как мы без тебя здесь останемся? Подумай...

Никита потупился, в смущении погрыз ноготь, глаза его увлажнились. Он сказал:

— Ведь дело становится там час от часу важнейшим и сумнительнейшим. Ну... в таком разе, ежели не я, то Петр Иваныч Панин мог бы с честью стать на защиту империи. Сей прославленный воин не столь дряхл еще. Да ежели и на носилках довелось бы его нести, он все едино примет на себя ратный подвиг ко спасению отечества. А ведь он бодр душою и телом. Поди, поди, друг, Григорий Александрыч, доложи о сем всемилостивой государыне.

Потемкин сообразил, что братья Панины ищут случая привлечь его на свою сторону. «Ну что ж, это хорошо. Они, в случае чего, помогут мне бороться с партией Орловых», — подумал он и направился в кабинет Екатерины.

Она только что кончила с Бецким партию в шахматы. Иван Иваныч Бецкий был первый просвещенный аристократ, долго живший в Париже, где познакомился с течениями по части особого воспитания детей, «дабы создать породу людей новых». Екатерина считала Бецкого своим единомышленником и благоволила к нему, этому гибкому, ловкому царедворцу. Прощаясь с Екатериной, он насмешил ее французским анекдотом, поцеловал руку и ушел.

Проводив его, Екатерина принялась перекладывать с письменного стола на шифоньерку новые книги, доставленные из академической лавки, чтоб захватить их в Царское Село.

— Я сейчас уезжаю, Гришенька, — сообщила она вошедшему Потемкину.

— Куда, в Москву?

— Пока в Царское, — с улыбкой ответила она. — Уже лошади заложены.

— Матушка, тебе надлежит быть здесь ежечасно. Сама понимаешь... Хотя бы дня два-три. Послушайся меня, матушка. — Он вскинул брови, брякнул в звонок и явившемуся камер-лакею приказал: — Ее величество остаются в Петербурге. Распорядись, братец.

Екатерина насупилась, но вслед за сим на ее вспыхнувшем лице появилась прощающая улыбка. Влюбленная в Потемкина, она подмечала, что начинает несколько побаиваться его. Однако, видя в нем государственный ум и сильную волю, старалась оберегать свои отношения к нему, как к человеку ей необходимому. Да, Григорий Александрыч — не Гришенька Орлов, со своей мягкой, словно воск, натурой... Она сказала:

— Ты, Григорий Александрыч, чересчур ретив.

— Матушка, так надо. Да и глянть, какая туча заходит, — промолвил он, осанисто вышагивая к огромному, как дверь, окну, выходявшему на невские просторы.

— Глупости, — бросила Екатерина, — я в карете... — Она тоже подошла к окну и почувствовала себя возле великана в светло-зеленом, расшитом серебром кафтане не более как подростком-девочкой. Из-за Невы действительно вздымалась туча, и на ее свинцовом фоне сверкал под солнцем золоченый шпиль Петропавловской крепости.

— Так в чем же дело? — став рядом с Потемкиным и положив ему руку на плечо, спросила Екатерина.

— А вот. — И Потемкин, осторожно повернувшись к ней лицом и с нежностью целуя ее руку, доложил ей свой разговор с Никитой Паниным.

— Что, Петра? Главнокомандующим?! — отступив от Потемкина и зажимая пальцами уши, воскликнула Екатерина. — Нет-нет-нет!.. Не слушаю, не слушаю.

— А все же выслушай, матушка. — И Потемкин усадил ее против себя в кресло.

— Это невозможно, невозможно, — отмахиваясь руками и потряхивая головой, противилась Екатерина. — Это ж мой персональный оскорбитель!..

— Матушка, обстоятельства требуют от тебя жертвы. Сложи гнев на милость.

— Но ведь он враг мой, враг! — вновь воскликнула она, пристукнув маленьким кулачком по своей коленке.

— Матушка, — спокойно возразил Потемкин. — Ежели он враг, то... в первую голову враг Пугачеву, а потом уж и тебе.

Этот мудрый ответ заставил Екатерину призадуматься. Да! Григорий Александрыч, как всегда, прав. Петр Панин конечно же будет прежде всего защищать интересы дворянского корпуса и этим самым утверждать неколебимые устои государства. Но у нее по сему поводу другое основательное опасение, бросающее императрицу в душевный трепет. Ей достаточно известно властолюбие обоих братьев Паниных и их всегдашняя приверженность к наследнику престола Павлу. И вот сама судьба, попустительством ее, Екатерины, дает им, братьям, в руки страшную дополнительную силу: войска и власть. Нет, нет, этого невозможно допустить!..

И она вновь, вся загоревшись, с азартом принялась атаковать Потемкина:

— Ты только вдумайся, Гришенька. Господин граф Никита Панин из брата своего тщится сделать повелителя с беспредельной властью в лучшей части империи: в Московской, Нижегородской, Воронежской, Казанской и Оренбургской губерниях, а *sous-entendu* есть и прочие. Ведь в таком разе не токмо князь Волконский будет огорчен и смешон, но и я сама ни малейше не сбережена, а пред всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя, побоясь Пугачева, превыше всех в империи хвалю и возвышаю. Что ты на сие скажешь? — Сердце Екатерины усиленно билось, грудь дышала прерывисто, она поджала губы и уставилась в лицо Потемкина, она ожидала от своего друга возражений и приготовилась к самозащите. Но ощущение своей малодушной пред ним робости сбивало ее с твердых позиций обороны. Ах, как неприятно, как мучительно сознание собственной слабости!..

Потемкин, заложив ногу за ногу, обхватив руками коленку и скосив глаза, внимательно рассматривал изящную пряжку своей туфли, осыпанную бирюзой и гранатами. Он повернул к Екатерине голову и на бавовых нотах сказал спокойно:

— На сие отвечаю, матушка, тако: ни огромной военной силы, ни безграничной власти у Петра Панина не будет. Не будет! Царем он никогда себя не возомнит, а тебя, матушка, мы сберегчи да оборонить завсегда сумеем. Уж поверь, всеблагая. В этом смысле и указ заготовить прикажи. Ну, так скликать сюда Никиту-то? Он ждет не дождется.

— А это нужно?

— А как ты полагаешь? — повелительным тоном сказал он.

— Зови.

Переборов себя, она милостиво кивнула вошедшему Панину, усадила его в кресло, деланно заулыбалась и, не дав ему открыть рта, обрушила на него каскад приятных слов и восклицаний:

— Я очень, очень растрогана вашим патриотическим поступком, Никита Иваныч! А что касаемо Петра Иваныча, то клянусь вам всем святым, что я никогда не умаляла доверенности к сему славному герою. Более того, совершенно я уверена, что никто лучше его любезное отечество наше не спасет. Передайте Петру Иванычу мой полный к нему респект, и что я в оно время с прискорбием его от службы отпустила. А ныне я с чувствительной радостью слышу, Никита Иваныч, что ваш знаменитый брат не отречется в сем бедственном случае служить нам и нашему отечеству.

Потемкин, стоя у окна, наблюдал происходящую беседу. Он с удивлением прислушивался к словам Екатерины, его брови скакали вверх и вниз, губы складывались в язвительную улыбку.

Никита Панин, пораженный столь быстрым и благоприятным решением «жребия» брата, припал на одно колено и, склонив непокорную голову, поцеловал руку императрицы.

Итак, положась на промысел божий, будем, Никита Иваныч, действовать.

— Будем действовать, ваше величество! — взволнованно откликнулся Панин, вспомнив с острой болью в сердце насильственную смерть шлиссельбургского узника¹ и ту же фразу о «промысле божьем», произнесенную тогда императрицей.

За окнами хлынул дождь, ослепительно сверкнула молния, резко ударил трескучий громовой раскат. Екатерина вздрогнула, приказала задернуть на окнах драпировки, отошла в дальний угол комнаты.

Граф Никита Панин, не мешкая, отправил в Москву к брату гонца — гвардии поручика Самойлова, родного племянника Потемкина. Панин посылал письмо, Потемкин давал словесное поручение племяннику — убеждать Петра Ивановича, чтобы он «просил государыню всеподданнейшим отзывом о желании его служить и быть полезным государству для укрощения беспокойств».

2

На другой день, 23 июля, было получено донесение фельдмаршала Румянцева о заключении так называемого Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Мир был подписан 10 июля на довольно выгодных для России условиях. Черноморские портовые города: Азов, Керчь, Еникале и крепость Киндури, а также важнейшие торговые пути — устья рек Дона, Буга, Днестра и Керченский пролив — переходили во владение России. Русские купцы получали особое покровительство со стороны турецких властей при плавании купеческой торговой флотилии как по Черному морю, так и вообще по морским путям Турции. Кроме того, Турция выплачивала России четыре миллиона пятьсот тысяч рублей контрибуции в золотой монете.

Таким образом, для русской торговли с иноземными рынками как хлебом, так и прочими земледельческими товарами открывались широчайшие возможности. И эти новые ворота чрез Черное море на

¹ Наследник престола Иван Антонович, убитый в Шлиссельбургской крепости в 1764 году.

Запад были прорублены победоносной русской армией, героически сражавшейся в течение семи лет под начальством прославленных полководцев Румянцева, Суворова, Панина, Потемкина, Каменского и прочих. Им и всему российскому народу — честь, слава и вечная благодарность потомков!

Сам Потемкин, да и некоторые вельможи о славном победителе графе Румянцеве отзывались так:

— Фельдмаршал — один из людей, кои в долгих веках счетны.

Английский министр иностранных дел писал посланнику Георга III в Петербург:

«Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы России в торговом отношении. Я разумею плавание по турецким морям. Если взглянуть на карту, очевидно, что Россия может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданелльскому проливу, предоставленному ее купеческим кораблям. Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное количество кораблей, но это ничуть не помешает торговле русских северных портов...»

Правительство торжествовало. Императрица считала «день сей счастливейшим днем в своей жизни, ибо мир был заключен на таких превосходных условиях, которых ни Петр Великий, ни императрица Анна за всеми трудами получить не могли».

«Теперь, — писала Екатерина в Казань Павлу Потемкину, — осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни единой минуты».

Потемкин отвечал ей превыспренним посланием: «Сей мир не одну только славу оружия возвышает, но перед целым светом доказывает премудрость монархини державы российской и великость ее духа. Когда страшная война с Турцией разделила силы российского оружия, объемля круг от Кавказских гор до Белого моря, тогда Европа чаяла видеть Россию на краю падения. Премудрые учреждения вашего величества

и высокие предприятия явили всем державам, что может сделать государыня, имея дух столь великий.

Совершенный с Турцией мир возвысил славу пресветлого вашего имени, укротил надменность завидующих держав, обрадовал народ и преподает ближайшие средства к искоренению внутреннего врага. Имея ныне более свободы к истреблению его, уповать должно, что сие скоро кончится. Дело великого духа вашего величества, чтоб наказать неблагодарный народ и миловать врагов своих».

(Екатерина так и поступила: она оказала милость своему врагу Петру Панину и дала ему право «неблагодарный народ» наказывать.)

В интимной беседе Григорий Александрыч говорил Екатерине:

— Ну, матушка Катенька, теперь плавай на здоровье. Ныне тебе не страшны ни Пугачев, ни Панин, ни кто-либо тре-е-тий! — подчеркнуто произнес он, вскинув мясистую руку и погрозив пальцем.

Екатерина поняла, что под словом «третий» надо разуместь великого князя Павла с его партией. Глаза ее увлажнились, она взглянула на Потемкина с чувством глубочайшей благодарности.

— Гришенька, — сказала она. — Я хочу знать о процветании нашей внешней торговли, чтобы связно доложили мне и, елико возможно, обширно. Пригласи для этой цели, пожалуй, кого-либо из Вольного экономического общества, ну того же Сиверса, буде он еще не уехал.

С верков Петропавловской крепости 24 июля загрохотал салют в сто один выстрел. Начались торжества, длившиеся трое суток. Вся Россия особым манифестом была оповещена о благополучном мире с Турцией. В глухих углах обширнейшей России, где давным-давно забыли про войну, встретили известие о мире как нечто неожиданное, а в иных трущобах впервые услышали, что когда-то началась война с «неверными», что тянулась она целых семь лет и вот — закончилась. Многочисленные пленные турки партиями отправлялись к себе на родину по завоеванному Россией Черному морю. Те из них, что кой-где

сражались совместно с гарнизонами против Пугачева, получили награждение. Некоторые, приняв русское подданство и поженившись на деревенских девках, пожелали навсегда остаться в новом отечестве.

Засим правительство поспешно открыло энергичные действия против Пугачева.

На усмирение восстания решено было отправить генерал-поручика Суворова. Семь конных и пеших полков, квартировавших в Новгороде, Воронеже и других городах, получили приказ немедленно двигаться к Москве, причем сильный воинский отряд должен был занять Касимов, как пункт, из которого удобно действовать на Москву и Нижний-Новгород. Московское дворянство приступило к формированию боевого корпуса.

В это время в самой Москве и окрестностях ее было беспокойно. Простой люд — рабочие, фабричные, крестьяне, многочисленная дворня, а отчасти ремесленники и мещанство вели себя развязно и с полицией задирчиво. Нередко между дворовыми людьми и их господами происходили несогласия. На рынках, по площадям, тупичкам и улицам народ гуртовался в толпы. Шли шепотки, а иногда и крамольный разговор в открытую. Имя царя-батюшки, освободителя, было желанным предметом шумных бесед в трактирах, обжорках и на воздухе. С полицией и будочниками случались кровавые схватки. Иногда в толпе появлялось оружие. За последний месяц было схвачено несколько «пугачевских агентов». После допроса с пристрастием их вешали во дворе тюремного замка.

Достаточно воинской силы для борьбы с начавшимся народным движением у князя Волконского до сих пор не было. Но с заключением мира с Турцией в Москву уже начали прибывать войска и обстоятельства резко изменились в благоприятную для правительства сторону.

Волконский всю площадь пред своим домом устали орудиями, усилил разъезды по городу, приказал полиции зорко следить за сборищами,

25 июля он объявил московским департаментам правительствующего сената, что Пугачев двинулся на Курмыш и намерен сделать покушение на Москву. Сенат постановил, чтобы все денежные суммы городов Московской губернии немедленно были отправлены в первопрестольную и чтоб сведения о движении самозванца были сообщаемы сенату ежедневно с нарочным. Сенат призывал к самозащите как дворян, так и торговый люд с мещанами. Провинциальные канцелярии в свою очередь просили Волконского прислать им воинские силы, порох, ружья и орудия.

Нижегородский губернатор сообщал Волконскому, что мятежники уже вступили в его губернию и разделились на две части: одна направилась к селу Лыскову, другая — к Мурашкину, то и другое село в восьмидесяти верстах от Нижнего. Губернатор просил у Волконского помощи. Волконский послал в Нижний двести человек донских казаков, а также сформировал отряд из двух конных полков под начальством генерал-майора Чорбы, приказав ему охранять подступы к Москве.

Екатерина почти ежедневно писала Волконскому, диктуя ему те или иные указания. Волконский на одно из таких писем отвечал: «Здесь за раскольниковыми недреманным оком чрез полицию смотрю, но еще никакого подозрения не вижу. Впрочем, всемилостивая государыня, здесь все стало тихо, и страх у слабых духом начал уменьшаться».

Наоборот, Петр Панин смотрел на видимое спокойствие Москвы по-иному. Ему было выгодно представить состояние дел в самых мрачных красках, чтоб получить более обширные полномочия и таким образом увеличить в будущем свои заслуги. Он писал своему брату, что «весь род всего дворянства терзаются внутренно и обливаются слезами, ожидая себе жребия, случившегося в Казани. Видя огромный город обнаженным от войск, не знают, что делать, куда отправлять свои семейства... Прошу тебя припасть вместо меня к ногам государыни, омыть их слезами благодарности за возобновление доверенности и уверить ее, что никто никогда в нерушимой моей верности

и усердии собственно к ее величеству и к отечеству не превосходил и не превзойдет, потому что я не притворством, а существом службы на оное готов был и есмь всегда посвящать мой живот».

В тот же день, кривя, казалось бы неподкупной душой, он писал к своему вчерашнему врагу — Екатерине:

«Повелевайте, всемилостивая государыня, и употребляйте в сем случае всеподданнейшего и верного раба своего по вашей благоугодности. Я теперь, мысленно пав только к стопам вашим с орошением слез, приношу мою всенижайшую благодарность за всемилостивейшее меня к тому избрание и дерзаю всеподданнейше испрашивать той полной ко мне императорской доверенности и власти, в снабжениях и пособиях которых требует настоящее положение сего важного дела и столь далеко распространившегося весьма несчастливого приключения».

Екатерина читала письмо с неприятным волнением, она кусала кривившиеся губы, глаза то победоносно улыбались от сознания, что ее враг унижен, то в ее взоре отражались огоньки истинного страха за себя, когда она видела, что этот опасный человек настойчиво добивается для своей персоны неограниченных самодержавных прав. Она еще и еще раз вчитывалась во фразу: «дерзаю всеподданнейше испрашивать полной ко мне императорской доверенности и власти...» — и лицо ее покрывается розовыми пятнами.

Петр Панин в дальнейших строках этого письма «всеподданнейше испрашивал», чтобы ему были подчинены не только войска, но все гражданское население, правительственные учреждения, судебные места, городские управления и чтобы над всем подчиненным ему населением он имел власть *живота и смерти*; чтоб он мог по своему произволу и усмотрению распоряжаться всеми войсками, находящимися внутри империи и пр. А сверх того, Панин просил об отпуске ему достаточной суммы денег, но не ассигнациями, а золотом и серебром.

Дивясь тому, что «враль и ее персональный оскорбитель» столь резко переменял свои отношения к ней,

императрица старалась объяснить это изменчивостью человеческой природы и превратностью мира вообще. Она продолжала страшиться Петра Панина как своего замаскировавшегося врага, но тем не менее, уступая навязчивости его брата и помня изречение Потемкина: «Он прежде всего враг Пугачеву, а потом уж и тебе», — императрица в конце концов решила назначить графа Петра Панина главнокомандующим. Причем, советуясь с Потемкиным, она подчинила ему только те войска, которые уже были определены для прекращения смуты или находились на театре действий, а также возложила на него право верховодить гражданским управлением лишь трех губерний: Казанской, Нижегородской и Оренбургской. Она отказалась подчинить ему секретные комиссии и не дала полного права «живота и смерти». Напротив, зная понаслышке черты жестокости в характере Петра Панина по отношению к «черни», Екатерина в рескрипте от 29 июля 1774 года с тайным, вероятно, двоедушием писала ему: «Намерение наше в поручении вам от нас сего государственного дела не в том одном долженствует состоять, чтоб поражать, преследовать и истреблять злодеев, оружие против нас и верховной нашей власти восприявших, но паче в том, чтоб, поелику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающихся, возвращать их на путь исправления, чрез истребление мглы, души их помрачавшей».

Отвергнув притязания Петра Панина на полноту власти, императрица ограничила его будущую деятельность определенными рамками закона. Подобное действие Екатерины сильно омрачило обоих братьев Паниных. Особенно не нравилось это главнокомандующему, и в его душе снова закипала злоба к порфиноносной немке.

Под команду генерала Петра Панина начали поступать воинские силы. Волконский передал ему отряд генерала Чорбы в три тысячи сто шестьдесят два человека при восьми орудиях. Остальные войска подходили к Москве или сосредоточивались в местностях, охваченных восстанием. Так, в Оренбурге, кроме крепостного гарнизона, стояли три легких полевых коман-

ды Долгорукого; на полпути от Оренбурга по Новомосковской дороге и в Бугульме находились отряды Юшкова и Кожина. В Башкирии, по реке Белой, от Уфы к Оренбургу, действовал отряд полковника Шепелева. Верхне-Яицкую линию защищал генерал-майор Фрейман. Уфа была прикрыта отрядом полковника Рылеева. Были защищены войсками города Мензелинск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург. Крупный корпус Деколонга прикрывал Сибирскую линию. После переправы Пугачева за Волгу генерал Мансуров, оставив Яицкий городок, двинулся к Сызрани. Преследование Пугачева возлагалось на Михельсона, Меллина и Муфеля. Сверх того, были двинуты полки из Крыма, из-за Дона и с Кубани.

Итак, в распоряжении главнокомандующего находились и должны были поступать громадные силы. Екатерина писала ему: «Противу воров столько наряжено войска, что едва не страшна ли таковая армия и соседям была».

На самом деле, на поле действий к концу июля уже находились восемь полков пехоты, девять легких полевых команд, восемнадцать гарнизонных батальонов, восемь полков регулярной кавалерии, четыре донских полка, полк малороссийских казаков и другие более мелкие части.

Таким образом, против Емельяна Пугачева, под конец его деятельности, была выставлена целая армия.

8

Народная громада снова была разбита на полки, на сотни. В основу мужицких полков вошли те крестьяне, которые примкнули к Пугачеву еще до Казани и уцелели после трех казанских поражений. Формированием армии были по горло заняты все пугачевские военачальники. Особливым же рвением отличались офицер Горбатов, атаман Овчинников и сам Емельян Иваныч. Но все это теперь делалось на ходу, спешно и не так, как нужно бы. Некоторые молодцы купца

Крохина, пожелавшие остаться с Пугачевым, а также казанские суконщики были причислены к полку заводских работных людей, и команду над ними, вместо плененного Белобородова, принял на себя, по приказу Пугачева, полковник Творогов. В этот полк определились есаулами бывший секретарь Белобородова разбитной парень Верхоланцев и вновь приставший к «батюшке» литейный мастер Воскресенского завода Петр Сысоев.

Пред отправлением армии в поход к Емельяну Иванычу приступили старшины Яицкого войска.

— Ваше величество, батюшка, — сказали они. — Долго ль нам еще путаться за зряда проливать человеческую кровь? На наш смысл, пришло вам время, ваше величество, на Москву идти и принять престол.

Пугачев обещал своим приспешникам исполнить их желание. И вот вскоре народная громада двинулась по направлению к Москве чрез Нижний-Новгород. Однако дело повернулось по-иному. Отойдя от Волги пятнадцать верст, Пугачев повстречал чувашей, толпа коих, соединившись с народной армией, поведала ему, что Нижний сильно укреплен, что в городе много войска, а из Свяжска движется отряд правительственных войск.

На военном совещании, в присутствии старшин яицкого казачества после долгих споров было решено от похода на Нижний и Москву отказаться. Пугачев собрал в круг всех яицких казаков, которых осталось в армии не многим более четырехсот человек, и с хитринкой объявил им:

— Детушки! Вы чрез своих начальников звали меня на Москву. Ну так потерпите, детушки, еще не пришло мое императорское время. Яблочко созреет — само упадет. Вот втапору и царь-колокол подыдем и из царь-пушки вдарим по супротивнице моей Катьке. Тогда я и без вашего зову поведу вас на Москву. Таперь же, усуетовавшись с атаманами, я, божьей милостью, вознамерился идти на Дон, там меня знают и примут с радостью.

Казачи поневоле принуждены были с «батюшкой» согласиться.

И вот армия двинулась на юг, к Цивильску. Крестьянский манифест, в сотни списках, далеко опередил армию. Пугачевские люди развозили царскую грамоту по деревням, а там — сами мужики быстро распространяли ее от селения к селению. Крестьянство Чебоксарского, Козьмодемьянского и других смежных уездов, подогреваемое словами манифеста, восстало почти поголовно. Начался разгром поместий. Чуваши, вотяки, вооружившись копьями и стрелами, открыто говорили, что ждут «бачку-государя», как родного отца. Народ гуртовался в толпы, либо шел к Пугачеву, либо расплылся по уезду и начинал действовать самостоятельно. Помещики и все начальство разбежалось. Оставшееся без администрации население за разъяснением разных бытовых вопросов обращалось к Пугачеву. Так, бурмистр и староста села Алферьева, Алатырского уезда, писали государю: «Ныне у нас имеется господский хлеб, лошади и скот, и что вы об оном, государь, изволите приказать? В вотчине нашей много таких, которые и пропитания у себя не имеют и просят милосердия у вас, великого государя, чтоб повелено было из господского хлеба нам дать на пропитание и осемениться», — и т. д. Таких прошений подавалось Пугачеву множество, но они в большинстве случаев оставались без ответа, так как Военной коллегии при армии больше не существовало и армия двигалась вперед «скорым поспешанием».

Не задерживаясь в Цивильске и переменяя под артиллерию свежих лошадей, пугачевцы направились к Курмышу. В дороге Пугачев узнал, что лежащий на пути городок Ядрин хорошо укреплен и приготовился к обороне.

— А пускай его готовится, — сказал Пугачев, — нам недосуг воробьев ловить, ежели мы медведя брать идем.

И Ядрин был оставлен в стороне.

Утром 20 июля Пугачев подходил к Курмышу. Чернь в сопровождении духовенства встретила его на берегу реки Суры. Пугачев приказал прочесть манифест, жителей привели к присяге. Пугачевцы забрали из воеводской канцелярии тесаки, ружья, порох инва-

лидной команды, а также казенные деньги. Вино было выпущено на землю, соль безденежно роздана крестьянам и чувашам. Были повешены два майора, дворянка и канцелярист. Пугачев взял шестьдесят человек, добровольно записавшихся в казаки, и, пробыв в Курмыше всего пять часов, двинулся к Алатырю.

Узнав о приближении Пугачева, жившие в городе дворяне собрались в провинциальной канцелярии на совещание. Решили: ежели в «злодейской толпе» не более пятисот человек — защищаться, в противном случае выйти навстречу с хлебом-солью. Прапорщик инвалидной команды Сюльдяшев доложил, что, по его сведениям, в пугачевской толпе более двух тысяч народу.

— Ну, стало быть, — надо лататы задавать, — сказал воевода Белокопытов.

В тот же день все дворяне и лица начальствующие во главе с воеводой из города скрылись.

Возле храма на соборной площади возникла большая толпа. Проходивший Сюльдяшев спросил жителей о причине их скопища.

— Советуемся, как спасти жизнь свою, — отвечали люди. — Начальство сбежало, оружия у нас нет, противиться нечем. Мы согласились встретить незваных гостей с хлебом-солью.

В двух верстах от города армия остановилась лагерем. Здесь встретили Пугачева духовенство, монахи Троицкого монастыря, купечество и прочие горожане. Тут же был и прапорщик Сюльдяшев. Обычный молебен, обычное целованье руки, и Пугачев, оставив лагерь на попечение Горбатова, в окружении свиты, духовенства и народа, под колокольный трезвон, поспешил в Алатырь. После молебна в соборе он поехал осматривать старинный, времен Ивана Грозного город, побывал в воеводском доме, найденные под колокольной деньги велел раздать народу, заехал к прапорщику Сюльдяшеву, выпил там со своими сподвижниками очищенной водки — пеннику — и приказал бургомистру раздать народу соль бесплатно, а также немедленно выпустить из тюрьмы колодников.

Вскоре нахлынула в город из лагеря пугачевская толпа, народ бросился из купеческих, «ренсковых

погребов» выкатывать бочки с вином. Началась гуляба, веселые песни, скандальчики и драки. Среди гуляк озабоченно шмыгала взад-вперед девочка Акулечка. «Ой, дяденьки, не пейте шибко много винища-то, ой, миленькие, не деритесь... А то батюшка дознается, худо будет», — то здесь, то там слышался ее заботливый голос. Она подавала пьяницам оброненные в драке шапки, замывала разбитые носы либо, с детской наивностью и противоречия самой себе, где-нибудь под окном выпрашивала гулякам соленьенькой прикусочки.

Заметив шум и беспорядок в городе, Емельян Иванович приказал Перфильеву бочки рубить, вино выпустить. Казаки отгоняли крестьян от вина плетками, иногда трепали за бороды. Да вообще и раньше, во все времена восстания, казаки относились к мужикам с высокомерием. Крестьян это обижало, они пробовали жаловаться на казаков по начальству, но отношения между сторонами не улучшались. А подобных жалоб до самого Пугачева не доходило.

После третьей чарки Емельян Иванович вдруг с гневом спросил гостеприимного Сюльдышева:

— Ты что, подрядился, что ли, за воеводу остаться в городе? Вот я первого тебя велю сказнить.

Сюльдышев опустил на колени и сказал:

— Я, ваше величество, человек шибко маленький и, невзирая, что двадцать пять лет служу, чин имею мелкий... Так где ж мне за воеводу наниматься.

— Ну, ладно. Я тебя жалую полковником и ставлю воеводой. Рад ли?

— Не могу служить, ваше величество, за болезнями и ранами.

— Ничего! Я и сам в болезнях и обраненный... А вот собери-ка ты из жителей в мою армию добровольцев.

— Ваше величество, сие уже сделано! До двухсот человек и двадцать гарнизонных солдат изъявили согласие послужить вам верою и правдою.

— Ништо, ништо, ладно, — ответил довольный Пугачев.

Затем все поехали в воеводский дом, во дворе которого ожидали «батюшку» прибывшие со всего уезда

еще три дня тому назад делегации крестьян. Они привезли на подводах схваченных в поместьях: дворян, управителей, бурмистров, приказчиков на государев суд. Народ бежал за царем, кричал «ура». Давилин швырял в толпу медные пятаки.

Проезжая по улицам, Пугачев заметил Акульку: припав возле пруда на колени, девчонка старательно отмывала грязь с чьего-то сапога. А две пары сапог, смазанных дегтем, сушились на солнце. Тут же, на бережку, закинув руки за голову, храпели три красно-рожих воина.

Пугачев приостановился, позвал идущего пьяным шагом молодого казака с подбитым глазом, спросил его:

— Где твой конь?

— В лагере, ваше величество.

— Как ты попал сюда, по чьему вызову? (Казак молчал, опустив взор в землю.) Кто тебе блямбу под глазом посадил?

— Самовольно упал, ваше величество, — виновато моргая, прогугнил казак и вновь потупился.

— А как падал, так на чей-то кулак, видать, наткнулся?.. Давилин! Арестовать казака. На гауптвахту!

Затем, скликая бородача из своего конвоя, велел ему:

— Домчи-ка ты, Гаврилов, девочку Акулечку до лагеря. Нечего ей здесь околачиваться да пьяницам сапоги мыть.

Девчонка, находившаяся по ту сторону пруда, поднялась и не знала, бежать ли ей к бабушке или продолжать работу. Пугачев погрозил ей пальцем и поехал дальше.

4

Обширный воеводский двор был огражден с трех сторон надворными постройками, тут же стояла длинная, приземистая воеводская изба (канцелярия) и «каталажка» с небольшим за железной решеткой оконцем.

В глубине двора на столбах с перекладинами вздымались две виселицы. На одну из них налетели воробы, пошумели, покричали, посердились, что людишки мешают им спуститься к свежему лошадиному помету, и, нахохлившись, упорхнули прочь. Тут же стояло несколько телег — оглобли вверх, лошади хрумкали свежее сено; крестьянство и дворян, прибывшие со всего уезда, поджидали выхода батюшки-царя. В каталаге отчаянные крики, визг, плач, стоны. А когда появился из воеводского дома Пугачев, за железной решеткой все сразу смолкло, народ же закричал «ура!», и полетели вверх шапки.

Пугачев сел на обитое сафьяном богатое кресло, поставленное на площадке каменного крыльца. На ступеньках и по бокам кресла разместились казаки — сабли наголо, сзади — свита.

Крестьян было множество. Иные забрались на крыши, на деревья. В ожидании чего-то необычного, страшного у всех напряженные лица, кругом полная тишина.

Пугачев вынул белый платок, взмахнул им, приказал:

— Ведите.

Из каталажки и сарайчика начали выводить дворян, помещиков, управителей, приказчиков — с женщинами и детьми. Выводили долго, всех их около сотни человек. Некоторые шли бодро, иные упирались, их подталкивали либо волокли за шиворот. У большинства связаны руки. Их взоры сначала искали Пугачева, затем остановились на виселицах. Тут же, возле виселиц, была плаха и врубленный в нее, блестящий на заходящем солнце отточенный топор. При виде всего этого ожидающие себе суда содрогались, лица их бледнели, женщины впадали в ужас, хватались за голову, подымали вопль и стоны, валились на колени, простирали к Пугачеву руки, без умолку кричали:

— Пощадите! Мы не виноваты! Пощадите нас!

Крестьяне, привезшие своих господ на суд, старались, наперекор им, перекричать дворянок и орали на них кто во что горазд. А казаки, поставленные для по-

рядка, наскакивали на тех и на других с нагайками, во всю мочь горланили:

— Замолчь! Замолчь! Что вы, дьяволы, как белены объелись!

Ермилка затрубил в рожок, возле виселиц ударил барабан. Пугачев взмахнул платком и — снова тишина. Но все кругом было как пред грозой, напряжение усугублялось, душевная настроенность крестьянской толпы быстро накаливалась. Чувствовалась в народе назревшая жажда мщения, с другой же стороны — в кучке приведенных на суд — страшная тоска по уходящей жизни, безысходность положения, полная обреченность, отсутствие всякой надежды на спасение.

Внимание Пугачева привлекал некий суетившийся мужичок. Одетый в суконную поддевку и хорошие, видимо, господские сапоги, он был невысок, сутул и сухощав, бороденка реденькая, на голове войлочная шляпа грибом. Он перебегал от кучки к кучке, что-то быстро-быстро бормотал, размахивал руками, встряхивал головой, грозил дворянам кулаком, то одного, то другого крестьянина ласково, с улыбочкой, пришлепывал по плечу ладошкой. Он напоминал собою Митьку Лысова и был Пугачеву неприятен. Да и мужики недружелюбно сторонились от него.

И еще Пугачев заметил стоявшего среди дворян высокого осанистого человека. С седыми всклокоченными волосами, надменно сложив руки на груди, он стоял неподвижно, подобно каменному изваянию. Неделю тому назад он был схвачен крестьянами в своем поместье. «Я предводитель дворянства — прикрикнул он тогда на мужиков. — И не смей мне руки вязать!»

И вот снова ударил барабан. Начался суд. Крестьяне выхватывали из господской толпы того или иного человека, старались очернить его, не давали ему выговорить слова, требовали казни. Пугачев против воли крестьян не шел, торопливо взмахивал платком, приговоренного вешали. Так было вздернуто шестеро мужчин.

К судьбам женщин Пугачев относился более бережно. Когда крестьяне старались обвиновать

какую-либо помещицу, Пугачев, подозревая, что не вгорячах ли они это делают, спрашивал их:

— Неужли столь шибко барынька согрубляла вам?

— Заодно с барином была, батюшка! Прикажи вздернуть! — в один голос кричали мужики.

— Может, она когда и добро вам делала и заступалась за вас пред мужем-то своим?

— Нет, заодно, они: змей да змеиха.

Пугачев взмахивал платком. Ванька Бурнов подавал палачам команду. Получив чин хорунжего, он при казнях только распоряжался. Под его началом были калмык и сеитовский татарин — оба в красных рубахах.

Непрерывный шум, крики, вопли, перебранка висели в воздухе.

Вот вытолкнули из толпы высокую, худощавую, в белом роброне женщину. Черноволосая, с большими глазами, обведенными глубокими тенями, она взглянула на Пугачева умоляюще, затем склонила на грудь голову и уже все время безучастно стояла, не шелохнувшись, с опущенными вдоль тела тонкими руками. Эта странная покорность тронула Пугачева. Ее муж — толстенький, на коротких ножках помещик — был только что повешен. И толпа крепостных его крестьян кричала:

— Вздернуть и барыню!

— Какие особливые вины на ней? — громко спросил Пугачев.

Тогда крестьяне начали выкрикивать ее проступки перед ними. В этих выкриках Емельян Иваныч не усмотрел единодушия, а в проступках барыни чего-либо особо злостного, поэтому он шепнул Перфильеву: «Отправишь ее в лагерь, и велишь, чтоб там выдали ей пропускной билет да отпустили на все четыре стороны». И, обратясь к женщине, закричал на нее:

— Тебя, злодейку, я сейчас казнить не стану, а велю в свой лагерь отвести, да там допрос сниму! В моей императорской канцелярии, детушки, донос на нее есть, бумага. Она не простая смутьянка, а государственная. Атаман Перфильев, возьми ее!

Перфильев поспешил исполнить приказание, атаман же Овчинников, слышавший скрытные слова Пугачева к Перфильеву, покосился неодобрительно на «батюшку», сердито прикрикнул.

Ни один из малолетних детей и даже из пришедших в юный возраст казнен не был. Да мужики и не требовали их казни: «Знамо дело, ребята ни в чем не виноваты». Тут же приказано было Пугачевым осиротевших малолеток раздать по «справным» мужикам.

Вдруг возник во дворе шум, крик, неразбериха. Похожий на Митьку Лысова мужичок в суконной поддевке схватил за шиворот щуплого помещика с седыми длинными усами, свалил его наземь, пронзительно заорал:

— Вот, батюшка, твое величество, он, подлюга, вашу милость всячески ругал, крестьян мытарил, в Сибирь угонял!

— Врешь! — закричали мужики. — Чего врешь, Зуйка? Наш барин добрый, до нас милостивый... Кого хошь спроси!..

— Ах, милостивый?! — продолжал орать юркий мужичонка, наскაკивая с кулаками на крестьян. — А кто старика садовника насмерть плетьюми засек?

— Ты, вот кто! — загалдели мужики, отшвыривая от себя бесновавшегося Зуйка. — Ты барский бурмистр, тебе старик садовник яблоков воровать не давал. Ты нас мытарил-то, а не барин. Царь-батюшка! Прикажи Зуйка вздернуть, он кровопивец наш, даром что мужик. А старика барина слобони, желаем жить с ним, он нам половину самолучшей земли еще о третьем годе нарезал!

Пугачев кивнул Ермилке. Тот подал сигнал в рожок. Стало тихо. Пугачев приказал:

— Бурнов! Помещика освободить, Зуйка повесить.

— Спа-си-и-бо! — дружно гаркнули крестьяне. — По справедливости, по-божецки!..

Пугачев видел, что пред ним стоят не самосильные богатые помещики, не верхи, а низы, не генералы, а капралы. Он понимал, что и наперед так будет, что все князья, «графья» и богатейшие дворяне давным-

давно из своих барских гнезд сбежали, осталась мелкая рыбешка — окуньки с плотвой. Пугачев почувствовал душевную усталость и какое-то томительное ощущение тоски. Во рту пересохло, ломило затылок, подергивалось правое веко. Он уже подумывал посадить вместо себя Овчинникова — пускай судит, а самому уехать в лагерь. Вот разве этого еще... вон того, что на манер каменного статуя стоит дубом. Должно, какой-нибудь помещик знатный. Ну и гренадер!.. Прямо Петр Великий!

— Подведите-ка его ко мне поближе, — приказал Емельян Иваныч. — Вот того, высокого...

Огромный человек в генеральском поношенном кафтане со звездой и взлохмаченными седыми волосами все так же продолжал стоять, скрестив руки на груди и закусив нижнюю губу. Его придвинули к крыльцу. Он был от Пугачева в десяти шагах и глядел в лицо его ненавистно и пронзительно. Пугачев передернул плечами и спросил осанистого барина:

— Кто ты?

— Предводитель дворянства, Сипягин, генерал-майор в отставке, — спокойно, гулким голосом ответил тот и, откинув голову, выкрикнул: — А ты государственный преступник! Ты самозванец, похитивший имя покойного государя Петра Федорыча! Изменник ты престолу и отечеству!

— Кто, я самозванец? Я изменник? — с немалым удивлением воскликнул Пугачев, злобно впиваясь руками в поручни заскрипевшего кресла.

И тотчас поднялась шумная сумятица. Взвинченное крестьянство, заполонившее воеводский двор, разом прыгнуло к помещику Сипягину и всем миром обрушилось на него неистовыми криками. Идорка, посланный Овчинниковым, бросился с кривым ножом в толпу. Овчинников опасался, что обличительные слова помещика могут настроить крестьян против государя.

— Батюшка-т изменник? Ха-ха! — издевательски хохотали крестьяне над помещиком. — Ты сам изменник, боров гладкий!

— Для вас, дворян, может, и изменник. А для крестьянства отец родной!

— Темные вы, кроты слепые! — плеснул в кипящую толпу, как масла в огонь, предводитель дворянства. — За кем идете? За бродягой!

Тут возле самого Сипягина вынырнул из толпы Идорка; лицо его было свирепо, рот кривился, борода-ка хохолком тряслась. А какой-то низкорослый мужичок в лаптях и в зипунишке с низко опущенной талией, скорготнув зубами, вприскокку ударил помещика в висок. Тот чуть покачнулся и вновь окаменел. Идорка, держа наготове сверкнувший под солнцем нож и оскалив большие зубы, воззрился на бачку-осударя. Пугачев погрозил ему пальцем. Идорка, ссутулясь, снова нырнул в толпу.

— Детушки! — воочию видя неразрывную свою связь с народом, крикнул Пугачев, но его зычный зов потонул в поднявшемся содоме. Горнист проиграл в рожок, ударил барабан, крики лопнули, настала тишина, только похрюкивали запертые в хлеву поросята да шмель гудел, вясь над Пугачевым.

— Детушки, — опять раздался наполненный внутренним ликованием голос государя. — Вот дворянский предводитель обзывает меня самозванцем да изменником. Я бы загнул ему словечко, да, чаю, вы лучше с ним перемолвитесь.

— Ладно, батюшка! Заспокойся, отец наш всеобщий! Мы сами...

И вновь закрутился словесный вихрь, град, гром. Улица и переулок возле воеводского дома были запружены огромным людским скопищем. Во двор никого более не впускали. Любопытные лезли на заборы, деревья, даже умудрялись забраться на крышу жилища воеводы. Какой-то беспоясый пьяный бородач, держась за печную трубу, пронзительно кричал с крыши: «Бей мирских захребетников!.. Бей, бей, не жалей!..»

Ближайшие к Сипягину крестьяне, из его крепостных и дворни, встопорщились, как кошки пред собакой, как пред медведем лайки; беснуясь, они наскakивали на него, плевались в его сторону, потрясали кулаками. А он, осыпанный проклятиями, все так же невозмутимо стоял, величественный, окаменевший. Вот

подкулытыхал к нему старый солдат на деревяшке, что-то зашамкал, ударяя себя в грудь и пристукивая о землю липовой ногой. Черноволосая баба сорвала с головы платок, стегнула им барина, как плетью, завопила: «Суди тебя бог, только что кровопивец ты, кровопивец!» Сутулый, широкоплечий дядя, растолкав толпу локтями, заорал на Сипягина хриплым и страшным, как рев зверя, голосом. Он сжимал кулаки, взмахивал руками, затем, повернувшись в сторону «батюшки», отбивал ему поклон, касаясь земли концами пальцев, и, снова обратясь к барину, продолжал со свирепостью пушить его. Из-за сильного шума до Пугачева долетали только разрозненные фразы:

— Ха! Дворянский предводитель... В болото... В болото нас загнал! Хлеб не родит... Две деревни на заводы продал... На Урал-гору. А батюшка царь-государь — наш кровный, сукин ты сын! Сор метет. Он из Расеи сор метет, как из избы... Паутину из углов!..

— Паутину снимает, а пауков — народных захребетников — давит!..

— Ваше величество!.. Ваше величество!.. — надрывался в крике солдат на деревяшке. — Прикажите его вздернуть!

— Смерть, смерть ему!.. — заорала вся толпа.

И лишь только на момент примолкли все, ожидая знака государя, — совершенно спокойный внешне предводитель дворянства, с ненавистью ткнув по направлению к Пугачеву каменной рукой, гулко взголосил:

— Лжец он, ваш Емелька Пугачев!

И не успел он рта закрыть, как мгновенно появившийся Идорка поразил его ударом кривого ножа в грудь. Затем, уже мертвого, крестьяне подволокли его к плахе с топором и смахнули с плеч седовласую барскую голову с выпученными глазами.

Всего за этот день казнено было шестьдесят два человека. Из них помещиков с дворянами сорок девять, остальные — управители государственных экономических селений и господских вотчин, а также бурмистры, старосты, приказчики.

Когда Пугачев возвратился в лагерь, к нему приступила артель крестьян с угнетенным выражением бородатых лиц.

— Батюшка, царь-государь, — сказали они, кланяясь. — К твоей царской милости мы, с просьбицей. Леску бы нам малую толику надо, вишь ты, погорели мы.

— Каким побытом беда стряслась? — передавая коня Ермилке, спросил их Пугачев. — И велико ль селение ваше?

— А мы, вишь ты, барский сарай ночью подожгли, а ветер-то, чтоб ему, на нас поворотил, на нас, батюшка, на деревеньку. Ну и пошли пластать избенки наши. Пятьдесят три двора — как корова языком: пых и нету! Дозволь, кормилец, леску-то твоего взять, строиться ладим. Охти, беда... Уважь мужикам-то...

Пугачев подумал, почесал за ухом, прошелся с опущенной головой возле своей палатки. Затем выпрямился и велел позвать Петра Сысоева да Мишу Маленького. А крестьянам сказал:

— Сей минут резолюция вам будет — мое царское решенье. Где деревня ваша?

— А как побежишь к Саранску-городу, тут тебе и деревня — Красноселье, барина штык-юнкера Кочедыжникова... Барина-т мы, вишь ты, повесили своим судом... Лют был!

На рысях прибежал усердный Петр Сысоев, торопливо пришагал Миша Маленький с девочкой Акулечкой. Она сидела у него на руке, как белка на лапе медведя, улыбочиво поблескивая шустрыми глазами на мужиков, на «батюшку». С Мишей она в самых в приятельских отношениях, с ним да еще с отцом Иваном.

— Петр Сысоич! — обратился Пугачев к мастеру. — Отбери-ка ты сколь нужно плотников да лесорубов, этак человек с тыщонку, особливо которые со струментом... пилы, топоры... Да, кстати, прихвати с собой Мишу, он пособит грузности таскать.

— Это мы можем, — сказал парень-великан, спускающая с рук Акульку.

— Да что рубить-то там, ваше величество? — спросил Сысоев.

— Что, что... Этакий ты недогадливый какой, — сказал Пугачев. — Деревню строить, вот что... — и, обратясь к Мише: — Ну и дылда ты... Тебя бы в Кенигсберге на ярмарке показывать.

— Это мы можем, — повторил Миша и заулыбался во все свое голоусое лицо.

А крестьяне враз повалились на колени и запричитали:

— Батюшка, свет ты наш!.. Неужто деревню, своей царской силой?

Пугачев отмахнулся рукой, сказал мастеру:

— Ну, так поторапливайся, Петр Сысоич. Да чтоб избы-то покраще были, а печи-то чтоб с трубами...

— Да ведь кирпичу-то нет поди, ваше величество.

— Есть кирпич! — закричали мужики. — Барин каменный дом ладил строить. Кирпичу сколь хошь...

Мастер Сысоев тем же вечером выступил с огромной толпой плотников в поход.

А на следующий день рано поутру Емельян Иванов, похлебав кислого кваску с тертой редькой, хреном и толченым луком, направился в поле, где военачальники и яицкие казаки муштровали крестьян, обучая их ратному делу.

Все занимались весело, с усердием, с шуткой-прибауткой. Люди сотнями бегали с ружьями, с пиками на штурм, учились прятаться по овражкам, за пни, за бугры от картечных выстрелов, скакали на лошадях, привыкая колоть пиками, рубиться тесаками. Чумаков орудовал с толпой у пушек. Творогов с грамотными казаками приводил в порядок амуницию, составлял списки конного крестьянства. Дубровский с Верховланцевым строчили манифесты, указы, пропускные ярлыки. Уральские мастеровые чинили ружья, пистолеты, оттачивали шашки, сабли, острили пики, подковывали лошадей.

Овчинников и Перфильев формировали малые летучие отряды по пять, по десять человек яицких казаков, уральских работников и расторопных мужиков.

Снабдив эти «летучки» манифестами и всем необходимым, Овчинников по указанию Пугачева направлял их по окольным и дальним местностям, вплоть до Смоленской губернии, наказывая всюду «бросать в солому искру», повсеместно подымать восстание именем Петра Федорыча Третьего.

Горбатов обучал крестьян стрельбе из ружей. По совету склонного к выдумкам Емельяна Иваныча, он выдавал за каждый удачный выстрел чарку водки, а ежели стрелок «промажет» — пей вместо водки ковш воды.

И вот подъезжает «батюшка». Все сняли шапки, низко поклонились. Он глянул на ведро с вином, улыбнулся: ведро было целехонько; глянул на шайку — воды там оставалось немного.

— Как винцо-то?! Вкусно ли?! — прищуривая правый глаз, спросил Пугачев.

— Да още не пробовали, батюшка! — виновато засмеялись мужики и парни. — Оно замороженное... Водичкой утробы-то накачиваем. А она с горчинкой, не столь с ружья палим, сколь от нее в кусты сигаем, вот она, водичка-то, какая душевредная!

— Дозволь-кошь, господин полковник, мне, — сказал конопатый босой дядя, за его ременным поясом заткнуты кисет и трубка. — Душа горит!

— Да у тебя руки-то ходят ходуном... — заметил черный кудрявый парень.

— Ладно, ладно, пушай ходят. Вбьякаю чик в чик! А то стыднехонько будет при батюшке-т, не промигаться.

Он приложился, расшаршил ноги, ружье в его руках качалось.

— Отставить! — скомандовал Горбатов и, подойдя к нему вплотную, принялся еще раз обучать его нужным приемам. — Понял?

— Боле половины. Да оторвись моя башка, ежели промахнусь! — Дядя торопливо прицелился, грянул и промазал. Услужливые руки подали ему ковш с водой: — На-ка, прохладись!.. Угорел поди? — Конопатый выпил воду с омерзением, швырнул на землю

ковш и сплюнул, с боязнью посмотрев на батюшку: — Дозволь еще пальнуть.

— Не давай, не давай!.. Он всю воду выпьет! — засмеялись в толпе.

— И верно, — сказал конопатый, направляясь с проворностью в кусты. — Уж пятый ковш... Опучило...

По двум мишеням стреляли еще с десятков, и тоже неудачно. В широкий щит из досок попадали, а в круг утрафить не могли. Шайка усыхала, побежали за водой к ручью.

— Ружье с изъяном, стволина косая, фальшивит. Им только из-за угла стрелять, — брюзжали неудачники.

— Эх, что-то винца выпить захотелось, — подмигнув стрельцам, сказал Пугачев и соскочил с коня. — Ну-ка, ваше благородие, заряди косую-то стволину.

Горбатов подал ему заряженное ружье. Пугачев осмотрел его, вскинул к щеке, прицелился и выстрелил.

— Попал, попал! — закричали глазастые. К мишеням, взглянув лаптями, побежали два парня и тоже голосили: — Попал, царь-государь, попал! В самую тютельку...

Толпа, как зачарованная, широко распахнула на «батюшку» восхищенные глаза. Затем загремело многогрудое «ура, ура!», полетели вверх шапки.

— Вот, детушки, видали, как из косой стволины стрелять? — передавая ружье Горбатову, молвил Пугачев и принял из рук подавалы чарку. — Ну, здравствуйте, детушки!

— Пей во здравие, отец наш! — загорланили стрельцы.

Пугачев перекрестился, выпил, провел ладонью по густым усам, а пустую чарку, для показу, что все выпито, опрокинул над своей головой. Горбатову же прошептал: — У тебя мишень, кажись, на двести шагов, так переставь, друг мой, на полтора. — Затем вскочил в седло и поехал дальше, провожаемый долго несмолкаемыми криками.

ГЛАВА II

Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятение

1

Пугачев пробыл в Алатыре двое суток. Это был первый отдых на правом берегу Волги. Из множества прибывших на государеву службу крестьян он взял только конных, а пешим объявил:

— Детушки, я походом тороплюсь! Не угнаться вам за конниками-то моими. Уж вы как-нито расходитесь по лесам да по оврагам, а как встренутся катерининские отряды, крушите их. А дворян да помещиков ловите и доставляйте ко мне на судьбище.

Пешие, не принятые в армию, разбивались на партизанские партии, выбирали себе вожаков, растекались по окрестностям, разоряли помещичьи гнезда, а зачастую и вступали в схватку с правительственными отрядами, давая тем самым возможность Пугачеву спокойно продвигаться к югу.

Перед отъездом из Алатыря у Пугачева произошла в его палатке передряга с атаманами. Переобуваясь, он спросил Перфильева:

— Отпущена ли пожилая дворянка, кою я помиловал?

Помявшись и переглянувшись с товарищами, Перфильев молвил:

— Отпущена, ваше величество... Как приказал, так и сделано.

Горбоносый, долговязый Овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, вздохнув, сказал:

— Казаки закололи барыню в дороге, Петр Федорыч.

После разгрома под Татищевой, после трех неудачных сражений под Казанью Овчинников с Чумаковым перестали титуловать своего повелителя «величеством», а называли его попросту — Петр Федорыч,

как в былое время называл Пугачева близкий друг его, Максим Григорьевич Шигаев.

Пугачев отбросил снятый с ноги сапог и, ни на кого не глядя, крикнул:

— Как это так — закололи? По чьему приказу?

— По своему хотенью, батюшка, Петр Федорович, — нахмурившись, ответил Овчинников.

— Невместно, Петр Федорыч, — встрял в разговор большебородый Чумаков, — невместно, мол, народу да казачеству с дворянами возюкаться. Вот и прикончили барыньку.

— Раз я приказал, значит — делу конец! — раздраженно бросил Пугачев. — Дисциплина! Этак вы всю армию развалите!

— Да ты, батюшка, не гайкай... Слава богу, слышим, — прыгающим голосом проговорил бровастый, испитой, со втянутыми щеками Федульев, татарского склада глаза у него острые и злые.

Пугачев сдвинул брови, запыхтел. Чумаков, потряхивая бородой, сказал крикливо:

— Мы не хотим на свете жить, чтоб ты наших злодеев, кои нас разоряли, с собой возил.

— А нет, так мы тебе и служить не будем! — выкрикнул Федульев и закашлялся.

Стало тихо. Атаманы почувствовали себя возле Пугачева как возле бочки с порохом.

— Благодарствую, — сказал Пугачев спокойно, однако меж его бровей врубилась складка и глаза горели. — Кто же это не хочет мне служить? Уж не ты ли, Чумаков? Не ты ли, Федульев? Может, ты, Творогов? Ну так знайте. Ежели я только перстом на вас народу покажу, народ вас согрубителей, в клочья разорвет, на сажень в землю втопчет! — Пугачев вскочил, опрокинул стол со всем, что на нем стояло, и, потряхивая кулаками, завопил: — Геть из моей палатки! Геть!!

Чумаков с Федульевым опрометью — к выходу. Пугачев с озлоблением и ненавистью глядел им вслед.

— Заспокойся, Петр Федорыч, плюнь, — примиряюще сказали Овчинников с Перфильевым. — Это они по глупству. Не подумавши,

— Да ведь поди не в первый раз!

Перфильев подал Пугачеву сапог и с усердием начал помогать ему обуваться, как и при самом первом свидании с ним, там, в Берде. «Этот верный», — подумал про него Емельян Иваныч и стал утихать, Раздувая усы, брюзжал.

— Да чую, что и не в последний, — упавшим голо-сом добавил Пугачев. — Волю какую забрали... Служить не станут. А кому служить-то? Неразумные... Ну, идите и вы на покой. Иди, Андрей Афанасьич, и ты, Перфиша. За службу народную спасибо вам.

Дух Пугачева сугубо помрачался. Над ним все еще висели непроносной тучей воспоминания битвы под Татищевой, его мучал не решенный им самим вопрос — куда идти, на юг или на Москву, и — самое важное — начавшаяся между ним и его ближними размолвка. Емельян Иваныч чувствовал, что и атаманами обуревают немалое раздумье, что вряд ли они верят в успех дела, что и пред ними один выбор: либо плаха с топором, либо бегство из армии, пока не поздно. И Пугачев не удивится, ежели узнает, что Федульев или Федор Чумаков скрылись от него, как сбежал изменник и предатель — Гришка Бородин. «А ты-то, Емельян, веришь ли в победу?» — «Верю!» — сам себе ответил Пугачев. Железной силой духа он заковал себя в панцирь неистребимой своей веры в народ, веры в судьбу свою, в счастливую звезду, в удачу! И так продолжал жить и действовать.

На пути к Саранску Пугачев провел бессонную ночь в дубовой роще. Снова и снова возникал перед ним вопрос, куда идти? Решительно, бесповоротно направиться ли ему на юг или, пока еще не поздно, повернуть на запад, в сторону Москвы?

Ночь была теплая, лунная. Сияние луны отражалось в бегучей воде небольшой речонки живыми, серебряными рыбками. Он шел вдоль берега. Лагерь давно спал. На том берегу догорал брошенный костер; блеклыми шапками стояли стога сена; пофыркивая,

побрякивая болталами, паслись на отаве стреноженные лошади. И перепела кричали неугомонно.

Пугачев присел на пень и отдался думам. На Москву или на Дон? Эх, удалился он от Башкирии, башкирцы бросили его, и не стало у Пугачева могучей конницы. Урал с заводами тоже остался позади: вот и в пушках у Пугачева недостача и в заводских людях немалая нехватка. Да, паскудно, плохо... Однако, ежели пойти чрез Дубовку, чрез сердцевину волжского казачества на Дон, к родным донским казакам, будет у Пугачева и лихая конница, и отборное боевое войско. Да, опричь того, в попутных городах — Саратове, Царицыне — можно завладеть изрядной артиллерией.

Стало быть, путь на юг даст конницу, даст бсеую силу, пушки, порох, ядра. «Хорошо-то хорошо, только дюже путь далек», — раздумывает Емельян Иваныч.

Ну, а ежели на Москву свернуть? К первопрестольной-то ближе, и весь путь лежит чрез места, густо населенные крестьянами. А ведь это самое наглавнейшее: все мужичье царство разом подыметя и пойдет за Пугачевым. Но тут начинают ему припоминаться разговоры с бывалым людом. На днях прибыли в армию три партии хозяйственных крестьян: одни от земли Московской, другие из Смоленщины, третьи из Тамбовского уезда, — и все в один голос: «В наших местах скрозь недород, царь-государь, засуха была, с голодухи народишко пропадать учнет». Да и весь пришлый люд в одну трубу трубит: «Ежели и всех бар изведем, все едино барских кормов едва ли до нового хлеба хватит». Вот тут поневоле призадумашься, чем в походе многотысячную армию кормить? Не возропщет ли на государя сидящий в своих селениях мужик: «Мы и сами-то, мол, с хлеба на воду перебиваемся, а ты, мол, батюшка, сколько народу еще с собой приволочил...» Ну да ведь с голодом как-нито управиться будет можно...

Вторым делом — на Москву тем обольстително идти, что, толкуют, в дороге множество фабрик да заводов встретится, а на них дружные работные люди

проживают... Одначе, ежели умом раскинуть, не ахти какая выгода и в этом... Емельян Иваныч припоминает недавние беседы с знатецами: с людьми торговыми, заводскими мастерами, а также с небогатыми дворянами, передавшимися Пугачеву, — отставным корнетом Васильевым, отставным поручиком Чевкиным и еще третий какой-то, все они из Подмосковья¹. И что же на поверку оказалось? Оказалось, что действительно на пути к Москве фабрик и заводов много, да толкуто в них мало, все они очень слабосильны, и работного люда на них — кот наплакал. У многих помещиков имеются фабрички суконные, кружевные, ковровые, фарфоровые с числом работников от полсотни до трехсот человек. Вот чугунолитейный завод в Темниковском уезде тульского купца Баташева, чугуна выплавляется там сто тысяч пудов в год, а работников на нем всего-навсего сто двадцать... Да, да, это тебе не уральские заводы, на коих по три, по пять тысяч человек. Вот это сила! Там можно было вербовать по полтысяче с завода. А со здешних — ни пушек, ни людей; значит, их и с костей долой...

Третья загвоздка — Москва хорошо укреплена: уж ежели за зря полгода под Оренбургом кисли, так как же одолеть Москву?

А самое наиглавнейшее — с московской-то стороны движутся на Пугачева крупные воинские силы. Намедни был схвачен курьер князя Волконского с грамотой астраханскому губернатору; в бумаге значилось, что против «злодейской вольницы» двинуты пехотные, пришедшие из Турции, полки, с конницей, с артиллерией, и что главнокомандующим назначен граф Панин... Ба! Знакомый генерал... Не приведи бог Емельяну Иванычу встречаться с ним!

Вот какова дорога на Москву... Близок локоть, да поди-ка укуси.

Пугачев как рачительный хозяин в глубоком раздумье сидел над весами собственной судьбы и бросал то на одну, то на другую чашу свои упования, свои

¹ «Труды Саратовской архивной комиссии» (1913) и «Труды Тамбовского исторического архива», № 1659—1665,

сомнения и домыслы. Да, как ни кинь — все клин. Стало быть, пока что на Москве надобно поставить крест! А там видно будет...

Значит — на Саратов, на Царицын, на Дубовку, на вольный Дон!

У Пугачева и в мыслях не было рассматривать свой торопливый марш к Дону как бегство от грозных надвигавшихся событий. Наоборот, он считал путь на юг лишь продолжением борьбы в новых неизбежных обстоятельствах.

— Вы, детушки, не подумайте, что от трусости пред царицыными войсками алибо от каверзы какой мы путь переломили... А сам бог да наши попечения о вас преуказывают тако делать.

Он подымет на берегах родного Дона всю казацкую громаду и двинется с новыми силами к сердцу империи, к Москве. Такова была мечта Емельяна Пугачева. И как она обольщала большое беспокойное его сердце, как ему огненно хотелось в нее верить!

На худой же конец, размышлял Емельян Иваныч, ежели вольное казачество не согласится поддержать его, то Пугачеву все же будет сподручней скрыться с донских степей на Кубань либо в Туретчину, там перезимовать, скопить силу и с весны поднять новое восстание.

2

Приближаясь к Саранску, Емельян Иваныч отправил в город Федора Чумакова с отрядом казаков и с указом воеводе и мирским людям В указе, между прочим, писалось, что «...ныне его императорское величество с победоносною армией шествовать изволит чрез Саранск для принятия всероссийского престола в царствующий град Москву». Посему повелевалось заготовить под артиллерию двенадцать пар лучших лошадей, а для казачьего войска — хлеба, съестных припасов, фуража, «дабы ни в чем недостатка воспоследовать не могло». Далее предлагалось учинить государю и армии «по должности пристойное встречу с надлежащею церемонией».

Не доезжая до города, Пугачев вступил в новую, только что из-под топора, деревню. Его встретила тысячная толпа крестьян. Впереди — Петр Сысоев и похудевший, согнувшийся, с усталыми глазами Миша Маленький.

— Какая деревня? — спросил Пугачев.

— Оная деревня ныне зовется в твою честь — Царская, — ответили ближние крестьяне. — А называлась Красноселье... Братцы! Вались на колени! Благодарите осударя-благодетеля! — И вся толпа пала в прах, уткнулась лбами в землю.

— Встаньте, трудники! — взмахнул Пугачев рукою. — Кои здесь тутошние?

— Вот мы, батюшка, здешней деревни жители... В кучке стоим.

— Ну, так не меня благодарите, а вот эту крестьянскую громаду. Не было деревни, а вот она — она!.. Двух суток не прошло.

Пугачев решил сделать здесь краткий роздых. Он слез с коня и пошел осматривать постройки. Большинство изб было закончено. В некоторых уже из труб дым валил. «А ране-то по-черному топились», — пояснили мужики. Несколько хат подводилось под крышу, три избы только начинали строить. Возле них собралось плотников впятеро больше, чем надо. Таскали бревна, клали готовые венцы, выводили печи. Пильщики, пристроившись на высоких козлинах, в восемь пар пилили байдак и тес. «Эй, Миша, подмогни бревешко накатить!» Согнувшийся Миша тряс головой, отмахивался руками, показывал на большую поясницу.

— Надорвался, сердяга, на работе-то, — сказал осударю Петр Сысоев. — Ну, да ничего, до свадьбы заживет... Бабы-то сомлели, глядя на этакого парнюгу.

— Ну, так ведь... Бабы на такую приваду поди, словно пчелы на липовый цвет, летят, — проговорил Емельян Иваныч.

Он отказался идти в помещичий дом, а пошел наскоро «поснедать» в первую попавшуюся избу, шел, пробираясь, со своими ближними среди кудрявых, пахнувших сосною стружек и опилок, как по пышному сугробу.

Меж тем отец Иван в сопровождении старика Пустобаева ходил из избы в избы с кратким молебствием. Поп кропил новые жилища «святой водой», которую вместе с кропилом таскала в особом медном сосуде девочка Акулька, подтягивая цыплячьим голоском слова незнакомых ей молитв. Отец Иван еще в Казани приобрел себе исправное облачение и некоторые церковные сосуды. Да и вообще он начал следить за собой, стал благообразен. Теперь не только простой народ, но даже и некоторые державшиеся православия чопорные яицкие казаки не гнушались подойти к нему под благословение. С Ванькой Бурновым он разругался: тот как-то спяну непочтительно отозвался о «царе-батюшке», мол, «какой он царь, путаник он». Отец Иван сказал ему: «Прощай, брат Ваня. Я никому о твоих речах паскудных не скажу, а жить с тобой не стану!» И после этой размолвки с бывшим другом поп прилепился к Пустобаеву.

За освящение жилищ бабы подавали отцу духовному яички, творог, лепешки, хлеб. Пустобаев это добро совал в мешок. В одной избе баба налила два стакана зелена вина, батя пить отказался, Пустобаев выпил и за себя и за священника. Прожевывая лепешку, он попросил еще налить. Акулька закричала на него: «Дедушка, окстись! Ведь ты молитвы поешь. Грех!» Пустобаев взглянул на девчонку хмуро, а бабе скомандовал: «Отставить».

Когда Пугачев вступил в новую избы, старуха со стариком и две молодайки упали батюшке в ноги.

— Встаньте, трудники, — сказал Пугачев. — Будет кувыркаться-то. Я не архирей...

— Ой, желанный! — поднимаясь, запричитали хозяева. — Кланяться-то мы горазды, а вот молвить не умеем.

Стружками и щепами ярко топилась печь. Пахло сосной и мохом; из тесаных бревен желтоватыми, словно янтарными, слезами сочилась смола.

Гости сели за новый стол. Соседи наташили всякой снеди. Из барских погребов доставили целое бе-ремя бутылок сладкого вина.

— Каково живете-то? — спросил Пугачев суетившихся хозяев.

— Ой, кормилец, — откликнулась старуха, утирая фартуком глаза, — живем голь голью. Была коровушка с телушкой, да барин за провинку нашу отнял. И овец, окаянная сила, отнял! Вишь, на барщину наменишь о празднике не вышли мы да оброк уплатить в срок не из чего было... Была и лошаденка, ну так на ней Семка наш в твое царское войско укатил. Во так и живем — кол да перетырка.

— Повешен ли барин-то? — спросил Пугачев.

— Повешен, повешен! — вскричали толпившиеся у двери старики и бабы. — Со всем приплодом.

— А поп где ваш? Пошто он не встретил меня, государя своего?

— А поп в город сбежал, — заговорили возле двери. — А ваш военный священник, отец Иван, кажись, твоей милости двух казаков венчает на скорую руку. За них две наших дворовых девки пожелали.

— Вот уж это негоже, в нашем скором походе жениться, — недовольным голосом молвил Пугачев и, обратясь к Творогову: — Иван Александрыч, этих двух новых женок допусти, а чтоб впредь баб в армию не брать.

— Ладно, ваше величество. Будет, как сказал.

Прощаясь, «батюшка» подарил старухе две золотых монетки. Та бултыхнулась ему в ноги, заплакала, запричитала:

— Ой, ягодка боровая!.. Да ведь на эти деньги и коровку и лошадку с телегой можно купить.

Пугачев подъехал к Саранску 27 июля, в семь часов утра. На реке Инзаре он был торжественно встречен населением и духовенством с крестным ходом. Во главе духовенства стоял представительный, с холеной черной бородой, архимандрит Петровского монастыря Александр. Он был в полном облачении и в митре. Пугачев, еще издали заметив его «по шапке с камнями, кабудь золотой», подъехал к нему, приложился к кресту и велел Дубровскому огласить манифест; затем

под радостные крики горожан проследовал в собор, где во время ектении произносилось имя Петра Федорыча, Устиньи и наследника с супругой. На молебне участвовал и поп Иван в парчовой ризе. Мочальная борода его расчесана, волосы припомажены. Но вчера на двух свадьбах он перехватил сладкого господского вина, за молебствием переминался с ноги на ногу, его слегка покачивало.

Подарив духовенству тридцать рублей, Емельян Иваныч с ближними направился в дом вдовы бывшего воеводы, Авдотьи Петровны Каменицкой, на званый обед.

Атаман Перфильев в начале обеда отсутствовал: вместе с воеводским казначеем он принимал в канцелярии казенные считанные деньги. Их оказалось медною монетою двадцать девять тысяч сто сорок восемь рублей. Они были погружены на тридцать пять подвод. Казначей сказал Перфильеву:

— Это что за деньги... А вот вы вдову Каменицкую хорошень обыщите. У ней сто тысяч серебром да золотом схоронено где-то.

— Да верно ли говоришь, твое благородие? — спросил Перфильев.

— Об этом весь город знает. А я врать не буду, я старый человек. Муж-то ее покойный с живого-мертвого хабару тянул. Да еще к тому же спроворил казенный лес продать, а денежки в карман. А она ему во всем мирволила да помогала. Кого хошь спроси.

Перфильев явился на обед хмурый. Щербатое, в оспинах, лицо его было сурово. Он подсел к Пугачеву и стал что-то нашептывать ему. Пугачев ожег хозяйку горячим взором, а как кончился обед, сказал ей:

— Вот что, воеводи́ха! За то, что хорошо приняла нас, спасибо тебе царское. А вторым делом... ведомо мне, что у тебя сто тысяч денег где-то в земле закопано, так ты сдай оные деньги мне, законному государю своему.

Подвыпившая, раскрасневшаяся бой-баба во время речи Пугачева стала бледнеть, бледнеть, затем, едва

поднявшись с кресла, визгливо закричала, ударяя себя в грудь:

— Нет у меня денег, нет, нет!.. Наврали на меня вороги мои!

Тут вдвинулся в горницу служивший у стола старый дворовый человек ее, одетый в холщовую ливрею, и, укорчиво потряхивая головой, сказал:

— Ах, барыня, барыня... Грех вам. Вся дворня знает, как ты с дворовым своим, Куприяном-стариком, закапывала деньги-то. Да та беда, Куприян-то о той же ночи в одночасье умер... Уж не отравила ль ты его?

Воеводиха затряслась, снова налилась вся кровью и, схватив нож, бросилась к слуге:

— Убью, каторжник! Убью, вор!..

Ее сзади поймал Перфильев:

— Сдавай деньги в царскую казну!..

Не владевшая собой, пьяная воеводиха, вырываясь от него, орала:

— Ах вы душегубы! Я их пою-кормлю, а они...

— Повесить! — раздувая ноздри, вскричал грозный Пугачев.

Вдова тотчас была вздернута на собственных воротах. Толпа местной бедноты притащила на суд «батюшки» своих обидчиков: магистратского подьячего Васильева и купца-свалыгу Гурьева. Подьячего повесили, купца засекли плетью.

В это время некоторые пугачевские военачальники разъезжали по городским улицам, по «торгу» и по крепости, щедро швыряли в бежавшую за ними толпу медные деньги, на углах останавливались и громко гласно зывали:

— Царь-батюшка прощает вам как подушные поборы, так и государственные подати, а также повелевает быть от помещиков вольными! А немилостивых помещиков повелевается государем императором вешать и рубить!

Подвыпившая толпа, состоявшая из городских мящан и наехавших со всего уезда мужиков, низко кланялась бравым всадникам, одетым в праздничные, обшитые позументом чекмени, при медалях.

— Ура, ура! — раздавались крики. — Спасибо царю-батюшке!.. Вот соли бы нам. Соли, мол, соли!..

Были открыты казенные склады, роздано несколько тысяч пудов соли. Из купеческих, наполовину разграбленных лавок и складов выкачены бочки с вином.

Пугачев осмотрел и взял себе семь годных пушек, три пуда пороху, полтораста ядер.

На другой день явился в стан к Емельяну Иванычу послушник архимандрита Александра с приглашением пожаловать на монашескую трапезу в богоспасаемый Петровский монастырь.

— Благодарствую, прибуду, — ответил Пугачев. — Сказывали мне, ущицу добрую вы, монахи, горазды сготовлять да густой квасок варить.

— И то и се всенеуклонно будет, царь-государь. Сверх же сего — с гусиными потрохами расстегайчики, черносморозинный кисель с ледяным миндальным молоком, выпеченные на соломе сайки, и прочая и прочая, всего восемь перемен. Ну и всякая, стомаха ради, выпиванция.

— Это что за стомах такой? Впервые слышу.

— А сие слово монастырское. По изъяснению отца Александра, стомах — сиречь, по-гречески, живот, утроба.

— На-ка, передай отцу Александру на обитель. Люб он мне. — И Пугачев протянул молодому, развязному, с веселыми глазами послушнику пятьдесят рублей.

8

Обед происходил в монастырской трапезной торжественно. Трапезная, похожая своим убранством на церковь, была обширна, каменные столбы и стены расписаны в византийском вкусе. Под потолком небольшое паникадило. У восточной стены иконостас, возле него аналой с переплетенным псалтырем, по нему во время трапезы монастырской братии молодой инок читал во всеуслышанье псалмы. Братия закончила обед час тому назад; пахло кислой капустой, сметками, медом, ладаном.

Гости сидели чинно. Против Пугачева — представительный чернобородый архимандрит Александр, в черном клобуке и мантии, справа и слева от Александра — два седовласых иеромонаха и ключарь, рядом с ключарем — отец Иван. Юные служки в черных подрясниках, перехваченных по тонкой талии ременными поясами, шустро и неслышно взад-вперед мелькали, разнося питье и пищу. Пред началом обеда хором пропели «Отче наш». Пустобаев изумил своим басом архимандрита, и тому мелькнула мысль предложить казaku остаться в монастыре, дабы занять в скором времени место иеродиакона. Но когда, к концу трапезы, Пустобаев напился пьян и стал непотребно ругаться, отец Александр от своего намеренья воздержался, а Пугачев велел вывести охмелевшего старика на улицу. Зато отец Иван в продолжение обеда выпил только два стакашка «чихирьного» вина и был трезв, как стеклышко, Емельян Иваныч благосклонно кивал ему головой и улыбался.

Подняты были, как водится, здравицы за государя, государыню и наследника с супругой. Все шло как по маслу. Но тут черт дернул отца архимандрита блеснуть своим немалым красноречием. Он был мастер произносить проповеди, в основу которых клал призыв к чувствам монашествующей братии и приходивших богомольцев, убеждая свою паству творить добрые дела, ибо «вера без дел мертва есть». Архимандрит хотя и не блистал подвижнической жизнью, но и никогда не нарушал ни догматических правил, ни монастырского устава, ни строгого монашеского обета.

Через многочисленных богомольцев-простолюдинов, стекавшихся в обитель даже с отдаленных губерний, он прекрасно знал о всех жестокостях, ныне производимых крестьянами именем «царя-батюшки» над своими помещиками и прочими утеснителями народными. А за последнее время в том же Алатыре суд и расправу над врагами крестьянства чинил сам государь. Да и здесь, в Саранске, уже были и вновь готовятся немалые казни. Архимандрит Александр, приглядываясь к своему гостю, гадал в душе, царь он или не царь, и не мог дать себе точного ответа. Ежели он царь, все

обойдется благополучно, ежели он самозванец Пугачев, архимандриту не миновать кары от синода и от правительства. Поэтому он, архимандрит, решил приготовить себе некую лазейку на тот случай, ежели его призовут и спросят: «Как ты смел принимать в святой обители душегуба и разбойника?» Он тогда ответит: «Того ради, чтоб наставить злодея на путь истинный». С другой же стороны, им в данную минуту руководило сознание высокой обязанности христианина.

И вот он поднялся, принял от послушника посребренный посох, молитвенно сложил густые брови и морщины на широком лбу, ласково и в то же время с внутренней твердостью уставился глубоким взором в лицо Пугачева и, крепко опираясь на посох, начал мужественным голосом.

— О царь благопобедный! (Сидевший на краю стола Дубровский вынул бумажку и записал слово: «благопобедный», — пригодится.) Прими от меня, многогрешного, — продолжал отец Александр, — знаки благодарности за щедрое пожертвование твое на украшение святой обители нашей. Такжеде и прочие царихристоролюбцы делывали от времен древних и доднесь, принося лепту свою на храмы божии. («Придется еще полсотенки подсунуть, — подумал Пугачев, — красно говорит, да и употчевал изрядно».) И аз, грешный, возьму на себя дерзновение напомнить тебе, свете наш, что государи всероссийские бывали характером и делами своими разны суть. Одни, како Алексей Михайлович, тишайше правили народом русским, другие, како Великий Петр, собственноручно рубили корабли и устроляли свою державу на иноземный лад, третьи — не корабли, а боярские головы крамольные рубили с плеч, како Иван Васильевич Грозный. А вот ты, царь благопобедный... — Архимандрит отвел свои смутившиеся глаза от Пугачева и опустил взор в землю, затем, напрягая мысль и как бы готовясь сказать самое важное, он снова вскинул взор на Пугачева. — Ты, свете наш, нежданно объявился на Руси образом чудодейственным. Двенадцать лет будто бы и не было тебя, и вот ты, яко паки родившийся, снова присутствуешь своей персоной посреди верноподданных твоих,

Да, поистине чудо неизреченное... Токмо не нам, грешным, знать, что сотворяется в нашем греховном мире! — воскликнул архимандрит, сокрушенно потряхивая головой. — Сказано бо есть: высь земная падает, высь небесная созидается.

— Выхь земная падает — это царицы любодейной трон восколебался, — гукнул в бороду отец Иван и опустил очи.

— И неведомо нам, — продолжал архимандрит, — по какой стезе совершаешь ты, царь-государь, свое шествие. Но аз, многогрешный, зрю в руке твоей карающий меч и предваряю тебя, великое чадо мое, ибо аз есмь пастырь Христовой церкви. — Отец Александр, опираясь на посох, простер правую руку с янтарными четками в сторону Пугачева и громким голосом, чтоб все слышали и запомнили слова его, сказал: — Паки и паки реку тебе, о царь благопобедный, не проливай напрасно крови людской, обсемени сердце свое добром и милостью! Не иди тропой царя Грозного, а прилепляйся к делам добрым... И тогда...

— Стой, отец Александр! — прервал его Пугачев, уперев ладонями в стол и отбросив назад корпус. Все гости враз насторожились, будто почуя в словах его боевой призыв. — Ты уж не учи меня и в наши дела не суйся, — продолжал Пугачев, поднимая свой голос. — Маши кадиллом да бей за нас поклоны перед богом. А уж мы не с добром, не с милостью, а с топором да петлей шествуем... Добро опосля само собой придет.

— Сказано в писании, — закричал отец Иван, вскинув руку и косясь на архимандрита, — сказано: «Я не мир принес на землю, а меч!»

— И допрежь нас пробовали, ваше священство, и добрым словом и милостью, — ввязался атаман Овчинников, покручивая кудрявую бороду, — да толку мало: помещик к мужику — все равно как волк к овце. Лютого волка добрым словом не проймешь.

— А кого слова не берут, с того шкуру дерут! — прилепнул Пугачев ладонью по столешнице.

Архимандрит не на шутку испугался: сразу сник, и вся величавость его слиняла. Ему представилась

повешенная на воротах воеводиха, у которой вчера пировали его сегодняшние гости.

— Послушать бы мне тебя, отец Александр, — молвил Пугачев, откидывая со лба волосы, — что ты станешь балакать, когда катерининские генералы, ежели заминка у нас выйдет, за казни примутся. Да уж и принялись кой да где!.. У меня дворянская кровь по каплям исходит, у них мужичья ушатами потечет. Ну, так и молись, чтобы держава моя крепла.

— Царь благопобедный! — передав посох послушнику и приложив к груди холеные руки, воскликнул архимандрит. Лицо его сложилось в плаксивую гримасу. — С тоской и душевным трепетом помышляю о будущем. И, предчувствуя его, вижу в нем оправдание пути твоего. Путь твой есть путь правды, ибо в святом писании сказано тако: «Вырви из пшеницы плевелы и сожги их, тогда хлебная нива твоя утучнится!..» Нива — это народ, плевелы — это супротивники народные.

— Ну, то-то же, — проговорил Пугачев. — Вот ты все толкуешь: правда, правда. А ответь-ка мне по правде истинной, как перед богом: за кого меня принимаешь? Кто я есть?

Архимандрит стоял, а все сидели. Лицо его вдруг побледнело, сердце затрепыхалось, он с опасением взглянул на двух сидевших возле него иеромонахов и, опустив глаза, тихо, через силу, молвил:

— Вы император Петр Федорыч Третий.

В это время раздались за открытыми окнами шумливые крики и топот множества ног по монастырскому, выложенному кирпичом двору.

— Допустите до царя-батюшки! — кричали во дворе. — Он нас рассудит!

Пугачев быстро подошел к окну, глянул со второго этажа вниз и видит: большая возбужденная толпа крестьян — пожилых и старых — подступала к закрытой двери, а стоявшие на карауле казаки гнали их прочь. Среди толпы вихлялся толстобрюхий монах. Крестьяне хватили его за полы, тянули к двери, он вывертывался, орал: «Прочь, нечестивцы!» Крестьяне, задирая

вверх бороды, продолжали взывать: «Эй, допустите до царя!»

— Давилин! — высунувшись из окна, прокричал Пугачев вниз. — Пусти народ!

И вот, грохая по лестнице каблуками, шаркая лаптями, ввалилась в трапезную пыхтящая толпа, покрестилась на иконы, отдала глубокий поклон архимандриту и пала Пугачеву в ноги.

— Встаньте, мирянушки! С чем пришли?

— С жалобой, надежа-государь, с жалобой... На монахов, на гладкорожих... Баб да девок... Жеребцы!.. Прямо жеребцы стоялые... — раздались со всех сторон разрозненные голоса.

— Да не галдите разом-то, — прикрикнул на крестьян Овчинников. — Толкуй кто-нито один.

Емельян Иваныч расчесал гребнем бороду и волосы, сел в кресло, приготовился слушать.

Выступил вперед седобородый крепкий дед с ястребиным носом, с глазами горящими.

— Надежа-государь, эвот чего вчерась содеялось, — начал он, кланяясь Пугачеву. — Ведомо ли тебе, кормилец, что у нас два монастыря? Один вот этот самый, Петровский называется, а другой в пяти верстах отсель, на Инзаре на реке. Ну тот, правда, что небольшой монастырек...

— Даром что небольшой, — подхватили в толпе, — а монахи молодые, здоровецкие!

— И оба монастыря на заливных лугах покосы имеют, — продолжал старик. — Покосы у них рядышком. А наш, крестьянский, покос впритык с монастырским...

— Впритык, впритык, батюшка, — снова подхватил народ. — Вот этак ихние покосы, а этак наш.

— На нашем одни девки с молодыми бабами робыли да на придачу — старики, а парни-то да середовичи быдто сдурели, — все в бунт, в мутню ударились: кои в твою армию вступили, кои по уезду разбрелись, помещиков изничтожать...

— Изничтожать, изничтожать лиходеев-бар, согласуемо царского твоей милости веленья! — шумел народ.

— И вот слушай, царь-государь! — клюнув ястребиным носом, громко сказал старик и покосился на приведенного толпой гладкого высокого монаха, смиренно стоявшего поодаль. — И как заря вечерняя потухла да стала падать сутемень, бабы с девками домой пошли. Глядь-поглядь: за ними краснорожие монахи бросились; женщины от них ходу-ходу, монахи за ними — дуй, не стой... Мы кричим: «Бабы, девки, лугом бегите, луговиной!» А они, глупые, к кустарнику несутся... Они к кустарнику, монахи за ними, — как кони, взлягивают, гогочут...

— Догнали? — нетерпеливо спросил Пугачев, пряча в усах улыбку.

— Нет, что ты, батюшка! — отмахиваясь руками, в один голос откликнулась толпа. — Наши молодайки на ногу скорые, а девки того шустрей... Убегли, убегли, отец. Все до одной убегли! Да их на конях надо догонять.

— Царь-государь, — опять заговорил старик с ястребиным носом, — положи запрет монахам, чтоб напредки они не забижали наших женщин-то. Вот он, царь-государь, пред тобой этот самый игумен того монастыря. Его монахи-то охальничали, его! — И старик строптиво взмахнул в сторону смиренно стоявшего гладкого игумена. — Отвечай, отец Ермило, чего молчишь?

— Не мои монахи, — отрицательно потряс головой отец игумен, охватив руками тугой живот и устремив к потолку хитрые масляные глазки. У него загорелые пышные щеки, между ними зазорно торчит красный носик пуговкой, на скулах и подбородке реденькая, словно выщипанная, темная бороденка.

— Как так — не твои! — зашумели крестьяне, на двигаясь на игумена. — Так чьи же?

— Не мои монахи...

— Ну, стало быть, твои, отец архимандрит, твоего монастыря.

— Нет, братия, — возразил отец Александр. — Мы посылаем на покос монахов богобоязненных и годами преклонных. А молодые трудники в лесу дрова заготавливают,

— Не мои монахи! — гулко бросал игумен, будто топором рубил.

— Ха, хорошенькое дело! — возмутились мужики. — Мы своеглазно видели: твои!

— Не мои монахи! — вновь затряс головой и брыластыми щеками сварливый игумен.

— Отец Ермил, — сказал Пугачев, — да ты не страшись, говори правду. В том, что за бабами твои монахи гнались, шибкой вины нету на тебе.

— Не мои монахи.

— Ну вот, заладил, как филин на дубу: не мои да не мои... — осердился Пугачев. И все старики с пыхтящей злобой уставились на отца Ермилу.

— Твое царское величество! — начал упрямый игумен, и лицо его тоже стало злым и дерзким. — Я правду говорю: не мои монахи. Я знаю своих! Мои баб с девками всенепременно догнали бы. Как пить дать — догнали бы! А это не мои. — И отец игумен, выхватив платок, порывисто отер им вспотевшие загривок и лицо.

Первым прыснул в горсть смешливый Иван Александрыч Творогов. А вслед за ним и всем прочим стало весело. Даже улыбнулся архимандрит Александр и прихихикивали в шляпки пришедшие с жалобой старики. Лишь один отец Ермило, столь ретиво вступившийся за честь своих монахов, с видом победителя щурил на всех хитренькие глазки. Старик с ястребиным носом, кланяясь Пугачеву, молвил:

— Заступись за нас, сирых, батюшка.

Пугачев подумал и сказал:

— Дело это несуразное, путаное. Ведь ежели б монахи вас, стариков, ловили, а то — ваших девок с бабами. Ну, так женские и с жалобой должны были прийти, а не вы, люди старые... Может статься, девки-то сказали бы: «Надежа-государь, вздрючь монахов, что нагнать нас не могли».

Снова все заулыбались. На этот раз улыбнулся и отец Ермило.

Крестьяне разошлись. Стали собираться до дому и гости. Явился Перфильев, тихо сказал Пугачеву:

— На воеводском дворе, твое величество, все готово. Крестьянство ждет. Помещиков и прочих приведено с полсотни.

Пугачев и гости поблагодарили отца Александра за угощение, направились к выходу. Архимандрит, радуясь за спасение монастыря и своей жизни, приказал проводить гостей трезвоном во все колокола.

На дворе воеводы города Саранска, как и в Алатыре, были произведены казни. На следующее утро, 28 июля, Пугачев двинулся походом к Пензе. Между тем полковник Михельсон, выступив из Казани, встретил на пути графа Меллина и приказал ему выступать на Курмыш к Симбирску для преследования самозванца, а сам 25 июля пришел в селение Сундырь, вблизи которого несколько дней тому назад Пугачев переправлялся на правый берег Волги. Он не имел точных сведений о том, куда делся самозванец. Посылаемые им гонцы пропадали без вести, назад не возвращались. В Сундыри он узнал, что Пугачев направился в сторону Алатыря. Однако Михельсон не поверил, что самозванец пошел на юг.

— Это он делает маску, чтоб обмануть нас... Я уверен, что злодей бросится к Москве, — говорил он своим офицерам. — И наша наипервейшая задача оберегать пути к первопрестольной.

Графу Меллину, догонявшему быстрых пугачевцев, приходилось идти форсированным маршем. Он доносил: «По всему моему пути я нашел до тридцати человек повешенных и по деревьям почти никаких жителей. Какое это наказание божие, которое я вижу: бедные дворяне по дорогам — который повешен, у которого голова отрублена, у которого руки и ноги отрублены». Граф Меллин горел жестоким отмщением. Вступив в Алатырь, он распорядился вывести из тюрьмы пойманных мятежников и переколоть их, что и было исполнено, а в Саранске он несколько человек засек плетью. По стопам мщения пошел и либеральный Михельсон. В начале своей деятельности осмотрительный и мягкий к пленным бунтарям, Михельсон с течением времени все больше и больше ожесточался; он стал применять к своим жертвам кровавую расправу;

ибо, по его мнению, «сие производит в сих варварах великий страх». Так, в селе Починках, Саранского уезда, восставшими крестьянами был захвачен конский казенный завод. Он разогнал «злодейскую толпу», из пойманных крестьян троих повесил, остальным распорядился урезать по одному уху. Его страшила сила и крепость народного восстания. Он доносил: «Окрестность здешняя генерально в возмущении, и всякий старается из здешних богомерзких обывателей брать друг у друга преимущества своими варварскими поступками... Нет почти той деревни, в которой бы крестьяне не бунтовали и не старались бы сыскивать своих господ, или других помещиков, или приказчиков к лишению их бесчеловечным образом жизни».

Отряд генерала Мансурова следовал меж тем на Сызрань, отряд Муфеля торопился к Пензе. Несколько дней спустя после ухода Пугачева из Саранска город этот был занят Муфелем. Он приказал архимандрита Александра арестовать, заковать в железа и направить в Казань, в потемкинскую секретную комиссию на суд и поругание.

4

Крестьянское восстание на правом берегу Волги подымалось во весь рост. Суд над лихими помещиками и жестокими приказчиками в барских вотчинах главным образом чинился самими крестьянами на мирских сходах.

Вот весьма картинное письмо земского человека, Афанасия Болотина. Он крепостной князя Долгорукова, помещика Саранского уезда, владельца села Царевщины. Афанасий Болотин доносил своему господину: «Государю сиятельному князю Михайле Ивановичу. Государыне сиятельной княгине Анне Николаевне¹.

При сем вашему сиятельству за известие представляю, что прошлого 12 июля город Казань от извест-

¹ Орфография этого документального письма от 6 августа 1774 года выправлена, письмо приводится в сокращении и некоторой обработке.

ного врага и государственного злодея Пугачева претерпел великое разорение. А с 24 июля месяца алаторские, саранские и пензенские дворяне обратились в бегство и чрез вотчину вашего сиятельства, через Царевщину, столько ретировалось, что не можно было исчислить. Дворяне валом валили трое суток. На которых смотря и вашего сиятельства приказчик Михайла Марецкий взял только намеренье отпустить свою хозяйку, которую и отпустил.

А 28 числа получили известие, что означенный тиран Пугачев, быв в Алаторе и многое множество казнил господ. А потом и в Саранск прибыл и тут господ и приказчиков, купцов, старост, выборных казнил, что и числа нет. И как в Саранске оная штурма производилась, то черный народ во всех жительствовах своих господ ловил и возил в Саранск для смертной казни. А вашего сиятельства крестьяне в те дни имели поголовные сходы.

И в то же число, как приказчица Варвара Ивановна Марецкая уехала, ее мужа в ночи крестьяне сковали. Узнав об этом в дороге, приказчица вернулась домой в Царевщину. Она пришла на сход и стояла пред крестьяны на коленях с сыном своим Дмитрием, и оба просили со слезами, чтоб из желез отца и мужа выпустить. Стояли они на коленях и предавались плачу и неутешному рыданию — женщина и отрок, мать и сын. И тут, смотря на них, никто из крестьян не мог удержаться от слез. И тут свирепствующие злодеи из крестьян вашего сиятельства не умилосердились и сказали, что-де «мужу твоему так и должно быть».

А на другой день сам приказчик Марецкий обще со своею хозяйшкой Варварой Ивановной и с Митенькой сошед скованный на сход и говорил крестьянам:

— Помилуйте! За что меня безвинно сковали? В чем я пред вами виноват?

А крестьяне стали навстречь ему доказывать:

— Как же ты не виноват, что ты на барской работе всех крестьян помучил.

А он им ответил:

— Не от меня это, а единственно по строгости его сиятельства законов,

Да притом же они, крестьяне, ему говорили:

— Самолично ты, Марецкий, мирских наших покосов по два года отдавал помещице Жердинской и за каждый год брал с нее по шестьдесят рублей в свою пользу.

На что приказчик Марецкий им сказал:

— Истинно напрасно! Ведь я отдавал покос с вашего же мирского приговора.

Они на то сказали:

— Мы отдавали покосы, убоясь тебя.

Он говорил:

— Чего вам меня бояться? Просили бы господина своего князя.

На что они сказали:

— Господин нас не послушал бы, он делал все по-твоему, что тебе было надобно. А ты нас завсегда бил и плетьюм стегал.

И так приказчик продолжал просить крестьян, стоя со всей семьей на коленях, семья плакала, он говорил:

— Ну, пусть я виноват во всем и делал где по воле, где поневоле... Простите меня, мои батюшки!

Они сказали:

— Нет тебе прощенья.

С тем он, бедный, от них и пошел в свои покои и стал со всеми своими домашними прощаться. И сколько тут народу ни было, все стояли в превеликих слезах, кроме тех злодеев, которым надобно было везти его в Саранск.

Итак, перед вечером, схватили его, посадили в кибитку, повезли в Саранск на убиение. Домашние, да и знакомые великому плачу предались.

И путем-дорогою, подъезжая к селу Исе, навстречу им злодейской толпы казаки. И говорят:

— Кого везете?

Они сказали:

— Приказчика.

Казаки говорят:

— Каков был?

Мужики сказали:

— Добрых сковавши не возят.

Казачи им говорят:

— Ну, бейте его.

Мужики сказали:

— Нет, помилуйте! Мы его бить не можем: мы так от него настрашены, что и мертвого-то станем бояться.

Казачи прочь отъехали. При том случае на степи под селом Исою народу было множество: крестьяне везли всяк своих господ на смертную казнь. А мужики вашего сиятельства, те, которые везли приказчика Марецкого, увидали, что невдалеке впереди них на дороге убивают помещиков: Авдотью Жердинскую, барина Слепцова и с женою, барина Пересекина с женою, Авдотью Шильникову и прочих. Видя сие смертоубийство и слыша вопли, на всю степь испускаемые, мужики вашего сиятельства, их пятеро, очерстев сердцем и господа бога позабыв, стали убивать приказчика Марецкого: один вдоль боку обухом, другой — дубиною, а третий, подскока, саблей срубил голову.

С тем оные злодеи и приехали ко двору в Царевщину и сказывают приказчице, нечаянной вдовухе Варваре Ивановне с сыном ее Митенькой, что-де муж твой Михайло Юрьич Марецкий приказал долго жить.

А ты, приказчица, отдай нам деньги, сто двадцать рублей, которые муж твой взял себе с помещицы Жердинской за покосы. А не отдашь, и тебя отвезем.

Которые она и отдала. Да тут же Панька Кожинок взял шесть рублей за свои побои: когда был пойман с соломой вашего сиятельства, с четырьмя возами, за что и сечен кнутями по приказу Марецкого. Яковом Пряхиным, взято десять рублей за побои от того же приказчика Марецкого в бытности в старостах в 772 году. Василием Дреминым, по оказавшемуся на нем начетного меду семнадцать рублей — взято им обратно.

Да тут же, по приезде, в ту ночь зачали приказчиковых овец бить и стряпать — ждали своего злодея и тирана Пугачева, называя его батюшкой Петром Федорычем, третьим императором. Причем и попам отдали приказ, чтоб всем собором встретили со святыми иконы.

А 31 числа июля ехал злодейской толпы казак, который признан вотчины полковника Бекетова Пензенского уезду крестьянин, который сослан был господином своим на собственные его, Бекетова, Каинские сибирские железные заводы. Который в тою злодейскую толпу и попался. И ехал он побывать к родственникам чрез ваше село Царевщину. Которого встречали с колокольным звоном, с образами, с хлебом и с солью и с вином. И тут оный казак, а имя его Костянтин, который им сказал, что в Пензу идет батюшка наш Петр Федорыч. И тут мужики, стоя, все собравши, большие и малые, перекрестились и от вашего сиятельства отложились. Да не только от вас, но и совсем — от милостивой нашей монархини Екатерины Алексеевны.

А первого числа августа прибыла ввечеру злодейская партия, составленная из дворовых людей сел Исы, Сытинки и Кошкарева и из разной сволочи. И тут господский дом и приказчиков дом весь ограблен. Которые злодеи тем же вечером и уехали.

Второго августа, то есть в субботу, еще прибыла злодейская толпа человек до шести, пограблен табун вашего сиятельства, да не столько теми разбойники, сколько вашими крестьяны.

А третьего числа, то есть в воскресенье, прибыло еще злодеев человек до ста, которыми достальные стоялые жеребцы, и в погребах вареные конфеты, и в житницах самые тонкие холсты пограблено и поедено все без остатку. И письменные дела сколько разбойниками, вдвое того крестьянами — все подраны. Да тут же с фабрики ткачей, конюхов и человек семьдесят из крестьян набрали и погнали с собой, много пошло и по охоте.

А крестьяне как в житницах, так и в полях хлеб, а на скотных дворах скот и на пчельнике пчел — все разделили. И фабрика вся разорена фабричными ткачами, а тальки розданы тысяч до шести, все по крестьянам.

Сего августа 4 числа, милостию бога, в город Пензу четыре эскадрона уланских прибыли, и за злодеем учинена погоня. А его сиятельство князь Голицын,

сказывают, своею армиею его встретил, и, что бог совершит, не знаемо. Наших два человека охотников убито. Слыша такие тревоги, крестьяне вашего сиятельства называют князя Голицына злодеем. А разделенную вашу рожь хотят с трусости всю посеять на ваши десятины. А в гублении приказчика хотят приносить вашему сиятельству винность и говорят так: «Наш князь милостив, простит». Вашего сиятельства всенижайший и покорнейший слуга рабски земской Афанасий Болотин, купец Елатомский. От 6 августа 1774 году».

Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много. Эти документы были для того времени очень характерны.

ГЛАВА III

Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян

1

Улучив время, когда Пугачев прогуливался вдоль берега речонки, Долгополов подошел, поклонился, молвил:

— Царь-государь, ваше величество. Приспела мне пора-времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, а вашему сынку богоданному отчет отдать. Сделайте милость, отпустите.

— Нет, Остафий Трифоныч, — возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на прохиндея. — Ты еще мне сгодишься.

Пугачев не без основания опасался отпускать от себя такого выжигу: «Учнет там невесть чего плести».

Долгополов, согнав с лица подобострастную улыбку, прикрякнул, сказал:

— Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал, У меня там девять бочонков зелья-то

оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвалах его каменных. А чтобы незнатно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал. Под видом сахара и подсунул купцу-то.

— Коли не врешь, так правда...

— Как это можно, ваше величество, чтоб государю облыжно говорить!.. — воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. — В молодости не ви-рал, а уж под старость-то...

— Ладно, пушу, — подумав, ответил Пугачев, — только не прогневайся: своего человека с тобой отправлю...

— Да хошь двух. Еще мне лучше, сподручней ехать будет. Твоему доверенному и тот порох передам с рук на руки.

Дня через три, августовским вечером, Долгополов выехал из стана Пугачева. Провожатый, илецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал.

Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной пугачевской Военной коллегией подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал, и вот перед ним снова воля. Да будь им неладно, этим головорезам, мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел; сегодня стычка, завтра стычка, еще слава богу, что в плен не угодил. Они, разбойники, чуть что — так и по коням, а он на коне — как баран на корове. Нет, до-вольно с него, хватит...

Хоть он и мало покорыстовался от Пугачева, — самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согруби ему, он живо — камень на шею да в воду, но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться, — у него в уме дельце затеяно великое.. то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить... «Поддай, поддай, господи! А я уж, грешный раб твой, каменную часовню все-благому имени твоему сгрохаю во Ржеве, в триста пудов колокол повешу! Трубы обо мне трубить будут... Сама матушка Екатерина деревеньку с мужи-

ками отпишет мне, к ручке своей допустит... Знай, воевода Таракан, знай, треклятый обидчик Твердозадов, знай, вся Россиюшка, кто есть Остафий Долгополов!»

Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди пугачевцев, прожорливый купец порядочно-таки отъелся, подобрел, налился на степном воздухе здоровьем, из заморыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не старого человека. Но плутовские глаза его те же и козлиная бороденка та же.

Пугачевские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государевой печатью, относились к нему, как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про «батюшку» — все ли здоров наш свет, да много ли скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать?

И день, и два, и три едет Остафий Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любитесь природой: лесами, полями, рощами, речонками, а вот на горе вдали белеет благолепного вида божий храм, глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, — шась к нему из-за кустов разъезд.

— Кажи документы, проезжающий! — бросил с коня усатый малый в лапоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивши.

— С нашим превеликим удовольствием, — проговорил купец и, вынув из шапки подорожную, подал ее усачу в лаптях.

Тот повертел ее пред глазами, поколупал сургучную печать, спросил:

— Куда правишься?

— А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу в столичный град Санкт-Петербург. Да ты, служба, прочти в бумаге-то...

— Кто послал тебя?

— А послал меня сам государь Петр Федорыч...

— Ребята! Хватай его! — неожиданно крикнул усатый малый.

Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул.

— Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева слугу, орать?! — в свою очередь закричал он на усача в лаптях. — Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на осине закачаешься!..

Усач захохотал и крикнул:

— Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся?

— Петр Федорыч! Великий император!..

— Ванька! Сигай к нему в тарантас да заворачивай к селу, — приказал усач другому парню.

Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не от казенного ли какого отряда дураки эти посланы, подозрительных людей хватать?

А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову:

— Чегой-то шибко много развелось этих самых Петров Федорычей. А истинный царь-батюшка, заправдашний Петр Федорыч государь, завсегда с нами ходит. Видишь барский дом? — сердито ткнул он нагайкой по направлению к селу. — Вот тамotka он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!

Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахотлившись, неохотно свернули с большака на проселок, усач в лаптях припугнул их нагайкой да заодно вытянул ею и купца.

Остафий Трифоныч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополова крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивляться.

Вокруг дома подремывало несколько заседанных лошадей, под кустами в разных позах валялись спя-

щие крестьяне, в изголовьях одного из них сидел мальчишка лет пяти, он теребил храпевшего человека за бороду и сквозь горькие слезы тянул: «Да, тят-я-а, вста-ва-ай, мамынька кличет». Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа брошены в истоптанную траву, два старика сидят, согнувшись, на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козел, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы.

Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканом зипунишке, за опояской — топор, в руках — жирная селедка, головка зеленого лука. Пошевеливая скулами и коричневой всклокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмутив брови и окинув шумевшего Долгополова недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил:

— Чего, так твою, орешь?

— Вот пымали птичку-невеличку. Сказывает, от какого-то Петра Федорыча едет, от государя, ха-ха-ха!

— Поди доложь батюшке, — пропойным голосом сказал мужик; оторвав зубами кусок селедки, он поправил топор за опояской и, пошатываясь, стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам.

И вот, окруженный пьяными гуляками, появился во всей славе «сам царь-государь Петр Федорыч Третий».

Долгополов разинул рот, вытаращил изумленные очи, попятился. Пред ним стоял, подбоченившись, толстобрюхий детина, бывший поставщик «высочайшего двора» в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор как Долгополов встретился с ним в питерском трактире, в день похорон Петра III, прошло двенадцать лет, однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. Боже мой, боже мой, что же это делается на белом светел..

Долгополов не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател, затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном

виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего: вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном Яике, он прошлой зимой пробился к себе на родину, в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к «батюшке». Он понимал, что на Яике под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец, но Хряпова это нимало не смущало, царь ли, не царь ли, только бы разумный да отчаянный человек был «батюшка». Он так и говорил тогда: «Пойду служить умному разбойничку».

Хряпов стоял перед Долгополовым, весь налитый жиром, весь красный, тяжело пыхтящий, под волглыми глазами морщинистые, дряблые мешки, на переносице кровавая подсохшая ссадина, к неопрятной, подмоченной водкой бороде пристали хлебные крошки, рыбы косточки. Через оба плеча, по казакину с позументами, две генеральских ленты, на груди военные ордена и сияющие звезды. Густые волосы, смазанные маслом и причесанные на прямой пробор, спускались к ушам, как крыша. Он был изрядно выпивши. Его поддерживали под локотки два низкорослых пьяных старичка с подгибавшимися в коленках ногами. Старички похохатывали, утирали ладонями мокрые рты, притоптывали в пол пятками и, потешно избоченясь, гнусили:

— С его величеством гуляем, с самим батюшкой!

Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая на Долгополова глазами, выглядывали хмурые бородачи с малопривлекательными лицами.

— Вались в ноги, волчья сыть! — крикнул Хряпов на купца. — Сам император пред тобой!

Но Долгополов, состроив самую лисью, самую преданную физиономию, заулыбался во все лицо и, выбросив вперед руки, елевым голосом воскликнул:

— Здрав будь, кормилец наш, Нил Иваныч, батюшка! Вот где приспело встретиться с тобой!

Хряпов тряхнул локтями, брюхом, всем корпусом — потешные старички отскочили прочь — и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова:

— Ах ты крамольник, песий сын! Какой я тебе Нил Иваныч? Вались в землю, а то сказню!.. — И он ударил кулаком в ладонь, кресты и звезды на его груди зазвенели.

А бородачи, высунувшись из-за его спины, принялись засучивать рукава своих сермяг.

— За что же меня хочешь сказнить-то, Нил Иваныч! — собрав морщинки на вспотевшем лбу, жалобно проговорил Долгополов. — Ежели ты у нашего государя в великих генералах ходишь, так ведь и я-то у батюшки не обсевок в поле... Ведь я, мотри, послан его величеством...

— Замолчь! — топнул Хряпов, заплывшее жиром лицо его стало зверским, пугающим. — Повешу!

— Побойся ты бога, Нил Иваныч... — молитвенно складывая руки, пролепетал Долгополов. — Вот у меня и ярлык от государя императора... Он, пресветлый царь, с воинством своим сюда шествует. А меня передом послал... Мотри, худо будет...

Обалделые глаза Хряпова вылезали из орбит, на припухших губах появилась пена, он надул щеки, чрезмерно тяжело задышал и не своим голосом гаркнул:

— Вздернуть! Раз он, сволочь, меня государем императором не признает — вздернуть!

Тут выскочил из кустов страховидный дядя с топором за поясом и, поддергивая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо.

— Кого вздернуть-то? Пошто вздергивать-то? Дозвольте, царь-государь, я этому старому петуху, растак его, голову топором оттяпаю... — и мужик выхватил остро отточенный топор.

Остафий Долгополов, видя свой последний час, рухнул Хряпову в ноги, пронзительно завопил:

— Винюсь, винюсь! Я все наврал, батюшка! А теперича вспомнил: ты есть истинный государь Петр Федорыч Третий, ведь я у вас в Ранбове во дворце

бывал, видывал вас самолично... Ребята! Не сомневайтесь, это истинный государь наш...

Пьяный Хряпов ткнул его ногой в сафьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом.

В прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором:

— Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворота к петле.

Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом:

— Братцы! Что ж это... Сударики! Я вам денег... Ведь я купец из Ржева-Володимирова...

— Иди, не упирайся, так твою! Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать...

— Караул! Караул! — жутко завизжал купец, увидав висевшие под воротами трупы. — Мужики, не озоруйте! Паспорт у меня... Денег дам...

— Молись богу, черная твоя душа... — прохрипел дядя с топором. — Андрюха, спущай веревку!

— Господи! Прими дух мой с миром, — молитвенно воскликнул Долгополов и устремил глаза к небу. — А вы, дурачье сиволапое, не царю, а вору служите, мяснику Хряпову...

И когда петля уже была накинута на шею Долгополова, вдруг где-то за околицей ударили один за другим три выстрела, рассыпалась дробь барабана, загремело «ура»...

Мужики, их человек пятнадцать, бросились от Долгополова врассыпную. В барском доме и около поднялась суматоха, слышались крикливые, перепуганные голоса:

— Втикай, братцы!.. Догуля-а-лись! Солдатня пришла! Пропали! Батюшку-то береги!

— Где батюшка? Вавила! Митька!

— Тройку, тройку царскую сюда!..

— Пали из пушки!.. Ох, господи Христе!

От сильного волнения сердце Долгополова остановилось. Он закрыл глаза и повалился наземь.

Кругом все крутилось, как в вихре. С колокольными неслись заполoshные звуки набата. Взад-вперед бес-

толково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями, трезвые и пьяные мужики. Мясник Хряпов, сорвав с груди кресты и звезды, охая и кряхтя, залезал с какой-то бабой в барскую пролетку.

— Всем бекетчикам головы долой! — свирепо орал он, стреляя из пистолета в воздух. — Так-то они караулят императора!

— Окружа-а-ютя! Казаки окружают, солдатня! — галдели с колокольни.

— Огородами, огородами!.. В лесок беги! — будоражили воздух раздернутые голоса.

Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок кой-как вооруженные люди из хряповской ватаги. Стрельба и воинственные крики раздавались уже со всех сторон.

Слепая черная собака, сидя на перекрестке и задрав вверх морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая турами крыльями вечерний тихий воздух.

Длительный обморок Долгополова кончился. Кончилась и уличная суматоха. Наступали прохладные сумерки. Долгополов не сразу пришел в память. Он то ощущал себя при смертном часе, то ему представлялось, что он уже по ту сторону бытия и ожидает, когда ангел смерти поведет его душу к престолу бога... Но вот баба в сарафане протянула ему ковш студеной воды, он с жадностью половину ковша выпил, другую половину, согнувшись, вылил на полуплешивую свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли.

И, быть может, впервые в жизни его охватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, вмиг залился слезами, повалился ему в ноги.

— Ваше благородие! Спа-спа-спаситель мой!.. От неминуемой смерти избавили меня, — выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слезы капали из глаз его.

— Кто вы такой и как очутились здесь? — спросил загорелый, со строгим взглядом офицер.

От этого отрезвляющего голоса все благостное с души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлупывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданным ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться пред офицером, стал врать ему о своем несчастном положении, о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами еще по весне из Ржева-города и невесть куда скрывшегося: то ли выюнош спился с кругу, то ли угодил в лапы богомерзкого разбойника Емельки Пугачева.

— А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? — сухо спросил офицер.

— В наличности, ваше благородие, в наличности, — Долгополов достал из штанов складень, отогнул зубами лезвие ножа и стал им вспарывать подкладку казакина, где были зашиты документы.

К офицеру со всех сторон солдаты подводили связанных крестьян, молодых и старых, испугавшихся и наглых, трезвых и подвыпивших. Вытаскивали с чердака и подвалов господского дома, подводили долговолосых, лохматых людей, беглых монахов, дьячков или бородатых нищевродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчовые душегрени, в рваные пестрядинные портки и растоптанные лаптишки, — какой-то святочный потешный маскарад. Привели трех кричащих, в голос плачущих и пьяных баб в кисейных и муслиновых платьях, в кокошниках с самоцветными камнями. Кого-кого тут не было, а больше всего — господских челядинцев, дворни. Но главный зачинщик, мясник Хряпов, умчался на тройке вороных.

Невообразимый гвалт стоял в воздухе: одни молили о пощаде, другие клялись в верности матушке Екатерине, третьи, наиболее хмельные, ругали солдат и офицера, горланили песни, орали: «Не робей, братцы! Сей минут батюшка вернется с воинством своим... Ур-ра третьему ампилятору!»

Поднялся ветер, зашумела листва, пыль коричневым выюном закутилась на дороге. Но вот, разрывая

все звуки, резко затрубила медная труба горниста. Командирский строгий голос офицера приказал:

— Всех на конюшню! Плетей! Палок! Да виселицу изладьте.

И сразу стало тихо. Лишь ветер шуршал листвою да пронзал наступавшие сумерки такой заунывный, такой пугающий вой собаки.

2

Ночью прошел дождь. Наутро, чем свет, Остафий Долгополов правился по холодку вперед. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как темный сон. «А чего тут слюни-то распускать... Себе дороже», — думал он, беспечально поглядывая на созревшие, ожидающие хозяев нивы.

Но хозяев не было, хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, чтоб под его рукой вершить бессмысленное по своей жестокости дело.

— Погоняй, погоняй, паренек! — покрикивал Долгополов вознице. — Три копеечки прибавлю тебе...

Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником старцем Каллистратом. Оный странник пробирается «сиротскою» дорогою на реку Ирғиз, во святые обители всечестного игумена Филарета. А илет он из-под Макарьева и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федорыча. «Оные злодеи только путик гадят истинному царю-батюшке, кой, по слыху, из Башкирии, к Каме подается», — печаловался странник Каллистрат. Эти ложные Петры Федорычи, по его словам, лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают. Грабят, жгут, убивают правого и виноватого. Видел он в одном месте семьдесят два человека удушенных: господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих.

Да, да, да... Много самозванцев развелось, уж не заделаться ли и ему одним из них, — мечтал Долгополов, — погулять, поколобродить, великие капиталы приобрести, а как придет опасность, можно и в кусты.

«Нет, годы мои не те, супротив государя — стар... Да и страшновато... А уж лучше я свои великие дела вершить учну».

Он вспоминает свои недавние разговоры с яицкими казаками. Как-то зашел он в избу к полковнику Перфильеву. Зачалась легонькая выпивка, душевные разговоры потекли. Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим говорил ему:

— Да, брат, Афанасий Петрович... В бороде царь-то наш, в бороде... Да еще в черной бороде-то. А ведь в Ранбове я без бороды государя-то видел, чисто бритого... И волосом он не так темен был... Чегой-то наш батюшка мало схож с тем, коего я видел... Ой, прошибся я...

Помолчав, Перфильев отвечает ему:

— Ежли кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня. Али тебе бородедку сбрить, хоть плевенькая она, а и твое лицо изменится, не вдруг признаешь.

— Да это так, — раздумчиво соглашается Долгополов и сопит.

Перфильев же выпил чарочку, закусил икоркой да опять:

— А у тебя, Остафий Трифоныч, кабудь есть что-то на языке еще... Так уж ты без опаски говори, я не обнесу, не бойсь.

Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъелозил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав мокроусыми губами к его уху, задыхаясь, прошептал:

— Да уж, мотри, царь ли он?

Сказав так, Долгополов испугался. Он знал, что Перфильев человек свирепый, чего доброго, схватит нож и поразит его прямо в сердце. Опасливо, с кошачьими ужимками, он пересел со скамейки на стул против хозяина и, вобрав голову в плечи, притаился, не сводя с хмурого, в сильных оспинах, лица Перфильева своих ласково-покорных, выжидающе-хитрых глаз.

Но Перфильев и не думал озлобляться, он только шумно задышал и унылым голосом промолвил:

— Ежели по правде баять, мы и сами промеж собой балакаем: не царь он. Да уж, коли в дело вступили, не для ча раком пятиться. Ну, сам ты посуди: как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведаёт, что мы были у батюшки в команде...

— Так-так-так, — поддакивая Перфильеву, прикрывает, как утка, Долгополов.

— Ведь я, чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьич Орлов просил меня поймать Пугачева и живьем доставить в Питер. За сие он пожаловал мне в задаток больше ста рублей и высокий чин пообещал...

— О-о-о! — изумился Долгополов, и прищуренные глазки его как бы покрылись маслом. — Живьем? Пугачева привести? Ишь ты, ишь ты.

— Я тебе допряма говорю, — продолжает Перфильев, — допряма и без утайки. Ежели б ты и надумал фискалить...

— Что ты, Афанасий Петрович! Окстись! Голубчик... Да чтобы я, да на тебя! — замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды.

— Да знаю, что не станешь... А я тебе, Остафий Трифоньич, как старому человеку, откровенно говорю: я свою душу черту продал, и мне все едино, кто батюшка — природный царь али Пугачев. И даже так тебе скажу, хошь верь, хошь нет: ежели не царь, а Пугачев противу властей народ ведет, так лучше того и требовать не можно. И мне его жаль, Остафий Трифоньич, вот как жаль... Больше, чем себя, жаль его... Чую, словят его рано-поздно, сказнят. И меня сказнят с ним заодно. Я, брат, припаялся к нему, сросся с ним, как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. Вместях скорбь несли, вместях ответ держать будем. Пред народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизнь не простит нам... Эх, да тебе ни черта не понять, из другого ты, брат, теста сляпан, уж ты не погневайся на меня, на казака...

— Так-так-так, — прикрывает купец, как утица. — Зело велики страдания твои! Ох, велики...

— Не в похвальбу себе говорю, а душа того просит, — продолжает Перфильев, безнадежно прошупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего пред ним мало понятного ему, чужого человека. — Ежели мне до смерти жаль Емельяна Пугачева, то в ту же меру будет жаль и государя, ежели наш батюшка не Пугачев есть, а истинный император Петр Третий...

— Ну-у-у, неужто? — опять изумился Долгополов. — Разжуй, уразуметь не могу.

— Вот то-то и оно-то, — прищелкнув пальцами, сказал Перфильев и выпил с купцом по чарке. — Я ж говорю, что тебе не понять, Остафий Трифоныч. Да навряд и другой кто поймет. Наши атаманы думают, Перфильев злой, свирепый, Перфильев себялюбец. А ведь поверь: ни одна собака из них, окромя разве Чики-дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот слушай и, ежели у тебя есть хоть какой умишка, мотай на ус.

— Дай мне, господи, разуменья умные речи твои, Афанасий Петрович, слышать, — подхалимно перекрестился купец и прикусил губу.

— Смекни! — погрозил Перфильев пальцем. — Если отец наш натуральный государь, так нешто правительство примет его за такового? Да правительство, по наущению Екатерины Алексеевны, монархини, лучше согласится Пугачева польготить, а уж истинному-то Петру Федорычу голову снимет беспременно. Если он натуральный царь, так он враг для них самый опасный, на всю Европу враг. Тут не токмо государыня, не токмо Орловы, исконные недруги его, а даже сам Никита Иваныч Панин возопил бы: «Ради спасения России голову с плеч ему долой...»

— Он, батюшка, в таком разе за границу мог бы, там поддержку дали бы ему, — возразил Долгополов.

— Ха! Да как он, явившийся в Европу во образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Петр? Ну, как? Бродяга и бродяга. Нет, Остафий Трифоныч, тогда-то уж окончательный был бы ему каюк. Стало — так и так пропал. Как ни кинь, все клин.

Припоминая во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти свои наблюдения в стане Пугачева, Долгополов все больше и больше распалялся потаенной мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, так почему ж ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова, а вместе с ним и самое матушку Екатерину Алексеевну? Нет, бог с ней, славой, Долгополов не столь глуп, чтоб гоняться за какой-то там славой, за чинами. И черт с ним, с Емельяном Иванычем, век его не видеть. А что касается золота, то Долгополов сумеет его хапнуть не как-нибудь, а на законном основании. Уж на что на что, а на такое прибыльное дельце смекалки у него хватит.

Только вот беда: передрыга с этим разбойником мясником Хряповым изрядно-таки отозвалась на его здоровье — стала сильно подергиваться верхняя губа, а глаза нет-нет да и закатятся сами собой на малое время под лоб. «Ну и настрашали меня, окаянные живорезы... Только подумать надо: петля на шее была».

Но черные воспоминания тонули в каком-то розовом тумане, и легкомысленный Долгополов уже начал слагать в уме каверзное письмо князю Григорию Орлову.

А как добрался до приволжского городишки Чебоксар, снял на постоялом дворе отдельную комнатку и, сытно пообедав, сразу засел за письмо. Он стал писать не от себя, а от имени известного братьям Орловым казака Перфильева.

«Ваша светлость, а наш милосердный государь и отец Григорий Григорыч. Я, ниже подписавшийся, есаул Войска Яицкого Афанасий Перфильев, в бытность мою в Санкт-Петербурге был призван к вашему братцу Алексею Григорьевичу, который изволил меня просить, чтоб поймать явившегося злодея и разорителя Пугачева, а наипаче господам благородным дворянам мучителя. А ныне я обще с подателем вашей светлости сего нашего письма казаком яицким же Остафием Трифоновым согласили всех яицких казаков,

чтоб его, злодея, самого живого представить в С.-Петербург в скорейшем времени. Он состоит, злодей, в наших руках и под нашим караулом, о чем словесно вашей светлости объявит наш посланный. Только, пожалуйста, доложи ее императорскому величеству государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, чтобы нам, яицким казакам, рыбную ловлю изволили приказать владеть по-прежнему. Еще вашей светлости доношу, что в том числе сто двадцать четыре человека в Петербург не едут. Как мы его, злодея, скуем в колодки и двести человек поедем с ним, а вышеписанных сто двадцать четыре человека домой отпустим, только те требуют на всякого человека по сто рублей, теперь половину, по пятьдесят рублей изволь с посланным нашим прислать золотыми империялами. А мы, двести человек, ничего наперед не требуем: как поставим злодея к вашей светлости, тогда и нам бы такое же награждение, как у нас все обнадежены и все теперь приведены к присяге между собой».

Верхняя губа Остафия Долгополова задергалась, нижняя отвисла, глаза ушли под лоб. Быстро справившись с приступом недуга, купец стал обдумывать, как бы похитрей обмануть князя Григория Орлова, внушить ему полное доверие к письму, к затее, в нем изложенной. Купец скользом взглянул на свежепросольный огурец, на графин водки, стоявший перед ним, и сразу вдохновился.

«А как мы злодея повезем, надлежит давать прогонные деньги, також на харчи и на водку было б довольно. Мы в том не спорим, хотя извольте дать указ, хотя б без прогонов, только б нас везли. Обо всем извольте больше словесно говорить с посланным нашим. Оное письмо писано истинно ночью. (Тут широкая улыбка растеклась по вспотевшему лицу Долгополова.) Пожалуйста, батюшка Григорий Григорьич, нашего посланного отправьте в самой скорости, чтоб он, злодей, не допущен был до разорения наших сел и деревень, також и городов. Иного до вашей светлости писать не имеем, остаются ваш, моего государя, раб и слуга казак Афанасий Петров Перфильев, ата-

ман Андрей Афанасьев Овчинников, сотник Никита Иванов, полковник Шигаев, хорунжий Власов, дежурный Яким Васильев Давилин и всех триста двадцать четыре человека о вышеписанном просим и земно кланяемся».

Ох, если б крылья, если б письмецо доставить в Питер тепленьким, с непросохшими чернилами! Но у Долгополова крыльев нет, он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадаках.

8 августа, в четыре часа утра, он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова¹, что на берегу Невы, против Петропавловской крепости.

Он попытался нахрапом пройти внутрь дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как имущий власть:

— Живо веди во дворец, буди камердинера! Я по неотложному государственному делу.

Видя пред собой человека в годах степенных и одетого в казацкую, хотя и потертую, темно-зеленого сукна форму, молодой солдат крикнул будочника с алебардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все еще спали. Долгополов поднял шум, из своей комнатки вышел бравый, высокого роста камердинер в халате с барского плеча и спросил казака:

— Что тебе, служивый, надобно?

— Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо, — проговорил Долгополов. И когда удивленный камердинер нагнулся, Долгополов строго зашептал ему: — А вот что, миленький. Разговор с тобой вести мне недосуг, а ты сей ж минут буди князя. Да велика закладывать карету в Царское, к самой императрице.

Повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело: камердинер поспешно переоделся в кафтан и, пройдя вместе с Долгополовым к опочивальне князя, постучал в дверь.

¹ Нынче Мраморный дворец.

— Кто? — послышался из спальни громкий голос.

— Я, ваша светлость, Гусаков.

— Войди! Чего ты ни свет ни заря?..

Вместе с камердинером юркнул в дверь и Долгополов. Камердинер отдернул на высоком окне драпри. Князь лежал в кровати, руки за голову, по грудь прикрытый легким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви — столь много кругом позолоты, лепных порхающих херувимов, шелковых золотистых, как парча, тканей.

— Что ты за человек? — сурово спросил князь Долгополова.

Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил:

— Я, ваша светлость, родом яицкий казак, Остафий Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей, извольте, ваша светлость, встать с постельки. Государственное дельце до вас, самое горяченькое, что изволите усмотреть из сего цидула. Куй железо, пока горячо, как говорится, ваша светлость, — без останки сыпал Долгополов словами, как горохом.

Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковер, потребовал трубку, закурился, стал внимательно читать. Долгополов, затаившись и крепко зажав в руке казачью мерлушковую шапку-трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для прохиндея минуты: или все обернется как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхняя губа его неудержимо трепетала, глаза то и дело закатывались под лоб. Вдруг он возликовал, заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, изукрашенный перламутром столик, взволнованно сказал:

— Сия овчинка, сдается мне, стоит выделки... Одеваться, и — тотчас карету!

Вбежал негритенок в красном жупане, принялся одевать князя, а Долгополов с камердинером удалились.

Тройка орловских рысаков летела по гладкой дороге быстро. Долгополов был удостоен сидеть в карете рядом с князем.

— На сей случай ты не казак, а мой гость, — простодушно говорил Орлов. — Только не могу в толк взять: ведь есаул Перфильев, помнится, еще зимой был откомандирован братом моим схватить Пугачева. По какой же причине столь великое с его стороны промедление?

— Ах, ваша светлость! — воскликнул Долгополов, закатывая под лоб узенькие глазки. — Раз Перфильев Пугачеву в руки попал, нешто злодей отпустит его от себя живым? Ведь и я-то убегом здесь, скрадом. Пугачеву сказали, что я в сражение под Осой убит. Конечно, Перфильев прикинулся злодею преданным и начал по малости казаков щупать. На поверку вышло, что многие казаки Емельку-то за истинного государя принимали. Вот только ныне господь посетил их просветлением ума...

А вот и Царское Село, в нем Долгополов по своим коммерческим делам много раз бывал.

Погода пасмурная. Семь часов утра. Парадные и жилые апартаменты помещались во втором, верхнем этаже дворца. Екатерина занималась в кабинете. Возле дверей стояли на карауле два гренадера с ружьями и какой-то господин в кафтане с золотыми галунами. Князь, оставив Долгополова за дверями, прошел к императрице. Екатерина с растерянной улыбкой и некоторым удивлением поднялась ему навстречу. Орлов поцеловал правую ее руку, перехватил и поцеловал левую, затем снова правую, затем, задерживая ее руки в широких своих ладонях и вздохнув, сказал:

— Давно не видал тебя... Вот и морщинки появились. Счастлива ли ты?

— А что есть счастье? — вопросом уклончиво ответила Екатерина, вскинув в лицо бывшего любимца свои загрустившие глаза и тотчас опустив их. — С чем пожаловал такую рань? Что за экстра? Уж не в Гатчину ли свою на охоту едешь да по пути завернул?

— На охоту, матушка... Да еще на какую охоту-то. Зверь крупный! На-ка прочти. — И Орлов протянул Екатерине письмо ржевского мошенника.

Внимательно прочитав письмо, Екатерина сразу оживилась, в ее глазах блеснули огоньки. Взволнованная, она понюхала из хрустального флакончика какого-то снадобья, села в кресло, оправила стального цвета широкую робу, сказала Орлову:

— Где делегат? Пожалуй, покличь его, Григорий Григорьич.

Долгополов вошел в царские покои без всякого смущения, как в свою собственную спальню. Приблизившись к императрице, он бросил к ее ногам шапку, опустился на колени, крестообразно сложил руки на груди и уставился на царицу, как на икону в церкви.

— Встань, казак, — сказала Екатерина и милостиво протянула ему для лобзанья руку.

— Ваше величество! — воскликнул Долгополов, прикладываясь горячими губами к женской ручке. — Светозарная повелительница великой империи Российской, идеже и солнце не заходит... Припадаем челом к священным стопам твоим все триста двадцать четыре яицких казака, что уловил в свои богомерзкие сети враг человечества Емелька Пугачев, а ему же убо плеть — плеть, а ему же убо страх — страх, а ему же убо смерть — смерть...

Тертый калач Остафий Долгополов, в бытность свою человеком состоятельным, научился «точить лясы» со всяким: с архиереем и конокрадом, с князем и строкой приказной, с купцом и вельможей, ему даже разок удалось перемолвиться с самим Петром Федоровичем, когда тот был еще наследником престола, а купец доставлял овес для его конюшни. Вот только с государыней разговаривает он впервые. Ну да ничего... С матушкой-то не столь опасно говорить, как с мясником злодеем Хряповым, треклятым самозванцем.

— Давно ли ты, Остафий Трифонов, у господина Пугачева в услужении, когда ты верность данной нам присяги нарушил? — спросила государыня.

— Винюсь, матушка, ваше величество! Все мы винимся, все мы горьким плачем обливаемся. Нечистая сила околдовала нас, темных, в сентябре прошедшего года...

— Стало быть, вы Емельяна Пугачева за покойного императора Петра Федорыча приняли?

— За него, ваше величество, за него. Винимся!

— Стало, вы против меня шли, угрожали спокойствию империи?

Долгополов, закатив глаза под лоб и прикидываясь простоватым казаком, с жаром воскликнул:

— Против тебя шли, ваше величество, как есть против тебя. Винимся!

— Значит, вы, казаки, мною недовольны были?

— Довольны, матушка! Выше головы довольны... А это лукавый сомустил нас, сатана с хвостом.

— Нет, казак, ты неправду говоришь, — возразила Екатерина. — Среди яицкого казачества еще допрежь того было недовольство и крамольное возмущение.

— Было, было недовольство, ваше величество!.. Рыбку от казаков старшины отобрали. Мы о рыбке в цидуле пишем...

— Я казакам всегда мирволила, и донецким и яицким. И впредь будет так же. Обещаю вам, казаки, и рыбу и льготы всякие. Только скорей кончайте...

Екатерина задала казаку еще несколько вопросов: где Пугачев, сколько у него народу, каков состав его армии, нет ли среди его сброда, помимо польских конфедератов, иностранцев каких или пленных турок?

Долгополов, с развязностью отвечая, врал. Екатерина к его словам относилась настороженно. Наконец спросила:

— А как ты мог в своей казачьей сряде проехать через Москву? Ведь она заперта крепким караулом со всех сторон.

Долгополов, жестикулируя и закатывая глаза, ответил:

— Ежели вы, ваше императорское величество, пожелали бы, то я проведу чрез оную Москву десять

тысяч человек. И никто о том не прочухает. А я пробрался чрез первопрестольную столицу тако. Верст за пять до Москвы я примостился к едущим на базар подводам с сеном да дровами. У заставы — ах, думаю, господи благослови, да и пошагал живчиком мимо часового. Часовой хватъ меня за леву полу: «Стой, куда, чувырло, прешь?! Есть ли письменный вид?» А я ему бесстрашно ответствую: «Господин служивый, письменный вид у меня — это верно — был от старосты казенного селения, да верст за десять отсюда вот из этого кармана в дыру выпал, да и другое кое-что потерял по мелочишке». Солдат засунул в левый карман руку, там, верно, дырища, опосля того он съездил меня кулаком по загривку столь добропорядочно, что я, грешный человек, едва с ног не слетел, да щучкой-щучкой через заставу-то и проскользнул, спасибо. Солдат с народом захохотали, а я вприпрыжку — дуй, не стой — вдоль по улице. Вот, ваше величество, каким побытом пробрался я в град Москву.

Екатерина улыбалась. Чуть прищутив глаза, она, чтоб пересказать Строганову, старалась запомнить некоторые выражения старого казака, которые показались ей курьезными, вроде того, как он «живчиком» проскочил, как его «съездили» по загривку, как он «щучкой-щучкой» проскользнул через заставу. Затем она подала Долгополову знак удалиться и осталась вдвоем с Орловым.

Мнимого казака отвели в комнаты, где обычно останавливался князь Орлов. Вскоре подошел к нему человек в позументах, должно быть лакей, спросил:

— Не хочешь ли ты, брат, водки выпить да подзакусить?

Долгополов ответил: до водки не охоч, а вот кусочек хлеба с солью съел бы.

Ему подано было — холодная жареная курица, свежие крендели, ситный с солью и графин водки. Долгополов встал, перекрестился и с жадностью, стоя, принялся есть ситный.

— Да ты сядь, братец, и питайся как следует. Откуда ты?

— А я издалека, с Белого моря.

— Ого, ну, как там?

— Да ничего. Киты плавают, всякая рыба.

— Ишь ты... Большие киты-то?

— Да не так чтобы уж очень, иначе на нем деревеньку невеликонькую построить можно.

— Ха! Скажи на милость... Вот так это чудо-юдо! Долгополов наелся, выпил две стопки водки, задремал.

Разбудил его все тот же лакей:

— Шагай за мной!

Раззолоченным, изукрашенным замысловатой резьбой парадным коридором, выходящим широкими окнами на плац-парад, они миновали несколько комнат. В одну из них лакей ввел его и захлопнул за ним дверь.

— А, знакомый, — сказал Орлов. Из пузатого, отделанного бронзой шкафчика на гнутых ножках князь достал кошелек с золотою монетою и протянул его Долгополову, проговорив: — Бери. Да смотри, опускай не в левый карман, а то там дыра.

— Да, ваша светлость, — осклабился Долгополов, схватив кошелек. — Там мыши были, гнезда вили, дыру проточили.

— Хм... Ты женат? Возьми еще вот этот узелок. Всемиловейшая государыня на первый случай жертвует тебе кошелек и этот сверток, а когда дело в благополучии совершишь, то будешь более и более награжден.

Глаза Долгополова закатились под лоб, губа задергалась, он повалился князю Орлову в ноги. В узелке оказалось два куска бархата — яхонтового и вишневого цвета, десять аршин золотого глазета и столько же золотого галуна с битью.

В десять часов вечера Орлов с ржевским жуликом выехали в Петербург.

На следующее утро Долгополов был позван в кабинет Орлова. Там находился гвардии капитан Галахов. Указав ему на вошедшего Долгополова, князь сказал Галахову:

— Вот это и есть депутат Остафий Трифонов. С ним и поедешь. И вот тебе два пакета: в этом рескрипт на твое имя, а этот, запечатанный, вскрой, когда потребуется надобность в том. Ну, поезжайте с богом на подлежащее вам дело, а как кончите оное со усердием и верностью, будете взысканы милостью государыни императрицы.

Итак, ловкий обман Долгополова вполне ему удался. Он усыпил подозрительность даже самой Екатерины. Вгорячах она, между прочим, писала градоправителю Москвы князю Волконскому: «Они берутся вора Пугачева сюда доставить, за что просят 100 р. на человека, и то не прежде как руками отдадут, а вероятие есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренна, чтоб купить народный покой». Затем, трезво рассудив, Екатерина отнеслась к этой затее более сдержанно, она вымарала из письма вышеприведенные строки и в тот же день составила на имя того же Волконского рескрипт такого содержания:

«Сего утра явился к князю Г. Г. Орлову яицкий казак Остафий Трифонов с письмом от казака же Перфильева и товарищи всего 324 человека, с которого письма при сем прилагаю копию. Я сего же дня посланного от них Остафия Трифонова с паспортом за рукою князя Г. Г. Орлова с ответом к ним же приказала отправить, которого казака вы прикажите нигде не задерживать. Князь Орлов к ним доставит волю мою, которая в том состоит, чтоб они злодея самозванца привезли к гвардии капитану Галахову, коего снабдить достаточной командой, дабы он мог колодника привезти в целости к вам в Москву; а вы возьмите все меры без всякой огласки преждевременной, дабы они содержаны были, как важность дела требует. Я к графу П. И. Панину пишу о сем и сегодня же, и вы с ним условьтесь и сделайте так, чтоб успех сего дела нигде остановке подвержен не был».

Галахову приказано было ехать в Москву, явиться к графу Панину и князю Волконскому. Получив от Панина конвой, а от Волконского деньги, Галахов должен был направиться в Муром, куда казакам было

наказано доставить Пугачева и его близких сообщников. По доставлении самозванца приказано выдать на каждого казака по сто рублей.

Значит, вся выдумка Долгополова была исполнена волею императрицы в тот же день. Видавший виды Долгополов немало и сам был этому удивлен. Он полагал, что с ним все-таки как-то поторгуются, более основательно прощупают, он даже, идя на риск, думал, что ему, может быть, придется претерпеть допрос с пристрастием, под плетью, на дыбе. А могло, господи помилуй, и так случиться: «А, так ты, подлая твоя душа, закоснелый пугачевец? Оттяпать ему хуdorодную башку!» Господи помилуй, господи помилуй... Да, ржевский прохиндей безусловно шел на огромный риск.

Чрез четыре дня Долгополов, Галахов и два гренадера Преображенского полка были уже в Москве.

Здесь Галахов представился графу Петру Ивановичу Панину, недавно назначенному главнокомандующим воинскими, действующими против Пугачева, силами. Панин, прочтя рескрипт Екатерины, прикомандировал в помощь Галахову отставного майора Рунича¹, лично Панину известного, и добавил для сопровождения комиссии еще десять человек гренадеров и гусар.

— Где ныне находится злодей, я точных данных не имею, — сказал Панин. — Знаю только, около Шацка и Керенска чернь бунтует. Я отправил туда полковника Древица с четырьмя эскадронами Венгерского гусарского полка. Догоняйте его, а там увидите, куда путь держать.

Князь Волконский выдал Галахову тридцать две тысячи четырехсот рублей золотом и серебром — условленная плата казакам, плюс одну тысячу рублей на путевые расходы.

Вскоре комиссия в полном составе прибыла в провинциальный город Рязань. Здесь же находился полковник Древиц со своими эскадронами.

¹ П. С. Рунич — автор записок о путешествии с Долгополовым. «Русская старина», 1870 г.

Город Рязань был в смятении. Волны народного восстания докатились и до этих недалеких от Москвы мест. Воевода Михайла Кологривов подал полковнику Древицу рапорт о том, что прилегающие к Рязани селения не слушаются его распоряжений, не дают лошадей на поставку для проезда графа Панина.

— Окромя сего, — докладывал воевода, — я ежедневно получаю донесения от воеводы града Шацка, полковника Лопатина, о возмущении народа в его провинции. Да еще он пишет мне, что град Керенск трижды осаждался бунтовщиками, коих примечено до десятка тысяч.

После совещания полковник Древиц сказал, обращаясь к своему офицеру Руничу:

— Вы, господин майор, тотчас же секретно отправитесь в Шацк, только переоденьтесь в простое платье и получше вооружитесь. А я выступлю завтра, вслед за вами.

Получив инструкцию для дальнейших действий, майор Рунич переоделся прасолом и вечером выехал в Шацк. В попутных селениях он примечал, что народ ведет себя вольно, дерзко, было много подгулявших.

На одном из перегонов, когда тройка пробежала лесом версты две, вдруг возница остановил лошадей, обернулся к одетому в потертую простонародную чуйку Руничу, задвигал бровями и, оттопырив волосатые губы, спросил в упор:

— Уж не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы? (Рунич отрицательно потряс головой.) Ну, а как, нет ли на Москве слуху, — продолжал возница, — что наследник Павел Петрович собирается к родителю своему здесь-ка проехать? Мы его, Павла-то Петровича, всякий день сюда ожидаем...

— Ты бы лучше, дядя, помолчал, — оборвал его Рунич.

В Шацке Рунич проехал прямо в земляную крепость к воеводскому дому. Во дворе, усыпанном песком и обставленном со всех сторон сарайчиками, кле-

тушками, птичниками, четыре старых солдата тюкали топорами по березовым брусам, мастерили лафеты для чугунных пушек.

— Не из Москвы ли, слышь? — сказал один старик другому, указывая глазами на подъехавшую тройку.

— А кто его знает, — ответил тот, — может, из Москвы, а может статься, и от бабушки...

— Ну, ляпнул... — осердился первый, воткнул топор в бревно, стал набивать самосадом трубку. — От бабушки-то казак бы прискакал... С ампирасторским манихвостом.

Рунич — невысокого роста, худощавый и невзрачный, но с быстрыми строгими глазами — вошел в дом. В передней на дубовом диване, припав виском к стене, сладко спал в сидячем положении слуга в нанковом грязном сюртуке и босоногий. На его коленях недовязанный чулок с железными спицами и клубок черной шерсти. Рунич прикоснулся к его плечу, громко спросил:

— Где господин воевода?

Слуга продрал глаза, вытер рукавом слюнявый рот, не спеша позевнул и, не обращая внимания на стоявшего перед ним человека, одетого в мещанскую чуйку, занялся вязаньем. Рунич повторил вопрос.

— На что он тебе? — спросил слуга, хмуря брови и старательно поддевая спицей спущенную петлю. — Воевода недавно после кушанья почивать лег. Не знаю, как тебя назвать, только что воевода не уважает, чтоб его после обеда будили.

— Поди! Ну, ну! — прикрикнул на него Рунич и пошел в соседнюю горницу. — А то я сам разбужу.

Через несколько минут вышел из спальни поднятый слугой воевода — высоченный, толстый, заспанный, в пестром шлафроке.

— Чего тебе надобно? — грубо спросил он Рунича, а слуге приказал: — Ты, Иван, стой здесь.

Рунич молча подал ему ордер за подписью полковника Древица. В ордере податель именовался майором, командированным в Шацк. Воевода, прочитав, с торопливостью снял очки, сбросил колпак с облы-

севшей головы, подошел вплотную к Руничу, смущенным голосом проговорил:

— Извините меня, господин майор, покорнейше прошу присесть... Иван! Накрой на стол и скорее кушать дорогому гостю...

Поблагодарив хозяина, Рунич вышел во двор. Возле старых солдат, мастеровивших лафеты, уже собралась толпа обывателей: мастеровые, посадские, приехавшие на базар крестьяне. Рунич расплатился с возницей и приказал одному из солдат, чтоб он взял чемодан, достал из-под сена в повозке военный плащ, спрятанные два пистолета с саблей и отнес в дом. Солдат-плотник, видя, как его товарищ вытаскивает из повозки вооружение, подмигнул толпе и проговорил:

— Ну, так и есть... казак переодетый... от самого батюшки...

Услышав эти слова, Рунич подошел к солдатам и громко, чтоб слышала толпа, сказал:

— Перестаньте, служивые, зря трудиться возле чугунных пушек: завтра придут сюда настоящие медные пушки.

— А чьи же? — послышалось из толпы. — Уж не отца ли нашего, не государя ли?

— Кто это?! — крикнул Рунич и пошел на толпу. — Это кто осмелился сказать?

Народ, один по одному, стал быстро расходиться. Снова затюкали по дереву солдатские топоры.

Застав воеводу уже в мундире, Рунич тоже надел военную форму и отправился за крепостной вал, на торговую площадь. Некоторые крестьяне снимали шляпы, кланялись офицеру, но большинство отворачивались, отходили от толпы прочь.

Затем наступило время обеда. Хозяйка была очень любезна, гостеприимна, хорошо говорила по-французски. Зато приглашенные гости — судья, ратман, товарищ воеводы и секретарь — были необычайно стеснительны, их пришлось долго упрашивать сесть за стол. Какие-то были они испуганные, растерянные, ожидающие несчастья. Рунич успокоил их, сказав, что завтрашний день прибудет сюда корпус полковника Древица, и просил воеводу подготовить войскам квартиры.

После обеда хозяин вывел Рунича под руку в соседний обширный зал. Там, к немалому удивлению офицера, его встретили человек семьдесят съехавшихся в Шацк помещиков с женами. Они все встали, мужчины низкие отвешивали поклоны, барыньки жеманно кивали головами в старомодных шляпках и чепцах, делали книксен, и — общий гул голосов:

— Отец наш... ты своим приездом оживил нас всех. Погибель на нас идет от супостата.

Рунич смутился. Ему всего лишь двадцать восемь лет, а его величают «отцом» и «избавителем». Помещики, оправившись, стали изливать пред новым человеком свои житейские невзгоды.

Грузный старик в клетчатом потертом кафтане и штанах, в пышном, с большими буклями, парике принялся печальным голосом повествовать, то и дело прикладывая платок к слезящимся глазам:

— Вот послушайте, господин майор, горесть сердца моего, стенания мои душевные. Была у меня двоюродная сестра, старушка богатая и чрезмерно скупая. Она хоронила у себя где-то зарытыми сто тысяч серебряною и золотою монетою, кои богатства соблюдала паче души своей, о чем известно было всем в городе живущим. А я, примите на замечание, ее единственный наследник. И вот, выходит она навстречу Пугачеву с хлебом-солью: удостойте, мол, батюшка, посетить мой дом и остановиться у меня. Злодей Пугачев принял безбожной сестры моей приглашение и гулял у нее со штабом всю ночь. Утром, возблагодарив ее за доброе угощение, самозванец сел на коня, а старушка пошла проводить своего благодетельного гостя за ворота. И только что в средину ворот вошла, то и поднята была за шею веревкою вверх и, повешенная, кончила все радости своей жизни. А я остался сир и нищ, ибо никто не знает, где были сокрыты ее сокровища.

Едва он кончил, как выступил вперед поджарый, высокий и кривоплечий помещик. Вид у него воинственный, большие черные с проседью усы висли книзу, волосы небрежно всклокочены, у бедра длинный

палаш, за поясом кинжал и пистолет, на левом рукаве белая повязка.

— Нас, помещиков, ваше высокоблагородие, съехалось сюда до трехсот мужчин, — начал он командирским басом. — А как в нашем граде Шацке и окрестного спокойно, то мы, помещики, вкуче с преданными нам дворовыми людьми, положили устроить из себя конницу и поджидаем отставного генерал-майора Левашева, коего и выбрали командиром... Постоим, дворяне, за мать Россию за обожаемую монархиню нашу Екатерину Алексеевну! — И вояка, вытаращив глаза, азартно застучал в пол тяжелым палашом.

— Отцы, братья и сестры! — вдруг воззвал из глубины зала седовласый, благообразного вида, протопоп в лиловой рясе с наперсным золотым крестом. — Я чаю, все вы согласны подтвердить...

— Согласны, отец протопоп, согласны! Подтверждаем, — вырвалось из уст присутствующих.

— Братие, сии возгласы ваши скоропоспешны и зело неосновательны, — подняв вверх руку с вытянутым указательным перстом, наставительно, с оттенком укоризны, произнес священник. — Неосновательны, ибо вы не ведаете, о чем собираюсь сказать слуге царскому. — Он приблизился к Руничу и продолжал, крепко налегая на звук «о»: — Ну, так вот, внемлите мне, господин майор, и высшему начальству своему поведайте. Не более как в пятнадцати верстах от богохранимого града нашего Шацка, в селе, рекомом Сасово, в моем благочинии мне довелось не столь давно быть по нужде служебной. И вот вижу — в базарный день въехал в оное село некий казачий генерал в голубой ленте и с ним тридцать человек казаков. Оные казаки, вкуче с генералом, кричали народу: «Государь император Петр Третий изволит шествовать!» Тут мужики — одни бросились к генералу, другие пали на колени, стали восклицать: «Ура, ура!» Но генерал, передав в толпу некий ложный, якобы царский лист, поехал со штабом своим дальше; народ побежал за ним, а казаки стали махать руками, чтоб мужики возвратились к торгу. Вот о чем хотел

я поведать... Сие лицезрел воочию и свидетельствую о сем не ложно.

— Про то же и мы, отец протопоп!.. Оный казус известен всякому, — раздались голоса.

Майор Рунич вслушивался в эти речи с большим интересом и вниманием, намереваясь с точностью пересказать их полковнику Древицу и изложить в письме своему бывшему патрону, с которым брали крепость Бендеры, графу Петру Иванычу Панину. Так вот какво народное настроение не столь дальних от первопрестольной столицы мест!

— Господа дворяне! — обратился Рунич к собравшимся. — Не падайте духом. Завтра сюда ожидается корпус полковника Древица. А вскорости проследует через наши места сам граф Панин с воинством для уловления и истребления злодейских шаек. Недалеко то время, когда в державе нашей снова наступит мир и благоволение.

Растроганные помещики взволнованно закричали «ура», священник взывал: «Уповайте на господа!» Многие выхватывали платки, проливали слезы, тучная старуха, охнув и закатив глаза, без чувств упала в кресло. Началась немалая возле нее сумятица.

Но вот чрез открытые окна послышался конский топот и крик со двора: «Дома ли воевода?» Следом за сим в зал ворвался с воли живой, бодрый человек, весь пропыленный, в охотничьей венгерке со шнурами, голова кудрявая, лицо бритое, в руке нагайка. Громко стуча каблуками и не обращая внимания на присутствующих, он браво подошел к рослому воеводе, щелкнул каблук в каблук и задышливым голосом начал:

— Гонец от керенского воеводы господина Перского, сержант в отставке, Пухлов!

В зале наступила любопытствующая тишина. Оставив старуху маяться в кресле, все на цыпочках приблизились к воеводе и гонцу. Гонец сказал:

— Рапортую вашему высокоблагородию! Не далее как прошедшей ночью у града Керенска дело закрутилось с мятежными толпами мужиков, между коих примечено и малое число яицких казаков. Му-

жиков надо считать близко к десятку тысяч. Они держали город в страхе двое суток. Ох, и натряслись все миряне, ваше высокоблагородие... — Гонец поперхнулся, кашлянул в шапку, облизнул пересохшие губы.

Хозяйка распорядилась подать ему кружку квасу. Тот одним духом выпил, отер мокрое лицо грязной ладонью, заткнул за пояс нагайку, стал продолжать:

— Воевода Перский, видя свою и города неизбежную гибель, вымыслил закрутить дело. Он уговорил пленных турок, чтобы они согласились вооружиться. А их было под его присмотром тридцать человек. Он снабдил басурман саблями, пиками, пистолетами и дал по коню. Дал им по коню и сказал: «Коль скоро вы мне окажете помощь, будете отпущены из плена к себе на родину». Турки обрадовались, «якши, якши!» закричали. Да еще воевода кое-как нарядил в турецкое одеяние человек с сотню отчаянных чернобородых да черноусых мирян и также посадил на лошадей. А сверх того собрал воевода человек до двухсот дворни пешей с двумя пушками. Да пред рассветом, помолясь богу со усердием, сам с воеводским товарищем повел своих ратников в атаку на бунтовщиков. А весь их табор спал-почивал, ничего такого не предвидя.

И вот дело закрутилось. Как грянули пушки да как заорали турки: «Алла-алла!», а за ними и наши гвалт подняли: «Алла-алла, шурум-бурум!» — да напыхом на табор. Спящие вскочили. Страх на них напал и ужас. «Братцы! Турки, турки!» — блажью завопили они да, забыв и про лошадей своих, кинулись бежать в потемках пешие — кто куда. Все побросали — и лошадей, и телеги, и поклажу. И на много верст конники рубили их саблями, секли железными косами, на пики сажали, забирали в полон. Одначе не довелось дознаться, вашескорodie, кто из бунтовщиков закручивал дело, а также ни единого казака, посланного Пугачевым, в полон не попало...

— Ну, господа, поздравляю! — воскликнул воевода, улыбаясь во все широкое лицо, и, простодушно обняв сержанта Пухлова, поцеловал его трижды.

Все сразу взбодрились, расцвели, как после дождя засохшие травы. Пожимали друг другу руки, обнимались. Тучная старуха сама собой пришла в чувство и молча плакала. Протопоп, обратясь к иконе, возгласил:

— Господу помолимся!

ГЛАВА IV

*Барин Одышкин. В Пензе. Горят барские гнезда.
«Не падайте духом, государь». Дурные вести.
«Народ с вами, государь»*

1

В Пензенском уезде, куда надвигалась полоса восстаний, существовал барин Павел Павлыч Одышкин. Он был человек недалекий, а иным часом придурковатый. Ему этим летом минуло пятьдесят два года. Вел он жизнь замкнутую, неподвижную, ленивую. За последние десять лет он так обленился, что и на улицу не выходил. Сидел под окном, с утра до ночи пил чай или кофей, наблюдал из окна жизнь во дворе. И все хождение его было от окна в клозет, из клозета к окну, к столу, опять в клозет, опять к окну, да на кровать. Хозяйство вела барыня — высокая, черная, властная. Но она предусмотрительно сбежала с двумя детьми в Пензу, спасая жизнь свою от «погубления злодейскими толпами». Невзирая на ее уговоры, Павел Павлыч за ней не последовал: ему лень было двигаться, да он надеялся, что бог пронесет грозу мимо его владения, а в случае чего — он придумал одну хитроумную штучку — ежели Пугач и нагрянет, Павел Павлыч вживе останется. Впрочем, жена и не особенно-то настаивала на его отъезде: «Какой он хозяин, какой в нем прок?» Ежели она овдовеет, так кто ей запретит выйти замуж за конюха, кудряша Софрона?

Сидит Павел Павлыч под окном, чай кушает, смотрит через окно, думает: «Вот ужо буянство мужичье

кончится, Пугачева изловят, велью под окном во дворе пруд выкопать да квакуш-лягушек напустить в пруд, пущай квакают, а я буду чай пить да слушать. Я лягушек больше соловьев люблю».

Он, кроме календаря да лечебника под названием «Прохладный вертоград, или Врачевские вещи», ничего не читает, с мрачностью думает о многих болезнях, гнездящихся в его организме, вроде «нутряного почечуя», и пьет во исцеление души и тела всякие настойки и знахарские снадобья. Прислушивается к своему организму, следит за ним неотрывно и каждый день со тщанием ведет запись в особой книге. Например:

«17 мая. Благодарение господу, сон был хорош, хотя во сне и было сатанинское искушение. Отправление желудка, сиречь стул, был свободен в 11 часов утра».

«18 мая. Приключился сильный запор, отчего в животных частях обструкция, одышка и трепыхание сердца. Стул отсутствовал».

«19 мая. Был обильный стул и в ночное время, в 3 часа 20 минут пополуночи. С утра аппетит отменный. За обедом и ужином не воздержался. Особенно много скушал тушеной капусты с яйцами и куриными печенками. А после сего приналег на узвар. Живот опучило. Появилось сильное урчание. Всю ночь одолевали жестокие ветры. Желудок очищался не единожды. Делал припарки. Втирал в животную часть беленое масло. Благодарение господу, последовала легкость».

Дворня и крестьяне с бариним нимало не считались, иной раз, завидя его сидящим под окном, даже и шапки не ломали пред ним. Мужики про него говорили какому-нибудь чужому прохожему или проезжему человеку: «Наш барин рассудком не доволен, всю жизнь дурачком прикидывается». Однако Павел Павлыч, когда одолевала его «животная обструкция», иногда напускал на себя строгость.

Вот барин сидит под окном, пьет чай с малиновым вареньем. У его ног на полу лежит старый крупный мопс. Мопс жирный — и барин жирный, мопс пуче-

глазый — и барин пучеглазый, глаза навывкате, серые, бессмысленные, под глазами мешки. У мопса на лбу многотумные глубокие складки и у барина тоже, мопс брыластый, и барин брыластый, дряблые белые щеки полезли книзу, нос обыкновенный, «в плепорцию», губы бантиком, на голове напوماженные, хорошо причесанные темные волосы. И вот Павел Павлыч начинает «свирепствовать».

— Эй, Митрошка! — кричит он в окно.

В горницу входит бурмистр из хозяйственных старых крестьян; лицо желтое, постное, черная борода клинышком. Большой хитрец и миру согрубитель. Отвешивает барину поклон.

— Ну, как овсы?

— Да ничего овсы, ваше высокородие, только вот беда — волки овсы-то помяли. Не столько жрут, сколько топчут.

— Волки? Разве у нас есть волки? Разве они едят овес? Надо стрелять!

— Да ведь стреляли, батюшка барин, — потешался над Павлом Павлычем бурмистр. — Только что ружьишки-то у нас никудышные, не берут волков-то...

— Смотри, Митрошка, чтоб этого у меня впредь не было. А то своеручно драть буду! — сердито говорит барин и, взяв с подоконника арапник, стегает им в пол. Мопс просыпается, хрипло лает в пространство.

— Вот уж я на птичник выберусь, — говорит Павел Павлыч. — Чего-то куриц да уток мало стало...

— Уменьшилось, батюшка барин, уменьшилось, — потешается хитрый бурмистр, и острые глазки его улыбаются. — Зайцы одолели, ваше высокородие, этта семь курей задавили да певуна, да сколько-то уток с утятами.

— Зайцев надо ловить... Смотри у меня. Драть буду! — И барин снова бьет по паркету арапником.

У господ Одышкиных на взгорке, возле речки, обширный фруктовый сад. Весь урожай яблок доходит до тысячи пудов. И хоть бы по два яблочка малым деревенским ребятишкам к празднику преобразования, ко второму спасу, когда церковь освещает плоды к употреблению всей человеческой твари. Жа-

ден не барин, а барыня. Павел-то Павлыч нет-нет да и подкличет ребятишек к окну и выбросит им розовых яблочков.

Но вот беда: за последние годы сад стал мало давать плодов, — как только начинали созревать яблоки, на сад нападали разбойники. И замест тысячи пудов оставляли барам Одышкиным пудов двести — триста. Вот и в прошлом году вдруг услышал барин чрез открытое окно отдаленные крики, вот ближе, ближе, и уж явственно слышны голоса:

— Ой, батюшки... Разбойники!..

И избегают в барский двор люди: простоволосая баба Лукерья-скотница, два старика, парень и трое мальчишек. И все в один голос:

— Ой, светы, ой, светы!.. Батюшка барин!.. В лесу разбойники, к саду подходят! Кешку избили, Фомку, кажись, до смерти зарезали, Фомка ходил коня ловить.

— Где разбойники?! Как разбойники?! — задрожав, как листы на осине, вскричали барин с барыней, высунувшись из окна на двор. — Бей в набат, собирай мужиков!

Загудел колокол, собаки залаяли, мопс залился хриплым лаем, под окнами дворня бегала, шумела: «Господи светы, разбойники... Всех нас жисти лишат».

Павел Павлыч стал как ребенок, пискливо зывал:

— Пашка, Машка, Дуня, Аверьян!.. Ой, прячьте нас скорей с барыней в подпол! Аверьян, выдай дворне ружья, мужикам топоры.

Бар спустили чрез люк в подполье, барин велел поставить на люк кухаркину кровать, а чтоб на кровать кто-нибудь лег да прикинулся спящим: ежели разбойники нагрянут в дом, люка не заметят и не проникнут в подполье.

Был вечер. Крестьяне с девками и подростками, покрикивая на ходу: «Разбойники!.. Бей разбойников!.. Вот ужо-ужо мы их!..» — гурьбой валили к саду.

И слышат баре Одышкины чрез продушину в подполье, как в саду началась пальба из ружей и запо-

лошные крики. Баре дрожат, стрельба и крики крепнут. Павел Павлыч сидит на мешке с луком, крестится, шепчет:

— Господи боже... Сюда идут... Отведи грозу, господи... Прасковья Захаровна, молись, молись!

Проходит и час и два. Вся эта комедия кончается тем, что крестьяне расходятся по домам, трое понятых идут в барский дом, объявляют вылезшим из укрытия барам, что разбойники прогнаны, но христопродавцы, мол, успели обить множество яблок и увезти с собой на подводах, что, мол, разбойники в красных рубахах, бородатые, с большими ножами, лица завязаны тряпками. Баре этим рассказням верили, крестьяне и дворян весело пересмеивались, всю ночь тайно делили меж собой душистую антоновку, анисовку, белый налив и коробовку.

Уже третий год, как только снимать яблоки,— посещают господ Одышкиных эти, в красных рубахах, с большими ножами, разбойники. А вот нынче появились на правом берегу Волги не разбойники, а в тысячу раз жесточе, опаснее их, появились ватаги «злодея» Пугачева, они баламутят крестьян, жгут поместья, вешают бар. Ну да как-нибудь бог пронесет. Этот «сброд сволочной» еще, слава богу, далече, а верные ее величеству полки гонят мятежную дрянь, как баранов.

Но вот пронесся слух, что пугачевские толпы свернули на юг, будто бы прошли Алатырь, движутся к Саранску. А кругом зачинались пожары, и небо по ночам то здесь, то там трепетало от зарева. Да и крестьяне помещика Одышкина стали не на шутку шебаршить, чрез открытое окно долетали до барина ругань, споры, шумные крики. Словом, барин понял, что ему начинает угрожать опасность. Тогда он без промедления решил сберечь жизнь свою самым хитроумным, как ему казалось, способом.

Призвал барин старика Зиновья, своего бывшего пестуна. Зиновий старше барина лет на десять. В давнюю пору, когда Павел Павлыч был маленьким, они часто ходили с Зиновием и другими парнишками в лес по грибы, пугали шустрых белок, разыскивали

птичьи гнезда. С тех пор так и установилась дружба между крестьянином и бариним. Барин любил Зиновия, старик Зиновий любил барина.

И вот они оба закрылись в спальне, толкуют по тайности. Беседа шла к концу, оба сидели раскрасневшиеся, графинчик усыхал, но закуски вдоволь.

— Пей еще, Зиновий... И я выпью... Хотя и вредно мне — почечуй нутряной у меня, а для такого раза выпью. Да, да... Вот я и говорю: боюсь душегуба, пуще огня боюсь. Дурак я, что не уехал с женой-то...

— Дурак и есть, батюшка барин, Пал Павлыч, опростоволосился ты, — говорит старик.

— Ведь от душегубов никуда не денешься, ни в лес, ни в воду... Найдут. Говорят, собаки у них есть ученые, охотничьи — бежит, нюхает, и сразу над бариним стойку...

— Что ж, батюшка барин, я в согласье...

— Согласен? Ну спасибо тебе, Зиновий... Значит, чуть что, ты бариним срядишься, все мое парадное наденешь, а я в твою одежду мужиком выржусь.

— Мне уж недолго жить, — утирая слезы, говорит подвыпивший Зиновий, — не жилец я на белом свете, грыжа у меня. Пущай убивают... А может статься, и помилуют... Только, чур, уговор, барин...

— Проси чего хочешь, ни перед чем не постою!..

— Дай ты, барин, вольную сыну моему Лексею со всем семейством, еще дай лесу доброго, чтоб хорошую избу срубил себе Лешка-то мой, да пятьсот рублей деньгами.

Павел Павлыч с радостью обнял старика и тотчас исполнил все его условия: написал приказ о вольной его сыну, велел сколько надо лесу выдать и вручил пятьсот рублей священнику, сказав ему, что по уходе Пугачева деньги те священник обязуется передать старику либо его сыну Алексею.

Зиновий на всякий случай исповедовался и причастился, а когда дозорные донесли, что Пугачев приближается, он отслужил молебен. Священник, благословляя его, сказал прочувствованное слово о блаженстве тех, кто душу свою полагает за других.

На следующий день, поутру, запылила дорога, раздался праздничный трезвон во все колокола, священник, страха ради, вышел с крестным ходом за село.

Сначала проехало сотни три казаков, за ними — кареты, коляски, берлины, за ними, в окружении свиты и большого конвоя, сам «царь-батюшка». Сабля, боевое седельце, конская сбруя горят на солнце, и сам он, как солнце, свет наш, отец родной. Он не слез с коня и к кресту не приложился, только прогремел собравшимся крестьянам:

— Детушки! Верные мои крестьяне... Уж не обесудьте, не погневайтесь, гостевать у вас не стану, дуже походом тороплюсь. Всю землю дарую вам безданно, беспошлинно, с лесами, угожьями, полями. Владейте, детушки!

— Волю, пресветлый царь, волю даруй нам, батюшка! — кричали крестьяне, махали шапками, кланялись, отбрасывали горстями свисавшие на глаза волосы. — Волю, волю дай, слобони от помещиков!

— Чье поле, того и воля, детушки! — снова прокричал Пугачев. — Будьте вольны отныне и до века!

Он двинулся было вперед, чтоб, миновав поместье, ехать дальше, но Чумаков сказал ему:

— Не грех было бы, батюшка, с полчасочка передохнуть, закусить да выпить.

Тогда Пугачев завернул со свитой в барский двор, в дом вошел, прошелся по горницам. На столе появилось угощение, вино, бражка. Атаманы с Пугачевым наскоро присели, стали питаться. Пугачев поторавливал. Макая в мед пышки, вдруг спросил:

— А где хозяева, где помещик тутошний? Повешен, что ли?

Произошло замешательство. Дворня, прислуживавшая пугачевцам, замерла на месте.

— Где ваш помещик? — резко крикнул Пугачев и хмуро взглянул на дворню.

Из соседней боковушки-горенки выступил на согнутых в коленях ногах трясущийся старый Зиновий, он одет в барский кафтан, длинные чулки, туфли с серебряными пряжками, борода аккуратно подстрижена, на голове господский парик.

— Я помещик Одышкин, твое величество, государь ампирастор. Как есть перед тобой, — низко кланяясь, сказал старик.

— Пошто навстречу ко мне не вышел? Должно, злобишься на меня?

— Занедужился, твое царское величество, — еще ниже кланяясь, продрожал голосом старец. — Вздыху не было, сердце зашлось...

— Занедужился? Так я тебя живо вылечу. Веди-те во двор...

Дворня, желая спасти всеми любимого старика Зиновия, стала упрашивать:

— Помилуй, отец наш... Он помещик добрый. Обиды не видали от него ни на эстолько...

— Нет во мне веры вам, — проговорил Пугачев, подымаясь. И все атаманы поднялись. — Своих дворовых баре завсегда подкупают, задабривают. А вот мы крестьянство спросим... Мужик знает, кто на его лаэт... Айда!

И все направились к выходу. Во дворе много народу: кто угощается, кто грузит подводы господским добром, кто седлает барских коней. Чубастый Ермилка затрубил в медный рожок, полковник Творогов зычно скомаңдовал:

— Казаки, на-конь!

Пугачеву подвели свежего барского коня. На воротах качался в петле еще не остывший труп мирского согрубителя бурмистра. Пугачев, занеся ногу в стремя и взглянув на удушенного бурмистра, приказал крестьянам:

— Вздернуть барина.

Тут были не здешние крестьяне, а приставшие к царской армии из другого уезда. Они схватили человека в барском платье, стали тащить его к виселице. Старик Зиновий, видя смертный свой час, сразу оробел, подступил под сердце страх, кровь заледенела, и он истошно закричал:

— Я не барин, я мужик Зиновий!.. Ищите барина!..

В это время два парня и подросток волокли по двору упиравшегося Павла Павлыча Одышкина. Он

в домотканине, в рваной сермяге — дыра на дыре, — в лаптишках, жирное лицо запачкано сажей, обезумевшие большие глаза выпучены.

— Я не барин, я мужик!.. — вырываясь, вопит он пискливым голосом. — Эвот, эвот барин-то, кровопивец-то наш!.. Вешайте его!..

— Врет он, — вопит и Зиновий, тыча в Одышкина пальцем. — Он природный наш барин, только мужиком вырядился. Он меня обманул... Я — мужик Зиновий!.. А он барин!.. Кого хошь спроси...

Дальние, пришедшие за «батюшкой» крестьяне улыбались, чесали в затылках — вот так оказия... Морщины над переносицей «батюшки» множились, нарастали в грозную складку.

Из толпы было выступил местный крестьянин, намереваясь восстановить правду-истину. Но шум с перебранкой между Зиновием и барином крепки.

— Я природный мужик, — не переставая, кричал помещик.

— Врешь, я мужик!..

— Ты барин!.. Вешайте его!

— Врешь, паскуда, ты барин-то! Тебя надо в петлю-то...

В сто глоток оглушительно заорали и крестьяне — ничего не разберешь. Пугачев взмахнул рукой, сердито крикнул:

— Геть! Неколи мне тут с вами... Обех вздернуть! — Он тронул коня и поехал со двора долой.

Трое оставшихся яицких казаков быстро и неукомительно исполнили царское повеленье. Когда вешали барина, осатаневший жирный мопс мертвой хваткой впился в ногу казака. Мопс был заколот пикой.

2

Несколько в стороне от большака лежало обширное село, раскинувшееся на крутых зеленых берегах речушки.

На свертке с большака в селение Пугачева встретила повалившаяся на колени небольшая толпа кре-

стьян. Среди них — рыжебородый священник с крестом. Емельян Иваныч поздоровался с людьми, велел подняться. К нему робко подошел пожилой человек с бороденкой и косичкой, он в служилом кафтане с серебряным галуном по вороту и рукавам. Низко кланяясь и приветствуя Пугачева, он задышливым от страха голосом проговорил:

— Оное село экономическое, сиречь живут в нем государственные, вашего величества, крестьяне. Управляющий сбежал, убоясь вашего пришествия, а я евоный писарь и правлю должность повытчика. — Он закатил глаза, облизнул сухие губы и добавил: — Осмелюсь доложить: почитай, половина наших жителей охвачена скопческой ересью, коя имеет отсель распространение и на окольные местожительства. Об этом всяк размышляющий человек зело скорбит. Даже царствующая императрица Екатерина Алексеевна о сем указ в публикацию изволила издать.

— А ну, чего она там, не спросясь меня, указывает в указе-то своем? — подняв правую бровь, спросил Емельян Иваныч.

Писарь вытащил из-за обшлага бумагу и, откашлявшись, сказал:

— Вот копия с копии оного указа¹. — Он зачитал бумагу и добавил: — Мера наказания изложена тако: «Начинщиков выдрать публично кнутом, сослать в Нерчинск вечно; тех, кто, быв уговорены, других на то приводили, — бить батожем, сослать на фортификационные работы в Ригу, а оскопленных разослать на прежние жилища».

— Та-а-ак, — огребая пятерней бороду, протянул в недоуменье Пугачев. — Ишь ты, ишь ты... Строгонько! Строгонько, мол... А какая такая скопческая ересь? — спросил он, ему никогда не доводилось вплотную встречаться со скопцами. — Скопидомы, что ли, они, деньги себе, что ли, скопляют всякой плутней?

¹ Указ от 1772 года на имя полковника Волкова по поводу появления в Орловской губ. скопческой ереси,

— Ах нет, ваше величество, — возразил писарь, он замигал и, напрягая неповоротливую мысль, силился, как бы поприличней изъясниться. — Через тяжкое усечение детородных приспособностей оные душегубы лишаются благодати продления рода христианского. Власы у них на усах и бrade вылезают, а голос образуется писклявый, как у женщин. И нарицают они себя: скопцы.

Пугачев заинтересовался. Хотя ему и недосуг было, однако он приказал армии двигаться походом дальше, а сам с Давилиным и полсотней казаков повернул к селу.

Писарь с потешной косичкой, торчавшей из-под шляпы, ехал верхом рядом с Пугачевым и все еще задышливым от страха голосом докладывал ему подробности скопческого изуверства. Пугачев крутил головой, причмокивал, улыбался, затем начал сердито хохотать.

— Ну, а как же баб? Неужели и их портят?

— Скопят и женский пол, — закатывая глаза, ответил писарь и опять принялся излагать подробности: — Тут двое богатеньких мужичков орудуют: мельник да пасечник, они подзуживают да подкупают бедноту. Вчуже парнишек жаль, вьюношей прекрасных, в секту вовлекаемых, — наговаривал осмелевший писарь, он подпрыгивал в седле, как дергунчик, косичка моталась по спине. Тут же, среди свиты, кое-как ехал, встряхивая широкими рукавами рясы, и пугачевский «протопресвитер» — поп Иван. Он в трезвой полосе, ноги обуты в добротные сапоги с подковками, но на случай запоя болтаются привязанные к вещевому мешку новые лапти.

На площади, пред церковью, собралось все село. Среди пожилых мужиков — половина безбородых и безусых. Люди повалились в прах, завопили:

— Будь здрав, твое царское величество!

— Встаньте! — крикнул Пугачев и хмуро сдвинул брови, рука его цепко сжимала нагайку, ноги внатуг упирались в стремяна. Было жарко, Пугачев вытер пот с лица. Пригожая грудастая молодайка в сара-

фане подала ему в оловянном ковше студеного квасу. Выпив, сказал «спасибо», спросил толпу:

— Не забижают ли вас управитель алибо поп?

Одни закричали: «Забижают, забижают!» Другие: «Нет, мы довольны ими!»

Тут выступил опрятно одетый в суконный кафтан со сборами и смазанные дегтем сапоги невысокий мужичок. Безбородый, безусый, щуплый, с изморщиненным лицом, он был похож на старого мальчику.

— Это мельник наш, самый сомуститель, — подсказал писарь Пугачеву.

Низко поклонившись государю, мельник женским голосом, слащаво, как-то нараспев, заговорил:

— Начиная с попа, отца Кузьмы, все нас забижают, заступник-батюшка. А царствующая государыня забижает нас, сырых, пуще всех... Токмо в тебе, твое царское величество, мы, рекомые скопцы, чаем обрести верного заступника. Слых по земле идет, что тебе всякая вера любя и ты защищение творишь всем верным.

— Творю, творю... Будет тебе по-куриному-то кудахтать, — нетерпеливо произнес Пугачев, он торопился в путь. — Сколько ты времени петухов на куриц переделываешь?

Подслеповатый мельник, плохо присмотревшись к хмурому взору Пугачева, принял его слова в милостивую шутку и с проворностью ответил:

— А стараюсь я спасения ради вот уже десяток лет. И посадил в свой святой корабль, аки кормчий, двести двадцать одну душу, охранив их от блуда и бесовской прелести. А по священному слову апокалипсиса предлежит посадить в корабль число зверя, сиречь шестьсот шестьдесят шесть душ спасенных. Ежели посажу оное число, превечный рай узрю, со благим Христом вкупе обрящуся...

— Есть у ты помощники?

— Есть, есть, царь-государь, — и скопец, обернувшись лицом к толпе, позвал: — Егорий, Силантий, Клим! Выходите, не опасайтесь.

Вышли еще три безбородых, безусых старых мальчика и низко поклонились государю. Тот взглянул на них сурово и с язвинкой в голосе сказал:

— Ну, спасибо вам, старатели... Спасибо!

Все четыре скопца истово закланялись царю — шутка ли, сам государь их благодарствует, — и померкшие, неживые глаза скопцов потонули в самодовольных морщинистых улыбках.

— А кто женщин увечит? Вы же?! — снова спросил Пугачев.

— Уговаривает баб да девок богоданная жена моя, а груди им вырезает, для прельщения мужеска пола сотворенные, мой сподручный, раб божий Клим. Он же и большие печати мужчинам ставит, а малые печати — Егорий.

Пугачева покорило, он сплюнул и, передернув плечами, приказал:

— Покличь жену.

— Дарьюшка, Дарья Кузьминишна, выходи, государь зовет! — пропищал в толпу мельник, «водитель корабля».

Стала пред Пугачевым еще не старая в цветном повойнике женщина с хитрыми глазами и утиным носом. Утерев ладонью рот, она в пояс поклонилась Пугачеву, замерла.

— Опосля того, как мельник оскопился, — пояснил писарь Пугачеву, — мельничиха завела себе вздыхателя кузнеца Вавилу и блудодействует с оным пьяницей двенадцать лет.

— Как это влетела тебе в лоб сия пагуба? — спросил мельника Емельян Иваныч.

— Аз, грешный, творю долг свой по слову евангельскому, царь-государь, — кланяясь и одергивая новую рубаху под распахнутым кафтаном, ответил мельник. — Ибо сказано в священном писании: «Аще око твое соблазняет тебя, изми его, вырви от себя, тогда спасен будешь...»

— Так то око! — закричал Пугачев, ударив взором стоявшего пред ним скопца-начетчика. — А ведь вы эвона чего чекрыжите... — Приметив попа Ивана, он кивнул ему: — А ну-ка, отец митрополит, махни

ему от святости, от писания, поводырю-то этому слепому...

Отца Ивана от вина покачивало и мутило. Застыгнутый врасплох, он задвигал бровями, закричал, отвисшие под его глазами мешки зашевелились, лоб морщился, толстые обветренные губы что-то шептали, на лице отразилось отчаянье: ведь не столь давно он твердо знал многие нужные тексты священного писания, но пропил память, все позабыл... Ах-ти беда!

— Чего молчишь? Язык в зад втянуло, что ли? — бросил Пугачев.

Поп Иван судорожно подскочил в седле и с испугом прокричал первое пришедшее на память — ни к селу ни к городу — бессмысленное изречение:

— Еже есть написано: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Сару, Сара роди Зоравеля!..

— Слыхали, пророки голорылые? — в свою очередь закричал на скопцов и Пугачев, ему как раз по душе пришлось слова попа Ивана. — Роди — сказано, вот что... Роди! А вы как станете рожать-то? Ась?

Изумленные грозными словами государя, скопцы от неожиданности выпучили глаза, разинули рты и схватились друг за друга. А мельничиха заохала и скосоротилась.

— Вы что, сукины дети, наро-о-од губить? — еще громче закричал Пугачев, потрясая высоко вскинутой нагайкой. — Нам треба, чтоб народ русский плодился да множился, а не на убыль шел! Чтоб земля наша была людна и угожа. В том есть наша государственная польза. И чтобы этакого глупства у меня больше не было! Слышите, мужики? Я в гневе на вас на всех! — И, обратившись к адъютанту: — Давилин! Всех четверых разбойников немедля повесить! Пятую — бабу, уговорщицу... Я вам покажу, сукины дети, звериное число!..

— Батюшка! — И все пятеро, вместе с бабой, как подкошенные, повалились в прах.

— А достальных голомордых межеумков, кои обмануты, всех перепороть кнутом. Вместях с ихним

дураком попом, что не отвращал от пагубы! Я вам, сволочи...

Надсадно, во всю грудь дыша, Пугачев поехал прочь. Затем, круто повернув коня, позвал:

— Эй, писчик! (Тот, потряхивая бороденкой и косячком, подскочил.) Деньги в канцелярии есть?

— Малая толика есть, царь-отец... Тыщонки с две.

— Медяками али серебром?

— Середка на половину, ваше величество.

— Давилин! Примешь от него. А соль имеется в магазине?

— Имеется, царь-отец.

— Детушки! — закричал Пугачев, снова въезжая в толпу. — Кто из вас самый верный человек есть?

Мужики, не раздумывая, закричали:

— Обабков, Петр Исаич!.. Староста наш... Самый мирской, без обману. Эй, Петра, выходи!..

Вышел осанистый крестьянин, в его темной бороде густая седина.

— Ставлю тебя, Петр Обабков, управителем. Служи мне, благо ты народу верен. Рад ли?

Обабков поклонился, хотел что-то сказать в отпор, но язык не пошевелился, только серые глаза испуганно уставились в лицо грозного царя.

— Раздай соль безденежно по два пуда на едока, а как явится старый управитель, прикажи вздернуть его и с приплодом, чтобы другой раз не бегал от меня. — И опять к народу: — Детушки! Жалую вам всю государственную землю с лесами, реками, рыбой, угожьями, травами. Расплодитесь и живите во счастья! А скопцам я, великий государь, ни синь пороха не даю. От них, от меринов убогих, роду-племени не будет, доживут свой век и так... И паки повелеваю: из мужиков, кои без изъяна, наберите полсотни конных, вооружите, и пушай догоняют мою армию. А ежели мужики уклоняться учнут, село выжгу, вас всех вырублю! — Он было тронул коня, но вновь остановился: — Эй, девки да бабы, кои без поврежденья, а мужнишки да женихи коих изувечены, гуртуйся ко мне, да поскорейча — недосуг мне... — И, обратясь к сбежавшимся на его зов женщинам: — Сколько вас, милые?

— Да без малого сотня, свет наш, надежа-государь...

— Ты, свет, мужнишек наших куда-нито на чижолые работы угони: они все траченые, — наперебой заверждали бабы. Многие из них вытирали платками слезы.

— Не плачьте.. ждите женихов себе! — И Пугачев, стегнув коня, в сопровождении казачьего отряда ускакал. Быстро догнав армию, он на привале рассказал своим о скопческом селенье и, обратясь к Овчинникову: — Вот что, Афанасьич... Отбери-ка ты сотенку людей, кои поздоровше, да скорым поспешанием отправь-ка в то село денька на два, на три, пушай они там для ради государственного антиресу с бабской частью поусердствуют.

Когда Овчинников предложил поехать в то село Мише Маленькому, тот улыбнулся и сказал:

— Не в согласье... У меня дома баба есть.

— Да ведь для государственного антиресу...

— Не в согласье! Откачнись! — жестко крикнул Миша и, повернувшись к атаману спиной, прочь пошел.

3

Проживающий в Пензе секунд-майор Герасимов вместе с офицерами-инвалидами направился в провинциальную канцелярию и спросил воеводу Всеволожского, где находится самозванец и какие меры приняты властями для защиты города. Воевода ответил:

— По разорении Казани злодей действительно следует к Пензе. Соберите свою инвалидную команду и приготовьтесь к отпору.

Герасимов собрал всего лишь двенадцать человек, среди коих были безрукие, безногие, и приказал им вооружиться. В городе оказалось больше двухсот тысяч рублей денег. Их начали прятать по подвалам, зарывать в землю. Но всех медных денег схоронить не успели, они впоследствии достались Пугачеву.

Начальство во главе с воеводой в ночь бежало. Наступило безначалие. Остался лишь один Герасимов. На базарной площади в последних числах июля

собрались до двухсот пахотных солдат, живущих в городе.

— Что вы здесь делаете? — осведомился у них проходивший рынком Герасимов.

— А мы судим да рядим, как быть, — отвечали пахотные солдаты. — Все начальники убежали, некому ни делами править, ни город оборонять. Вы, господин секунд-майор, самый большой чин здесь. Просим вас принять команду и город защищать.

Оставшийся в городе бургомистр купец Елизаров собрал всех людей торговых в ратушу и спросил их:

— Надо защищать город или не надо?

Купцы долго молчали, переглядывались, разводили руками. По выражению их лиц, озабоченных и смятенных, видно было: купцы что-то хотят сказать, но не решаются. Тогда заговорил седобородый, почтенный, с двумя медалями, бургомистр Елизаров:

— Вот что, купечество, ежели без обиняков говорить, начистоту, то прямо скажу вам — противиться нам нечем: ни оружия, ни народа у нас, ни чим чего... Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? Авось город спасем тогда от пожара, а жителей от смерти лютыя.

Купцы сразу оживились, дружный крик в зале зазвучал:

— Правда, правдочка, Борис Ермолаич! Где тут ему противиться? Эвот он какой: крепости берет, Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит. А давайте-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом-солью.

В это время влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши. Среди народа — почти все двести человек пахотных солдат. Бургомистр Елизаров вышел на балкон и объявил толпе, что купечество решило самозванцу не противиться.

И удивительное дело: народная толпа, паче всякого чаяния, купеческим решением осталась недовольна.

— Вам, толстосумам, хорошо так толковать! — кричали из толпы. — Вы тряхнете мощной, откупитесь... А нас-то вольница за шиворот сграбастает да к ногтю...

И вся толпа, брюзжа и ругаясь, повалила к провинциальной канцелярии, где совещались майор Герасимов, три офицера и несколько пензенских помещиков.

Толпа крикливо требовала вооружить ее. Вышедший наружу офицер Герасимов сообщил народу, что за отсутствием казенного оружия пусть жители сами вооружаются, чем могут.

В три часа дня (1 августа) неожиданно-непрошено явились на базар человек пятнадцать конных пугачевцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. К всадникам со всех сторон устремился народ. Есаул Яков Сбитень выдвинулся на коне вперед и, как сбегались люди, достал из-под шапки бумагу.

— Жители города Пензы! — воззвал он, прощупывая толпу строгим взором бровастых глаз. — Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя.

Народ обнажил головы. Есаул раздельно и зычно стал читать:

— «Божиею милостью, мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и проч., и проч., и проч...

Объявляется во всенародное известие.

По случаю бытности с победоносной нашей армией во всех, сначала Оренбургской и Симбирской линии, местные жительствующие разного звания и чина люди, которые, чувствуя долг своей присяги, желая общего спокойствия и признавая как есть за великого своего государя и верноподданными обязуясь быть рабами, сретение имели принадлежащим образом. Прочие же, особливо дворяне, не желая от своих чинов, рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих возмущая к сопротивлению нашей короне, не повинуются. За что грады и жительства их выжжены, а с оными противниками учинено по всей строгости нашего монаршего правосудия».

Настроение толпы было выжидательное, неопределенное, да и манифест показался народу не особенно понятным. Подметив это, есаул обратился к жителям попросту, как умел:

— Верьте, миряне, что к городу подходит не самозванец, как власти внушают вам, а сам истинный природный государь! Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом-солью, а окажут противность, то все в городе до сущего младенца будут истреблены и город выжжен.

После этого, пригрозив нагайкой, всадники повернули коней и галопом поехали из города.

Озадаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили все скопом к провинциальной канцелярии, куда, по набату соборной колокольни, сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь секунд-майору Герасимову народ кричал:

— Защищаться нам нечем! Погибли мы... Веди нас государя встречать с хлебом-солью.

Герасимов повиновался.

Вскоре вся толпа в сопровождении духовенства и купечества вышла из города и в версте на возвышенном месте остановилась.

День был золотой, солнечный, и кругом было рассыпано золото: блистали богатые ризы духовенства; отливали блестками иконы, кресты, хоругви с мишурными кистями; золотились поспевшие нивы; часть хлеба уже была сжата. Но жнецов в поле не было, золотистые нивы — сплошная пустыня. Дозревали высокие льны. Пред глазами широкая лежала даль, подернутая таинственной сизой пеленой, за которой чудилось жителям шествие грозного царя; что-то будет, что-то будет, господи...

Народ разбился на кучки, уселись на земле, а некоторые и прилегли — снопы в головы. Духовные лица, сняв парчовое облачение, вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернцовым расположились вдоль канавки, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины, поданной боконогим поповичем, сдобные ватрушки, с проворством стал жевать. Дьякон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымили трубками. Всюду разговоры, разговоры. Огромный жужжащий табор.

А золотое, все в пожаре солнце сияет с высоты, и нежно голубеет спокойное небо. Легкие, как бы невесомые, жаворонки утвердились в воздушном океане, словно на ветвях невидимого дерева, и, перекликаясь друг с другом переливчатыми трелями, с зари до зари воздавали хвалу животворящему духу. Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как и люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны на притихшую толпу надвигается ветер ли, буря ли, а может, шествует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь.

Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе — и вся дорога запылила, версты на три. Глаз стал различать ехавший впереди отряд всадников.

Духовенство принялось облачаться, офицеры одергивать мундиры, подтягивать шелковые с кистями кушаки, купцы расчесывать гребнями бороды и волосы, толпа размещаться по обе стороны дороги, выдвигать наперед почтенных стариков.

Пугачев к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Федор Чумаков и адъютант Давилин.

По обычаю, приложившись ко кресту, Пугачев устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вел беседу:

— Вот и царя узрели, детушки... Дарю вам жизнь безбедную. В моем царстве-государстве, ежели всемогущий господь сподобит воссесть мне на престол, тиранства вам от бар не будет. Я слезы ваши вытру, только послужите мне.

— Послужим, отец наш! Будь в надеже! — радостно откликнулся народ.

— А где же воевода ваш и достальное начальство? — спросил Пугачев.

— А воевода Всеволожский сбежал, твое величество.

Пугачев переглянулся с Чумаковым, насупил брови.

Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Яковлевича Кознова. Для

пущего парада Емельян Иваныч приказал ратману купцу Мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он сроду так не езживал: сидел в седле потешно; рыжая, как пламень, борода его дрожала, левая штанина вылезла из сапога, шляпа сползла на затылок; купец в страхе бормотал:

— Ой, упаду, ой, светы мои, брякнушь! — Красное лицо его покрылось испариной.

Глядя на него, Пугачев улыбался. А осмелевший народ, попевая вприпрыжку за процессией, смеясь, кричал:

— Падай, падай, скорее, Иван Павлыч, покедова мягко!..

Однако купец при въезде в город успел-таки оправиться: распустив по груди пламенную бородищу и помахивая нагайкой, он уже покрикивал:

— Шапки долой перед государем! Шапки долой!

Но и так все были без шапок. «А бургомистр, купец Елизаров, ускоряя прежде всех, — как впоследствии отметил местный летописец, — дожидался у ворот встретить злодея».

Пугачев пригласил за стол из своих ближних только двенадцать человек. Пищу разносили не слуги, а сами купцы с шутками и прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей. Пили за здоровье Петра Третьего, государыни Устиньи Петровны и наследника-цесаревича. Пугачев был доволен. Он снял кафтан со звездой и остался в одной шелковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щеки не подбривал, на висках белела седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку да хорошенько потолочь, подлить конопляного масла и покрепче посолить. Ел, облизываясь и от удовольствия побрякивая. Блаженно жмурился, говорил:

— Это кушанье турецкое. К нему приобык я, как жил в укрытии у дружка моего — турецкого султана. Ась? Ну вот, господа купцы, таперь вы, да и все городские жители, моими казаками называетесь. Ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не стану. А соль

я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хошь, запрету от моего царского имени не будет, и промышляй всякий про себя.

В это время в городе и на базаре было шумно, разгульно, весело. Пугачевцы выпустили из тюрьмы всех колодников, растворили питейные дома, трактиры, соляные амбары, разрешив народу пить вино и брать соль безденежно. Однако они выставили от себя надсмотрщиков, чтоб соль бралась по справедливости и вином чтоб не упивались до потери сознания.

Тем не менее многие перепились. Бродили по улицам, орали песни, ругались. Чахоточный высокий сапожник в кожаном фартуке, с ремешком на голове, совался носом по дороге, потрясал кулаком, хохотал и пьяно выкрикивал:

— Эй, народы! Дома кашу не вари, все по городу ходи! Ха-ха-ха... Грабь богатеев!

Кое-где действительно уже зачинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на запоре. Грабители перелезали заплоты, вваливались во дворы, вступали в бой с цепными, спущенными на волю собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На соборной площади толпа разбивала торговый, с красным товаром, лабаз. Пугачевцы отогнали толпу нагайками. В одном месте священник кладбищенской церкви вышел с крестом в руках увещевать бунтов, но толпа надавала ему по шее, поп едва убежал.

По улице пугачевцы волокли вешать усача целовальника, однако толпа вступилась за него:

— Кормильцы, радетели! Не трог Моисея Лукича! Он человек бесхитростный, добрецкий. В долг бедноте дает...

Целовальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом полились слезы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке.

— Стой!

В тарантасе сидели, связанные, бледные, трое: пожилой мужчина со злыми глазами, женщина, должно быть жена его, и сын, паренек лет тринадцати. Рядом

с ямщиком и в тарантасе — четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели:

— Получайте! Их, гадов, бар-то этих, человек двадцать ночью сбежало из города-то... А пымали одного. Это помещики Арбузиковы, самые лиходеи! Сам-то из полицейских крючков выслужился, нахапал взяткой, хабару с живого-мертвого драл...

— Вешать!.. — заорала толпа. — Веди к воротам...

— Братцы! Огонька бы по городу пустить!.. — кто-то выкрикнул.

Но крикуна-поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлей.

Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачев сказал:

— Полковник Чумаков! Поди уйми народ...

— Да уж таперичь не унять, батюшка твое величество, — ответил Чумаков. — Пушай погуляют...

— Ну, ин ладно... Только чтоб купцов моих не забижали. А пикеты расставлены?

— Расставлены, батюшка, — почтительно сказал Чумаков. — Чичас оттудов сержант Мишкин да два есаула... Доклад чинили мне. Наши в городе пушки да порох с ядрам забирают да медные деньги на возы грузят...

— Добро, — сказал Пугачев и вдруг, обратясь к сидевшим против него офицерам, поразил их такими словами: — А ведомо ли вам, господа офицеры, что вожу я с собой в походах знамя голштинское? Ась? Ведь у меня было в Ранбове, где я пребывание имел, трехтысячное войско голштинцев, и пешие и конные полки. Ну, так у них свои были знамена. — Обо всем этом Пугачеву удалось выведать у полковника Падурова и передавшегося ему под Оренбургом офицера Горбатова. Поэтому рассказ он вел уверенно. — А как моя жена, прелюбодейная Катерина, сговорившись с великими вельможами да с жеребцами Орловыми; лишила меня престола, все оные знамена были сенатом схоронены в кованый сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, как пришел в возраст, так отца-то своего пожалел. Пожалел, детушки, дай бог ему здоровья. — Пугачев пере-

крестился. — И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. Давилин! Покажи господам офицерам знамя мое.

Дежурный Давилин принес из угла комнаты древяно со свернутым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем «П III» и крупным черноперым орлом.

Пугачев поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, вскочили.

Секунд-майор Герасимов сначала побледнел как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок. Пред ним было доподлинное императорское знамя, принадлежащее голштинскому в Ораниенбауме воинскому отряду.

— Ну, господин майор, что скажешь?

— Ваше величество, — весь внутренно содрогаясь, ответил Герасимов, — когда я кончил шляхетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Ораниенбауме... А вы в то время...

— Стой, майор Герасимов! Будь моим полковником...

— Низко кланяюсь вашему величеству... Не заслужил... Благодарю... государь, — заволновался, нервно замигал полнощеким, в годах, Герасимов.

Емельян Иваныч постучал костяшками согнутых пальцев в стол и крикнул:

— Гей, атаманы! Да и вы, люди торговые! Прислушайтесь, что полковник Герасимов толкует.

Шум и разговоры тотчас смолкли. Взоры всех направились в сторону государя. Он сел, откинул свисшие на глаза волосы, огладил бороду, кивнул офицеру. Тот, сметив, что от него требуется, громко повторил сказанное и продолжал:

— В то время, помню, вы изволили чинить смотр своим голштинским войскам. Вы тогда были молодой, без бороды. А общие черты вашего лица сохранились теми же и поныне...

— Ась? Сохранилось лицо-то мое? — радостно подбоченился Пугачев и, приосанившись, поглядывал

орлом то на Герасимова, то на атаманов с купечеством. — Слышали, господа казаки? Говори, полковник.

— И вот, как сейчас вижу пред своими глазами это голубое знамя... как сейчас... Без всякого сумления, это оно и есть!

— Как есть оно! А я, стало быть, не кто иной, как природный император Петр Федорыч Третий... Пускайка Михельсон с Муфелем понюхают знамя-то, чем пахнет, да носами покрутят... Ах, злодеи, ах, изменники! Ну, погоди ж!

Пугачев уехал из Пензы под вечер, забрав с собою 6 пушек, 593 ядра, 54 пуда свинца, 16 пудов пороху, много ружей и сабель. А медных денег было взято 13 233 рубля 63³/₄ копейки, ими нагрузили 40 подвод. Пугачев распорядился три бочонка с деньгами подарить протопопу, два бочонка — штатным солдатам, шесть бочонков — инвалидной команде, а часть денег была разбросана народу. Емельян Иваныч направился к городу Петровску, в сторону Саратова, и, отъехав от Пензы всего верст семь, остановился лагерем.

На другой день с утра по улицам города было расклеено объявление:

«Сего августа 3 числа, по именному его императорского величества указу, г. секунд-майор Гаврило Герасимов награжден рангом полковника и поручено ему содержать город Пензу под своим ведением и почитаться главным командиром. Да для наилучшего исправления и порядка определен быть в товарищах купец Андрей Яковлевич Кознов. И во исполнение оного высочайшего указа велено об оном в городе Пензе опубликовать, чего ради сим и публикуется.

Товарищ воеводы *Андрей Кознов*».

В тот же день было вывешено и другое объявление, от нового воеводы полковника Герасимова:

«По именному его величества высочайшему изуст-

ному повелению приказано г. Пензе со всех обывателей собрать чрез час в армию его величества казаков пятьсот человек, сколь есть конных, а достальных пеших, которые обнадежены высочайшею его императорского величества милостью, что они как лошадьми, так и прочею принадлежностью снабдены будут. А если вскорости собраны не будут, то поступлено будет по всей строгости его величества гнева сожжением всего города».

Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать.

Вскоре было набрано двести человек и при прапорщике отправлено к Пугачеву. Тот остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с армией дальше. Герасимов, искренно принимавший самозванца за царя, тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в сорока верстах от Пензы.

— Что же ты, полковник, не исполняешь моего прикажу? Ась?

Герасимов, выразив верноподданнические чувства, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу.

Пугачев двигался быстро. Он опасался встречи с правительственными отрядами и спешил загодя уйти от них. Отряды же Муфеля и Меллина в свою очередь боялись встречи с главной пугачевской армией. Они с успехом разбивали мелкие повстанческие партии, состоящие из крестьян, барской дворни, однодворцев и поповских сыновей, грозного же Емельяна Пугачева страшились как огня. Так граф Меллин, имея тысячу человек отлично вооруженной пехоты и двести улан-кавалеристов, остановился в экономическом селе Городище, в сорока верстах от Пензы, которая в это время занята была Пугачевым, и стал выжидать здесь, когда Пугачев Пензу покинет¹. А ведь Меллину было предписано идти по следам

¹ Тхоржевский, Пугачевщина в помещицкой России, стр. 107.

«злодейской толпы» и, как только она будет обнаружена, немедленно вступить с ней в бой. Но он, очевидно переоценивая силы Пугачева и желая сохранить жизнь свою, на это не отважился. Прожив в полном бездействии трое суток, он послал туда двух ямщиков села Городища, братьев Григорьевых, а вдогонку им сельского старосту — с наказом разузнать и донести ему о выходе Пугачева из Пензы. И Меллин только тогда насмелился выступить походом к Пензе, когда ему все три посланца, вернувшись, сообщили, что «злодейская толпа еще вчерась побежала по саратовской дороге!» Подобные очень важные и весьма курьезные обстоятельства были на руку Пугачеву: они укрепляли в населении веру в несокрушимую силу «батюшки-заступничка» и в то, что он действительно природный царь есть.

— Видали, братцы, — озадаченно говорили мужики. — Генералы-т побаиваются... Чуют, что не кто иной, а сам ампирактор Петр Федорыч шествует. Уж они-то, генералы-т, зна-а-ют, их на мякине-т не обманешь.

— Гей, братцы. Живчиком собирайся к батюшке...

Вслед за Меллиным 5 августа вступил в Пензу и Муфель.

Ставленники Пугачева — Герасимов и купец Кознов — были арестованы, отправлены в казанскую секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, были на площади под виселицей наказаны кнутом, четверо закачались в петлях. Здесь же были сечены плетями и купцы-хлебосолы.

Граф Меллин, делая форсированные марши по сорок, по шестьдесят верст в сутки, выступил далее. А оставшийся в Пензе Муфель оказался среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных помещичьих селеньях.

Проходя со своей армией, Пугачев видел, как днем и ночью горят повсеместно барские гнезда. И со всех сторон толпами валят к «царю-батюшке» восставшие мужики.

Но, несмотря на это, ядро пугачевских сил не возрастало, а постепенно таяло.

Огромной толпе, не в одну тысячу человек, с большим обозом идти по одной дороге не было возможности: не хватало ни кормов для людей, ни фуража для коней. Поэтому волей-неволей от главной армии отделялись порядочные толпы воинственно настроенных крестьян.

Не спросясь Пугачева, они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уездам.

Так, отрываясь от главного пожара, всюду разлетаются гонимые ветром огненные головешки, они падают то здесь, то там, и вот воспламеняются новые пожары, вступают в жизнь новые проявления мстящей вольности народной.

Эти мстительные толпы, передвигаясь с места на место, быстро обрастали почуявшими волю крепостными крестьянами, пахотными солдатами, а зачастую и обнищавшими дворянами-однодворцами.

Так, крепостной крестьянин графини Голицыной, Федот Иванов, успел собрать толпу до трех тысяч человек и носился с нею вихрем по всему уезду.

Предводители этих отдельных от Пугачева толп возили с собой указы «мужицкого царя», хватали помещиков, направляли их к Пугачеву или убивали на месте. Находившиеся в таких ватагах пугачевские казаки были много милосерднее крестьян. Казаки иногда пробовали держаться в каких-то — впрочем, довольно призрачных — рамках законности, требовали хоть какого-нибудь расследования обстоятельств дела: может статься, помещики не были для своих крестьян жестокими тиранами. Однако крестьяне в один голос вопили:

— Вешать! Он нынче хорош, а завтра хуже дьявола. Батюшка всех бар вешать повелел, под метелку! Бар не будет, земля вся мужику перейдет! Вешать! Вешали помещиков, приказчиков, старост.

Богатые помещики сравнительно страдали мало — они своевременно успевали скрыться. А баре вельможные, вроде княгини Голицыной или графа Шереметева,

и вовсе не платились жизнью, они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделялись только материальными убытками: их поместья сжигались, богатства расхищались.

Больше всех, как это ни странно, были истребляемы помещики средней руки и даже мелкота. Впрочем, многие из них, именно владельцы среднего достатка, в своей погоне за наживой, за тем, чтоб не отстать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали из своих крестьян путем насилия все, что можно, и этим страшно озлобляли против себя подъяремных крепостных. Народная месть обрушивалась, помимо помещиков, также на управителей имениями, на приказчиков, бурмистров. Эти наемники, стараясь оправдать доверие своих господ, да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами баре.

Сбежавшие из Пензы пред вступлением Пугачева в этот город воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к Пугачеву на суд, но по дороге, в деревне Скачки, конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря Дудкин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачева, были повешены толпою Иванова в селе Головшине.

Спасаясь от Пугачева, все они угодили в плен к разъяренным толпам. И как знать! Сдайся они на милость «мужицкого царя», может быть, все остались бы целы-невредимы. И таких случаев народной мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде так или иначе пострадало до ста пятидесяти помещичьих семейств, или до шестисот человек.

Однако Емельян Иваныч Пугачев вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия.

Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что пугачевское движение теперь утратило почти всякое организационное начало и вылилось в форму движения стихийного.

Да оно и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то, что мятежная столица Берда, где «мужицкий царь» полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая Военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волей Пугачева, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В Военную коллегию являлись за приказами пугачевские полковники и атаманы, они без ее повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, и почти ни один сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от ее внимания.

Потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтыщи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И не было времени ему одуматься, чтоб снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом.

И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал.

Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси, начиналось пугачевское движение без Пугачева, вне его направляющей воли.

Как уже мы видели, от центральных пугачевских сил отделялись толпы и без ведома своего царя устремлялись на самостийную работу.

Зачастую подобные толпы возникали сами собой в разных местах. Участники их в глаза не видывали Пугачева, — что им «мужицкий царь» — они сами Петры Федоровичи! И набеглых Петров Третьих — разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцеляристов Сидоровых, поповичей Преклонских — можно было насчитать по России немалое количество, Все они

Петры Третьи или его полковники. Но сам Пугачев не имел о них ни малейшего понятия, они тоже знали его только понаслышке.

А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович¹, шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключенный в Шлиссельбургскую крепость и там давным-давно убитый. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех проходящих к нему щедро награждал деньгами. «Меня хотели убить, Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, — взывал он к народу, — но всемогущий бог спас меня. Я ваш император Иоанн». Темные попы валились пред ним на колени, служили о его здравии молебны.

В маленький городишко Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооруженных крестьянина. Оба — грозные обличьем, заросшие густыми бородами.

Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре:

— Я — царь ваш, миряне, Петр Федорович Третий! Великое воинство идет за мной.

Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о «царе-батюшке», потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.

— Ой, батюшка! Ой, свет ты наш! — завопили окружившие всадников крестьяне.

Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители и помещичья дворня стали сбегаться на базар, воевода и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергся разграблению, побито было до восьмидесяти человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильникам сопротивление.

Из Инсара «Петр Третий» (он же Евстафьев) увел толпу в Троицк, жители которого, сразу покоровшись

¹ Из рапорта губернатора Украинской Слободской губернии генерал-поруч. Щербинина графу П. И. Панину.

самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ князь Чегодаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком, с дубинками, косами, топорами, повалила за своим «Петром Третьим» в Краснослободск, затем в Темников и, разбив эти города, стала приближаться к Ардатову. Около Керенска он был разбит.

Действовал также со своей толпой литейный мастер инсарского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казенные заводы Сивинский, Рябукинский, Виндревский и Троицкий винокуренный. Толпа мастера Мартынова выросла до двух тысяч человек, но в конце концов она была разбита.

Работала также команда из двенадцати человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски; он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керенск и Богородицкий монастырь. Когда служили в монастыре молебен с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху попадали на пол.

Начал организовываться отряд повстанцев и среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали «колебания» и «замешательства» и в других местах Тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. «О тульских обращениях» Екатерина писала в Москву князю Волконскому: «Слух есть, будто там, между ружейными мастерами, беспокойно. Я ныне там заказала девяносто тысяч ружей для арсенала: вот им работа года на четыре, — шуметь не станут».

Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка, да и возглавлялись людьми неподходящими.

Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого, смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося «полковником государя императора». От его огромной толпы в свою очередь отделялись небольшие отряды и, опять-таки без ведома Иванова, устремлялись на добычу.

Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо, в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимая Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал двести человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова.

В тридцати верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой. Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с одетыми в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до трехсот человек убитыми; сто семьдесят крестьян попало в плен; было захвачено несколько чугунных пушек и две медных мортиры.

Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшееся в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.

Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу на суд «царя-батюшки». Но Пугачева там крестьяне уже не застали и, раздосадованные, повезли дворян обратно, вслед за государем.

— Куда везете этих гадов? — остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачевцы. — Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов. Он их всех подымет кверху. А нет, сами расправьтесь.

— Пятые сутки треплемся, — жаловались крестьяне. — Лошадей-то притомили. Эй, Макар! — кричали они переднему вознице. — Поворачивай нито в лесок. И впрямь кончать надо с гадами.

Один из находившихся в этой группе обреченных, помещик Яков Линеv, впоследствии писал в Москву своему приятелю: «Остановясь в лесу, велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины, чтобы переколоть нас. Но в самый тот час прибывший конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех мужиков переловили. Из коих злодеев: шестеро пятерили, четыре повешены, прочие, человек двадцать, кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего пред казнь, то и увидели бы меня в одном армячке, сертуке без камзола, стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку».

4

— ...Не падайте духом, государь, — продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов.

Пугачев молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога.

Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающих свечи на столе. В переднем углу, перед образами, скупом помигивает огонек лампы. Истоптанный ковер на полу. Возле изразцовой печи — голштинское знамя и другое — государево, с белым восьмиконечным крестом. В стороне, за печкой, на брошенном тюфяке храпит — руки за голову — верный друг царя, атаман Перфильев.

За окном — костры, отдельные выкрики, посвисты; затихающая песня, и возле церковной ограды — утрашающая виселица. Темно. В темном небе серебрятся звезды. В комнате сутемень. Колышутся дремотные огоньки, ходят тени по стене.

Пугачев в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к изразцам холодной печи. Его открытое, обрамленное волнистыми белокурыми волосами лицо полно решимости, взор напряжен. Ну, что будет, то будет: смерть так смерть, но он решил, наконец, перемолвиться с Пугачевым откровенным словом.

— Не падайте духом, государь, — повторяет он. — Замысел ваш бесспорно смел... А посему и ошибки, — а их много у вас, — тоже неизбежны, понятны и... я бы сказал... зело немалые.

— Ошибки не обман, — хмуро промолвил Пугачев.

— Избави бог, ничуть, — пожал плечами Горбатов. — Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу.

— Верно, верно! — Пугачев порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикриком взмахивал рукой. Видимо, он искал слов, которые правильно выразили бы его думы, и сразу не мог таких слов найти.

Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, наконец сказал:

— Ведь ваши намеренья большие, я бы сказал, огромные. И ежели вы все потеряете из-за немалой смелости своей, за вами все же останется слава великого бунтаря. И потомки упрекнут вас в неспособности не посмеют.

Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачев вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес:

— Мила-а-й! Благодарствую. И как на духу тебе. Намеренья-то мои, это верно, горазд большущие, а силенки-то надежной в моих руках нетути... Нетути! Вот и казнюсь таперь и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горючими обливаюсь. Только такую от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об эфтом... А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомнит меня по-доброму, спасибо тебе, сынок... Да ведь и мне так думается: ежели я загину, на мое место еще кто да нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет.

Пугачев отсморкнулся, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил:

— Верно, что, когда дело зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок... Эх, думал я, дам взбучку старшинам Яицкого войска за их злодейства лютые, тряхну начальство, да и прочь с казачьей голытьбой куда глаза глядят. А тут вижу — не-е-ет... Вижу — день ото дня гуще дело-то выходит, крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. И уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я: будь что будет! И покатился я, как снежный ком, все больше да больше стал облипать народом. А тут — пых-трах, без малого весь Урал-гора, все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись! Во как... Вот тут-то, чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне приклонилось, уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя... Орлом! У меня тут, чуешь, гусли-мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгадь! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко облестительный: ударить на Москву, поднять всю Русь, а как придут из Туретчины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идете? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую, владейте безданно, беспошлинно, будьте отныне вольны. Нате вам царство, нате государство, давайте устраивать жизнь-судьбу, как краше. Не враг я народу, а кровный друг!» — Пугачев перевел дух и спросил: — Ну, как думаешь, полковник?..

— Я не полковник, а майор, ваше величество, — перебил его Горбатов.

— Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказало бы в ответ мне войско?

— Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.

— Правда твоя, генерал. Будь отныне моим генералом. Люб ты мне. Лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршалы вскорости произвел бы, да

чую, бросишь ты меня... И все вы меня бросите, предадите... — с особым надрывом тихо сказал Пугачев и опустил на грудь голову.

— Избави бог, государь! Я до конца дней с вами! — прокричал Горбатов.

— Знаю. А все ж таки чую, и ты спокинешь меня, убоишься петли-то... — Пугачев сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал: — А вот я не боюсь, не боюсь!.. Мне гадалка-старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь... Пожил, погулял двенадцать годков после своей неверной смерти и — будет с меня... Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорыч...

По губам Андрея Горбатова скользнула легкая ухмылка. С минуту длилось молчание. Пугачев опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера и спросил:

— Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорыч Третий?

Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес:

— Да нешто вы и в самом деле император Петр Третий?

Пугачев, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера.

— А как ты думаешь, твое превосходительство? — стоя влоборота к Горбатову, сурово и раздельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взрыбилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза.

Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле. Однако, овладев собой, он с напряженным спокойствием проговорил:

— Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в историю о борцах за народ! Про вас станут песни складывать, как про Разина...

Пугачев не вдруг осмыслил слова офицера.

— Борцов? За народ? Песни складывать? — недоуменно бросал он, двигая бровями и глядя через пле-

чо в глаза Горбатова. — Ишь ты, ишь ты... — Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой, напористо спросил:

— Ну, а все ж таки... Раз на тебя сумнительство напало... Ежели я не царь по-твоему, не Петр Федорыч, так кто же я? Отвечай немедля!

Горбатов, как замороженный, молчал, губы его подергивались, сердце сбивалось.

— Отвечай, царь я или не царь?! — резко притопнув ногой, крикнул Пугачев.

— Нет, вы не царь, — все тем же спокойным голосом ответил Горбатов, от крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступала испарина. — Вы не император.

Пугачев, как раненый зверь, прынул в сторону, взмотнул локтями, в мыслях стегнуло: «Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры?» Желчь растеклась по жилам Пугачева. В нем все кипело.

— Изменник! Согрубитель! — свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренно сжался, пальцы на его руках затрепетали. — Мало я вам, злодеям, головы рубил! — Пугачев порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека, ему было жаль умерщвлять его.

— В последний раз! Царь я или не царь?!

Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он выдохнул:

— В последний раз говорю: вы не император.

— Так кто же я?! — взревел Пугачев и выхватил из ножен острую, в белом огне, саблю.

— Вы выше императора, — каким-то особым, приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачева: — Вы народа вождь! — И Горбатов вытянулся перед Пугачевым, как в строю.

Емельян Иваныч враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще более выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба

стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.

— Выше императора... Как это так — выше? Чего-то шибко заковыристо, в толк взять не могу, — бормотал Пугачев, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.

— Все очень просто и понятно, — сказал Горбатов и, помедля малое время, продолжал: — Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда...

— Пошто так?

— Кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? — продолжал Горбатов. — Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный... Бездельник великий и пьяница! Это всему свету ведомо...

Снова наступила тишина. Из груди Пугачева снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слышал подобных слов: они ударяли ему в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:

— Милай... Друг... Уж ты прости меня, ежели побидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав... Только, чуешь, хитро, ой хитро ты говоришь... И со смелостью!

Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и — нога за ногу — подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.

«Народа вождь... Выше императора...» — каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова... «Выше императора... Неужто выше?»

Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал и бредил. Горбатову стало неловко. Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачева, произнес:

— Покойной ночи, ваше величество!

Пугачев, не поворачиваясь, отмахнулся рукой и ничего не ответил. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.

5

Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальний родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.

— Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был.. Могутный да пригожий. Ну-ну...

— А ты сам-то как до нас добрался? — спрашивали его.

— Когда Оренбург освободили да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки... Да ведь я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись... — Голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навывкате — задорные.

Его привели к Пугачеву. «Батюшка» обрадовался, начал обо всем с жадностью выпрашивать, казак отвечал срывающимся, робким голосом, а когда Емельян Иваныч усадил его и велел поднести вина, Оладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказал об Оренбурге и, понаслышке, об Яицком городке, что государыня Устинья Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней схвачена вся ее родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие-прочие.

Брови Пугачева изломались, рот перекосялся, он ударил кулаком в коленку и, замотав головой, крикнул:

— Пропала государыня! Пропала Устинья Петровна! Замучают ее, бедную.

Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней — другую, наполнил третью... Закусывал селедками, рвал их руками, обсасывал пальцы, отирал о рушник. Выпил третью... Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в темную с заметной сединой бороду:

— Пропала, пропала... Эх, пропала, бедная головушка...

— И еще хочу сказать, — обсасывая хвост селедки, заговорил Оладушкин. — Хлопуше, названому полковнику вашего величества, принародно казнь была.

— О-о-о, — протянул Пугачев и вскинул на казака вновь ожившие глаза. — А ты видел, что ли?

— Самовидцем был... В крепости вешали-то, под барабаны. Мы с солдатней кругом помоста стояли, в походном строю, с хорунками да со значками. А народ-то на валу. Густо народу было... И как кончил чиновник бумагу оглашать да повели Хлопушу к петле, вот он и возгаркнул во весь народ, как в колокол брякнул: «А Казань-то, орет, батюшкой взята!.. Начальство перевешано!..» Тут ему рот хотели заткнуть, а он, безносый, страшительный, рванулся да свое: «И вам, кричит, то же будет от батюшки, сволочи!.. Он истинный царь!»

Пугачев опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью:

— Верный он, самый верный... Хлопуша-то... И не Хлопуша он, а Соколов — работный человек. Да, брат, да, казак... Невеселые ты мне вести привез, старик. Вести твои дрянь дрянью...

Пугачев снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов Хлопуши ему вспомнилась Казань, вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил:

— Слышь, казак! А про приемную дочку Симонова ничего не чутко? Она подружкой государыни Устиньи была.

— Как же, известно! — воскликнул казак и, оскалив зубы, чихнул в шапку, — Нареченная мать ее, комен-

дантша-то, одна возвратилась быдто. А барышня-то, Даша-то... Кто его знает, чего подеялось с ней. Одни болтают, быдто она из монастыря в бега ударилась, жених быдто у нее где-то... А другие толкуют, что от тоски да от печали с колокольни бросилась. То ли с колокольни, то ли в Волге, сердешная, утопилась...

Пугачев, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно, исподлобья. Раздумывал: «Сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить?» И решил: «Не надо!»

— Мне ведомо, что Яицкий городок захвачен неприятелем, — раздувая усы, сказал он. — Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет, она поди роду-то казацкого... А она, вишь, оплошала... Как же так не уберегли ее, не удозорили...

— Да вы, батюшка ваше величество, не печалуйтесь: авось господь праведный и спас Устинью-то Петровну, — взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похотливо косясь на свой пустой стакашек. — Как ехали мы, батюшка, Русью, всячинки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужик остервенел, бар изничтожает.

— Так остервенел, говоришь, мужик-то? — И Пугачев прищурил правый глаз.

— Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того, народ со усердием повсеместно поджидает вас, а того более — самосильно к вам, батюшка, валит. Насмотрелись мы и страшного и смешного. В одном селенье сказывали нам, приехал-де царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали — это от батюшки, вышли встречать вместях с попом и всем миром, со старостой да с десятскими, повалились-де на колени, а сами кричим: «Мы все слуги верные царя-батюшки... Мосты все у нас вымощены, гати излажены, ждем не дождемся отца нашего, где он, царь-государь, далече ли?» А офицер на нас: «Ах вы сволочи! Хватай их!» Ну мы-де все — кто в кусты, кто в лес, как зайцы от гончих собак, дай бог ноги...

Пугачев улыбнолся, налил казаку стакашек и сказал:

— Пей, старик! Чего поздно ко мне-то передался, ведь я полгода под Оренбургом был?

— Батюшка царь-государь! Я, ведаешь, не один к тебе, нас десятеро, да двоих, правда, смерть сразила в сшибах со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне: ой, ребята, поздно... А они мне: может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз, ты-то вот куда прешься? А я им: перед народом-де оправдаться хочу, чтоб было с чем на божий суд после смерти прийти, я-де вижу, как весь народ подъяремный страждет, а я, старый окомелок, на боку лежу, трубочку покуриваю да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю, в зернь.

— Ну, спасибо тебе, старик. А где ж дружки-то твои?

— Воюют, батюшка... Да поди вназадолге явятся. Ведь мы двадцать пять ружей да пудов с пять пороху в дороге-то поднакопили. А под Царицыном слых был, мол, на Дону казачья беднота пошумливает, к тебе ладит подаваться...

— Добро, добро, — повеселел Пугачев и, обласкав старика, приказал явиться ему к атаману Овчинникову.

После варварской казни Хлопуши в Оренбурге состоялась и жестокая расправа с архимандритом Александром в Казани.

Живейшее участие в этом принял председатель секретной комиссии генерал-майор Потемкин. Превысив полномочия, он усугубил постановление синода и решил учинить расправу с архимандритом при многолюдстве.

Допросы с пристрастием вел сам Потемкин. На вопрос: «Зачем ты принимал у себя самозванца, яко царя?» — последовал ответ: «Страха ради». Тогда Потемкин своей рукой нанес Александру заушение. Тот удивился и сказал: «Ежели я враг ваш, то Христос и врагов своих заповедал любить, зачем бьете меня?» То-

гда Потемкин, развернувшись, ударил Александра с такой силой, что из носа архимандрита поструилась кровь. На многочисленных допросах пугачевцев Потемкин привык избивать людей, это питало его злобу и составляло удовольствие. Он помаленьку всех смирил, вот только Зарубин-Чика упорен, как скала. Этот отъявленный злодей с цыганской харей неустрашим и дерзок. Он позволил себе назвать Потемкина дохлой обсняманной собакой... Ну да он с этим заядлым башибузуком еще найдет способ перемолвиться.

В двенадцать часов дня Александр был приведен из секретной комиссии прямо в алтарь соборной церкви. Он был в тяжелых оковах. Его трудно было узнать. Величественный и стройный, он сгорбился, темная пышная борода висела клочьями, белые холеные руки трепетали, измученные глаза глубоко запали, он весь состарился, стал жалок видом.

В алтаре, не снимая с него оков, бывшего архимандрита облачили в парчовые ризы и митру со сверкающими камнями-самоцветами. Протопоп с протодиаконном вывели его на середину церкви, переполненной народом. Он шел, низко опустив голову и гремя цепями. Солдаты с ружьями и примкнутыми к ним штыками стояли у северных дверей алтаря. Затем появились губернатор, Потемкин и архиепископ казанский Вениамин с клиром.

Все двинулись на улицу. Александр был введен на эшафот. Соборная площадь кишмя кишела народом, и все ярусы колокольни унизаны зеваками. На кресте сидела галка, серое небо куксилось, вот-вот брызнет дождь.

Эшафот был окружен солдатами, впереди толпы, выставив тугой живот, стояла беременная женщина в сермяжной паневе, держала за руку ребенка. Говорили, что это родная сестра Александра, а рядом с ней муж ее, суконный мастер, одетый в коричневую чуйку.

Ударили барабаны, чиновник прочел приговор, к Александру подошел высокий и тощий палач в красной рубахе и с овечьими ножницами в руке, он остриг архимандриту темную, когда-то холеную бороду и обрезал под самый корень длинные густые волосы на

голове. Затем сорвали с осужденного парчовое облачение и одели в потрепанный мужицкий кафтан с лаптями. И стал великолепный архимандрит Александр закованным в кандалы, задрипанным крестьянином, уже не Александром, а Андреем.

Возомнив свою особу стоящею превыше губернатора и престарелого владыки Вениамина, генерал-майор Потемкин не постеснялся нарушить установленную форму карающего судопроизводства. Уже когда казалось все конченным, он взобрался на эшафот и, долговязо путаясь ногами в длинной шашке, подошел к осужденному вплотную. Затем сердито дернул бывшего архимандрита за рукав зипуна и, обратясь к народу, гулко прокричал командирским голосом:

— Отвечай, смерд, каторжник Андрейко, пред всем православным народом, отвечай, да не мямли, а громко и отчетливо... Признаешь ли ты богомерзкого злодея Емельку Пугачева самозванцем?

Испитое лицо осужденного побледнело еще больше, но глаза вспыхнули огнем, он встряхнул кандалами и резким, пронзающим голосом на всю площадь закричал:

— Да, признаю Пугачева самозванцем, но он несравнимо более милосерд, чем ты, христианин, и вся твоя комиссия!

Потемкин, стиснув губы, наотмашь ударил его со всей силы. Осужденный упал, и тотчас же с воем и рыданием упала женщина, сестра его.

6

После ночного разговора с Горбатовым у Пугачева осталось чувство недоговоренности, в словах офицера ему многое еще было неясно. И вот на следующий день, улучив время, он подхватил Горбатова под руку, и они пошли в отдаление, к берегу речушки.

— Вчерась ты мне брякал, Горбатов, мол, император Петр Федорыч и такой и сякой, бездельник да пьяница и Россию не любил... А верно ли то? Ведь, мотри, народ-то любит Петра Федорыча. (Пугачев

умышленно так выразился: вместо «любил» молвил «любит».)

— Вряд ли народ любил Петра Федорыча, а просто по темноте своей ждал от него облегчений, — подумав, ответил Горбатов. Они сидели плечо в плечо на берегу, среди кустов. — Простонародье думало, что Петр Третий хотел от помещиков землю отобрать и отдать крестьянам, а крестьян сделать вольными, да дворяне, мол, не дозволили, лишили его царства и посадили на престол Екатерину.

Пугачев слушал внимательно, слегка склонив голову и посматривая то на пичуг, прилетавших хлебнуть водички, то на красивое, с улыбчивыми ямками на щеках, лицо Горбатова.

— А на самом-то деле, — продолжал Горбатов, — Петр Третий Россию и все русское презирал, а боготворил Фридриха Второго и все немецкое. Он издевался над русскими обычаями, русских вельмож гнал со службы, а немцев возвышал. Это показалось вельможам оскорбительным, за живое задело их, они, при помощи офицеров гвардии, учинили против ничтожного царька заговор и сбросили его с престола. А затем — убили... С ведома Екатерины, разумеется. Екатерина в манифесте опубликовала, что, дескать, император умер волею божией от геморроидальных колик. Однако народ этому веры не дал и в мечте своей решил, что бог спас помазанника своего и он скрывается в народе... Да, впрочем, вы знаете...

— Ой, смело, ой, смело ты говоришь, Горбатов, — прервал его Пугачев и нахмурился.

— Всю правду говорю, ваше величество...

Пугачев резко повернулся в его сторону и в недоумение произнес:

— Дивлюсь на тебя, Горбатов. Ведь ты вчерась говорил мне, что я не царь, а сам величаешь меня государем да вашим величеством. Ась?

— И буду! — торопливо воскликнул офицер, и оба они уставились глаза в глаза. — По мне, вы превыше всякой земной власти, я считаю вас вождем народа, посему и называю высшим на свете титулом — вашим величеством.

— Добро, добро, — грустно проговорил Пугачев и, помолчав, спросил: — Так убили, говоришь, Петра Третьего-то?

— Убили, государь, — смутившись, ответил Горбатов.

— Смело, смело говоришь, — пробормотал Пугачев. — Все в аккурат у тебя, Горбатов... В одном конце с концами не свел ты. А пошто же все-таки народ-от десятков лет ждал его, как избавителя, раз он такой паршивец, по-твоему? Поди не с бухти-барахти? Ась?

— А народ верил в него, как в чудотворную икону, как в свою мечту о воле, о земле... Народ ждал царя-избавителя еще вот по какому случаю, — делая ножом хлыстик из таловой ветки, ответил офицер. — Я полагаю, вы изволите знать, что Петр Федорыч жил не с Екатериной, а с придворной девицей Елизаветой Воронцовой...

— Эва!.. Уж мне ли этого не знать, — впервые услышав это, притворно обиженным тоном воскликнул Пугачев и бросил в пролетавшую ворону камнем.

— Так-с, — протянул Горбатов, и на его щеках обозначились улыбочивые ямочки. — Ну так вот... Оба графа Воронцовы, отец Елизаветы и дядя ее, чаяли Екатерину арестовать, а Петра Федорыча поженить на Елизавете, чтоб царицею она была. Разумеется, и сам царь этого добивался. Вот тут-то и понадобилось братьям Воронцовым укрепить в народе добрую славу о царе. А поскольку царь государственными делами заниматься не любил, да и не умел, они сами сочинили и подсунули царьку к подписи два-три указа, к облегчению участи народа клонящихся.

— Какие же указы-то? — спросил Пугачев и начал переобуваться: в правом сапоге кололо ногу.

— О том, чтоб соль народу дешевле продавать, об отобрании у монастырей крестьян и переводе их в государственные, еще предоставлялось право раскольникам, за границей находящимся, возвращаться в Россию и свободно молиться где и кто как пожелает. Вот крестьяне и подумали: царь-то батюшка заботится о

них, цену на соль сбросил, а раз от монастырей отобрал мужиков, стало — отберет и от помещиков: воля, братцы, будет. А тут старообрядцы стали в Россию приезжать да нахвалять царька: покровитель наш... Так и укрепилась за никомушным царьком в народе слава.

Горбатов смолк. Пугачев встряхнул портянку — выпал острый камешек — и принялся снова обустраиваться.

— Значит, о всем об этом в Питенбурхе ведомо было?

— В придворных кругах полная известность была, ваше величество. А впоследствии даже все заурядное офицерство об этом знало.

— Стало, слава-то о Петре Федорыче ложная была?

— Правильно изволили молвить, ваше величество, ложная, — ответил Горбатов. И с жаром продолжал: — А самое-то главное вот в чем: Петр Третий не только высшее офицерство, но и солдатство рядовое возмутил против себя своим неожиданным миром с Фридрихом Вторым... Помните прусскую-то Семилетнюю войну?

— Ой, большая заваруха тогда в Пруссии-то стряслась, — взволнованно молвил Пугачев. — Уж так-то ли мы Фридриху наклали, уж так-то распатронили, что... Все подпоры из-под ног у него вышибли и в самом Берлине были...

— Были, контрибуцию взяли, много богатства из прусской столицы вывезли, — горячо подхватил Горбатов, — а только все насмарку пошло, псу под хвост. Сколько крови пролили русские, сколько добра извели, а ему, голштинскому выродку, все нипочем, лишь бы дружка своего Фридриха выручить. И выручил!

— Вы-ручил, выручил, сукин сын! — совершенно неожиданно вскричал вдруг Пугачев и сплюнул. — Его не то что казнить, четвертовать надо было, в порошок стереть!

— Петра-то Федорыча? — едва не прыснув смехом, спросил Горбатов.

— Кого боле, — его, подлеца! — сурово сказал Пугачев и отвернулся. — Выходит, зря я его из мертвых поднял? Ась?

— Не только подняли, а и прославили, — подхватил Горбатов.

— Моя, моя, выходит, прошибка... Ой, моя вина!..

— Нету вашей вины в том, — возразил Горбатов. — Народ захотел того, народ признал вас Петром Третьим.

— Народ? — насторожился Пугачев. — А послухайка, что я тебе скажу. Вот вчерась насчет замыслов да намерений моих толковал ты, велики-де они. Велики-то, может, они и велики, да много ли толку-то от них, какая польза народу-то? Слышь, я тебе случай один поведаю. На Урале было дело, возле Белорецкого завода. Занятно, слышь. Сижу я один-одинешенек на высокой на скале, кругом непролазный лес, а подо мной речка взмывает неширокая. И вижу я — поперек речки, от берега до берега, рыба густо идет, косяком, как говорится, видимо-невидимо. И вот, батюшка ты мой, медведь шаст с того берега в воду. Встал он посередине речки на задни лапы навстречь рыбе и ну пригоршнями рыбу хватать да на берег выбрасывать. Бросит да посмотрит, бросит да опять через плечо посмотрит, видит: на берегу рыбешка трепыхается. Вот он и принялся работать со всей проворностью — швырк да швырк, швырк да швырк. Уж он и не смотрит, куда рыба летит, а все через голову, все через голову, из воды да опять в воду — швырк да швырк... Уж он кидал, кидал, аж упыхался... Ну, думает, та-перь хватит жратвы мне на всю осень, да и на зиму останется... А я гляжу на него со скалы, и таково ли мне смешно... Вот вижу, рыба вся прошла, медведь оглянулся на берег — много ли, мол, наловил. А на берегу нет ни хрена, окромя малой толики рыбешки, что попервоначалу выбросил. Так что б ты думал! Как увидал Мишка прошибку свою, схватился обеими лапами за башку, весь расшарашился и пошел, сердяга, на берег, а сам воеет, ну таково ли жалобно воеет, словно бы как навзрыд человек плачет...

— Занятно, весьма занятно, — откликнулся Горбатов, улыбаясь, и стал сшибать хлыстом листы на таловом кусте.

Заложив руки за спину и все так же вышагивая взад-вперед, Пугачев остановился и сказал:

— Вот, ведаешь, как погляжу я на свои на дела на замыслы, — и горько мне станет. А ведь, пожалуй, и я такой же медведь-дурак, ни на эстолько не задачливей его... Сам посуди, Горбатов: швырял я, швырял целый год народу рыбу, а оглянешься — нет у народа ни хрена! Я кричу: «Детушки! Земля ваша, реки, озера и вся рыба в них — ваши!..» Ну точь-в-точь, как медведь-дурак в речке, а на проверку-то — на голом месте плешь... Где она, воля-то? Где земля-то? Я покричал да ходом дальше, а Катькины войска понабежали на то место да ну людей кнутьями пороть да вешать. Вот мужики-то и подумают... Эх, скажут, батюшка, батюшка... Много ты наобещал, а сполнить ничевошеньки не мог, ни синь-пороха! Обманщик ты, батюшка.

Пугачев замолк, лицо его стало еще мрачнее, в глазах вспыхивали дикие огоньки.

— Томленье во мне какое-то, — немного погодя сказал он глухим голосом и снова сел рядом с Горбатовым, плечо в плечо. — Чего-то, чуешь, делается со мной. Спокой потерял я.

В воде всплеснула рыбешка. За речкой два татарина ловили лошадей.

Емельян Иваныч взял Горбатова под руку, тихо, сокровенно заговорил:

— Одно скажу тебе, Горбатов: настоящий ты... Мол, человек-то ты настоящий, без фальши. Был у меня еще один такой, Чика-Зарубин, да загинул... у тебя прямо от сердца все, своих думок ты не хорошишь. — Пугачев взял его за руку, посмотрел на него в упор, с горячностью сказал дрогнувшим голосом: — Так будь же ты, Горбатов, закадычным другом моим. А друг, я чаю, превыше всякого генеральского чина и званья, — и крепко обнял его.

У Горбатова запершило в горле, он не мог произнести ни слова, лишь заметил, как надсадно

вздывается грудь Пугачева, и его темные, широко открытые глаза увлажнились.

— Ну, стало, будем с тобой во друзьях, — сказал Пугачев, — а для всех прочих до поры до времени я — царь, ты — генерал мой. Понял? На том и прикончим. — Он встал, встал и Горбатов. — Слушал я тебя, голубь, и думал: вот бы поболее мне таких! А то, ведаешь, вовсе я среди атаманов своих сиротою стал, ей-ей...

— Вам ли о сиротстве, государь! — возразил Горбатов. — Весь замордованный народ с вами.

— Народ. Народ, друже мой, что зыбь морская, а ведь мы-то, чаю, сухопутные с тобой, по морю плывешь, а о землице думаешь: хоть бы островишко какой, где бы стать, голову приклонить, раны подлечить, душу отвести. Дошло до тебя это, нет?

— Дошло, ваше величество! — откликнулся Горбатов и опустил голову, чтоб скрыть невольные слезы. — Рад служить вам...

— Устойшь?

— До последнего издыхания...

— Ой ли?

— Клянусь всем дорогим мне на свете! Хоть на плаху... с вами... за вас...

Пугачев горько улыбнулся, одернул поношенный чекмень.

— Плаха, брат, штука плевая. Жить-воевать пострашнее. Особливо нам с тобой. Ведь не за себя одних ответ держим. Нас-то на плаху, а с нашим... царством... как?

— Ваше величество! — вскричал, блестя мокрыми глазами, Горбатов. — Наше царство на правде стоит, а правда живет вовеки.

— Вот и я этак же помышляю: правда со дна моря вынесет. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь — все наверх выйдет. И коль нам с тобой суждено животы за правду положить, другие ее, матушку, подхватят. Може, мы с тобой-то, знаешь, кто? Може, мы с тобой — воронята желторотые. А ворон-то вещун еще только по поднебесью порхает. Ась?

ГЛАВА V

*Гости с Дона. Огненный поток. Смерть Акулечки.
Саратов пал. Враг следует по пятам*

1

Пугачев двигался к Саратову. По пути лежал город Петровск, куда выслан был Чумаков предуготовить государю встречу. Воевода и его секретарь бежали в Астрахань. Воеводский товарищ Буткевич тоже собирался к бегству, но по совету бывшего в Саратове Державина остался. Он приказал вывести артиллерию из города, а канцелярские дела погрузить на подводы. Жители Петровска главным образом занимались хлебопашеством, и около двух тысяч так называемых пахотных солдат, собравшись вместе, побросали с телег все дела, лошадей увели, воеводского товарища арестовали, приставив к его дому караул. А прапорщику Юматову бунтари сказали:

— Ты, ваше благородие, никуда не бегай. Ежели батюшка в городок вступит, мы тебя защитим: ты, мол, человек добрый и никаких обид простому люду не чинил. Принимай над нами команду и встречай государя с колоколами да хлебом-солью.

Прапорщик Юматов, человек простецкий, с круглым, бритым, сильно обветренным лицом, посоветовавшись с женой и положившись на волю Божию, согласился: он человек многодетный, неимущий, а солдаты обещали убрать и обмолотить весь засеянный им хлеб, а также снять вторые покосы.

Пугачев вступил в Петровск к вечеру 4 августа. Население встретило его с почестями. Юматов, написав рапорт о благосостоянии города, на другой день рано поутру в мундире и при шпаге явился в царскую ставку. Пугачев не принял его, а велел привести воеводского товарища, секунд-майора Буткевича, и, услышав многие жалобы на него, как на обидчика и притеснителя, приказал пятерить его. После казни собравшимся прочитали манифест, Юматова же Пугачев произвел в полковники и назначил воеводою. И пове-

лено ему было: выдать безденежно жителям соль по три фунта на человека, вино продавать по полтора рубля ведро, а в государеву армию сколько можно доставить «казаков» и вооружить их. Юматов собрал больше трехсот человек и в рапорте на имя Пугачева назвал себя «полковником». (Он был настолько простоват, что по уходе Пугачева, рапортуя в пензенскую канцелярию о происшествии в Петровске, он точно так же подписался не прапорщиком, а полковником Юматовым. За что и был графом Меллиным, занявшим впоследствии Петровск, дважды высечен плетьюми.)

Меж тем к Петровску приближалась команда донских казаков в шестьдесят человек, высланная из Саратова по просьбе Г. Р. Державина, собравшегося ехать в Петровск, чтоб захватить там пушки, порох, деньги, навести справки о том, где Пугачев и велика ли у него сила, а также чтоб показать приунывшим саратовским властям «пример решимости».

Казачья команда под командой есаула Фомина, не доехав до Петровска десяти верст, остановилась. Сам же Фомин, майор польской службы Гогель и прапорщик Скуратов с десятью казаками выехали вперед и послали четырех казаков разузнать о числе мятежников. Эти четыре молодца — не то что проворонили, а ради любопытства — сдались в плен и были доставлены Пугачеву.

Тот, взглянув на молодых, с бритыми бородами донцов, сразу узнал своих: бравая выправка, лукавые глаза и вихрастые чубы торчат.

— Вы что за люди? Кому служите?

— Мы донские казаки, а служим всемилостивой государыне.

— Зачем, детушки, в нашу императорскую ставку подались?

— А мы присланы от командира проведать, какие люди в город вошли.

— Служили вы государыне, а теперь, как видите, сам государь пред вами, ему будете служить. Кто ваш командир, и велика ли ваша сила?

Казачья команда ответила. Пугачев оставил троих у себя, а четвертого отослал к есаулу Фомину со строгим повелением, чтоб тот и его команда, не дравшись, пре-

клонились, а ежели драться станут, то он, государь, их всех изловит и казнит.

Получив это известие, есаул Фомин вместе с двумя офицерами и отрядом казаков в семь человек тотчас поскакали обратно и, промчавшись мимо своей команды, скрылись. Оставшийся отряд казаков растерялся, а между тем по дороге от Петровска взвилась пыль: то скакала пугачевская за Фоминым погоня в полтора-раста человек. Донцы стояли молча. Пугачевцы тоже остановились. Из их толпы выехал вперед рыжебородый яицкий казак с медалью и прокричал:

— Сдавайтесь, братья казаки, не противьтесь оружием! Здесь-ка сам царь-государь Петр Федорыч. Айда с лошадой долой!

Донцы молча переглядывались между собой, но с коней не слезали. От пугачевцев был послан гонец в Петровск, и вскоре снова запылила дорога: то ехал со свитой сам Пугачев, окруженный знаменами и значками. На знаменах — изображения святых, вышитые мишурой звездочки, по краям — позументы.

Тот же рыжебородый с медалью снова крикнул:

— Айда с коней! Коль скоро государь к вам подъедет, вы сложите оружие и, припав на колени, поклонитесь.

— Вы какие? — спросил подъехавший Пугачев опустившихся на колени казаков.

— Донские мы. Были в Саратове.

— Детушки! Бог и я, государь, вас во всех винах прощаем. Ступайте в лагерь ко мне.

Пугачев взмахнул нагайкой и с несколькими всадниками погнался за офицерами. А казаков повели в лагерь. Удиравшие офицеры, встретив на пути поджидавшего их Державина, понеслись вчетвером к Саратову. Державин, забыв о том, что он ехал в Петровск показать «пример решимости», немилосердно полосовал коня нагайкой и мчался так, что в ушах выл ветер. Его треугольная с плюмажем шляпа съехала вниз и, держась на резине, приشلепывала по напряженной, согнутой спине. Сам Центавр позавидовал бы скорости его коня. Да здравствуют музы — страшная погоня далеко осталась позади.

Лагерь армии расположился возле самого города, на луговине. Тут были разбиты две палатки для Пугачева, его семьи с ребятами и третья — для секретаря Дубровского с войсковой канцелярией. Стража из яицких казаков охраняла палатки. Донские казаки прибыли в лагерь при заходе солнца и были зачислены в полк Афанасия Перфильева. Взглянув на привезенный донцами бунчук с изображением «Знамени богородицы», Перфильев спросил сотника Мелехова:

— Откуда у вас бунчук?

— Мы отвоевали его у яицких казаков еще весной, при сшибке на речке Больших Узеньях... — ответил сотник и отвел глаза в сторону.

— Эх, негоже это, братья казаки, межусобицу-то затевать. А надо всему казачеству к одному берегу прибиваться. Хоть вас и льготит государыня наособицу, только она одной рукой по шерстке гладит, другой за чубы трясет. И у вас многие вольности она прихлопнула...

— Мы понимаем, — протянул сотник, — да сумненье берет, мол, не выгорит ваше дело... Опоздали вы, опростоволосились... Под Оренбургом канитель на полгода развели. А теперь верные войска из Турции вертаются, сказывают — Панин да Суворов поведут их...

— Войска, брат Мелехов, загадка, бо-о-льшая загадка, — сдвигая и расправляя лохматые брови, сказал Перфильев. — И мне уповательно, что солдатская сила и за чернь вступиться может, за свою родную кость и кровь.

— Нет, господин полковник, — возразил Мелехов, — военачальники найдут способа оплести их да одурачить, солдат-то...

— Не знаю, не знаю, — растерянно протянул Перфильев, и его большие усы на бритом шадривом лице недружелюбно встопорщились.

Когда проиграли зóрю и смолкли барабаны, в палатку государя были позваны сотник Мелехов с хорунжими Малаховым, Поповым, Колобродовым. Все они рослые, молодые и нарядные. В палатке был на-

крыт ужин. Кроме казаков, присутствовала и государева свита.

Емельян Иваныч был в приподнятом душевном настроении: ведь заваривается дело нешуточное — кладется пробный начал дружбы между воюющей народной армией и вольным Доном. Эх, если б да сбылись мечты Емельяна Пугачева.

Когда выпили по две чарки водки, Пугачев ласково сказал:

— Пейте, детушки, не чваньтесь да служите мне и делу нашему верно. (Казаки поклонились.) Какое вы получаете жалованье от государыни?

— Мы от всемилостивейшей нашей государыни жалованьем довольны, — ответили донцы.

— Хоть вы и довольны, — наполняя чары, сказал Пугачев, — да этого и на седло мало, не токмо на лошадь. Вы, детушки, послужите у меня, не то увидите, я прямо озолочу вас... Ведь в Донском войске господа жалованье-то съедают ваше, а вам-то, бедным, уж оглодочки.

Донцы слушали с вниманием, утвердительно кивали головами, а сами все приглядывались к Пугачеву, все приглядывались.

Пугачев держал себя настороженно, в свою очередь наблюдая за молодыми донцами. Он поднял серебряный кубок с изображением императрицы Анны Иоанновны и сказал:

— Вот эта чара мне в наследство досталась от бабки моей царицы Анны. Ну, выпьем со свиданьем, да и закусим. Берите, молодцы, свинину-то, ешьте! Слышь, Анфиса, — обратился он к прислуживающей у стола женщине, — угощают ли казаков-то во дворе?

— Угощают, угощают, батюшка, — ответила она и повела черными крутыми бровями в сторону Горбатова. — Ермилка из кухни от Ненилы то и дело пироги таскает им да всякого кусу.

— Угощают, заспокойся, государь, — подтвердила и свита.

Гости и сподвижники Пугачева любовались на нее, в особенности Иван Александрович Творогов: Анфиса

походила на его жену, красавицу Стешу. Одета в голубое фасонистое с черным бархатом платье, Анфиса сверкала своей русской красотой, молодостью и дородством. Она, казанская пленница, черничка старообрядческой часовни, своей вольной волей. пожелала идти за батюшкой хотя бы до нижегородских керженских лесов, чтоб перебраться в женский скит, где у нее имеется подружка, но батюшка, не дойдя до керженских лесов, свернул на юг; ну что ж, на все воля божия, — Анфиса без особой грусти так и осталась у него. Она, сирота разорившегося купеческого рода, обихаживает обожаемого батюшку и досматривает за ребятами его погибшего дружка, какого-то Емельяна Пугачева.

— Был я, други мои, в Египте три года, — продолжал Емельян Иваныч, обращаясь к донцам, — и в Царьграде года с два и у папы римского сидел сколько-то в укрытии, от недругов своих спасаясь, так уж я все чужестранные примеры-то вызнал, там не так, как у нас. А ведь вас, сырых, наши высшие-то власти, вздурясь, объегорили. Полковников вам посадили, да ротмистров, да комендантов. И многих привилегий казацких лишили. Эвот бороды скоблить заставили да волосья на прусский манер стригут. А вот я воссяду на престол, все вам верну, да и с надбавкой. И вы всю волю, всю землю получите, с реками, рыбой, лугами и угодьями, и будете в моем царстве первыми. И взмыслили мы всю Россию устроить по-казацки. Чтобы царь да народ простой империей правили. И чтобы всяк был равен всякому. А господишек я выведу и всех приспешников выведу! — все громче и громче звучал голос Пугачева. — Ни Гришек Орловых, ни Потемкиных у меня не будет... Только поддержите меня, детушки, не спокиньте на полдороге... Эх, наступит пора-времечко... — Пугачев поднялся, распрямил грудь, потрянул плечами, зашагал по обширной палатке. — Наступит пора-времечко... И пройдуь я улицей широкой, да так пройдуь, что в Москве аукнется. — При этом он выразительно взмахнул рукой, остановился и вперил взор в безбородые лица донцов. — Ну, детушки, радостно сей день у меня на

сердце... Горбатов, наполни-ка чарочки.. Выпьем за вольный Дон, за всех казаков! Воцарюсь, Запорожскую Сечу опять учрежду; Катька повалила ее, а я сызнова устрою. — И, обратясь к казакам: — Ну, а как, други, казачество-то? Склонно ли оно ко мне пойти, и что промеж себя говорят люди?

— А кто его знает, — с застенчивостью и некоторой робостью отвечали гости с Дону. — Мы, конечно, слышали, что наказной атаман Сулин сформировал три полка для подкрепления верховых станиц. И приказано как можно поспешнее следовать им к Царицыну. Только не ведаем, будет ли из этого какой толк...

— Для нашего дела альбо для казаков толк-то? — по-хитрому поставил Пугачев вопрос.

Гости смутились. Сотник Мелехов, виляя глазами, ответил:

— Да, конечно, казаки с войны вернулись, им охота трохи-трохи дома побыть, а их вот опять на-конь сажают... Ну, конечно, пошумливает бедность-то, ей не по нраву...

— Пошумливает? — спросил Пугачев, прищуривая правый глаз.

— Пошумливает, — подтвердили хорунжие.

Выпили еще по чарке, и Пугачев сказал:

— Ну, донцы-молодцы, приходите ко мне завсяко-просто, утром и вечером, ежели надобность в том встретится. А завтра — на обед.

Он велел позвать Ненилу и молвил ей:

— Вот что, Ненилушка, ты к обеду состряпай-ка нам, как мой императорский повар-француз дельвал, этакое что-либо фасонистое, чтобы год во сне снилось... Ась? Трю-трю зовется...

— Да зна-а-ю, — протянула Ненила, прикрывая шалью тугой живот. — Редьку, что ли?

— Редьку?! Дура... Этакая ты лошадь дядина... Благородства не понимаешь... — Пугачев на миг задумался, сглотнул слюну и молвил: — Хм... А знаешь что? Давай редьку! Ты натри поболее редьки с хреном, да густой сметанки положи, ну еще лучку толченого..

— Да зна-а-ю, — снова протянула Ненила, почесывая под пазухой. А стоявшая сзади Горбатова Анфиса хихикнула в горсть и отерла малиновые губы платочком.

— А ты слушай... — прикрикнул на Ненилу Емельян Иваныч. — Ты крутых яичек еще подбрось. А самое главное — как можно более крошенных селедочек ввали, кои пожирней. Ну, конешное дело, сверху — квас. Да чтобы квас холодный был, с кислинкой... — и Емельян Иваныч подмигнул донцам.

Один из них, курносый и веселый, спросил:

— А где же повар-то у вас французский, ваше величество?

— Да его, толстобрюхого, чуешь, мои яички вздернули. Величался все, я-ста да я-ста... У нас во Франции все хорошо, у вас все яман. Ну, те смотрели, смотрели, обидно показалось им, крикнули: «Ах ты, мирсит твою», — да и петлю на шею.

Казачи опять переглянулись.

Вскоре Пугачев простился с гостями и пожелал им покойной ночи. Невдалеке от царской палатки гремели донские песни, шли плясы, подвыпившая полсотня донцов веселилась у костра. Девочка Акулечка, любовавшаяся плясунами, сидела на плече у Миши Маленького, как в кресле.

— Ну, господа атаманы, начал положен, — сказал Пугачев по уходе донцов и перекрестился. — Авось по проторенному путику и другие прочие донцы-молдцы прилепят к нашему самодержавству...

Атаманы промолчали. Анфиса глаз не спускала с мужественного, красивого Горбатова, ловила его взор, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. Овчинников, катая из хлеба шарик, сказал:

— Мнится мне, как бы они не переметнулись... По всему видать — они из богатеньких. Седельца-то у них с серебряной чеканкой, у всей полсотни. Да и сабельки-то — залюбуешься!

— Да уж чего тут... — буркнул Чумаков в большую бороду. — Известно, бедноту по наши души не пошлют.

Впоследствии так оно и вышло.

Захватив с собою девять пушек, порох, свинец и триста сорок человек команды, набранной услужливым новым воеводою Юматовым, Пугачев 5 августа со всею армиею выступил из Петровска по дороге к Саратову.

2

Крестьянское движение, распространившееся по всему широкому Поволжью, никогда и нигде не возникало такой мощной силой, как теперь, в августе 1774 года.

Повстанческие отряды почти одновременно появились в Нижегородском, Козьмодемьянском, Свияжском, Чебоксарском, Ядринском, Курмышском, Алатырском, Пензенском, Саранском, Арзамасском, Темниковском, Шацком, Керенском, Краснослободском, Нижнеломовском, Борисоглебском, Хоперском, Тамбовском и других уездах, а также в городах Нижегородской, Казанской и Воронежской губерний.

По мере того как Пугачев с главной армией подвигался на юг, к Нижнему Поволжью, мятежные действия крестьян в Среднем Поволжье не уменьшались, а росли.

Все пылало, и не было возможности сбить огонь восстания. Князь Голицын доносил Петру Паину: «Во всей околичности подлой народ столь к мятежам поползновение сделал, что отряды, укрощающие великие партии, не успев восстановить тишины в одном месте, тотчас должны стремиться для того же самого в другое, лютейшими варварами дышущее. Так что, где сегодня, кажется, уже быть спокойно, на другой день начинается новый и нечаянный бунт».

Вновь назначенный главнокомандующий Панин доносил Екатерине, что в Переяславской провинции (Московск. губ.) «разглашениями начинает появляться другой самозванец и что искры ядовитого огня от настоящего самозванца Пугачева зачинают пламенем своим пробиваться не только в тех губерниях, коими сам злодей проходил, но обнимают и здешнюю Московскую и Воронежскую губернии».

Михельсон доносил с марша, что он во многих местах встречал партии вотяков (удмурты), «из коих одна партия была до двухсот человек. Сии злодеи не имели намерения сдаться. Они все до единого, кроме купцов, склонны к бунту и ждут злодея Пугачева, как отца».

Английский посол Гуннинг, вернувшись из «секретной поездки», сообщал Суффольку, что «неудовольствие не ограничивается театром мятежа, оно повсеместно и ежедневно усиливается».

О размахе крестьянского восстания на правом берегу Волги можно, забегая вперед, судить по следующим данным. За два месяца — с 20 июля по 20 сентября — правительственными войсками было ликвидировано более 50 отдельных отрядов, иногда достигавших до 3000 человек. Причем отбито 64 пушки, 4 единорога, 6 мортир, убито 10 000, пленено 9000, освобождено от плена «дворян, благородных жен и девиц 1280 человек».

Восстание шло быстро, неотвратимым стихийным потоком. Ни увещания, ни смертные казни не в состоянии были пресечь его. Так брошенный в стоячую воду камень дает неудержимую рябь; так лесной пожар, раздуваемый ветром, сжигает все на пути своем — и сухостойник и живые деревья.

В каждом барском селении группы свободолюбивых крестьян, почуяв приближение воли, вдруг становились воинственны, смелы. Они вербовали односельчан в добровольцы-казаки, вооружили их чем могли и под началом какого-нибудь отставного капрала, согласного постоять за мир, или однодворца из разорившихся господишек, а то и просто удалого поповича, направляли своих добровольцев в стан «батюшки».

— Ищите, где он, отец наш, челом от нас бейте, мы все рады умереть за него.

Несогласных же или колеблющихся мятежные крестьяне устраивали, отбирали избы с пожитками, шумели на сходах:

— Ежели на барскую работу пойдете, мы всех вас переколем да перевешаем,

Люди, оставшиеся в селениях, принимали меры самообороны от вторжения карательных отрядов: огораживали входы в село крепким тыном, рыли поперек дороги огромные рвы, для устрашения иногда ставили у ворот деревянную пушку на манер чугунной, учреждали пикеты, посылали разъезды, день и ночь несли караул на колокольне или каком-нибудь «дозористом» дереве и всегда старались держать живую связь с ближайшими пугачевскими отрядами.

Барские дома расхищали, зачастую жгли дотла со всем строением; хлеб, продукты, скот и лошадей делили между собой по справедливости.

Большинство помещиков, бросив свое имущество, загодя бежало в места безопасные. Оставались в своих гнездах лишь престарелые, или пораженные болезнью, либо те из них, которые жили с крестьянами в больших ладах и при случае опасности надеялись на их заступление.

Так, или почти так, всюду возникали, крепи и ширились крестьянские волнения. И если б промчатся нам на орлиных крыльях по всему простору восстания, можно было бы видеть необычайное зрелище. Ночью почти на тысячеверстном пространстве — бесконечные огни пожарищ. Уж не Мамай ли снова пришел на Русь, или, может быть, сама собой земля возгорается, может, демоны, разъяв недра земли, пускают на многострадальную Русь пламень кромешного ада, или крылатые ангелы, низринувшись с небесных высот, стремятся сжечь на бесправной земле плевелы греха и раздора?

Днем все просторы — на восток и на запад, на север и юг — кроются клубами дыма. Хлеб не убран, поля позаброшены, скот бродит без пастырей. По деревням и селам безлюдца. Но дороги живут, дороги кишмя кишат народом, обозами. Туда и сюда, повсем направлениям, движутся толпы людей. Вот кучка всадников торопливо пылит по дороге, где-то пушка ударила, где-то беглый ружейный огонь протрещал. Это короткая схватка двух враждующих сил — оставших и их умирителей.

Нам видно сверху, с крылатых высот, — обширная лесная поляна, церковь белеет, догорают остатки барских хором, почти все избы в селе заколочены, на завалинке, осиянный солнечным отблеском, сидит старчище в посконной рубахе, в валенках, ему под сотню лет, бурая лысина лоснится. Вблизи него лохматая — рыжая с белым — собака. Она не знает — к пожару ей выть или к покойнику, задрать ли голову вверх или уторнуть нос книзу. Она ставит морду повдоль и начинает выть жутким голосом, глаза ее влажны, собака учится плакать по-человечьи. Все ее бросили, она отбилась от ушедших людей, а на деда косится сумнительно, как на неживую ходячую тень. Дед смотрит на собаку блеклыми глазами, и она представляется ему вопленницей на могиле его старухи. Жалобно вопила тогда Митрофаниха, и над гробами двух сынов его она за три копейки вопила, тогда все хрещеные плакали... Охо-хо, кто-то над ним будет вопить, давно умерла Митрофаниха. Двух сынов у него прибрал господь, да трех внуков, да много правнуков. Ну, да ведь, слава тебе господи, еще остались у него и сыны, и внуки, и правнуки. Двенадцать внуков — то ли двенадцать, то ли двадцать — семья большая. Раньше-то поименно знал их, да вот давно уж память-то всю отшибло, забыл, — Петькой всех зовет, Петька да Петька.

— Да не вой ты, сделай милость, Шарик. Вот придут, вот ужо придут наши-то, за землей ушли к государю, земли да воли требовать у отца отечества. А как земля будет, так и бараны будут, и тебе кое-когда кость перепадет. Пойдем, Шарик, в избу, собачья твоя шерсть... Я тебе сухарей дам. Сухарей мне оставили да квасу... А луку я надергаю. Чу! Едут!

Нам видно сверху, с подоблачных высот, как Шарик с радостным визгом бросился навстречу. Телега тарыхтит, на телеге покойник, рядом с покойником парень, голова у парня обмотана, через тряпицу — бурыми пятнами — кровь. Кобылой правит баба в сером зипуне.

— Ой, дедушка, ой, желанный! — заверезжала она, и все лицо ее исказилось в плаче.

— Землю-то добыли? — прошамкал дед, подымаясь с завалинки и едва разгибая спину.

— Добудешь ее, как жа-а! — закричала баба, въезжая во двор. — Вот Карпа надо в землю зарывать, хозяина моего, а твоего сына... Вот и земля...

— Ох, господи, твоя воля... А государь-то где?

— Государь стороной прошел, на понизово, — ответил деду внук.

— Чего башку-то обмотал, Петька?

— Я не Петька, а Костянтин... А башку мою одва не ссекли... — сказал внук, прыгивая с телеги. — Всех наших раскатали царицны конники, казенные гусары... Сот до трех нас было, все разбежались, как зайцы, кто куда... Ну, да опять гуртоваться учнут, а без земли да воли не жить нам.

— Будет воля! — кричит дед. — Царь-государь нашу слезу утрет.

— Матушка, давай внссем батюшку-то в избу... И помочь-то некому, а меня ноги не держат, шат берет. Кровь из меня текла, как из барана... — задышливо проговорил парень.

— Убитый, что ли, он, Карп-то, али пьян нажрался? — шамкал, суетился возле телеги слабоумный дед. — Ох, господи, твоя воля...

А там, в другой далекой деревне, птичка-невеличка на кустышке сидит, смотрит бисерным глазком на рыдающую малую девчоночку, чивикает по-своему, будто говорит ей:

— Не плачь, девочка, не плачь... Я тебе песенку спою. Чик-чири-рик...

— Бросили... Все ушли... есть хочу...

— Паранюшка! — кричит чрез дорогу вдвое согнувшаяся баба. — Подь ко мне, девонька, я тебя кашкой покормлю... У меня тоже нет никого, все к царю-батюшке походом укатили... Подь скорей, подь!

И еще видно нам с птичьего полета — земля Нижегородская, Ветлуга, Керженец, непроходимые леса, в лесах керженские раскольничьи скиты. Вот благолепный скит игумена старца Игнатия, сородича генерал-адъютанта государыни Екатерины, Григория Потемкина. Обширная часовня, полукругом — избушки

братии, рубленные из толстых кондовых сосен, украшенные резьбой и расписными ставнями; среди них келарня и жилище самого Игнатия. Возжено в часовне паникадило со многими восковыми свечами, скит соборне молится о даровании победы царю Петру Третьему, покровителю старозаветной веры. Все иноки и зашедшие помолиться мужики делают усердные метания, припадая лбами к маленьким коврикам, лежавшим на полу пред каждым молящимся.

Затем, сотворив семипоклонный уставный начал и метание, молящиеся подходят под благословение старца: игумен Игнатий прощается с братией, он отъезжает в Питер, к великому своему сородичу, дабы упросил он Екатерину-немку не чинить керженским скитам разорения.

А вот сотни и тысячи сел и деревенок, в коих не все население ушло «за землицей к батюшке», — сильные ушли «казачить», а женщины, старики с детьми и маломощные остались дома, поджидать царя. И в тех селениях, что по царскому пути, уже принялись крестьяне готовиться к встрече «батюшки» — варили пива, из господской муки пироги пекли, резали барских овец, кололи кур.

А там что еще такое видно? Какие-то чинным строем идут толпищи, за ними обозы тащатся. Они, эти многолюдные толпы, пока сотнями верст отделены друг от друга, но все ближе и ближе сходятся к одной цели, как охотники, обложившие в берлоге медведя. Это воинские отряды князя Голицына, Мансурова, Михельсона и других военачальников. Они ловят Пугачева, они тщатся окружить его, отрезать ему путь.

И ежели присмотреться к далеким горизонтам в юго-западную сторону, можно видеть многие тысячи войска. Война с Турцией преждевременно окончена, полк за полком идут от границы Украины и Польши, идут в глубь российских губерний, на истребление бунтовщиков.

Дальше, дальше... С орлиных высот видит наше чело-вече око освобожденный Оренбург; вот вольный Яик прочертил сырты плавным своим течением. вот

Иргизские леса, в них многие раскольничьи скиты, тысячеверстным расстоянием разъятые от древних скитов керженских. А вот скит всечестного старца Филарета, здесь малое время когда-то скрытничал Емельян Иваныч Пугачев. Во всех иргизских скитах бьют малые деревянные и большие железные била, подвешенные на ветви сосен и елей. Это сбор на молитву. Из своей кельи выходит старец Филарет, он во всем черном, на голове скуфейка, в правой руке посох, в левой — лестовки. Проходя в часовню, он направился к двум завалинкам, на которых сидел народ — казаки и беглые крестьяне. Они поднялись и низко поклонились Филарету.

— Чего ради вы, христороубцы, сидите здесь и киснете, как опара в квашне? — начал чернобородый, сухой, с пронзающим взором Филарет. — Государь наш Петр Федорыч, како вестно мне, терпит большую нужду в людях, царские генералы зело докучают ему, защитнику древлего нашего благочестия. Служение государю в правом деле защищения угнетенных и обиженных есть самая угодная молитва богу. Тецыте к царю, христороубцы, не мешкая. Скиты наши вооружат вас, чем могут, и яства дадут, и денег, и добрых лошадушек. Да благословит вас на ратное дело господь бог, и аз, многогрешный, благословляю вас... Русь наша в огне и пламени, Русь немоществует...

А вот и сам Пугачев, Емельян Иваныч. Он идет со своим воинством скорым поспешением — кони, знамена, пушки, — он не хочет принять боя с сильнейшим, чем он, недругом, он ищет какой-нибудь неодолимой крепости, он все еще надеется на донских казаков, он ждет помощи от всей мужицкой Руси. Трепет и скорбь на душе его. Но конь под ним скачет, и вьется, и бьет в землю кованым копытом. И припоминается Пугачеву раскольничья стихира, он слышал ее в скиту у Филарета-игумена:

Вижу я погибель, страхом весь объятый,
Не знаю, как быти, как коня смирити...

Эх, конь ты, конь, народный выкормок! Куда ты мчишь мужицкого царя, в погибель или в жизнь?

Случилось это очень просто и совершенно неожиданно. После раннего обеда Акулька пошла в лес набрать батюшке к ужину грибков. Пошла одна, да в лесу-то и закружилась. Она туда, она сюда, да ну кричать, звать на помощь, никак не может выйти на тропинку. Уж не лесной ли хозяин, сам леший-лесовик, принакрыл тропу, утыкал ее елками — поди найди... Должно быть, далеко зашла, вся измучилась, последних силенок лишилась, села на пенек, заплакала. Стали чудиться ей волки, вот набегут волк с волчицей и задерут ее. Ни чертенят, ни самого лесовика Акулька не боялась, от этой нечисти крестом да молитвой оборониться можно, отец Иван вразумил ее, а вот лесного зверя страшно.

Она подхватила корзинку с белыми грибами и, вытаращив глаза, неведомо куда побежала по лесу. Бежала, бежала и, слава тебе господи, наткнулась на желанную тропинку. А стало вечереть, солнце село, даже верхушки сосен погасли. В какую же сторону по той тропе бежать? И девочка Акулечка припустилась влево. Бежит, кричит: «Эй, эй!.. Мужики! Я здесь!» Вдруг речка. Девчонка стала перебираться по лесине, нечаянно оборвалась и бултыхнулась в воду. А вода ключевая, холодная; вода сразу обожгла разгорячившуюся на бегу Акульку. Девочка едва выползла из воды на берег, вся мокрая, и почувствовала резкую боль в ноге. Она приподнялась, прошла два-три шага и снова упала на землю. Больно. Ну, так больно, что ступить нельзя. Она прилегла и застонала. И взглянула на небо и просила у бога помощи, чтоб бог исцелил ей ногу и помог выбраться в стан, — иначе волк с волчицей задерут ее.

— Боженька, миленький, уж ты постарайся...

Ночь наступила холодная. Девчонка не могла согреться, она была мокрехонька и вся продрогла. Ее трясло. Она вскакивала, пробовала идти, но от нестерпимой боли в ноге снова падала, и плакала, и кричала на весь лес.

Вот голову стала обносить дрема. Акулька, похны-

кивая, впадала в забытье. Какая-то несуразица грезилась, то страшная, то забавная, будто сам царь-батюшка стаю волков саблей рубит, прокладывает путь к Акульке, а возле Акульки цыган-волшебник сидит с зеленой рожей, с синими усами, колдовскую трубку курит, сам песню на три голоса поет, из трубки душевредный дым полыхает. И огоньки... все огоньки, огоньки бегут... много огоньков.

— Аку-уль-ка-а-а!..

— Здеся-а-а!.. — отзывается замест Акульки колдун-цыган и крутит, крутит над своей вихрастой головой волшебной трубкой. И вот с факелами подлетают казаки. Ермилка срывает с нее мокрый сарафанишко, пеленает девочку, как куклу, в свой сухой чекмень, берет ее в седло, говорит ей:

— Ах ты диковинка!.. Вот где ты...

Она уж и слова не может вымолвить, впрочем сказала:

— Грибки не забудьте... батюшке... — Ее била лихорадка, она больше ничего не помнит, ну словно бы провалилась сквозь землю.

Проходил день за днем. Акулька не поправлялась. Армия шла походом вперед, вперед. Девочку перевозили в отдельном экипаже. А на дневках и ночлегах ей разбивали маленькую палатку, мужики смастерили походную кровать, натаскали сена. При ней находились по очереди то Ненила, то красивая молодая купчиха Мария Павловна, плененная в Казани и приставленная к пугачевскому семейству. Да и помимо них было много желающих — и мужчин и женщин — послужить девочке Акулечке: ее все очень любили и жалели. Возле палатки всегда толпа — и днем и ночью. И лагерь как-то весь стих, и вино не пилось, песни, как по уговору, смолкли. И каждый живущий в лагере чувствовал какое-то тяжкое душевное томление: хоть всем чужая девочка была, но, может быть, поэтому всяк любил ее, пожалуй, больше, чем родное свое дитя.

Возле нее сидел Горбатов, прикладывал к голове холодные компрессы. Лицо у нее восковое, кости да

кожа, нос заострился. Дыхание прерывистое, взახлеб. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась. Трошка стоит в красной рубашонке, Ермила...

— Ну, как нога-то, диковинка? — спросил Ермила, улыбаясь во все широкое лицо. — Болит, нет?

Акулька пошевелила под одеялом той и другой ногой, сказала:

— Нет.

Ногу ей выпользовал костоправ, он ежедневно растирал ее и обкладывал густо намыленным мочалом.

— А где батюшка? — спросила девочка.

— За батюшкой побежали, сейчас придет.

— Ну, здравствуй, девочка Акулечка, здравствуй, милая, — проговорил вошедший Пугачев.

Трошка попятился от отца и вышел из палатки.

— Здравствуй, батюшка, светлый царь... — сказала Акулька шепотом, и в широко распахнутых глазах ее сразу показались слезы. — Грибков... тебе брала... да упала... вот видишь... нога...

— Оздоровливай, доченька, оздоровливай, — наклоняясь над девочкой и глядя ее по голове, говорил Пугачев трогательным голосом. Он босиком и в одной рубаше с расстегнутым воротом, в чем был, в том и прибежал. — А то без тебя скука нам!

— Нет уж, — глядя пред собой в пустоту, сказала больная. — Маменька наказывала, ждет... В дорогу надо... В царстве небесном лучше...

Она попросила молока, выпила глоточка три. Ненила притащила свежепросоленных огурцов и горячих оладей с медом. Горбатов тотчас прогнал ее. Девочку затошнило, стала икать и снова впала в забытью...

— Умрет, — прошептал Емельян Иваңыз, застегивая ворот рубахи. — Ну, а где же лекарь-то?

— Нету, государь, — ответил Горбатов. — Во многие места посланы гонцы... нету.

— Умрет, — повторил Пугачев, встряхнул головой и, ссутулясь, вышел.

Он не ошибся. Через два дня девочки Акулечки не стало. Последние ее слова были:

— Я маленькая... Бог мне счастья не дал.

Два крестьянина — отец и сын — мастерили ей гроб, Миша Маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрывал. Все в лагере ходили понуриив головы.

Пугачев велел выдать розовой материи на обивку гроба. Позументов не было. Он приказал спороть их с одного из своих кафтанов.

Вся в цветах, покойница лежала в розовом гробу, возле палатки Пугачева. В ее руке лазоревый цветик. И никому не хотелось верить, что девочки Акулечки больше нет среди народа, что она нежданно ушла из жизни, что над землей только тень ее, однако и эта тень скоро навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем существе, но и оно, как ночной туман, развеется: время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, перевертывая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, нетронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым, по заслугам их, даровано бессмертие...

Цветы... много цветов... Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но еще больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу.

Цветы и солнце, яркое, все еще горячее. Оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежащего во гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было приятно погреться на солнышке последний раз и чрез сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающее в синеве небес великое паникадило. И вот побелевшие губы девочки Акулечки под угревым солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих, неверных светотеней. Нет, нет... Кровь в ее жилах навсегда остановилась, и улыбка на устах — простой обман: смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы. Вот она, благая смерть!.. В золотистой, с багрянцем, длинной ман-

тии, с лицом бледным и вдохновенным, с глазами широкими, излучающими таинственный свет вечности, она стоит, словно в сказке, в изголовьях розового гроба, опершись на косу с отточенным лезвием. Возле нее кружатся с безмолвным щебетом невидимые ласточки. И никто из живых не видит ни благой сказочной смерти с лучами вечности в глазах, ни порхающих ласточек. Их, может быть, видит любившая сказки девочка Акулечка да еще вдрызг пьяный отец Иван, давнишний знакомец зеленого змия и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался чрез толпу ко гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передыху шумел, что обманет смерть, что сам ляжет в Акулькину могилу, а девчонка-сирота пушай живет. В борьбе с вязавшими людьми он отбивался и во всю мочь кричал: «Господи, побори борющие мя!» Однако его уgomонили. «Плотию уснув, яко мертв...» — лишившись последних сил и засыпая, мямлил он.

Светило яркое солнце, порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А Нениле казалось, что это ниспосланный богом по праведную детскую душеньку белый ангел.

Панихиду служил старый-старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые, лучистые. Он в черной траурной ризе с серебряным позументом, на голове черный клобук, на ногах березовые лапти. Служил он не торопясь, величественно и строго. Хор из двадцати казаков с Пустобаевым пел складно. Когда иеромонах, взмахивая кадиллом и устремив взор к белому облачку на синем небе, стал возглашать: «Со святыми упокой, господи, душу новопреставленной рабы твоея, отроковицы Акилины, и сотвори ей вечную память», — весь народ вместе с царем-батюшкой опустил на колени и трижды во всю грудь пропел: «Вечная па-а-амять».

Люди плакали. И не оттого только плакали, что жаль было девочку Акулечку, а плакали потому, что

вот пришла какая-то минута, и все, все до одного, и атаманы, и монах-старик, и офицер Горбатов, даже сам царь-батюшка, — все, все, как один человек, опустились на колени. И душевные родники сами собой у всех разверзлись... Всем миром пели «Вечную память», всем миром встали на колени, и это всех трогало, и облегчающие слезы текли из глаз.

Когда гроб опускали в землю, начальник артиллерии Чумаков махнул платком: одна за другой грянули три пушки. На могиле поставили большой крест с надписью: «Здесь лежит всеми любимая девочка Акулечка, без роду без племени, умерла в августе 1774 года, в армии государя Петра Третьего, при походе».

Этот холм под двумя старыми липами народ называл «Акулькина могила».

— Вот больше и нет у нас Акулечки, — вздохнув, сказал Пугачев и прикрыл лицо широкой ладонью.

Люди все еще продолжали стоять с опущенными головами. Затем начали молча расходиться.

В своем крестном пути от Оренбурга, чрез Башкирию, Казань, Саратов и другие города, русский мятежный люд оставил при дорогах неисчислимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой Голгофе — крестный путь!

Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сровнялись с землей и затерялись. И только «Акулькина могила» долго еще бытовала в памяти народной, как приметное урочище, как скорбная вежа на большой дороге.

4

В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов — крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более семи тысяч жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается шихан, или гора Соколова, около восьмидесяти

сажен высоты. С юго-запада — меловая гора Лысая и далее — гора Алтынная.

Чтоб руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намеренье привести Саратов в боевую готовность на случай, если б «злодейские толпы» метнулись в эту сторону. Но из сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала: Пугачев вдребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гоняется по всей Башкирии неустрашимый Михельсон.

Уезжая в Астрахань, Кречетников «все правление воинских дел по городу» поручил коменданту полковнику Бошняку. Таким образом, Бошняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся.

Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами. Так, управляющий конторою опекунства иностранных поселенцев Ладыженский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочел ему Бошняка, что он, наконец, бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику Бошняку.

А находившийся в Малыковке и вызванный в Саратов поручик Державин вообще-то никакого начальника над собой не признавал, кроме власти государыни Екатерины. Да и на самом-то деле, рассуждал он, со смертью главнокомандующего Бибикова, не губернатор же Кречетников над ним начальник! Ну, правда, что он несколько побаивался генерал-майора Потемкина, сидевшего в Казани, и порядочно страшился нового главнокомандующего Петра Панина, сидевшего в Москве. А какому-то захудалому коменданту Бошняку он волен только приказывать и ни в каком случае не подчиняться.

И вот трое впряглись в воз и потянули его всяк в свою сторону.

Во второй половине июля докатилось до Саратова поразившее всех известие: Пугачев выжег Казань и перебрался на правый берег Волги.

И начальство и жители сразу повесили носы, все въяве представили себе грозившую городу опасность. Как быть, что делать?

24 июля состоялось военное совещание. Пришли к заключению, что обширно раскинувшийся Саратов, окруженный высокими холмами, не может быть укреплен вполне: не хватит ни времени, ни средств, да, к тому же, и воинской силы маловато, артиллерии же и вовсе недостаточно — всего четырнадцать чугунных пушек, да и те на обгоревших при пожарище лафетах. Было вынесено довольно странное, детски наивное постановление: самозванца к Саратову не допускать, а встретить его в поле и разбить. В случае же неудачи и чтоб было где воинским частям и жителям укрыться, устроить земляное укрепление вблизи города, на берегу Волги, там, где опекунские провиантские магазины с хранившимися в них тридцатью тысячами четвертей муки с овсом.

Ладыженский, как бывший инженер, запроектировал укрепление, а Бошняк обещал выслать на работу городских жителей. Поручик же Державин снова выехал в Малыковку, чтоб там собрать и вооружить тысячу пятьсот человек крестьян на помощь Саратову.

На третий день после военного совещания комендант Бошняк получил от князя Щербатова уведомление, что Пугачев трижды разбит Михельсоном и ныне он с остатками своей толпы удирает на переменных лошадях к Курмышу и Ядрину, за ним по пятам гонится граф Меллин и другие военачальники, а посему «городу Саратову опасности быть не может».

И в тот же день было получено из города Пензы другое ошеломляющее известие, находившееся в полном противоречии с уведомлением князя Щербатова: «Пугачев с толпой в две тысячи человек приближается к Алатырю», то есть, в общем, держит путь на Саратов.

Кому же верить: князю ли Щербатову или пензенской провинциальной канцелярии? Бошняк поверил

князю и до выяснения обстоятельств прекратил меры по укреплению города. Статский советник Ладыженский, возмущаясь беспечностью Бошняка, велел своему сподручному чиновнику Свербееву вызвать Державина из Малыковки в Саратов. «Эти пречестные усы (Бошняк), — писал Свербеев Державину, — обеззаботили всех нас своим упрямством. На заседании некоторые с пристойностью помолчали, иные пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойной ночи, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на него страх!»

Желая сохранить за собой мнение, как о человеке влиятельном, поручик Державин немедленно выехал в Саратов «наводить страх». Но страх и без того навис над городом, начальством и над самим Державиным: было получено известие, что Пугачев занял Саранск, находившийся всего в трехстах верстах от Саратова, и что силы его огромны.

Начался кавардак, суетня, а между начальством обоюдные упреки, свара, перепалка. Одно за другим возникали заседания с недоговоренностью, противоречивыми постановлениями, бранью и угрозами. Рыжий, воинственного вида, Бошняк, поддерживая огромные ниспадавшие на грудь усы, настаивал, что оставить город без защиты он не может, потому что «церкви божии будут обнажены, к тому же острог с колодниками и немалое число вина останется на расхищение злодеям». Тучный, коротенький Ладыженский, оправляя круглые большие очки на маленьком носу и седой парик, доказывал, что город защищать не стоит, так как почти все строения истреблены пожаром, и возобновлять городской вал не позволяет время. Ладыженского поддерживали и его клеветы. Задирчиво вел себя, потрясая шашкой, и Державин.

— Мы думаем сделать укрепление внутри города, чтоб укрыть в нем собор, женский монастырь, Никольскую и Казанскую церкви, воеводскую канцелярию с острогом, дом соляной конторы и винные погреба, — говорил Ладыженский, ссутулившись и упирався в

стол мясистыми кулаками. — Я, как бывший инженерный бригадир, составил сему укреплению проект.

— А я ваш прожект и смотреть не стану, — возразил Бошняк, топорща длинные усы. — В военном отношении он сущий вздор: тогда пришлось бы сломать многие дома, дабы удобнее по неприятелю пальбу производить. И вашего прожекта я утверждать не намерен.

— Вот что, почтеннейший господин полковник, — снова поднялся тучный, низкорослый Ладыженский и, запыхтев, сбросил на стол круглые очки. — Я не могу надивиться вашему упрямству. Вы возмечтали, что вы комендант, но вы вовсе не комендант, ибо коменданты ставятся только в крепостях, а Саратов не есть крепость. И по вашей должности вы никому не имеете права делать приказаний, кроме батальонных солдат. Сие и прошу принять в память, Во всяком разе начальник здесь не вы, а я!

Бошняк завертел во все стороны рыжей, гладко причесанной головой и не успел рта открыть для возражения, как на него напустился Державин.

— Если его превосходительство астраханский губернатор Кречетников, отъезжая отсюда, не дал вам знать, с чем я прислан в сторону сию, — заносчиво проговорил молодой задира, — то имею честь вашему высокоблагородию объявить, что я прислан сюда от ныне покойного генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, вследствие именного ея величества высочайшего повеления по секретной комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все. Все! — выкрикнул Державин, облизывая губы и широко распахнув большие, надменно глядевшие глаза.

Не удостоив Державина даже взглядом, обращаясь к Ладыженскому, Бошняк спокойным голосом сказал:

— Предполагаемое вами укрепление провиантских магазинов не имеет цели: ведь туда за дальностью расстояния от города трудно перевезти и собрать имущество жителей. А гораздо сподручней было бы перенести укрепление на Московскую дорогу, оно находилось бы как раз на прямом пути наступления мятежников.

— Нет-с, Иван Константинович, — ответил Ладыженский коменданту Бошняку. — Разговоры наши кончены, и я не дам вам из своего ведомства ни своих команд, ни мастеровых для исправления пушек.

Обескураженный Бошняк направился домой и нашел там предписание губернатора Кречетникова, где вновь требовалось от Бошняка, чтоб он в качестве коменданта взял на себя оборону города: «К чему находящихся тамо во всех командах воинских людей собрав, употребить на защищение и отпор в случае нападения, а именно: всех состоящих при опекунской и соляной конторах казаков истребовать, несмотря ни на какие отговорки, чтобы все они отданы были в команду и распоряжение ваше». Кречетников приказывал ордер этот секретно показать Ладыженскому и начальнику соляной конторы, дабы они не имели права чинить Бошняку каких-либо препятствий. Державин же в бумаге совершенно не упоминался, как чин второстепенный и прямого касательства к обороне Саратова не имеющий.

В тот же день Бошняк поехал к Ладыженскому, где сидел и Державин с начальником соляной конторы. Раздеваясь в прихожей, он слышал из-за дверей громкий голос Державина:

— Ох, уж мне эти пречестные усы! Я на вашем месте, господин Ладыженский, не постеснялся бы арестовать его...

После объяснения с Бошняком Ладыженский согласился осмотреть избранные комендантом места укрепления. Бошняк повторил требование передачи ему всех команд и присылки двадцати артиллеристов, но Ладыженский это отклонил, заявив, что он с опекунской конторой «у губернатора не под властью». Бошняк после такого афронта со стороны Ладыженского был совершенно обескуражен: город лежал беззащитным. Что же оставалось делать Бошняку? Ему оставалось плюнуть в кулак и ударить этого толстого битюга по физиономии. Но Бошняк сдержался. А тут еще за чаепитием, которое устроил Ладыженский, на незадачливого Бошняка наскочили приглашенные,

После этого «дружеского» чаепития Бошняк ретировался к себе и (2 августа) описал положение дел Кречетникову. «Державин и другие, — доносил Бошняк, — всячески, ругательными и весьма бесчестными словами, поносили и бранили, и он, г. Державин, намерялся меня, яко совсем, по их мнению, осужденного, арестовать, в чем я, при теперешнем весьма нужном случае, ваше превосходительство, и не утруждаю, а после буду просить должной по законам сатисфакции».

Бошняк вынужден был от всех склочных дел себя самоустранить, а на его место, по собственному хотенью, вступил предприимчивый Державин. Он собрал купцов, явился к ним в магистрат и потребовал, чтоб немедленно было приступлено к постройке укрепления и чтоб высланы были на работу все без исключения трудоспособные. Он призывал защищаться до последней капли крови и грозил, что если кто окажет малодушие, тот будет, как изменник, скован и отправлен в секретную комиссию. Перепуганное купечество дало подписку, что за измену они сами себя обрекают на смертную казнь. Подписал эту бумагу и первоостатейный купец Федор Кобяков, впоследствии сыгравший при занятии Пугачевым Саратова виднейшую роль.

Независимо от этого Ладыженский пригласил к себе, тайком от Бошняка, пять подчиненных коменданту офицеров. Руководимые Ладыженским и Державиным, они наспех выработали и подписали особое постановление. В нем говорилось о том, что немедленно нужно приступить к устройству укрепления только возле конторских магазинов, а не распространяя его на другие части города, как это предполагал Бошняк, ибо оборонять город по широкому фронту невозможно — упущено время и нет достаточного числа команды и орудий. Тут же отмечалось, что Ладыженский, будучи в чине бригадирном, в распоряжении Бошняка состоять не может. Далее — коль скоро замечено будет приближение к городу злодеев, то, оставя в том укреплении небольшое число военных людей, с прочею командою идти навстречу злодеям и стараться раз-

бить и переловить их. В следующем пункте постановления поручалось артиллерии майору Семанжу привести в боевую готовность все пушки и расставить их по батареям. «В рассуждении же того, чтобы помянутые злодеи не покусились прокрасться р. Волгою, коменданту приказать, в случае близости злодеев к городу, стоящие во множестве суда затопить или сжечь, а на берегу сделать батареи». В постановлении еще значилось несколько второстепенных пунктов.

Бошняк не принял это постановление и донес о том Кречетникову. Его взорвало выражение «коменданту приказать». В ответ на подобный захват власти Ладыженским самое лучшее, что мог бы предпринять Бошняк, — это немедленно арестовать Ладыженского, а может быть, по военному времени, даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Бошняк на подобный поступок не решился, он только внешним видом походил на старинного разбойника, на самом же деле нраву был тихого, к тому же, кроме «всечестных усов», он ничем не обладал, у Ладыженского же была немалая заручка в Петербурге и порядочное имение под Костромой. Так ли, сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии. Если б поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам, но Панин все еще барствовал в Москве.

Бошняк все же тужился, как находил нужным, делать свое дело, Державин немедленно сообщил в Казань Потемкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Бошняком, но что «теперь все привел в подобающий порядок». Бошняк же, чтоб сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию только что полученного письма губернатора Кречетникова, в коем, между прочим, тот предписывал «объявить Державину, чтоб он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Малыковке, неподвижным»¹.

Впоследствии, когда Пугачев, разгромив Саратов, ушел дальше, была получена Державиным от Потем-

¹ Предписание Кречетникова Бошняку от 27 июля.

кина из Казани бумага, где между прочим Потемкин пишет: «К крайнему оскорблению, из вашего рапорта вижу, что саратовский комендант Бошняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный: того для объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных... тогда я, данную мне властью от ея величества по всем строгим законам учиню над ним суд».

Эта взбалмошная попытка недалекого человека ввязываться в несвойственные административно-военные дела не подвластного ему отдаленного края лишней раз показывает, до какой степени истрепались к тому времени колеса государственного механизма. Почти всюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышение власти, вмешательство в чужие дела. Конечно, все эти «недостатки механизма» были на руку пугачевскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачева, в первую голову должен был бы повесить казанского сатрапа Потемкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потемкина была высоко оценена Екатериной, она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картежника и препроводила их своему ставленнику в подарок, по окончании же смуты наградила его чинами, деньгами и землею с людишками.

Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооруженные лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки, из мешков с мукой, овсом, известью складывали заграждения. Стояла жара. Водовозы ушатами развозили людям воду с Волги. Чернобровая молодая баба, напоминавшая оренбургскую Золотариху, торговала вразнос пирогами, копченой рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнем бревна, головешки и

пепел. На огородах шалаши — убежища погорельцев. Кой-где уцелевшие от пожара каменные купеческие дома, казенные постройки, торговые ряды, церкви, — у одной из них опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями.

Работают люди по-казенному, с леностью, не на полную силу: позевывают, поплеывают, почесываются, щурятся на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему: хошь ты тут каменную крепость выстрой, батюшка все равно заберет.

Купцы выслали своих приказчиков. От Федора Кобякова пришло четверо. Купец Кобяков — друг-приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачев.

Кобяковский приказчик старик Яков Сергеич, копая землю, беззубо шамкает:

— Эх, напрасно это... Ни к чему... Одна канитель людям. Все равно Емельяну Иванычу Пугачеву, батюшке нашему, достанется...

— Да ты, Сергеич, сдурел? — набросились на него приказчики. — Какой же он Пугачев, когда он природный Петр Федорыч, третий ампирактор.

— Да будет вам лопотать-то!.. Природный, природный, — окрысился на них Сергеич и, сбросив на землю шляпу, отер рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. — Он природный и есть, только простой природы, мужичьей, наш он! От царя-косаря, от царицы-чечевицы... Вот он какой — батюшка! — не унимался Сергеич; в пустом рту его мелькали два больших желтых зуба, и бороденка была беленькая с прожелтью.

— Небылицу городишь, Яков Сергеич... Приснилось, что ли!

— Казаки сказывали!.. — бросил старик. — Намеднись у хозяина по тайности два казака ночевали, ну так вот по их розмыслу батюшка-то наш — Пугачев Емельян Иваныч...

— Печалуешь ты нас, старик...

— Эх вы, непутевые... Радоваться надо, а не кру-

чиниться... Свой батюшка-то, заступник-то, а не немецкий выродок...

Вот если бы подобные речи принес волжский ветер в уши Емельяну Пугачеву. Сначала они испугали бы батюшку и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов и кой-кто из пугачевских атаманов. Может быть, может быть... Эти слова не выдуманные, они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кой-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве.

И откуда взялись они? Эх, видно, не одна в поле дороженька разнесла их по России. Сверху, что ли, натрясло их, или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик, что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом доме, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорыч пожалует в Саратов. А старика приказчика словно шилом в бок: «Нет, это не Петр Федорыч, это сам Емельян Пугачев — мужицкий царь, как в царицыных манифестах предуказано», — подумал он.

Когда же стал он поусердней к народной молве приклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие из простолюдинов помышляют так же, как и он. Значит, попы долбили, долбили каждое воскресенье по церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились: кой-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится: заступник-то народный, пожалуй, не Петр Федорыч, третий царь, а сам Емельян Пугачев, казак простой. Впрочем, такие домыслы были у немногих — раз, два, да и обчелся, но все же они стали в народе самостийно возникать. Будь здрав Емельян Пугачев, мужицкий царь!

5

Уныние в Саратове не ослабевало. Горячий офицер Державин, чтоб взбодрить саратовцев и показать им «пример решимости», с шестью десятками

донских казаков и с офицерами поскакал в Петровск, на встречу с Пугачевым.

Но мы уже видели, что экспедиция эта закончилась плачевно: почти все казаки передались «злодею Емельке», а Державин ускакал от погони, в 4 часа утра 5 августа примчался со спутниками в Саратов и объявил, что Петровск занят Пугачевым, а донцы изменили.

Это известие повергло жителей в крайнее замешательство. Многие бросились в бегство, иные начали грузить свое имущество на баржи, чтоб спуститься подобру-поздорову вниз по Волге. Но владельцев барж было очень мало, и почти все суда были взяты у купцов правительственными учреждениями, началась спешная погрузка канцелярских дел, денег, имущества.

Но главный саратовский герой Ладыженский проявил расторопность наибольшую: он захватил судно с еще неразгруженной купеческой мукою, в первую голову погрузил не казенное, а свое личное добро, вплоть до сковородников и кочерги, пятнадцать тысяч рублей казенных денег и часть дел конторы опекунства иностранных. Для погрузки же архива и казенного имущества лишь к вечеру была едва-едва отыскана «посудина». За отсутствием лошадей, все перетаскивалось на руках, и работы были окончены пред самым появлением передовых пугачевских отрядов в виду города. Полковник Бошняк также отправил на судно главнейшие дела и денежную казну в пятьдесят две тысячи рублей, поручив охранение всего этого поручику Алексееву.

Началась спешная расстановка малочисленных воинских сил. Бошняк вывел саратовский батальон за сделанный пред городом вал и окружил укрепление рогатками. Ладыженский и Державин все еще пытались склонить его идти со всеми силами навстречу Пугачеву. Бошняк их предложение не принял.

— Ежели желаете, командуйте сами, а я совершенно устраню себя. Либо подчиняйтесь мне!

— За Пугачевым, — заявил Державин, — гонятся преследующие его отряды. Через два-три дня они достигнут мятежников. Нам бы только на это время позадержать злодеев пред городом. А для сего надлежало бы накидать грудной вал из кулей муки и извести и при содействии пушек отсиживаться в нем.

— Извините, поручик, теперь заниматься этим поздно, — возразил Бошняк.

Тогда Ладыженский — все тот же Ладыженский! — приказал артиллерии майору Семанжу выступить с фузилерною ротою против мятежников и стараться до Саратова их не допустить, в случае же неудачи отступить, присоединиться к Бошняку и действовать совместно с ним.

Семанж выступил с отрядом в четыреста человек, прошел около трех верст и, остановившись, выслал вперед разъезды волжских казаков под начальством есаула Тарарина. Позади Семанжа, возле самого города, пред московскими воротами находился полковник Бошняк с тридцатью офицерами и ста восемьюдесятью рядовыми саратовского батальона. А между Бошняком и Соколовой горой стояла плохо вооруженная толпа сотни в полторы разночинцев, собранных купечеством.

Ночь прошла спокойно, а наутро, 6 августа, Бошняк узнал, что Ладыженский ночью сел на баржу и удрал водою вниз по Волге. Что же касается Державина, то и он не сумел показать на деле «пример решимости» и защищать Саратов убоился, он тоже ускакал из города. Впрочем, у него были к бегству некоторые оправдания: из села Чердынь, где находилось его ополчение, он получил известие, что собранные им в помощь Саратову пятьсот человек крестьян подняли волнение.

И только теперь Бошняк остался единственным распорядителем по защите города.

Невдалеке от Саратова, на привале, Пугачев вспомнил, что плененные им под Петровском донцы не приведены к присяге. Он велел скликать сначала

сотника Мелехова. Он подал ему золоченую медаль, установленную за франкфуртское сражение, и сказал:

— Жалуют тебя бог и государь, служи верно!

Мелехов взял медаль и поцеловал руку Пугачева. Были пожалованы медалями и хорунжие. Затем всех донцов привели к присяге пред образом в медных складнях и тотчас выдали месячное жалованье по двенадцать рублей, а начальствующим лицам по двадцать рублей. Казаки остались довольны.

На заре 6 августа пугачевская армия, в количестве от четырех до пяти тысяч человек, начала приближаться к Саратову. Часть их шла по Московской дороге, а другая часть двинулась на Соколову гору.

Бошняк выслал вперед саратовских казаков и приказал им стараться забирать в плен мелкие передовые партии мятежников. Казаки поехали на Соколову гору и после встречи с пугачевцами почти все там остались. Два вернувшиеся казака объявили, что «государевы» командиры требуют доверенного человека для переговоров.

Эта весть, как на крыльях птицы, быстро облетела и защитников и жителей. Меж тем с Соколовой горы ударили по городу восемь пушек. До укрепленного района, где Бошняк, долетело лишь одно ядро. И все ж таки среди защитников началось смятение. Жители, мещанство и в особенности купечество, хоронившиеся возле торговых каменных рядов, точно так же заколебались, и как-то сам собой возник вопрос: «На защищение надежды мало, так уж не лучше ли загодя сдаться на милость мятежников, а то хуже будет». После краткого совещания, под гром пугачевских пушек, ратман и есаул саратовских казаков Винокуров обратились к купцу Кобякову:

— Федор Елисеич, не пострашись, съезди в стан да узнай, для каких переговоров требуют туда человека.

Кобяков, бравый средних лет купец с рыжей бородой и горбатым носом, попрощался с заплакавшей женой, сыном и со всем людом, сел верхом на коня, перекрестился дзуперстием и поехал на Соколову

гору. И лишь только остановился там и собрал возле себя толпу мятежников, как Бошняк приказал открыть огонь по кучке народу возле Кобякова. Оставшееся купечество вознегодовало на действия Бошняка. Бургомистр Матвей Протопов, вскочив на лошадь, помчался к Бошняку.

— Батюшка, ваше высокоблагородие, — стал купец выговаривать ему. — Да ведь ты своими выстрелами лучшего нашего купца изничтожишь. Одумайся!

— А что же, мне любоваться на изменников?

Тем временем Кобяков, окруженный казаками, поехал в стан Пугачева, что верстах в трех от города, в зимовье саратовского колониста.

Пугачев сидел в саду, в холодке, ел яблоки. Кобякову показался он грозным. Купец упал на колени.

— Ты что за человек? — спросил Пугачев. — Встань.

— Ваше величество, я саратовский купец Кобяков. Город прислал меня к вашей милости за манифестом. Жители хотят под вашей рукой быть и служить вам, а манифеста нет...

— Дубровский! — закричал Пугачев. И когда секретарь, поспешая к государю, выскочил в окно из дома, Пугачев раздраженно сказал ему: — Как это так, Дубровский, в Саратове моего императорского манифеста нет? Вот жалуется человек.

— Был манифест послан, ваше величество, — ответил секретарь. — И не один...

— Может, и был, — сказал Кобяков, — да не в наши руки попал он. Начальство завладело им.

— Сколько у вас там солдатства-то, и кто командир, Бошняк, что ли?

— Бошняк, ваше величество, — проговорил купец. — А воинской силы мало, да и та в колебании...

— Вот видишь... А у меня сейчас пять тысяч, а завтра и все десять будут... Так и скажи там. А Бошняка поймать надо да голову срубить... На, возьми манифест, казачьему есаулу Винокурову отдай... Иди. Слышь-ка, у тебя баньки нет, купеческой?

— Была, ваше величество, — тряхнул рыжей бородой купец, — была, да пожар слизнул.

— Жалко. А то я с самой Казани веничком-то не хвостался... Вот банька была у купца Крохина, отдай все, да и мало.

Крупное лицо купца растеклось в улыбку, меж рыжими усами и бородой сверкнули белые зубы, он сказал:

— Первейший дружище мой, Крохин-то Иван Васильич... Самый закадычный.

— О-о, ишь ты, — прищурил правый глаз Емельян Иваныч. — Ну, иди с богом.

И только он ушел, ввалились в сад посланцы от немцев-колонистов из Царицына, Сарепты и других приволжских колоний. Они приглашали Пугачева в гости, обещали снабдить армию мукой, овсом, крупой и рыбой. Усердно просили, чтоб не было от государевых людей колонистам обиды и чтоб селения их остались целы.

— Мы вас, кайзер Петр, встретим и проводим, а часть нашей молодежи вступит в вашу императорскую армию.

— Благодарствую, — сказал Пугачев. Он выпил с ними по чарке вина и, прощаясь, добавил: — Поезжайте спокойно в свои дома, все будет по-вашему.

Не успели колонисты уйти, как явились посланные от трехсот бурлаков.

А в это время купец Кобяков, держа над головой бумагу с манифестом, подъезжал к окраинам города. Навстречу его скакал с тремя казаками Бошняк, огромные усы его развевались.

— Что это у вас? Давайте сюда! — Он выхватил бумагу из руки Кобякова, соскочил с седла, мельком взглянул в манифест, тотчас в ключья разорвал его: — Крамола-а-а!.. Крамола-а-а!..

Набежавшие купцы и мещане заявили Бошняку, что они драться не будут, а пойдут всяк в свое жилище.

Тем временем Кобяков, пользуясь замешательством, объезжал ряды солдат и с коня кричал им:

— Эй, служивые! Себя поберегите! Да и нас та-кожде. У батюшки сила-а-а!..

— Арестовать крамольника!.. Арестовать! — голо-
сил подоспевший Бошняк.

Но его уже никто не слушал: обстрел города произвел переполох и всеобщую сумятицу. Жители сначала в одиночку, а затем и толпами начали перебегать в лагерь пугачевцев.

Вскоре, побросав свои посты, двинулись сдаваться в плен и воинские части. Прапорщик Соснин, находившийся на крайней батарее Бошняка, вместе с двенадцатью канонирами и прислугою бросил свою батарею и направился к городским воротам.

— Эй! — кричал он городничему. — Живо отворяй ворота! Иначе в куски изрубим.

Но ворота уже и без того трещали: в них ломилась мятежная толпа. Ворота рухнули, часть пугачевцев кинулась по улицам. Соснин привел свою команду в стан Пугачева, всем фронтом отдал ему честь, опустился на колени и, принимая его за истинного Петра III, передал ему свое оружие.

Видя появившихся в городе пугачевцев, все бывшие за укреплениями разночинцы и пахотные солдаты, а вслед за ними и триста шестьдесят человек нижних чинов под начальством двух офицеров и под предлогом вылазки устремились к Соколовой горе и там тотчас передались мятежникам.

Наблюдая почти поголовное бегство на Соколову гору, Бошняк приходил в негодование. Усищи его обвисли, лицо позеленело.

— Пожалуйте! Кругом измена!.. Бегут как бараны!.. — кричал он. Ему было видно, как со всех мест устремяются в стан неприятеля и защитники и жители: бегут торговки, пирожницы с лотками на головах, с кринками молока, с кошельми, набитыми всякой снедью, бегут мальчишки, девчонки, семянт, подпираясь батогами, старики.

Бошняк приказал командиру саратовского батальона Салманову построить солдат в каре и отступить к Волге. Но вместо отступления майор Салманов скомандовал солдатам:

— По рядам налево! — и повел батальон на Соколову гору.

— Мерзавец! — заорал ему в спину Бошняк и от негодования затрясся. Около трехсот солдат, побросав ружья, двинулись с барабанным боем за своим командиром. Салманов¹ точно так же был совершенно уверен, что ведет солдат не к самозванцу, а к царю. Придя в ставку, он и его батальон опустились на колени. Тут же находилась и рота прапорщика Соснина.

— Пленные, ступайте в лагерь. Там будет учинена вам присяга, — сказал Пугачев солдатам и велел наградить их деньгами.

При Бошняке остались лишь двадцать шесть офицеров и горсть солдат. Он приказал оторвать полотнища знамен от древков и спрятал их. Остатки отряда во главе с Бошняком кой-как пробились чрез толпу пугачевцев и спешно стали отступать по дороге к Царицыну. Пугачевцы преследовали их до глубокой тьмы. В деревне Несветаевке отряд сел на лодки и 11 августа прибыл в Царицын.

Между тем пугачевцы растеклись по всему городу. Они освободили арестантов, взломали винные погреба, предались пьянству. Казенные и купеческие дома подверглись разграблению, обороняющихся умерщвляли. По улицам валялись мертвые тела. Гостиный двор, лавки, богатые дома и церкви были обобраны, все ценное уносилось на Соколову гору.

К позднему вечеру страсти разгулялись вовсю, начались поджоги, кой-где запылали пожары. И не было возможности остановить потока накопившихся в народе мстительных порывов. Толпой были избиты есаул и два хорунжих, высланных Овчинниковым для утишения пьяной завирухи. Все гудело кругом, гуляли огни пожарищ, раздавались выстрелы, неистовые крики, пьяная — во всю ивановскую — песня, похожая на звериный рев. Большинство населения, дабы избежать насилия от бунтовщиков, привалило на Соколову гору, где у ставки Пугачева подгулявшие священники приводили народ к присяге. Тут же

¹ Впоследствии Салманов был лишен всех прав и сослан в Таганрог на вечную каторгу.

пугачевские командиры всем годным на государеву службу стригли по-казацки в кружало волосы.

Темная ночь и проливной холодный дождь положили конец гульбе.

Наутро наступил некоторый порядок. Пугачев в окружении яицких казаков приехал в город и в соборной церкви приводил жителей к присяге. Он приказал открыть амбары и соляные склады и выдавать народу хлеб и соль безденежно, а убитых хоронить запретил.

На обратном пути в ставку к нему подъехал некий хорошо одетый пожилой всадник с пегими усами, снял шапку, низко поклонился ему и сказал:

— Царь-отец! Поприсмотрись-ка ко мне, батюшка. Я торговый Уфимцев, роду казацкого... Помнишь ли, когда шел ты от Яика к Оренбургу, близко году тому назад, повстречал меня, а я гнал втапору триста лошадей. Ты, ваше величество, сторговал их у меня за три тысячи пятьсот рубликов, я, конечно, отдал, а расчету с тебя не получил. Может, батюшка, вспомнишь да отдашь? — несмело закончил казак Уфимцев и надел шапку.

Присмотревшись к нему, Пугачев сказал:

— Справедливо говоришь. Помню, помню! Я тогда не при деньгах был. — И обратись к своим свитским: — Слышь, Дубровский, да и ты, мой друг Горбатов, как приедем в лагерь, выдайте ему медяками три тысячи пятьсот. На-ка, Горбатов, от казны ключ тебе. А не четыре ли тысячи, Уфимцев, денег-то за мной...

— Нет, надежа-государь, три тысячи пятьсот как одна копеечка...

— Ты тутошный?

— Здешний, ваше величество... Дом справный был, да погорел. Живем теперич с двумя сынами в амбаре, старший-то сын женат, младший в парнях ходит.

Пугачев тут же на ходу назначил его на место Бошняка, саратовским комендантом, старшего сына произвел в полковники, младшего определил в свою армию казаком,

— И чтоб сей же день явились ко мне в ставку!

По армии с утра производилось усиленное ученье. Пугачевцы забрали в Саратове более тысячи ружей, много пороху, пять медных пушек — знай стреляй! Крестьяне под руководством опытных казаков занимались учебой весьма охотно и с немалым успехом.

На следующий день Емельян Иваныч приехал со своими ближними к Троицкой церкви, там было спрятано Ладыженским двадцать шесть тысяч рублей денег медною монетою. Все деньги, а также двадцать тысяч кулей муки с овсом, приказано грузить на подводы.

Подошла толпа бурлаков. Кланяясь государю, они доложили, что ими захвачен на Волге баркас с господским имуществом.

— Осмотри, батюшка, а пожитки прими...

Пугачев спустился к воде и прошел на «посудину». Бурлаки предъявили пять бочонков медных денег, большой сундук с серебряной посудой, два сундука с богатой срядой. Осмотрев вещи, Пугачев запер сундуки, опечатал их своей государевой печатью, велел судну подвигаться вниз вслед за армией. А три ключа от сундуков широко размахнувшись, бросил при всем народе в воду. Мальчишки тотчас скинули с себя рубахи и порточки и, в надежде овладеть ключами, принялись нырять.

9 августа армия двинулась походом дальше. Пугачев с атаманами замешкались. Батюшку снаряжали в поход Ненила и красавица Анфиса. Одевали его в простое платье. Атаманы толкались возле, молодежато крутили усы, сверкали на Анфису глазами, но девушка была сумрачная и печальная — ей начхать на всех атаманов, да, пожалуй, и на «батюшку», она искала взором статного Горбатова и не находила его. Ох, уж этот недотрога офицер, никакими бабьими чарами его не купишь, он бежит от нее, как монах от нечистой силы. Вареная рыбина какая-то, а не военный кавалер. Видно, другую в сердце носит. А ведь Анфиса-то не какой-нибудь обсевок в поле, на нее, бывало, сам сынок Кобыкова, казанского купца, загля-

дывался. Эх, замест души спасения, видно, гибнуть Анфисе, в кромешном огне гореть, господи спаси и помилуй сироту.

— А где Горбатов? — спросил Емельян Иваныч, надевая через плечо саблю.

Андрей Горбатов в это время стоял на берегу Волги, досматривал, чтоб все средние и малые «посудины», нагруженные армейским имуществом, были как следует оснащены и не замедлили спускаться вниз к Царицыну.

Саженья в ста от берега держалась на якоре небольшая баржа. На ее верхней палубе стояла кучка женщин. Они громко кричали, стирали к берегу руки, махали шалями, фартуками. От баржи к берегу плыл на лодке бородатый казак с винтовкой за плечами. Его лодку течением снесло, он причалил ее к берегу и побежал к идущему ему навстречу — конь в поводе — Горбатову.

— Господин начальник, — сказал казак, видя на левом рукаве Горбатова широкие позументные нашивки. — Я эвот с той баржи. Мы с Казани сено, овес, крупу с мукой плавим, по деревням собирали, у помещиков.

— Кто это — мы? — спросил Горбатов.

— Как кто! Слуги царские. Нас семеро: вот я — казак, достальные — суконщики казанские да четыре бурлака, они и купеческую баржонку с продохтой из Казани увели. На ней и плывем мы. Опречь того, нам мужики сдали с рук на руки шесть девок, помещичьи дочки, дворянки, стало быть, либо сродственницы. А одну мы от рыбака отобрали, рыбак плавил ее на понизово, из благородных она тоже и собой приятенькая, все плачет, все плачет. Мы недавно приплылись. Женщины просят на берег, чтоб, значит, батюшку увидеть, чтоб слободил их, значит, на волю. Они подаваться в Москву хотят, женские-то.

— Побудь тут, я сейчас, — сказал Горбатов и стал садиться на коня.

С баржи снова поднялся неистовый крик и рев. Женщины кричали пронзительно. Горбатов сделал руку козырьком, чтоб защитить глаза от пламенного солнца, спускавшегося к закату как раз позади баржи,

и, ослепленный солнечным сиянием, не мог как следует разглядеть того, что творится на палубе. Там все погрузилось в густую тень. Зато весь правый берег Волги и сам Андрей Горбатов были с баржи ясно видны. Даша Симонова сразу узнала своего дружка по его статной фигуре, по движениям, а затем разглядела и черты лица его.

— Андрей! Андрей! — надрывалась она, но ее голос тонул в общем крике.

— Садись-ка и ты, казак, ко мне, — приказал Горбатов, — так дело-то управней будет.

Бородатый казак заскочил сзади Горбатова на его рослого коня, и вот они догнали Пугачева верстах в трех за Саратовом. Выслушав своего любимца, Пугачев сказал ему:

— Мне таперь, Горбатов, не до девок, не до дворянок! — затем, подумав, кивнул казаку: — Иди в обрат, и вот тебе мое царское повеленье: дворянок плавить до Царицына и мне там представить. В дороге питать без отказа, обид не творить им, а иметь к ним береженье, никакой вины на них супротив меня нету. А караул держать. Ступай, казак.

Армия продолжала идти маршем, казак сел в лодку и поплыл к барже, а Горбатова зоркие глаза Даши уже не нашли на берегу. Ну что же это за напасть такая!.. Ведь вот почти рядом был, вон у той землянки с белой дверью. Неужели он не слышал ее отчаянного голоса, неужели не мог заметить ее среди других женщин? «Ведь я же видела его. Значит, он совсем отвернулся от меня, навек забыл свою Дашу». Ей и в мысль не приходило, что единственной причиной ее несчастья было — солнце.

Узнав от казака царев приказ, девушки заплакали... Когда-то еще подплывут они к Царицыну, а пока что сиди с этими мужланами в неволе. Но... Что за чудеса! Все грубости от караула разом прикончились, обхождение резко изменилось, и не стало к девушкам иного обращения, как «барышни».

Глотая слезы и вся в ознобе, Даша спросила казака:

— Не знаешь ли ты прозвище офицера, который тебя на лошадь посадил?

— Как не знать! Царь-государь говорил ему — Горбатов... Послушай-ка, мол, Горбатов, господин...

— Так что ж ты не сказал Горбатову, что я родная сестра его! — схитрила Даша. Она боялась назвать себя Симоновой, не зная, как отнесся бы к этому казак.

— Ха! Смешная какая ты, ей-богу, барышня. Кабы знамо да ведомо, я бы сказал ему...

— Ты не из Яицкого городка?

— Нет, мы из Илецкой защиты.

Солнце село, хвост армии пылил вдаль, надежда свидеться с Андреем исчезла. Даша, вся опустошенная, спустилась в свой уголок, упала на сенник и закуталась в шаль с головою. На нее напало тяжелое томление. Ей бы плакать надо, удариться в голос и кричать от душившего ее терзания. Но благостных слез не было, и внутри как-то все застыло. Она уже переставала верить в добро и счастье на земле, в существование на небе бога. Ежели бог есть, так почему же он не хочет оказать Даше милость и как нарочно устраивает так, что Дашу всюду преследуют неудачи: была у нее подружка Устя, был Митя Николаев, и нет их; был Андрей, единственная верная любовь ее, и нет Андрея; может быть, не повидавшись с ней, он завтра же будет сражен пулей. Уж не мстят ли ей силы небесные, что сменила она путь спасения грешной души своей на зовы юного сердца и, рассорившись с матерью игуменьей, с монастырскими сестрами, ринулась в поиски Андрея Горбатова?

Она перебирает в своей памяти бурную размолвку с гостеприимной женской обителью и тайный побег свой из монастыря на берег Волги, где ждали девушку два старых рыбака, чтоб сплавить ее вниз по течению и передать с рук на руки другим рыбакам или устроить ее на какое-либо попутное суденышко — их множество в ту пору проплывало по Волге. В конце концов, имея при себе единственное богатство — небольшой зеленый сундучок с кой-каким тряпьем, — она сидит в большой лодке: баба и старик с парнем

возили в Нижний-Новгород арбузы, а теперь возвращаются к себе, под Камышин-город. И однажды перед утром, когда все четверо спали у костра на берегу, их поднял окрик:

— Эй, вставайте! Ты кто такая?

И вот Даша, как подозрительная личность, схваченная пугачевским отрядом, попала с своим зеленым сундучком на эту баржу. Такова судьба.

За Дашей ухаживает на барже работник с суконной казанской фабрики Макар Сизых. Борода у него густая, с проседью, коротко подстриженная, нос вздернут кверху, в разговоре несколько гнусит, глаза безбровые, но пристальные, нелюдимые. Он сибиряк, из байкальских казаков, много лет тому назад приехал с женой в Казань, чтоб дальше двинуться в Москву, да в Казани и застрял. Жена его умерла, собственная хибарка сгорела, когда царь-государь город брал, детей у него нету, вот он и догоняет батюшку, чтоб помочь ему, — ничего не поделаешь, душа затосковала. «Иди да иди, Макар», — прямо в уши ему зудил невидимый человеческий голос, ну что ж, собрался в одночасье и — айда! За опояской у него пистолет с кинжалом, в углу на гвозде охотничье ружьишко, он устроился почти рядом с Дашей. У нее часто происходили разговоры с ним по душам.

— Ну, а скажите, Макар Иваныч, — начинала Даша. — Вы верите, что батюшка победит?

— Кто, я? Ни в жизнь не верю... — отвечал тот. — Я доподлинно знаю, что государя разобьют. А пошто? Да пато, что оруженье у него дрянь дрянью, а войско — сиволапое мужичье с кулаками. Вот теперя с турецкой войны уж-ко какие супротив него полки будут двинуты! Пороху понюхали достаточно. А у батюшки-то что. Тьфу, можно сказать...

— Так зачем же вы, Макар Иваныч, погибли себе ищите?

— Ах, барышня!.. Да говорю вам—душа требует. Вот повоюю сколь можно—ружье у меня есть, зверолов я первеющий, — а как придет дело к неустойке, стрекача задам в Сибирь: дуй, не стой, дорога лугом!

— Вот и мы с женихом моим думали в Сибирь, — вспомнив свой казанский разговор с Горбатовым, раздумчиво говорит Даша. — Только что там делать-то?

— Ха! Милая вы моя барышня... В Сибири-то? Да ведь Сибирь край-то какой... Богатейший край!.. Там всего много и все дешево. И люди там супротив здешних другие. Верный народ, вольный!.. Ни помещиков, ни купчишек, шибко душевредных. А ежели начнет который дюже забижать крестьян, у нас с ним расчет короткий: нож в бок либо шкворнем по башке. Так они с нами-то дела ведут с оглядкой, а вот якутов с тунгусами да бурят шибко забижают. Бегите-ка, барышня, и вы в нашу в Сибирь-матушку, безбедно со своим нареченным проживете, благодарить меня будете.

Он вынул из плисовых штанов сверкач с огнивом, закурил трубку, стал обсказывать, как расчудесно можно прожить в каком-нибудь глухом углу, в тайге, в кедровнике, да чтобы речка была. Тут тебе и рощища можно сделать под хлеб да под огород, и двух коровушек с овечками завести, пасеку устроить. Осенью ягоды, орех поспеет, рыбы за лето наловите, знай живи — не тужи! Ежели хотите, и я могу с вами вмести, найду себе бабу, да и заживем вчетвером...

— Ах, это было бы чудесно.— В голосе Даши слышались и радость и печаль: она знала, что в жизни редко случается так, как об этом мечтаешь, жизнь поступает с человеком подчас жестоко и бессмысленно, у жизни свои скрытые от людей законы.

Но так или иначе, под влиянием рассказов сибиряка, Даша несколько прибодрилась и стала нетерпеливо поджидать встречи с Андреем.

Пугачев в пути был хмур и мрачен. Прав был атаман Овчинников, предрекая, что донские казаки, переметнувшиеся к государю, ненадежны. Так оно и вышло. Все шестьдесят казаков, вместе со своими начальниками, один по одному скрытно из армии бежали.

Странно, что даже победа над Саратовом не смогла прилепить их к царской армии. Уж не встречались

ли они с Пугачевым раньше, когда он был среди них простым казаком? Разумеется, могло быть и это...

— Не я ли тебе, Петр Федорыч, говорил, что утекут от нас казачишки-то?

— Правда твоя, Афанасьич, — ответил Пугачев Овчинникову. — А уж я ли их не ублажал: и медалями наградил и деньгами.

— Ничего, батюшка, не помогло, даже присягу тебе рушили. А почему? Да из богатеньких они, дорожки у них с нами разные.

— Нагадят нам в кашу, — уныло сказал Пугачев, — ужо-ко трепать языком учнут...

— Нагадят, ваше величество, нагадят.

В это время преследующие Пугачева отряды Муфеля и графа Меллина, боясь встретиться с пугачевцами в открытую, остановились в пятидесяти пяти верстах от Саратова, в деревне Крюковке. Узнав, что пугачевцы 9 августа покинули город, оба военачальника 11 августа вступили со своими отрядами в Саратов.

Муфель выгнал оставшихся в городе мятежников, многих из них публично повесил. Он приказал убитых самозванцем погребать по христианскому обряду, трупы же пугачевцев, «яко непотребных извергов, вытаща по земле за ноги за город, бросить в отдаленности в яму, прикрыв землею, повешенных же злодеев отнюдь не касаться, а оставить их на позор и наказание зараженным и колеблющимся разумом людям».

14 августа пришел в Саратов полковник Михельсон, а вслед за ним приближался генерал Мансуров со своим отрядом.

Граф Панин, недовольный действиями Муфеля и Меллина, поручил Михельсону сделать им замечания, что они не подоспели на помощь Саратову и, находясь вблизи мятежников, устрашились атаковать их.

Тем временем Пугачев, подаваясь на юг, полагал пробиться возле Царицына в узкий промежуток между Волгой и родным ему Доном. Он совсем недавно мечтал в ночное время на берегу речушки прийти на Дон, поднять казачество и, не мешкая, выступить походом на Москву. Но теперь этих мыслей в нем не осталось и в помине. Он знал определенно, что по пятам

за ним гонятся правительственные отряды, а прилепившиеся к нему казаки донцы так коварно изменили ему, покинули его... Поэтому единственным желанием Пугачева теперь осталось поднять донских казаков, уйти с ними на Кубань, перезимовать в тех местах, а что дальше делать — видно будет...

ГЛАВА VI

Прохиндей по следам царя. «Я солдат». «Мужицкий царь». Заговор. Слово пастора

1

Долгополовская комиссия, во главе с Галаховым и Руничем, оставив Рязань и Шацк, двигалась вперед с поспешностью.

Из официальных донесений комиссия узнала, что Пугачев со своей армией стремится к Саратову и уже подходит к крепости Петровской, а подполковник Михельсон, преследуя Пугачева, находится от него в ста верстах. Комиссия тотчас выехала в Арзамас, на большой Саратовский тракт, пытаясь догнать корпус Михельсона.

Проехали Арзамас, проехали Починки с казенным конным заводом. От воеводы узнали, что несколько дней тому назад завод был пугачевцами разбит, кони уведены в лагерь мятежников.

Вскоре комиссия прибыла в Саранск. Город был опустошен, частью выжжен. На соборной площади человек с полсотни жителей торговали в ларьках съестным. Долгополов с гусарами закупил на всю комиссию продуктов: молока, творогу, соленых рыжиков, до которых он сам был большой охотник.

— Ну и похозяйничали же тут у вас злодеи, — сказал он продавцу, расплачиваясь с ним и стараясь, по вкоренившейся привычке, обсчитать его.

— У-у-у, — затряс тот бородой, — что и было здесь-ка, что и было... Воеводу сказнили с товарищем да

шестерых помещиков. Теперича от батюшки посажен у нас в Саранске свой воевода, однорукий. Мы промеж собой смеемся: мол, поди он и хабару с нашего брата в два раза меньше будет брать, одной рукой-то.

— Ты про батюшку лучше помалкивай, приятель, — строго сказал ему Долгополов и пальцем пригрозил. — А то у нас живо плетей получишь...

— Да ведь... по глупости это, господин хороший, — проговорил торгаш и вдруг закричал вдогонку Долгополову:

— Стой! Эй, ты!.. Вернись! Слышь, двадцать две копейки недодал...

Но Долгополов как ни в чем не бывало, окруженный гусарами, ходко шагал к своим экипажам.

Пред Галаховым стоял однорукий воевода в пестрядинном полушубке, опоясанном портупеею со шпагой. Он бывший подпоручик штатной команды.

— В городе Саранске, ваше высокоблагородие, все благополучно, — докладывал он. — Бывший воевода убит, а город предоставлен мне.

— Кто тебя назначил воеводой? — презрительно спросил Галахов.

Однорукий замялся, опустил голову, исподлобья посматривал в замешательстве на Галахова...

— Убирайся прочь! — крикнул на него Галахов. — И больше не смей называть себя воеводой... Прочь!

— Стыдись, сукин сын! — не стерпел бросить в спину пошагавшего пугачевского воеводы Долгополов. И, обратясь к Галахову: — Вот, извольте подивиться, ваше высокоблагородие, какие подлецы на свете водятся. А еще бывший офицер... Ая-яй, ая-яй... Да такого не жаль и вздернуть.

Пока подкреплялись пищей да перепрягали лошадей, стало темнеть. Двинулись дальше в сумерках.

Долгополов важно восседал в тарантасе вместе с Руничем. Ржевский купчик еще в Москве сбросил с себя измызганное казацкое платье и вырядился с форсом, по-богатому: в суконной свитке и штанах, в опойковых сапогах со скрипом, а поверх, чтоб не запылилась сряда, надевал он добротный пеньковый архалук. А что ему! У него за пазухой изрядный гаманец, на-

битый золотыми империялами, — подарок матушки царицы; узелок же с ценными вещами, что вручил ему князюшка Орлов, он в Москве с хорошим прибытком продал. Ну, ему покамест хватит. А впереди крупная богатейшая получка! Только бы не сорвалось. «С нами бог! — мысленно восклицает, полный упования, прохиндей. — Деньги ваши — будут наши. Не впервой!»

Не успели путники отъехать от Саранска и двадцати верст, как их захватила хмурая августовская ночь. Темно было. Временами вставало на горизонте далекое зарево, справа другое, слева третье. Огонь то разгорался, то стихал.

С рассветом представилась путникам суровая картина опустошения. Казенных селений с государственными крестьянами было в этих местах очень мало, почти все села и деревни состояли в помещичьем владении, поэтому здесь порядочно-таки набедокурили восставшие. Жительства по тракту были пусты. В них оставались лишь старики да старухи с малыми ребятами. Все же остальное население, кто только мог сесть на коня, в телегу или добрым шагом идти пешком, вооружась косами, топорами, рогатинами, дубинками, присоединилось к армии «батюшки-заступника» и правилось вместе с нею.

Было время жатвы. Кругом ширились тучные, изобильные, с наливным колосом поля и нивы, но жнецов не было видно... Разве-разве где покажется седая голова согнувшегося с серпом деда или промелькнет среди колосьев согбенная спина женщины в темном повойнике на голове. Работая через силу и видя одно лишь разорение, они льют пот и соленые слезы. А над их головами безмятежно звучит песня жаворонка, последняя песня пред отлетом в теплые края. Прощай, прощай, веселая птичка! И ты покинешь стариков...

По несжатым нивам топтался беспризорный всякий скот — коровы, овцы, свиньи, — рыл, уничтожал хлеб, довершая бедствие крестьянина. Печально скиталось множество лошадей, измученных, покрытых кровавыми язвами, в которых гнездились гниение, копошились черви. Это изувеченные в битвах кони,

брошенные армией Пугачева или воинскими частями преследователей его. Иные лошади скакали на трех ногах, поддерживая на весу перебитую в боях четвертую, иные валились на бок и, судорожно подергивая ногами, скалили рот, как бы прося у проезжих смерти. Галахов дал гусарам приказ пристреливать страдающих животных.

Вот на обочине дороги вздувшаяся туша заседланного боевого коня, возле — обезглавленный труп всадника, левая нога вставлена в стремя.

— Эта башка татарская, вишь — гололобая! — кричал Долгополов, указывая пальцем.

А несколько подальше из помятых хлебов торчат три пары ног, обутых в лапти. Всюду смердящий дух по ветерку.

— Погоняй! — приказывает Рунич.

Попадались опрокинутые вверх колесами телеги, одноколки, переломленная коса валяется, топор, лапоть. В канавке лежит, как боров, чугунная, какая-то кургузая пушка, без лафета. Опять труп — лицом вверх, руки раскинуты, — русский бородач.

— Видать, работка господина Михельсона, — сказал Долгополов. — Работенка чистая! Добрую выволочку дал он сволочи этой!

Сухошекий, тщедушный Рунич спросил, высекая огонь и раскуривая трубку:

— Ну, а что, сам-то Пугачев храбрый, боевой?

— Хе-хе-хе, — закатился бараньим хохотком Остафий Долгополов. — Первостатейный трус...

— Да что вы, Остафий Трифоныч! — усомнился Рунич.

— Да уж поверьте, ваше благородие, — возразил ему Долгополов, и маленькие глазки его ушли под лоб. — Да ведь он, злодей, во все времена пьян. Как мало-мало шум, он либо на дерево и там отсидку делает, либо в нору сигает. Смехи!

— Позвольте, позвольте... А кто же восстание-то ведет? Ведь, боже ж ты мой, сколько возмутители крепостей позабрали... Кто же это, как не Пугачев?

— Ха, кто! — воскликнул Долгополов. — Атаманы с есаулами, вот кто. Овчинников, Шигаев, еще этот

изменник Падуров. Оный Падуров был даже член Большой комиссии, медаль на нем депутатская, вот какая сволочь... Ну, иным часом и я командовал, грешный человек. Осу — я брал, пригород Осу...

— Вы? — Рунич со строгостью взглянул на своего соседа.

Тот испугался, прикусил язык, верхняя губа его задержалась, сказал:

— Известно, какой я командир? А, бывало, как крикну: «По коням, молодцы!» Да как вскочат все на коней... Соберу это я казаков в круг: «Нам, молодцы, так и так с верными правительству войсками не сладить. Утекай полным маршем врассыпную, пушай Михельсон мужиков крошит...»

Рунич недоверчиво улыбался, искоса посматривал на Долгополова, затем после молчания:

— Так как же он, пьяница и трус, армию-то в повиновении держит, Пугачев-то?

— Лютостью, ваше благородие, великой лютостью. Чуть что не по нем — в мешок да с камнем в воду. А был случай, он своего самого верного слугу Лысова — из-за девок спор вышел — приказал связать, раздеть-разуть да все двадцать пальцев самолично у него кинжалом отхватил с рук, с ног. — Долгополов вприщур поглядел в хмурое лицо соседа, вздохнул и продолжал: — Да таких злодеев от сотворения мира не было. Прямо сатана из преисподней... Ой, ты! Видя от Пугачева одну лютость, я и подговорил атаманов — предать разбойника в руки правосудия. Он, висельник, и меня оскорблял не раз. Полбороды мне выдрал, ведь у меня борода окладистая была, и лик у меня был не то что степенный, а без хвастовства скажу, — первостепенный. Куда полбороды, — почитай, всю бороду оторвал, каторжник, с мясом выдернул. Уж разрешите, ваше благородие, коль скоро схватим самозванца, я ему первый в морду дам. — И, помолчав немного, вкрадчиво спросил: — Ваше благородие, а деньги, что на поимку выданы в Москве, у кого находятся?

— У капитана Галахова.

— Целиком? Альбо часть у вас?

— А вам зачем это знать, Остафий Трифонич?

— Как зачем, как зачем? — завертел шеей Долгополов и не знал, как половчее выкрутиться. — Мало ли что в дороге... Надо бы разделить, и я бы часть взял на сохранение... А то, оборони бог, несчастье какое, вроде нападения... Всяко бывает, ваше благородие... Господи, спаси, господи... — И Долгополов стал креститься по-раскольничьи, двуперстием.

— Вы, я вижу, Остафий Трифонич, старозаветной веры придерживаетесь?

— А как же! Ведь у меня во Ржеве... то бишь... это, как его... у меня в Яицком городке и молеленка в доме имеется. Ведь мы, казаки, почитай, сплошь равноапостольской старой веры...

— Да вы родом-то откуда будете? — насторожился Рунич. — Вот вы... насчет Ржева...

— Какой там, к свиньям, Ржев? — испугался вовсе Долгополов. — И слыхом об такой местности не слышал, не то что... Путаете вы меня, ваше благородие.

— Гм, гм... — промычал Рунич, скосив глаза на сторону.

Лошадки бежали ходко, ямщик — древний старец, — выгорбив сухую спину, лениво помахивал кнутом, причмокивал. Впереди пылила тройка Галахова с четырьмя гусарами. Галахов плотно сидел на пуховой подушке и кожаной сумке с секретными бумагами и казной. Ложась в каком-либо селенье спать, Галахов неукоснительно клал сумку в голову, у входной двери всю ночь несли караул с обнаженными саблями рослые гусары.

2

Где-то пылил о ту пору по российским дорогам знаменитый генерал-поручик Александр Васильевич Суворов.

Двадцать третьего июля в Петербурге от фельдмаршала П. А. Румянцева было получено донесение о заключении с Турцией мира. Это радостное известие внесло в умы правительственных сановников бодрость

и полную надежду быстро справиться с мятежом Пугачева.

Тем не менее, опасаясь более всего за Москву, Екатерина вознамерилась отправить из обеих освободившихся от войны за границей армий всех генералов тех дивизий, которые постоянно квартировали в губерниях Казанской, Нижегородской и Московской.

— Пусть каждый генерал возьмет с собою по небольшому отряду и дорогою распускает слух, что за ним идут большие войска. Надо чаять, что сие отрезвит население, — вгорячах предположила Екатерина. Но впоследствии, успокоившись, она решила отправить в помощь главнокомандующему Панину только одного генерал-поручика Суворова.

Едет Суворов просто, не по-генеральски, в немудрой кибитке, на облучке — ямщик, а рядом с Суворовым — старый верный слуга его. Сверх потертого обыкновенного мундира надет на Александре Васильевиче крестьянский армяк (куплен был в дороге), на голове крестьянская же валяная, «грешневиком», шляпа с узкими полями.

Суворов мрачен. Молчит, поплевывает под ветер на дорогу, что-то бормочет про себя и вдруг — выкрикнет, ни к кому не обращаясь:

— Помилуй бог! Я солдат, солдат...

Пылит путь-дорога, тянутся скучные версты: то пашни, то болота, то пески сыпучие.

Пустынно вокруг, сумрачно. Хотя бы какая-нибудь молодайка баба в ярко-красном сарафане прошагала или веселая деваха с цветистым венком на голове порадовала проезжающих своей звонкоголосой песнью. Тоскливо, сумно на душе.

Суворов подергивает плечами, по его подвижному лицу скользят сменяющиеся быстро гримасы, он то зашуривает большие глаза, то широко их распахнет и снова выкрикивает резким, раздражительным голосом, будто оспаривая кого-то или стараясь убедить себя:

— Я солдат, солдат... Приказано — выполняй...

Ни возница, ни слуга не понимают, что странные сии выкрики означают. Но Суворов кричал, потому что этого требовала душа его.

На слугу накаѣывает дрема. Он начинает позевывать, клевать носом. Дремлется и Суворову. Бельмастый мужик на облучке уныло гундосит в бороду:

Ай, кто пиво ва-а-арил?
Ай, кто затира-а-ал?

И затем быстро-быстро, скороговоркою:

Варил пивушко сам бог,
Затирал святой дух,
Сама матушка сливала,
Вкупе с богом пребывала,
Святы ангелы носили,
Херувимы разносили,
Херувимы разносили,
Серафимы подносили...

— Эй, там! — окликал Суворов мужика. — Из хлыстов, что ли, будешь?

Бельмастый испуганно смолкал.

Перед самым въездом в какую-то деревню Александр Васильевич оживился. Ткнул себя в грудь, снова закричал:

— Домашний враг! Домашний враг! — и закудахтал по-куриному: — Ку-дах-тах-тах... Куда ты едешь, дурак? Помилуй бог, солдат, солдат я... Приказано...

— Чего-с? — просыпается слуга.

Бельмастый ямщик оборачивается на проезжающего и стеснительно ухмыляется: «Гы-гы-гы». Он видит гневно сверкающие глаза барина и тотчас же отворачивается, хлещет коренника вожжою.

Парнишки распахнули заскрипевшие ворота через дорогу и, выжидательно поглядывая в лица проезжих, запросили:

— Дяденька, дай копейку, дай грошик!

Суворов снял с мочального лычка пять баранок, кинул их парнишкам и спросил:

— Чего делаете, малыши? В городки, никак?

— В городки, дядя, в городки... В рюхи...

— А ну, примите меня. Кости поразмять...

Белобрысый брюханчик, лет шести, в большом картузе, сдвинутом на затылок, в пестрядинной рубашонке с поясом, сказал:

— Да тебе и палкой-то не швырнуть... куда тебе...

— Помилуй бог, швырну!

Суворов сбросил армяк, мундир, шляпу, засучил рукава белейшей, ярославского полотна рубахи и, приказав подводе подняться к церкви, остался с малышами. Смачно чавкая баранки, ребятишки шумливо принялись ставить рюхи, разбирать палки.

— Ты, дяденька, хватай вот эти палки-то, кои самые толстые. В них поп с дьячком играют. Да тебе поди и в рюхи-то не попасть, — сказал, скаля зубы, все тот же белобрысый, в большом картузе, брюханчик.

— Молодец! Бойкий! — заулыбался Суворов, сплевал в ладони, взял самую толстую палку, отбежал к задней черте, сам себе скомандовал: «Целься!» Прищурился: «Пли!» — да как ахнет.

Рюхи, словно черные галки, в разные стороны, аж завыли... Вот так саданул! Парнишки рты разинули.

— Хох ты... — прохрипел с восхищением рыжий карапуз.

А другой, беспортошный, в мамкиной кофте с длинными рукавами, сюсюкал:

— Сильна-а-й... Си-и-ль-на-ай ты...

Тут подошел к Суворову слуга с тюрючком, сказал:

— Ваше превосходительство, не отведаете ли курочки?

А мальчонка смахнул к затылку спустившийся на глаза картуз и говорит:

— Нет, ты не енерал.

— А кто же я?

— Ты... солдат. Нешто енералы играют в рюхи? Хы!

Суворов засмеялся:

— А вот я играю, а когда и заморского врага бью... Бей, не робей.

Опять прищурился на новый городок — да как ахнет! С трех палок выщелкнул все рюхи, крутнулся на одной ноге, сказал:

— А ну, кто скорей до кибитки? А ну!

Да как пустится вприпрыжку, всех опередил.

— Ну, прощайте, пузаны, — говорил, залезая в кибитку. — Ямщик, а ну припусти лошадок... Как это ты распевал-то? «Херувимы разносили, серафимы подносили...» Хе-хе...

Суворов вплотную приблизился к местам, охваченным восстанием. Брошенные деревни, сожженные поместья, необрушенные нивы, беспризорный скот. Крестьянские обозы со всем скарбом, малые толпишки вооруженных чем попало пешеходов. Никто на Суворова не обращал внимания. В одном месте разъезд гусар повстречался, восемь человек, тоже на проезжих ни малейшего внимания.

Но вот под вечер, возле деревеньки Забойной, Суворов наскочил на троих конных пугачевцев. За их плечами казацкие короткие винтовки, с левых боков — сабли. У бородача — прикрепленная к стремени пика.

— Стой! — закричал бородач.

И Суворов, оправив шляпу, тоже крикнул:

— Кто такие?

— Не твоего ума дело. Документы есть?

Ямщик съежился от страха, старый слуга творил молитву.

— А где нынче государь? — строгим голосом спросил Суворов.

— Какого тебе?

— Петра Федорыча Третьего... Один он у нас...

— Да мы сами его, батюшку, ищем днем с огнем... Тебе пошто к нему?

— Яицкие вы или илецкие? — не отвечая на вопрос, поднял голос Суворов.

— Я с Яику, а эти двое оренбургские, — ответил бородач. — А нет ли у вас, проезжающие, винца либо пожарь чего?

— Сами скудаемся в винишке-то, — торопливо отозвался слуга. — Эвот, господа казаки, на горе церковь — видите? Верст с пятнадцать отсель. Ну,

так там у попа много пивов наварено. Езжайте, даст.

— Та-а-к... — протянули казаки, из-под ладоней глядя на село.

Бородач спросил:

— А тебе, проезжающий, все-таки пошто государь-то занадобился?

— Словесную радость везу ему от великого человека.

— Каку-таку радость?

— А это уж тайна государственная... помилуй бог. С государем с уха на ухо разговор буду иметь, — сказал Суворов, устремляя на бородача быстрый взор. — А вы, казаки, в дороге-то поостерегайтесь.

— А што?

— А то... Генерал Суворов сюда с воинством марширует...

— О-о-о... — наострили казаки уши.

— Я про Суворова слыхивал, — проговорил бородач, озираясь по сторонам. — Он в Пруссии против Фридриха воевал, он до солдата не плох был... Его, помнится, втапору в подполковничий чин клали... А теперича, кто ж его знает, может, спортился человек, как генералом-то стал. По какой дороге идет Суворов этот, по большаку?

— По этой по самой... Прощевайте, казаченьки. Ямщик, а ну, пришпандорь лошадок...

Встревоженные казаки свернули с большака на проселок, в сторону. Старый слуга, вытирая вспотевшее лицо, бормотал:

— Ох, батюшка, Лександр Васильич... душенька-то вся истряслась за вас. Думал, конец пришел... Надо бы вам, батюшка, конвой с собой прихватить... Долго ль до греха... Ни за синь-порох пропадешь...

На ночлеге, при свете огарка, Суворов записал в походной тетради:

«Дабы избежать плена, — помилуй бог, — не стыдно мне сказать, что сей день принимал я на себя злодейское имя... Жив, жив!»¹

¹ «Северный архив», 1823, т. V, стр. 219.

Небольшой городок, что лежал на тракте за Саратовом, в великом был смятении: приближался Пугачев.

А давно еще начал залетать в городок тот слух, что «злодей» город за городом берет. А вот теперь будто бы сюда прется, в полсотне верст видели проклятое стойбище его... Что делать, как спасти животы свои?

Торговцы закрывали свои лавки и ларьки, кто спозаранку бежал, кто решил отсиживаться дома, выискивая, где бы схорониться, когда нагрянет душегуб. Купцы, попы, воевода и чиновники так запугали темный люд, что городская голытьба тоже поддавалась общей тревоге, говорила: «Ему, Пугачеву, какая мысль падет, не утрафишь, живо на березе закачаешься».

В воскресный день, после литургии, по настоянию воеводы служили всенародный молебен. В соборе от молящихся ломились стены, и вся ограда полнехонька народом. Протопоп сказал прочувствованное слово; говоря, лил слезы, утирал мокрое лицо рукавом подрясника. Плакал и народ. Все опустились на колени, с усердием вопили: «Пресвятая богородица, спаси нас!»

На амвон, к протопопу, поднялся низкорослый сутулый старичок; он в длинном армяке, препоясанный сыромятным ремнем, нос орлиный, белая борода закрывала грудь. В толпе прошумело:

— Василий Захарыч, Василий Захарыч...

Сутулый кривобокий старичок почитался в народе самым уважаемым после протопопа человеком. Сызмальства до последних дней занимался он сапожным ремеслом, денег за работу не брал, кой-кто иногда платил ему скудной снедью: калачик принесут, квашеной капусты, квасу. Любил ухаживать за болящими, защищал униженных, помогал убогим. И всяк находил у него суд правый и слово утешения.

Вот старец ударил в пол посохом и тенористо крикнул:

— Мирянушки, слушай! — Народ совсем стих, шире открыл глаза и уши. — Час наш — час великого испытания. Сей день целы, а наутрие не уявится, что будет. Сего ради — коя польза в слезах наших и в воплях наших! А нужно вот что... Нужно верного человека спосылать гонцом к Пугачу, и пускай тот гонец как можно присмотрится к нему, велика ль цена делам его. И ежели он царь и добра людям ищет, мы покоримся ему без кроволитья, а ежели вор, мы супротив него выйдем, как один, и, кому написано на роду, умрем ничего же сумняшеся.

Он смолк. И молча стоял весь собор, паникадило прищурило огоньки свои, лики святых хмуро взирали с отпотевших стен. Но вот взволновалось людское море, вразнотык загудели голоса:

— Верно, Василий Захарыч! Правильно толкуешь! Указывай, кого послать?

И еще кричали:

— Василья Захарыча послать! Вот кого!.. Тебя, тебя, отец. Мы тебя за отца чтим. Постарайся, пожалуйста, потрудишься.

Старец приподнялся на цыпочки, запрокинул голову, замахал на толпу руками. А как смолк народ, поклонился чинно в пояс, на три стороны, и заговорил:

— Спасибо, мир честной. Я в согласье. Я молвлю ему слово сильное. И ежели голову снимет с плеч моих злодей, не поминайте Василья Захарова лихом.

Осень. Кругом поблекшая степь. Солнце закатилось. Запад окрасился в кровь. Становилось холодно. Широкоплечий Емельян Пугачев, обхватив колени и скрючившись, сидит на обомшелом камне, вдавленном в лысину степного бугра. Он зябко вздрагивает и полными забот глазами смотрит в степь. Его люди готовятся к ужину: всюду костры, курящиеся сизым дымом, возле них — кучками народ. Вон там, по склону пригорка, пасется табун башкирских коней, там, на высоких курганах, чернеют пушки, около них тоже костры и люди. Звяк котлов, крики, посвисты,

лошадиное ржание, — все эти отдаленные звуки не раздражают Пугачева, да он и не слышит их. Он ушел в себя и, как слепорожденный от века, невнятно читает судьбу свою. Прошлое ясно для него, а будущее все в густом тумане, и сквозь туман мерещится Емельяну черный, как зев пушки, конец. И гибнет в нем вера в успех великих дел своих. У него нет надежного воинства. Сколько раз в горячем бою башкиры, татары, киргизы, чуть неустойка, сломя голову кидались наутек, и стоном стонала степь от топота удалявшихся коней. Да не лучше, выходит, и мужичья рать!.. А немчина Михельсон, чтоб ему, собаке, сдохнуть, претя по пятам, не дает Емельяну Иванычу сгрудить разношерстные полчища свои, вооружить их, обучить ратному делу... Да, все плохо, все не так... Эх, если б полка три донских казаков Пугачеву, натворил бы он дел, Михельсонишка давно бы качался где-нибудь на сухой осине.

Он услышал сзади себя крадущиеся шаги. Круто обернулся. Абдул стоит, новый конюх его. Приложил Абдул ладонь к сердцу, ко лбу и закланялся:

— Бачка-осударь! Пришла к тебе бабай, шибко старый. Толковал, по большой дела до тебя, отец. Шибко большой...

— Веди!

— Кого? Тебя туда водить, до кибиткам, али старика к тебе таскать?

— Старика сюда!.. Стой! Перво, принеси синий мой государев кафтан с галунами да бобрячью шапку с красным верхом. А кто он таков: воевода ли, комендант ли, али боярин какой знатный?

— Ой, бачка-осударь, какой к свиньям бояр, сапожник он, сапоги тачат, ой-ой-ой какой бедной, только шибко справедливый, самый якши старик Василь Захарыч, его все знают, всяк шибко бульно любит, — взახлеб бормотал Абдул, прикладывая ладонь то к лбу, то к сердцу.

Пугачев сказал:

— В таком разе одежины срядной не нужно, ладно и так... Чего ему надобно? Веди!

Пугачев был в поношенном казацком костюме, за поясом два пистолета, при бедре сабля.

Вскоре предстал пред грозным Пугачевым смиренный Василий Захаров в старом армяке, в дырявых опорках, в левой руке мешочек с ржаными сухарями. Он не отдал поклона Пугачеву, только сказал:

— Здоров будь, человече!

— Кто ты есть? Откуда?.. — Пугачев подбоченился и отставил ногу. — Пошто шапки не ломаешь, пошто в ноги не валишься?

Василий Захаров, низенький и кривобокий, чуть откинул седобородую голову и пытливо прищурился в сердитые глаза сидевшего на камне человека. Пожалев, что не оделся в праздничный кафтан, Пугачев нащупал в кармане большую генеральскую звезду, захваченную по пути в помещицьем доме, и, таясь от старика, приколот ее на грудь.

— Разве не ведомо тебе, пред кем стоишь? — тыкая в звезду, сурово повторил Пугачев, и каблук сафьянового, запачканного навозом сапога его ввинтился в землю. — Кто пред тобой сидит?

— Вот то-то, что не ведаю, свет, кто ты есть? Сего ради и пришел сюда! Да не своей волей, мир послал, городок наш избрал меня гонцом к тебе, дитятко...

Пугачев выпучил глаза на старика. Старик поумному прищурился.

— Царь ты или не царь? — спросил он смягченным голосом, и пронизательные глаза его чуть приметно улыбнулись. Похоже было, что у него возникло подозрение: не царь перед ним, а самозванец.

— Сядь, старинушка, — вздохнув, указал Пугачев на соседний камень.

— Нет, я не сяду, свет... Ты наперво ответь мне, кто ты есть и что держишь в сердце? Ты ли силу мужичью ведешь за собой, аки воевода, алибо сила качает тебя, аки ветер колос полевой? В правде ли путь твой лежит, али кривда накинула тебе аркан на шею?

Тихий голос старца показался Пугачеву преисполненным тайно дерзновенной власти. Емельяна Иванныча охватила оторопь. Но большие серые глаза Василия Захарова излучали какую-то особую теплоту,

от нее таяло на сердце Пугачева, и старик вдруг стал ему родным и близким, как отец. «Вот кто душу облегчит мою, вот кто беду мою поймет», — подумал он про Василия Захарова и, дивясь себе, всем существом потянулся к старику.

Глаза Василия Захарова вдруг стали строги, пронзительны.

— Ежели ты доподлинный царь-государь Петр Федорыч, — сказал он, — ежели верно, что бог уберет тебя в Питере от руки злодейской, наш городок примет тебя с честью, и к ноге твоей припадет, и крест на верную службу тебе поцелует. Ну, а ежели ты обманщик...

— Дедушка! — прервал его Пугачев и поднялся. — Я тебе прямо... как отцу! — Мясистые щеки его задержались, взор упал в землю, плечи обвисли. — Нет, дедушка, не царь я, не царь!.. Простой я человек, казак донской.

Взмотнув локтями и посохом, старец отпрянул назад, он вдруг стал выше ростом, хохлатые брови встопорщились, в груди захрипело.

— Только, чур, старик... Молчок! — продолжал Пугачев. — Сия тайна великая. Я тебе первому, первому тебе, как отцу родному! Люб ты мне... Пойми, вникни в меня да раздумайся по строгости.

Крупными шагами он начал ходить взад-вперед возле Василия Захарова и отрывисто выкрикивал слова, полные желчи:

— Им царя нужно! Им Петра Федорыча подай, покойника!.. Вот я царь! Я — Петр Третий, император всероссийский... Ха-ха... Я, дурак, царскую харю ношу, как скоморох о святках. Я, дурак, манифесты в народ выпускаю, грамоты. А мужики верят, мужики за царем идут! А что же я-то для них? Что для них я — казак простой?.. Я для них — ничто! Узнай они, что я не царь, а казак Емельян, невесть еще что со мною сделают... «Вор, обманщик!» — завопят. — Он шагнул к смутившемуся старцу, заговорил: — Дедушка! Обидно мне... Ой, обидно, ой, тяжко мне, дед!.. Нет Пугачева на белом свете, а есть, вишь, Петр Федорыч, царь. А не Пугачев ли все дело ведет, не Пугачев ли

все народу дал: вольность, землю, реки с рыбами, леса, травы, все, все...

Он искажился лицом, затряс кулаками:

— Господи, царь небесный! Пошто этакую муку взвалил на меня? Чего ради такой крест несу?! — Пугачев обеими руками схватился за голову, шапка сползла ему на глаза, и пошатнулся он. Обратив затем лицо к стану, где дымились огнистые костры, — расположилось там войско его, — он угрозил униженным драгоценными кольцами перстом, выкатил глаза, закричал зычно:

— Черти вы, черти! Ежели б уверовали вы не в царя Петра, а в кровного брата своего, Емельяна, он бы вас повел войной дальше. Москву бы опрокинул, Питер взял бы, Катюку под ноготь, наследника долой, злодеев Орловых и всех бар тамошних в петлю... И — владей тогда мужик царством-государством, устраивай себе волю по казацкому свычаю. А таперича что я. Один! Один, как дуб в степи под грозою...

Емельян Иваныч дышал во всю грудь, глаза его то вспыхивали, то меркли, из-под шапки клок черных волос упал до самой переносицы.

— Спокою, понимаешь, мне нет... Иным часом, дед, и ночь, и две, и три не сплю, все думаю-гадаю...

Шатаясь, Пугачев расхлябанно сел на поросший мхом камень, опустил голову. Старец видел, как горестно задергалось лицо «царя», как затряслась борода и завздрагивали его плечи.

В это время вернулся из кибитки Абдул — не прикажет ли что бачка-царь — и слышит: говорит что-то старый Захаров, а что — понять невозможно. Присел Абдул по ту сторону куста и ждет, когда разговору царя с Захаровым конец будет. А разговор там то вскинется, то угаснет... И вдруг видит Абдул: бросил старик посох и повалился пред царем-бачкою на колени, припал морщинистым лбом к траве степной и возопил:

— Друже мой, друже! Царь ты есть... — И всхлипнул. — Мужайся, свет Емельян. Во прахе пред тобой лежу, поклоняюсь тебе, свет, радетелю сирых, убогих... Так вот и всему народу, пославшему мя,

глаголати буду: есть ты, Емельян, воистину царь — вожак всенародный...

Тут Абдул понял, что нельзя мешать беседе, и ползком удалился прочь, а как оглянулся назад, не было уже при царе старика Захарова: исчез в сумраке, как сквозь землю провалился. И чуть погода — пронзительный свист. То «бачка-царь» вложил пальцы в рот и оглушительно три раза свистнул.

— Эгей, Абдул, коня!

Опрометью Абдул за конем. Подал царю поводья, помог бачке сесть в седло. Белый конь понес седока мгlistой степью, только гул шел под звездами. С гиком, с присвистом скакал Емельян Иваныч и выкрикивал, сам не свой, встречу ветру:

— Будя в чужой харе ходить! Бу-дя-а-а-а... Не хочу больше по свету — протухлым покойником... Живой я! Живой! Москву возьму, царь-колокол, царь-пушку... Натe, сукины дети! Пир, фиверки, звоны по всем царствам. Я вождь ваш... А кто не уверует — башку долой. Казню, всех казню! Великие крови пущу...

Тем временем возле яркого костра расположились на белой кошме атаманы. Они приказали подать себе спелых арбузов, пластали их ножами, утоляя ими жажду после жирного ужина. Их было пятеро: Овчинников, Творогов, Чумаков, Перфильев и Федульев.

— ...А как в царицыных манифестах пишут, так оно и есть, — продолжал молодежавый, видный Творогов, муж красоти Стeши. По борту его нарядного чекменя с галунами тянется толстая золотая цепь к часам, на пальцах три драгоценных перстня. — Макся Горшков — скобленое рыло — жив ли, нет ли, все уверял меня по первоначалу: это царь, это царь... А за год-то мы и сами насмотрелись, какой он царь...

— Да и парнишка Трошка пробалтывается Нениле, — ввязался Чумаков, заглатывая сочный кусок арбуза и прикрывая ладонью длинную бороду, чтоб не замочить, — пробалтывается парнишка, что, мол, царь-то ваш не кто иной, как мой батька.

— Хоть, может, он и не царь, а лучше всякого царя дела вершит, — сказал Перфильев, сверкая исподлобья на Чумакова злобными глазами.

— А поди-ка ты, Перфиша, к журавлю на кочку! — крикнул Творогов. — Не он, а мы воюем, тот же Овчинников. В цари-то мы кого хошь могли поставить.

— Кого хошь? Хе! — сказал Перфильев, и усатое шадриное лицо его передернулось в ухмылке. — Чего ж вы не кого хошь, а батюшку над собой поставили! Да и не ошиблись. Батюшку народ любит, идет за ним.

— Кто его ставил, тех нет, — выплеывая арбузные семечки, бросил Чумаков.

— Стало, вы на готовенькое пришли? Ну, так и не рыпайтесь, — строго сказал Перфильев.

— Батюшка — царь есть, Петр Федорыч Третий! — вскинув мужественное горбоносое лицо, воскликнул Овчинников. — И вы, казаки, не дурите.

— Полно-ка ты, Андрей Афанасьич, лукавить-то, — укорчиво перебил его Творогов. — Ежели и царь, так подставной.

— А уж это не наше дело, — сказал Овчинников.

— А чье ж?! — сорвав с головы шапку и ударив ею в ладонь, заорал Федульев.

— Общее — вот чье! — крикнул на него Перфильев. — И казацкое и мужиковское... И всей России, ежели хочешь знать!

Помолчали. Ожерелье ярких костров меркло: лагерь укладывался спать. Творогов вынул золотые часы, посмотрел время, спросил:

— А все ж таки, там царь он альбо прибудыш, как же нам, братья казаки, быть-то? Ведь нас царицны-то войска, как рыбу в неводу, к берегу подвоят... Каюк нам всем!

Никто не ответил. Все чувствовали себя несчастными, все покашивались на Перфильева, хмуро смотревшего на огоньки костра. Федульев, испитой и длинный, со втянутыми щеками, прищутив узкие, татарского склада глаза, сказал срывающимся голосом:

— Связать надо да по начальству представить... Пока не поздно... Набедокурили мы изрядно. Авось чрез это милость себе найдем.

— Кого это связать?.. — вскинул Перфильев усатую голову.

— Пугачева, вот кого, — раздраженно ответил Творогов.

— А тебя, Перфиша, упреждаем, — вставил Федульев, — пикнешь, в землю ляжешь, с белым светом распрощаешься.

— Да уж это так, — поддержал его Федор Чумаков.

Перфильев ожег их обоих взглядом, крепко с азартом обругался, встал и, волоча за рукав азам верблюжьего сукна, быстро пошагал от костра в тьму августовской ночи.

— Стой, Перфильев, — нежданно поймал его за руку Емельян Иваныч. — Вертай назад, я слышал разговорчик-та. Пойдем! — И, приблизясь к костру, поприветствовал: — Здорово, атаманы!

— Будь здоров, батюшка!.. Петр Федорыч... Ваше величество... — ответили казаки, поднялись: Овчинников с Твороговым проворно, Федульев с Чумаковым нехотя. В колеблющихся отблесках костра лицо Пугачева казалось сумрачным, суровым и встревоженным.

— Ну, атаманы, — продолжал помедля Пугачев. — Ругаться мне с вами негоже, а я вижу вас насквозь: глаза отводить да концы хоронить мастаки... Ну, да ведь меня не вдруг обморочишь... Я одним глазом сплю, другим стерегу.

— К чему ты это, батюшка? — в бороду буркнул Чумаков.

— А вот к чему. Я восчувствовал в себе мочь и силу объявиться народу своим именем. Надоело мне в прятки-то играть, люд честной обманывать. Зазорно!..

— Дурак, ваше величество... — как топором, рубнул Федульев, сердито прищуривая на Пугачева татарские глаза.

— Да как ты смеешь? — запальчиво вскричал Пугачев, сжимая кулаки.

— А вот так... Объявишься — убьют тебя, на части разорвут.

— Полоумный! Не убьют, а в книжицу мое имя впишут. В историю! Слыхал? И вас всех впишут...

— Оно и видать... Впишут, вот в это место, — с издевкой в голосе сказал Творогов, прихлопнув себя по заду.

— Разина Степана вписали же, — не унимался Пугачев, — а ведь он себя царем не величал.

— Ха, вписали... Как не так! Разина в церквах каждогодно проклинают. Дьякон так во всю глотку и вопит: «Стеньке — анафема».

— Народ меня вспомянет... В песнях али как...

— Держи карман шире... Вспомянет! Царей да генералов в книжицу вписывают, а не нас с тобой. А наших могил и не знатко будет. Брось дурить, батюшка. Ты об этом самом забудь и думать, чтоб объявляться!

— Запозднились с эфтим делом-то, батюшка Петр Федорыч, — сказал Овчинников, покручивая кудреватую бородку. — Поздно, мол... Ежели объявляться, в Оренбурге надо бы. А то народ сочтет себя обманутым и вас, батюшка Петр Федорыч, не помилует, да и нас, слуг ваших, разразит всех.

— И ты, Андрей Афанасьич, туда же гнешь? А я тебе верил.

— И напредки верьте, батюшка Петр Федорыч. Не за зря же я присягу вам чинил.

— Вы все супротивники мои и коварники! Так что же мне делать-то? — с какой-то обреченностью в голосе воскликнул Пугачев и, вложив пальцы в пальцы, захрустел суставами. — Неужто ни единая душа не узнает обо мне? — Он качнул плечами, сдвинул брови и, сверкая грозным взором, бросил: — Объявлюсь! Завтра же в соборе объявлюсь! Нна!

Костер почти погас. Черная головешка шипела как змея. Мрак охватывал стоявших лицо в лицо казаков. Слышалось пыхтенье, вздохи. И сквозь сутемень раздалась угрожающие голоса:

— Попробуй... Объявись... Только, смотри, как бы не спокаяться.

Пугачева как взорвало. Он весь вскипел и так закричал, что на голос бросились от недалекой его палатки Идорка и Давилин.

— А вот не по-вашему будет, а по-моему! Слышали?! — резко притопывая, кричал Пугачев. — Не расти ушам выше лба... Согрубители! Изменники! — Он круто повернулся и, в сопровождении Перфильева, шумно выдыхая воздух, прочь пошел. Растерявшиеся казаки поглядели ему вслед с холодным озлоблением.

«Эх, батюшка, — горестно раздумывал Перфильев, придерживая под руку шагавшего рядом с ним родного человека, — жаль, что ты вконец не освирепел: лучше бы три головы изменников покатались с плеч, чем одна твоя». — Подумав так и предчувствуя недоброе, Перфильев силился вслух сказать, но язык как бы прилип к гортани.

Вскоре удалился и Овчинников. Оставшаяся тройка переговаривалась таящимся шепотом.

— Ваня Бурнов — мой приятель, — сказал Федульев, поднимая с кошмы недоеденный арбуз. — Он в согласье.

— А я Железного Тимофея подговорил, полковника, — прошептал Творогов, — он верный человек и на батюшку во гневе.

— Надо, братья казаки, с эфтим делом поспешать, — пробубнил Чумаков, — а то он проведает, всех нас сказнит.

-- Да уж... Ежели зевка дадим, голов своих лишимся, — заложив руки в карманы, сказал Творогов.

— Он таковский, — подтвердил Федульев. — Ежели проведает, у него рука не дрогнет, — и, помолчав, добавил: — А не убрать ли нам Перфильева с дорожки?

— Как ты его уберешь, раз все сыщики на него работают? — усумнился Чумаков. — Скорей не моего, а он нас уберет.

— Ну, ладно, время укажет: батюшка ли к нам в лапы угодит альбо мы к нему попадем в хайло.

Тьма налегла на костер и приплюснула его. Чадила головешка. Небо было скучное, без звезд. Под ногами собравшихся расходиться атаманов неясно

обозначалась сизым дымом белая кошма. Вдруг странный, как будто незнакомый голос:

— Да, приятели... Времечко к расчету близится.

Казачи переглянулись: кто это сказал? И еще неизвестно откуда прозвучало: то ли степная тьма дынула в уши, то ли пролетающий филин обронил; может быть, издыхая, головешка прошипела по-змеиному, и верней всего — в трех растревоженных казачьих сердцах враз отозвалось: «Пре-да-те-ли...»

В городке гулко бухал соборный колокол. Церковь полна народом. Весь базар привалил к собору, на возах остались ребятишки и старухи. Народ с нетерпением ждал, что скажет возвратившийся Василий Захаров. В алтаре, пред иконостасом и в паникадилах вздули огни. Воеводы не было, он в ночь сбежал.

Перед началом молебна на амвон взошел смущенный, с лихорадочным румянцем на впалых щеках Василий Захаров. Народ замер, народ широко открыл глаза и уши. Василий Захаров все так же чинно, в пояс, поклонился народу на три стороны, огладил белую бороду и начал надтреснутым, в трепете, голосом:

— Удостоился я на старости лет зрети очами своими царя *нашего*. Это воистину *наш* царь, наш государь великий! Поклонитесь ему и послужите ему, ибо паки реку: он *наш!*..

Началось в соборе, а потом и в ограде и на площади людское смятение, радостный народ кричал не переставая:

— Царь, батюшка-царь наш идет сюда, государь великий! Ребята, дуй в колокола! Айда навстречу батюшке!

Мужицкий царь со свитой, с частью войска пышно приближался к городу. И был он встречен со славой, с честью, с колокольным звоном. Допустил народ до своей белой руки. Василия Захарова трижды обнял, сказал ему:

— Будь здоров, отец, надежда моя!

Старик всхлипнул и прослезился. Весь вид и взор мужицкого царя был строг и наособицу решителен. Еще дорогой Пугачев намекал приближенным, что сегодня в соборной церкви случится такое диво, что все ахнут, и многие сегодня же, может быть, лишатся головы своей. Все с трепетом ждали чего-то необычного. Василий Захаров чуял умом и сердцем, что Емельяну Пугачеву приспело время отречься от имени царя и дерзновенно объявить себя вождем народа.

Но на темной паперти, когда Пугачев протискивался со свитой внутрь собора, два его атамана, Федульев с Твороговым, толкнув его локтем в бок, мрачно зашептали:

— Ты, ваше величество, брось, что затеял. Ты — император, не кто-нибудь. Смо-три, брат...

Мужицкий царь взглянул в сурово-загадочные лица приближенных, смутился, погас.

И повелено им было: поминать на ектениях по-прежнему Петра Федорыча Третьего, самодержца все-российского.

4

Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесенную деревянною рубленой стеной с башнями. Подьячий Нестеров, встретив приезжих в воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачева в крепость убежали в степь и неизвестно где схоронились. А сам Пугачев с армией, не останавливаясь в крепости, дней тому с семь пошел прямо к Саратову. А дня два спустя проследовал за ним Михельсон со своим корпусом.

— Давайте, господа офицеры, поспешать за злодеем-то, — по-хитрому прищуриваясь, сказал Долгополов. — Лишь бы нам настигнуть его, а как настигнем, возьму у вас денег да с казаками, товарищами своими, свяжусь. Глядишь, дело государственное враз завершим.

— Сначала дело, а уж опосля того деньги, Остафий Трифоньч, — заметил строго Галахов.

От столь неприятных для него слов прохиндей закатил глаза и верхняя губа его задергалась.

— Конечно, ваше дело, господа офицеры, — сказал он, — только, мню, сие не согласуемо будет со словесной инструкцией его светлости князя Орлова, мне данной.

Галахов, насупясь, молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами.

С большим трудом добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда и прибыла на другой день утром.

По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутора ста торговало здесь различными припасами. Покупая продукты, Долгополов спросил прасолов:

— А где у вас в Саратове начальство?

— Никого нет, милостивец, город пуст. Только и народу, что здесь на площади, да и тот дней с пять как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушел.

Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых и, пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади, возле торговых шалашей. Разожгли костер, стали готовить пищу.

К костру один по одному собрались старики. Завязались разговоры. Сметив, что дело имеют они с людьми, посланными против «батюшки», старые люди говорили с оглядкой, а «батюшку» называли «злодеем». Но по выражению их лиц и по тому, как не без лукавства переглядывались они друг с другом, было ясно, что здесь хитрят, боясь сказать правду.

— О-хо-хо, — вздыхает плешивый, лобастый дед. — Ой, и много злодей бедственных делов натворил... Великие злости от него в городе были.

— Просто на удивленье, — перебивает его другой, беззубый, с испитым лицом. — Хошь и злодей он, это верно, а мотри, сколь много народу к нему приклонилось. Первым делом — вся артиллерия, вся инженерская часть, весь гарнизон да впридачу сот шесть команды... Во!

— Да как же им не стыдно присягу преступать?— возмутился Галахов, и его открытое горбоносое лицо выразило неподдельный гнев.

Долгополов криворотом ухмыльнулся, а старик сказал:

— Да ведь он, ваше высокоблагородие, злоковарной хитростью всех опутал... Вторым делом — артиллеристы двадцать четыре орудия подарили Пугачеву, со всем снарядом. А своего начальника, князя Баратаева, связали да Пугачу в руки: на — получи... Во как!

Глаза беззубого старика злорадно засияли, в голосе слышались горделивые нотки.

— Да нешто один Баратаев! — воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольствование товарища; он был благообразен, хорошо одет. — Еще немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочет. Его сама царица быдто бы прислала выведать да высмотреть, можно аль не можно промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да еще четверых из начальства.. Да многих хватали яко неблагопокорных!

Старики говорили долго, путано, один другого перебивая, и, как оказалось потом, рассказы их были не вполне достоверны.

Отъехав от города на пятнадцать верст, путники заметили возле самой дороги две свежие могилы.

— Это что за могилы? — спросил Галахов возницу.

— А здесь полковник Баратаев да немец, — ответил возница из саратовских посадских людей. — Тут им конец жизни доспелся.

В попутной колонии «лютерского исповедания» комиссия остановилась у кирхи, возле которой толпился народ. Селение было хорошо обстроено и содержалось опрятно. Из побеленного домика под черепичной кровлей вышел прилично одетый, чисто выбритый старик пастор и пригласил офицеров с Долгополовым к себе в дом, а старосте приказал готовить подводы.

Колонисты относились к своему пастору с большим уважением, в разговоре с ним обнажали головы, отвечали на вопросы с почтительностью.

Скромный дом пастора состоял из трех комнат и кухни. Впереди дома — палисадник, сзади, за обширным, усыпанным желтым песочком двором, большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодок.

В доме — уют и чистота, на окнах белейшие гардины и цветы в расписных майоликовых вазах. В переднем углу распятие итальянской работы из черного дерева и слоновой кости. Книги в хороших переплетах. Много книг. Клавесины, ковровый диван, уютные кресла, круглый стол под свеженаутюженной палевой скатертью.

— Вот, господа хорошие, если б вы знали да ведали, сколь скудно живет наш деревенский батюшка и сколь роскошно, дай вам бог, живете вы, господин пастор, — сказал Долгополов, с удивлением рассматривая обиталище хозяина.

— Да? — не то спрашивая, не то утверждая, застенчиво проговорил пастор и пригласил гостей присесть. — Я не особенно знаком с условиями существования сельского духовенства, но знаю, что ваше духовенство городское живет в большом достатке. А меня не забывает паства, не оставляет своими щедротами господь бог, да и сам я суть человек труждающийся по мере сил моих.

— Вы... из немцев будете? — спросил Долгополов.

— Нет, я природный латыш, родился возле города Риги, в крестьянской семье, но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полжизни в России провести, в Петербурге.

— А как же здесь-то очутились? — поинтересовался молчаливый Рунич.

— А сюда привели меня, во-первых, указующий перст божий, — ответил старик, — во-вторых, веления собственного сердца и любовь к природе, к занятиям сельским хозяйством. Состою корреспондентом Вольного экономического общества, покровительствуемого императрицей.

Пастор угостил приглашенных вкусным кофеем и простым, но сытным завтраком. Завидя, как Галахов с Руничем стали шептаться и вынимать кошельки,

чтобы отблагодарить хозяина за угощение, взволнованный этим старик стал возражать:

— Не ослепляйте, господа, глаз моих никакими подарками, — сказал он тоном обиженного. — И ежели вы что-либо ассигновали мне, то умоляю передать это бедной братии, коя, без сомнения, на пути вашем встретится.

— Тогда, отец пастор, вы все-таки возьмите от нас и раздайте бедным своими руками, — сказал Галахов. — А то при нашей скорой езде раздавать подаяние нам будет несподручно.

— Что вы, что вы! — с приятной улыбкой ответил хозяин. — Если б вы и на быстрых крыльях ветра летели, то и тогда успели бы посмотреть на нищету светлыми очами доброго своего сердца.

По просьбе Галахова пастор сообщил, что несколько дней тому назад Пугачев с армией прошел мимо их селения.

— За несколько часов до своего прихода, — рассказывал пастор, — он прислал пять своих казачьих офицеров к нашему старосте с повелением, чтоб жители из своих домов не выходили дотоле, доколе он со своей армией не удалится из виду от селения нашего, дабы не мог кто-либо претерпеть от его войска какой обиды и несчастья. — Голос пастора дрогнул, глаза внезапно увлажнились. Он справился со своим волнением и закончил: — Моими пасомыми оный приказ Пугачева был точно выполнен. И все обошлось благополучно.

— А нам известно, что каналья-злодей повсеместно лютость оказывает! — запальчиво проговорил Галахов.

— Слухи идут всякие, — вздохнув, ответил пастор. — Я склонен думать, что сам Пугачев не столь жесток, как про него молва идет. А вот его сподвижники, по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения, поистине могут быть в своем поведении жестоки... И что же вы хотите, господа! — вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест, воскликнул пастор. — Ведь бунт, ведь темного

народа восстание проистекает! Силы адавы распоясались, сатана спущен с цепи. Но я верую, господа, можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей действует указующий перст божий.

— А Пугачев, выходит по-вашему, чуть ли не посланец неба? — с язвительностью спросил Галахов.

— Я этого не хочу сказать. Но... что свыше предначертано, тому не миновать.

— А вот увидим, откуда оно предначертано, — с той же запальчивостью возразил Галахов. — Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит все начистоту.

— Да, но сей государственный преступник, — подчеркнутым тоном произнес пастор, — будет судим не токмо судом человеческим, но и судом человеческой истории! А первой всего предстанет он пред судом божьим! — и пастор взбросил руку вверх. — Однако милосердный бог не преминет судить не токмо его, а вкупе с ним всех, кто сеял бурю среди народа жестокостями своими.

— Вы, отец пастор, чрезмерно смелы в своих суждениях!

Возмущенный Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице.

— Да, смел, — дрогнув голосом и потупясь, ответил пастор. — Иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору синедриона Христа!

Долгополов стал плести про Пугачева какую-то несурязицу, но его никто уже не слушал.

При прощанье капитан Галахов отвел хозяина в соседнюю комнату и, крепко пожав ему руку, сказал:

— Вы простите мне мою горячность... Такие люди, как вы, зело редки, особливо в провинции... Свидетельствую вам свое уважение.

Пастор широко улыбнулся, произнес:

— Да сохранит вас бог, — и по-отечески благословил капитана.

Встретилась в пути еще колония с жителями «католицкого» исповедания. Огорченный, унылого вида ксендз нарисовал перед отдохавшими у него путниками мрачную картину пугачевского нашествия.

— Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, — сказал он, — разумеющих язык российский, ограбили меня, а также и прочих состоятельных колонистов, и ушли за Пугачевым. Вот веяние времени! А сверх того, увели оные отщепенцы пятьдесят самых лучших лошадей, в числе коих и мои три.

— Сделал ли самозванец какие-либо разорения вашей колонии? — спросил Галахов.

— Нет, господь сохранил нас, ни насилья, ни разорений от врага мы не видали, — ответил ксендз.

Путники, хотя и с большим трудом доставали лошадей, однако двигались довольно быстро. Вскоре прибыли в приволжский городок Камышин. До Царицына оставалось сто восемьдесят верст.

Явившийся начальник волжских казаков доложил Галахову:

— Из Царицына вот уже третий день идут слухи, якобы Пугачев разбит. А посему я отрядил триста человек надежных казаков на ту сторону Волги и приказал им: ежели встретятся бегущие тем берегом из пугачевской армии люди, оных ловить, а кои добровольно сдаваться не станут, тех колоть.

— Чинились ли Пугачевым жестокости, разорения? — задал тот же самый вопрос капитан Галахов.

— По приказу Пугачева, — ответил казацкий офицер, — был казнен комендант городка Камышина. А от войска его никакого разорения городу не было, только взято двадцать подвод припасов.

Этот ответ, равно как и все дорожные впечатления, любознательный офицер Рунич тщательно заносил в тетрадь.

Предположив, что упорные слухи о разгроме Пугачева имеют основание, комиссия, посовещавшись, решила: Галахову, Руничу и Остафию Трифонову, прихватив с собой двух гренадеров, двигаться к Царицыну. Команду же гусаров оставить в Камышине.

Ехать без сильного конвоя, по мнению комиссии, было теперь не так уж опасно: пугачевских скопищ нигде не встречалось, наоборот, стали попадаться в пути воинские разъезды.

*«Это Пугачев! Бегите!» Над Суворовым небо
в звездах. Предательство. Побег*

1

Впятером направились дальше. В одной из казачьих, Волжского войска, станиц остановились для перепряжки лошадей.

Станица, расположенная на яровом берегу Волги, была почти безлюдна. Гренадеры Дубилин и Кузнецов пошли собирать по хатам жителей. Им удалось привести к Галахову всего пятнадцать старых казаков. Галахов спросил их, где же народ. Они ответили, что самосильные казаки «кои на турецкой войне, кои по форпостам службу несут».

Зная уверенно, что большинство казаков ушло вместе с Пугачевым, Галахов не стал распространяться об этом со стариками, а велел им идти в табун и, поймав ездовых лошадей, привести их для упряжки. Старики отправились за конями, а два гренадера — на бахчи, за арбузами.

Галахов, Рунич и Долгополов присели у амбара, стоявшего на бугристом берегу Волги. Кругом — полное безлюдье. Впереди, перед глазами, мутнели неширокие воды обмелевшей Волги, но и Волга — сплошная пустыня: ни ладьи, ни сплотов, ни белого паруса. Впрочем, два старых рыбака на челне греблись возле берега, проверяли самоловы. А за Волгой зеленела после пролившихся дождей безмерная луговая сторона.

Галахов, приложив к глазу «перспективную» трубу, всматривался вдаль. Верстах в десяти на взлобке белела церковь, кучились, как овцы, серые избенки. Далеко-далеко ехали два всадника, отдаляясь от реки.

Прошел битый час. Остафий Трифонов, чтоб скрасить утомительное время, принялся рассказывать небылицы о Пугачеве, стал валить на него всякий беспутный наговор, как на мертвого.

— Семнадцать сундуков с награбленным добром было отправлено им, злодеем, своей государыне — ха-ха! — Кузнецовой Устинье, в Яицкий городок. Одних золотых вещичек пять пудов три фунта. Уж это я доподлинно знаю, мне сам Овчинников, злодейский атаман, сказывал.

— А вы не видали императрицу-то его? Поди красивая? — поинтересовался Рунич, молодые глаза его заблестели при этом.

— В натуральности чтобы — не видел, а портрет живописный видел, — соврал Долгополов и запричмокивал, закрутил головой: — Ах, краля, ах, кралячка, ягодка-малинка в патоке!.. Ну, да ежели б я ее видел, не ушла бы от меня!

Рунич и Галахов, взглянув на него, залились откровенным смехом.

— Вот вы, вашескородия, смеетесь, — обиделся Долгополов, уши его вспыхнули. — Думаете: где, мол, ему, червивому мухомору, красоток обольщать. А промежду прочим, я приворотное словцо знаю. Да через оное щучье словцо я со всеми пугачевскими девчонками в любовном марьяже состоял. Ей-богу-с... Ведь я у Пугача-то генералом был, а опосля первого марьяжа он меня в полковники попятил, а опосля второго, с помещицей дочкой Таней, что у Пугача в плену находилась, батюшка однажды схватил меня за бороду: «Я тебя с полковника еще три чина спущу, будь отныне простым хорунжим. А ежели сызнава любовную прошибку сотворишь, так и этот чин спущу, а заодно и шкуру до ребер, а самого вздерну...» Вот он сволочь какая, извините на черном слове-с...

Офицеры улыбались. Галахов продолжал рассматривать горизонты за рекой. Ни лошадей из табуна, ни арбузов с бахчи все еще не было.

— Зело интересуется меня, — молвил Галахов, — куда это Пугачев с вольницей со своей ударится? Ежели только слухи о поражении его верны.

— Я так полагаю, — помедлив, откликнулся Долгополов, — ежели Пугачев схвачен живьем, то тем все дело и закончится. А ежели сего с ним не приключит-

ся, он с оставшимися яицкими молодцами переплывет на луговую сторону Волги и пустится по одной к Астрахани алибо вверх по реке, чтобы податься к Яику...

— А чего Пугачеву на Яике делать? — сказал Рунич. — Да его воинские наши части и не пустят туда...

— А не пустят, тогда он обманет своих яицких сотоварищей, — продолжал рассуждать Долгополов, — и уйдет от них один в Малыковку. А уж оттуда проберется скрадом в Керженские леса, к раскольникам, алибо на Иргиз, в раскольничьи скиты, к игумену Филарету...

Тут Долгополов смолк, опустил глаза в землю и задумался. Упомянув имя Филарета, он вдруг припомнил свое пребывание в Москве и ночной разговор в часовне со старцем Саввой, протопопом Рогожского кладбища. Даже всплыли в памяти строгие слова протопопы Саввы: «Езжай, чадо Остафие, к всечестному игумену нашему Филарету, а от него и к государю, да толкуй государю-то: мол, евоное голштинское знамя добыто нами в Ранбове чрез великую мзду и отправлено оное царское знамя в армию императора Петра Федорыча с неким ляхом Владиславом... Токмо клянись, чадо Остафий, тайны сей никому не открывать, окромя государя...» — «Клянусь!» — ответил тогда протопопу Долгополов и в знак верности облобызал святой крест с евангелием. Припомнив это, Долгополов глубоко вздохнул. Душевное смятение отражалось в его утомленных обморщенных глазах. Один за другим в сознании его возникали праздные вопросы самому себе: зачем он, бросив жену, помчался к Пугачу, почему обманул и господ бога и протопопы Савву, не исполнив своей клятвы и не сказав Пугачеву о голштинском знамени, почему вся нелепая жизнь его проходит в плутнях да обманах и, в довершение всего, зачем он не убоился надуть даже императрицу и вот торчит здесь с офицерами, обещая им поймать самозванца?.. Господи! Да ему ли, прохиндею, быть ловцом, самого-то его вот-вот схватят... Эх, хоть бы поскорее капиталец тяпнуть, да с ним и бежать... хоть к черту на кулички!

— А вестно ли вам, господа офицеры, — вдруг поднял он голову, — что у злодея имеется голштинское государево знамя?

— Что? Голштинское знамя? — удивились офицеры. — Не может тому статья, Остафий Трифонович, — и оба они с сугубым недоверием воззрились в лицо соседа.

— Мне от его сиятельства Петра Иваныча Панина ведомо, — помедля, сказал Рунич: — все голштинские знамена — одиннадцать пехотных да два кавалерийских — хранятся в военном комиссариате, в сундуке за орлеными печатями.

— Вот вам и за печатями! Я сам видал...

— Видали? Какого же оно цвета?

— Да как бы вам сказать-с, — замялся, заприщелкивал пальцем Долгополов, — этакое желтоватенькое... этакое... с прозеленью...

— Смотрите-ка, смотрите-ка, — неожиданно встревожился Галахов и приставил к глазу першпективную трубу. — Пыль и шестеро верховых!

Все трое поспешно поднялись, начали водить напряженными взорами вдоль заречной стороны; обмелевшая Волга была в этом месте не очень широка, луговая дорога отчетливо виднелась за рекой.

— Глядите, глядите, черт побери! — взволнованно бросил Галахов. — Еще народ!

За шестью проехавшими рысью верховыми двигалась партия всадников, человек с полсотни, а следом за ними — две дюжины строевых конников, по два в ряд. Шагах в сорока позади конников подвигался одинокий всадник на крупном, соловой масти коне, а за ним еще шесть человек.

— Мать распречестная! — досиня побледнев, прохрипел Долгополов и закатил глаза. — Пугачев!.. Ей-бо, сам Пугач... Я по соловому коню признаю... Его конь! Гляньте, гляньте... За ним еще молодцы, он за всегда этак марширует... Ой, схоронитесь, вашескородие, хошь за амбар, — засуетился Долгополов. — А то он, злодей, как сравняется против нас, живо дозрит... У него завсегда при себе зрительная трубка...

— Постой, постой, — шепотом сказали офицеры, словно испугавшись, как бы их не подслушали за версту опасные проезжие.

— Бегите! — закричал вдруг Долгополов. — Смерть нам всем! Дозвольте, сумочку с казной подсоблю нести...

Притаившись за амбаром и выглядывая из-за угла, все трое наблюдали движение за рекой пугачевской силы.

Вот новый отряд в двадцать четыре человека с поднятыми пиками, за ним — запряженная тройкой лошадей богатая коляска, за ней две кибитки тройками, далее опять отряд человек в тридцать, в две шеренги, со значками и знаменами. Следом пылила добротная рать, по примерному подсчету — до полутора тысяч человек, разбитых на пять отделений, впереди каждого отделения гарцевали атаманы и полковники. Далее двигалось около сотни навьюченных лошадей, ведомых людьми пешими. А сзади, отстав на версту, последняя партия человек в четыреста.

— Да, народу у злодея немало... Не иначе как близко к двум тысячам, — выходя из укрытия, проговорил Галахов.

А Рунич по молодости лет, не посоветовавшись с Галаховым, огорошил Долгополова такими словами:

— А что, Остафий Трифоныч... Ежели, по примечанию вашему, это Пугачев со своей армией, то, чего лучше, мы вас отсюда и отпустим.

«Хм, отпустим... А денешки?» — подумал Долгополов. Он взглянул на Рунича с ожесточением и в сердцах бросил:

— Ха! Вот как... Видно, вам хочется, чтоб нас всех повесили? Я сам разумею, когда предлежит мне к Пугачу идти...

Разговор оборвался. Все трое снова сидели на бугре, провожали взглядом проезжавшую рать. Солнце еще стояло довольно высоко. Густая пыль долго клубилась по ожившей дороге, мертвенная степь наполнилась необычным движением. Очевидно, проехавшая армия в питании не нуждалась, иначе фуражиры

Пугачева не преминули бы заглянуть в станицу, где комиссия поджидала коней.

Галахов, покусывая густые усы и нахохлив брови, раздумывал над только что, как в сновидении, промелькнувшей пред его глазами необычной картиной. Так вот каков этот грозный самозванец! Оптические стекла зрительной трубы приближали в двадцать пять раз, а до Пугачева всего было не более полутора верст, значит Галахов рассматривал «царя» на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Ему запомнилось смуглое чернобородое лицо, горделивая осанка всадника, рост и поступь могучего солового коня. Каким-то древнерусским богатырским эпосом пахнуло на Галахова со степных просторов Волги, будто он воочию увидел и запечатлел навек ожившую русскую сказку об Илье Муромце или Микуле Селянновиче с их железными дружинами. Вот он, русский народ, творец истории! «Уж ты гой еси, богатырь степной!..» — хотелось крикнуть вдогонку всаднику на соловом скакуне, но рассудительный офицер, руководствуясь служебным долгом, вдруг резко оборвал возникшую в его душе сумятицу, и его глаза снова стали суровы, замкнуты.

— Черт возьми, — сказал Рунич, — ежели даже разбитая армия идет у него в таком порядке, то...

— То, — перенял Галахов его мысль, — нам, несчастным, вряд ли удастся изловить разбойника!

— Не сомневайтесь, дело наше верное! — в раздражении кинул Долгополов и собрался еще что-то сказать, но не сказал, сердито отмахнулся.

Комиссия Галахова, двигаясь не особенно быстро, наконец достигла города Царицына. Комендант крепости, полковник Цыплетев, сообщил, что двадцатитысячная армия Пугачева разбита Михельсоном. Но он, Цыплетев, достоверных донесений еще не имеет, ожидает их со дня на день.

Галахов в свою очередь рассказал Цыплетеву, как на глазах комиссии пугачевская армия проследовала мимо одной из станиц.

— А в Дубовке нам сказали, — продолжал Галахов, — что Пугач разгромил команду подполковника Дица и что сам Диц убит, а его команда частью порублена, частью попала в плен. И сколько-то пушек злодей захватил.

— Сие тоже правильно, был грех, был! — вздохнул Цыплетев. — Да, глядя правде в глаза, надо прямо сказать: неплохо дерется Пугачев...

— Но ведь Михельсон-то не единожды бивал его...

— И будет бить... Разве у Пугачева войско? Сброд, лапотники! — воскликнул с озлоблением полковник, не замечая противоречия в своих высказываниях.

2

На другой день неожиданно прискакал в Царицын генерал-поручик Суворов с адъютантом Максимовичем и слугой.

А к вечеру явился со своим корпусом и «победитель забеглого царя» подполковник Михельсон. Он тотчас же начал своих солдат переправлять в ладьях и баркасах на луговую сторону Волги, чтоб выступить в погоню за Пугачевым. Но, узнав, что командовать корпусом прислан Суворов, Михельсон передал ему своих людей и чрез день роздыха выехал к главнокомандующему, графу Панину.

Комиссия, представившись Суворову, просила разрешения следовать за его корпусом.

— Ну что ж, — сказал Суворов, — у меня тысяча да вас трое, авось схватим молодца! А ты кто? — ткнул он пальцем в Долгополова.

— Казак, ваше превосходительство.

— Да уж, полно, казак ли? Не пономарь ли беглый?

— Казак... Яицкий казак, — промямлил Долгополов.

— С ружья палить можешь? Саблей можешь? Пикой можешь?

— М-м-могу, — страшась, как бы генерал не учинил ему проверку, едва слышно вымолвил Долгополов и закатил глаза.

— Как во фрунте стоишь?! — резко крикнул Суворов. — Пятки вместе, носки врозь! — Затем, обратясь к Галахову: — А вы, гвардии капитан, извольте быть готовы со своей комиссией завтра с утра к амбардаци на тот берег, в Ахтубу!

Комиссия перегнала в ночь две свои кибитки за Волгу, а рано утром вместе с Суворовым отправилась на тот берег в особом баркасе.

Суворов был неразговорчив, сумрачен, но на месте не сидел: то мерил шестом воду, то, схватив весло, помогал гребцам. Долгополов жался к стороне: он явно страшился Суворова.

В Ахтубе, после непродолжительного завтрака у хозяина шелковичного завода Рычкова, Суворов сел на приготовленную саврасую казачью лошадь, взял в руки плеть, поклонился всем и в сопровождении одного донского казака пустился вверх по луговой стороне Волги нагонять свой корпус. А сто пятьдесят донских казаков оставил он в Ахтубе, в арьергарде, с приказом выступить им через три часа.

Галахов со своим вестовым, гренадером Кузнецовым, решил следовать с арьергардом, а Руничу с Долгополовым и гренадером Дубилиным приказал ехать следом за Суворовым. Сума с казною, к небольшому соблазну Долгополова, была вручена Руничу.

Путники пустились догонять Суворова. Перед ними лежала необозримая пустынная степь, и лишь при закате солнца они увидали впереди двух всадников — Суворова с казакком. Вот, подъехав к стогу сена, всадники остановились.

— Дубилин, останови-ка и ты лошадей, — приказал Рунич гренадеру. — Его превосходительство не терпит, когда кто-либо без его призыва является к нему.

Они повернули тройку в кусты и начали, таясь, присматриваться, что будет делать генерал. До него было сажен полтора.

Суворовский казак, соскочив с седла, воткнул пикю в землю, привязал к пике свою и генеральскую лошадь, стал из стога теребить сено и складывать его в кучу. Затем кучу поджег. Суворов сбросил мундир, выдернул из штанов рубаху, закинул ее на голову и, поворотившись к огню, начал поджаривать себе спину и приплясывать. Затем поворотился животом, опять стал разогревать себя на вольном огоньке, потом разулся, разделся догола. Меж тем казак подхватил берестяное черпало, побежал в овраг, набрал в проточном ключе воды и, возвратившись, принялся с ног до головы обливать генерала ледяной водой. Бегал казак за водою четыре раза. «Наддай, наддай!» — кричал Суворов. Затем он, проделав гимнастику, проворно оделся, накинул на себя мундир и улегся на отдых, седло под голову.

Солнце село. Для Суворова наступила ночь. Он обычно в два часа пополудни вставал, в десять утра обедал, в восемь вечера вновь уходил ко сну. Впрочем, в боевой обстановке этой привычкой Суворов пренебрегал.

Заночевали в кустах и путники. Утром, чем свет, велели закладывать бричку. Суворова возле стога уже не было. Нагнали его часа в два. Рунич, наступая генерала, поднялся в повозке и осмелился крикнуть:

— Батюшка ваше превосходительство Александр Васильич! А не угодно ли будет вашей милости винца?

Суворов повернул свою савраску и, остановившись возле кибитки, сказал:

— Помилуй бог, можно выпить и закусить.

Рунич подал ему чарку, хлеба с солью, кусок сухой курицы. Суворов, перекрестясь, выпил взял хлеб и курицу, сказал: «Спасибо, братцы», поворотил лошадь, забросил плетку на плечо и — был таков.

Суворов нервничал. Водка не успокоила его. Он дергал головой, моргал, выкрикивал, как и в тот раз, в кибитке:

— Я солдат, солдат! Приказано! Всемиловитовой государыни приказ...

Сделав версты две, он остановил савраску, отхлебнул из походной фляги сам, угостил и борода-того донского казака с голубыми добрыми глазами. Но успокоение не приходило к нему.

— История, история! — выкрикивал он. — Творится история.

В его ушах еще не замолкли раскаты турецких и русских пушек, обоняние еще хранило запах порохового дыма, перед глазами все еще мелькают штурмующие колонны чудо-богатырей... И вот, извольте вершить историю! Охотиться за «домашним врагом»!.. На сердце Суворова сумеречно, вся степь, вся ширь степного простора, все русское раздолье — в мрачных красках, угнетающих душу.

— Нет, нет, всемиловитивейшая! — опустив голову, вслух думает Суворов: — Я с мужиком драться не привык... Помилуй бог! — выкрикивает он и ловит чутким ухом, как сзади него цокают по отвердевшей дороге копыта казачьей лошаденки. — Турку бью, немца бью, поляка бью, всякого врага бить буду. А мужика сроду не бивал...

— Чего изволите молвить, ваше превосходительство? — подлетает к нему казак.

Как бы пробудившись от сна, Суворов вскидывает голову, смотрит, указывает куда-то плеткой, говорит казаку:

— Видишь, Семеныч, стога? Вон-вон... Езжай, братец, приготовь из сенца пуховичок, ночевать будем.

Казак прищпоривает коня. Суворов еще отпивает водки, трясет головой, сплевывает через зубы, по-солдатски, и вперед, вперед на своей савраске.

— Ха, мужик... А кто он, мужик? Кто в армии российской?.. Пусть Михельсоны, да Муфели, да Меллинги домашнего врага ловят... Да, да! А я... сам мужик, сам солдат, сам русак среди русаков!

Он смотрит на запад, от солнца осталась золотистая горбушечка, вверху редкие облака, а по степи теплая рыжеватая сутемень.

— Мятеж, восстание... Мужик бунтует... У меня в Кончанском тоже мужик сидит... А не бунтовал... ни при мне, ни при отце, ни при деде моем... Извольте посмотреть, всеблагая, как валяются перед вашим рабом Александром мужички... «Батюшка, Ляксандра Васильич, купи ты нашу деревеньку!» — «Да как я вас, помилуй бог, куплю, у вас своя госпожа, моя соседка...» — «Ляксандра Васильич, она у нас все жилы вытянула, насмерть велит бить, а ты, батюшка, по-божецки своих содержишь, жалеешь их». Да, да, извольте посмотреть, ваше величество! А то — бунт, бунт!.. Я, матушка, знаю почище тебя мужика и барина!.. Ты проведай-ка, матушка, много ли Суворов на вотчинах своих нажил? Ни рубля, ни козы, не то что кобылы! — Суворов закатился скрипучим смешком. — Нет, матушка, с мужиком тоже надо умеючи... А то разворошили муравьиную кучу, натворили делов, а теперь наш брат, солдат, поди расхлебывай!

Не спалось Александру Васильевичу этою ночью на сенце под стогом. Он вытянул голую ногу, растолкал пяткой храпевшего вблизи бородатого казака.

— Семеныч! Не спишь?

— Никак нет, вашество, чего-то не заспалось, — мямлит спросонья казак.

— Помнишь, братец, как мы Туртукай брали? Ты в деле-то был?

— Был, как же... Семерым басурманам головы снес да троих на пику поддел...

— Молодец!

— Рад стараться!

— Старайся, старайся... «Слава богу, слава нам, Туртукай взят, и я там!..» Ну, да ведь я, Семеныч, хитрый! Фельдмаршалу-то Румянцеву донес тогда: «Слава богу, слава вам!» Ха-ха...

— Да уж, эфто чего тут, — мямлил казак, борясь со сном, и вдруг снова захрапел.

Суворов лег на спине, глядел в небо. В его глазах — восторженность и слезы. Все небо усыпано крупными четкими звездами. Боже мой! Какие таин-

ственные письма в высотах, какое непостижимое вокруг величие! «Вся премудростью сотворил еси», — звучат в растроганной душе Суворова слова стихир: певал когда-то такое в деревенской церковке села Кончанского...

— История, история! — выкрикивает Суворов. — Но что есть история?!

Искушенный в математике, он начинает прикидывать масштабы, измерять несоизмеримое. Боже мой! Что есть история... Монарх и солдат?.. Пугачев и Суворов?.. Что есть шар земной?..

— Природа — мать, природа — мать! — бормочет он. — Не земля, а картечка, помилуй бог. И мы — на ней!.. Каждой планиде своя судьба... И земле — своя, и мне, и Пугачу, и царю Додону, и всем, всем своя, неподкупная участь... Галилеи, Коперники, Ньютоны... А Суворов — солдат... Штыком, штыком да на ура! Эка штука... Семеныч, спишь?

— Никак нет, вашество!

— Нога, Семеныч, мозжит у меня... Зашибли ба-сурманы мне ногу, в овраг с конем сверзился... Помнишь?

— Как не помнить — помню... Вам бы, ваше превосходительство, вздохнуть да покоиться, а тут... с нашей мужичьей дурью хлопочи — справляйся!

— Служба, казак!

— Известно — служба, что дружба, через плечо ее не кинешь... Никак заря близко?

8

С утренней зарею Рунич и Долгополов пустились в путь, но генерала Суворова на месте уже не было. Целый день гнались они за ним, да так и догнать не смогли. Еще протекла ночь, и лишь на следующее утро прибыли оба в населенное малороссами село Никольское, что против Камышина. Избы здесь высокие, многие строения на сваях, — во время вешних разливов Волги местность затоплялась. Жители — чума-

ки — промышленяют поголовно возкою соли с Элтонского озера.

Путники остановились у приподнятой на сваях избы. Их поджидал здесь адъютант Суворова, молодой Максимович.

— Я уже успел заготовить как вам, так и генералу помещение, — проговорил он. — А хозяйке заказал, чтоб она избу не мела и стол скатертью не покрывала: мой генерал терпеть того не может, чтоб для него суетились да прибирали.

В это время подъехал Суворов.

— Здравствуйте! — крикнул он, соскочил с савраски и по высокой лестнице, спускавшейся к самой дороге, прытко пошагал вверх, за ним — Максимович.

И не успели еще путники вылезти из кибитки, как Максимович выбежал из хаты на крыльцо, по следам его Суворов с криком:

— Ай! Ай! Ай! Держи!.. Уши надеру, уши надеру!

Максимович, сбегая по лестнице, оступился, упал. Споткнувшись, упал на него и Суворов, оба скатились впереверт по ступеням вниз. Вот длинноногий Максимович вскочил и, взягивая, с хохотом опрометью чрез ворота в огород, за ним, поддергивая штаны, Суворов.

Рунич с Долгополовым, стоя с открытыми ртами в кибитке, недоумевали: что стряслось с генералом? И лишь в избе все разъяснилось. Оказывается, войдя в избу, Суворов увидел, что, вопреки его хотенью, хозяйка накрывает стол чистой скатертью, а ее дочь домывает с дресвой пол.

Вскоре прибыл в село и капитан Галахов с арьергардом. Час спустя Суворов пригласил Галахова и Рунича к себе. Похаживая по избе, руки назад, генерал спросил:

— Как располагаете, со мной ли пуститься в степь или здесь останетесь? Пять тому дней назад Пугачев прошел через это село, не делая никакой наглости, помилуй бог. При нем корпус в три тысячи голов. Собрав провиант и до двадцати подвод парами, пустился воров по элтонской дороге. А другой отряд, до пятисот голов, миновав село, потянулся вверх

по Волге. Я направляюсь за первым, к Элтонскому озеру, а второй отряд... — Он помолчал. — А второй с кем-нибудь и без меня в верховьях встретится.

Офицеры комиссии испросили позволения генерала посоветоваться с Остафием Трифоновым. Нетерпеливо поджидавший комиссию Долгополов сказал:

— А зачем нам по степи за Пугачевым слоняться? Он бог знает куда промчаться может. А мы, слоняясь, того гляди, попадем в лапы разбойников — киргизов, кои вдоль и поперек шныряют по степи. — Он вздохнул, лицо его вытянулось. — По правде-то сказать, я обе эти ночи не спал: залезу на кибитку да во тьму и посматриваю... Страшно было. А ехать нам надо в Саратов, вот куда. Там и рассудим, куда вам, куда мне путь держать.

Простившись с Суворовым, комиссия направилась к Саратову. В конце второго дня ее нагнал скакавший в Саратов курьер. Он поведал, что генерал Суворов со своим корпусом выступил по дороге к озеру Элтонскому, а ночью в степи верховые люди, по виду — киргизы, напали на телегу его превосходительства, в коей ехал камердинер из пруссаков, и того камердинера убили. Не иначе — нападавшие приняли слугу за самого Суворова.

Долгополов перекрестился, сказал:

— Ну, если б мы за его превосходительством ехали, то и нам досталась бы хорошая взбучка!

А вот и Саратов опять. Комиссия остановилась в пустом архиерейском доме. Вечером, после ужина, Долгополов, приосанившись, заявил спутникам:

— Вы, господа офицеры, снабдите меня надежными Донского войска урядниками или сотниками, а также паспортом, дабы нигде не могли задержать меня. С оными воинскими чинами я завтра же тронусь в путь, а вы езжайте в Сызрань и там ждите от меня известий.

Галахов, пренебрегая развязным тоном Остафия Трифонова, не только не сделал ему на этот раз заме-

чания, но даже обрадовался началу с его стороны практических мероприятий по уловлению Пугачева.

К генерал-майору Мансурову, находившемуся со своим detaшементом вблизи Саратова, был тотчас отправлен Галаховым гонец с просьбой прислать комиссии трех благонадежных казаков, что и было Мансуровым исполнено.

На другой день, собираясь в путь, Долгополов сказал:

— Я с донцами поеду в Сызрань, там переправлюсь обонпол на луговой берег и возьму путь на Яик. Одного донца оставлю в том месте, где признаю за нужное, другого оставлю за семьдесят верст от первого, а третьего — верст за полсотню от второго. Сам же поеду один, буду визнавать, где Пугачев с войском. А коль скоро проберусь до него да сговорюсь с яицкими казаками, кои вызвались выдать злодея, тотчас отправлю спешного курьера к третьему моему донцу, тот — ко второму, второй — к первому, а уж этот к вам примчится. И вы немедля спешите тогда к тому месту, где третий донец мною оставлен будет. В это место мы и доставим Пугача. Вот! Извольте мне выдать пропуск и деньги.

Доводы Остафия Трифонова показались комиссии резонными. Галахов протянул ему пропуск за подписью руки Мансурова и тысячу рублей на издержки.

Долгополов откинулся в кресле, закусил губу, глаза его закатились под лоб. Затем крикливо он бросил:

— Что сие означает, вашскородие? Как это вы умыслили со столь малой казною отпустить меня? Нет-с, уж не прогневайтесь... Должны вы мне выдать золотом не боле не мене все двенадцать тысяч.

Рунич и Галахов остолбенели. Затем глаза Галахова, устремленные в упор на Долгополова, сверкнули гневом. Рунич выразительно крикнул, его каблук с нервностью запристукивал в пол.

— Как можно, — помедля и овладев собою, сказал Галахов, — как можно со столь значительной суммой пускаться тебе, Остафий Трифоныч, одному в опасный экскурс.. Опомнись!

— Понапрасну пугаетесь, господин капитан, — с настойчивостью возразил Долгополов. — Это дело не ваше, как я с сими деньгами до Пугачева доберусь. Извольте-ка выдать мне оные без промедления! Извольте-ка, господин капитан, распечатать пакет его светлости, князя Орлова, на коем — я самолично зрил — рукой его светлости написано: «Распечатать во время надобности». Извольте, посему учинить исполнение, удостоверьтесь-ка, что требование мое справедливо...

Пройдоха говорил столь напористо, что оба офицера, удалясь в другую комнату, сочли нужным вскрыть пакет Орлова. В пакете — паспорт на имя Остафия Трифонова за княжеской печатью и собственноручное письмо князя к товарищам Трифонова, яицким казакам. В письме, между прочим, значилось: «Государыня императрица соизволила послать с Остафием Трифоновым всем его 360 сотоварищам, яицким казакам, на ковш вина 12 т. рублей золотою монетою, а впредь будут ее высокомонаршей милостью и больше награждены».

— Черт его знает... — сказал Галахов. — Написано довольно неопределенно. Ведь не сказано же: вручить деньги Трифонову для передачи казакам... Нет, врешь, голубчик, я тебе всех денег не дам! А то дашь, да только тебя и видели мы, ищи-свищи ветра в поле.

Они вышли к Долгополову. Тот, нахохлившись, взад-вперед похаживал, припухшая щека его повязана клетчатым платком — болел зуб. Начались пререканья и споры. Галахов с горячностью доказывал Остафию:

— С такую суммою можете вы, Остафий Трифоныч, погибнуть и тем самым погубить все столь важное государственное дело.

Долгополов продолжал упорствовать. Горячие споры, доходившие порой до крика, с обоюдным застрашиванием, длились дотемна.

— Я вскочу на лошадь да раз-раз к главнокомандующему графу Панину, упаду ему в ноги, нажалуюсь на вас. Я человек отчаянный! — боевым петухом бегая по залу, выкрикивал Долгополов.

— Его сиятельство прикажет тотчас вас повесить, как пугачевского приспешника, — огрызались офицеры.

— А вас, а вас... колесовать! — брызгал слюною Остафий. — Вам ее величество повелит кишки на колесо измотать, яко преступникам лютым, ее монаршую волю нарушившим! Матушка императрица хорошо меня знает, я, чай, обедал с нею и чарой чокался...

Наконец, Долгополов согласился принять три тысячи рублей, кои ему и были выданы с распискою, что, коль скоро, по благополучном завершении дела, потребует он остальные девять тысяч рублей, то будут оные вручены ему беспрекословно.

Долгополов, между прочим, настоял, чтобы деньги были ему сейчас же отсчитаны, да не серебром, а золотом, дабы сподручнее было везти их. Постановившая от зубной боли, он принялся со злостью пересчитывать монеты, затем снял со стены овальное зеркало, положил его на стол и в присутствии офицеров, с явным желанием как-нибудь оскорбить их, начал брякать в зеркало червонец за червонцем, якобы с целью удостовериться, нет ли фальшивых.

— Что ты, что ты, Остафий Трифоныч! — ядовито улыбаясь, сказал Галахов. — У нас без фальши! Вот только сам-то не сфальшивь как-нибудь.

— Я?! Я человек в годах, к тому же из предвека верный...

Уладив таким манером дело, Галахов на другой день, рано поутру, проводил Остафия в путь, а сам, по договору с ним, выехал в Сызрань. Рунича же послал он к графу Панину в Пензу с донесением, что казак Остафий Трифонов отправился из Саратова на завершение своего обязательства.

Граф Петр Панин двигался на усмирение мятежа медленно и с большой помпой, в Пензе отведено было ему лучшее помещение. При графе — блестящая свита, большой штат канцеляристов всех рангов. Панин — крупный, располневший старик с грубоватым солдатским лицом — встретил Рунича приветливо. Он знал его еще с того времени, когда тот учился в кадетском корпусе, а впоследствии и по турецкой кампании.

— А, здорово, Павлуша! Ну, как дела? Ловите?! Мотри, Михельсон-то скорей вас изловит злодея. Я уж, брат ты мой, только что послал в Питер капитана Лунина... с извещением, что преследуем Пугачева, который степью бежит со своим войском к реке Узень.

Донесение Рунича Панин выслушал внимательно и похвалил, что не отдали Трифонову всех двенадцати тысяч.

— Если сей плут хитрый и скроется куда с тремя тысячами, ему врученными, то не ахти какая будет для казны потеря. А ты вот что, Павлуша... Поезжайка немедля назад, к своей команде, да объяви, пожалуйста, Галахову, чтоб непременно квартиру он для себя назначил в городе Симбирске. Через три денька и я туда отправлюсь со своим штатом.

Приемная, куда вышел из кабинета высокого сановника Рунич, была полна посетителями.

На обратном пути, проехав село Нарышкино¹, он увидел вблизи дороги две виселицы-глаголицы, на коих, умерщвленные, качались два человека.

— Кто же их вешал-то? Пугачевцы? — спросил Рунич.

— Окститесь, барин, — приостановив лошадей и обернувшись к Руничу, с укоризной в лице и в голосе сказал пожилой ямщик. — Пугачевцев-то, кои с батюшкой, в этих самых местах ныне и помину нет. Да и задавленники-то эти — наш брат, мужик! То, сказывают, «спедитор» какой-то проезжал, офицерик молодой, тутошних мест уроженец, при нем шестеро гренадеров конных. Вот он... и казнил!

Рунич подернул плечами, его в дрожь ударило, он вынул тетрадь и записал:

«Не видав никогда до сего времени страшной сей казни, по законам злого человеческого разума выдуманной, вострепетало во мне сердце и в сильное глубокое погрузило меня уныние»².

¹ Впоследствии г. Кузнецк.

² Записки П. С. Рунича, «Русская старина», 1870 г.

Не доезжая верст пятидесяти до Сызрани, Рунич неожиданно встретил в одном из селений своего гренадера Кузнецова.

— Ты как тут? — с удивлением спросил его Рунич. Гренадер ответил:

— Господин капитан Галахов и вся его команда вот уже четвертый день в здешнем селе квартирует.

И в это время, улыбаясь во все лицо, подходит к остановившейся бричке сам капитан Галахов.

— Ну, кричите «ура», — молвил он. — Пугачев пойман! Но... без участия нашего Остафия Трифонова.

Рунич соскочил на землю и, забыв субординацию, бросился на шею к Галахову.

— А я уже распорядился послать поручика Дитриха следом за Остафием Трифоновым, чтоб возвратить его. Посему и здесь сижу да вас поджидаю, — сказал Галахов. — Не далее как с час тому проскакал здесь курьер князя Голицына к главнокомандующему в Пензу с известием о поимке Пугачева.

— Кто поймал, уж не Суворов ли?

— Доподлинно не знаю... Но, по слухам, предан самозванец своими же, близкими ему атаманами. Его связали и привезли в Яицкий городок.

Вскорости известие целиком подтвердилось: Пугачев был предан атаманами Твороговым, Чумаковым, Федульевым и другими.

Получив извещение о случившемся, Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к Яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачевым.

«Суворов взял Пугачева под свое ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Яике, и, приказав заготовить кибитку открытую, которую прозвали простолюдинцы «клеткою», отправился с ним в Симбирск к графу Панину, куда прибыл граф вечером, в один день с генералом Суворовым»¹.

¹ Записки П. С. Рунича, «Русская старина», 1870 г.

Поручик Дитрих, человек молодой и весьма исполнительный, поскакал следом за Остафием Трифоновым, чрез Сызрань, затем по симбирской дороге, по направлению к Казани.

Все дороги, столбовой большак и прилегающие к нему проселки за какие-нибудь три-четыре дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани и в сторону Симбирска сотни, тысячи крестьян на подводах или пешеходью. Крестьяне молодые, старые и подростки-парни. Вид у всех изнуренный, головы понуры, глаза погасли, словно взоры их уперлись в непроницаемый мрак. Нередко попадались партии, человек по пятьдесят, нанизанных на одну веревку, они шли по обочине дороги в одну линию, гуськом. Их конвоировал солдат с ружьем. Иногда встречалась толпа человек в двести — триста, с каждой стороны по солдату. Передний, размахивая штыком, кричал встречным проезжающим:

— Сворачи-ва-а-а-й!

На многочисленных телегах, долгушах, бричках, двуколках, таратайках, запряженных худоребрыми клячонками, под охраной солдат или деревенских старост с бляхами сидели в несчастных позах мужики, бабы и парни, хмурые, угрюмые, с обветренными исхудалыми лицами, с покрасневшими от слез глазами. Впрочем, взоры иных сверкали огнем непримиримым. А иные даже ухмылялись про себя загадочно, будто говоря: «Ладно, ваш верх, наша маковка!»

Это тысячи крестьян-вольнолюбов, схваченных в армии Емельяна Пугачева, движутся под воинской охраной в Казань да в Симбирск, на суд секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства.

Небывалое движение можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю — от Уральских гор, от вольного Яика, от берегов моря Каспийского вплоть до Петербурга. Толпы, толпы, одиночки, курьеры, всадники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки, барабаны, именитые вельмо-

жи в сверкающих лакировкой каретах с золотыми гербами, и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывают на двух столбах перекладины, с плеч головы летят.

И где-то в курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня:

Плетка взвизгнула,
Кровь пробрызнула.

Но еще долгое время и во многих глухих местах потрясенной России будет гулять-разгуливать мстительный пламень неумимающей вольницы.

Поручик Дитрих догнал Остафия Трифонова, не доезжая до Казани ста верст. Узнав о поимке Пугачева, ловкий притворщик всплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул:

— Дивны дела твои, господи! Ну, слава богу, что злодей в руках. А кем пойман и выдан, это все едино...

Дитрих и Долгополов с тремя есаулами донцов, которых он взял с собой, повернули обратно. Дорогою Дитрих раздумывал: «Зачем Остафию Трифонову занадобилось ехать к Казани? Ведь прямой путь ему был к Яицкому городку или к Узеням, куда устремлялся Пугачев». Но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дитрих постеснялся.

Решили ночевать в большом селе, не доезжая пятидесяти верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц, ночи держались холодные, но есаулы все-таки пошли спать на сеновал. Поручик приказал им смотреть за лошадьми, чтоб завтра, рано поутру, выехать с ночлега.

Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторная и чистая. Попросили хозяйку сварить курицу. За ужином велись беседы. Плечистый старик хозяин говорил:

— А мужики нашего селенья все, почитай, дома оставались, не приклонялись к Пугачеву-то... Нас так и прозвали «останцы».

Долгополов был весел, разговорчив, он забавлял

молодого Дитриха разными побасенками. Отходя на покой, он сказал офицеру:

— Раз злодей схвачен, нам великого резону нет, чтобы спешить... Можно и подоле поспать... Чегой-то зуб у меня разболелся... Охти мне...

— Нет, уж давайте пораньше, Остафий Трифонович, — нерешительно сказал Дитрих. — Я и казакам так велел.

— Ну, как знаете, — с раздражением ответил Долгополов. — Кабы не зуб, так я бы...

На другой день, проснувшись довольно рано, еще до свету, поручик Дитрих с удовольствием заметил, что Остафий Трифонов, видимо, пробудился раньше него: место на двух стоявших впритык сундуках, где он лежал, было прибрано.

Дитрих ощупью пошарил трут, сверкач, огниво, закурил трубку. Стало рассветать. Пришла хозяйка, развела на шестке таганок, принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу.

— А где же мой сотоварищ? — спросил Дитрих бабу.

— Да поди во дворе... Где боле-та...

Дитрих оделся, вышел во двор. Два есаула седлали лошадей.

— А где наш казак, Остафий Трифонович? — спросил их офицер.

— Мы, ваше благородие, его не видали.

Подошел третий есаул. Он, оказывается, тоже не видал Остафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старосте за лошадьми, чтоб пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с тройкой. Затем вошел в избу, стал бриться. Прошло полчаса. Дитрих успел позавтракать. Остафий не являлся. «Что такое?.. Уж не ушел ли он со своим зубом к какому знахарю либо к зубодеру?» — с нарастающей тревогой в сердце подумал поручик. Возвратились есаулы, сказали:

— Обошли мы, ваше благородие, все избы подчистую. Точные приметы его сказывали. Повсюду нам отвечали, что, мол, ни ночью, ни поутру к ним такой казак не захаживал.

Дитрих сразу изменился в лице, выбежал во двор, строжайше приказал сельскому старосте собрать тотчас всех людей и немедленно приступить к обыску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков. А сам с одним есаулом поскакал верхом по Казанскому тракту. И по всем селениям, чрез которые проезжал, приказывал он местным сотским и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака.

— Ежели найдете живого или мертвого, берегите его у себя, я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит...

Дитрих с есаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан Долгополов. Но и здесь беглеца не оказалось. Дитрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и, поручив следить за этим делом есаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении беглец обнаружен не был: как в воду канул. Поручик впал в отчаяние: кончилась его служебная карьера, за упущение столь загадочного лица да к тому же с огромной суммой денег шутить не станут, чего доброго, разжалуют в солдаты...

От сугубого отчаяния и скорби в его крови «сделалось страшное распаление», он велел как можно поспешнее везти себя в Симбирск и в дороге умер. Ходили слухи, что несчастный офицер принял будто бы яду.

Тем временем Долгополов успел пробраться на Волгу, договориться с бурлаками за десять рублей тянуть его на попутной посудине до Нижнего-Новгорода. И вот он восседает на небольшой барже, нагруженной низовыми арбузами, яблоками, медом, воском и прочими товарами.

Слава-те Христу, кончено опасное лицедейство, он больше не яицкий казак, не пугачевец, он снова купец второй гильдии града Ржева-Володиминова, у него за рукой воеводы и должный паспорт есть. «Да им век не сыскать меня! Там был яицкий казак Трифонов,

ныне купец Долгополов. Ужо-ужо обличье себе перемену: парик добуду да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Поди узнай тогда! Родная жена трекнется».

Да, все бы хорошо, вот только жаль, что товары-то не его, не Долгополова. Распрекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина — половину за наличные, на другую половину — вексель, затем в Нижнем-Новгороде раскинуть палатку, да и продавать сии блага земные с большой корыстью. А там, умножив и паки приумножив свои достатки, удариться в керженские потаенные леса, — до них от Нижнего рукой подать, — к своей братии и сестрам по старозаветной вере, всечестным скрытникам. С деньгами-то можно и хатку себе выстроить и «малину-ягоду» завести, — какую-нито чернооую скитницу, дабы сподручней было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано: «Убо согрешишь, покаешься». А приятней было бы сказать: «Мотри, покаешься, ежели не согрешишь...»

«Ой, согрешу, ой, согрешу», — раздумывает, разжигается в греховных помыслах Долгополов, жмурясь, как кот на сливки, на пригожую молодайку в кумачах, что возле крутится: то кисленького кваску подаст, то сладкой бражки, то моченых антоновских яблочков. Он давно забыл богоданную свою жену, кругленькую Домну Федуловну, что ждет не дождется во Ржеве-городе неверного своего супруга. «Ой, согрешу, ой, согрешу», — бормочет Долгополов и, спустившись вниз, в жилой закуток, наскоро обнимает молодайку, сует ей двадцать две копейки серебром.

А Волга течет себе, широкая да вольная. Много в жизни своей она слышала, много видала, помнит, как первый человек окунулся в ее воды. С тех пор пролетали над ней века, подобно быстрокрылым птицам, и тысячелетия двигались неспешной ступью, как мерные шаги нагруженного верблюда. А она все та же, и то же над ней небо, лишь несколько изменилось ее течение, и прозрачная кровь в ней поусохла, да размножился по ее берегам человек. Научился сей двуногий ловить в ее глубинах рыбу, выдумал огонь, и зачастую несла Волга воды свои чрез сплошной

пламень горевших по ее берегам вековых лесов. Стал человек складывать песни, но в песнях тех не было и тени веселья, были тоскливы, походили песни на стон: должно быть, тяжело жилось человеку. Разве что разбойничьи стружки взрежут грудью волжские волны и зазвучит, зазвучит с них, разнесется по зеленым просторам лихая песня с присвистом, с гиканьем: «Сарынь, на кичку!»

Да еще помнит Волга: в тысяча семьсот шестьдесят каком-то человечьем году проплывала в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. С разукрашенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрице и свите ее было весело, а людям, стоявшим по берегам и швырявшим вверх шапки, было грустно: веселый караван, как сказочное привидение, уплывал из простора в простор, вот он замкнулся в розоватых безбрежных туманах, больше никогда не вернется обратно. И была вокруг все та же угрюмая, вся в тоске, вся в жалобе, песня.

Вот она и сейчас надрывно звучит над песками, над зеркальной гладью реки:

Ма-туш-ка Во-о-олга,
Ши-ро-ка и до-о-олга,
Ты нас ука-ча-а-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-ла!

Это бурлаки, внатуг налегая грудью на лямки, совершают последнюю в этом году путину, тянут встречу воды баржу с арбузами, а на арбузах — плугец Долгополов.

Бурлаки идут, идут... Лохматые нечесанные головы опущены, рыжие, черные и пегие с проседью бороды всклокочены, мускулы во всем теле напряжены до отказа — течение воды убыстрилось. Кто в новых лаптях, кто в ошметках, а беглый монах — босиком. Холщовые, в три ряда, лямки за лето пропитались потом и грязью, как ворванью. Погода холодная, но людям жарко: поросшие шерстью груди открыты.

Идут в ногу, мерно покачиваясь. И в такт шагам чуть покачиваются повисшие руки. Обходят большой, версты на три, приплёсок, идут трудно, песок сыпуч, упор ногам слаб, скорей бы на луговину. Их — восемь крепостных крестьян пошли от барина на оброк, а девятый — беглый монах. Он голосом груб, глаза у него запьянцовские. Он заводит, все подхватывают:

Ты нас ука-ча-а-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-а-ла,
На-а-шей-то силушки,
На-а-шей силушки не ста-а-ло...

Ноет песня, ноет сердце, скулит душа... Эх, лучше бы гулять не по Волге-матке, а по степям да раздольям с воинством мужицкого «батюшки-царя», мирского радетеля. Он ладный укорот давал немилостивым барам, да лихим воеводам, да судьям-грабителям... Где-то он, свет наш, жив ли, здоров ли? Сказывают, быдто схватили его, отца нашего, генералы царские...

Плывет песня, плывут думы, течет похолодевшая вода. Мужичий сытный праздничек покров позади остался, стало холодать, по утрам закрайки из стеклянного ледку, а вчерась снежок порхал. Ну, да уж не столь далеко и до Нижнего...

А вот и Нижний-Новгород. Долгополов снял картуз, истово покрестился на соборы. В дороге ему удалось оплести нехитрого хозяина, — теперь арбузы и весь товар совместно с посудинной — его, Остафия Долгополова.

Он расчелся с бурлаками по-хорошему, лишь малость кое-кого объегорил, нанял сподручного, разбил на отведенном месте торговую палатку и на другой день, в воскресенье, открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело. Необозримое Заволжье с обмелевшей Окой, с посадками, белыми церквями и голубоватым лесом уходило на край земли, к далеким горизонтам.

Над похолодевшей водой, плавно стремившейся к востоку, кой-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью пролетали белые чайки. По берегам, возле Нижнего, и там, в заречной дали, грудились баркасы, огромные баржи, каюки и прочие «посудины». На них копошились человечки с шестами, арканами, снастями, торопились ставить караваны судов на зимовку. Всюду разносились деловые выкрики, команды, ругань, песня, тягучая «Дубинушка». Взад-вперед сновали челны да лодки.

Народу на базар подвалило много. Арбузы шли ходко, всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано Долгополовым больше тысячи арбузов и двести пудов антоновки. Да как еще продано-то!.. С изрядным барышом.

— Эй, калашник! Эй, сбитенщик! Давай сюда! — звал-кричал проголодавшийся купец и, обратясь к подручному: — А ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжьей селянки принесешь да поджаристых мясных расстегайчиков парочку.

Подходили, подъезжали покупатели, конные и пешие. Товар убывал, деньги прибывали. Вот подъехали двое конников: полицейский чин с бляхой на картузе, а другой — какая-то приказная строка. Слезли с лошадей, подошли к палатке.

— Пожалуйте, господа покупатели! — сняв картуз, поклонился Долгополов. — Не арбузы, а сахар! Господин воевода сразу сто штук купил, а господин губернатор — генерал Ступишин — двести пятьдесят...

— Ладно, — сказал приказный и наморщил приплюснутый с бородавкой нос. — Мы у всех документы проверяем. А ты новый. Ну-тка, покажи паспорт.

— С полным нашим удовольствием-с... Вот-с паспорт-с, а вот...

— Ты кто таков, откудава?

— А я — ржевский купец, Остафий Трифоновч Долгополов, со многими купеческими фирмами дела веду.

— Значит, ты Долгополов?— спросил легким голосом приказный, утыкая с бородавкой нос в проптевший паспорт.

— Истина ваша, — Долгополов.

— Из Ржева-Володимирова?

— Из богоспасаемого града Ржева-Володимирова...

— Ну, так вот мы тебя-то и ищем, — легким голосом продолжал приказный и, обратясь к полицейскому: — Пантюхин, хватай его, вяжи.

Глаза Долгополова закатились под лоб, верхняя губа сама собой задергалась, весь затрепетал он.

Со всего берега сбегался на происшествие народ.

А разгадка такова. В личном докладе главнокомандующему Панину о побеге «яицкого казака» майор Рунич, между прочим, выразил некую свою догадку, однако не придавая ей особого значения: догадка и догадка.

— Как-то в пути я обратил внимание, — говорил Рунич, — что казак крестится двуперстием. Я спросил его, не старозаветной ли он веры? «А как же! Ведь у меня во Ржеве... — и вдруг замялся, потом поправился: — Ведь у меня в Яицком городке даже домовая часовня есть...»

Граф Панин нашел эту обмолвку казака весьма существенной, и во Ржев тотчас поскакал курьер. При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец Остафий Трифонов Долгополов, человечиска плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам да с тех пор, вот уже полтора года, и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое.

Курьер возвратился. Панин выпустил и повсеместно разослал строгий приказ о задержании преступника. Впоследствии Панин говорил Руничу:

— Вот видишь, Павлуша... сказано: «Слово — не воробей, выпустишь — не поймашь». А вот мы зато

по одному выпущенному слову не только воробья, а целого стервятника поймали¹.

В ноябре Рунич был командирован в Петербург. А оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу Румянцеву в Могилев, что на Днестре.

Отправляя его в путь, граф Григорий Александрович Потемкин, передав Руничу три пакета, сказал:

— Два от государыни, один от меня лично. Государыне угодно, чтобы ты наедине объяснил Петру Александровичу со всею подробностью все происшествие пугачевского возмущения. — И, прощаясь, промолвил: — Тебя там многие и о многом будут спрашивать, ты говори: «Все наше, и рыло в крови».

В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошелся с молодым офицером весьма любезно.

— Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом, — сказал он, — ибо мы вот уже два месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом! Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать? — спросил фельдмаршал, просмотрев бумагу Потемкина.

— Да, ваше сиятельство.

Румянцев пригласил за собой Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате. Такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями, фельдмаршал после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал. Его лицо, вместо обычно цветущего, было болезненное, желтое.

— Я от своей хворобы еще не совсем оправился, — проговорил он, садясь в кресло.

Рунич чинил фельдмаршалу обстоятельный доклад

¹ Судьба Долгополова была такова. В сентенции о наказании Пугачева и его сообщников об Остафии Долгополове сказано:

«Ржевский же купец Долгополов разными лжесоставленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление, так что и Канзафар Усаев (мещерятский сотник), утвердясь больше на его уверениях, прилепился вторично к злодею. Долгополова велено высечь кнутом, поставить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу и содержать в оковах».

Где и как кончил дни свои ржевский плут-прохиндей, нам неизвестно.

о пугачевском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачева в Москву.

Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым, фельдмаршал улыбнулся.

— Поверите ли вы мне, что я сему негодяю прорекал, что будет повешен?

Услыша эти слова, Рунич пришел в замешательство. Фельдмаршал сказал:

— Не удивляйтесь. Помню, очень давно, лет тому с двадцать пять как не боле, наш Воронежский полк квартировал во Ржеве-Володимирове. Я тогда молодым офицером был и снимал комнату у Трифона Долгополова, купца. Он в достатке жил, и мне было у него тепло. И вот, помню, этот самый Осташка, парень лет шестнадцати — семнадцати, такой ухорез был, такая бестия, что страсть!.. Всякие городские сплетни, все новости, даже что у нас в полку делалось, он, арнаут, вперед всех узнавал. Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу: «Ой, береги ты своего Осташку, по его затейливому уму, смотри, попадет он на виселицу». А отец с матерью, глядя на своего недоросля, только веселились да радовались.

Румянцев подошел к столику, отхлебнул настоя лихорадочной корки «хина-де-хина» и сказал, указывая на разложенные на столе снадобья:

— Вот видите, сколько мне всякой дряни наши «людоморы» насовали: тут и базиликанская мазь, и мушки гишпанские, и перувианская корка. Пичкают всякой дрянью, а толку нет... Ну, так вот. Дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого ракалю в Петербурге-то не могли раскусить, до императрицы допустили... Ведь он был в Питере винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. Это случилось не более, как лет семь тому, — я слышал, живя в Глухове, быв правителем Малороссии... Вот прохиндей, вот так прохиндей!

Сей разговор происходил 10 января 1775 года, в день казни в Москве Емельяна Пугачева.

Вл. Бахметьев

КОНЕЦ ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА

Очерк

(По материалам В. Я. Шишкова к последней части исторического повествования «Емельян Пугачев»)

1

Своему историческому повествованию о величайшем народном движении XVIII века В. Я. Шишков посвятил десять лет (1935—1945 годы). Смерть прервала работу писателя над заключительной частью третьей и последней книги. И хотя невыполненные главы в эпилоге обширного произведения не могут иметь решающего значения для его исторической или художественной ценности, тем не менее события, связанные с трагическим концом Пугачева, и в этом плане — материалы, оставшиеся в рабочем портфеле писателя, требуют своего освещения.

История располагает к нашему времени достаточными данными, чтобы установить обстоятельства гибели Пугачева и его сподвижников. Однако было бы неправильно ограничиваться здесь обзором событий независимо от того огромного, художественно-обобщенного материала, какой дан нам писателем и вместе с рабочими его заметками и набросками определяет возможное завершение произведения¹.

¹ После смерти писателя в рабочем портфеле его среди прочих материалов, относящихся к «Емельяну Пугачеву», имеем следующее:

«План» ко второй книге романа с беглою описью событий, включенных в пятнадцать глав повествования; «Хроника

Принимаясь за свою работу, В. Я. Шишков учитывал всю трудность ее, хорошо понимая, что «изображать виденное, наблюденное много проще, чем живописать то, что автор не мог видеть»¹.

Развернув широкое полотно, живописующее Россию екатерининского времени, В. Я. Шишков включает каждое звено повествования в единую цепь событий, призванных показать в образах, в движении самой жизни, в круге понятий, присущих своему времени, историческую обстановку и состояние общественных сил к моменту восстания пугачевцев, вскрыть причины этого восстания, осветить рост и неудачи его, мощь и трагическую развязку его.

Писатель ставил своей задачей «дать... картину изображаемого времени с такой полнотой, чтоб читатель ясно видел как причины, породившие пугачевское движение, так и то, почему Пугачев был побежден и сложил на плахе свою голову»².

При этом, как бы ни был внимателен художник к фактам исторической действительности, ему не удалось бы вдохнуть «живую душу» в такое значимое и своеобразное явление русской истории, как пугачевское движение, не справясь он с ведущей фигурой всего произведения — «избавителя народного».

Проследив жизнь и деятельность Пугачева с юных лет, собрав по капле, по золотнику свидетельские показания о нем — от архивных материалов до изустных легенд, — Шишков весь свой обширный фонд подверг необходимому анализу с высоты нашего времени, не забывая при этом, что «характеры и душевные движения действующих лиц должны быть раскрыты не так, как хочет того автор, а в подчинении логике исторической необходимости»³. Но и такой работы было недостаточно. К свидетельству исторической науки писатель «присоединил» богатый

пугачевского движения» с перечнем событий по месяцам и дням; ряд заметок, выписок из источников, набросков и пр., а также географическая карта с обозначением движения пугачевской «толпы» от Яицкого городка через Оренбург, Казань и далее вниз по Волге до Элтонского озера.

Все, что в «Плане» и «Хронике» имелось примечательного для оставшегося невыполненным эпилога романа, приводится нами в очерке. Использованы здесь и все заметки, относящиеся «К характеристике Пугачева».

¹ Архив Шишкова.

² Там же.

³ Там же.

запас собственных знаний о людях из народной толщи. И только теперь все в творческом воспроизведении облика народного героя приняло очертания подлинной яви, как если бы автор «Емельяна Пугачева» был современником пугачевцев, страдал и радовался, любил и ненавидел заодно с ними.

2

Кратко осветив в своей статье «Емельян Пугачев» («Огонек», 1942, № 51) историческую обстановку, в которой началось и протекало пугачевское движение, Шишков пишет:

«Ходом истории все было подготовлено к возникновению народного движения в широком плане. Не хватало лишь «избавителя». Наконец, в лице казака Пугачева, избавитель нашелся. Восставшие приняли его как «мужицкого» царя Петра III и поставили над собой вождем».

«Народ похощет — любого вождем своим сотворит!» — так говорил когда-то Филарет, настоятель раскольников сита, безвестному донскому казаку (см. «Емельян Пугачев», кн. 1, ч. 3, гл. 8). Так понимал это историческое явление и писатель, разумея в признании народом «забеглого царя» не простое «хотение», а историческую необходимость определенного разрешения назревшего социального конфликта. Но Пугачев не был, по убеждению писателя, «одним из многих», кого народ мог венчать на царство. Пугачев был достойным избранником — подлинным защитником «всех сирых и замордованных».

Одаренный, много повидавший на своем веку, решительный в действии, умеющий, однако, при нужде лавировать, — таким в основном дал нам писатель своего Пугачева. Способный к великодушию, но всегда беспощадный к врагам, умелый военачальник и вождь, державший сподвижников своих «под крепкою дланью», — таков он, этот незаурядный сын своего народа. Он мыслит и чувствует, воспринимает мир и борется, отражая полностью неповторимые особенности родной среды со всеми ее положительными чертами и недостатками, вплоть до тягчайших, вытекающих из крестьянской ограниченности.

«Он властвовал над народом и был в полнейшей зависимости от народа, — читаем мы в заметках писателя «К характеристике Пугачева». — Куда народ, туда и он, Пугачев: действия его переставали быть свободными».

«Пугачев не обладал достаточным политическим кругозором, — отмечает писатель далее, — что, однако, не мешало ему знать секрет того, как владеть и повелевать массами».

Разумеется, все это, представленное в живом полнокровном облике Пугачева, не вяжется с тем, что мы находим в отзывах о «самозванце» таких мемуаристов, как участник экспедиции против пугачевцев молодой Державин; ни тем более с тем, что оставили нам о «домашнем враге» Екатерины ее сатрапы и военачальники вроде графа Петра Панина или московского главнокомандующего князя Волконского. Повинны в искажении облика Пугачева в какой-то мере и его атаманы-предатели, наделив своего вождя на допросах «с пристрастием» у Маврина, Панина, Шешковского чертами изувера и... труса¹.

Надо ли говорить, что автор «Емельяна Пугачева» в незавершенном эпилоге своего произведения мог следовать лишь за тем Пугачевым, которого он создал, полюбил и образ которого пронес незапятнанным через густой туман вольной и невольной клеветы на «грозу и страшилище» крепостников,

3

Потерпев под Казанью поражение, Пугачев с остатком разбитого войска, числом до четырехсот человек, бежал левым берегом Волги в сторону Нижнего-Новгорода. Но, пройдя около ста верст, он остановился и подле деревень Нерадовой и Сундыри переправился на правый нагорный берег, куда стягивались уцелевшие отряды и присоединялись новые — из крестьян, бурлаков, чувашей.

Снова встал вопрос о походе на Москву. Выслушав споры атаманов, Емельян Иванович собрал в круг яицких казаков и объявил им, что время идти на белокаменную еще не приспело, а надо повернуть к Дону, где «его знают и примут с радостью». И вот армия вольницы двинулась на юг — к Цивильску, Курмышу, Саранску.

«Почему Пугачев, вопреки советам его приближенных, не пошел на Нижний?..» — ставит В. Я. Шишков вопрос в своих

¹ Как справедливо отмечает писатель, показания участников мятежа дошли до нас к тому же не в дословной записи, а в изложении допрашивавших, что, несомненно, наложило свою печать на характер этих показаний.

заметках ко второй книге романа — и отвечает выпискою из второго тома «Пугачевщины»:

«...Вряд ли Пугачев воздержался от похода на Нижний под влиянием известий, что город сильно укреплен. Правдоподобнее предположить, что им руководили мотивы иного порядка. Лишившись башкир и своих сообщников с заводов, утратив связь с Приуральем¹, отрезанный от хлебного Вятско-Камского района, Пугачев, после поражения под Казанью, вряд ли мог принять решение углубиться во внутренние русские губернии, которым явно грозил голод. Скорее он должен был подумать в первую очередь о создании себе новой стратегической базы. Неспроста его намерения устремились в сторону Дона и родного казачества»².

Имело значение для решения этого рокового вопроса также, без сомнения, и то обстоятельство, что Пугачев потерял к тому времени ряд ближайших своих сотрудников и друзей. Пленены были Иван Белобородов, Почиталин, Горшков, убит старик Витошнов, не стало Максима Шигаева и Зарубина-Чики, пропал без вести Падуров.

Чувствовалась к тому же неустойчивость и в настроении яицких казаков, полагававших, что цель их мятежных походов — прежде всего высвобождение родного края, и потому к чему бы riskовать головою на чужбине? Меж тем «преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, Пугачев уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней, и у него не было времени одуматься, чтобы снова собрать вокруг себя грозную силу».

Почти вслед за переправою пугачевцев через Волгу генерал Мансуров, оставив Яицкий городок, направился к Сызрани. Преследование мятежников возлагалось теперь на Михельсона, Меллина и Муфеля. Сверх того, двинуты были полки из Крыма, из-за Дона и с Кубани. У правительства, заключившего победоносный мир с Турцией, открывались неограниченные возможности к посылу против «злодея» новых и новых воинских частей. «Против воров, — писала Екатерина, — столько наряжено войска, что едва ли не страшна таковая армия и соседям была»³.

¹ В этом месте В. Я. Шишков дополняет в скобках: «Пушки, порох, люди».

² «Пугачевщина», Гиз, 1929, т. 2, стр. 397.

³ «Сборник Русского исторического общества», т. VI, стр. 86.

И, однако, тяжело раненная пугачевская «толпа», углубляясь на юг, обрастает по пути свежими партизанскими силами, опрокидывает встречные правительственные отряды, мимоходом овладевает крепостями, бурей пронесется через Алатырь, Пензу, Петровск, Саратов, Камышин, Дубовку и 21 августа подступает к Царицыну.

В записях писателя («Хроника пугачевского движения») об этом времени говорится:

«Пугачев шел тут необычайно быстро. Между тем восстания, вспыхнувшие в разных районах помещицкой России, *продолжали распространяться с неослабевающей силой и после ухода* Пугачева из этих районов. «Пугачев бежал, — писал Пушкин, — но бегство его казалось нашествием». И действительно, в июле — сентябре мы насчитываем до шестидесяти отдельных повстанческих отрядов, состоявших из крепостных крестьян и угнетенных национальностей помещицкой России.

Подымались деревни, вотчины, подымались помещицы и государственные крестьяне, дворовые люди и однодворцы, русские, чуваша, татары, мордовцы. Пожар восстания охватил земли от Нижнего-Новгорода до Царицына, от Симбирска до Тамбова и Воронежа.

Крестьянское движение, распространившись по всему Поволжью, «никогда и нигде не возникало с такой мощной силой, как теперь, в августе 1774 года», — читаем мы в пятой главе (ч. 2) третьей книги «Емельяна Пугачева». «По мере того как Пугачев с главной армией подвигался на юг, к Нижнему Поволжью, мятежные действия крестьян в Среднем Поволжье не уменьшались, а росли. Все пылало...»

Однако действовали мятежники разрозненно, без связи с пугачевским станом, и вооружались, как могли: вилами, топорами, дубинами, заостренными кольями. Из присоединившихся к армии крестьян Пугачев брал с собою лишь конных. Остальным он говорил: «Детушки! Я походом тороплюсь». Пешие строились в летучие партизанские отряды и, громя помещицкие усадьбы, неуловимые, служили для Пугачева прикрытием, завесой. Обилие всюду бродивших многочисленных «отрядов, — помечает В. Шишков в своих записях к текущей работе, — сильно отражалось на борьбе с основным врагом. В рапорте от 4 августа 1774 года Михельсон доносил, что с помощью обычной военной разведки «весьма трудно» знать о движении самого Пугачева, благодаря рассеянному его шайкам»,

«В августе 1774 года, — читаем в другой записи автора, — Пугачев по взятии Камышина вступил через хутор Белую Глину на земли волжского казачьего войска. Большинство казаков изменило правительству, составило у Пугачева особый Дубовский полк».

Вблизи Саратова, как до того у Петровска, к Пугачеву перешли правительственный отряд, до пятисот волжских и донских казаков, а также бурлаков. В Камышине к нему присоединилось шестьсот украинских казаков. С этими силами Емельян Иванович продолжал не только отбиваться от преследователей, но и наносить разящие удары. Так, 16 августа на реке Пролейке Пугачев разбил правительственный отряд, и находившиеся в нем калмыки отдались в руки «царя-батюшки». При занятии Дубовки, центра волжского казачества, в лагерь Пугачева перешло до трех тысяч калмыков. Через четыре дня после успешного сражения на реке Пролейке Пугачев снова смял воинский отряд и переманил к себе бывших в отряде донских казаков. То же произошло на реке Мечетной; где пугачевцы разбили большой отряд, а состоявшие в нем донские казаки отдались повстанцам. За Саратовом присоединилось к войску Емельяна Ивановича семьсот заводских крестьян, прибывших с яицким казаком Ходинным.

Но, несмотря на все эти временные успехи, трагическая развязка приближалась.

Работая над пятой главой (ч. 2) третьей книги, Шишков 2 декабря 1944 года в одном из своих писем к друзьям писал:

«Теперь дело идет к развязке; трагедия самого Пугачева и народа, и вообще — пугачевщины — нарастает... Сейчас Пугачев подходит к Саратову. Тема предательства своего вождя со стороны атаманов — постепенно нарастает. Это должен почувствовать не только читатель, но даже всякий пролетающий над Пугачевым воробей»¹, — горькою шуткою заключает писатель свое сообщение.

В следующей, шестой, главе, в третьей подглавке, читатель найдет сцену ночного заговора атаманов, подстрекаемых Иваном Твороговым, но тут еще — Овчинников и Перфильев, возражавшие атаманам на злые их речи. Как бы то ни было, впервые тогда Федульев заявил: «Связать (Пугачева. — *Вл. Б.*) надо да по начальству представить... Авось чрез это милость себе найдем».

¹ Из письма к Л. Р. Коган от 2 декабря 1944 г.

Пугачеву довелось услышать кое-что из беседы заговорщиков, но он не падал духом, у него еще теплилась надежда на Дон.

На клочке бумаги, в рабочем порядке, писатель отметил к плану очередных (пятой и шестой) глав:

«Емельян Иваныч был теперь в полном напряжении. Он прекрасно понимал, к чему подходит дело. Ему во что бы то ни стало надо расположить к себе донцов. Обласкать их надо, угостить, да и в мысли вложить доброе понятие о народном деле, а уж они славу разнесут»¹. «Ведь не к кому-нибудь, а к Донскому войску иду. Даст подмогу — выдюжим, а ежели и не выдюжим, то побарахтаемся, не даст подмоги — на дно идем».

Как известно, донское казачество, несмотря на смуту в страницах и старания Пугачева поднять земляков (его письма и «указы» Донскому войску), не поддержало восстания. А те донцы, кои примкнули к Пугачеву, вскоре бежали от него, заклепав тайно пушки; не помогли ни увещания, ни подарки и награды в виде серебряных и вызолоченных медалей.

Почва уходила из-под ног «третьего императора», в стане его бойцов разливалось уныние, безоружная крестьянская «чернь» была теперь грузом на ногах пугачевцев, и продолжался распад внутри «толпы», креп заговор среди атаманов, день за днем терявших веру в успех восстания.

4

Последний раз Пугачев дан крупным планом в шестой главе (ч. 2.) третьей книги романа: встреча Емельяна Ивановича в середине августа 1774 года с посланцем приволжского городка, стариком Василием Захаровым.

Пройдет всего лишь месяц со дня этой встречи, и, преданный атаманами-заговорщиками, «мужицкий царь» окажется в руках врагов. О ходе событий за последние тридцать дней мы узнаем бегло по главам, связанным с приключениями «прохиндея» — ржевского купца Долгополова, принявшего на себя, корыстной цели ради, участие в поимке «злодея». Прямого показа

¹ Речь шла о группе донских казаков, перебежавших к Пугачеву перед Саратовом.

Пугачева в последние вольные дни его жизни, как равно истории предательства и дальнейших событий, закончившихся 10 января 1775 года казнью народного вождя, читатель не найдет на страницах произведения. Еще раз видим мы Емельяна Ивановича на пути к Царицыну, но уже издалека, по впечатлениям участника «комиссии» капитана Галахова (глава 7, ч. 2 третьей книги).

Обращаясь к замыслу писателя, запечатленному в его плане к заключительной части романа, а также основываясь на отдельных высказываниях Вячеслава Яковлевича в беседах его незадолго перед кончиной с близкими людьми, мы можем предложить вниманию читателя краткое изложение событий, оставшихся неосвещенными в эпилоге, с необходимой экспликацией по рабочим материалам автора.

Двадцать первого августа, утром, на высотах, окружающих Царицын, появилось до шести тысяч пугачевцев. Будучи осведомлен о «шатании духа» среди защищавших город донских казаков, Пугачев направил к ним своего посла, и вскоре у городского вала съехались обе стороны: пугачевцы и казаки. Среди первых, числом до сорока, находился и сам Емельян Иванович, величавший себя фельдмаршалом царя. Донцам при переговорах он дал слово выпросить перед «государем» прощение для них. На это казаки согласились служить Петру Третьему и обещали стоять в стороне от города, не стреляя по царскому войску. Был тут среди пугачевцев также и будущий предатель Иван Творогов, который, согласно показаниям Осипа Баннова, расцеловался, здороваясь, с одним из донских казаков, и оба повели речь о «пересечении драки»¹. К концу же переговоров один из донцов, узнав самозванца, закричал: «Емельян Иванович, здорово!»

По плану очередной главы автор отмечает, что донской казак, опознавший Пугачева, был Ванька Семибратов, с которым Емельян Иванович, по возвращении из Польши на Дон, ездил в Царицын за холстом и дегтем². А в заметках писателя к моменту, когда Семибратов узнал своего земляка, имеется запись: «Ишь ты, из острога да прямо до царского порога... Харош

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 227. Однако сам Творогов на допросе в секретной комиссии показал, что он «при сей переговорке» у Царицына будто бы не был (стр. 152, 167).

² «Емельян Пугачев», книга первая, изд. 2-е.

парень!» — кричали донские казаки, от которых отворачивался Пугачев».

Этот случай «привел нас, — показывал Творогов на одном из допросов, — в такое замешательство, что руки у всех опустились...» К этому Петр Пустобаев при допросе добавил: «Сие услышав, он, Пустобаев, перестал почитать самозванца за государя и, отъехав от него далее, казаку Чумакову сказал: «Слышал ли ты, как государя-то нашего называют? Видно-де, он в самом деле злодей». На что Чумаков будто бы откликнулся: «Ты молчи об этом... А придет время, — так он от наших рук не отойдет!»¹

Говоря о «замешательстве» при случае с опознанием Пугачева донским казаком, Творогов, по убеждению писателя, явно выгораживал себя на допросе, так как самозванство Емельяна было ему не в новость (см. 6 главу, ч. 2 третьей книги «Емельяна Пугачева»).

В действительности замешательство среди пугачевцев у стен Царицына произошло потому, что «из тыла» подоспела весть о быстром приближении корпуса Михельсона. Когда Пугачев открыл пальбу по городу, «с задних его толпы разездов уведомили его», что воинская команда врага «на виду». К этому в своем показании Пугачев добавляет, что при известии о близком враге «он оробел», так как надежных людей, то есть яицких казаков, у него осталось мало, а на прочих многих, в том числе и на перебежчиков-донцов, полагаться нельзя было. Так вскоре и сбилось: донские казаки в последующие две ночи покинули Пугачева, а все прочие в «толпе», не выдержав натиска Михельсона, рассеялись кто куда по степи².

Возвращаясь к факту опознания Пугачева донскими казаками, необходимо сказать, что об этом случае имеется запись в показаниях ряда пугачевцев. Рассказывал об этом на допросе и сам Емельян Иванович:

«Когда ж донские казаки пришли в его толпу, то многие тут были и знакомые ему и, его узнавши, между собою шептали: «Это наш Пугачев», — но, однако ж, ни один из них в глаза называть его не смел»³.

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 153, 227.

² «Восстание Емельяна Пугачева», сборник документов, Огиз, 1935, стр. 175.

³ Там же, стр. 176.

Не трудно представить себе душевное состояние Пугачева, опознанного земляками, но вынужденного продолжать игру в царя. Азартный игрок «на кону судьбы своей», он не раз, еще до Царицына, внутренне противился тяготившей его роли самозванца. Писатель, как мы знаем, не однажды возвращался (во второй и третьей книгах своего произведения) к эпизодам «смотрин царя» и «открытия» себя Емельяном Ивановичем людям (сцены с пушкарем Носовым, с офицером Горбатовым, со стариком Захаровым). И в каждом новом эпизоде все острее подымалось у Пугачева чувство горькой обиды на людей ввиду упрямого их желания видеть в нем «третьего императора».

«— Нет, дедушка, не царь я... — говорил он посланцу народа, старику Захарову, неподалеку от Саратова. — Простой человек, казак я простой».

И далее, с жаркой обидою в голосе:

«— Нет Пугачева на белом свете, а есть, вишь, Петр Федорыч, царь... А не Пугачев ли все дело ведет, не Пугачев ли все народу дал: вольность, землю, реки с рыбами, леса, травы, все, все...»

И тогда же, слыша ропот в кружке атаманов, он объявил им:

«— Восчувствовал я в себе мочь и силу объявиться народу своим именем».

Наутро встречал Пугачев народ в городе, у церкви, и здесь-то «казак простой» готовился объявить себя. Но... голоса Творогова, Федульева на ухо: «Ты, ваше величество, брось-ка, брось, что затеял...»

Царь взглянул в сурово-загадочные лица приближенных... смутился, погас. И повелено им было: поминать на ектениях по-прежнему Петра Федорыча Третьего, самодержца всероссийского».

Писатель не располагал достаточными данными, подтверждающими возможность подобной сцены, но задача подлинного художника-мыслителя в том прежде всего и заключается, чтоб не на основе лишь голых исторических фактов, а в результате их творческого обобщения, проникновения в самую типическую сущность обстановки и явлений дать читателю почувствовать и осознать правду историческую.

Всякий, кто заинтересуется историей того, как сложилось и развивалось самозванство Пугачева, сыщет немало данных, подтверждающих, что принятая на себя Пугачевым роль была одним из ярких выражений исторической необходимости и

подготавливалась самой политической действительностью того времени. Можно считать вполне установленным, что на Яике «приняли» донского казака царем не только первые его атаманы, но и более широкий круг казаков, рассуждавших в духе Зарубина-Чики: «...Хоша ты и донской казак, только мы уже за государя тебя приняли, так тому-де и быть»¹.

Даже среди тех, кои «прилепились» к Пугачеву значительно позже, встречались люди, которые если не вполне были уверены в его самозванстве, то, во всяком случае, сильно подозревали это и не только мирились с фактом, а всячески укрепляли легенду в сознании широких народных масс.

Если такой случайный свидетель пугачевского движения, как захудалый ржевский купец Долгополов, при первой же встрече с Пугачевым разобрался в том кто этот «царь», то тем более не могли заблуждаться относительно самозванства Емельяна Ивановича такие бывалые люди, как Падуров, Дубровский, Перфильев.

Необходимо вслед за автором романа отметить, что почти все без исключения участники пугачевского движения стремились если не оправдаться на сыскных допросах, то смягчить свою вину именно ссылкой на то, что они-де добросовестно заблуждались, принимая беглого казака за императора. Этим скрытым мотивом В. Я. Шишков объяснял и все назойливые утверждения арестованных атаманов, будто они воистину верили, что служат Петру Третьему. Не лишено доли истины и то соображение, что следователи и военачальники Екатерины скорее склонны были снисходить к стихийным «заблуждениям» мятежников, чем мириться с жестокою возможностью организованного мятежа под кличем о земле и воле.

Итак, чем ближе был Пугачев к своему концу, тем, по мнению писателя, менее заботился он о царском своем имени. И там, перед Царицыном и особенно за Царицыном, ему уже было не до того, чтобы хранить втайне подлинное свое имя. Напротив! Пугачев делал все, чтобы дать понять окружающим, что спасение не в продолжении обмана, а в том, чтоб убедить народ, что судьба его в его собственных руках.

Со всех сторон к Царицыну стягивались правительственные войска, пугачевцы стремительно уходили от них. Через двое суток Пугачев был в Сарепте. Здесь произошла церемония на-

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 131.

град «царем-батюшкой» высокими чинами Овчинникова, Перфильева, Дубровского, Творогова и других. Цель наград — подбодрить своих приближенных. Но ничто уже не могло восстановить среди них равновесия духа, и это видел и понимал прежде всего сам Емельян Иванович.

Надежды на Дон рухнули, от казаков родной земли «подмоги» не будет, а коли так, не миновать «идти ко дну». Опереться не на кого. «Чернь», следовавшая за Пугачевым, не представляла собою сколько-нибудь стойкой силы, и не было в рядах «царя-батюшки» таких надежных бойцов, каким зарекомендовали себя «работные люди». Совсем недавно Михельсон разбил плывущие на подмогу пугачевцам суда с повстанцами, главным образом рабочими. «Среди атаманов-пугачевцев, — значит в «Плане» В. Я. Шишкова, — все больше и больше растеклось уныние». Пошатнулись силы и Пугачева. Теперь все чаще охватывала его тоска-кручина.

5

К этим черным дням Пугачева относится ряд заметок В. Я. Шишкова на отдельных листках, собранных после смерти писателя.

Вот эти заметки:

«У Пугачева иногда уходила почва из-под ног. Тогда он казался себе одиноким и слабым».

«Пугачев увидел подмытое дерево, едва державшееся корнями за берег и опрокинувшееся вершиной в реку. Ливень — и дерево кувыркнется. Пугачев увидел в нем — свою судьбу и призадумался».

«Пугачев в конце деятельности: его уже, как обрубок дерева, как щепку, крутило в омуте, выбрасывало и несло волной по течению, уже он не мог, да и не имел сил сопротивляться».

И далее:

«Пугачев и его армия — это пастух и стадо. Стадо — самовольно, тогда и пастух обращается в ничто, слабого, с кнутом, человечка (развить это)».

«Разговоры (откровенные) атаманов с Пугачевым:

Пугачев: Один другому говорит: я его мешищем-то бух да бух, а он меня безменчиком-то тюк да тюк. Ну, как думаете,

кто кого? Горз наше, атаманы, что у нас в руках не безмен, а огромный мешок, набитый сеной трухой»¹.

Однако часы уныния и подавленности сменялись у Пугачева, при всей безвыходности обстановки, подъемом чувств и мысли.

«Слова Пугачева: Ништо, други, — под конец деятельности говорил он. — От нашей войнишки по всей земле гулы идут: мертвые слышат, живые на ус мотают. Мы загинем, другие прочие, внуки-правнуки наши, за правое дело встанут. А волюшка будет на земле. Помяните мое слово — будет!»

И еще:

«Напоследок часто Пугачеву говорили: «Бросай игру!» — но азарт, как взбесившийся крылатый конь, все нес и нес седока чрез счастье, чрез несчастье, к последней ставке, в смерть».

В тех же «памятках» писателя к последним дням Емельяна Ивановича находим следующие заметки:

«Великолепный трагический эпизод с отрядом Михельсона: 14 сентября снег, 15 — дождь с весьма холодным ветром. В его «малой передовой части» за одну ночь пало до 70 лошадей, «от стужи померзло более 40 человек»; из них семеро тогда же и умерло, а прочих, изрубя повозки (степь) на огни, с трудом могли отогреть».

«Пугачев говорит с коня народу. Парень, разинув рот, с восторгом вслушивался в речь царя и думал: «Умный». Затем стал рассматривать коня его. Белый конь прыдал ушами, косился черными глазами на царя и, как бы понимая слова его, кивал согласно головой. А когда вниманье парня ослабевало, конь сердито всхрапывал и бил передней ногой землю. «И конь умный», — думал парень».

«—Повелевать-то каждый может, а ты умей повиноваться»².

* * *

В первой книге романа, в главе 13-й второй части, рассказывается о приключениях Пугачева с дружкой его, донским казаком Ванькою Семибратовым, в районе Камы; из-за нехватки

¹ Речь идет о безоружной и недисциплинированной «толпе» Пугачева.

² Разумеется «повиновение» злой необходимости, как душевная стойкость в беде. Так должен был рассуждать Пугачев после поражения.

в деньгах Емельян Иванович продал свою лошадь, по прозвищу Ласточка, «рыбьему человеку» — Карпу Карасю (приписному заводскому крестьянину, впоследствии пугачевцу). Во время марша Пугачева-«царя» с армией через село Котловку Емельян Иванович находит своего коня, получает его в дар от «рыбьего человека» и с тех пор не расстается с Ласточкой.

Сцена тяжелого раздумья Емельяна Ивановича подле своего друга-коня (после поражения под Царицыном) была написана, по свидетельству К. М. Шишковой, еще в 1940 году, но рукопись погибла.

Подходя к заключительной части своего произведения, В. Я. Шишков восстановил по памяти сцену, весьма характерную для душевного состояния Пугачева перед полной катастрофой.

В конце сцены с конем имеется приписка:

«Значит: 1) Одиночество, не с кем вести большое дело, хорошие люди погибли. Он чувствует, что окружен врагами, что атаманам не до народа, атаманы будут спасать свои шкуры, бросят его, предадут. И 2) Боязнь ответственности перед народом за начатое и незавершенное дело: народ проклянет его...»

Настигаемый Михельсоном, Пугачев вынужден был в пути оставить старого полуслепého коня, расстаться со своей Ласточкой. Но и дальше Емельян Иванович нет-нет да и потянется мыслями к «верному другу». — Заметка:

«— Эх, будь что будет, — всею грудью вздохнул Пугачев. — А Катькины-то солдаты напирают на нас со всех сторон. — Он вспомнил слепую свою Ласточку и еще раз вздохнул».

Уж стонала степь под лавиною приближающихся полков Михельсона. Неумолимая рука истории готова была перевернуть последнюю страницу в книге грозных деяний Емельяна Ивановича Пугачева.

6

В сжатой описи событий к плану произведения, озаглавленной «Краткая хроника пугачевского движения», значитсЯ:

«24 августа (1774. — *Вл. Б.*). Окончательное поражение Пугачева под Сальниковой Ватагой (в 100 верстах от Царицына) и бегство его за Волгу. Пугачев потерял 2000 человек убитыми и до 6000 пленными, в числе их две малолетних дочери его —

Аграфена и Христина. Убит главный войсковой атаман Андрей Овчинников¹.

В начале боя пугачевцы отстреливались из пушек, но налетела кавалерия и посекала людей у пушек, а за кавалерией подоспела пехота. Люди Пугачева дрогнули, началось паническое бегство. Пугачев старался остановить бегущих: «Стой, стой», — но все его усилия были напрасны».

Писатель не без основания полагал, что известную роль в разгроме многотысячной «толпы» Пугачева сыграли атаманы-предатели, с их намеренною безучастностью к ходу сражения. Достаточно сказать, что, как видно из показаний Ивана Творогова, этот пожалованный за день перед боем в чин «генерал-поручика» командир, вместо активного руководства боевыми операциями, неотступно следовал за Пугачевым, чтобы не упускать его из глаз. «...Как мы с Чумаковым с вечера еще предчувствовали (!), — показывал впоследствии Творогов, — что толпа наша неминуемо разогнана будет, то в таком случае условились с ним не упускать злодея из глаз, чего ради с самого начала сражения и были при нем безотлучны, не отступая, так сказать, ни на шаг, а потому(!) и бежали с ним вместе»². Нечему удивляться, что артиллерия, находившаяся под командою Чумакова, была с первого же налета врага выведена из строя.

С уцелевшими людьми Пугачев перебрался на отнятых у рыбаков ладьях к острову, а с острова вплавь на конях — на луговой берег Волги.

Так «третий император» остался без армии и пушек, лишившись к тому же последних своих друзей: помимо пропавшего без вести Овчинникова, не смогли из-за крайней усталости коней переправиться с острова в степь Перфильев и Трофимов-Дубровский.

С Пугачевым спаслись Творогов, Чумаков, Федульев, Железнов и Бурнов, а при них 160 яицких казаков да «разночинцев». Была ночь, когда, отойдя от берега в глубь степи, беглецы

¹ В «Плане» к роману отмечено: «Бой Пугачева с Михельсоном у Сальникова завода. Пугачев разбит, 24 пушки отняты. Овчинников пропал без вести, 2000 убитыми, 6000 пленными, среди них две дочери Пугачева и 14 дворянок; пленных Пугачева».

² «Пугачевщина», т. 2, стр. 153—154.

расположились на ночлег. Тут же, улучив минуту, Творогов с Чумаковым занялись обсуждением, как и где предать своего вождя. Дело шло о спасении собственных голов, обреченных плахе. Было условлено, как показывал на допросе Творогов, открыться надежным хорунжим Ивану Федульеву, Тимофею Железнову, Дмитрию Арыкову, Ивану Бурнову¹.

Эти люди, «как только им о сем открыли», с планом Творогова — Чумакова согласились и «дали слово уговорить к тому каждый своего приятеля».

По-видимому, «приятели» не заставили долго себя убеждать. Выдача Пугачева властям сулила не только избавление от лютой казни, а к тому же и прямые выгоды: кроме денежной награды в десять тысяч рублей, предатели могли рассчитывать на освобождение от государственных податей и от рекрутчины.

Невозможно допустить, что после всего бывшего под Царицыном и у Сальникова завода Пугачев не примечал в поведении спутников ничего подозрительного. Тем не менее он, как явствует из показаний его в тайной экспедиции, не переставал следить за порядком в пути. Так, при поездке на Узени к старцам-скрытникам, на вопрос Творогова, почему «царь-батюшка» взял для себя коня «не из лучших», Емельян Иванович ответил: «Я берегу хорошую-то лошадь вперед для себя и для вас».

Приберегая исправных коней на всякий худой случай, Пугачев не терял надежды на спасение себя и своих атаманов. И это, невзирая на подозрительное поведение последних. Ведь не раз и в прошлом атаманы «падали духом», и он, Пугачев, выручал их и себя. Не следует упускать здесь из виду и те черты в духовном облике Пугачева, которые не раз подчеркивались В. Я. Шишковым: большую терпимость к людским слабостям и грехам, в которых Емельян Иванович считал повинным также и себя.

Судьба Пугачева была связана с судьбою всего восстания. Он не мог теперь ни на что рассчитывать, кроме как на собственные силы. И он продолжал верить, что еще не до конца «обремизился». К тому же жизнелюбие выдавшего виды человека было неистощимо в нем. А потому: не вешай, Емельян, головы, пока ты еще не у плахи! Меж тем плаху готовили ему уже не только слуги царицы, но и его вчерашние соратники. «Развенчанный» в ходе событий, он оказался в окружении,

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 154.

большое кольцо которого — войска Михельсона¹, малое — атаманы-предатели с приятелями».

«Заговор, — значитя в «Плане» писателя к последней части романа. — Душа заговора — Творогов (он и за Стешу зол на «батюшку»). Скитание по степи, к Элтонскому озеру. Выпал снег ранний. Голод. У старцев-скрытников на Узени. Отметить; пятеро клятву приносили, коих нет в живых², и пятеро предателей. Заговор пятерых — Творогова, Чумакова, Федульева, Железнова, Бурнова. Арест Пугачева — смотри показания Творогова: «Пугачевщина», т. 2, стр. 156—159».

Главу о предательстве писатель предполагал начать, как видно из его заметок, в духе сделанной им из «Пугачевщины» (т. 2, стр. 407) выписки:

«Пока военное командование напрягало все силы к поимке «главного злодея», думая достигнуть этого военною рукой, яички казаки, прошедшие с Пугачевым весь победоносный путь от Яика, на Яик же и вернулись ровно через год и передали власти своего вождя».

Касаясь сцены расправы предателей с Пугачевым, писатель упоминает, как мы видели выше, показания Ивана Творогова, но тут же подчеркивает, что Творогов, происходящий из зажиточных казаков, атаман — «душа заговора и за Стешу (жену свою) зол на «батюшку». Естественно, что, рисуя поведение Пугачева в решающий для того час, писатель не мог безоговорочно принять рассказ Творогова, наделившего своего врага чертами труса. «...Переменя свои угрозы (Пугачев. — *Вл. Б.*), — показывал, между прочим, Творогов, — стал плакать и божиться, что не уйдет уже более...» и т. д.

Не все правдиво у этого пугачевца и в показаниях относительно поведения окружающих казаков.

Уже при беглом сопоставлении показаний Творогова с показаниями самого Пугачева, а также Фофанова и Кожевникова видно, как много не договаривает, а порою и явно наговаривает илецкий казак Иван Творогов, величаемый в протоколе допроса «любимцем злодея».

¹ Михельсон доносил 19 сентября Панину: «Пугачев бежал к Яику не больше как в тридцать человек, а войск, преследующих его, собралось до полутора тысяч на добрых конях».

² Пятеро первых атаманов: Шигаев, Зарубин-Чика, Мясников, Караваев, Максим Горшков (*Вл. Б.*).

Так, например, в рассказе Творогова о случае с пистолетом и саблею, за которые ухватился разгневанный Пугачев, имеется следующее:

«В сем месте (на привале по пути к Яику) после усыла казака Калмыкова и др. на форпост с извещением об аресте Пугачева злодей, увидя оплошность малолетка, по прозвищу Харьки, положившего возле себя на землю шашку и пистолет, схватил оные и, обнажа саблю, бежал прямо на нас, то есть на Чумакова, Федульева, Железнова, Бурнова и меня, сидевших в то время в одной куче, на траве, и кричал сии слова: «Вяжите, про так их мать, старшин-та, вяжите!»

Далее передается, что в разгар схватки Иван Бурнов нанес Пугачеву удар тупым концом копья, после чего «злодея» удалось обезоружить.

Затем:

«Злодея спрашивали мы тут, сам ли он собою сие сделал, или другой кто присоветовал, на что он сказал, что присоветовал ему казак Михайла Маденов, надеясь, что казаки вступятся. Казаки, услышав сие, рассердились на Маденова и прибили его немилосердно, так что едва дышащего на сем месте оставили и никто не знает, жив ли он или умер»¹.

Таким образом, если верить Творогову, Пугачев в одиночку кинулся с саблей на пятерых и, потерпев неудачу, выдал с головою своего «советчика», казака Маденова.

А вот что показывал на допросе о том же событии сам Пугачев:

«Ночевав на том месте, не дождавшись возвращения Калмыкова, пошли до реки Яика и, отошед несколько верст, остановились кормить лошадей. И как остановились, то пришли к нему (Федульеву. — *Вл. Б.*) казаки и говорили: «Куда нас ведете? Нас всех в Яике погубят, а заведомо б вести его, Емельку, в Москву и там явиться, или уж станем скитаться на Узеньях». И он, Емелька, видя этот шум, выскоча, схватил из лежащих близ его в куче казацких сабель, закричал, подошед к Федульеву: «Куда вы меня везете? Ваши казаки на Яик идти не хотят...» и т. д.

Но так как другие казаки, пришедшие с Федульевым, закричали на тех, «кои противились идти на Яик: «Что вы это

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 160—161.

делаете? Еще мало мы бед-та наделали?» — то оные казаки и разошлись врозь. А он, Емелька, видя, что те казаки от него отошли, взятую им саблю бросил»¹.

Становится очевидным, что, схватившись за оружие, Пугачев действовал не на авось и не в одиночку, а учитывая настроения части казаков, предпочитавших «скитаться» на Узенях, чем сдаваться в Яике на милость врагов.

Более того: из сцены с саблей видно, как далеко не гладко и не просто протекало дело с предательством. Среди казаков происходила борьба, и были открытые сторонники у Пугачева. К таким, оставшимся ему верными, можно с полным основанием отнести Михайлу Маденова, Алексея Фофанова, Василия Кононова, Сидора Кожевникова (последние двое были разоружены заговорщиками), а также тех, которые, будучи посланы на форпост, в лагерь изменников не возвратились: Калмыков, Жигалин, Хохлов.

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что, находясь в плену у шайки изменников, Пугачев доставил им немало хлопот. Выжидая случая, чтобы явиться с повинной к властям, атаманы-предатели на всем пути к Яику должны были оставаться начеку перед лицом все еще грозного «батюшки» и в виду нараставших разногласий в среде казаков. Отделавшись в начале скитаний от заведомо ненадежной группы разночинцев (у разночинцев отняты были кони), Творогов и компания кое-кого среди казаков застрашивали, других оболщали посулами всяческих благ, третьих по тем или иным поводам обезоруживали. Были случаи и открытого натравливания казацкой массы на подозрительных (история с казаком Маденовым).

Все это не мог не видеть и не понимать Пугачев. Как следует из показаний того же Творогова и особенно казака Фофанова, Емельян Иванович не переставал вразумлять спутников из рядовых казаков, дабы опереться на них в смертельной борьбе с заговорщиками. В моменты обострения этой борьбы он был грозен и страшен.

«Черный огонь бежал по его жилам, — читаем мы в одной из заметок писателя. — Он в ту минуту был грозен, страшен и опасен».

¹ «Восстание Емельяна Пугачева», стр. 178—179.

Он был страшен не только держа в руках оружие, но и превосходством своих духовных сил. За ним была правда, выпавшая из рук изменников.

«Слова Пугачева атаманам, — отмечает в своих набросках писатель: — Вы за малым шли, у вас на уме было пограбить да пожить сладко, ну, так и делайте, как хотите. А я готов на своей правде умереть».

И в другом месте, перед тем как был взят Пугачев:

«Вы за малым шли... А я готов на своей правде умереть».

Но вот «мужицкого царя», обезоруженного, вяжут. Впереди других предателей — Творогов. Емельян Иванович к нему:

«— Ты что, ехидна, так озлился на меня?»

И вслед:

«— Ладно, ваш верх... А моя покрывка! — сказал Пугачев, когда ему связали назад руки».

Так, этими словами Пугачева отмечает писатель превосходство народного вожака перед его врагами, неугасимую веру его в свое особое назначение.

В ночь с 14 на 15 сентября 1774 года Пугачев был доставлен в Яицкий городок и сдан капитану Маврину. Сюда же доставлена жена Пугачева Софья с сыном Трофимом, а несколько позже — изловленные в степи Афанасий Перфильев, Петр Пустобаев и при них группа казаков и работных людей.

«Чрез два дня, семнадцатого сентября, — отмечает писатель в своем «Плане», — Пугачев спрашивает — кое число седня? — Семнадцатое! — Имениница сегодня Софьюшка моя. — Ровно год».

Ровно год назад Пугачев встал на Яике во главе восставших казаков, и теперь вот он снова в Яицком городке, но уже как побежденный вождь побежденного народа.

Начав с мысли о побеге на Кубань и в Турцию, восставшие включились затем в общенародную борьбу против крепостников и после разгрома на Волге вернулись к мысли о бегстве из царства неволи. Еще бродя в степи, незадолго перед тем как его предали, Пугачев вновь, как год назад, предлагал атаманам бежать с ним за Каспийское море. Но предлагал он это не с тем, чтобы покориться судьбе, а с тем, чтобы передохнуть вдаль и с новыми силами двинуться в Россию на выручку «замордованного народа». Поистине неукротим был «мужицкий

царь», и даже на пороге казни, под пытками, не терял он ни светлой мысли, ни жажды жизни. Так именно понимал и толковал его в своем произведении, от первой до последней страницы, В. Я. Шишков.

7

В Яицком городке Пугачева держали три дня — с 15 по 18 сентября.

В «Плане» писателя и в его «Хронике пугачевского движения» имеются заметки:

«16 сентября. Первый допрос Пугачева и его жены Софьи в Яицком городке».

«Приезд Суворова и Голицына. Потемкин требует Пугачева к себе, в Казань, Панин — к себе, в Симбирск».

Как известно, Суворов доставил Пугачева в Симбирск, куда прибыл и Потемкин.

Закованный по рукам и ногам, окруженный штыками, Пугачев держал себя при учиненном ему в Яицком городке допросе героически. «Описать того невозможно, — сообщал капитан Маврин Потемкину, — сколь злодей бодрого духа».

Одну из заключительных глав романа писатель предполагал посвятить встрече плененного, но непокоренного Пугачева с знаменитым полководцем Суворовым: сцена, величавый смысл которой писатель видел в своеобразном, более сочувственном, нежели осуждающем отношении свободолюбивого полководца к мужицкому вождю. Характер этой сцены-встречи определяется на страницах, посвященных во второй части третьей книги «Емельяна Пугачева» ночному отдыху Суворова за Ахтубой, где генерал-поручик, размышляя о самозванце, величает его «мужицом» и тут же напоминает себе, что он, Суворов, «тоже мужик, тоже солдат, тоже русак из русаков».

О встрече Емельяна Ивановича с князем Голицыным, прибывшим в Яицкий городок 17 сентября, в бумагах В. Я. Шишкова («К характеристике Пугачева») имеются следующие записи:

«Князь Голицын в орденах вошел из любопытства в избу, где содержался Пугачев под присмотром Руничча, четырех приставов-офицеров, двух гренадеров гвардии Преображенского полка и двух яицких казаков.

— Емельян, знаешь ли ты меня?

— А кто ваша милость?

— Я — Голицын.

— Не вы ли князь Петр Михайлович?

— Я.

— Ваше сиятельство прямо храбрый генерал — вы первый сломили мне рог».

Необходимо отметить, что в этом диалоге нет и тени заискивания подневольного Пугачева перед князем. Здесь — только признание Емельяном Ивановичем отличной воинской «ухватки» командующего войсками под Татищевой и Самарой. Пугачев, при всей своей ненависти к генералам «Катки» (так иногда величал он Екатерину Вторую) и явном презрении к неудачникам и трусам среди них (Кар, Рейнсдорп, Брандт), отдавал должное воинскому умению, например, «лихого вояки» Ивана Ивановича Михельсона. Суворова Пугачев боготворил, и в этом сказалось у него истинное, в крови, чувство патриота: он гордился воинским даром одних (хотя бы это и отражалось пагубно на судьбе его «толпы») и презирал других, особенно не терпел он распушенности среди солдат. В этом отношении характерен ответ Пугачева при допросе: на вопрос, «за что он перевешал столько офицеров 2-го гренадерского полка полковника Чернышева», — Пугачев ответил: «За то, что они шли против неприятеля, как овцы, и не соблюдали военной дисциплины».

Эта выписка В. Я. Шишкова из показаний Пугачева подчеркивает заостренное внимание писателя к любопытнейшему и характерному моменту в понимании Емельяном Ивановичем воинского долга.

Ко времени пребывания Суворова и Пугачева в Яицком городке относится и набросанная писателем сцена, в которой Даша Симонова, приемная дочь коменданта Симонова, пыталась снабдить пленного Пугачева кое-чем из пищи.

Выступая из Яицкого городка 18 сентября, «точно в 10 часов пополуночи, степью к Сызрани», Суворов рапортовал Панину, что он должен был, ввиду запоздания Меллина, «препоручить его комиссию прославившемуся верностью яицкому старшине майору Бородину»¹.

Конвоировали Пугачева с семьей, по одним сведениям, две роты, по другим — два батальона пехоты, при двух орудиях

¹ «Пугачевщина», т. 2, стр. 408.

и двух сотнях казаков. Ночью дорога освещалась факелами, впереди шла конная разведка.

Если огромный конвой во главе с Суворовым должен был возбуждать у Емельяна Ивановича, по мысли писателя, азартное состояние духа, близкое к чувству некоей гордости, то присутствие в конвое заклятого врага яицкого казачества, принимавшего к тому же участие в последнем преследовании пугачевцев, старшины Мартемьяна Бородина ничего, кроме бессильного гнева и страдания, не могло доставлять Пугачеву («Черный огонь бежал по его жилам»).

«1 октября 1774 г., — указывается в «Хронике» писателя, — Суворов привез Пугачева в Симбирск».

«3 и 5 октября — допрос Пугачева Паниным и Потемкиным в Симбирске».

«1 октября, — значит в «Плане» к роману, — Суворов доставил Пугачева с женой его и Трофимом (сыном. — *Вл. Б.*) в Симбирск. 2 октября приехал Панин. Пугачев и Панин в Симбирске. Пугачев выведен на площадь пред народом. Встреча военачальников: Потемкина, Суворова, Михельсона с Паниным, Лицеzerение Пугачева приезжими».

В Симбирске Пугачев оставался с 1 по 25 октября. В течение четырех дней, с 3 по 6 октября, длился допрос «злодею» в присутствии П. Панина и П. Потемкина.

Один из допросов производился публично, на площади, куда по приказу Панина Пугачев был выведен «для лицеzerения народа», то есть съехавшихся из окрестностей дворян, чиновников и купцов.

Здесь, на площади, по замыслу писателя, и произошел разговор между «мужицким царем» и графом Паниным, закончившийся тою самою «громкою, на всю Россию, пощечиной», которой сатрап Екатерины «отблагодарил» донского казака за свое, семнадцать лет назад, спасение на Эггерсдорфском поле в Семилетнюю войну («Емельян Пугачев», книга первая).

К этой сцене между графом и Пугачевым имеются в заметках писателя следующие строки:

«— Не ты меня будешь судить, а народ меня судить будет. К чему бы ты ни присудил меня, народ меня оправдает, — сказал Пугачев Панину. — Народ и меня и тебя рассудит по своему».

В своей «Истории Пугачева» Пушкин, касаясь столк-

новения между Пугачевым и Паниным, приводит следующий диалог.

«— Кто ты таков? — спросил он (Панин, — *Вл. Б.*) у самозванца.

— *Емельян Иванов Пугачев*, — ответил тот.

— Как же смел ты, вор, называться государем? — продолжал Панин.

— *Я не ворон* (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), *я вороненок, а ворон-то еще летает*¹.

«Здесь, — писал Панин кн. Волконскому, — Пугачев держался смело, но, отведав от моей раскалившейся крови несколько моих пощечин, из своего гордого вида тотчас низвергся в порабощение»².

Пропусту говоря, сиятельный граф избил Пугачева. Поверженный, закованный в кандалы, донской казак оказался «низвергнутым в порабощение», а Панин — бесстрашным «победителем».

Тогда же, по распоряжению «победителя», с Пугачева были нарисованы портреты, один из которых был сожжен в Симбирске, в присутствии «серого народа», другой — в Казани, в присутствии Устины Кузнецовой, второй жены Пугачева, понужденной к громогласному «объявлению», что «сей мерзкий облик» и есть Емелька Пугачев, вор и душегубец.

Путь Пугачева от Симбирска к Москве обставлялся «бесстрашным» Паниным такими предосторожностями, словно по московской дороге шла целая неприятельская армия. «К провозу его требуется теперь обезопасить московскую дорогу», — писал граф Панин, отдав одновременно приказ разместить воинские команды во всех крупных попутных селениях.

Утром 4 ноября Пугачева без особых осложнений доставили в Москву, где его поместили, приковав к стене, в специально оборудованном помещении на Монетном дворе, в Охотном ряду. Тотчас же весть об этом разнеслась по всему городу, и толпы

¹ А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в шести томах, Гослитиздат, 1950, т. 6, стр. 182. Это народное предание о вороне и вороненке использовано В. Я. Шишковым в беседе Пугачева с офицером Горбатовым (кн. 3): «Може, мы с тобой, — сказал Пугачев офицеру, — воронята желторотые, а ворон-то вещун еще по поднебесью порхает».

² «Москвитянин», 1814, № 2, стр. 482.

народа потекли к Монетному двору. Люди искали случая взглянуть на великого бунтовщика, страх перед которым потрясал дворянские усадьбы.

В записях к этим дням у В. Я. Шишкова имеется следующая памятка:

«Когда Пугачев сидел в Монетном дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить от него какое-нибудь слово, которое спешили потом развить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружили его, ожидая, что он заговорит. Пугачев сказал:

«Известно по преданиям, что Петр Первый, во время персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть его кости» («Современник», 1837, т. 8, стр. 229). — Обдумать подход к этому. Купцы, например, говорят: «Вот и Стенька Разин, может, так сидел, разбойничек». — «Он не разбойник! Кабы он был простой разбойник, император Петр Первый не стал бы его кости разыскивать».

Очевидно, все толки среди московского народа, как и заочный разговор купцов, были бы даны в романе у стен Монетного двора, так как Пугачева никому до самого дня казни не показывали.

В первый же день приезда Пугачева в Москву, 4 ноября, начался допрос его, длившийся около десяти дней. Допрос чинил вместе с главнокомандующим Москвы, князем Волконским, обер-секретарь сената Шешковский. Этот известный заплечных дел мастер, пользовавшийся особым доверием Екатерины, обычно сопровождал допросы мучительными пытками. Даже сильный телом Пугачев был доведен в руках Шешковского до припадков. Тем не менее в своих показаниях Пугачев не утерял ни чувства собственного достоинства, ни неугасимой тяги к жизни. На всех допросах он держался твердо и заявлял, что хотел бы умереть на сражении, так как «похвальной быть со славою убиту»¹.

О поведении Пугачева на следствии кн. Волконский писал императрице: «Однако ж при всем том он не всегда уныл, а случалось, что он и смеется».

¹ Я. Грот, Материалы для истории пугачевского движения, СПб. 1875, стр. 72.

Удивляясь жизнелюбию «злодея» и объясняя таковое по-своему, Екатерина писала:

«Этот честный негодяй, кажется, не обладает рассудком, так как надеется, что, быть может, будет помилован. Или уж человек не может жить без надежды и обошления»¹.

Начиная с 30 декабря, в течение двух дней, происходил суд под председательством генерал-прокурора кн. Вяземского в составе членов сената и синода, президентов всех Государственных коллегий и «особ первых трех классов» — высших чиновников и крупнейших помещиков.

Пугачев предстал перед судом только на второй день, с тем чтобы повторить вслед за допрашивающим, что он признает себя донским казаком Емельяном Пугачевым и раскаивается в содеянных преступлениях. На этом суд «скорый и правый» был окончен. Последовал приговор.

«За все учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву в силу прописанных божеских и гражданских законов учинить смертную казнь, а именно: четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и положить на колеса, а после на тех же местах сжечь»².

По тому же приговору Афанасия Перфильева «за его упорство и ожесточение в своих злодеяниях» также решено было четвертовать. Максим Шигаев, Тимофей Падуров, Василий Торнов присуждались к повешению.

Восемнадцать других пугачевцев приговорены были к наказанию кнутом, вырыванию ноздрей и отправке на каторгу.

Софью Пугачеву, ее троих детей и Устинью Кузнецову решено было заключить в Кексгольмскую крепость.

Пятеро предателей и их приспешники, всего девять человек, были «помилованы», и одни из них высланы в Рижскую губернию, другие, в том числе Иван Творогов, на север.

Тот же суд приговорил Ивана Зарубина-Чикку к смертной казни через отсечение головы, что подлежало привести в исполнение в Уфе, где «все его, Чики, богомерзкие дела произведены были».

Одним из первых объявив Пугачева «царем», длительно уговаривая донского казака взять на себя сей крест во имя скопления народа под бунтарскими знаменами, Зарубин-Чика остался верен себе и народу до конца.

¹ Из записей «на память» в блокноте В. Я. Шишкова.

² «Восстание Емельяна Пугачева», Огиз, 1935, стр. 192.

Под жестокими пытками он сохранил присутствие духа, был неразговорчив и продолжал «стоять на своем».

«Я никогда, — писал о нем Екатерине Потемкин, — не мог вообразить столь злого сотворения быть в природе. Через три дня, находясь в покаянной, нарочно мною сделанной, где в страшной темноте ничего не видать, кроме единого образа, перед которым горящая находится лампада, увещевал я его всеми образами убеждения и совести, но ничего истинного найти не мог»¹.

Наконец из показаний Чики, в которых много было лестного о пугачевцах и злого о дворянстве, составлен был «допрос» в желательном для допрашивающих духе и дан ему, Чике, «на согласие». Понятно, что допрашивающие не ограничились при этом увещанием «всеми образами убеждения и совести». О характере допросов говорит само вступление к акту допроса от (число не указано) сентября 1774 года:

«Сей допрос показателю яицкому казаку Зарубину, по прозванию Чике и названному от самозванца графом Чернышевым, был в присутствии читан, в чем он *по двенадцатикратном увещании утвердился*, но под наказанием...»²

Так же как и Пугачев, «граф Чернышев» склонен был к язвительной иронии в отношении к врагам, и он мог позволить себе издевку над ними даже на пороге смерти. Именно об этой черте в духовном складе Чики говорит следующий, отмеченный В. Я. Шишковым в блокноте разговор Чики с Потемкиным:

«— Знаешь ли ты, что Петр Федорович Третий помре в 1762 году?

— Нет, не знал, — отвечал Чика.

— Как не знал?! Значит, ты не знал и того, что после его смерти государыня Екатерина приняла престол?

— Не знал.

— Да ты дурак или умный?

— Умный, — сказал Чика»³.

8 января 1775 года последовал рескрипт Екатерины генерал-прокурору сената Вяземскому о приведении приговора над Пугачевым, Перфильевым и другими в исполнение.

¹ В «Плане» писателя значится: «Показать значительно раньше суда над Пугачевым разговор П. Потемкина с Чикой в Казани. Дерзость Чики».

² Н. Д у б р о в и н, Пугачев и его сообщники, т. 3, стр. 362,

³ «Пугачевщина», т. 2, стр. 128.

В «Плане» к предпоследней главе «Емельяна Пугачева В. Я. Шишков кратко отмечал:

«Казнь Пугачева и Перфильева. 10 января 1775 года, Палач, его молитва слезная пред казнию».

Помимо этих строк в рабочем портфеле писателя сохранилось несколько записей под рубрикой: «Мысли и замыслы. К народной трагедии».

Конец пугачевской эпопеи писатель рассматривал как «величайшую трагедию в многострадальном прошлом родного народа».

«Трагедия Пугачева, — неоднократно говорил писатель друзьям, — есть народная трагедия».

В этом смысле Шишков предполагал развернуть и две заключительных главы своего исторического повествования.

Казнь Пугачева и его сподвижников была совершена на Болоте. Площадь, где высился эшафот с пространным помостом и виселицами по сторонам, оцеплена была войсками. За этот живой частокол из солдат с ружьями наизготове пропускали лишь сановников и крупных дворян. Народ тучею стоял за войсковым каре и заполнял не только площадь, но и прилегающие к ней улицы.

«...Дворян и господ пропускали всех без остановки, и как их набралось тут превеликое множество, то, судя по тому, что Пугачев наиболее против их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем»¹, — писал очевидец казни Болотов.

Когда приготовления на эшафоте «к истинному торжеству дворян» были закончены, показались в сопровождении конных солдат сани с высоким помостом, на котором стояли Пугачев и Перфильев. Против них устроился священник с крестом в руке, рядом — чиновник Тайной канцелярии.

В руках Емельяна Ивановича, изможденного, бледного, заросшего пегим, в преждевременной седине, волосом, горели две толстых свечи. Воск оплывал и падал каплями к ногам его.

¹ «Жизнь и приключения Андрея Болотова», 1872, т. 3, стр. 488.

Глаза Пугачева были сухи. С плеч его свисал нагольный овчинный тулуп. Он кланялся народу то в одну, то в другую сторону. Из толпы устремлены были на него сотни пар глаз, вблизи слышался затаенный шепот, издали, подобно шуму прибоя на Волге, доносился гул. «Все смотрели на Пугачева пожирающими глазами, и тихий шепот и гул раздавался в народе», — свидетельствует в своих записках Болотов.

«Есть люди для себя живут, а есть человеки не для себя живут. Вот, мила-а-ай!..» — значит в блокноте В. Я. Шишкова с пометкою в скобках: «Когда везли Пугачева на казнь. Разговоры в народе». Сани приблизились к эшафоту, Пугачев и Перфильев взошли по лестнице на помост. На помосте — плахи с топорами и распростерты, ожидавшие своего конца пугачевцы. Едва Пугачев занял свое место, чиновник принялся за оглашение сенатского приговора. Чтение продолжалось около часа. Пугачев шевелил губами, как бы над чем-то своим раздумывая, порою крестился. Крестились и там, за частоколом солдат, в народе. «Были многие в народе, — пишет очевидец Болотов, — которые думали, что не воспоследует ли милостивого указа и ему (Пугачеву. — *Вл. Б.*) прощения, и бездельники того желали, а все добрые того опасались».

Желания «бездельников» не осуществились и не могли, разумеется, осуществиться, потому что вместе со всеми крепостниками «первая дворянка среди дворянства» жаждала крови того, кто в течение долгих месяцев держал помещичью Россию в трепете.

Чтение приговора закончилось. Наступила нерушимая, на всю площадь, тишина, и тогда послышался громкий голос Пугачева: «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою!» Он кланялся на все четыре стороны и повторял: «Прости, народ православный!»

У В. Я. Шишкова прощание Пугачева с народом могло быть закончено, как видно из записей писателя, словами:

«Прости, солнце, прости, месяц, прости, звезды, прости, матушка сыра-земля!»

Подручные палача кинулись на Пугачева, сорвали с него тулуп, и он сам, помогая палачам, сбросил с себя шелковый малиновый кафтан. Затем он взмахнул руками и припал к плахе. В руках палача блеснул топор. Из толпы стоном пронесся гул голосов. Раздался одинокий возглас:

«Сложил неуклонную головушку на плаху!»¹

Палач еще держал за волосы в высоко вскинутой руке голову Пугачева, когда стоявший вблизи чиновник, по свидетельству Болотова, бросился к нему, палачу, с криком:

«Ах сукин сын, что ты это сделал?.. Ну, скорее — руки и ноги!»

И вновь застучал топор, отделяя от туловища казненного руки и ноги. В ту же минуту на виселицах закачались тела повешенных.

Все было кончено.

Допуская возможность вмешательства Екатерины в работу палача (она заменила, во имя сохранения своего престижа перед Европой, лютую казнь «домашнего врага» через четвертование умерщвлением через отсечение головы), автор «Емельяна Пугачева» все же склонен был сосредоточить художественное выражение трагического конца на великодушии палача: мучительную процедуру четвертования палач самовольно заменил «единым взмахом топора».

По этому поводу в заметках писателя о казни («Екатерина и Пугачев») имеется следующее:

«Палач отрубил Пугачеву голову, прежде чем начать пытку. Екатерина уверяла впоследствии, что это сделано по ее приказанию; она хотела показать, что у нее больше гуманности, нежели у Людовика XV, четвертовавшего Дамиена».

И еще:

«Палач перед казнью Пугачева весь закручинился: как же — надо четвертовать по приказу господ нашего батюшку-царя Петра Федоровича; всю ночь не спит, молится богу, плачет. Наконец твердо решает разом отрубить Пугачеву голову, а не мучить его. Будь что будет, пускай ему самому потом голову снимают, а он так и сделает.

— Укрепи, господи, руку мою, прости меня, господи».

9

Расправившись с Пугачевым и его сподвижниками, правительство принялось тушить все еще вспыхивающий там и сям в стране пожар. Пугачева не стало, но мятежный дух его продолжал владеть «чернью».

¹ Из блокнота писателя с пометкою «Казнь».

Всюду рыскали карательные отряды. Дворянство вымещало на «виноватых и правых» свой страх, свою ненависть к пугачевцам. Особенно отличался на этом «поле брани» Петр Панин, вдохновитель и руководитель помещичьего террора того времени. «Приемлю кровь злодеев на себя и на чад моих»¹, — писал граф царице. Не было конца виселицам, плахам, колесам, дыбам. Порке подвергались целые улицы, стирались с лица земли деревни и станицы.

Зимовейская станица, где родился и вырос Пугачев, была переброшена на новое место и переименована в Потемкинскую. Яик-река, славная началом пугачевского мятежа, названа Уралом, а Яицкое казачье войско — Уральским. Тысячи заподозренных в сочувствии Пугачеву жителей Урала, Волги, Дона, черноземной полосы долгое время находились в неслыханном притеснении, многие ссылались на север и в Сибирь.

Но как ни свирепствовали среди «заблудших овец» (выражение Екатерины) царские палачи, народ не унимался, тоска по воле продолжала владеть сердцами, о Пугачеве-избавителе создавались легенды, там и тут шли толки, что Емельян Иванович жив-невредим, что на Болоте казнили «подставного казака» и вот-вот он, батюшка, вновь подаст о себе голос: осиротевший народ лелеял мысль о новой беспощадной схватке с утеснителями.

Автор «Емельяна Пугачева» записал к эпилогу своего произведения:

«После казни. — Ярко — казнь. Затем, — постепенно удаляясь, удаляясь, — настроение в народе — в палатах, в канцеляриях, среди знати, духовенства, помещиков, купечества, лачуг, крестьянства, горнорабочих, башкирцев, все дальше, дальше...»

Когда узнают якуты да тунгусы? Через полтора года. Как они будут об этом говорить?

Екатерина въезжает в Москву и, чтобы заглушить темную страницу истории, тешит жителей торжественными зрелищами.

Писатель имел в виду празднества в первопрестольной с участием императрицы по случаю заключения мира с Турцией, а в действительности в связи с победой над мятежником Пугачевым.

¹ Пометка в «Плане» В. Шишкова: «Мысли или слова Панина (может быть, письмо к брату) — где-то у меня записано — что великой кровью надо утешить чернь, что, ежели страшишься крови, хуже будет»,

После торжественного выхода Екатерины из Грановитой палаты в Успенский собор происходило молебствие, а когда началось провозглашение многолетия, застонал колокол на Иване-Великом, загремела, салютуя, артиллерия, затрещали залпы из ружей.

«Народное» празднество с улиц перенесено было на Ходынку, куда под пушечную пальбу и шумы оркестров прибыла, в окружении ликующих сановников и дворян, императрица. До поздней ночи небо над Москвой пылало в зареве иллюминаций, к звездам вздымались фейерверки, в павильонах на Ходынке шло пиршество, винопитие, картежная игра.

«А в это время, — читаем мы в заметках автора «Емельяна Пугачева», — арестованные, сосланные по делу (пугачевского восстания. — *Вл. Б.*) томятся в крепости и в изгнании».

«...Начался свирепый со стороны правительства террор — «устрашение впавшей в остервенение черни» при помощи виселицы и кнута. На правом берегу Волги бесполезно было искать зачинщиков — «все бунтовали».

А когда «возмущенная чернь была возвращена в безмолвственное всеподданническое повиновение», правительство решило принять меры к тому, чтобы пугачевщина была предана «забвению и глубокому молчанию».

«Все опасные места очищены, злодейских толпов (*bis*) нигде не предвидится, настала «благополучность», — писал в своем донесении с Дона один из усмирителей мятежников, походный атаман Луковкин.

Казалось, беспросветная ночь окутала русскую землю. Но это только казалось. В действительности голос Емельяна Пугачева не умолкал долгие годы. Казненный, он продолжал жить, скликая всех обездоленных под свои бунтарские знамена: «Детушки, я с вами!»

И то, о чем скорбел и печаловался в последние вольные дни свои Пугачев, обращаясь мысленно к народу («Черти вы, черти, ежели б уверовали вы не в царя Петра, а в кровного брата своего, Емельяна, он бы вас повел войной дальше»¹), — то стало явью теперь, после казни: все чаще и чаще в народе говорили об «избавителе», но уже не о Петре Третьем, а о «своем брате Емельяне Пугачеве». В одном конце шел слух, что скрылся Пугачев у китайской границы, в другом, что сколачивает

¹ «Емельян Пугачев», книга третья, ч. 2, гл. 6.

он «толпу» в горах у Черного моря, а на Дону прямо указывали, что Емельян Иванович скрывается до поры у казака Некрасова, войска же их готовятся в тайбищах Урала.

А. С. Пушкин немало собрал о Пугачеве легенд. Это дело продолжал одно время В. Г. Короленко, но с меньшим успехом; росли новые поколения, и новые вставали из недр народных вожди-богатыри, новые складывались легенды.

В. Я. Шишков пользовался народными сказаниями о Пугачеве, «как камертоном», настраивая голоса своих казаков, крестьян, заводских людей. Допуская стилизацию языка романа, он обращался, между прочим, к языку комедий Фонвизина, Веревкина и других поэтов и мемуаристов этой эпохи. Фольклор, как и записи показаний пугачевцев, в свою очередь был подспорьем писателю. Большую помощь оказало Шишкову и его собственное знание народного разговорного языка, в частности — старорусского, сибирского, кондового. Записные книжки, тетради, блокноты писателя, относящиеся ко времени его жизни в Сибири, изобиловали таким богатством живых записей, что им позавидовал бы иной исследователь народного диалекта. К несчастью, бесценный клад этот вместе со всем архивом писателя погиб в 1941 году в г. Пушкине (под Ленинградом). Погиб и обширный материал, накопленный Вячеславом Яковлевичем в процессе работы над «Емельяном Пугачевым», в том числе некоторые фрагменты к эпилогу романа, в частности — к исторической беседе по поводу пугачевских событий между Пушкиным и Николаем Первым. В статье своей «Емельян Пугачев» писатель упоминает об этой беседе как о возможной концовке всего произведения.

10

«Пугачева, — писал В. Я. Шишков, — нельзя дать как следует, не зная пугачевщины и ее эпохи. Человек — зеркало своего времени».

И еще:

«Чем ближе подхожу я к концу Пугачева, тем больше занимают меня обстоятельства, определившие конец пугачевщины... Читатель должен ясно видеть как причины, породившие пугачевское движение, так и то, почему Пугачев был побежден».

Следуя мысли об исторически обусловленных причинах раз-

грома Пугачева, писатель настойчиво знакомился с материалами по этому вопросу, по первоисточникам и более поздним исследованиям.

В записках о причинах неудач пугачевского движения у Вячеслава Яковлевича имеются следующие «памятки»:

«Неудача — потому, что крестьяне не только не уничтожали в корне частную собственность, но, ведя борьбу под религиозно-монархическим флагом, «выступали против помещиков, но за «хорошего царя» (Сталин); потому, что крестьяне в силу своей раздробленности «не могли объединиться, крестьяне были тогда (при крепостном праве. — *Вл. Б.*) совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне, — говорит Ленин, — все же боролись, как умели и как могли. Крестьяне не боялись зверских преследований правительства, не боялись экзекуций и пуль...»¹

«Крестьянские восстания, — говорит Сталин, — могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели»².

Ко всему, что пагубно влияло на дело Пугачева, «примешивались внутренние социальные и национальные противоречия в лагере восставших, местнические интересы, неурожай 1773/74 гг. и последовавший затем голод».

Особо пристальное внимание писатель сосредоточил в своем произведении на труде и быте «рабочих людей» Урала, Прикамья и на участии этих людей в «толпе» Пугачева. Время, когда Емельян Пугачев со своей армией оказался отрезанным от заводов и заводских работников, не только поставлявших пугачевцам пушки, порох и ядра, но и вносящих в их ряды порядок, дисциплину, сметливость (все, что так ценилось Пугачевым), было началом конца.

Это знал и показал писатель в третьей книге своего исторического повествования.

Немало страниц во второй и третьей книгах произведения посвящены участию в пугачевском движении башкир, киргизов, черемисов, калмыков, чувашей, татар. При этом всюду Пугачев выступает как вождь, ратующий за равенство народностей внутри

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 384.

² И. В. Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 112—113.

его войска. Однако разногласия на национальной почве в рядах пугачевцев все же имели место и, несомненно, подтачивали в известной мере силы крестьянской войны.

Читатель найдет в романе достаточно данных также на тему о внутренних социальных противоречиях в стане пугачевцев — противоречиях, сыгравших свою разрушительную роль как в ходе вооруженной борьбы повстанцев, так и в судьбе самого Пугачева. Мы имеем в виду не раз, начиная с Оренбурга, возникавшие, под влиянием тяготевших к «послушной», старшинской стороне элементов, заговоры против «царя-батюшки», переросшие затем в измену и предательство. В конце концов восторжествовала «послушная сторона» во главе с старшиною Мартемьяном Бородиным.

От зажиточной верхушки казачества исходили те косность и ограниченность, которые поддерживали в Яицком войске, с Пугачевым идущим, тягу к местническим интересам. Наиболее ярким проявлением последних был как раз тот факт, что Пугачев надолго задержался под Оренбургом и тем самым предоставил правительству крепостников возможность собраться с силами. «В несчастье сем, — писала Екатерина кн. Волконскому, — можно почесть за счастье, что сии каналы привязались два месяца целые к Оренбургу, а не далее куда пошли»¹.

К немаловажным факторам, остро давшим о себе знать пугачевцам на закате их борьбы, надо отнести и все то, что не однажды отмечено было автором романа, а именно: неурожай и голод 1774 года, отсутствие оружия, коней и провианта на пути следования Пугачева от Казани к Сызрани, разнობой в действиях отдельных отрядов и т. д.

В то же время, параллельно убывающим возможностям восстания, в лагере противника происходило нарастание сил. Подоспел мир с Турцией, что позволило Екатерине подтянуть к зоне активных действий пугачевцев огромные вооруженные силы во главе с умелыми военачальниками, а вместе с тем принять эффективные меры и по локализации «мерзкой заразы, от вора-самозванца идущей», на Верхнем и Нижнем Поволжье, особенно же — на Дону.

Вполне понятно, что при всей своей недюжинной натуре и трезвом складе ума Пугачев не мог оставаться неуязвимым под ударами злосчастных событий и не переживать тех или иных

¹ «Осьмнадцатый век», книга первая, стр. 102.

душевных сдвигов и колебаний. С первых дней бегства из-под Казани Пугачевым владела идея развенчания себя как царя Петра Федоровича, вернее — венчания себя открыто, перед всем народом, в вожди народные. Раздумье при переправе на правый берег Волги (после Казани), ночная беседа с офицером Горбатовым, сцена с посыльным от городка, стариком Захаровым, — все это понадобилось писателю, чтобы сказать, что выхода из назревающей катастрофы Пугачев искал в решительной смене роли, в попытке оглавить мятежное движение собственным, донского казака, именем и повести дело «начистоту». Запоздалое решение «объявиться народу», бессилие осуществить его и, в результате, новый разлад с ближними соратниками — все это не могло не отразиться на отношении Пугачева к событиям, а затем в какой-то мере и на самом развитии этих событий в сторону трагической развязки.

Допуская ту или иную вольность в художественном показе намерений, решений и поступков своего героя, писатель не выходил, однако, из рамок того, что если и не могло быть подкреплено историческими данными, то, во всяком случае, вытекало из них и завершало основную идею произведения.

Писатель не успел вложить в уста своего Пугачева последнего слова. Перо выпало из рук писателя ранее того, как по ходу повествования оружие выпало из рук «мужицкого царя». Но пугачевская эпопея, развернутая в произведении, с убедительностью подлинно большого искусства говорит сама за себя.

Пугачев был повержен, но крестьянские волнения, связанные в своих истоках с пугачевским движением, не затихали, как известно, ни в одно из царствований самодержцев, пока наконец государство крепостников в свою очередь не оказалось поверженным. То, что было не под силу стихийному народному восстанию второй половины XVIII века, свершилось в начале двадцатого, под водительством нового, созревшего в народных недрах класса — класса «работных людей» и его славной большевистской партии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Над историческим повествованием «Емельян Пугачев» Шишков работал с 1934 по 1945 год. Первая книга эпопеи впервые вышла отдельным изданием в 1941 году (Ленинград, ЛенГИХЛ) и была переиздана в 1944 году (Москва, Гослитиздат). В 1946 году, уже после смерти Шишкова, Гослитиздат выпустил вторую книгу «Емельяна Пугачева», подготовленную к печати самим автором. Гослитиздатом же было осуществлено в 1947 году и первое издание третьей книги эпопеи, не завершённой писателем.

В настоящем собрании сочинений первая и вторая книги исторического повествования «Емельян Пугачев» печатаются по текстам указанных выше изданий: том I — М. Гослитиздат, 1944; т. II — М. Гослитиздат, 1946. Третья книга, работу над которой Шишков продолжал до последних дней жизни, публикуется согласно указаниям самого автора по текстам журнала «Октябрь» (1944, № 9, 10, 11), повести Шишкова «Прохиндей», изд-во «Советский писатель», 1944, и по автографу рукописи.

Мысль о создании произведения на тему из русской истории зародилась у Шишкова еще в конце 20-х годов. Довольно длительное время его привлекала к себе Россия эпохи Александра I, личность всемогущего фаворита царя — Аракчеева. «Летом думаю готовиться (читать) к работе над романом «Аракчеевщина»... В этой эпохе много интересных эпизодов и людей», — писал Шишков П. С. Богословскому 11 мая 1929 года («Вячеслав Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 272). Об этом же замысле Шишков говорил весной 1929 года и своему близкому другу, писателю В. М. Бахметьеву. По

словам последнего, Шишков собирался ввести в роман образ старца Федора Кузьмича, в котором народная легенда видела царя Александра I, якобы тайно оставившего престол и доживавшего свои дни в усадьбе томских купцов Хромовых. Но роман «Аракчеевщина» так и не был начат писателем. Конец 20-х — начало 30-х годов явились для него временем самого напряженного труда по завершению «Угрюм-реки», от которого он не мог отвлекаться на сколько-нибудь длительный срок; кроме этого, Шишков начал постепенно охладевать к своему замыслу, так как, по его мнению, первая четверть XIX века достаточно уже была разработана в художественной литературе, да и сама личность Аракчеева уже не казалась ему достойной стать в центре большого произведения: «Лицемер и жестокий солдатфон. Только и всего!» — говорил о нем писатель (Л. Р. Коган «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 206). Однако, по свидетельству жены писателя К. М. Шишковой, он вплоть до 1934 года еще возвращался мысленно к царствованию Александра I, пока не увлекся новой, целиком его захватившей темой — восстанием Пугачева.

Выбор этой темы был для Шишкова далеко не случаен и обусловливался постоянным его интересом к судьбе русского народа и к прошлому России. Как известно, первую попытку нарисовать борьбу широких народных масс со своими многовековыми угнетателями Шишков сделал еще в начале 20-х годов в повести «Ватага», посвященной партизанскому движению в Сибири в период гражданской войны. Повесть оказалась неудачной, партизанское движение было представлено в ней в искаженном виде, как разбушевавшаяся, безудержная стихия, не руководимая никаким сознательным началом. «Ватага» подверглась в свое время суровой критике, справедливость которой признавал сам писатель, намеревавшийся переработать повесть. Но так или иначе «заявка» на тему о жизни народной, взятой в один из наиболее кульминационных ее моментов, была сделана Шишковым этим произведением. По словам автора, «именно «Ватага» была тем психологическим толчком», который заставил его взять в качестве новой темы эпоху восстания Пугачева. «Я почувствовал, что о ней можно написать густо, масляными красками, так сказать, — по Репину», — говорил Шишков в беседе с корреспондентом газеты «Литературный

Ленинград», делясь с ним своими планами и замыслами на будущее («Литературный Ленинград», 1934, № 34, 26 июля). Но и «облюбовав» себе тему, писатель не сразу решился окончательно остановиться на ней: смущала сложность и ответственность задачи «живописать то, что автор не мог видеть», вызывали сомнения собственные творческие возможности — ведь о Пугачеве и его времени писал «сам Пушкин». Своими колебаниями Шишков делился с близкими людьми, с товарищами по перу, в частности с А. Н. Толстым, с которым его связывала тесная дружба. Как вспоминает Л. Р. Коган, «А. Н. Толстой, и сам увлекавшийся художественно-историческим жанром, горячо поддержал намерение Вячеслава Яковлевича взяться за исторический роман, посвященный Емельяну Пугачеву».

«...Бояться нечего!.. У Пушкина повесть (имеется в виду «Капитанская дочка». — В. Б.), так сказать, «камерного» характера. Вся эпоха пропущена через семейную хронику. Это гениально. И, разумеется, дураком нужно быть, чтобы попытаться повторить это после Пушкина. Надо совсем по-иному браться за «Пугачева», дать большое полотно, народную эпопею. Тут никакой встречи и не будет... Да ведь и эпоха и тема таковы, что их и на десять писателей хватит. Были бы силы!» (Л. Р. Коган «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 207).

Мнение А. Н. Толстого помогло Шишкову укрепиться в своих намерениях. Трезво оценив свои силы и утвердившись в мысли, что он сможет справиться с задуманным, писатель принимается за подготовительную работу к «Емельяну Пугачеву». Он начал ее с составления подробного списка материалов, с которыми ему предстояло познакомиться. В этот список входило несколько сот названий — от капитальных трудов по истории XVIII века и сборников исторических материалов до журнальных статей и отдельных публикаций. Среди них были: «Осьмнадцатый век» Бартенева, переписка и мемуары Екатерины II, записки Болотова, Фонвизина, Державина, Радищева, Рычкова, Дмитриева, Е. Дашковой, а также более поздние исследования и сборники документов: Н. Дубровин «Пугачев и его сообщники», Я. Грот «Материалы для истории пугачевского движения», сборники «Восстание Пугачева» и «Пугачевщина» (издание Центрархива), труды историков Соловьева,

Пылина, Фирсова, Семевского, Покровского и многое другое. Работа по овладению этим огромным материалом была трудоемкой и серьезной. Сложность ее усугублялась тем, что Шишков не мог ограничиться лишь пассивным усвоением какой-то суммы исторических сведений, но и должен был выработать свое собственное отношение к ним, часто переосмыслить всю концепцию, данную тем или иным историком буржуазно-дворянского лагеря. «Моя задача — показать эпоху с наших советских позиций», — говорил писатель в уже цитированной беседе с корреспондентом «Литературного Ленинграда»; для плодотворного разрешения этой задачи он не раз обращается за консультациями к специалистам историкам по вопросам как общего, так и более частного характера.

В течение 1934 и первой половины 1935 года у Шишкова накапливается уже такой обильный материал, что становится необходимым систематизировать его. С этой целью он сводит все собранные сведения в одну обобщающую схему. Л. Р. Коган вспоминает, что схема эта представляла собой «огромную бумажную простыню из нескольких сложенных листов». На ней «тонким и аккуратным почерком были обозначены все интересовавшие его (Шишкова. — В. Б.) события и лица, связанные с ними. В сводной схеме перечислены были события, связи и люди мира официального петербургского и — мира народного, особенно в местах, где развивалось пугачевское движение, события в Москве, в приволжских и уральских городах. Не были забыты и такие явления, как деятельность Вольно-экономического общества, Большой комиссии и др. Стали выделяться целые гнезда: екатерининских сановников, генералитета, чиновников, ученых, деятелей искусства. С другой стороны — стали группироваться лица, так или иначе связанные с пугачевским движением. Схема была очень наглядна...» (Л. Р. Коган «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — «В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 208). Помимо схемы, Шишков составил себе «План», приблизительно намечавший развитие сюжета произведения по главам, а также «хронику пугачевского движения», основанную на большом фактическом материале, собранном Дубровиным в книге «Пугачев и его сообщники» (СПб. 1884). Кроме этого, писатель заводит картотеку с тематическими рубриками и ряд записных книжек с заголовками: «Пугачев», «Народная трагедия», «Мысли и замыслы автора», «Крестьян»

ские бунты», «Двор Екатерины Второй», «Казань, раскольники» и др. В этом же 1935 году Шишков делает наброски первых глав (первых по выполнению, а не по ходу событий) будущего произведения и уже в апреле этого года читает эпизоды из завершенных глав по радио. Осенью состоялся ряд радиопередач по готовым главам и тогда же некоторые отрывки из «Емельяна Пугачева» были опубликованы в журнале «Звезда»: «Псковская вотчина» (этюд к роману «Емельян Пугачев») — «Звезда», 1935, № 8; «Емельян Пугачев (Отрывок из третьей части романа)» — «Звезда», 1935, № 9, 11, 12.

В ноябре 1935 года Шишков писал И. П. Малютину: «Этим (опубликованным материалом. — В. Б.) пока закончу выступление в журнале. Теперь пишу придворную жизнь со смерти Елизаветы, показываю Петра III, Екатерину» (Архив Шишкова). Несколько ранее писатель рассказывал о работе над «Пугачевым» В. П. Петрову: «Сейчас работаю над «Пугачевым», кой-что уже написал. Работа трудная, но интересная, закончу года через два-три (письмо к В. П. Петрову от 28 июня 1935 г. — в кн. «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 280). Этот предположительный срок завершения произведения — 1938 или 1939 год — Шишков называл и в письмах другим адресатам (например, письмо к брату А. Я. Шишкову от 18 декабря 1936 г., письмо к литератору Н. С. Каржанскому от 21 ноября 1937 г. и др.). Но намерения писателя в этом отношении не осуществились так быстро, как он думал. Работа затянулась на целых десять лет и не была окончательно завершена. Частично это «нарушение» сроков объяснялось большой занятостью Шишкова в 30-е годы общественной работой по линии Союза писателей (он исполнял обязанности председателя ревизионной комиссии ССП, был председателем правления ленинградского отделения Литфонда, членом редколлегии журнала «Литературный современник» и ленинградского отделения изд-ва «Советский писатель», много помогал начинающим авторам), а также его частыми путешествиями, которые он совершал, стремясь быть постоянно в курсе всего нового, происходящего в стране.

Однако основная причина того, что эпопея «Емельян Пугачев» заняла у писателя не только 30-е, но и начало 40-х годов, заключалась, конечно, в обширности самой темы, в сложности творческих задач, встававших перед Шишковым уже в процессе непосредственной работы над произведением. Даже

приступая к написанию первых глав «Пугачева», автор не мог в полной мере представить себе истинных масштабов своего труда, который потребует увеличения объема произведения вдвое против намеченного (100 авторских листов вместо 40—50 «запланированных»), не мог, впервые обращаясь к жанру исторического романа, предвидеть все те специфические для него особенности, над которыми не раз придется задуматься. Одним из кардинальных вопросов, во многом определивших весь ход работы над вещью и ее художественное своеобразие, являлся вопрос о жанре «Емельяна Пугачева», ответ на который был найден писателем далеко не сразу. Так, находясь еще «на подступах» к своей будущей эпопее, Шишков на вопрос корреспондента «Литературного Ленинграда», «будет ли его роман «чисто хроникальным», отвечал отрицательно, говоря, что ему «придется совместить историю пугачевского восстания с сюжетной интригой». В 1935 году писатель высказывался по этому поводу менее категорично: «Затрудняюсь ответить на вопрос, будет ли роман фабульным или исторической хроникой». Однако в письме к Н. С. Каржанскому от 21 сентября 1937 года Шишков уже твердо заявляет, что в «Емельяне Пугачеве» «романа в романе никакого нет, это просто историческая хроника» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 288); в письме к архитектору А. И. Суслову от 28 июня 1938 года он подтверждает это же положение: «Пугачев» не роман будет, а *повествование, историческая хроника* (курсив мой. — В. Б.), — и поясняет, почему он принял решение писать «Пугачева» именно в этом жанре: «Хотя я и не плохо справляюсь с сюжетом («Угрюм-река»), но в данном случае от сюжетной линии я совершенно отказался. Сюжет увел бы меня в дебри ненужного вымысла... Вся пугачевская эпопея (корни, предпосылки, окружение, последствия) сама по себе — готовый сюжет» (там же, стр. 297). Точно такую же аргументацию выбора жанра для «Пугачева» Шишков приводил и позднее в журнале «Огонек» (1942, № 51): «Все в нем («Емельяне Пугачеве». — В. Б.), — писал он, — построено на строго исторической канве, чрезвычайно своеобразной и настолько в общем интересной, что не было необходимости разукрашивать доподлинную историю выдумкой и домыслом... в моем историческом повествовании мало вымышленных лиц и ситуаций». Отказ от создания «романа в романе», следование

в основном «строго исторической канве» (что, понятно, не исключало наличия в произведении элементов художественного вымысла и в выборе отдельных ситуаций и тех или иных второстепенных персонажей) налагали на автора особенно большие обязательства. По его собственным словам, он был «связан сотнями фактов, дат, всяческих условностей» и в изображении реально существовавших личностей екатерининской эпохи должен был уметь посмотреть на них и глазами их современника и в то же время дать им объективную оценку с точки зрения советской исторической науки. Особенно ответственным и сложным в этом отношении был, конечно, образ самого Пугачева. Обширный исторический и литературный материал о «мужицком царе» был весьма противоречив, по большей части он содержал прямую клевету на «бунтовщика» и «негодяя». Подобное отношение к личности Пугачева определялось в первую очередь сословной ненавистью к нему мемуаристов-современников, а также и позднейших историков и беллетристов, таких, как Данилевский, Салиас (романы «Черный год», «Пугачевцы»). Даже некоторые советские историки, например, Покровский, придерживались той точки зрения, что Пугачев представлял собою «нечто среднее между фантастом и просто ловким проходимцем, каких было немало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже в воровских притонах Москвы». Шишкову предстояло преодолеть груз всех этих предрассудков и ложных оценок и, определив истинную социальную сущность «мужицкого царя», постараться дать его живой художественный образ.

Уже с середины 30-х годов письма Шишкова позволяют судить, насколько его творческое воображение было занято личностью Пугачева, как волновал его вопрос о принципах построения этого центрального образа эпопеи. Работая еще над первой книгой эпопеи, где образ Пугачева занимает значительно меньшее место, чем в двух последующих, писатель постоянно размышляет о том, «каким был Пугачев, как его показать. Его природные возможности, его политическая и стратегическая одаренность. Он ли руководил Военной коллегией или Военная коллегия руководила им? Были ли у него какие-нибудь идеалы, исторические перспективы или на 75% все шло самотеком?» (письмо к А. И. Сулову от 2 августа 1938 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 300). «Как показать Пугачева, этого

замечательного вождя восставшего народа, еще не знаю, — признавался Шишков в другом письме к тому же адресату в сентябре 1938 года. — Ежели показать его со всеми человеческими слабостями — в свободное время он любил и винишка попить и бабенками увлекался, — боюсь разгневать критику; ежели показать его беспорочным, опять закричат: «Лакировка действительности». В конце концов писатель принял единственно правильное и возможное решение, при котором образ Пугачева строился с учетом наиболее оригинальных индивидуальных черт этого персонажа, но вместе с тем на основе его социальной сущности, причем, именно черты, которые автор считал определяющими для национального и классового образа Пугачева, выдвигались им на первый план и особенно акцентировались. «Да, он, Емельян Иванович, добропорядочным человеком получается, — писал Шишков Л. Р. Когану в марте 1944 года, когда личность Пугачева приняла на страницах эпопеи уже совершенно определенные и яркие очертания. — Милостью своею подкупал народ, силой воли всех держал в руках, искусством воевать побеждал царицыных генералов» («В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 350).

Параллельно с этими раздумьями, с решением общих творческих вопросов шла и усердная работа по написанию очередных глав произведения. О ходе ее писатель сообщал брату А. Я. Шишкову в конце 1936 года: «Царский период (листов 6—7) у меня закончен от смерти Елизаветы до убиения Петра III. Показан Пугачев молодым 18-летним казаком на Прусской войне (Семилетняя война). Теперь думаю изобразить моровую язву в Москве и бунт (1770—1771), а затем странствия Пугачева и при каких обстоятельствах он объявляет себя Петром III. Возможно, что 1-я часть романа будет закончена набело, для печати, в конце 1937 года (и написана будет начерно 2-я часть)» (письмо от 18 декабря 1937 г., там же, стр. 285). О завершении первой половины первой книги «Емельяна Пугачева» Шишков писал А. И. Новодворовскому в начале марта 1937 года: «...Мы с А. Н. Толстым сидим, работаем: он кончает первую часть романа о защите Царицына («Хлеб»), я закончил вчерне первую половину «Емельяна Пугачева». Полгода положу на выверку, на консультации с историками-специалистами, и тогда можно будет печатать» (Архив Шишкова), «Выверяя» и отработывая очередные главы первой

части первой книги, Шишков, по мере готовности, сдавал их в журнал «Литературный современник» и одновременно заканчивал и вторую часть первой книги, которая (а следовательно, и вся первая книга в целом) была готова в основном к началу 1938 года. «13-го (марта. — В. Б.) сдал в журнал 2-ую часть. Страшно много над ней работал, она очень сложна...» — писал Шишков брату (письмо к А. Я. Шишкову от 16 марта 1938 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 288—289). В письме от того же года и числа писатель сообщал А. И. Новодворовскому: «Все превозмог я своим усидчивым трудом, забросил гулянья в парке и все-таки сделал первую книгу «Пугачева» (1-я и 2-я части — без малого 600 страниц на машинке). Первая-то часть была готова прошлым летом, а вот вторая... штука трудная! Ну, да я сам усложнил себе задачу: в повествование ввел всю литературную того времени «литию». Литературная «лития» в романе: Сумароков, Фонвизин в Петербурге, Херасков и его группа — в Москве. И старик Ломоносов показан у меня. Словом, для читателя, желающего ознакомиться с тем временем, книга будет полезная» (Архив Шишкова).

Публикация первой книги «Пугачев» в «Литературном современном» (1938, №№ 2—8) еще не была завершена, когда в газете «Правда» (1938, 17 июня) появилась статья К. Малахова «По проторенной дорожке Иловайских». Автор статьи называл работу Шишкова «суррогатом подлинно художественного произведения», построенным по рецептуре «пошляка Салиаса на анекдотах». Шишков обвинялся также в квасном патриотизме и шовинизме, которым якобы он учится у реакционного историка Иловайского. Эти же обвинения, рассчитанные на то, чтобы опорочить крупного писателя и его творчество, были повторены К. Малаховым в «Литературной газете» (1938, 26 июля), где рецензент выступил на этот раз под псевдонимом «К. Миронов» со статьей «Об исторических и псевдоисторических романах».

Шишков прекрасно осознавал необоснованность подобной «критики» «Пугачева», облыжность возведенных на него поклепов. «Меня некий критик К. Малахов ошельмовал как идущего в «Емельяне Пугачеве» по стопам Салиаса. Малахов или знает Салиаса понаслышке, или просто человек бессовестный. Если б он читал Салиаса, он не посмел бы упрекать меня в подражании ему: я, худо ли, хорошо ли, веду свою работу в пределах

исторической и художественной правды», — писал Шишков А. И. Суслову вскоре после появления статьи Малахова в «Правде». «Обе статьи (и в «Правде» и в «Литературной газете». — В. Б.) несерьезны, смехотворны, безграмотны, но с трескучим апломбом», — утверждал писатель несколько позднее в письме к тому же адресату (письма от 28 июня и 2 августа 1938 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 297, 300). Шишков собирался ответить критику, но не успел этого сделать; к тому же вскоре в передовой «Литературной газеты» появилось сообщение о том, что статьи Малахова несостоятельны и носят клеветнический характер, что, введя в заблуждение редакции газет, он намеренно пытался опорочить патриотический роман Шишкова. Таким образом, произведение это было скоро реабилитировано.

Большую моральную поддержку Шишкову оказало отношение к «Пугачеву» московских писателей, которые во время поездки Вячеслава Яковлевича в Москву в августе 1938 года постарались успокоить его, уверить в ценности его нового труда и в необходимости продолжать работу. «Мой «Пугачев» взял под крепкую защиту Правления Союза писателей, — сообщал Шишков из Москвы писателю Г. И. Мирошниченко. — Тон задает, конечно, А. А. Фадеев, заслуженно пользующийся большим влиянием среди писателей. На партконференции одного из московских районов он делал доклад о текущей советской литературе, причем о «Пугачеве» он выразился с похвалой, отнеся мою работу к разряду достижений» (письмо Г. И. Мирошниченко от 22 августа 1938 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 304). Еще большее значение имело для Шишкова организованное по его настоянию Ленгослитиздатом в декабре 1938 года совещание специалистов-историков во главе с Е. В. Тарле, посвященное разбору и оценке опубликованной первой книги «Емельяна Пугачева». «10 декабря при Госиздате было, по моей просьбе, совещание специалистов-историков, — писал Шишков Н. С. Каржанскому. — Они предварительно ознакомились с моим «Пугачевым». Был академик Тарле и профессор Предтеченский. Е. В. Тарле заявил, что он прочел работу с интересом, внимательно и никаких исторических ошибок не нашел, все правильно. Пугачев точь-в-точь такой, каким и он его себе представляет» (письмо Н. С. Каржанскому от 28 де-

кабря 1938 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 307).

Ободренный таким положительным отзывом о своем труде, Шишков с новыми силами берется за его продолжение. 1939 год был занят у писателя в основном доработкой и отделкой первой книги «Емельяна Пугачева». Шлифуя и оттачивая уже готовый материал, он учел также некоторые замечания и советы Е. В. Тарле и написал для первой книги несколько новых глав. «...У меня нового для первой книги: «Кунерсдорфский бой» (без Пугачева), но с Бибиковым, Михельсоном, молодым Суворовым. «Мирная жизнь в Кенигсберге» — там Пугачев, Болотов, ранний Михельсон и 3) «Взятие Берлина» — там Пугачев», — писал Шишков Н. С. Каржанскому (письмо от 22 января 1939 г., там же, стр. 312). Помимо названных в письме, писатель добавил в первую книгу главы о заседании Большой комиссии, о Салтычихе, о путешествии Пугачева с Семibrатовым на Волгу. По словам Шишкова, первоначальный текст первой книги был сокращен листа на два, а добавлено «против журнального текста» листов семь-восемь. К концу июля 1939 года работа над первым томом была завершена, и автор собирался отправлять его в издательство, однако исключительная требовательность к себе заставляет Шишкова не выпускать новое произведение из рук еще в течение полугода и сдать его в набор лишь в начале 1940 года. «...закончил (только что) первую книгу «Пугачева», — сообщал писатель А. Н. Толстому в феврале 1940 года. Вспоминая о тревожениях, связанных с публикацией ее в «Литературном современнике», о совещании историков и отзыве Тарле, Шишков добавлял: «Я еще целый год сидел над «Пугачевым», значительно дополнил его, кой в чем сократил и лишь после тщательной обработки сдал в Государственное издательство» (письмо от 14 февраля 1940 г., там же, стр. 320—321).

Завершение первой части эпопеи позволило писателю вплотную заняться работой над второй книгой, которая уже давно занимала его мысли. Он был полон сил, бодрости, больших творческих планов, считал, что после опыта первой книги вторая пойдет значительно быстрее, и времени на нее потребуются вдвое-втрое меньше. «Пугачев» вступил во вторую книгу, работа идет прекрасно... По началу вижу, что вторая книга будет удачнее первой», — писал он Н. С. Каржанскому 1 марта

1940 года (Архив Шишкова). «Работа идет хорошо, — сообщал он и А. И. Суслову. — Пугачев получается довольно живым: в меру веселый, в меру жестокий, но довольно умный, сообразительный, с большой волей» (письмо от 20 апреля 1940 г. Архив Шишкова). Начавшаяся война, связанные с ней бытовые трудности значительно затормозили эту работу. К тому же писатель считал своим долгом посильно помогать пером всенародной борьбе против фашизма — он писал на оборонные темы, сотрудничал во фронтовой газете «На страже родины», выступал по радио, читал свои произведения у моряков и бойцов Красной Армии. Тем не менее и в эти тяжелые дни Шишков не переставал трудиться над «Емельяном Пугачевым». «Пишет он то пером, то карандашом на клочках бумаги — в зависимости от обстановки, а в более спокойные часы диктует страницы «Пугачева» Клавдии Михайловне, пишущей на машинке... При особо сильных бомбежках или обстрелах города, спускаясь в бомбоубежище, он брал с собою все свое сокровище — пакет из плотной бумаги с рукописью второй книги «Емельяна Пугачева» (Вл. Бахметьев, Вячеслав Шишков, изд-во «Советский писатель», М. 1947, стр. 124). К августу 1942 года (в это время Шишков уже переехал с семьей в Москву) у писателя было готово около 28 листов второй книги эпопеи и заключены договоры на ее издание (после завершения) с Гослитиздатом и на публикацию ее в журнале «Октябрь», где «Пугачев» должен был печататься в значительно сокращенном виде (25 авторских листов из предполагаемых 45). Публикация второй книги в журнале «Октябрь» началась с апреля 1943 года и закончилась в декабре 1944 года (№ 4—5, 6—7, 8—9 за 1943 год и № 1—2, 9, 11—12 за 1944 год).

Наряду с этим в 1944 году в изд-ве «Советский писатель» вышла повесть «Прохиндей», состоявшая из тех глав второй части эпопеи, в которых рассказывалась история ловкого ржевского купца Остафия Долгополова.

По настоянию писателя 27 листов рукописи второй книги, как ранее первой, были в августе месяце даны на заключение академику Е. В. Тарле. «Он дал очень хороший отзыв, — писал Шишков Л. Р. Когану, цитируя дословно текст рецензии: «Роман тов. Шишкова был прочитан мною с неослабевающим интересом и удовольствием, — и со стороны чисто эстетической я бы затруднился отметить сколько-нибудь бросающиеся в глаза

неровности или погрешности. Но от меня ведь редакция и не требует критики «художественной», но исключительно исторической. С этой точки зрения роман «Пугачев» тоже производит очень благоприятное впечатление. Может быть, чуть-чуть идеализирован Пугачев и не оттенены тоже бесспорно присущие Емельяну Ивановичу чисто разбойничьи черты» — и т. д. — некоторые советы, некоторые указания на ошибки (довольно спорные). И конец: «Все эти попутные мелкие замечания не могут никак повлиять на высказанную вначале положительную оценку правдивости и исторической верности изложения всего романа, такого интересного и содержательного и такого художественно ценного». Е. Тарле. 12/VIII—1942 года» (письмо Л. Р. Когану от 23 октября 1942 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 334).

Вторая половина 1942 и весь 1943 год прошли у Шишкова в работе, связанной с написанием второй и переизданием первой книги «Емельяна Пугачева». В январе 1943 года первый том эпопеи среди ряда других произведений художественной литературы был выдвинут на соискание Сталинской премии. В печати появляются рецензии на этот том, содержащие очень высокие его оценки. Указывая на то, что «труд В. Шишкова еще не закончен», авторы статей подчеркивали, что «уже и то, что мы имеем в первом томе, дает нам огромный и яркий самостоятельно художественной ценности материал по одному из крупнейших в истории человечества народных движений» (Вл. Бахметьев «У истоков вольности», газета «Литература и искусство», 1943, № 20, 15 мая). «Этот роман значителен не только потому, что в нем правильно изображен русский XVIII век, положивший начало русскому просвещению, — писал Б. Сучков в статье «Современный исторический роман». — Роман замечателен тем, что в нем можно увидеть черты подлинного историзма... Писатель объективно показывает ведущие противоречия эпохи в их подлинно историческом реальном содержании» («Литература и искусство», 1943, № 51, 18 декабря). Среди основных достоинств эпопеи рецензенты называли также народность ее, отмечали удачу образа самого Пугачева, в котором писателем воплощены типические черты русского национального характера — «ясный ум, живая сметка, умелость и сноровка» (там же).

Одновременно с написанием новых глав второй книги писателю приходилось трудиться и над отделкой уже готового ма-

териала, который начал печататься в «Октябре» — «править, чистить, редактировать» написанное. К этому присоединилась и работа по переизданию первой книги «Емельяна Пугачева». В июле того же 1943 года Шишков сообщал П. С. Богословскому: «С редактором, моим другом Бахметьевым, начали пересматривать 700 страниц книги. Покорпели, попотели изрядно. Я работал до изнеможения. Но работа радостная. Сегодня сдал все, завтра в печать» (письмо от 30 июля 1943 г. — «В. Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 341).

Все эти хоть и очень радостные хлопоты отодвигали срок завершения второй книги. Поначалу писатель собирался кончить ее осенью 1943 года (см. письма к Л. Р. Когану от 17 мая 1943 г., к А. И. Суслову от 25 августа 1943 г., там же, стр. 339—340, 345), но уже в октябре 1943 года он признается: «Буду изо всех сил работать над окончанием «Пугачева», боюсь, что к новому году не закончить» (письмо к А. Ф. Пашенко от 3 октября 1943 г., там же, стр. 346). Между тем завершению этого произведения Шишков, находившийся уже на склоне лет, придавал огромное значение: «Кончу, и с народом буду в расчете; все, к чему был призван, — посильно завершено» (письмо к П. С. Богословскому от 30 июля 1943 г., там же, стр. 342). «Молю судьбу, чтоб дала мне окончить «Пугачева», — повторял Шишков и в письме к Л. Р. Когану, — а там уж что будет, то и будет, не так уж обидно и страшно» (письмо от 2 декабря 1944 г., там же, стр. 357).

С тревогой сознавая, что «работы над романом еще много, а сил осталось мало», Шишков старается совершенно не отвлекаться от нее. Весь последний в жизни писателя 1944 год был полон самого напряженного труда над эпопеей; о ходе его писатель подробно сообщал в письмах к родным и близким. «Заканчиваю вторую (и последнюю) книгу «Пугачева», — писал Шишков 8 января 1944 года врачу А. В. Пилипенко. — Работаю сейчас над взятием Казани» (Архив Шишкова). «Работаю много и без усталости. Стал виден конец «Пугачева»: в Казани мы с ним сейчас, сожгли Казань и вот-вот будем драться с Михельсоном» (письмо к Л. И. Раковскому от 20 января 1944 г. Архив Шишкова). «Пугачев» подвигается к концу, скоро выйдет ловить его А. И. Суворов» (письмо ему же от 18 мая 1944 г. Архив Шишкова). «Пугачев идет. С Фатьмой я уже разделался». (письмо Л. Р. Когану от 7 сентября 1944 г. — «В. Я. Шишков.

Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 352). «Пугачев уже за Казанью, перебирается на правый берег Волги, спасаясь от правительственных войск» (письмо ему же от 2 ноября 1944 г., там же, стр. 354). «Теперь дело идет к развязке, трагедия самого Пугачева, и народа, и вообще пугачевщины нарастает... Сейчас Пугачев подходит к Саратову. Тема предательства своего вождя со стороны атаманов постепенно нарастает, это должен почувствовать не только читатель, но даже всякий пролетающий над Пугачевым воробей. А в общем второй том разрастается до 60 листов! И нет возможности ничего выбросить без помехи общей картине» (письмо ему же от 2 декабря 1944 г., там же, стр. 357). Понимая невозможность «ничего выбросить без помехи общей картине», не желая «комкать» материал и события, с которыми сроднился за десять лет работы, Шишков в процессе написания второй книги задумывает перенести часть материала в третью книгу. «Решили «Пугачева» издать в трех томах, а то второй получается чрезмерно пухлый, за 60 листов», — писал он Богословскому в декабре 1944 года (письмо от 13 декабря 1944 г., там же, стр. 359). О том, что «Пугачев во второй том не влез — высунились руки, ноги, голова», — писал Шишков и Л. Р. Когану в феврале 1945 года: «Решил выпустить повествование в трех томах. Значит, надо было спешно... готовить рукопись к печати — редаKTура, правка, здесь прибавить, тут убавить (письмо от 9 февраля 1945 г., там же, стр. 360). Второй том был сдан в издательство в декабре 1944 года. Третий и последний том должен был быть готов весной 1945 года, однако смерть писателя, последовавшая в ночь с 5 на 6 марта, помешала осуществлению этих планов.

В последний раз читатель находит Пугачева в шестой главе второй части третьей книги эпопеи, где Емельяна Ивановича в августе 1774 года встречает посланец приволжского городка Василий Захаров. В седьмой главе имя Пугачева упоминается еще раз, но здесь его образ дан уже опосредствованно через восприятие капитана Галахова, участника «комиссии» по поимке «злодея». Судя по материалам, оставшимся в архиве Шишкова, писатель намеревался нарисовать также встречу уже плененного Пугачева со знаменитым полководцем Суворовым, причем весь смысл этого эпизода заключался в прямом сочувствии вольнолюбивого и прямого Суворова «мужицкому царю». Автор хотел показать и еще одну встречу Пугачева — с графом Паниным, который

пощечиной «благодарит» Емельяна, спасшего его в Семилетнюю войну. Особенно широким планом собирался Шишков изобразить самую казнь Пугачева 10 января 1775 года и горе народа, который со смертью своего вождя остается «сиротой», но «с немеркнувшей волею к борьбе и победам». «Дать ярко казнь,— читаем мы в «Памятках» писателя,— затем, постепенно удаляясь, удаляясь,— настроение в народе, в палатах, в канцеляриях, среди знати, духовенства, помещиков, купечества, лабазов, лачуг, крестьянства, горнорабочих, башкирцев... все дальше, дальше. Когда узнают якуты да тунгусы — через полтора года после казни Пугачева, — и как они будут об этом говорить».

«Екатерина въезжает в Москву и, чтоб заглушить темную страницу истории, тешит жителей белокаменной торжественными зрелищами» (Архив Шишкова).

Намеченные эпизоды так и не получили осуществления под пером писателя, однако и без этих заключительных аккордов историческое повествование «Емельян Пугачев» явилось крупнейшим вкладом Шишкова в советскую литературу, оно заняло видное место в ряду лучших произведений исторического жанра.

В 1946 году эпопее «Емельян Пугачев» была присуждена Сталинская премия первой степени, книга эта многократно переиздавалась в нашей стране и за ее пределами; ею, как и мечтал писатель, он достойно завершил свой творческий путь, выполнив свой долг перед народом.

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ
В 1—8 ТОМАХ**

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Алчность	2	429
Алые сугробы	2	353
Бабка	2	578
Бобровая шапка	1	510
Буря	3	583
Ванька Хлюст	1	296
Варин сон	1	366
Гордая фамилия	3	515
Гость из Сибири	3	508
Да здравствует жизнь!	3	558
Дед Андрей	3	522
Емельян Пугачев, книга первая	6	7
Емельян Пугачев, книга вторая	7	7
Емельян Пугачев, книга третья	8	7
Журавли	2	282
Золотая беда	1	422

Каторжник	1	546
Колдовской цветок	1	348
Краля	1	218
Любопытный случай	3	530
«Мериканец»	2	148
На Бие	1	324
«Настюха»	2	589
«На травку»	2	499
Отец Макарий	2	344
Пейпус-озеро	2	7
Пловцы	2	596
Помолились	1	193
Портрет	2	574
Прокормим!	3	483
Пурга	1	435
Развод	2	583
«Садко» — гость советский	2	443
Свежий ветер	2	297
Сибирский дед	1	359
Смерть Тарелкина	2	515
Спектакль в селе Огрызове	2	526
Странники	3	7
Страшный кам	2	187
Суд скорый	1	264
Сусанины советской земли	3	546
Таежный волк	2	392
Тайга	1	19
Та сторона	1	382
Угрюм-река, том первый	4	7
Угрюм-река, том второй	5	7
Усекновение	2	601
Холодный край	1	204
Хреновинка	2	569

Царская птица	2	255
Черный час	2	263
Чертознай	2	487
Чуйские были	1	242
Шерлок Холмс — Иван Пузиков . . .	2	544
Шквал	1	410
Щедрая жертва	3	538
Экзамен	2	507

СОДЕРЖАНИЕ

Емельян Пугачев

Книга третья

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

<i>Глава I.</i> Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь. Москва, проселки, лес	7
<i>Глава II.</i> Мечь муллы. Падуров и другие. Конец Яицкого городка. Полудержавный властелин	47
<i>Глава III.</i> Пугачев на Воскресенском заводе	87
<i>Глава IV.</i> Встреча Белобородова и Пугачева. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон	134
<i>Глава V.</i> Салават Юлаев. Стычки. В кабинете императрицы. Пугачев «скопляется»	168
<i>Глава VI.</i> Путь-дорога. Пред лицом царя	199
<i>Глава VII.</i> На берегах реки Камы	212
<i>Глава VIII.</i> «Как во городе было во Казани»	236
<i>Глава IX.</i> Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном	284
<i>Глава X.</i> Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя. Матушка-Волга	316

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

<i>Глава I.</i> Главкомандующий Петр Панин. Мир с Турцией. На юг. Курмыш, Алатырь. Суд	349
<i>Глава II.</i> Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятение	381

<i>Глава III.</i> Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян	406
<i>Глава IV.</i> Барин Одышкин. В Пензе. Горят барские гнезда. «Не падайте духом, государь». Дурные вести. «Народ с вами, государь»	438
<i>Глава V.</i> Гости с Дона. Огненный поток. Смерть Акулочки. Саратов пал. Враг следует по пятам	489
<i>Глава VI.</i> Прохиндей по следам царя. «Я солдат». «Мужиц- кий царь». Заговор. Слово пастора	535
<i>Глава VII.</i> «Это Пугачев! Бегите!» Над Суворовым небо в звездах. Предательство. Побег	565
<i>Вл. Бахметьев.</i> Конец Емельяна Пугачева. Очерк	595
Примечания	635
Алфавитный указатель	651

Шишков
Вячеслав Яковлевич
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 8

Редактор *Э. Кондратьева*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *С. Розова*
Корректор *В. Седова*

Сдано в набор 29/V 1961 г. Подписано
к печати 29/VIII 1961 г. Бумага 84x108¹/₃₂—
20,5 печ. л. = 33,62 усл. печ. л. 32,22 уч.-
изд. л. Тираж 180 000. Заказ № 2563.
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.